АЛЬБЕРТ ВАНДАЛЬ

НАПОЛЕОН и АЛЕКСАНДР I

ФРАНКО-РУССКИЙ СОЮЗ ВО ВРЕМЯ ПЕРВОЙ ИМПЕРИИ

ТОМ

II

ОТ ТИЛЬЗИТА ДО ЭРФУРТА

Перевод с 6-го французского издания В.Шиловой С-Петербург, 1910 г.

ФЕНИКС
Ростов-на-Дону
1995

ББК 63,3
В 52

А. Вандаль

В-52 Сочинение в четырех томах. Наполеон и Александр I. Том II. От Тильзита до Эрфурта. Ростов-на-Дону. Издательство «Феникс», 1995 г.—544 стр.

ISBN 5—85880—233—8
ISBN 5—85880—235—4 (т. II)

В $\frac{4700000000}{4 МО (03) - 95}$ ББК 63.3

ISBN 5—85880—233—8

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Исторические труды Альберта Вандаля пользуются такой известностью, что не нуждаются в особой рекомендации. Предлагая русской публике перевод его сочинения «Наполеон и Александр I. Франко-русский союз во время первой империи», мы руководствовались тем значением и тем интересом, которые оно представляет для нас, русских. В нем читатель найдет не только воспоминания прошлого, но — что гораздо важнее — и указания к пониманию настоящего и, до некоторой степени, будущего политического положения России и Европы. Существующий в Европе уклад и отношения между государствами, их насущные интересы и заветные мечты политических деятелей, равно как и почва, и способы политического воздействия, создались не в наши дни. Корни их заложены в начале XIX века, в эпоху наполеоновских войн; уяснения многих вопросов настоящего времени, например: восточного, финляндского, отчасти польского, надо искать там. Можно, без особой натяжки, сказать, что эта эпоха более чем на столетие предопределила будущее Европы. Конечно, при чтении Вандаля не надо забывать, что он француз и горячий поклонник Наполеона; что он смотрит на вещи с точки зрения своей страны; что иногда в его суждениях проглядывает горечь патриота, которому пришлось пережить упадок военного могущества своей родины, роковой удар которому нанес некогда император Александр I. Но эти особенности, не уменьшая достоинства труда, придают ему только большую жизненность.

Что касается техники перевода, то мы старались

передать его по возможности точно. Большое затруднение представил выбор портретов. Император Александр, как известно, не любил позировать, поэтому похожих портретов его сравнительно мало. Лучшим из них считается портрет работы Доу, воспроизведение которого в красках дано в роскошном сочинении об императоре Александре I Шильдера, но этот портрет относится к позднейшей эпохе. Поэтому мы остановились на гравюре Вендрамини с портрета Сент-Обена, сделанной по случаю Тильзитского мира, следовательно, вполне отвечающей описываемой Вандалем эпохе. По мнению знатоков, эта гравюра представляет один из лучших портретов императора Александра I. Для того, чтобы дать возможно ясное представление об императоре Наполеоне, мы избрали компилятивный портрет, написанный В. В. Верещагиным. Вопреки некоторым возражениям, нам кажется, что в нем наиболее ярко выражен трагический характер великого военного и политического гения Франции.

ПРЕДИСЛОВИЕ

В продолжение всего своего царствования Наполеон преследовал во внешней политике одну неизменную цель: прочным миром с Англией обеспечить устойчивость своему делу, величие Франции и спокойствие мира. Главным политическим средством, которым он пользовался для достижения этой цели в эпоху, сделавшуюся началом конца его карьеры, был союз с Александром I, русским императором. Если бы единодушие, к которому стремились в Тильзите, упрочилось и установилось надолго, быть может, Англия была бы побеждена, и Франция и Европа приняли бы иной вид. Разрыв с Россией оживил угасавшую коалицию, вовлек Наполеона в роковые предприятия и привел его к гибели. Как образовался союз? Какие превратности встретил он на своем пути? Как видоизменялся и разрушался? Мог ли он существовать долее? Вот те вопросы, которые занимают главное место в европейской истории от 1807 г. до 1812 г., т. е. от свидания в Тильзите до занятия Москвы. Изучение этих вопросов и составляет предмет нашего труда.

В деле союза с Россией наша политика не имела ни опыта, ни преданий. В восемнадцатом столетии некоторые наши монархи, некоторые государственные люди считали желательным и как бы предчувствовали этот союз; по времени сближение как будто и налаживалось. Несмотря на то, что природа расположила оба государства так, как бы предназначала их для союза, политика нагромоздила между ними противоречивые интересы. Восточные страны, предмет русских вожделений, были привилегированным рынком Франции, и

наше правительство считало своей обязанностью устранять оттуда всякого конкурента. Выступление России на европейскую сцену расстраивало нашу политическую систему на Севере и на Востоке в том виде, как ее создала мудрость наших королей и министров. Чтобы угрожать тылу Австрийской монархии, они в былые времена искали союзников в Стокгольме, Варшаве и Константинополе. Развиваясь за счет Швеции, Польши и Турции, Россия сражалась с нашими союзниками, а Версальский кабинет, не поддерживая их надлежащим образом, не сумел вовремя пожертвовать ими ради государства, которое могло бы нам их заменить. Со своей стороны, русское правительство для изучения политики, администрации и военного дела поступило в немецкую школу. Подчиняясь влиянию избранных им наставников, оно попеременно опиралось то на Берлин, то на Вену. Несмотря на то, что образованная Россия, по инстинктивному сродству, чувствовала к ним влечение, подражала нашим нравам, пропитывалось *нашими идеями, любила наш склад ума*, она не прерывала сношений с нашими противниками и умела тщательно отделять свои симпатии от своих союзов.

После 1789 г. Екатерина II сделалась одним из главных двигателей коалиции: ее целью было не столько подавить революционное движение, сколько отвлечь внимание Пруссии и Австрии. Представляя германским государствам действовать против нас, она обеспечила за собою свободу действий в Польше и на Востоке, и спокойно могла довершать там свое дело. Ее сын Павел, политик менее искусный и более увлекающийся, бросил Россию в самый пыл борьбы. Она вышла из нее разочарованной в своих союзниках и в восхищении от противника. Ради Бонапарта Павел примирился с республикой. Их горячее сближение является первым из тех личных союзов, когда главы двух народов думали, что *поняли и полюбили* друг друга, тогда как их правительства не сумели ясно установить взаимных отношений. По смерти Павла, Александр I возобновил войну во имя принципов. Сын наследственного императора и воспитанник Лагарпа, он ненавидел в Наполеоне и узурпатора, и деспота. Вступая в борьбу с революцией, дисциплинированный одним человеком, он думал, что служит и делу королей, и делу свободы.

Сторонники русского союза попадались во Франции редко, отдельными единицами. Их голоса робко возвышались против двух общепризнанных и горячо поддерживаемых политических доктрин, которые разделялись как общественным мнением, так и правительством. Одно учение, имевшее большой кредит, восхваляло союз с Пруссией. Его приверженцы льнули к Бранденбургской монархии, кооторая в правлении Фридриха II сумела воспользоваться модными идеями, хвасталась безверием, льстила Вольтеру и сумела снискать дружбу этого великого творца общественного мнения. Они указывали на Пруссию как на нашу единственную союзницу, тогда как именно она разжигала против нас ненависть Германии, и в былые времена, в царствование Людовика XIV, подала сигнал к первой коалиции, составленной против Франции. С другой стороны, союз с Австрией с 1756 г. по 1789 г. создал официальную доктрину и вошел в традиции кабинета. Затянув долее, чем следовало, борьбу с Австрийским домом и продолжая ее даже в то время, когда прусская вековая система потеряла всякое значение, правительство Бурбонов сумело, однако, в конце концов от нее отрешиться. Как умный новатор, оно поняло, что Франция и Австрия, достигнув нормального развития и полной зрелости, могли выгодно заключить союз с целью взаимно сдерживать друг друга, с целью заставить уважать охранительную политику и упрочить европейскую устойчивость. Правда, этот принцип был извращен в применении, скомпрометирован благодаря недостаточно энергичному проведению его в жизнь, и благодаря преследующим его неудачам потерял цену. Но накануне своей гибели старая монархия сумела направить нашу политику на благоразумный путь и на прощание оставила нам это благодеяние. После ее падения, когда под руководством великого человека установился, по-видимому, новый порядок вещей, защитником былых принципов и союза с Австрией выступил перед Наполеоном Талейран. После революции он старался восстановить порванную цепь традиций кабинета. Нам кажется, что мысль его была верна и проницательна, но он ошибался, думая, что осуществление ее зависело от воли Наполеона, что Наполеон мог по собственному желанию избрать тот или другой союз и остановиться на какой-либо одной политической системе; ошибка Талейрана состояла в том, что он хотел подчинить определенным правилам

ту политику, роковой и неизбежный характер которой делал ее неспособной подчиняться ни одному из них.

Наполеон завоевал все, кроме мира. Позади каждого поверженного врага он встречал во всеоружии Англию, готовящую против него новые коалиции. Чтобы добиться мира от Англии и дать его Европе, он чувствовал необходимость приобрести надежного друга, который обеспечил бы ему послушание континента, на то время, пока он употребит все свои средства для борьбы на морях. Он повсюду искал необходимый ему союз, просил о нем и повсюду встречал только вероломство. Борьба Европы с Францией, прежде чем превратиться в восстание народов против всемогущества властелина, была беспощадной дуэлью, кастовой войной. Пруссия то льстила, то изменяла Наполеону. Сближение с Веной казалось еще более невозможным. Сдерживая свое личное предубеждение, император несколько раз обращался к Австрии и получал только отказы. Этот традиционно-аристократический двор, гордый вековой славой и величием, уклонялся от всякой определенной сделки с революционным императором, он уступал его оружию, но не переставал ненавидеть его. Позднее, стремясь связать себя с Австрией родственными узами, вступая в брак с одной из ее принцесс, Наполеон только наружно соединился с этим С.-Жерменским предместьем Европы. Сверх того, трудность заключить союз с каким бы то ни было государством увеличивалась для императора и оттого, что, вынужденный со всеми сражаться и всех побеждать, он должен был искать себе союзника среди вчерашних врагов и мог сойтись с ним, только изувечив его предварительно до полусмерти.

Явление, неоднократно повторявшееся,— примирение с Россией подготовилось благодаря именно ожесточенной борьбе. Обе нации не знали друг друга. Встречаясь на двадцати полях битв, сражаясь лицом к лицу, они научились уважать друг друга. Эйлау подготовил сближение, Фридланд докончил его; в этот день Наполеон своей шпагой завоевал русский союз.

Чтобы остановить победоносное шествие Наполеона, Александр пошел ему навстречу, и монархи начали переговоры в Тильзите. Эти два человека, которых сблизило случайное стечение событий,— один необычайный, другой выдающийся,— представляли полный контраст. Их сношения представляют особый интерес,

ибо дают возможность проследить, как вырисовываются во всей полноте их характеры, с их необыкновенными свойствами и глубокими различиями, при условиях установившегося между ними тесного общения и исключительно-личного воздействия, которые они стремятся оказать друг на друга. В Тильзите как бы встречается и сопоставляется гений двух рас. Наполеон олицетворяет латинский гений в его наиболее ярком проявлении, в его лучезарном блеске, с его живой энергией и склонностью к стройному и точному мышлению; его воображение, как бы пылко оно ни было, всегда подчиняется законам логики. Александр унаследовал от северных рас склонность к высоким, неопределенным и туманным стремлениям, развитую в нем благодаря чисто-умозрительному воспитанию. Обаятельный, скрытный и неискренний, он проявляет великодушные намерения и весьма часто полное бессилие действовать; он увлекается мечтами, проводит жизнь в погоне за идеалом, в борьбе с противоречивыми стремлениями, что делает его нерешительным и вредит ясности и искренности его характера; в работе его мысли всегда остается что-то неопределенное и незаконченное. Наполеон — само действие, Александр — мечта.

В Тильзите Наполеон немедленно задается определенной и практической целью. Так как люди для него — только орудие, он сходится с Александром, имея в виду властвовать над ним и пользоваться им для своих целей. В это время неуравновешенная душа Александра легко делается его добычей. Потеряв голову и сознавая, что он не в силах бороться, царь просит только о мире. Он удивлен, что нашел победителя, который утешает его в его поражении и дает ему надежду приобрести путем союза с ним все те выгоды, которых он мог бы достигнуть только победой. Тогда он уступает судьбе и подчиняется влиянию Наполеона; он привязывается к его делу со свойственной ему относительной и скоропреходящей искренностью, и некоторое время льстит себя надеждой, что Наполеон, увлекая его на путь, усеянный волшебством, сделает его участником своей сверхчеловеческой судьбы.

Но, чтобы принести плоды и осуществить надежды Александра, союз пришел слишком поздно. Во время кампании, закончившейся Фридландом, имея дело с храбрыми и доблестными русскими войсками, которые в климате и в природе находили себе драгоценных

помощников и обновляли свои силы, вступая на родную почву, Наполеон должен был прибегнуть ко всевозможным средствам борьбы и всевозможным диверсиям. Чтобы победить Россию, он окружил ее врагами и поднял на ее границах тех, которые, по его мнению, были окончательно сломлены. Он вытащил из могилы Польшу и разбудил Турцию от продолжительной летаргии. Но, вызвав эти силы, он не счел возможным снова обратить их в ничто. Он сохранил на свидании в Тильзите Польшу под именем Великого Герцогства Варшавского и, хотя и поддерживал вожделения Александра на Востоке, отнюдь не желал окончательно принести ему в жертву Турцию и оставить двум доверившимся ему народам надежду на свое покровительство. Это значило опять стать относительно России в то положение, в какое некогда поставили себя Людовик XV и Людовик XVI, друзья России и покровители ее врагов.

Такое поведение Наполеона, не имевшее стеснительных традиций, объясняется различными побуждениями. До приобретения мира со всеми государствами он считал опасным выпускать из своих рук какой ты то ни было козырь. Вооруженная Польша была ему полезна для обуздания Пруссии и для надзора за Австрией. С другой стороны, дозволить русским теперь же расширить их границы за счет Турции — значило бы бросить Турцию в объятия Англии и снова открыть Восток влиянию, интригам и оружию наших врагов. Сверх того, долго ли будет верна нам Россия? Не была ли внезапная склонность Александра только кратковременным увлечением? Вокруг царя по-прежнему все оставалось враждебным нам: торговый мир сожалел об английских продуктах; высшее общество, эта сила тогдашнего времени, оказывалось непримиримым. Оно вело с нами салонную войну, иногда более опасную, чем на полях битв; продолжало интриговать против нас заодно со всей европейской аристократией, влияло на монарха и даже угрожало его власти и жизни. Наполеон, имея в виду внезапную смерть Павла и последовавшие затем перемены в политике Александра, не решался окончательно связать себя с неустойчивым правительством, с правительством без прочного будущего, которое ежеминутно могло от него ускользнуть. Наконец, он питал к России известное принципиальное недоверие. С некоторым беспокойством смотрел он на эту непроницаемую

грозную громаду, таившую в себе неведомые силы; на народ, население которого «возрастало на полмиллиона душ в год»[1]; на эту вздымавшуюся вдали на горизонте людскую волну. Он задавал себе вопрос: что, если Россия когда-нибудь прорвет плотины, не погребет ли она под своими волнами Европу? Даже тогда, когда он считал нужным использовать эту силу, он думал о средствах ее обуздать. Он возымел надежду заключить союз с Александром, а не с Россией и, обособив государя от его двора и народа, обворожив его и подчинив своему влиянию, удовлетворяя его самолюбию и чувству, пользоваться им исключительно для своих целей, не давая России бесспорных выгод; предоставляя ей надеяться на многое, он сохранил за собой право уступать ее требованиям как можно меньше и позднее.

Правда, мало-помалу в силу обстоятельств, он вынужден был предоставить своим союзникам более, чем завоевали Петр Великий и Екатерина: на Севере провинцию, которая дополняла их империю и защищала ее столицу: на Востоке настолько значительные выгоды, что сохрани их Россия, она могла бы разрешить в свою пользу восточный вопрос, который постоянно волновал ее. Но Александр, пришедший было в экстаз от идей, внушенных ему Наполеоном, быстро опомнился. Охваченный снова сомнением, он по свойственной ему подозрительности разгадал в игре императора затяжной способ действия, и наши великолепные, но запоздалые уступки не были уже достаточны, чтобы установить доверие и скрепить союз.

Между тем, могущество императора выходило из пределов, вызывая усиленное беспокойство у всех государств. Впрочем, видеть в неудержимом стремлении Наполеона вперед только страсть к захвату, только бред честолюбца, обезумевшего от побед, значило бы не понимать его. Спору нет, его планы были величественны и не укладывались в обыкновенные рамки. Он одновременно хотел воскресить прошлое и опередить будущее. Сделавшись Цезарем, он мечтает быть Карлом Великим. Он хотел создать из рассеянных государств Запада как переходную стадию романский союз и, вместе с тем, овладевая народами, отрывая их от прошлого, от их традиций, подчиняя их своей преобразовательной, но твердой власти, насильно бросить их на

[1] Слова Наполеона, по неизданным документам.

путь грядущих судеб. Но подобные замыслы не зарождались в нем беспричинно; они являлись у него как бы результатом его мыслей, вызываемых потребностями борьбы против Англии. Чтобы покорить своего неуловимого врага, он вынужден был повсюду искать средства для косвенной борьбы с ним, брать обязательства и залоги, захватывать все позиции, откуда он мог бы беспокоить Англию, угрожать ей и наносить материальный вред; повсюду он должен противопоставить океану сушу. Хотя эта постоянно преследующая его мысль не оправдывает его ошибок и удивительных уклонений в его политике и честолюбивых замыслах, но она объясняет их и служит их первопричиной. Действуя то с бешеным порывом, то мягко, Наполеон преследует намеченную цель, пользуясь приемами, свойственными его гению. Он то открытой силой, то коварством водворяет свою власть во все окружающие его государства. Лишь только его рука прикасается к ослабевшим и одряхлевшим государствам, они распадаются в прах. Тогда его творческое воображение внушает ему мысль создать на их развалинах более правильный строй, и из мероприятий, вызываемых потребностями данного момента, извлечь стойкие выгоды. Видя, как Европа разрушается от его прикосновений, он не может удержаться от искушения пересоздать ее по новому плану. Так, расширяя свое господство на берегах Северного и Южного морей, с целью закрыть этим путем доступ английской торговли, он приходит к мысли переделать Германию и Италию. Если он на свое и наше несчастье забирается в Испанию, то он делает это только потому, что видит в ней орудие против Англии. В портах полуострова дремлют остатки внушительных морских сил. Наша старая монархия для борьбы с вечной своей соперницей искала себе в Испании вспомогательный флот и средства для морской войны, которые пополняли бы недостаток наших собственных, и создала себе из нее западный арсенал. В свою очередь, и Наполеон точно так же хотел использовать Испанию. Он опутывает ее сетью интриг и утверждает в ней свое влияние; затем, пораженный слабостью и позорным поведением ее правительства, он мало-помалу, доходит до единственного в своем роде и пагубного проекта; он хочет отнять ее у ее династии и водворить Бонапартов везде, где царствовали Бурбоны. Наконец, стремясь проложить себе через Турцию путь в те страны Индии, где Англия вдали от всех поместила свои сокровища и думала, что сделала их недосягаемыми, он обдумывает перестроить попутно Восток и подчинить нашей власти целиком все Средиземное море.

Однако, прежде, чем подготовить или начать какое-либо из предприятий, он обычно обращается к Англии, предлагает заключить сделку, предлагает мир. В ответ Англия выдвигает против него новых врагов. Но поле сражения все еще остается за ним. Может ли он остановиться на полпути и не довести до конца победы после борьбы, во время которой он должен был ставить на карту все приобретенные результаты? Вместо поверженного врага наша соперница выставляет нового, постоянно поддерживает наших противников, и до бесконечности затягивает войну. Главнокомандующий не останавливается в самый разгар боя, в тот момент, когда смешались войска, когда приводятся в исполнение задуманные движения или когда повсюду оспаривается поле битвы. Царствование Наполеона — не что иное, как двенадцатилетнее сражение, данное англичанам на пространстве всего света. Ни одна из его кампаний не представляет отдельного, особого дела, после которого он мог бы поставить предел своему господству и закончить кровавую эру; его кампании составляют дела, неразрывно соединенные в одно целое, в одну войну, в которой наша нация, пройдя насквозь Европу и преобразовав ее, кончила тем, что пала к ее ногам. Франция пала, но ее идея победила.

Но если основная задача историка заключается только в том, чтобы оценить во всей его полноте этот перелом в жизни человечества и дела человека, игравшего в нем главную роль, чтобы придать тому и другому их истинный характер, то от современных государей такой высший взгляд на вещи неизбежно должен был ускользнуть. По мере того, как чрезмерно возраставшая Франция все сильнее давила на Европу, каждый из них все более чувствовал угрозу, растущую для его независимости и безопасности; даже те из них, которых мимолетная симпатия или кратковременная общность интересов сближали с Наполеоном, скоро возвращались к мысли о сопротивлении и восстании и принимали соответствующие меры. Однако, союз с Россией

мог бы, может быть, продлиться, если бы смутные опасения этого менее, чем другие, теснимого государства, не сосредоточились на определенном предмете, если бы в сближении, которое установилось между двумя империями, не было болезненно-чувствительного пункта, помимо захваченной Германии. Этим пунктом было великое герцогство Варшавское. Следствием кампании против Австрии 1809 г. было расширение герцогства; его усиление, вызывая у России опасения полного восстановления Польши, настраивало ее, скорее, против воображаемой, чем действительной опасности.

Если бы Александр, как заклинал его в Эрфурте Наполеон, строго заговорил с Австрией, он, может быть, мог бы предупредить роковую для союза войну 1809 г., может быть, ему удалось бы удержать Австрию, готовую бросить на нас свою восстановленную армию. Позднее, когда Венский двор раскрыл свои карты, и вспыхнули враждебные действия, царь мог бы, исполняя свои обязанности союзника, чистосердечно присоединяясь к борьбе, изменить ее результаты и обеспечить свои интересы; он мог бы в силу оказанных общему делу услуг вмешаться в переговоры о мире. Его поведение было нерешительно и вероломно. Он не посмел отказать Наполеону в своем содействии, но оказал только кажущееся содействие и втайне ободрял Австрию, делая только вид, будто сражается с ней; он задержал наступление своих войск и предоставил полякам одним явиться рядом с нами на покинутом русскими поле сражения. Затем, когда солдаты Понятовского своими заслугами завоевали благодарность Наполеона и получили награду за их доблесть, вместо того, чтобы объясниться, он умел только жаловаться.

Тем не менее, Наполеон продолжал верить в пользу и необходимость хотя бы кажущегося соглашения с Россией. Он чувствовал, что связь разрывается и, чтобы снова скрепить ее, он чистосердечно испытал два средства: просил у царя руки одной из его сестер и предложил ему гарантии против восстановления Польши. Переговоры по обоим вопросам, которые велись одновременно, отмечают решительный поворотный пункт в деле союза. Колебания и требования Александра привели тот и другой вопрос к неудачному результату; он захотел продиктовать окончательный смертельный приговор Польше в выражениях, которые возмутили гордость Наполеона, и вместе с тем позволил своей матери отказать ему в руке великой княжны Анны и вынудил этим обманутого, раздраженного победителя принять супругу из рук Австрии, тогда как он просил ее у России. Сам, вызвав эту эволюцию, царь ухудшил ее последствия, благодаря тому, что судил о них с предубеждением. Он истолковал австрийский брак как полный поворот в наполеоновской политике, как противоположность Тильзиту и отыскал в нем угрожающий замысел против России. Постепенно отказываясь от выгод и обязанностей, вытекавших из союза, он думал только о том, чтобы снова стать в оборонительное положение. Следовательно, ответственность за разрыв падает, главным образом, на русского монарха. Не следует, однако, забывать, что факт захвата Наполеоном трона испанских Бурбонов вместе с проклятой войной, которую он вызвал на Пиренейском полуострове, нанес удар уверенности в безопасности всех законных династий, усилил в 1808 г. страх Австрии, и доставил ей повод и случай снова взяться за оружие, это-то и было *главной причиной кампании 1809 г.*, которая породила кампанию 1812 г. Предприятие в Испании имеет тесную, легко уловимую связь со всеми событиями, которые привели Наполеона к гибели. Оно-то и послужило исходной точкой роковому движению; оно — первое звено в непрерывной цепи, подобно разделу Польши, который, заставляя русских постоянно страшиться воскресения их жертвы, вызывая в них неотступный, как угрызение совести, страх, был началом всех тех бедствий, которые вышибли их политику из ее естественной колеи. Признаем же в этом ниспосланную Провидением справедливость, умеющую рано или поздно, независимо от событий, настичь и покарать виновных. Если Наполеон и Россия снова начали пагубную борьбу, которая обагрила кровью свет, привела наши войска в пылающую Москву, и позднее, подобно грозному отливу, привлекла в Париж армии царя, уничтожила могущество Наполеона и, быть может, лишила Россию целого царства на Востоке, то все это было не столько результатом действительной противоположности интересов, действительных и взаимных обид, сколько косвенным следствием злоупотребления силою, совершавшегося той и другой стороной за счет слабых. В 1812 г. Наполеон понес наказание за то, что в 1808 г. самовластно распорядился Испанией, Россия же была на-

казана за участие полвека до этого в разделе Польши.

Начиная с первых месяцев 1810 г., союз — не что иное, как обманчивая завеса, прикрывающая затаенную вражду. Обе стороны подозревают друг друга, следят и шпионят. Не имея предвзятого намерения и вовсе не желая войны, делают ее неизбежной только потому, что ее предусматривают и к ней готовятся. Оба государства называют один другого союзником и другом; иногда они бросают друг на друга нежные взгляды, обмениваются ласковыми словами, но все это делается только для того, чтобы обмануть друг друга, чтобы, выказывая несуществующие доверие и уверенность в своей безопасности, выиграть время и на свободе собрать средства вредить друг другу. Однако, в деле враждебных маневров Александр всегда впереди. Он первый потихоньку расставляет на своей границе грозную армию, пускает против нас в ход все дипломатические пружины, повсюду ищет врагов против Франции. Однако, с исторической точки зрения, каждой из этих мер, основанных на неправильном толковании намерения императора французов, Наполеон доставляет оправдание, по крайней мере, кажущееся, увеличивая и без того большое число самовластных актов и международных государственных переворотов, к которым он уже чересчур приучил Европу. Таким образом, он усугубляет беспокойство России, вызывает ее на все более компрометирующие поступки и со своей стороны ускоряет разрыв. Наконец, уступая чувству страха, Александр делает неизбежным и вызывает кризис. Опасаясь нападения, он хочет его предупредить, берет на себя роль зачинщика и верит в возможность застать Наполеона врасплох.

Его намерение напасть на нас не подлежит сомнению: убедительные и точные доказательства существуют в изобилии; они будут указаны в надлежащем месте. Зимой 1811 г., за восемнадцать месяцев до перехода великой армии через Неман, Александр думает перейти эту реку, занять и преобразовать Варшавское герцогство, создать русскую Польшу в противовес французской, которой он опасается в своем воображении; он хочет поднять Пруссию, подкупить Австрию и снова составить против Франции европейскую лигу; словом, он до 1812 г. думает сделать все то, что ему пришлось осуществить после.

Уже подняв руку, чтобы нанести смелый удар, он останавливается в смущении. Он надеялся, что ему удастся изменить к себе отношение поляков и переманить их на свою сторону; но они отказываются его слушать и не хотят идти за ним. Сверх того, хотя французская армия, стоящая на страже в Германии, и уступает силам, которыми он располагает, хотя наши лучшие войска сражаются и умирают в Испании, престиж Наполеона остается неприкосновенным; одно имя великого полководца останавливает готовую перейти свои границы Россию. Тогда, благодаря принятому после некоторых колебаний решению, которому его империя обязана своим спасением, Александр отказывается от наступления и задумывает план войны, по которому Россия будет сражаться у себя дома, укрываясь в своих дебрях; он решает ждать нападения, которое его поведение делает неизбежным. И в самом деле, только тем, что Россия вооружилась и протянула по направлению к нам острие своей шпаги, она уже парализует все действия Наполеона и мешает ему докончить его дело. Раз Север враждебен, это значит покорение Испании затруднено, рынок вновь открыт продуктами Великобритании, наша ослабленная соперница вновь одобрена, и кризис, в котором истощаются Франция и Европа, затянут на неопределенное время. Наполеон подпадает под действие неумолимого закона, который повелевает ему сокрушить всякого, кто не его подданный и не союзник; лишась возможности победить англичан при содействии России, он вынужден нанести им косвенный удар, поразив Россию; между Наполеоном и Александром среднего не существует: или союз, или война.

Прежде, чем решиться на войну, Наполеон колеблется в последний раз. Весной 1811 г. он спрашивает себя, нет ли способов для мирного решения вопроса, обсуждает их, старается найти и не находит. Во избежание разрыва нужно было бы отозвать наши войска с Вислы, Одера и Эльбы, отступить от Данцига и Варшавы. Но пожертвовать Польшей значило бы снова ввести враждебную Россию в соприкосновение с возбужденной Германией, дать царю возможность попытаться привести в исполнение наступательные планы, которые Наполеон разгадал и о которых получил сведения. Отступить только на один шаг — значит потерять все. Наполеон констатирует невозможность сговориться. Начиная с лета 1811 г., он решается на войну,

назначает ее на следующий год, считает, что она представится ему тогда, как роковая необходимость, если только его громадные приготовления не приведут Россию к сдаче до боя и к подчинению его воле. Хотя он и не старается более вести переговоров о мирном соглашении, его все-таки не покидает надежда заранее предписать противнику капитуляцию, воздвигая перед его глазами потрясающую обстановку. Тогда выставляются такие силы, которые едва может представить себе самое пылкое воображение: двадцать народов входят в состав нашей армии; Юг идет войной против Севера, и поток великого переселения народов направляется к своему первоисточнику. Но надвигающаяся опасность не смущает более Александра. Душа молодого монарха закалилась в испытаниях; гений его народа, сотканный из покорности и терпения, народной гордости и мужественного упорства, целиком отражается в нем и возносит его на высоту той роли, к которой влечет его судьба. Вместо того, чтобы унижаться, он гордо высказывает свои требования. Тогда начинается война — судьбы свершаются. Наполеон думал, что его предприятие должно удаться, так как оно было логическим результатом его системы, было им прекрасно задумано и подготовлено, потому что средства его были несметны, и гений безграничен. Подготовляя будущее предприятие, он все рассчитал, все предусмотрел, исключая то, что ускользает от человеческой оценки, т. е. ту силу сопротивления, которую черпает в самой себе верующая душа великого народа. Он думал, что для покорения России достаточно ее победить; он и победил ее. Но после своих невзгод она сделалась еще более сильной, более непреклонной, более упорной. Она жертвовала своими очагами для спасения родины и стойко ждала, чтобы на помощь ей пришла и отомстила за нее природа. Надеясь добраться до России и согнуть ее так же, как он покорил под свое иго столько правительств и народов, победитель слишком положился на свои силы, на свое счастье, погнался за недосягаемым — встретил пропасть.

При изложении этих трагических событий история отклонилась бы от своей задачи, если бы не освободилась от современных тенденций и симпатий, как бы законны они ни были. Она не достигла бы своей цели, если бы не стала искать предостережений и уроков в

прошлом. Географическое положение Франции и России — вот причина и условие союза. Политическая система завоеваний вдвоем, установленная в Тильзите и восхваляемая в Эрфурте, сводя по мере сближения владений обеих империй к нулю промежуточные массы, неизбежно должна была создать из них соперников и в конце концов породить между ними первоначальную причину к разладу. «Мир достаточно велик для нас»,— сказал Наполеон Александру. Он ошибался, ибо отличительная черта необузданных честолюбий — искать друг друга и сражаться, хотя бы для того, чтобы найти себе место для поединка им пришлось бы назначить друг другу свидание на краю света. Хотя внушенная Наполеоном Александру система захватов и была навязана императору французов обстоятельствами, но тем не менее она осуждена ее результатами. По-видимому, теперь судьбе обоих народов открывается более правильное, более плодотворное будущее, так как их связывают параллельность интересов и взаимная симпатия. Соединяясь на почве политики мудрости и благоразумной твердости, они будут в состоянии упрочить независимость на континенте после того, как некогда тщетно старались разделить над ним власть. По-видимому, обоим полюсам Европы суждено иметь на нее умеряющее влияние, сдерживать и размещать в ней различные элементы, поддерживая истинное равновесие.

История франко-русского союза во время первой Империи большею частью находится в архивах Парижа и Петербурга. В особенности документы, хранящиеся в национальных архивах и в хранилищах государственной канцелярии, представляют наибольшее значение. Это — переписка, адресованная императору его посланниками при Русском дворе. Наполеон не допускал, чтобы его представителями при монархе, с которым он обходился, скорее, как с другом, чем как с союзником, были обыкновенные дипломатические агенты. Начиная с 1807 г. он назначал своими уполномоченными только лиц, непосредственно к нему приближенных: таковыми были известные наиболее видные члены его свиты, как то генералы Савари, Коленкур и Лористон. Первые два пользовались дружеским расположением Александра I. Они были в постоянных и непосредственных сношениях со своим государем; они издалека так же подробно, так же аккуратно отдавали ему отчет, как

бы они это делали в Тюльери или Сен-Клу. Поэтому-то их переписка не состояла только из одних *депеш* в общепринятом смысле этого слова, адресованных министру иностранных дел и хранящихся в архивах департамента. С каждым курьером отправлялись частные письма к императору, в которых наши посланники подробно передавали свои впечатления. Более того, после каждого разговора с царем,— а беседы *происходили* почти ежедневно — они записывали их слово в слово, в форме диалога, ничего не изменяя в них. Подобного рода акты, приложенные к письмам в виде оправдательного документа под названием *донесение*, дают нам буквально как бы это сказанных слов. На расстоянии восьмидесяти лет мы как будто слышим разговор императора Александра с посланником Франции, ничего не теряя из тех особенностей мысли и речи, которые часто служат показателями характеров. Словом, ничто не было упущено, что могло иметь значение для политики или удовлетворить любознательность государя, который хотел все знать и всем лично руководить. Часто к письмам и донесениям присоединялись листки *новостей;* в них передается придворная хроника, происшествия из светской жизни, так называемые on dit (что говорят) городские и салонные слухи. Эти страницы легкого содержания, в которых изображается общество всецело, с его сильными и мелкими страстями, с его интимными взглядами, дополняют и иногда достаточно ярко освещают бумаги чисто-политического содержания.

Коллекция, образовавшаяся из этих сообщений агентов, до сего дня осталась не вполне исследованной. Тьер пользовался ею для большого труда, который установил на непоколебимых основах его славу историка[1]. Однако, так как теперь эти документы предоставляются для более продолжительных и подробных исследований, нам казалось, что новое исследование могло бы взять их за точку опоры, поставить читателей в более непосредственное соприкосновение с ними, выделить большее число извлечений, имеющих сами по себе цену, словом, они не могли бы занять место после общей картины, которая сохранилась в памяти всех. В дополнение к переписке с Россией мы прочли, как в национальных архивах, так и в архиве министерства иностранных дел всякого рода документы, касающиеся сношений императора с другими дворами, главным образом с Австрией, Пруссией, Турцией и Северными государствами. Подобное параллельное изучение казалось нам необходимым и как средство контроля, и для более точных изысканий: часто секрет отношений между Францией и Россией нужно искать в Вене и Берлине[1].

Посещение архивов министерства иностранных дел в Петербурге, куда удостоил нас чести ввести наш посланник дел в России де-Лабуле, и где мы встретили самый радушный прием, позволило нам сравнить по некоторым вопросам русское изложение с французским. Мы могли навести справки не только относительно донесений русских посланников при их дворе, но частью и относительно переписки, которой обменивался император Александр непосредственно со своими министрами и посланниками.

Кроме того, нам было разрешено черпать сведения из различных частных источников. Граф Карл Поццо ди Борго любезно открыл для нас некоторую часть тех фамильных архивов, из которых он лично делает такое полезное употребление; главным образом, он предоставил в наше распоряжение документы, относящиеся к миссии Поццо ди Борго в Вене в 1806 и 1807 гг. Приносим ему за это нашу благодарность. С другой стороны, изысканная благосклонность дала нам возможность познакомиться с некоторыми рукописями, оставленными одним из тех лиц, которые были вполне посвящены в тайну обоих императоров, и непоколебимая преданность которых никогда не вредила беспристрасной проницательности. Характер, заслуги и роль этого лица служат порукою, что он оставил памятник высо-

[1] Biqnon Histois de France depuis le dix-huit brumair et Armand Lefebvre Histoir des cabinets de l'Europe la Consulat et]'Empir не могли пользоваться документами из государственной канцелярии; они часто прибегали за справками к переписке, хранящейся в министерстве иностранных дел, и цитировали ее. Тем не менее, их труды остаются одной из основ истории дипломатических сношений во времена царствования Наполеона.

[1] Во избежание слишком многочисленных ссылок на источники скажем, что документы, цитируемые полностью или частично в нашем первом томе, без особого указания на источники, взяты из Archives Nationales AF'IV, 1697 в тех случаях, когда они непосредственно адресованы к императору, о чем мы упоминаем в низу страницы. Выдержки из переписки министра иностранных дел с нашими агентами из России взяты из Arhives des affaires ètranqéres, ussie, vol. 144 a 146.

кой ценности. Да будет нам позволено засвидетельствовать здесь нашу благодарность всем, которые пожелали оказать нам их полезное содействие.

С некоторого времени в печати в изобилии стали появляться документы, сборники дипломатических актов, переписка и мемуары, относящиеся к периоду первой Империи. Высокое и либеральное вдохновение обещает познакомить нас в недалеком будущем с имеющими наибольшую цену. В ожидании, пока издание этих документов удовлетворит нужды истории, опубликование некоторых из них позволило нам их предвкусить и еще более подстрекнуло наше любопытство[1]. За границей уже вышла в свет большая часть документов, оставленных министрами, руководителями коалиций. В Берлине, в Вене государственные архивы частью раскрыли свои тайны. В России общественная и частная инициатива недавно дала нам особенно интересные сочинения и продолжает печатать имеющие большое значение издания[2]. Мы сделали попытку воспользоваться этими многочисленными, но разбросанными документами, освещая их показания современников, с которыми приходится постоянно считаться, когда дело идет о том, чтобы проникнуть в политику, где все связано и согласованно, и понять общую,— уже изданную, переписку Наполеона[3].

При оценке лиц мы постоянно старались отстранить от себя всякое побуждение, чуждое истории. Конечно, мы вовсе не имеем в виду доводить наше беспристрастие до того, чтобы воздерживаться от воспоминаний о великих благодеяниях и от восхищения великими делами. Разве можно говорить об Александре I, не вспомнив, что этот монарх, победитель Франции в 1814 и 1815 гг., повинуясь внушению возвышенной души и предусмотрительного ума, сделался другом только что побежденной им нации и сумел защитить ее от убийственного злопамятства? С другой стороны, чудеса, встречаемые на каждом шагу в царствование Наполеона, непрерывно поддерживают удивление перед гением, который их совершил или заставил совершить, магическая мощь которого необычайно возбудила присущие нашей расе качества — честь, храбрость, повиновение и преданность. Как не преклоняться перед гением, который, примирив нашу нацию с ней самой, создал из нее армию героев и на некоторое время сделал француза сверхчеловеком. Но нет сомнения, что рядом с зрелищем блестящих побед и великих дел, неуверенность в завтрашнем дне и страх перед грозящей опасностью вносят в наше чувство удовлетворенной гордости нечто тревожное и захватывающее дух. Мы лично предпочитаем блеску царствования Наполеона, как бы ослепителен он ни был, ту картину, которую представляла Франция в другие периоды своей истории; когда она соединяла спокойствие духа с силой, веру в свое будущее с полным обладанием настоящим, мужественную доблесть с длинным рядом традиций; когда она не испытала еще самого труднопоправимого несчастья, которое когда-либо может поразить народ,— утрату попечительной и освященной веками династии. Как не трепетать при воспоминании о ни с чем не сравнимой героической эпохе, если бы величие человека могло заменить величие старинных учреждений! История Наполеона явилась позднее легенды. Она и теперь медленно совершает свое дело, и мы не думаем, чтобы престиж колосса, появившегося на пороге девятнадцатого века, мог пострадать от свободного и тщательного изучения. К тому же содержание нашей книги не допускает всесторонней оценки Наполеона — не такова наша цель. Не много найдется писателей, которые стоят на высоте подобной задачи. Впрочем, пользуясь выражением одного из лиц, которые более всего сражались с Бонапартом, которые ненавидели его и восхищались им, судить его — значило бы хотеть судить мир![1] Наше желание,

---

[1] Достаточно будет назвать из новейших сочинений превосходные сочинения M. G. Pallain о Талейране, сочинение M. Pierre Bertrand, труд барона Ernuf о Маре, герцоге Бассано.

[2] Под покровительством Русского Императорского исторического Общества профессор Трачевский предпринял большое издание французских и русских текстов о сношениях обоих государств во время Консульства и Империи. Первый том, изданный в 1890 г., заключает в себе период с 1800 г. по 1803 г. Татищев напечатал в Nouvelle Revue (15 mai — 15 juin 1890) вместе с другими документами, взятыми из архивов Парижа и Петербурга, письма Александра I к Наполеону, от 1801 г. до 1808 г.

[3] Correspondance de Napolêon I-er, изданная по приказанию императора Наполеона III и трудами комиссии под председательством в последующей ее части по 1 сентября 1807 г. Е. И. В. принца Наполеона. Paris, Plon, 32 volumes in 1-8°.

[1] Pozzo di Borqo, Correspondance diplomatique, I, VIII.

более скромное, более отвечающее слабости наших сил, ограничивается тем, чтобы познакомить только с внешней политикой Наполеона, изучение которой и составляет нашу задачу, т. е. указать преследуемые ею цели и способы действия и восстановить свойственные ей черты в том виде, как их создали характер человека и необычайные требования времени; попытаться показать гения в его истинном свете как деятеля, ничего о нем не скрывая и предоставляя его делам заботу судить о нем и объяснить, и прославить его. Такова, нам кажется, единственная дань уважения, которая достойным образом может быть ему воздана — ее-то мы и хотели ему воздать.

Париж, июль 1890 г.

ВСТУПЛЕНИЕ

АВСТРИЯ, ПРУССИЯ ИЛИ РОССИЯ

После первых попыток заключить союз в царствование Павла Наполеон и Россия снова делаются врагами. — Аустерлиц. — В конце 1806 года война становится поединком. — Наполеон проникает на почву собственных интересов России. — Его взгляды на Восток. — Главное средство для разъединения его врагов. — Раздел Оттоманской империи. — Первые намеки Александру I. — Русский государь не поддается соблазну. — Новая политика России. — Султан Селим. — Наполеон старается оживить на Востоке конфликт между Австрией, Пруссией и Россией. — Знаменитый проект Телейрана. — Был ли он осуществим? — Разгром Пруссии. — Неоднократные предложения Австрии. — Предложение мира и союза Пруссии. — Фридрих-Вильгельм отказывается утвердить перемирие. — Наполеон вступает на славянскую почву. — Восстание Польши. — Турция оживает. — Наполеон предлагает Австрии сговориться с ним по поводу Польши и Востока. — Австрия держит в руках будущие отношения Франции и России. — Миссия Поццо ди Борго в Вене. — Он принят императором Францем и эрцгерцогом Карлом. — Безрезультатная аудиенция. — Отказ Австрии принять обязательства; причины ее поведения. — Русские в княжествах. — Первые военные операции в Польше; Пултуск. — Наполеон усиливает боевую и дипломатическую деятельность. — Турецкая и персидская диверсии. — Воззвание к мусульманам; великий канцлер Камбасерес и французские ориенталисты. — Обращение к Европе; стремление создать общественное мнение. — Послание Сенату. — Охранительная политика. — Наполеон и тайная дипломатия Людовика XV. — Донесение Талейрана. — Контраст между официальными разъ-

яснениями и интимными сообщениями министра. — Он не верит в возможность оживить Турцию. — Наполеон позволяет сделать некоторые намеки Австрии на случай возможного раздела Оттоманской империи. — Его разговор с бароном Винцентом. — Холодный и уклончивый ответ Стадиона. — Эйлау. — Критическое положение. — Восклицание Жомини. — Наполеон хочет победить путем переговоров. — Последнее предложение Пруссии. — Мечты о русском союзе. — Характер Александра. — Его приближенные. — Неустойчивость правительства в России. — Общность материальных интересов связывает Россию с Англией. — Знаменательная фраза Наполеона. — Косвенные предложения. — Пятьдесят первый бюллетень великой армии. — Требования, предъявленные Австрии. — Тождественная речь Поццо в Вене. — Вместо союза Австрия предлагает посредничество. — План Стадиона. — Восточный кризис затягивается. — Неудача англичан перед Константинополем. — Разочарование в Лондоне, С.-Петербурге и Вене. — Будущий конгресс. — Талейран верит в общий мир; Наполеон думает, что прежде всего необходимы сражение и победа. — Мир на барабане. — Непримиримая вражда коалиции. — Бартенштейнское соглашение. — Фридланд. — Русская армия не способна более сражаться. — Письмо Беннигсена. — Поручение, данное великому князю Константину. Ответ Александра. — Он внезапно решается на мир; какие причины склоняют его к этому. — Его встреча с прусским двором. — Внезапное влечение к Наполеону. — Мысль о союзе зарождается в его уме. — Косвенные приглашения императора. — Александр предлагает свидание. — Канун встречи в обоих главных штабах. — Намерения Наполеона и Александра.

I

Завоевав Италию и Германию, трижды победив Австрию, сведя на время к нулю Пруссию, Наполеон очутился лицом к лицу с Россией. Незадолго до этого он пытался заключить с ней союз, но смерть Павла прервала переговоры. Когда, чтобы положить предел его успехам, Россия вступила в Германию, она победила ее при Аустерлице. В следующем году, после сражения Иене, вынужденный в целях защиты продвинуться еще далее вперед, он проник на почву традиционного честолюбия и непосредственных интересов России. 28

ноября 1806 года он вступил из завоеванной Пруссии на славянскую землю; перевел свой главный штаб из Берлина в Познань, на порог Польши. 1 декабря он обратился к турецкому султану Селиму III с энергичным призывом, указывая ему на выгодный случай подняться против вечного врага Ислама и вернуть Оттоманской империи прежний блеск[1].

И тот и другой поступок отмечают в жизни Наполеона этап громадного значения — его насильственное вторжение в новый мир. Это — то время, когда он сталкивается по ту сторону покоренной Германии с восточной Европой, с той группой народов, которая простирается от берегов Балтийского моря до Босфора. Эти народы, различные по происхождению, религии, расе, вот уже целое столетие объединены общей опасностью — непрерывным расширением России. Этот сильный враг притесняет то того, то другого из них, гнет их под свое иго и подчиняет своему влиянию. В таком состоянии находит их Наполеон. Его появление подает им надежду и снова ставит перед ними вопрос о их судьбе: как будто назначением Наполеона было пробудить и довести до острого кризиса их старинную вражду с Россией. Объявляя введением континентальной блокады беспощадную войну морскому деспотизму англичан, он в то же время возбуждает на Висле и Дунае вопрос о делах Петра Великого и Екатерины II.

Как в бытность консулом, так и будучи уже императором, Наполеон всегда внимательно следит за смутами на Севере и Востоке и за всем, что творилось в этих странах. «Вот уже десять лет, писал он в 1806 г., как я слежу за польскими делами»[2]. Но Польша, поделенная и занятая врагами, задавленная, без правительства и личного представительства, до сих пор не была ему доступна; он мог рассчитывать на влияние в ней только придя с нею в непосредственное соприкосновение. Нельзя сказать того же относительно Турции и соседних с нею стран. На очень короткое время.— это было во время экспедиции в Египет,— Наполеон избрал себе Восток непосредственной целью; в последующие же

[1] Correspondance Napoleon, 13138.
[2] Ibid. 11350.

годы он главным образом видел в нем средство для диверсии и миролюбивых сделок. На этой почве он рассчитывал разъединить наших врагов и разрушить коалицию, похищая у нее одного из ее членов; он хотел сблизиться с одним из главных дворов, все равно с каким бы то ни было, и приобрести, наконец, союз с сильной державой, который был ему так нужен, чтобы господствовать на континенте и победить Англию.

На Западе как ненависть к революционной Франции, так и страх перед Францией-завоевательницей объединили против нас все государства и заставили умолкнуть их соперничество. Какой смысл препираться из-за Италии или Германии, когда общий враг держал в руках и ту, и другую добычу? На Востоке же, хотя борьба интересов и ослабела, она, однако, не прекратилась совсем и снова могла обостриться. В течение полувека на Востоке совершались важные события; там предусматривались дела, имеющие решающее значение. Казалось, что раздел Польши предвещал и подготовлял расчленение Турции. Турция, ослабленная, потерявшая значительную часть своих владений, подорванная в своем основании, истощалась и разрушалась. Провинции не повиновались уже столице, паши делались независимыми, народы восставали, и монархия султана представляла собой только собрание враждебных и разрозненных владений, в глубине которых шла беспорядочная борьба христианских национальностей. Очевидно, достаточно было малейшего толчка, чтобы вызвать крушение этой развалины. Существовало общераспространенное убеждение, что турки не переживут разразившегося над Европой кризиса. Между соседними государствами некоторые уже давно стремились к разделу, хотя в настоящее время не решались его ускорить, опасаясь вызвать в Европе новую причину для смуты и беспорядков; многие со страхом смотрели на предстоящий раздел, но тем не менее рассчитывали использовать его в своих интересах и в крайнем случае помешать тому, чтобы вследствие его не возросло могущество и благосостояние других государств. Не было кабинета, не было государственного человека, который не набросал бы проекта раздела и не держал его про запас, чтобы в случае надобности противопоставить его требованиям соперников. Не приходя к вооруженному столкновению, зависть и вожделения следили друг за другом и выжидали. В скрытом конфликте, который

существовал на этой почве между Петербургом, Веной, Берлином и Лондоном, Наполеон распознал трещину коалиции, и его политика была направлена к тому, чтобы, подобно клину, внедриться в эту трещину и расширить ее. Он хватается за носящуюся в воздухе идею раздела Турции, и открыто высказывает ее вовсе не для того, чтобы сейчас же ее осуществить, но чтобы, смотря по обстоятельствам, создать из него или приманку, или пугало. Он то одобряет, то осуждает его. Смотря по тому, с каким государством разговаривает и какое государство хочет обольстить, он то высказывается за скорое разрушение Турции, то ревниво оберегает ее.

В 1801 и 1802 годах, во время его первого сближения с Россией, обращаясь к царю Павлу, а затем к Александру I, он обращает их внимание на слабое и непрочное положение Турции, предсказывает неизбежное ее падение и указывает на раздел ее, как на связь, долженствующую соединить Францию и Россию. Он старается пробудить и подстрекнуть в Петербурге традиционные вожделения и пользуется для разговора с русскими языком Екатерины II: «Говорите об Екатерине II, — говорит он Дюроку, назначая его послать в С.-Петербург после смерти Павла,— как о государыне, которая предвидела падение Турецкой империи и сознавала, что русская торговля будет процветать только тогда, когда пойдет через Юг»[1]. Александр I остается глух к этим обольщениям и не поддается соблазну. Откладывая всякое территориальное завоевание, всякий раздел на Востоке, он предпочитает вернуться к борьбе с Францией, желая, чтобы Россия служила резервом для коалиции. Тогда Наполеон снова приступает к восточному вопросу, только с другой стороны, и делает его орудием против России. Будучи недавним врагом турок, презирая их, он обращается к ним, хочет быть их другом, старается предостеречь их против властолюбия России, которое, как бы ни прикрывалось уме-

[1] Tratchevski. c. 115. В своих разговорах с русским посланником в Париже, первый консул высказал, что Турецкая империя скоро разрушится сама собой, «так что останется только подобрать ее остатки». Ibid. 484, 485.

ренностью, не перестает быть из-за этого ни менее деятельным, ни менее настойчивым.

Хотя Россия, по-видимому, временно и отказалась от завоевательной политики Екатерины, но в действительности она только видоизменила способ действий. Говорили, что ее система состоит в том, чтобы попеременно быть или непримиримым врагом, или ближайшим другом Турции[1]. Павел I, затем Александр в начале своего царствования предпочли вторую роль первой. Для господства на Востоке они заменили грубую завоевательную систему мудрой системой протектората. Египетская экспедиция, восстановив против нас турок, бросила их в объятия России. Россия воспользовалась этим, чтобы подчинить их деспотическому союзу и властвовать в их империи. Сея интригу в Диване, подкупая министров, вступая в сношения с пашами, влияя на входящие в состав ее народы, она повсюду осторожно вводила свое влияние. Влияние, которое она имеет на Востоке в наши дни, не может идти в сравнение с тем, которое она приобрела в начале девятнадатого столетия, когда она одна охраняла право Румынских княжеств, неограниченно распоряжалась Черным морем, пропуская свои корабли мимо Сераля, свободно проходила в Средиземное море, держала на каждом острове Архипелага консула, который играл там роль вице-короля, группировала вокруг своих агентов тысячи покровительствуемых ею людей, обозначаемых под знаменательным именем греко-руссов, занимала Корфу, подстрекала к восстанию Морею и Албанию, эксплуатировала и притесняла Турцию, повсюду хозяйничала в ней и простирала над ней свою непрерывно возрастающую сень.

Однако в то время, когда все окружающие султана Селима или подчинялись, или продавались России, в то время, когда он сам притворялся, что тоже подчиняется ей, он чувствовал свое унижение и горел желанием стряхнуть с себя давящее его иго. Иногда он обращал свои полные надежды взоры к выступавшей на горизонте могучей Франции. С 1804 года Наполеон старался культивировать и укреплять в нем это тяготение. Он обращается к его достоинству, к его энергии: «Разве

[1] Эти слова были приписаны Бутеневу, русскому посланнику в Константинополь в царствование императора Николая I.

ты перестал царствовать? — писал он ему 30 января 1805 года... — Проснись, Селим! Призови в министерство твоих друзей; прогони изменников, доверься истинным своим друзьям... или ты потеряешь свою страну, религию и семью»[1]. Подобными пламенными речами и настойчивым дипломатическим воздействием надеялся он постепенно избавить турок от опеки Севера, затем в нужное время вызвать их на энергичное дело, бросить на фланг наших врагов и вернуться к прежней политике монархии.

Но диверсия, значение которой уменьшалось благодаря военному упадку турок, была только одной из услуг, которых он ожидал от Востока. Его постоянным желанием было воспользоваться этими странами, как средством нарушить согласие наших врагов. В восемнадцатом веке то Австрия, то Пруссия волновались при виде успехов России на Дунае и старались им помешать. Со времени революции французская опасность отвлекла их от русской опасности, но не заставила забыть о ней. Наполеон спрашивал себя, нельзя ли снова пробудить их недоверие к России, довести его до крайнего предела и снова привлечь к нам немецкие государства на почве сознания общей опасности? Он не считал эту задачу неосуществимой. От 1804 до 1807 года мысль войти в соглашение относительно Востока с Пруссией, а в особенности, с Австрией, периодически вдохновляет его дипломатическую деятельность. Эта мысль составляет в ней одну из существенных черт, самую искусную и, быть может, самую оригинальную. Ее выразителем делается министр иностранных дел Талейран. Она формируется в его депешах и циркулярах, но не менее рельефно выражается в письмах и разговорах самого императора. Ничто не позволяет утверждать, что этот остроумный политический взгляд принадлежит министру более, чем императору[2]. В 1805 году, почти накануне войны с Австрией, Наполеон приказывает написать австрийскому императору, «что сражаться осмысленно можно только из-за Турецкой империи»[3], и указывает на Восток, как на пункт для

[1] Corresp., 8298.
[2] См. Bailleu, Preussen und France ch von 1795 bis 1807, II 322, 360.
[3] Corresp., 9038.

сближения обоих государств и примирения их интересов. При всяком случае он старается доказать, что политика царя, подготовляя постепенно порабощение Турции, вредит Германии, вредит всему континенту не менее, чем Франции. В то самое время, когда Александр I выступает против него борцом за европейскую независимость, он принимает на себя роль защитника равновесия на Востоке от хищнических намерений России.

Был момент, когда Талейран по прозорливости и глубине мысли превзошел императора.

Это было в 1805 году, на другой день Ульма, накануне Аустерлица. Наполеон шел на Вену, а Талейран, устроившись со своей канцелярией в Страсбурге, как предусмотрительный дипломат, обдумывал условия будущего мира и средства сделать его прочным. Будучи наследником последних и самых трезвых традиций Версальского кабинета, он искренне желал примирения Франции и Австрии и видел в союзе этих двух империй залог спокойствия и устойчивости. Но, думал он, Франция и Австрия перестанут быть соперницами только тогда, когда потеряют всякую точку соприкосновения, иначе говоря, — возможность конфликта. Следовательно, необходимо, чтобы Австрия навсегда была отделена от Франции. Но так как она была изгнана из Италии и вышвырнута из Германии, то было весьма важно, чтобы она получила вознаграждение за все убытки, чтобы она вышла из борьбы успокоенной, утешенной, чтобы она возвысилась в собственных глазах. Только один Восток мог открыть ее честолюбию новое поприще. Толкая ее в эти страны, заставляя ее упрочиться в них и там восстановить свое счастье, Франция приобретала бы этим путем ту неоценимую выгоду, что поставила бы ее в положение постоянной вражды с Россией. Тогда Австрия стала бы смотреть на Восток и перестала бы враждовать с Францией; наоборот, для противодействия России и устранения ее с Дуная, она оперлась бы на Францию*.

При детальном разборе средств для выполнения этого плана Талейран предлагал предоставить Австрии

* По-видимому, этот план осуществляется вместо Франции Германией. (Прим. перев.).

Румынские княжества и Бессарабию и позволить ей дойти до устьев Дуная. Таким образом, ее территория, продолженная по прямой линии до Черного моря, вдвинутая между остатками Оттоманских владений и Россией, создала бы оплот против России. Ценой нескольких провинций Турция снова приобрела бы независимость и спокойствие, Россия же, задержанная со стороны европейского Востока, перенесла бы в другое место свое стремление к расширению. Действуя подобно Австрии, она сама собой отбросилась бы на Восток, все более внедрялась бы в глубь Азии и рано или поздно столкнулась бы там с Англией, владычицею Индии. Такая перестановка создала бы конфликт между нашими противниками, предупредила бы новые коалиции, обеспечила бы наши победы и разрешила бы «задачу самого прочного мира, какого только может желать разум».

Талейран развил эти взгляды в знаменитой записке[1] и затем в сжатой форме передал их в проекте о договоре. Оба документа показывают в нем одного из тех политиков, у которых, по выражению, приписываемому Шуазелю[2] «будущее всегда на уме». Несмотря на все это, можно ли упрекнуть императора в том, что он не редактировал условия Пресбургского мира согласно советам своего министра? Во-первых, он думал, — и будущее доказало, что он был прав, — что примирение с Александром I еще возможно, и не находил выгодным создать между Францией и Россией окончательной противоположности интересов. Кроме того, проект Талейрана, названный самим автором «политическим романом»[3], совершенно не был пригоден для немедленного осуществления, так как Австрия еще не сознавала своего призвания на Востоке и уклонилась бы от наших предложений. Оскробленная и озлобленная благодаря понесенным поражениям, рассматривая

[1] Анализирована Miqnet, Notices historigues, I; 199, Thiers VI. 342, M. Rambaud. Histoire de Russie, 568, выдержки цитированы M. Rallain, Correspondance de Talleyrand et de Louis XVIII, XX, XXI; опубликовано in extenso M. Pierre Bertrand в Revue historique (январь-март 1889) и в его труде под названием Lettres inèdites de Talleyrand á Napolèon, 156—174.

[2] Memoir sur les colonies. Прочтено в Институте 15 мессидора V года.

[3] Bailleu, II, 360.

мир, как передышку, только на словах отказываясь от своих немецких и итальянских провинций, она пришла бы в ужас от наших даров и отказалась бы удалиться на окраину Европы; в особенности, она побоялась бы скомпрометировать себя в глазах России, благосклонность которой в ее несчастье являлась для нее как бы защитой и убежищем. Следовательно, Наполеон вполне правильно оценил проект Талейрана, когда ограничился тем, что одобрил его идею, видя в нем указания для будущего и руководство для будущих отношений к Австрии, если будет продолжаться борьба с Россией. Он предвидел передвижение Габсбургского государства на Восток, желал его, но не считал возможным чересчур явно склонять его к этому, да и, кроме того, отнюдь не допускал этого без параллельного увеличения Франции, и в настоящее время ограничился только его подготовкой. Во время Пресбургских переговоров он приказал сделать австрийским уполномоченным коекакие, впрочем, безрезультатные, намеки по поводу того, чтобы предпринять совокупные завоевания на Востоке в случае, если бы Оттоманская империя разрушилась сама собой[1]. Пока же он старался заинтересовать Венский кабинет в событиях на Дунае, постоянно указывал ему на необходимость поддерживать слабеющую Турцию и оберегать таким образом будущую судьбу Востока.

В 1806 году по мере того, как намерения Пруссии делаются все более подозрительными, и предвидится новая кампания, разговор Наполеона с Австрией становится более ясным, более настойчивым. В октябре, когда он уже принял на себя командование своими войсками, он старается заручиться ее нейтралитетом в делах Германии, предлагая ей вести с ним переговоры «на основе сохранения и гарантии Оттоманской империи»[2]. Граф Стадион, первый министр императора Франца, «едва удостаивает ответа»[3] нашего посланника, и Австрия сосредоточивает в Богемии на нашем правом фланге угрожающую обсервационную армию. Громовой удар под Иеной расстраивает ее злой умысел. Уничтожив прусскую армию, прежде, чем идти против русских, Наполеон снова обращается к Австрии, предлагает ей распустить собранные ею войска, но в то же время возобновляет свои предложения и требует, чтобы она была или открытым нашим врагом или нашим союзником: «Вот момент, который *более никогда не повторится*,—пишет Талейран,—так как со дня на день могут начаться переговоры с Берлинским двором, следствия которых будут таковы, что не представится более возможности вернуться к системе австрийского союза»[1]. Действительно, Наполеон, которому надоели переговоры с Австрией, снова возвращается к только что разгромленной им Пруссии и старается увлечь ее в свою орбиту. Он предлагает королю Фридриху-Вильгельму III вернуть ему его владения при условии, если он согласится гарантировать вместе с ним против России «независимость и целость Оттоманской Порты»[2]. Но Фридрих-Вильгельм уже бросился в объятия России и призвал в прусскую Польшу армии царя. Он более не свободен и отказывается утвердить перемирие, заключенное его именем. Тогда император покоряется своей участи, продолжает продвигаться к Востоку, пробуждает грозные вопросы, сам вызывает тот кризис, за возникновением которого он до сей поры только следил, и, дотрагиваясь своей шпагой до восточной Европы, заставляет ее содрогнуться и подняться.

При виде наших войск Польша восстает. Французы принимаются как освободители. Познань, Варшава воздвигают им триумфальные арки. Знать выходит из своих замков, где она уже одиннадцать лет носит траур по родине, и отдает себя в распоряжение Наполеона. Снова появляются прежние костюмы, запрещенные эмблемы, польские национальные флаги: как будто дело шло о воскресении народа.

В Турции происходит подготовленный взрыв. В но-

---

[1] Wertheimer, Geschichte Oesterreichs und Ungarns in ersten Jahrzehnt des XIX Jahrhunderts I, 372.

[2] Талейран к Ларошфуко, посланнику в Вене, 20 сентября 1806 года. Все цитируемые в этой главе выдержки из писем, которыми обменивались князь Беневентский с нашими посланниками в Австрии, взяты из архивов министерства иностранных дел. Вена т. 379 и 380.

[3] Талейран к Ларошфуко, 7 октября 1806 года.

[1] Талейран к Ларошфуко, 24 октября. Gf. Armand Zetebvre Histore des cabinets de l'Europe pendant le Consulat et l'Empire, II, 352.

[2] Bailleu. II, 577.

ябре 1806 года генерал Себастиани был отправлен посланником в Константинополь с приказанием побудить Порту открыто занять независимое положение относительно России. Селим отчасти уже предусмотрел наше желание. Он предписал закрыть проливы и ограничил привилегии покровительствуемых. С приездом посланника он косвенно отменил русский протекторат над Княжествами, сместив их господарей без разрешения царя. Посланник Александра Италинский выходит из себя и протестует; он требует от Порты восстановления отрешенных господарей и говорит о немедленном своем отъезде. Напуганный его угрозами, обеспокоенный интригами Англии Диван сперва уступает и отменяет султанский указ об их отрешении, но Россия, ссылаясь на целый ряд обид, уже двинула свою армию в Молдавию и направляет ее к Бухаресту. Овладевая Княжествами, она хочет обеспечить себе залог против окончательной измены Турции и в оккупации их видит меру для сохранения своего влияния. Турция, давно приученная к покорности, колеблется между несколькими решениями до тех пор, пока известие о наших победах в Пруссии и о нашем победоносном шествии не кладет конца ее нерешительности. Министры, трусливые или подкупленные, все еще колеблются, но султан и народ стоят за энергичные меры. Они берут верх. Война объявлена. Селим отправляется во французскую главную квартиру посла с поручением вести с Наполеоном переговоры о трактате. Пробуждается религиозный фанатизм, вспыхивает ненависть к чужестранному, по Оттоманской империи проносится воинственный вихрь и на время сближает разрозненные члены этого огромного тела. Несмотря на то, что христианские народности волнуются и сербские мятежники, делаясь смелее, нападают на Белград, полунезависимые дунайские паши составляют союз, чтобы идти против русских. Паши Албании и Боснии, наши недавние враги, просят помощи у нашей Далматинской армии; регулярные войска собираются в Константинополе, Азия присылает резервы, и движение в Турции является как бы откликом на польское[1].

[1] Correspondance de Tugui, I, Les archives des affaires etrangéres. Mémoires de Pozzo di Borgo sur les causes de la rupture entre la Russie et la Porte. Архивы Поццо ди Борго.

Наполеон начал с того, что обсудил то и другое мятежное движение не только с точки зрения общей политики, но и как глава армии. Он посмотрел на Польшу и Турцию как на боевой материал и, не преувеличивая их значения, немедленно воспользовался им.

Из польских ополчений он организовал регулярные корпуса. Сделав Варшаву центральным пунктом мятежа, он распространил восстание по провинциям. В Турции он вступил в правильную переписку с Селимом, предложил ему договор, армию и офицеров, которые служили бы инструкторами в оттоманских войсках. Не довольствуясь обращением к султану, он хотел говорить с народами; дошел до того, что заставил французских ориенталистов под руководством великого канцлера Камбасереса сочинить и издать на турецком и арабском языках увещание и приказал распространить его по Востоку в десяти тысячах экземплярах. Это воззвание к мусульманам было представлено в форме прозопопеи[1]. Разговор шел от имени муэдзина, глашатая, голос которого всякий час раздается с высоты минаретов, напоминая правоверным о Боге и призывая их молиться. В его уста были вложены патетические упреки; его заставили напомнить об успехах России в течение целого столетия, указать на нее как на ожесточенного врага Ислама и призвать правоверных к беспощадной борьбе[2]. Такими-то средствами надеялся Наполеон возбудить деятельность громадного числа людей, двинуть их на Дунай и Днестр, отвлечь сюда часть русского войска и, следовательно, настолько же ослабить армии, которые Александр противопоставил бы нам на Висле. Но были ли способны эти, вызванные им национальные силы придти потом в порядок, приобрести прочное основание, сделаться устойчивыми, правильно поставленными государствами? Могла ли Польша возродиться, Турция переродиться? Возрождались ли они к жизни только искусственно или они будут в состоянии снова занять постоянное место в европейской системе и изменить ее в нашу пользу? Все это вопросы неизмеримой важности, непроницаемые и сложные, приступить к которым Наполеон еще не решался

[1] Примечание переводчика: Прозопопея — риторическая фигура, которою оратор вводит в свою речь вымышленное лицо и заставляет его говорить или действовать..

[2] Archives des affaires ètrangéres, Turguie suppléments.

и даже не решался предусматривать, какого решения они потребуют.

С поляками он говорил благосклонно, но загадками. Он заявляет, что он никогда не признавал раздела, но что Польша может ждать спасения только от Провидения и от самой себя; что, прежде всего, она должна доказать свою жизнеспособность, вооружившись поголовно и приняв участие в борьбе. Иногда в его уме бродят обширные и остроумные планы. Начиная с ноября, во время своего пребывания в Берлине, когда он искренне предлагал Фридриху-Вильгельму прекратить военные действия и заключить мир, он принимал меры к тому, чтобы принадлежащие прусскому королю польские провинции, которые оставались незанятыми во время перемирия, могли сделаться автономными. Он предназначал эти земли с прибавкой, может быть, еще Галиции для созидания в преобразованной прусской монархии господствующего элемента. Тогда Пруссия, отстраненная от Рейна, даже отодвинутая к востоку за Эльбу, но зато усиленная на Висле, сделалась бы скорее славянской, чем немецкой страной. Она унаследовала бы ту роль, которую наша прежняя политика предназначала Польше и которая состояла в том, чтобы поддерживать Турцию на Севере и служить оплотом против России. Таким образом, к Пруссии была бы применена система, рекомендованная Талейраном относительно Австрии, то есть имелось в виду отбросить ее на Восток, в некотором роде удалить из родины, заставить ее переменить политику вместе с ее интересами. Фридрих-Вильгельм отвергает наши предложения. Тогда Наполеон думает обойтись без него, лишить его престола, объявить падение его династии и поставить под другой скипетр германо-польское государство, которое он задумал создать. Было найдено вступление к декрету, в котором он объявляет миру, что Гогенцоллернский дом перестал царствовать, что главная причина к тому «роковая необходимость, чтобы между Рейном и Вислой существовало государство, неразрывно связанное интересами с Оттоманской империей, которое постоянно преследовало бы одну с ней цель и защищало бы ее на Севере в то время, когда Франция будет охранять ее в самых недрах оттоманских провинций»[1].

[1] Bailleu, II, 581.

Впрочем, хотя в принципе Наполеон и не отступает перед крайними последствиями своей победы, он тем не менее признает их пока только в виде предположения. В действительности он сознает, что он не свободен, что более важные интересы сковывают его решения. Австрия наблюдает за нашим правым флангом со своими все еще внушительными силами; ее войска совершенно свежи. Занимаемое ею положение дает ей возможность ударить нам во фланг, если русские устоят против нас на Висле и поколеблют наше счастье; если же русские отступят и завлекут нас во внутрь своей страны, она может зайти нам в тыл. Вмешательство нового врага может подвергнуть опасности победоносную, но удаленную от своей операционной базы Великую Армию, ослабленную вследствие хотя бы и завершившихся победами сражений, равно, как и вследствие необычайно быстрого движения, которое перенесло ее к берегам Вислы. Поэтому он думает, что следует, и даже более, чем когда-либо, устроить свои дела с Австрией и быть с ней в хороших отношениях. Но турецко-польский кризис представляет ту особенность, что в зависимости от хода дел он может сделать Австрию и нашей союзницей, равно, как и бросить ее в объятия наших врагов. Возрождение Польши на ее границе, заставляя Австрию беспокоиться за свои владения в Галиции, может внушить ей сильную тревогу, может быть, даже враждебные решения; с другой стороны, внезапное вторжение русских на Дунае, их вступление в румынские провинции, куда австрийская политика поставила себе за правило их не допускать, способно обратить ее внимание на опасность, к которой с некоторого времени относились слишком небрежно. Итак, следует успокоить ее насчет Польши и в то же время поддерживать и усиливать ее опасения на Востоке. Наполеон не будет терять из виду этих двух сторон вопроса. Едва устроившись в Познани, он обращается к императору Францу со словами примирения. Сперва намеками, а затем в более точных выражениях предлагает он ему отказаться от Галиции. Взамен он предлагает ему широкое возмещение в Силезии, в той чудной провинции, которую потеряла и оплакивала Мария-Тереза; да и то он не хочет навязывать этого обмена Австрии: он предоставляет ей полную свободу выбора, уверяет, что не примет никакого решения без

ее согласия и вручает ей будущее Польши[1]. В то же время Талейран приказывает возобновить в Вене предложение о соглашении относительно Востока[2], и в продолжение нескольких месяцев министр иностранных дел с искусством убежденного человека старается осуществить это соглашение. Наполеон предоставляет ему действовать. Хотя он не разделяет его принципиальных симпатий к Австрии и сохраняет к ее двору непреодолимое недоверие, хотя в сущности он считает его непримиримым и почти не ждет от него искренней перемены в отношениях, — все-таки ему теперь до крайности нужно отвратить его вражду; ради военных требований он согласен создать политическую систему. Рассматривая варшавские и в особенности константинопольские события в зависимости от их отношений к Вене, каждое решение относительно Польши и даже Турции он подчиняет мысли обеспечить себе в настоящем нейтралитет Австрии и, если возможно, ее союз в будущем.

В то же время, благодаря замечательному совпадению, взоры России, главные усилия и упования ее политики были направлены также к Австрии. Подобно Наполеону, Александр I сознавал, что нуждается в сильном союзнике. Со времени Аустерлица он более не верил, что его собственных сил, как бы внушительны они ни были, будет достаточно для уравновешения доблести наших войск, гения и счастья их вождя. Пруссия, сведенная к нескольким клочкам территории, могла предложить ему только ничтожное содействие. Надлежало сражаться не за одно с нею, а за нее, и как бы велико ни было желание Александра помочь ей и отомстить за нее, но порой, он не решался один начать кампанию, более грозную, чем предыдущие, ставкой которой была бы не только слава русского оружия, но и целость империи и сохранение прежних завоеваний. Он смутно сознавал, что если Австрия, единственное государство, которое было в состоянии оказать ему

[1] Corresp.. 11339.
[2] Депеша от 9 декабря 1806 года, Archives des affaires étrangeres, Vienne, 379.

существенную помощь, не воспользуется случаем соединиться с ним и дополнить европейское соглашение, он рано или поздно вынужден будет вести переговоры с нами, выслушивать Наполеона, имевшего склонность вести переговоры с каждым из своих противников в отдельности, будет вынужден отделить русское дело от дел Европы и отстаивать его за ее счет. Будучи еще противником такого решения, он надеялся избавиться от него путем дипломатической победы в Вене. Со стороны его правительства вся сила убеждения была направлена на получение содействия Австрии. Итак, благодаря своему географическому положению и взаимному положению воюющих сторон, Австрия, по-видимому, держала в своих руках судьбу Европы и судьбу будущих отношений между Францией и Россией. Смотря по тому, на чью сторону она перейдет, она продлит борьбу, изменяя ее характер и ее шансы; устранение же ее от участия могло привести к сближению и объяснению между противниками, не решавшимися вступить в бой один на один.

В то самое время, когда Наполеон отправлял в Австрию для изложения своих взглядов и предложений нового посланника генерала Андреосси, Александр I для воздействия на свою старую союзницу рассчитывал главным образом на графа Разумовского, своего представителя при ее дворе, дипломата с живым умом, сумевшего хорошо поставить себя в Вене и влиявшего на двор через посредство высшего общества. Однако важность обстоятельств требовала чрезвычайной миссии; ее доверили лицу, имя которого было замешано во всех распрях того времени. Корсиканец Поццо ди Борго добрался до самого Петербурга, в поисках свободного поприща для борьбы со своим знаменитым соотечественником, который сделался для него заклятым врагом. Он поступил на службу России и, как представитель ее интересов, вел теперь свою борьбу с Наполеоном; позднее ему суждено было оказать большую услугу разгромленной Франции. Император Александр, заметив в нем необычайные способности, нашел его пригодным для ускорения самых важных переговоров, которые тогда должна была вести Россия.

Умный, смелый, глубоко преданный делу, за которое он взялся, Поццо умел заставить «интригу служить

принципам»[1]. Он вносил в свою манеру вести переговоры такую силу слова и мысли, которая могла восторжествовать над австрийской нерешительностью. Он отличался редкой способностью проникать в тайные помыслы, верно оценивать существующее положение и указывать на решения, которых оно требовало; он нисколько не стеснялся говорить смелую правду тем, кого хотел убедить и кому хотел служить; он часто был доверенным лицом коалиции и никогда не был придворным льстецом. Сверх того, хорошо известный в Вене, он и сам знал в совершенстве светское общество и дипломатический состав этой столицы; он мог использовать свои космополитические связи в видах согласования своих действий с действиями других представителей и, по-видимому, лучше, чем кто-либо, мог говорить от имени всей Европы. Наконец, ненависть, которая подстрекала его природную горячность, его страстное желание добиться цели, казались лучшей гарантией его успеха. Нельзя было придумать ничего лучшего, как поручить личному врагу Наполеона заботу о том, чтобы убедить Австрию предпринять обходное движение, которое должно было застать врасплох императора, атакованного с фронта русскими, и поставить его, слишком верившего в свою звезду, в опасное положение.

Поццо приехал в Вену 13 декабря, несколькими днями позднее Андреосси. Он привез графу Стадиону длинное послание от русского министра иностранных дел, генерала барона Будберга, и два письма от императора Александра: одно императору Францу, другое эрцгерцогу Карлу, мнение которого считалось решающим во всем, что касалось австрийской армии. Первое было написано в сильных и торжественных выражениях. «Судьба мира, — писал царь Францу I, — будет главным образом зависеть от решения, которое примет Ваше Величество»[2]. Второе было лестным призывом к вмешательству эрцгерцога, которому обещалось открыть новое поприще для славы. Сначала Поццо несколько раз совещался со Стадионом. После многих

[1] Victor Cherbuliez. Revue des Deux Mondes du I-er mai, 1980.

[2] Adolf Beer, Zehn Jahre oesterreichischer Politik, 472. Этот автор дает текст писем к императору и эрцгерцогу Карлу. 472—474.

уклонений от обсуждения, смягчая свой отказ горячими уверениями, министр кончил тем, что сказал, что Австрия ввиду неудовлетворительного состояния ее вооружений, неполного восстановления ее военных сил и ввиду истощения ее финансов, не может тотчас же вмешаться в войну. Он подавал надежду, но отклонял всякое обязательство. Недовольный таким ответом, Поццо обратился непосредственно к императору и эрцгерцогу Карлу и был принят обоими; об этих аудиенциях он составил следующий характерный рассказ:

«Граф Разумовский и я, — пишет он своему двору, — были представлены Императору. Я вручил письмо Его Императорского Величества. Император сказал мне: «Я знаю его содержание, я просмотрел дело и прочел все бумаги, которые вы передали Стадиону. Он, вероятно, сказал вам, что теперь я не могу вести войны». Я ответил, что я получил это сообщение с чувством глубокой скорби, ибо знаю, что Его Императорское Величество, мой государь, думает, что настоящий момент представляет выгоды, которые, может быть, никогда более не повторятся, и, что выжидая время, Его Величество, вместо того, чтобы уменьшить затруднения, значительно их увеличит. Император сказал: «Я вполне уверен в чувствах вашего государя; я всегда буду его сердечным другом, у него такие благородные мысли!». Я ответил, что такая искренняя и счастливая взаимность может только способствовать благу обеих империй, но, чтобы сделаться продуктивной, она требует некоторого увеличения сил и фактического содействия. Тогда Его Величество сказал: «Мне нужно выиграть время; у меня во всем большие недочеты, император Александр сам знает, в каком виде оставил он меня год тому назад. Если я объявлю войну, я должен ожидать, что мне придется иметь дело со всеми силами Бонапарта, я рискую быть раздавленным и тогда для вашего же государя будет хуже: ему больше не на кого будет рассчитывать». Я заметил, что такое предположение невозможно, и, чтобы убедиться в этом, следует только взглянуть на расположение армий. Тогда Его Величество сказал: «Я неоднократно, но безуспешно сражался вместе с союзниками: в данном случае нужно рассчитывать только на самого себя». Тогда заговорил граф Разумовский: «Следовательно, Ваше Величество не предполагает, что Бонапарт будет вынуждать вас принять его сторону и что в случае от-

каза он нападет на вас». Император ответил: «В таком случае само собой разумеется, что придется сражаться, и сражаться отчаянно; при такой крайности сражаются лучше». Я выразил надежду, что Его Величество не будет ждать такой крайности, на что он ответил: «Я откровенен: я буду воевать, как можно позднее».

«Мой разговор с эрцгерцогом Карлом был более однообразен. Кланяясь до земли, он сказал, что глубоко тронут милостью Его Императорского Величества, соблаговолившего вспомнить о нем: что Его Величество, будучи сам солдатом, принимает участие во всех лицах своего звания. Я ответил, что действительно, это почетное звание служит большой рекомендацией в глазах Его Величества, но что Его Высочество имеет еще особые права на уважение моего государя в силу блестящей и заслуженной репутации, которую он приобрел своими победами; — опять низкий поклон. — Я желал бы, чтобы Его Величество был убежден, что вся заслуга исключительно принадлежит армии. — Я сказал, что Его Величество не может не знать, какое благотворное влияние на поведение армии оказывают талант и мужество Его Высочества, что убеждение в этом и вытекающие отсюда важные соображения побудили Его Императорское Величество включить в число важнейших средств для спасения обеих империй и Европы вообще использование его талантов. Когда я хотел приступить к делу, он прервал меня, сказав самым смущенным тоном: «Я не могу... Его Величество Император... это меня не касается». Чтобы понять его смущение, я спросил его, нет ли известий из армии. Он ответил, что его уведомили о бывшей на берегах Нарева перестрелке, но без серьезных последствий; что до сих пор только корпус Даву перешел Вислу. Я воспользовался оборотом разговора, чтобы сказать ему, что в настоящее время наша армия привлекала все внимание и занимала все силы Бонапарта, что Его Королевское Высочество во главе австрийцев мог бы... Тогда он опять смутился и прервал разговор, повторив, что только Император, его брат, может выслушивать подобные вещи; он тотчас же с глубокими поклонами отпустил Разумовского и меня»[1].

Итак, эрцгерцог уклонялся: император с горечью признавался в своем бессилии; министр, по-видимому, был хорошо расположен, но говорил, что его удерживают и парализуют затруднения внутреннего характера. Поццо, отовсюду выпровооженный, с грустью констатировал невозможность увлечь в настоящее время Австрию. Следовало ли ему заключить из этого, что Австрия расположена выслушать наши предложения и окончательно изменить общему делу? Он отнюдь не оскорблял ее подобным подозрением, и, если бы он мог слышать разговор, который вели между собой Стадион и Андреосси в кабинете австрийского министра, он был бы более спокоен. Австрия приняла наши предложения так же, как и предложения России, — вежливо, но уклончиво. Она отказалась от обмена Галиции на Силезию, но не отклоняла мысли о союзе в будущем. Давая ничего не значащие обещания Поццо, она отправляла подобные же со специальным послом, бароном Винцентом, к Наполеону в Варшаву, где император только что устроил свою главную квартиру; одним словом, она ни во что не хотела вмешиваться, ни связывать себя с кем бы то ни было обязательствами[2].

За данными ему объяснениями и выставленными предлогами к бездействию, Поццо очень скоро открыл истинные причины такого поведения. Стадион в беседах с ним неоднократно с досадой высказывался по поводу разрыва России с Портой и занятия ею Княжеств. Он считал эту меру несвоевременной, ибо она отвлекала часть русских войск от борьбы с Францией, и сверх того опасной, так как она могла увлечь Россию против ее воли в систему завоеваний, невыгодных для Австрии. Тщетно в силу формальных инструкций заявлял Поццо о бескорыстии России, о ее желании путем временного занятия Княжеств произвести только давление на Порту и вырвать ее из-под французского влияния. Несомненно было, что возникновение сверх польского еще и восточного вопроса причиняло неудоволь-

[1] Письмо к Будбергу, 14—26 декабря 1806 года. Архивы Поццо ди Борго.

[2] Поццо к Будбергу, 14—26 декабря 1806 года. Архивы Поццо ди Борго. — Андреосси к Талейрану, 14 декабря 1806 года.

ствие Австрии и, ставя ее между двух опасностей, между двух опасений, которые влекли ее в разные стороны, способствовало ее сдержанности. Но не это было главной причиной ее тщательно рассчитанного бездействия. В действительности Австрия в душе была с нашими врагами; она желала их торжества и, если бы посмела, присоединилась бы к ним, но она не верила в их успех и боялась Наполеона. Она опасалась, что при малейшем преждевременном проявлении враждебности завоеватель обратится против нее и прежде, чем двинуться против других противников, докончит ее разрушение. Эрцгерцог отнюдь не хотел компрометировать в борьбе с Наполеоном свою, приобретенную в течение долгого времени и заботливо охраняемую военную репутацию; император дрожал за свою корону и существование своего государства; венская аристократия за свою безопасность и богатства, и страх — Поццо, не колеблясь смело сказал это слово — заставлял молчать ненависть. «Достоверно, — писал он, — что тайные намерения кабинета направлены против Франции; враждебность австрийцев — естественное чувство, которого невозможно скрыть; она результат понесенных потерь и неудач; но страх леденит их сердца: не хотят сознаться в этой постыдной причине, но она-то и есть главный источник их поведения[1]. Существует только одно средство заставить Австрию действовать: победоносно бороться против Франции и доказать, что Наполеон может потерпеть неудачу. «Принимаемые Вашим Императорским Величеством меры, прибавляет Поццо, обращаясь к царю, будут полярной звездой этого двора и термометром его мужества[2]. Устремив взоры на на театр военных действий, на равнины Польши, на сеть рек Вислы, Буга, Нарева, где маневрируют в погоне друг за другом враждебные армии, Австрия выжидает, чтобы достаточно решительные столкновения дали ей указания, оправдали ее опасения или возбуди-

[1] 14—26 декабря 1806 года. Архивы Поццо ди Борго. Эта депеша приведена в русском сочинении А. Васильчикова о Роде Разумовских. IV, 279. Со своей стороны, Андреосси писал: «Венский двор старается не оскорблять ни Франции, ни России, но очевидно, что он более склонен к России». 14 декабря 1806 года. Gf. Adair. Historical memoir of mission to the courf of Vienna in 1806, 157—169.

[2] 8—20 марта 1807 года. Архивы Поццо ди Борго.

ли ее надежды; ее последующее поведение будет зависеть от военных событий.

Русские заняли позиции позади Варшавы. В декабре Наполеон двинулся против них, взял с боя их оборонительную линию и разбил их при Царнове, при Голымине и Солде; искусные маневры должны были отдать в его руки всю их армию, но свойства почвы, неблагоприятное время года, дожди, снег, оттепель мешали быстрым движениям наших войск. Наши солдаты с трудом двигались по непролазной грязи. Туманы этих печальных стран скрывали от них движения противника; Лан натолкнулся на значительные силы русских у Пултукса и едва отбился от них. Вместо того, чтобы сражаться с закрытыми глазами, Наполеон предпочел прекратить военные действия и поставил свою армию на зимние квартиры. Солдаты Беннигсена, бросив часть артиллерии, могли отступить почти в полном порядке; в столкновении с Наполеоном они спаслись от поражения, что было для них почти равносильно победе[1].

Имея в виду, что сопротивление России, обещая быть упорным, могло поднять дух Австрии и увеличить число наших противников. Наполеон счел необходимым пустить в ход все свои боевые и дипломатические средства. Он хотел охватить великую империю непрерывной цепью врагов и поднять их в целях диверсии на всем протяжении ее границ. В то время, когда он сооружал на Висле целый ряд грозных укреплений и подготовлял на весну наступление, когда усиленно организовал польские корпуса, он старался распространить возмущение в русских провинциях на Волыни и в Подолии, и сформировать там мятежные банды. Этой авангардной Польше предназначалось служить связью между Великой Армией и оттоманскими войсками, которые, прогнав русских из Княжеств, должны были бы выступить из долины Дуная, подойти к Днестру и подняться на Север. Для ускорения этого движения Наполеон отправляет во все стороны агентов и шпионов, устраивает в Виддине центр сношений, старается завязать непосредственные сношения с пашами и с сербами. Он задумывает перенести свою армию из Далмации на низовья Дуная: по его мысли, тридцать пять тысяч

[1] Thiers, VII, 300—323.

французов будут служить поддержкой мусульманским бандам во время их наступления; они составят прочное ядро для их неуравновешенной массы. Наполеон выражает желание, чтобы у турок на Черном море был флот для того, чтобы тревожить берега России и нападать на Крым; он указывает на Севастополь, как на уязвимую пяту колосса. Даже Азия должна оказать содействие нашему движению. Его агенты подкупают пашей Армении и убеждают их сделать нападение на Кавказ. Подготовляется союз с Персией. Следует, чтобы опутанная сетью русских интриг Персия, которую Россия постепенно, но непрерывно лишала ее владений, пришла бы в себя, прониклась самосознанием, поняла, что наступило благоприятное время для возмещения своих потерь. В предстоящей борьбе с северным государством Турция должна составлять наш правый, Персия крайний правый фланг[1].

Но восточный вопрос все-таки остается для Наполеона главным образом политическим средством. Он хочет воспользоваться им для того, чтобы направить против самой России ту самую коалицию, которой она ему угрожает. Он ставит его в ряду очередных дел Европы. Обращаясь ко всем государствам — к нейтральным непосредственно, в особенности к Австрии, и косвенно к враждебным, то есть к Пруссии и даже к Англии, — он силится доказать им, что, препятствуя России проложить себе путь через Турцию к Средиземному морю, он сражается за общее дело. Чтобы заинтересовать и убедить их, он разнообразит свои средства, пускает в ход все пружины, которые могут иметь влияние на правительства и взволновать общественное мнение. Он заставляет говорить дипломатию и прессу, внушает депеши, циркуляры, составляет прокламации, приказывает издавать сочинения и печатать статьи. Распространяя разными способами свои мысли, он в то же время в сжатой форме излагает их в торжественном документе. 17 февраля 1807 года созывается в Париже Сенат; он получает из Варшавы послание, сопровождаемое донесением министра иностранных

[1] Corresp., 11651—69—71, 11734—38. Талейран к Себастиани, 20 января 1807 года. Cf. l'étude de M. Boppe sur la Moission de l'adjudant-commandant. Mériage a Widdin. (Annales de l'Ecole des sciences politiques, 15 апреля, 1886 г.

дел; это послание одновременно обращение к Франции и манифест к Европе.

«Кто может, — говорится в нем, — исчислить продолжительность войн и количество кампаний, которые придется сделать, чтобы исправить бедствия, могущие проистечь от потери империей Константинополя, если любовь к нему и расслабляющие наслаждения великого города возьмут верх над советами мудрой предусмотрительности? Мы оставим в наследство нашим потомкам длинный ряд войн и бедствий. Если византийская тиара вознесется и восторжествует на протяжении от Балтики до Средиземного моря, нам придется быть свидетелями, как тучи варваров и фанатиков будут нападать на наши провинции. И если в этой несвоевременной уже борьбе погибнет цивилизованная Европа, наше преступное равнодушие справедливо вызовет нарекания потомства и будет названо в истории позором»[1].

В донесении министра высказывается и развивается та же самая мысль, правда, с более умеренным красноречием. Наполеон устами министра говорит в нем таким языком, которого нельзя было от него ожидать. Для пользы своего дела он берет за образец и усваивает себе ту охранительную политику, которую к чести ее, формулировала монархия во время своего упадка, но которой по своей слабости, не сумела провести в жизнь. Властно, перед лицом всего мира, повторяет он то, что тайные агенты Людовика XV нашептывали государствам, то, что говорили им Людовик XVI и Верже́н; завоеватель как о непреложной истине, говорит теперь о необходимости поддерживать приобретенные права и существующие государства и обуздывать порождающее смуты честолюбие. Крайне мудро указывает он в разделе Польши, в этом первом ударе, нанесенном государственному праву, первоисточник всех зол, удручающих Европу. Он говорит, что разрушение Турции, если его допустить, подготовит еще большие бедствия: что теперь Франция проливает свою кровь, сражается за триста лье от своих границ ради спасения Турции, ради восстановления ее неприкосновенности и независимости; что Европа должна признать в ней главного борца за ее дело и защитника ее прав[2].

[1] Corresp., 11722.
[2] Moniteur от 18 февраля 1807 года.

Донесение подписано Талейраном, и нет никакого сомнения, что как содержание, так и форма его подсказаны министром. Но был ли этот осторожный политик, этот бесподобный редактор настолько же убежден, как искусен и красноречив? Верил ли он искренно в возможность сохранить Турцию, создавая из этой, восстановленной во всех ее правах империи, одну из основ преобразованной Европы? Обращаясь к тому, что он писал по этому поводу, подмечаешь странное несоответствие между его официальными и частными сообщениями.

31 января 1807 года Талейран писал в Париж начальнику отделения в министерстве Готриву, извещая его об отправке послания и донесения. При этом он давал ему указания по поводу способов создать движение общественного мнения в пользу принципа, провозглашенного императором, и оказать на умы необходимое давление. «Посылаю вам, — говорил он, — статью, которую вы прикажете напечатать в одном из маленьких журналов; прикажите написать вторую статью в том же духе для другого журнала. Необходимо, чтобы эти статьи были напечатаны на другой день после заседания Сената и в тот же самый день, когда официальные бумаги будут напечатаны в Moniteur. Вы понимаете, что ни на один день нельзя откладывать печатания этих статей для того, чтобы не позволить журналам взять ложное направление». «Главная цель заключается в том, — писал Талейран в предшествующей фразе, — чтобы дать почувствовать, что император, делая все для восстановления мира, должен желать только прочного и продолжительного мира... Император желает существования Оттоманской империи именно ради того, чтобы упрочить мир; он желает ее существования для того, чтобы другие не обогатились за ее счет и не сделались опасными для своих соседей; он желает сохранить нашей торговле на Юге главный и единственный источник ее процветания. В этом отношении сохранение Оттоманской империи занимает первое место среди наших интересов, Его Величество никоим образом не может ее покинуть...»[1]

Эти слова дышат искренностью. Но шестью днями раньше, 25, Талейран секретно писал Готриву, который давал ему ответ о принятых мерах по составлению воззвания, предназначенного оживить рвение мусульман. «Вы отлично делаете, что придерживаетесь официальных указаний, данных вам великим канцлером. Впрочем, я думаю, что ничто не может оживить Оттоманскую империю. По моему мнению, она погибла, и вопрос сводится только к тому, чтобы знать, какую долю получит Франция при ее разделе, который непременно состоится в наши дни. Я вижу во всем этом только одно хорошее, так как вообще думаю, что всякое отвлечение, как бы маловажно оно ни было, превосходная вещь. Сознательно или нет, но ни Австрия, ни Пруссия, ни даже сама Турция, ни Англия не интересуются Оттоманской империей».

Итак, министр вовсе не думал, чтобы идея охранительной — по отношению к Турции — политики, могла когда-либо служить связью между императором и каким-либо государством. Верный своему проекту 1805 года, он полагал, что сближение может быть достигнуто только ценой громадных перемен на Востоке, скомбинированных таким образом, чтобы создать между Францией и какой-либо из ее соперниц общность существенных интересов и связать их честолюбивые стремления. И в этот раз, несмотря на официальные заявления, Наполеон не был против взглядов министра. Он выбрал защиту Турции только как почву для соглашения с другими государствами. Защита Турции была в его глазах только средством, а не целью. Если бы ему представили убедительные данные, что, предлагая какому-нибудь из европейских дворов раздел Турции вместо ее сохранения, он вернее сблизится с ним, он не отказался бы вступить на этот путь. Мысль о разделе, промелькнувшая в его уме в самом начале его карьеры и появившаяся снова в начале 1807 года, делает менее неожиданной перемену его взглядов в Тильзите. В настоящее время в силу его отношений к России, он может обратиться только к Австрии. Необходимость привлечь ее на свою сторону делается более настоятельной по мере того, как возрастают трудности нашего военного положения. До сих пор Австрия была глуха к нашим просьбам и убеждениям, но, быть может, думал он, приманка материальной выгоды, территориального расширения сделают ее менее нечувст-

[1] Archives des affaires étrangères. Turque, supplements. Следующее письмо взято из того же источника.

вительной. Поэтому Наполеон разрешает Талейрану подвергнуть испытанию восточные вожделения Австрии, и в то самое время, когда он, видимо, возводит в политический догмат неприкосновенность Турции, он позволяет намекнуть Австрии о возможности ее раздела.

Барон Винцент, отправленный Австрией в качестве уполномоченного и соглядатая, приехал в Варшаву 8 января 1807 года с дружеским и неясным по смыслу письмом от своего государя к Наполеону. Наполеон принял его хорошо, обсуждал с ним всевозможные текущие вопросы, объявил о своем намерении вернуть прусскому королю все его владения, за исключением провинций, расположенных на левом берегу Эльбы, и обещал никоим образом не восстановлять Польши; затем, дойдя до главного вопроса, он заговорил о Востоке, об опасности, которая быстро надвигается с этой стороны на Габсбургскую империю, благодаря честолюбию России, ее непрерывным успехам и силе притяжения, которую оказывает она на своих единоверцев на Востоке. «Придет время, — сказал он, — когда я явлюсь перед Веной со стотысячным войском для защиты ее от нашествия русских»[1]. А пока, говорил он, он не будет препятствовать Австрии принимать меры для своей безопасности и защиты своих интересов. Когда барон Винцент упомянул о Сербии и Белграде, ему было отвечено, что захват Австрией этой крайне важной области не будет встречен с неудовольствием; но, так как существовали еще особые причины щадить оттоманское самолюбие, то Австрии не следует официально водворяться в Белграде: она могла бы проскользнуть туда путем обмана, переодев своих солдат турками или сербами[2]. На письмо императора Франца Наполеон ответил письмом же, в котором было сказано, «что русское могущество, основанное не на силе армии, а на силе ее влияния на ее единоверцев, приведет когда-нибудь к скреплению уз между Австрией и Францией»[3].

В продолжительном разговоре Талейран взял на себя труд выяснить эту фразу барону Винценту. Не переставая выражать положения о сохранении Турции,

[1] Beer, Zehn Jahr oesterre ichisher Politik, 268.
[2] Ibid.
[3] Corresp., 11670.

он сказал, что не отказывается предвидеть тот случай, когда по общему соглашению признают, что Турция не может долее существовать. Ввиду такого предположения он указал на необходимость сговориться теперь же, намекнул на требования, которые могла бы предъявить Австрия, дал понять, что Франция расположена поддерживать их и что в этом отношении слова императора должны быть рассматриваемы как поощрение. «Я дал заметить барону Винценту, — писал он Андреосси, — что письмо императора Наполеона более входит в существо вопросов, которые интересуют оба правительства, чем письмо австрийского императора. Я настаивал на этом замечании, потому что первое слово барона Винцента было, что мы не идем им навстречу, а остаемся позади. Внимательное чтение письма императора Наполеона доказало противное. Попросту говоря, оно даже поставило нас в положение двух лиц, когда при встрече первый едва кивает головой, а второй уже сделал два шага вперед. Несомненно, второй лучше выразил намерение и желание сблизиться».

«По тщательном и всестороннем рассмотрении обоих писем в указанном смысле я сказал барону Винценту, что политика императора не похожа на политику Венского кабинета; она меняется сообразно обстоятельствам, она однообразна и устойчива. Венский же двор, наоборот, после разговоров о союзе, тотчас же отдалил его осуществление, создавая несуществующие препятствия из войны, возгоревшейся между Францией и Пруссией. Я добавил, что Император ради более тесного сближения между обеими империями упорно преследует намерения, о которых заявил. Я пошел даже еще далее. Я дал понять барону Винценту, что именно дела Оттоманской империи и составляют истинную причину нынешних затруднений. Я предложил ему составить на всякий случай договор, предметом которого было бы гарантировать независимость и неприкосновенность турецкой империи, если бы оказалось средство сохранить ее или же сговориться и придти к соглашению по поводу того, как поступить в интересах обоих государств с ее остатками, если бы было доказано, что нельзя сохранить ее в целости, подобно тому, как нельзя починить разбитое вдребезги зеркало»[1].

[1] Талейран к Андреосси. 24 января 1807 года. Cf. la lettre de Talleyrand á Napolèon du 4 avril 1807, P. Bertrand; 410.

Это важное сообщение застало Венский двор под впечатлением последних военных событий. Русские бюллетени существенно извратили их значение. Из почетных сражений они создали выдающиеся успехи; по поводу Пултуска они пели победные гимны. Эти неожиданные известия вызвали в Вене взрыв радости и воинственный задор. Сторонники войны подняли голову, доказывали, что Наполеон почти побежден, и что настал благоприятный момент довершить его поражение. Император стал менее робким, эрцгерцог Карл, видимо, колебался. Поццо возымел надежду и возобновил свои усилия. Хотя кабинет не поддавался еще общему увлечению, но испытывал величайшее желание отдаться ему. В силу этого он вынужден был более, чем когда-либо избегать входить с нами в какие бы то ни было обязательства и, не прекращая переговоров с нами, откладывать свое решение. Он ответил на наши новые предложения канцелярским слогом. Стадион составил туманную запутанную ноту, в которой мысль скрывалась под искусными недомолвками. Однако, можно было разобрать в ней теорию, на почве которой Австрия, по-видимому, устанавливала свой взгляд на дела Востока; в принципе она ничего не желает, ничего не требует и вмешается только в том случае, если расширение других государств заставит ее потребовать компенсации и восстановить равновесие; пока же она отказывалась от предъявления какого бы то ни было требования и уклонялась от всякого почина[1].

Австрийская нота не застала уже Наполеона в Варшаве; ее должны были направить на биваки на нижней Висле, и она дошла по назначению только после большого военного дела. Внезапное вторжение русских по направлению к Торну и Данцигу заставило императора сняться с зимних квартир и снова выступить в поход. Нападая на его левое крыло, враги подставили ему фланг. Он надеялся воспользоваться их неосторожностью и нанести им поражение. Неожиданное обстоятельство — перехваченный приказ, разрушило его план. Вовремя предупрежденный, Беннигсен прекратил свое движение и с боем отступил. Так как наши войска упорно его преследовали, он стал фронтом к Кенигсбергу и рискнул дать сражение: то было Эйлау. В этот

[1] Archives des affaires ètrangères, Vienne, 38

день, когда бой достиг небывалых ужасов, когда две армии, не видя друг друга, благодаря сумрачной погоде и густой пеленой валившему снегу, взаимно истребляли друг друга и безрезультатно совершали чудеса героизма. Наполеон испытал очень тяжелое чувство, чувство сознания, что его счастье колеблется. После двенадцатичасовой резни неприятель едва подался. Только рассвет другого дня осветил покинутые им позиции и показал, что поле битвы осталось за нами. Привыкнув к победам иного рода, Великая Армия безмолвно подсчитывала свои потери. Несмотря на веру в себя и своего вождя, ее угнетала мучительная тоска. Окружающие Наполеона нисколько не заблуждались относительно возрастающей опасности; они взвешивали впечатление, какое произведет на Европу этот смертоносный и нерешительный день и сознавали, что наступило время, благоприятное для предательских нападений. Не зная тайных переговоров, начатых с Австрией, каждый спрашивал себя, не нападет ли на наш тыл этот плохо замиренный враг. Во время сражения швейцарец Жомини, служивший в наших рядах, но следивший за переменами битвы с равнодушием иностранца, видя, как наши колонны таяли под огнем, а русские, оставаясь неподвижными, не пользовались своим выгодным положением, воскрикнул: «Ах! Если бы я был Беннигсен!» Вечером же на биваке он сказал: «Ах! Если бы я был эрцгерцог Карл!».

В этом критическом положении Наполеон был верен самому себе: деятелен, изобретателен, полон душевной силы и находчивости. Сделав вид, что преследует неприятеля и несколькими переходами вперед скорее провозгласив, чем доказав свою победу, он отступил на Вислу и занял оборонительную позицию. В то же время, чтобы обеспечить свой тыл, он торопит осадой Данцига и призывает к себе резервы. Одновременно он повсюду начинает вести переговоры. Не чувствуя себя самым сильным, он хочет быть самым искусным; он хочет путем переговоров добиться победы, которой до сих пор не дала ему война. Он делает множество попыток, чтобы разъединить своих явных и тайных врагов, сблизиться с кем-либо из них и предупредить угрожающую ему коалицию. Он надеется подобным способом снова овладеть и управлять фортуной.

Все еще ожидая, но не получая ответа Австрии, он сперва обращается к Пруссии. Через шесть дней после

сражения он посылает своего флигель-адъютанта генерала Бертрама к Фридриху-Вильгельму с новым предложением возвратить ему его владения, лишь бы он согласился отделиться от России и примкнуть к нашей политической системе. «Нужно действовать, — говорилось в инструкциях генералу Бертрану, — то суровостью, то кротостью»[1]; нужно дать почувствовать Бранденбургскому дому возможность лишения престола и полного уничтожения Пруссии, но при этом указать, что для него существует средство спасения и что оно состоит в том, чтобы броситься в наши объятия и договориться с нами о «вечной дружбе»[2]. Под страхом гибели Пруссия должна принять наш союз. Но не смущаясь угрозами, не уступая убеждениям, Фридрих-Вильгельм отказался покинуть своих союзников. Офицер, которому было поручено отвезти его ответ, заметил, что император, читая его, плохо скрывал свое нетерпение и озабоченность. «У него был вид человека, — писал он, — ум которого ужасно встревожен, что делало его рассеянным и заставляло часто повторять одно и то же»[3].

Спустя несколько дней Наполеон получил, наконец, австрийскую ноту. Он ее прочел, перечел, но тщетно старался уловить мысль, которая была скрыта в умышленно неясно составленном тексте. «Я ничего в ней не понимаю, — нетерпеливо писал он Талейрану, — не знаю, какой ответ вам дать... Чего хочет австрийский дом? Не знаю. Хочет ли он вести переговоры, чтобы гарантировать неприкосновенность Турции? Я на это согласен. Хочет ли он договора, согласно которому оба государства действовали бы заодно для получения соответствующего вознаграждения в том случае, если бы Россия вознамерилась усилить свое влияние или получить земельное приращение в Турции? Это может еще состояться. Наконец, хочет ли австрийский дом извлечь что-нибудь из этого дела? Хочет ли стать на сторону того, кто ему доставит выгоду? Чего хочет он? Я ровно ничего не понимаю[4]. Тем не менее, он приказал Талейрану продолжать переговоры с бароном Винцентом, постараться разгадать его мысли, в случае надобности

---

[1] Corresp.. 11810.
[2] Ibid.
[3] Bailleu, II. 586—588.
[4] Corresp., 11918.

увеличить наши предыдущие предложения, дойти до предложения части Силезии без всяких условий; главная цель, которой нужно достигнуть, это продлить бездействие Австрии.

Хотя император не теряет надежды на возможность поддерживать нерешительность Австрийского двора, он ничуть не делает себе иллюзий, если и допустить, что он когда-либо их имел относительно возможности заключить с ним серьезный и прочный союз, найти в Вене свою точку опоры. Где же он ее найдет? Ввиду такой все более угрожающей ему задачи, ему приходит на ум новая мысль. Русская армия только что убила несколько тысяч его солдат и некоторых из лучших его офицеров. Он страдал от жестоких потерь, искренно оплакивает героев и утрату стольких драгоценных жизней; но питает ли он чувство мести к виновнику всех этих зол, возрос ли его воинственный пыл? Ничуть: он восхищается своим противником. Он теперь совершенно верно оценивает Россию и думает, что, если бы только ему удалось с ней сблизиться, она могла бы лучше, чем какое-либо другое государство помочь ему удержать Европу под своей властью и поднять ее против Англии. Необычайное понимание своих выгод, то стремление к истинно полезному, которое, не препятствуя возникновению в его душе всяких других чувств, подчиняет их своей воле, внушает ему желание завладеть оружием, которое его только что ранило; и вот на другой день после Эйлау в его уме зарождается идея о франко-русском союзе.

Но не мечта ли, не неуловимая ли химера этот союз? Как перейти от войны с Россией к задушевной дружбе, от ожесточенной борьбы к общему делу? Правда, некогда первый консул поддерживал с царем Александром непосредственную, почти дружескую переписку. Заметив в Александре либеральные философские идеи, которыми он отличался от других государей своего времени, Бонапарт старался льстить его стремлениям, ласкать его мечты. Одно время он думал, что нравственно овладеть им и держать его в своих руках, но непостоянный и изменчивый Александр выскользнул у него из рук, отдалился от него, и его систематическая неприязнь не прекращалась. Его протест против ареста герцога Энгиенского носил характер личного и несправедливого оскорбления. Летом 1806 г. он отказался утвердить договор, заключенный в Париже Убри, и на-

рушил подписанный уже мир. Теперь он возбуждает против нас страсти своего народа и ничего не щадит, чтобы придать войне национальный и религиозный характер. Кроме того, его самолюбие еще страдает при воспоминании об Аустерлице. После этого дня русские и их государь, преследуемые по пятам, потерявшие голову, почти окруженные, были обязаны своим спасением только бегству, допущенному победителем. Простит ли когда-нибудь Александр Наполеону эту милость, более тягостную, чем само поражение. Допуская даже, что царь вполне честно согласится сделать попытку к примирению, надолго ли избавится этот государь с впечатлительной душой, непостоянный в своих заветных мечтах от окружающих его влияний? Не его ли фавориты и личные друзья — главные виновники коалиции 1805 г.? Подле него Франция видит только своих врагов: императорская семья, министры, сановники, генералы, двор, дворянство, армия, — все подчиняется, все предано Англии. По крайней мере, известно, что Россия связана с нашей соперницею самыми прочными узами, то есть материальным интересом. Почти целое столетие Великобритания, приобретя себе благодаря периодически возобновляемым договорам торговую монополию в России, покупает ее произведения, ввозит свои; торговля с англичанами сделалась необходимой для России; это одна из ее жизненных функций; в результате между обоими государствами устойчивость дружеских отношений, традиционная дружба, резко порвать которую, быть может, совершенно не зависит от человеческой воли, хотя бы то была воля самодержца. Будучи выбита из колеи, которую Россия считает своим естественным путем, она всегда будет чувствовать непреодолимое стремление снова войти в нее, хотя бы ценою сильного потрясения, ценою перемены царствования; пример в прошлом доказывает, что в подобном предположении нет ничего невероятного.

В это время власть царя, несмотря на свою деспотичность, не имела характера непреложной устойчивости, какой она, по-видимому, сделалась впоследствии. Четыре дворцовых и казарменных переворота, совершившиеся на протяжении шестидесяти лет, придали ей вид власти неустойчивой, ненадежной, лишенной той прочности, которая создает политический кредит государств. «В Петербурге, — говорил один из наших послов, — государи более, чем где-либо стоят на вулкане»[1]; неустойчивость правительства России рассматривалась всеми нашими государями, начиная с Людовика XV до Наполеона, как одно из главных препятствий к союзу, и это было самой существенной чертой в наших прежних отношениях с ней. В 1807 г. Наполеон вспоминал 1801 г. Тогда, владея умом Павла, он уже видел в России орудие, готовое к его услугам, приготовился схватить его, как вдруг исчезла власть, с которой он вел переговоры, и его рука попала в пустое пространство. Воспоминание об этом разочаровании имело влияние на его суждение о России и заставляло его остерегаться возврата к преждевременному доверию.

Тем не менее, он задавал себе вопрос, во всем ли похожа Россия 1807 г., с которой он сражался, не зная ее, на Россию 1801 г., не стала ли власть царя более серьезной, более твердой, действительно властной? С другой стороны, не поспешат ли русский государь и его министры, сами умудренные опытом, воспользоваться предложенным им случаем скрепить выгодный мир блестящим союзом? Разве нельзя будет представить им, что между обеими империями нет никакого существенного различия интересов; что только требования войны привели нас к непосредственному нападению на Россию; заставили потревожить ее на ее границах и воскресить ее врагов; что Польша и Турция представляют для нас только относительную выгоду и потеряют в наших глазах свое значение, как только Россия согласится занять их место, причем она приобретет неоспоримо больше выгоды, вступив с нами в союз? Устоит ли предубеждение царя против такой речи, против дружеского и чистосердечного объяснения? Не сумеет ли Наполеон путем личного воздействия на Александра снова сблизиться с ним, изменив его взгляды и овладев его мягким характером, придать ему иной отпечаток? В результате своих размышлений он склонялся к попытке создать франко-русский союз, не переставая смотреть на него, как на рискованное предприятие. Он высказывает свою новую склонность и свои сомнения в фразе, написанной Талейрану 14 марта: «Я того мнения, что союз с Россией был бы чрезвычайно выгодным, если бы он не был чем-то несбы-

---

[1] Tratchevski, 501.

точным и если бы можно было на что-нибудь рассчитывать при ее дворе»[1].

Но как подойти к России с миролюбивыми намерениями и вступить с ней в переговоры? С некоторых пор переговоры велись французским кабинетом с Россией и Пруссией совместно, но они не могли привести ни к какому результату. Нужно было действовать как раз наоборот: следовало прежде всего разобщить царя с его союзниками и действовать на него непосредственно. Наполеон приказал начать переговоры с Беннигсеном. Генерал ответил, что ему приказано сражаться, а не вести переговоры[2]. Вынужденный прибегнуть к окольным путям, Наполеон приказал поместить в газетах заметки о громадных потерях, понесенных русскими, о варварстве продолжать борьбу без очевидной цели, о желании мира, пробуждавшемся в армии царя и в Петербурге[3]. Он хотел воздействовать на Александра путем общественного мнения и сверх того обратиться с призывом к нежным чувствам человеколюбивого монарха. Через двадцать дней после Эйлау в замечательном бюллетене он возвращается к тому же вопросу и усиленно подчеркивает ужасное зрелище, какое представляло поле сражения. В продолжение почти недели он каждый день объезжал поле резни, узнавал по наваленным трупам, где стояли дивизии, приказывал убирать раненых, лежавших на снегу, утешал их чарующими словами, оказывал им помощь и благотворил, — словом, вел себя так, как сам хотел, чтобы художники изобразили его для потомства[4]. Его душа была искренно взволнована при виде сцен, в которых война была лишена своих прикрас и казалась ужасной. Он старается передать испытанное им впечатление. В бюллетене он собирает поражающие подробности, тщательно воспроизводит впечатления, создает картину: «Пусть представят себе на пространстве квадратной мили от девяти до десяти тысяч трупов, четыре или пять тысяч убитых лошадей, линии русских мешков, обломки ружей и сабель, землю, усеянную ядрами, гранатами, боевыми припасами, восемьдесят пушек, около которых виднелись трупы наводчиков, убитых в ту минуту, когда они старались увезти свои орудия. Все это особенно резко выделялось на белом фоне снега»[1]; описание оканчивается следующими словами: «Такое зрелище создано для того, чтобы внушать государям любовь к миру и отвращение к войне». Не был ли этот распространенный по всей Европе призыв к чувствам человеколюбия обращен исключительно к главному противнику, к тому, который в особенности нес тягость борьбы и ответственность за нее, не был ли эйлауский бюллетень первым предложением мира русскому императору?

Однако прежде, чем дать ход рискованному, сомнительному и в настоящее время неосуществимому плану Наполеон хотел окончательно убедиться, действительно ли потеряна всякая надежда на успех той комбинации, которой он добивался в течение полугода. В последний раз он обратился к Австрии с требованием, чтобы она высказалась откровенно. Это было спустя несколько недель после Эйлау. Великая Армия восстановила уже свои силы, продовольствие наших войск было обеспечено; во Франции шел рекрутский набор, две резервные армии были на пути к формированию; в Италии на Эче было собрано восемьдесят тысяч человек, которые к весне должны были дойти до девяноста; они были готовы перейти границы по первому сигналу. Такое положение давало нам преобладание над Австрией, позволяло императору говорить с ней откровенно и властно. Он ничего не скрывал от нее, дал ясно понять свои мысли и показал вопрос в том виде, как он сам его себе представлял. Он писал Талейрану: «Спокойствие в Европе будет прочным только тогда, когда Франция и Австрия или Франция и Россия будут действовать заодно. Я несколько раз предлагал это Австрии и предлагаю еще раз. Вы можете сказать барону Винценту, что вы уполномочены подписать всякий, составленный на этих основаниях, договор»[2]. Пусть же решаются в Вене и пусть не заблуждаются относительно серьезности момента; дело идет о последнем предложении. Если и в этот раз будут уклоняться, император решил обеспечить себя в ином

[1] Corresp., 12028.
[2] Rambaud, 544.
[3] Corresp., 11899.
[4] На этот сюжет он назначил конкурс, почему и была написана Гроссом его знаменитая картина.

[1] Пятьдесят первый бюллетень Великой Армии.
[2] Corresp., 11977.

месте и искать себе будущего союзника между теперешними врагами.

В это же время не менее замечательная перемена происходила в Александре, о чем Наполеону не было известно. Потрясенный размерами, которые принимала борьба, не вполне доверяя бюллетеням Беннигсена, получая сведения о продолжавшейся нерешительности австрийцев, царь сознавал, что их трусливость держала его в заколдованном круге. В Вене не хотели стать на его сторону прежде, чем русское оружие не получит неоспоримого преимущества, а Россия не в силах была окончательно взять верх без активной помощи Австрии. Допускало ли такое положение дел для кризиса иной исход, кроме сближения с Францией в ущерб Европе? Правда, Александр все еще с некоторым ужасом смотрел на эту крайнюю меру; он никак не мог примириться с необходимостью отделиться от дела, в которое, хотя временно, но горячо верил; но он сознавал, что обстоятельства могли его к этому принудить. Он указывал Австрии на тяготеющую над будущим угрозу с целью, если можно, отвлечь ее «от проектов, основанных на выжидании»[1]. К настойчивым просьбам он присоединял предостережения. Речь Поццо в Вене была похожа на речь, которую император влагал в уста Талейрана. 13 мая в разговоре со Стадионом русский эмиссар объявил, «что естественный ход событий неизбежно приводит его государя к принятию окончательного решения; что продолжение войны потеряло всякое разумное основание, так как, с одной стороны, Австрия упорно воздерживается от обещания соединить свое оружие с оружием Его Императорского Величества, а с другой, — Бонапарт предлагает для заключения мира условия и выгоды, правда, не имеющие никакого значения для восстановления общей независимости Европы, но вполне отвечающие тем выгодам, которых Его Императорское Величество может вполне основательно надеяться достигнуть, если война будет прекращена в данный момент; что, так как мир будет заключен без участия Австрии, она будет исключена из новой политической системы и притом при условиях, которые она одна сделала столь неблагоприятными; что всякое ее промедление лишено основания и даже извинения; тем более, что если мы будем иметь несчастье проиграть сражение, Венский двор еще более испугается, и это будет величайшим несчастьем, ибо заставит нас окончательно потерять надежду на его содействие»[1].

[1] Поццо к Стадиону. 30 декабря 1806 г. — 11 января 1807 г. Архивы Поццо ди Борго.

Еще до получения вышеупомянутых настойчивых требований обоих императоров, даже до Эйлау, Австрия приняла решение, которое могло привести ее в соприкосновение с событиями, не вмешивая ее в них и ни к чему не обязывая. Она решила предложить свое посредничество обеим сторонам, оспаривающим друг у друга ее союз. Сперва под сурдинку, потом в официальных выражениях пустила она в ход идею о созыве конгресса, на котором могли бы сойтись под ее кровом все воюющие стороны, включая и Англию.

Стадион настойчиво советовал эту меру и видел в ней средство для Австрии безнаказанно вступить в коалицию. Он говорил Поццо, «что после того, как все было им испробовано, единственным способом действия, с которым могут примириться, несмотря на существующее здесь, т. е. между эрцгерцогом и императором, разногласие, была принятая им мера, т. е. предложение посредничества и желание вмешаться в дела под предлогом примирения сторон; единственным средством заставить императора и эрцгерцога принять участие в войне был бы или отказ Бонапарта согласиться на общие переговоры, или непредвиденные обстоятельства, которые могли случиться во время самих переговоров»[2]. В первом случае отказ императора французов дал бы против него решительный аргумент; во втором, во время общих прений, Австрия поневоле должна будет присоединиться к требованиям наших противников и прибавить к ним свои собственные. Вмешиваясь мало-помалу, она незаметно перейдет от посредничества к войне. Стадион предлагал теперь же собрать все военные силы монархии, придвинуть их к границе Польши и на всякий случай держать их наготове. Он

[1] Поццо к Будбергу, 18—30 марта 1807 г. Архивы Поццо ди Борго.

[2] Поццо к Будбергу, 14—26 января 1807 г. Архивы Поццо ди Борго.

мечтал о роли, которую предназначено было с успехом сыграть одному из его преемников в 1813 г., и Прага, указанная в австрийских нотах, как место будущего конгресса, окончательно устанавливает аналогию двух эпох. Правда, император Франц, сдерживаемый эрцгерцогом Карлом, «который был душою партии, стоявшей за невмешательство империи»[1], не допускал плана министра во всей его полноте. Позволяя вовлечь себя в войну, вовсе не имея хладнокровно обдуманного решения вести ее, он отказывался поддержать вмешательство в пользу мира мобилизацией значительных боевых сил. Когда он предлагал свои добрые услуги, его ближайшей целью было, главным образом, помешать, чтобы Россия и Пруссия не начали непосредственных переговоров с Францией, и добиться, чтобы Австрия не была исключена из переговоров и мирных условий, которым суждено было вновь установить судьбу Европы. Тогда Венский двор, присутствуя при переговорах, мог бы защитить свои интересы, мог бы заставить заплатить себе за услуги; может быть, ему удалось бы, не обнажая меча, поправить свои дела после потерь, которые он понес, благодаря своим неудачам. Во всяком случае, его новая роль давала ему предлог для продления его военной бездеятельности и вместе с тем средство своевременно выйти из нее. В изображенном им выжидательном положении ему было бы легче следить за развязкой кризиса, применяться к его оборотам то в Польше, то в Турции, ибо столкновение, вызванное русскими на Дунае, продолжало его беспокоить. Эта несносная заноза еще более затрудняла его движения[2].

В течение нескольких недель Венский двор думал, что с этой стороны скоро прекратятся все хлопоты. По-видимому, под сильным давлением Англии, русско-турецкая распря стала на путь к прекращению. Английский посланник в Константинополе сэр Арбьютнот, тщетно старавшийся своими увещеваниями остановить военные мероприятия Дивана, отправился как за последним аргументом за британским флотом, который

[1] Ibid., 14—26 декабря 1806 г.

[2] Поццо к Будбергу. 14—26 января, 22 февраля — 4 марта, 8—20 марта 1807 г. Beer, Zehn Jahre oesterreichischer Politik. 270—283.

крейсировал в Архипелаге. Возвратясь с ним, он провел его через Дарданелльский пролив, поставил в Мраморном море против Константинополя и с высоты английских трехдечных кораблей требовал, чтобы Диван отказался от всего, что он сделал: отверг французский союз, прогнал Себастиани, возобновил свои договоры с Россией, выдал в залог крепости на проливе и оттоманский флот. Угроза бомбардировкой сопровождала его требования. Если бы Порта уступила, положение дел на Востоке осталось бы таким же, как было раньше, и было бы устранено всякое предположение о территориальной переделке; Россия, удовлетворенная восстановлением своего влияния на оттоманское правительство, вывела бы свои войска из Княжеств, и Австрия, освобожденная от беспокойного русского соседства, была бы менее стеснена и выступила бы в защиту дел коалиции.

Никто в Европе, даже Наполеон, не верил в сопротивление Турции. До такой степени привыкли видеть, как она сгибается под малейшим ударом, что ее стойкость должна была казаться невероятной, чем-то вроде чуда. Имя Наполеона и усердие его агентов сотворили это чудо. Веря в покровительство великого императора, турки не захотели обмануть доверие такого союзника. Они выслушали советы Себастиани, а член посольства Руфин доказал им, что опасность была, скорее, кажущейся, чем действительной, что всякое сопротивление смутить нападающего, что лучший способ избегнуть сражения — это самому его предложить. Они вступили в переговоры, но только для того, чтобы выиграть время для вооружения. По совету и под руководством нашего посланника Константинополь был окружен наскоро устроенными укреплениями и усеян батареями; затем, прервав переговоры и выставив жерла трехсот артиллерийских орудий, Турция явилась готовой принять бой. Арбьютнот и адмирал Дьюкворт, которые пришли для угрозы, а не для военных действий, не решились перейти от демонстрации к нападению. К тому же успех нападения сделался чрезвычайно сомнительным, и сверх того было неизвестно, следовало ли Англии бесповоротно ссориться с Турцией, нападая на ее столицу? Флот удалился и снова прошел Дарданеллы. При отступлении он пострадал от навесного огня ту-

рецких батарей[1]. Неуспех этой попытки отозвался во всей Европе. Разочарование в Вене было не менее сильно, чем в Петербурге и Лондоне. Восточный вопрос, который считали почти назревшим, остался открытым. Австрия увидела в этом одной причиной более для того, чтобы ничего не ускорять и придерживаться системы постепенного вмешательства, которую она медленно себе созидала.

Наполеон взглянул на ее посредничество неодобрительно. Он понял, что конгресс сблизит наших врагов и подготовит между ними новое соглашение; что это будет совещательная коалиция, чтобы затем превратиться в активную. Однако верный своему принципу никогда не отвергать мирных предложений и не желая дать Австрии повода к разрыву, он принял в принципе предложения Австрийского двора, как только они были ясно изложены. Но он предписал Талейрану выиграть время и затянуть предварительные прения. Главным образом он хотел удержать за собой решение вопроса о времени прекращения военных действий и установить свое решение по этому вопросу только в зависимости от обстоятельств. В марте, после Эйлау, он, видимо, желал перемирия; в мае он стремился его отложить[2]. К этому времени пал Данциг; Висла, окончательно очищенная врагами, обеспечила нашу операционную базу; наступившая весна согрела мерзлую почву Польши и давала армиям возможность свободно маневрировать. Пока Европа собиралась бы на конгресс, Наполеон надеялся предписать решение острием своей шпаги, заставить одну из воюющих сторон принять мир вместе с союзом и разрубить узел коалиции, не давая ему времени затянуться. По мере того, как намерения Австрии делались более двусмысленными, он настойчивее предавался мысли о сближении с Россией, рассчитывая, что одна большая победа доставит ему к этому случай, на некоторое время прекратит борьбу и вызовет у врагов упадок духа, которым наша политика сумеет воспользоваться.

[1] Об угрозе англичан Константинополю см. Iushereau de Saint-Denys Revolutions de Constantinople en 1807 et 1808, I, 59—93 и Armand Lefebvre, Histoire des cabinets de l'Europe pendant le Consulat et l'Empire, 111, 45—55.

[2] Об этих переговорах см. переписку Наполеона с Талейраном (март—май 1807 г.). Письма императора находятся в томах XIV и XV. Correspondance; письма министра в сочинении M. Bertrand.

Россия и Пруссия приняли австрийское посредничество, но неохотно. Оба государства, которые вовсе не просили от Венского двора содействия для заключения мира, прибегли к оговоркам. Пруссия ставила свое окончательное согласие в зависимость от согласия Англии, Россия — от знания тех основ, на которых Наполеон согласился бы вести переговоры. К тому же переговоры, которые продолжались на аванпостах непосредственно между главной французской квартирой и враждебными правительствами, достигли некоторого результата, который делал ненужным посредничество Австрии. С той и другой стороны принцип конгресса был принят; даже сговорились по некоторым предварительным вопросам. Так, съезд уполномоченных должен был состояться в Копенгагене; наши союзники, Испания и Турция, должны были быть приглашенными на конгресс. За основу переговоров Наполеон предлагал принять систему вознаграждений из общей суммы завоеваний, сделанных государствами, входящими в состав обеих воюющих сторон. Это позволяло нам вернуть наши колонии и заставить отдать Порте Княжества в обмен за равную часть прусских земель. Россия и Пруссия, по-видимому, соглашались с этим принципом; ответ Англии заставлял себя ждать, но не мог задержаться.

Ввиду таких благоприятных признаков Талейран не терял надежды на всеобщий мир. Он предпочитал такое, конечно, в принципе наилучшее решение тому, которое Наполеон считал единственно практичным, той изолированной сдаче на капитуляцию, «миру на барабане», по выражению Поццо[1], который Наполеон хотел вырвать у одного из своих противников. По этому вопросу между государем и министром существовало характерное несходство во взглядах, что видно из несомненных документов. 4 июня Талейран приказывает составить для императора доклад о состоянии переговоров. Черновик, испещренный помарками и примечаниями министра, доказывает, что он его тщательно обдумывал; он в немногих словах излагает положение дел и выставляет их в выгодном свете. Он искусно выводит при-

[1] Архивы Поццо ди Борго.

чины, которые заставляют его верить в податливость различных дворов. В Лондоне только что произошла перемена министерства; новый кабинет, руководимый Каннингом Кестлери, опираясь на искусственное большинство, не пользуясь доверием общественного мнения, должен желать преподнести английскому народу мир с Францией, как благодарную дань за оказанное доверие. Пруссия в том положении, в каком поставили ее наши победы, примет, как спасение, всякую мирную сделку, какова бы она ни была. Россия не желает ничего лучшего, как только без существенных жертв избавиться от войны, которая пожирает ее армии и истощает ее казну. Императору остается только допустить государства к себе и принять изъявления их преданности; он может ждать мира, не завоевывая его на поле битвы. Чувствуется, как у Талейрана проглядывает опасение, как бы в случае более решительного, чем в бывших до сих пор сражениях, успеха, император не сделался более упорным, более требовательным и не отдалил всеобщего умиротворения. Министр, как несчастья, боится более решительного торжества нашего оружия. С особыми предосторожностями, ласковым и льстивым тоном старается он сдержать Наполеона и советует ему не одерживать побед. Указав на выжидательный способ, который, по его мнению, должен привести к соглашению, он прибавляет: «В настоящее время нет более краткого пути для достижения мира, если только Ваше Величество не ускорит его, как это ему свойственно, новой победой. Но вы, Ваше Величество, предпочтете получить его более мягкими, хотя, быть может, и более медленными путями, на которые зато дадут и более полный и более верный результат. И в самом деле, если Пруссия и Россия вынуждены будут заключить мир одни, не имея возможности упрекнуть Англию за то, что она их покинула, Англия сохранит на них целиком свое влияние. Тогда она приобретет возможность заключить отдельный мир, с меньшими жертвами и, следовательно, менее выгодный для нас, или, если она будет продолжать войну при новых условиях, она еще может надеяться найти союзников на континенте[1].

[1] В Archives des affaires étrangères (Prusse, v. 240) хранится только черновик этого документа. Нельзя сказать, был ли он представлен императору. Черновик, тем не менее, указывает на тенденции министра.

Это рассуждение было бы безукоризненным, если бы Англия была намерена уступить, если бы Россия и Пруссия были искренни в своих уверениях и были склонны подписать приемлемый Наполеоном мир, т. е. договор, который касался бы только результатов настоящей кампании, не возбуждая вопроса о том, что Франция приобрела пятнадцатью годами борьбы и героизма. К несчастью, это было не так. Когда император считал, что прежде всего необходимо победить, повалить одного из своих противников, чтобы затем уже поднять его и привязать к себе, он лучше, чем министр, разгадал умысел государств и их упорное вероломство: Талейран был прав в теории, Наполеон на деле. Даже в это самое время коалиция, вовсе не желая, несмотря на свои заявления, вести переговоры, тайно поклялась быть несговорчивой и сложить оружие только после того, как со всех сторон будет урезано императорское могущество. Пруссия, жаждавшая мщения, оставалась душой составленной против нас лиги, Россия же все время служила орудием.

Прежде, чем отдаться идеям о мире, которые от времени до времени искушали Александра I, он из щепетильного рыцарского чувства чести решился сделать последнее усилие. Он прибыл в армию, имел свидание с Фридрихом-Вильгельмом и королевой Луизой, уступил их неотступным просьбам, и 26 апреля в деревне Бартенштейн между Россией и Пруссией состоялся новый договор. Оба государства заключили более тесный союз и обязались никогда не вести переговоров одно без другого. С рыцарским бескорыстием Александр отказался от всякого территориального притязания и признал принцип оттоманской неприкосновенности; заботясь только о своих союзниках, он обещал Пруссии не только возвратить ей все, что она потеряла, но и «округление» и улучшение ее границ. Он обещал, что Рейнская конференция будет уничтожена, что Германия будет изъята из-под нашего влияния и под руководством Пруссии и Австрии будет устроена по новому образцу, что Италия будет переделана по соглашению с дворами Лондона и Вены и что, во всяком случае, она должна будет возвратить Тироль и линию Минчио. Таким образом, разговор шел о том, чтобы вычеркнуть из исто-

рии не только результаты Иены, но и Ульма и Аустерлица[1].

Наполеон никогда не принял бы таких условий. Поставить их значило бы снова объявить ему войну. Расширив таким образом вопрос, составив первый список европейских требований, который впоследствии мог бы быть продолжен, Александр и Фридрих-Вильгельм надеялись втянуть в свое дело все государства. Договор надлежало представить к подписи дворов Стокгольма, Лондона и Вены. По мысли его авторов, его главной целью было понудить к деятельному содействию Англию. Русские и прусские агенты в Вене стали еще назойливее; с новым текстом в руках они до известной степени обусловливали принятие посредничества Австрии ее вступлением в бартенштейнское соглашение. Они соглашались вести переговоры при ее посредничестве только при условии, что она заранее присоединится к ним, будет действовать во время прений в их пользу и обяжется начать войну после подобия переговоров. Апрельский договор был последней попыткой пересоздать, увеличить, укрепить коалицию и выставить против Наполеона на будущем конгрессе предварительное соглашение всех государств, назначением которого было подготовить возобновление общих враждебных действий.

Медлительность Австрии и военный гений Наполеона разрушили эти планы. Вместо того, чтобы согласиться на бартенштейнский акт, император Франц послал в главную квартиру союзников генерала Стутергейма, уполномоченного подать надежду на его согласие. Стутергейм не успел еще покинуть Вены, когда по всей столице разнеслась весть о решительном столкновении. Наполеону представился давно желанный случай одержать полную победу. Русские ускорили ее несколькими днями, вторично перейдя в наступление. Геройское сопротивление маршала Нея почти тотчас же остановило их и заставило отступить. Но за это время император успел сосредоточить свои войска. Он напал на врага, несколько раз сразился с ним, постоянно стараясь обойти и окружить его. Наконец, 14 июня при Фридланде он врасплох напал на него, когда тот сбился в

[1] См. текст договора у Garden, Recueil des traités de paix, X. 407.

лощине, прилегающей к реке Аль. Фридланд был удачным Эйлау, той бесспорной победой, за которой Наполеон гонялся уже шестой месяц, и которая дважды ускользала от него. Никакая тень не омрачила блеска этого чудного дня, этого ясного, светлого дня в нашей истории. Счастливая звезда Наполеона выглянула из-за облаков, которые на мгновение заволокли ее, и снова засияла. Результаты были поражающие: тридцать тысяч русских было убито, ранено или взято в плен; многочисленная артиллерия попала в наши руки: Кенигсберг, арсенал коалиции, открыл ворота; прусский король бежал в Мемель; из всего его государства у него остался один город. Благодаря той же победе были разрушены враждебные планы Австрии, Германия была обуздана, на Юге было обеспечено послушание, Франция приобрела уверенность; вся Европа после кратковременного сомнения снова поверила в роковое постоянство наших успехов и признала Наполеона непобедимым.

Русская армия бежала в страшном беспорядке, потеряв вследствие жестокого поражения способность к сопротивлению. Все позиции, на которых она могла бы остановиться и привести себя в порядок, последовательно отнимались от нее. После линии Аля были взяты линии Прегеля и Немана. Около Тильзита, расположенного на левом берегу Немана, принц Мюрат и наш авангард увидели странное зрелище: орда варваров с азиатскими лицами, калмыки и сибиряки, без ружей, окружив себя тучей стрел, кружились по равнине и тщетно пугали нас. Это была резервная армия, о которой объявляла во всеобщее сведение Россия, и которую привел князь Лобанов. Дивизия кирасир развернулась, напала на нее, — и авангард Азии рассеялся[1]. Наши войска вошли в Тильзит, а неприятельская армия скрылась за рекой под прикрытием легкой кавалерии.

15 июня, на другой день после Фридланда, отступивший к русской границе Беннигсен написал царю письмо, в котором давал отчет о своем поражении и, чтобы остановить преследование, указывал на настоятельную необходимость начать переговоры. Вместе с тем, чтобы сказать то, что он не смел написать, он

[1] Corresp., 12775. Memoires de Roustam, опубликованные в Revue rètrospective, № 8—9.

обратился к великому князю Константину, брату Александра, просил его поехать к государю и представить ему положение дел в истинном свете: «Спросите его, — сказал он, — не хочет ли он остановить кровопролитие; это не война, а настоящая бойня». Великий князь ответил, что передаст точно эти слова, но не пойдет далее: «Скажите ему все, что хотите,— сказал Беннигсен,— лишь бы я мог остановить резню»[1]. Это значило признать невозможность продолжать войну, признать армию неспособной к бою.

16 июня император Александр ответил Беннигсену суровым и скорбным письмом. Он ставил ему в упрек потерю великолепных войск, бесполезно принесенных в жертву, требовал вернуть ему его армию и в заключение уполномочивал предложить перемирие. Князь Лобанов тотчас же отправился в Тильзит, имея впереди себя парламентера. Огонь между аванпостами прекратился, и между двумя армиями установились сношения.

Однако царь только с болью в сердце мирился с приостановкой военных действий, вынужденный необходимостью и не предрешая своих окончательных решений. «Вы должны понять, — писал он Беннигсену, — чего мне стоит принять это решение[2]. Он еще не допускал мысли, что необходимым следствием перемирия будет мир, и желал, чтобы переговоры открылись только от имени главнокомандующего, дабы никоим образом не обязывать правительства.

Между тем все, что доходило до него со всех сторон, все, что он видел, заставило его лучше познакомиться с размерами поражения. Не было полка, который не понес бы тяжких потерь и не был бы деморализован; в некоторых потери доходили до четырехсот человек из пятисот двадцати. Дисциплина пропала, солдат не сражался, а грабил, даже на глазах самого императора. Сопротивление России, до сих пор непоколебимое, сразу было сломлено: стена превратилась в прах. Из генералов один Барклай-де-Толли говорил о продолжении войны, о том, чтобы отступить и заманить неприятеля внутрь империи; другие же пали духом,

[1] Поверенный в делах Лессепс к министру иностранных дел 22 августа 1807 г. Источники см. в Предисловии.
[2] Mèmoires de Hardenberg, V, 510.

как это бывает с самыми храбрыми на другой день после большого, но бесплодного усилия. Среди окружающих царя шла усиленная работа, чтобы побудить его заключить мир. Главным и наиболее горячим деятелем в пользу мира выступил великий князь Константин. В сильных выражениях указывал он своему брату на необходимость положить конец войне. Он рассказывал, что имел с ним следующий разговор: «Государь, если вы не хотите заключить мира с Францией, ну, что же! Дайте заряженный пистолет каждому из ваших солдат и скомандуйте им пустить себе пулю в лоб; вы получите тот же самый результат, какой вам даст новая и последняя битва. Она неизбежно откроет настежь ворота в вашу империю испытанным в боях и всегда победоносным французским войскам»[1]. Министры не оспаривали этих мнений, и наиболее враждебно относящиеся к Франции, как, например, Будберг, советовали начать переговоры. Тогда, видя кругом всеобщий упадок духа, видя, что у России нет армии и что ее граница открыта, испуганный и потерявший голову Александр принял решение, принял его всецело и бесповоротно. Идя дальше даваемых ему советов, он отказался от политической системы, придерживаться которой до сих пор считал вопросом чести, и круто перешел из одной крайности в другую. Примирившись последним с мыслью о заключении мира, он сильнее других стал его желать. С этого времени он начал проявлять удивительное нетерпение войти в непосредственные сношения с Наполеоном. Он вернулся назад и направился к Тильзиту.

В деревне Шавли он встретил прусский двор, который печально блуждал, состоя только из короля Фридриха-Вильгельма, его министра Гандерберга, нескольких офицеров и чиновников. Государи и министры составили совет; винили во всем Австрию и Англию, и с первого же слова пришли к соглашению о необходимости сговориться с Францией, не условившись пока относительно средств. Тем временем пришло известие о перемирии, подписанном 22-го в Тильзите от имени России. Это была первая измена по отношению к Прус-

[1] Лессепс к министру иностранных дел, 22 августа, 1807 г.

сии, так как оба двора обязались в Бартенштейне никогда не разъединять их судьбы. Россия поставила только одно условие, чтобы в течение пяти дней враждебные действия между французами и пруссаками были прерваны для того, чтобы дать пруссакам время самим заключить перемирие. Фридрих-Вильгельм тотчас же отправил в Тильзит маршала Калькрейта, поручив ему установить надлежащее положение. Но Александр, не дожидаясь результатов этой политики, опять пустился в путь и продолжал приближаться к Неману, увлекая за собой робко следовавший за ним прусский двор; 23-го он был от реки немного менее, чем на один день пути; 24-го на одну милю, почти в виду аванпостов. Он без остановки мчался вперед, как очарованный.

Правда, что каждый день, почти каждый час доходили до него с другого берега реки все более ласковые и ободряющие речи. 19-го Наполеон поселился в Тильзите; враждебные действия прекратились накануне, и Лобанов проговорил целый час с князем Невшательским. На другой день после приезда император отправил фельдмаршала Дюрока повидаться и обстоятельно переговорить с Беннигсеном. Кое-кто из французских офицеров посетили русскую главную квартиру. Мюрату представился случай вступить в разговор с великим князем Константином, который покорил его сердце, назвав его с первого слова высочеством. Французы разговаривали чрезвычайно любезно. При переговорах с Россией они делали вид, что ведут их не с побежденным врагом, а с заблуждавшимся другом, что дело идет только о том, чтобы вернуть его на истинный путь. Только благодаря такому обращению Александр согласился на перемирие от своего имени, не включив в него Пруссии, так же, как и на принцип открытия мирных переговоров «в кратчайший срок»[1]. Его ответ прибыл 21-го вечером в главную квартиру, которой поручалось передать его в Тильзит[2]. Но все же надежды царя не шли еще далее мира, обеспечивающего неприкосновенность его империи: он готов был очистить княжества, отдать Ионические острова и надеялся этой ценой получить ме-

[1] Выражения, которые стоят в акте о перемирии.

[2] Письма прусского офицера Шладен. Memoires de Hardenberg, V, 518—521.

нее тяжелые условия для Пруссии[1]. Но вот князь Лобанов, 22-го снова приехавший в Тильзит для подписи перемирия, был принят императором французов лично и принят милостиво. Император приглашает его к своему столу, пьет за здоровье императора Александра и, начиная свою систему обольщения, намекает в разговоре, что Висла могла бы быть естественной границей России[2]. Наполеон, победоносный и неотразимый, имел право во всем отказать России, но он позволяет ей на многое надеяться, лишь бы только сговориться один на один, не заботясь об интересах, чуждых обеим империям. Правда, он еще не говорит о дружеском и непосредственном объяснении между государями и не заговаривает о свидании. Предложив некогда, накануне Аустерлица, переговоры на аванпостах и не получив ответа на свое предложение, он считает вопросом чести не повторять его теперь, предоставляя другим вызвать его на это. Он ограничивается тем, что старается привлечь к себе Александра намеками и делает ему дружеские знаки. Александр не устоял. Движимый чрезмерным любопытством и надеждой, он отваживается на решительный шаг. 24-го Лобанов снова отправляется в Тильзит с письменными инструкциями. В них мы читаем следующую неожиданную фразу, подписанную государем, который только что в продолжение двух лет вел войну с нами: «Союз России с Францией всегда был предметом моих желаний; я убежден, что только он может обеспечить счастье и покой мира»; царь продолжает: «Совсем новая политическая система должна заменить ту, которая существовала до сих пор; я льщу себя надеждой, что мы легко сговоримся с императором Наполеоном, *лишь бы мы вели переговоры без посредников*[2]. Это значило предложить свидание. Наполеон не отказался, удвоил благосклонность к Лобанову, надолго удержал его в своем кабинете, послал Дюрока приветствовать императора Александра, который подъехал совсем близко к реке и был виден французам. Во время поездок Лобанова и Дюрока были выработаны условия свидания. Встреча должна была состояться

[1] Письмо князя Куракина к императрице-матери Tatistcheff, Nouvelle Revue от 1 июня 1890 г.

[2] Князь Лобанов к императору Александру, 22 июня.

[3] Tatistcheff, I oo. cit.

на другой день, 25-го, в час дня в павильоне, построенном на реке, разделяющей армии[1].

В течение времени, предшествовавшего свиданию, Александр и Наполеон получили от своих заграничных агентов сообщения, которые окончательно подготовили их решения. Александр уже знал, что Англия не пожелала принять участия в бартенштейнском договоре, что она даже ставила препятствия гарантии займа, заключенного Россией для продолжения войны, что она считала такое помещение денег ненадежным и требовала особых выгод, которые были бы пропорциональны предполагаемому риску. Немного позднее царь узнал из обстоятельных депеш графа Разумовского, что надежду на содействие Франца-I следовало считать окончательно призрачной до тех пор, пока сама Россия не решит судьбу войны, что Австрия вмешается только при условии обеспеченного успеха. Такое торгашество с одной стороны и эгоизм с другой — усилили в Александре чувство досады и брезгливости, окончательно рассеяли его сомнения и почти совершенно оттолкнули от участия в европейских делах. Можно ли было упрекать Россию в измене, в каких бы резких формах она ни проявилась, раз оставили ее одну сражаться для спасения всех остальных? Разве можно было сетовать на то, что она, тщетно испытав все средства, стала думать только о своей безопасности и собственных интересах, стала заботиться о своей личной выгоде и предпочла великодушного врага бесполезным друзьям? Идя чистосердечно навстречу Наполеону, она, может быть, получит возможность воспользоваться теми благами, которые он так великодушно расточал тем, кто умел его понять и ему служить. Благодаря таким соображениям мысль использовать необходимый мир путем выгодного союза начала зреть в уме Александра[2].

Приблизительно в то же время, 24-го днем, Наполеону были переданы два пакета, присланные из разных мест. В первом была серия депеш от генерала Андреосси: из них было видно, что Австрия никогда серьезно не думала вести с нами переговоров и ждала только бесспорно-выгодного момента, чтобы «попытать счастья на поле сражения»[3]. Второе сообщение было известием

[1] Corresp., 12821—12827.
[2] Vassiltchikoff, IV, 367—381.
[3] Corresp., 12813.

из Константинополя о революции, вспыхнувшей в этом городе 27-го мая, и о том, что янычары свергли с престола и зарезали Селима (этот факт был вымышленным) и что в Турции царствуют безвластие и смута.

В сообщениях Андреосси Наполеон нашел подтверждение своему недоверию к Австрии и предубеждению против нее. Он еще решительнее отстранился от нее и еще сильнее почувствовал желание обратиться к России с предложениями, которыми пренебрегли в Вене. С другой стороны, исчезновение со сцены Селима, единственного человека, который мог бы оживить Турцию и заставить ее содействовать нашим планам, лишало нашу политику точки опоры, которую она искала по ту сторону Дуная. Оно оправдывало нашу измену туркам, позволяло без сожаления и угрызения совести покинуть их и за их счет прибегнуть к более полезному союзу. Таким образом, Восток оставался почвой и для соглашения с Россией, как незадолго до этого был почвой для соглашения с Австрией. Но для переговоров с Россией следовало стать на иную точку зрения. Вместо того, чтобы выдвигать принцип оттоманской неприкосновенности и допускать раздел только как вспомогательное средство, следовало отныне же поставить вопрос о разделе на первый план, подвергнуть его обсуждению и высказываться в смысле готовности его осуществить. Итак, Наполеон готов лично вступить с Александром в переговоры, которые когда-то велись через посредников. Тильзиту суждено отметить не полную перемену, а только новую эволюцию его политики, той гибкой политики, которая после длинных обходов возвращалась к своей исходной точке, которая с изумительной подвижностью умела поворачиваться вокруг своей оси и становиться в прежнее положение по мере того, как обстоятельства снова делались тождественными, и которая всегда умела согласоваться с событиями.

Правда, Наполеон не хотел преждевременно отказываться ни от одной из своих выгод, так как допускал возможность, что Александр отклонит наши предложения и увильнет от него; он допускал, что Россия вступает в переговоры только для того, чтобы выиграть время и собраться с духом. Поэтому он приказал Себастиани войти в сношения с новым оттоманским правительством, каково бы оно ни было, и поддерживать пыл мусульман. «Если по пришествии месяца, — приказал он написать посланнику, — я замечу, что не хо-

тят добросовестно вести переговоров, я перейду Неман, и мой союз с великим визирем будет быстро заключен»[1]. Тем не менее, сознавая, что едва оправившаяся от тревог Франция жаждет покоя, чувствуя потребность показаться ей, видя перед собой угрюмую и огромную империю с ее теряющимися вдали горизонтами и не решаясь забираться в эту неведомую страну, он искренне желал, чтобы состоялось соглашение с Александром и позволило ему упрочить будущее. Он желал этого соглашения вовсе не потому, что верил в продолжительную солидарность интересов обеих империй, не потому, что желал, установив тотчас же ряд взаимных выгод, допустить как непреложную систему разделение власти и влияния между Францией и Россией для дружественного совместного господства над миром. Откровенно говоря, у него не было системы, а была цель: победить Англию и добиться мира. Из всех государств Россия казалась ему наиболее подходящей для того, чтобы помочь ему в его задаче. Она могла бы оказать ему содействие и благодаря ее географическому положению, одновременно континентальному и морскому, и своей мощью, и своими громадными средствами. Она делалась его добычей благодаря своим теперешним военным неудачам. Он шел ей навстречу, чтобы предложить ей бороться вдвоем против Англии и предложить ей в награду за союз надежду разделить с нами Восточную империю.

[1] Corresp., 12819.

I



ТИЛЬЗИТ

Плот на Немане. — В ожидании Александра. — Первое свидание.—Сердечность и очаровательные манеры русского императора.—Острота Наполеона. — Перемирие с Пруссией. — Впечатление, произведенное Александром на Наполеона; он устанавливает всю свою политику к России, беря за исходный пункт характер русского государя; придуманный им план обольщения. — Чувства и взгляды Александра. — Искренни ли они? — Впечатление, которое произвел на него Наполеон. — Причины, которые побуждают его примкнуть теперь к системе Франции. — Его затаенные мысли. — 1807 и 1812 гг. — Характер соглашения, состоявшегося в Тильзите. — Второе свидание. — Король Фридрих-Вильгельм. — Наполеон требует отставки Гарденберга. — Царь в Тильзите. — Пруссия предлагает раздел Турции. — Чему посвящены были дни. — Посещения войск, смотры. — Военный блеск. — Театральный эффект. — Раздел Востока. — Наполеон и Екатерина II. — Оговорки императора; приемы, которые он употребляет, чтобы избавиться от всякого положительного обязательства. — Обещание царя посетить Париж. — Каковы были его надежды. — Его тайное желание. — Выбор уполномоченных; князья Талейран и Куракин. — Продолжение непосредственных переговоров между императорами. — Времяпрепровождение в эти дни. — Прусский король участвует как третье лицо в их прогулках. — Обеденное и вечернее время. — Дружеские отношения обоих императоров. — Предметы их бесед. — Александр вступает в школу

Наполеона. — Мнение о будущем Людовике XVIII. — Королева Гортензия. — Переписка императора в Тильзите. — Западная Европа. — Французская Германия. — Силезия. — Великое герцогство Варшавское. — Роль, которую предназначал Наполеон Польше в системе своих политических комбинаций. — Тильзитский договор несет в самом себе зародыш разложения. — Левый берег Эльбы. — Вестфальское королевство. — Отчаяние Пруссии. — Последняя попытка. — Приезд королевы Луизы. — Наполеон посещает дом мельника. Обед у императора. — Радость королевы и следующее за ней горькое разочарование. — Второй вечер. —Прусская королева и принц Мюрат.—Отъезд. Договор с Пруссией. —Кенигсбергская конвенция.—Образец искусства разрушения. — Право вмешательства России. — Статьи, относящиеся к Англии и Турции. — Обоюдное посредничество. — Континентальная лига. — Предполагаемый раздел Оттоманской империи. — Песня, положенная на ноты. — Ионические острова. — Военный праздник. — Наполеон украшает орденом лучшего гренадера России. — Расставание императоров. — Тильзитское дело.

I

Посредине Немана, на двух рядом поставленных барках, был устроен плот. Наши солдаты искусно выстроили на нем «очень мило меблированный домик»[1] из двух комнат, из которых одна предназначалась императорам для их совещаний, другая их свите. Ветви и гирлянды цветов скрывали наготу стен, на фронтоне красовались переплетенные между собой вензеля Наполеона и Александра. Заинтересованная приготовлениями и объявлением о свидании, наша стоявшая на отдыхе армия мало-помалу стала различать на другом, несколько дней тому назад пустынном и враждебном нам берегу, где только несколько казаков носились вдоль песчаного берега, многочисленные и блестящие группы. Русский император только что прибыл в сопровождении своего брата, генералов Беннигсена, Уварова, князя Лобанова и нескольких флигель-адъютантов. Он остановился и отдыхал в полуразрушенной харчевне. Вошел офицер: «Едет»,— сказал он и доложил, что на французском берегу видно большое движение, что солдаты стоят шпалерами и приветствуют своего вождя и что он едет галопом между их рядами, направляясь к реке. Александр тотчас же отчалил; в то же время от другого берега отделилась лодка. В ней легко можно было узнать Наполеона по его традиционному мундиру и маленькой легендарной шляпе[1]. Раздался пушечный выстрел. На французские крики: «Да здравствует Император!» отвечали более степенные и более ритмичные возгласы русских солдат. Приветствовали государей, приветствовали мир. У всех этих людей, в течение восьми месяцев ненавидевших и ожесточенно убивавших друг друга, природа вступила в свои права; безграничная надежда на покой и мир зарождалась в сердцах тысяч людей и вызывала желание, чтобы примирение обоих императоров обеспечило наконец безопасность мира.

[1] Будберг к Салтыкову. 16 — 28 июня 1807 г. Архивы С.-Петербурга.

Император Наполеон, прибывший на плот первым, принял царя Александра. Он очутился в присутствии тридцатилетнего монарха с приятным лицом и удивительно приятными и изящными манерами, у которого привычка носить мундир скрадывала чрезмерно славянскую гибкость. Александр был прелестен в скромной, немного тяжелой, форме Преображенского полка, в черном мундире с красными лацканами, обшитыми золотом, белых рейтузах, при шарфе, в большой треуголке, украшенной белыми и черными перьями[2]. Он грациозно приблизился к Наполеону, и, уступая внезапному порыву, оба императора обнялись. Затем они стали дружески беседовать.

Секрет Александра — нравиться с первого взгляда — заключался в том, что он сразу же принимал простой, дружески-доверчивый тон; он как будто с самого начала хотел поставить своего собеседника на дружескую ноту. Слегка склонив голову, с приятной улыбкой на устах, в совершенстве владея оборотами нашего языка, он говорил по-французски с русским акцентом, с мягкими звуками, с почти женской нежностью[3]. Наполеон был очарован его манерой держать себя, которую он не привык видеть у государей древнего рода. Перед ним склонялись германские короли, но они держали себя, как трусливые вассалы. На другой день после Аустерлица к его биваку пришел австрийский император; на челе потомка Габсбургов лежал отпечаток горечи от понесенного им поражения;

[1] Tatistcheff, Nouvelle, Revue 1890.
[2] Tatistcheff, loc. cit.
[3] Lamartine, Histoire de Russie, II, 143.

вынужденный умолять о мире, он своей манерой держать себя, своей речью, давал заметить, как страдала его гордость от такого шага. В Тильзите Наполеон впервые встретил любезного побежденного, который шел навстречу его предубедительности. Он почувствовал себя поощренным, и доброе желание, проявленное с той и другой стороны, создало взаимную симпатию. Между двумя монархами, официально находящимися в войне, восстановление мира считалось вопросом как бы решенным, и тотчас же была рассмотрена возможность тесного сближения.

Всякий союз рождается благодаря общему предмету ненависти. В это время у Александра их было два: Англия, которая плохо помогла ему, и Австрия, которая не удовлетворила его настойчивых просьб. Уверяют, будто бы его первым словом императору было: «Государь, я так же, как и вы, ненавижу англичан». — «В таком случае, ответил Наполеон, мир заключен». После обоюдного признания враждебных чувств к Англии Наполеон в том же духе отозвался и об Австрии. Когда сближение стало более тесным, когда дошло до более откровенных разговоров, он высказал желание об исключительном взаимном, ревниво оберегаемом двойственном соглашении без «побочного союза, по выражению одного русского государственного человека[1]; выражая свою мысль в грубой форме, он сказал: «Я часто спал вдвоем, но никогда втроем». Третье неудобное лицо, на которое он намекал, была Австрия. Александр нашел это выражение «прелестным»[2].

Только одна забота сдерживала царя и мешала его дружеским излияниям. По возвращении со свидания ему придется встретиться в бедной деревушке Пиктупен с Фридрихом-Вильгельмом и пруссаками, которые номинально оставались его союзниками. Перемирие с ними не было еще подписано. Наполеон ставил суровые условия; он требовал сдачи тех последних крепостей вместе с их гарнизонами, которые войска Фридриха-Вильгельма сохранили за собой в Силезии и в Померании; он хотел, чтобы и это перемирие, как большая часть прежних, было все-таки капитуляцией. Что ответит император Александр на мучительные вопросы Фридриха-Вильгельма, если не привезет Пруссии смягчения в ее участи? Не прочтет ли он на лице короля, по меньшей мере, немые и душу раздирающие упреки? Он просил Наполеона избавить Пруссию, всецело находящуюся в его власти, от бесполезного унижения и добился, чтобы перемирие с Пруссией было подписано тотчас же и без передачи крепостей[1].

[1] Граф Румянцев. Архивы С.-Петербурга.
[2] Донесение Савари от 6 августа 1807 г.

После того, как был улажен этот вопрос, ничто не мешало быстрому и взаимно-доброжелательному ходу переговоров о мире и союзе. Для облегчения их Наполеон предложил царю поселиться в Тильзите; он говорил, что царь мог бы прибыть сюда с частью своей гвардии и чувствовать себя тут, как дома; что в его распоряжение будет отдан целый квартал города; Фридриху-Вильгельму предоставлялось то же самое. Александр принял его предложение; по-видимому, был признателен, становился все более откровенным, сердечным, и разговор затянулся на два часа. Слегка были затронуты все вопросы и было признано, что ни один из них не мог служить препятствием к соглашению. Александр обсуждал вопросы с тактом, откровенно и без предвзятых идей, что было замечено его собеседником и окончательно пленило его. «Я только что имел свидание с императором Александром, писал Наполеон в тот же вечер Жозефине, — я был крайне им доволен! Это молодой, чрезвычайно добрый и красивый император; он гораздо умнее, чем думают»[2].

В этих немногих строках легко прочесть надежду, возлагаемую Наполеоном на императора Александра. Быстрым взглядом подметил он все отличительные черты его характера. Прежде всего Александр произвел на него впечатление натуры впечатлительной и нежной, очень чуткой к вниманию, делающей и требующей многое во имя дружбы. Далее, это был человек с живым воображением, способный легко воспламеняться. Быстро увлекаясь идеями, лишь бы они были красивы и обаятельны, он не столько стремился определять их истинную цену и воплощать их в конкретные формы, сколько опьяняться их блеском. Обладая блестящим, но не всеобъемлющим умом, он особенно был способен воспринимать впечатления, усваивать внушенные ему мысли, поэтизировать их, окружать их

[1] Memoires de Hardenberg, III, 475.
[2] Corresp., 12825.

сияющим ореолом и делать их предметом созерцательного поклонения. Он, видимо, был рожден для того, чтобы мечтать, а не действовать. По каждому из этих свойств, Наполеон признал, что молодой император будет его добычей; он рассчитывал, что он вполне поддастся влиянию его властного гения. С этого момента его способ действия был намечен. Нежной, но твердой рукой он коснется всех пружин, которые должны привести в движение душу Александра, и овладеть им, чтобы его рукой держать в своих руках Россию. Он хочет и управлять его умом, и владеть его сердцем. Отношениям, которые в скором времени должны установиться между ними, он придаст характер союза не в обыкновенном смысле этого слова, а в смысле личной и интимной дружбы, основанной на привязанности человека к человеку; это даст ему возможность ввести в соглашение нечто неопределенное и мистическое; любящие друг друга и изгоняющие всякое недоверие друзья понимают один другого с полуслова. В политике слова и поступки императора будут неизменно подсказываться нравственными тенденциями и особенностями души, подмеченными у Александра. Выдвигать общие идеи, развивать их с несравненным искусством мысли и слова, возвышать, облагораживать все вопросы, указывать на их высокочеловечные, сентиментальные и философские стороны, переносить их в высокую и заоблачную сферу, по мере возможности избегать в настоящее время выделять из них материальные и практические стороны, вести переговоры в широких размерах, ставить принципы и предоставить будущему заботу о их применении, говорить более о будущем, чем о настоящем и таким образом избавить себя от преждевременных и, быть может, опасных обязательств. Когда необходимо будет дать Александру реальное удовлетворение, — давать его скорее человеку, чем государю; устраивать так, чтобы удовлетворить, скорее, его самолюбие, его личные и минутные желания, чем насущные интересы его народа; поддерживать в нем надежду на иные, еще более обширные выгоды; постоянно возбуждать его желания, — одним словом, держать его в очарованном, непрерывно обновляемом ожидании, в волшебном сне, который отнимет у него способность очнуться и рассуждать: таков был план, которого Наполеон поставил себе задачей придерживаться с необычайной последовательностью, постоянством и искусством, — план, на котором он, по-видимому, остановился с момента встречи с русским императором.

Со своей стороны Александр передал в следующих выражениях свое первое впечатление: «Ни к кому я не чувствовал такого предубеждения, как к нему, но после беседы, продолжавшейся три четверти часа, оно рассеялось как сон»[1]. Когда он в первый раз после свидания принял одного французского дипломата, он встретил его следующими словами: «Зачем не повидал я его раньше... повязка спала с глаз, и время заблуждений прошло»[2]. Можно ли относиться с полным доверием к такому порывистому и горячему излиянию его чувств и взглядов? Со времени откровенных бесед с Наполеоном был ли Александр действительно так ему предан, как он об этом высказывался? Был ли он на самом деле покорен и очарован? Отрекся ли он от своих предубеждений к страшному человеку, с которым он сражался с таким ожесточением и в объятия которого бросился в порыве отчаяния?

Александр восхищался легко, но не был постоянен. Его великодушное сердце и беспокойный ум заставляли его привязываться ко многим, хотя всегда благородным и возвышенным предметам. Вступая на тот или иной путь, он сперва горячо шел по избранному пути, но затем, разочаровавшись, останавливался, оставляя тем не менее плодотворные следы, ибо, стремясь к идеалу, он находил полезное. Он последовательно веровал то в прогресс, то в реакцию; с одинаковой страстью увлекался как либеральными идеями, так впоследствии самодержавной властью, в которой он видел охранительное и божественное начало. Был ли Наполеон одним из его увлечений, которому предшествовало и за которым последовало столько других? Наверное, он был одним из предметов его любопытства и удивления. Встретясь с этим мировым гением, который, чтобы понравиться ему, пускал в ход и показывал свои многочисленные таланты, он был им поражен, как изумительным и единственным в своем роде феноменом. Сперва он восхищался им подобно явлению природы, изучал его с постоянно захва-

---

[1] Донесения Савари от 9 октября 1807 г.
[2] Поверенный в делах Лессепс к министру иностранных дел 19 августа 1807 г.

тывающим интересом, затем почувствовал к нему ту любовь, которую непреодолимо испытываешь к тому, что хочешь постичь. Следует добавить, что его воспитание, его первоначальное впечатление не могли особенно защитить его от обаяния революционного героя. Будучи менее, чем другие государи его времени, приверженцем прежних принципов и страстей, не будучи, так сказать, человеком старого режима, он легче мог отделаться от их предубеждений; грандиозные новшества, какого бы рода они ни были, имели дар покорять его. Из его интимных разговоров, которые доказывают искренность его публичных заявлений, ясно видно, что он подчинился более сильному характеру и подпал под то сильное влияние, которое Наполеон оказывал на людей. Он не избегнул власти глаз, которые устремляли на него такой пронизывающий взгляд, обаяние человека, который так приятно ему улыбался и ласкал его бесконечно льстивыми словами; он не устоял перед силой речи того, кто умел все скрасить, всему придать иную, новую форму и усеял мир чудесами, и нет сомнения, что величие человека сыграло большую роль в притягательной силе, которая влекла его к Наполеону.

К тому же все, что говорил ему и давал понять Наполеон, было направлено к тому, чтобы ему понравиться и привести его в восторг. Он пришел, как побежденный, еще подавленный своим поражением и разрушенными мечтами, но, правда, волнуемый новыми честолюбивыми вожделениями, в которых едва смел признаться, и вот победитель ободряет и утешает его в несчастье, сразу же превосходит все его ожидания, предлагает ему принять участие в своей судьбе и славе, которым нет примера. Он старается освободиться от чар и хладнокровно, наедине обсудить слышанные слова. Он ничего не находит в них, что могло бы быть в ущерб теперешним интересам России; он находит в них только повод радоваться за нее и надеяться; рассудок, по-видимому, оправдывал его увлечение. Чего же, наконец, требовал Наполеон за то, чтобы соединиться с Россией и сделать ее участницей своей судьбы? Во-первых, чтобы перестали оспаривать его верховную власть на юге и в центре Европы, чтобы были признаны происшедшие перемены в Германии и Италии. Александр заранее мирился с этой жертвой. С другой стороны, Наполеон не предлагал ему участвовать в более широких переворотах. Спрошенный по двум пунктам, он заявил, что не желает ни разрушения Пруссии, ни восстановления Польши. Хотя он устранял из своих планов Австрию, отвечая в этом желаниям Александра, он не высказал никакого проекта против ее существования, необходимого для безопасности России. Он только настойчиво требовал помощи для обеспечения спокойствия Европы путем морского мира, угрозы англичанам, в случае нужды, войны с ними и содействия к возбуждению против них континента. Конечно, разрыв с Лондоном нанесет ущерб материальному благосостоянию России, глубоко взволнует и смутит нацию; но Александр смотрел на отношения России к Англии с более широкой точки зрения, чем его народ. Возмущенный эгоизмом англичан, он находил, что их деспотизм производит на океане такое же сильное давление, как и деспотизм Наполеона на суше. Он полагал, что России, государству, расположенному на Балтийском море, выгодно будет вступить в борьбу с их притязаниями и ограничить их права. Возвращаясь к идее об обеспечении прав нейтральных держав и равенстве морских сил, зародившейся в уме Екатерины II и горячо подхваченной Павлом I, он вернулся бы только к периодически возобновлявшейся традиции русской политики и, стремясь вместе с нами к принципу независимости на морях, утешился бы в своих неудачах в деле освобождения континента. В обмен за эту услугу Наполеон, по-видимому, обещал России серьезные, необыкновенно блестящие и лестные выгоды. Восток был той почвой, на которой она могла бы их потребовать и получить. Нет сомнения, что император не обещал ничего положительного, но его глаза, тон его речи, его манера выражаться говорили более, чем его слова, и, по-видимому, его добрые намерения выжидали только случая, чтобы проявить себя имеющими высокую цену доказательствами. Итак, Александр все более находил, что здравая политика предписывала ему соединиться в настоящее время с победителем, оказать ему против Англии «не прозрачное, а искреннее»[1] содействие ради получения выгод,

[1] Разговор Александра с майором Шёлером, эмиссаром прусского короля, опубликованный Hassel, **Geschichte der Preussihen Politik**, 1807 bis 1815, I. 400.

которые возместили бы России ее потери и вознаграждали бы за ее бедствия.

Можно ли сказать, что он безусловно подчинился гению, который поклялся одержать над ним победу? При его восторженности, его идеальных и неустойчивых стремлениях ему была свойственна тонкая хитрость, даже — по выражению одного близкого ему человека, верно судившего о нем — «в высокой степени рассчитанное притворство»[1]; он был сыном славянской расы, но славянином, воспитанным в византийской школе. В Тильзите под влиянием обаяния императора он не отдался ему всецело, остался верен самому себе, не лишился способности быть наблюдательным и недоверчивым. В его неустойчивой и сложной душе самые разнородные чувства, так сказать, поочередно наслаивались, а не замещали друг друга; чувство, которое сегодня брало верх, не вполне уничтожало то чувство, которое преобладало накануне; оно только оттесняло его. За увлечением, которое влекло теперь Александра к наполеоновскому союзу, можно было найти остатки страха и подозрения. Как бы ни было чистосердечно его доверие, в нем было нечто хрупкое, неустойчивое. С наслаждением отдаваясь очарованиям настоящей минуты, он все-таки оставлял в своей душе место недоверию и не мешал ему витать над будущим.

Например, верил ли он, что союз будет продолжаться вечно, после того, как он даст доступные ему быстрые результаты, — может быть, морской мир или, в крайнем случае, расширение России на Востоке? Следовало ли, по его мнению, признать закон для будущего в принципиальном соглашении между Россией, безучастно относившейся к западным делам, и Францией, которая распространилась по всему свету? Он избегал спрашивать себя об этом. Проникая в тайники его мысли, нашли бы там опасение, что прочная безопасность России не согласуется с чрезмерным французским могуществом. Он вовсе не отказывался от мысли восстановить Европу в ее правах и отбросить Францию в самые тесные границы, но ждал осуществления своего желания только от проблематического содействия обстоятельств: «Изменятся обстоятельства, говорил он по секрету, может измениться и

[1] Генерал Коленкур.

политика»[1]. В ожидании этого он хочет употребить время, которое не может уже посвящать защите Европы, с одной стороны, на восстановление своих сил, с другой — на обеспечение своих эгоистических целей. Устав от бесплодной борьбы в пользу других, он будет работать для себя лично, с тем, чтобы, когда его приобретения и безопасность будут обеспечены, посмотреть, следует ли ему оставаться союзником Наполеона или снова сделаться союзником Европы. Правда, возможно, что честолюбие победителя вскоре сделается ненасытным и всепожирающим, что оно будет угрожать тому самому государству, которое оно, по-видимому, хочет взять себе в союзники. Александр будет настороже против такой опасности. Как только она появится, союз, даже в момент полного своего развития, нарушится сам собой; но Россия выиграет по меньшей мере уже то, что на несколько лет будет прекращено ужас наводящее движение французских армий, что их поток будет отклонен в другую сторону, что получится время для укрепления границ, для восстановления потерь, для возможности опять стать в оборонительное положение. Благодаря этой отсрочке, если Александру и придется вести страшную борьбу, Россия будет лучше подготовлена к тому, чтобы ее выдержать. Тогда, не прибегая к бесполезным коалициям, опираясь только на самое себя, на свое восстановленное могущество, на сознание своего права, она будет ждать завоевателя, противопоставит ему свою грозную массу и «дорого продаст свою независимость»[2]. В 1807 г. Александр не думал еще о 1812 г., но были минуты, когда он предвидел его.

Однако тучки, которые проносились в его уме, не омрачали его чела. Подле Наполеона он казался совершенно спокойным, сиял от удовольствия, был полон надежд и делал вид, что безгранично верит в долговечность соглашения. Он входил в виды великого человека, интересовался всеми его планами, преклонялся перед его превосходством, заявлял о желании помогать ему, о готовности любить его. Эта вкрадчивая игра, которая соответствовала его характеру, его теперешнему настроению, удовольствию, которое он искренно испытывал, поддерживая обаятельные сноше-

[1] Разговор с Шёлером, Hassel, 390.
[2] Разговор с Шёлером, Hossel, 386.

ния, составляла также часть его политики. Будучи и на самом деле очарован, он делал вид, что увлечен более, чем это было в действительности. Его целью было доставить императору такие впечатления и такого рода удовлетворение, которые были новы для Наполеона. Наполеон победил, но не убедил Европу; он покорил под свое иго королей, но не подчинил их своему нравственному влиянию; между всеми его победами дружба государя великой державы была единственным успехом, которого ему не доставало. Предлагая свою дружбу, Александр думал удовлетворить этим его тайное и горделивое желание, занять в его чувствах особое место и легче заручиться его доверием. «Льстите его тщеславию» — говорил он пруссакам, рекомендуя им свою тактику; — «моя честная дружба к вашему королю заставляет меня дать вам этот совет»[1]. В этой затаенной мысли и приведенных словах следует, между прочим, искать тайну того почтительного внимания, нежного и страстного, которое Александр расточал Наполеону. Без сомнения, желание очаровывать было в нем врожденным, постоянным, не победа над Наполеоном должна была в особенности соблазнять Александра «Обольстителя»[2]. Он отдался своей тактике не только по врожденной склонности, по инстинктивному влечению, но также и потому, что видел в ней средство с большей пользой служить своему государству и вернее обеспечить его интересы[3]. Случилось так, что оба императора приняли относительно друг друга одну и ту же тактику: Наполеон хотел привлечь к себе Александра, но и у царя было не меньшее желание понравиться ему, и если бы вздумали определить истинный характер отношений, установившихся в Тильзите,

---

[1] Разговор с Шёлером, Hassel, 385.

[2] Reminiscences sur Napolion I et Alexandr I parla comtesse de Choiseul Couffier, p. 11.

[3] В собственноручной записке по поводу инструкций, предназначенных графу Петру Толстому, новому русскому посланнику в Париж, Александр писал: «Между прочим, следует сказать, что так как Тильзитский мир избавил Россию от опасности, угрожавшей ей со стороны ее самого грозного врага, требования политики вынуждают нас извлечь наибольшую выгоду из нового порядка вещей и что только при старании скрепить узы, связывающие обе империи, можно надеяться использовать отношения, недавно установившиеся между Россией и Францией». Архив С.-Петербуга.

освобождая их от окружавшей их трогательной и величественной внешней обстановки, можно было бы их обозначить так: искренняя попытка к кратковременному союзу на почве взаимного обольщения.

II

Второе свидание на плоту на Немане состоялось двадцать шестого. На это совещание прибыл прусский король и был представлен Наполеону Александром. Его манера держать себя составляла неприятный контраст с манерами царя. Фридрих-Вильгельм от природы был лишен изящества и непринужденности в обращении; несчастье делало его еще более неловким, и к тому же он не обладал искусством улыбаться, когда тяжело на душе. Его угрюмый вид, опущенные к землю глаза, заикающаяся речь, — все указывало, как он мучительно неловко чувствовал себя. Под его замкнутой наружностью Наполеон заподозрил душу, которую тем труднее склонить на свою сторону, что она была честная и убежденная. В лице ее короля он осудил и окончательно приговорил Пруссию. Не надеясь присоединить ее к своей системе, но вынужденный ее сохранить, так как русский союз обусловливался этой ценой, он только и думал о средствах привести ее в состояние бессилия. Не будучи в силах убить ее, он хотел помешать ей жить.

Сурово и свысока заговорил он с королем. Еле намекнув на условия мира, он резко указал на замеченные им недостатки в прусской администрации и армии, дал Фридриху-Вильгельму несколько советов и с оскорбительной настойчивостью указал ему на его королевские обязанности. Затем он предъявил жестокое требование. Перед войной барон Гарденберг, первый министр Пруссии, отнесся к Франции без должного уважения, отказав ее послу в аудиенции; в отместку за это оскорбление Наполеон отказывался теперь вести с ним переговоры. Это значило предписать его увольнение, обвинив его в политической бездарности и удалить из королевского совета. Фридрих-Вильгельм оспаривал это требование: у него не было никого, говорил он, чтобы заменить Гарденберга. Наполеон не принял этого во внимание, назвал несколько фамилий и между ними, по единственной в своем роде ошибке,

назвал барона Штейна, будущего преобразователя прусской монархии. После тягостного разговора расстались очень холодно. Возвращаясь на правый берег, Фридрих-Вильгельм слышал, как Наполеон и Александр назначали друг другу свидание в тот же вечер в Тильзите[1].

Въезд царя в город совершился при красивой военной обстановке, с пышностью, какую только позволяли место и обстоятельства. Французская армия, сгладив последние следы борьбы, сияла воинственным блеском. Император и его свита верхом встретили царя при его выходе на берег. Когда Александр приблизился к берегу, где ему был приготовлен богато убранный красивый арабский конь, войска отдали честь, знамена склонились; раздались шестьдесят пушечных выстрелов. На пути следования обоих императоров через город были собраны отряды гвардии, пехоты и кавалерии. Налицо были все полки: драгуны, стрелки, гренадеры, но прежде чем Наполеон успевал называть воинские части, Александр распознавал мундиры, которые победами стяжали себе всемирную известность; он сам называл по частям солдат, поза и взоры которых были полны гордостью одержанных побед. Со своей стороны французы восхищались высоким челом русского монарха и неподражаемой грацией, с какой он салютовал шпагой[2]. Оба государя были верхом и, разговаривая, прибыли к дому, где жил царь во время своего первого пребывания в Тильзите до Фридланда. «Вы у себя дома», — сказал ему император. Но Александр не сошел с коня. Из утонченной лести продолжал он путь между стоявшими шпалерами войсками, чтобы подольше полюбоваться императорской гвардией, выстроенной вдоль всей улицы[3].

Обедали у императора и расстались только в девять часов. Всякую минуту Александру доставлялись какие-нибудь приятные вести: то это был обмен пленных, который был начат тотчас же после свидания и велся с большой быстротой, то это была отправка курьеров к командирам наших войск в северную Германию с приказанием относиться с уважением к владениям герцога Мекленбургского, родственника русской императорской фамилии, наконец, «всевозможные знаки ува-

[1] Hardenberg III, 465—466, 480.
[2] Lamartin, Histoire Russie, III, 143.
[3] Memoires de Roustam, Revue retrospective Ĥ-оз, III, 143.

жения и внимания»[1]. Со своей стороны Александр обходился с императором как с союзником и другом, хотя до сих пор еще не признал за ним официально императорского титула, и хотя его министры в своих депешах с упорным формализмом продолжали называть Наполеона «главой французского правительства»[2].

Однако, как ни были хороши личные отношения, установившиеся между ними, император только слегка коснулся предмета, долженствовавшего скрепить их соглашение. В первых беседах вопрос о Востоке не был почти затронут. В этой части Европы предвиделись большие перевороты; катастрофа в Константинополе была уже известна, не знали только подробностей и не решались предрешать ее последствий. В Тильзите ни Франция, ни Россия не сказали первого слова о разделе Турции, заговорить о нем решилась Пруссия.

Проживая уединенно в Пиктупёнёне, не зная еще, останется ли он министром, барон Гарденберг проводит время в составлении проектов мирного соглашения. Он напряг все силы своего ума, как бы удовлетворить победителя не за счет побежденного, как бы устроить так, чтобы и Пруссия была спасена, и Наполеон остался доволен. Он вспомнил примеры прошлого и искал указаний в истории. В восемнадцатом веке Пруссия ввела в Европе политику разделов и осуществляла ее с бесспорным успехом. В непрерывных разделах Польши она нашла неистощимый источник выгод. В 1788 г. для обеспечения за собой свободы действий на Висле она придумала внушить Австрии и России первый раздел Турции. Хотя обстоятельства с тех пор совершенно изменились, тем не менее средство оставалось хорошим и испытанным; не служила ли Турция всегда для отклонения в ее сторону честолюбивых стремлений, вызывавших кровопролитие в Европе, не служила ли она для насыщения алчных, для вознаграждения побежденных; не расплатится ли она и теперь за всех? На уничтожении Турции Гарденберг основал обширный план. Дело шло о том, чтобы передать восточную и центральную Европу во всех ее частях и устроить обмен владений государей. Россия возьмет часть Княжеств, Болгарию, Румелию и проливы; Австрия, восстановленная во владении Далмацией, при-

[1] Будберг к Салтыкову, письмо, цитированное на стр. 58.
[2] Там же.

соединит еще Боснию и Сербию, Франция получит Эллинский полуостров и острова. Россия, Австрия и Пруссия откажутся от провинций, отнятых в последний раз у Польши, и Польша, собрав свои разбросанные члены, снова оживет под управлением саксонского короля. Переселясь в Варшаву, он предоставит владения своих отцов Пруссии, которой, кроме того, будет отдано все, чем она владела в Германии, так что благодаря бедственной для нее кампании Бранденбургская монархия получила бы некоторое приращение. Среди самых тяжелых превратностей судьбы, когда-либо постигавших государство, Пруссия не отрекалась от своих традиций, не отказывалась от своих способов действий; побежденная и умирающая, она в чужом разгроме искала восстановления собственного счастья[1].

Проект Гарденберга, составленный в виде памятной записки, был одобрен королем и передан в качестве инструкции маршалу Калькрейту, который, подписав перемирие, продолжал жить в Тильзите. Он был сообщен Александру и нашел поддержку у министра Будберга. Царь ограничился тем, что принял его к сведению. Усидчивый теоретический труд еле живой Пруссии мало интересовал его, так как он исходил от осужденного на изгнание министра и короля без государства; только от одного Наполеона ждал он того слова, которое должно было дать направление его честолюбивым стремлениям. Наконец, император высказал это желанное слово при особо торжественных условиях: он нашел, или, вернее, сумел подстроить удобный случай для театрального эффекта, блеснувшего среди одной из величественных обстановок, которые он так искусно умел создавать.

С тех пор как царь поселился в Тильзите, Наполеон устраивал в честь его смотры нашей армии, расквартированной и разбросанной в окрестностях города. Рано утром оба императора верхами, с блестящей свитой, выезжали из Тильзита. В деревнях, оживавших с утренним благовестом, им повсюду попадались лагери наших войск. В несколько дней наши солдаты сумели на скорую руку устроить себе пристанища: со свойственным им врожденным и изобретательным вкусом они даже свои временные жилища убрали, как можно лучше, украсив их грубыми орнаментами, взятыми из окрестных деревень. Наполеон со своим гостем объезжали стоянки; он показывал ему своих людей вблизи, принимал участие в их домашнем богослужении, проявлял такую заботу о их благосостоянии, которая поражала русского императора. Затем они галопом доезжали до открытого места, удобного для маневров. Тут были собраны другие войска, построенные в образцовом порядке; их длинные, неподвижные, сверкавшие сталью ряды далеко уходили вдаль. Маршалы принимали командование над своими корпусами, огромная свита группировалась вокруг императоров, начинался смотр.

Александр с захватывающим вниманием следил за такими зрелищами. Подобно всем государям его династии, он любил красивые полки и точно исполненные маневры, и ничто не доставляло ему такого удовольствия, как вид ровным шагом проходивших перед ним колонн и вихрем проносившейся кавалерии: это было то, что князь Адам Чарторижский называл его «парадоманией»[1]. Французская армия представляла тогда неисчерпаемый источник для удовлетворения его склонности. Она была не только самым храбрым, самым воинственным, наиболее дисциплинированным войском Европы, но и самой богатой по краскам, самой разнообразной по виду, самой живописной и самой блестящей. Александр не переставал любоваться бесподобными войсками, их выправкой и энергией. С милостивым вниманием воздавал он им должное и не щадил похвал своим победителям. Он просил представить ему полковых командиров, которые в особенности обратили на себя его внимание. «Вы очень молоды для такой славы»[2],— сказал он одному из них. Его интересовали самые ничтожные подробности, а брата его даже приводили в восхищение. С согласия царя великий князь Константин просил императора дать ему одного из тамбур-мажоров, которые парадировали в мундире с золотыми по всем швам галунами, с фантастическим султаном во главе наших полков. Он хотел, чтобы этот новомодный инструктор научил своих русских собратьев тем движениям и «штучкам»,

[1] Hardenberg, III, 461—463.

[1] Memoires du prince Adam Czartorysky I, 109.

[2] Memoires du dus de Padoue I, 118.

которые он выделывал своим жезлом»[1]. Не вызывает ли этот поступок в нашем воображении целую картину, не заставляет ли он на мгновение ожить перед нашими глазами наши победоносные полки, когда они, гордые своими победами, бодро проходили эшелонами перед свитой обоих императоров, под звуки музыки, играя красками своих мундиров?

На одном из таких смотров императору подали дипломатические депеши. Он распечатал, пробежал их, затем, обращаясь к Александру, с вдохновленным видом воскликнул: «Вот решение Божественного Промысла, которое говорит мне, что Турецкая империя не может долее существовать!»[2]. Депеши, которые он дал прочесть царю, были от генерала Себастиани, его посланника в Константинополь. Себастиани подробно излагал событие 27 мая и сообщал, что недовольные солдаты и население соединились против султана-реформатора; что Селим, осажденный в своем дворце, быстро покорился велениям судьбы, покорно, по примеру своих предшественников, сложил с себя корону, и Турция, временно оправившаяся под управлением просвещенного монарха, сама собой валилась в пропасть. Наполеон был союзником султана, но не Турции: с ней он не подписывал никакого договора. Он объявил, что падение Селима освобождало его от всякой связи с его империей, успокаивало его совесть и предоставляло ему свободу привести в исполнение те великие планы, к которым влекли его и его личная склонность, и дружба к Александру. Мысли обоих императоров, переносясь через окружавшую их воинственную обстановку через поля Польши, через бледные горизонты Севера, понеслись к более светлым областям, к Востоку и Константинополю, в обетованную землю, туда, куда стремились честолюбивые вожделения царей.

В следующие дни Наполеон постоянно говорил о Востоке, со свойственным ему одному безыскусственным, образным и потрясающим красноречием. Он переносился в тот сказочный мир, который он видел и оценил в бытность свою в Египте; в те страны, которые казались ему одаренными всеми благами природы, но которые человек оставлял неиспользованными; его мысль неслась к туркам, которыми он при случае пользовался, воинственные доблести которых иногда ценил, но слабое и распущенное правительство которых было ему ненавистно, ибо оно было противно его духу, поклонявшемуся силе и закону. «Император не любит турок, — писал позднее один из его министров. — Он считает их варварами»[1]. Едва позволяя Александру коснуться до этой разлагающейся империи, он тем не менее рисовал ему возможность легко воспользоваться ее останками. Ее завоевание, говорил он, будет делом и гуманным и просвещенным: присутствие турок безобразит возрождающуюся Европу; оно — темное пятно на светлом фоне обновленного континента. Такие громкие фразы не были только блестящей игрой слов, предназначенных обольстить Александра обманчивыми надеждами: у Наполеона, действительно, были высказываемые им с такой силой стремления. Хотя его поведение по отношению к туркам и менялось в зависимости от потребностей его политики, хотя он покидал или поддерживал Турцию, руководствуясь только своими выгодами, но с самого начала его карьеры в нем засела одна идея — хотя смутная и далекая, но упорная и жила в мыслях его об отдаленном будущем: его мечтой было выполнить на Востоке огромную миссию и пересоздать целый мир. Благодаря своим победам, он переделал Европу и придал ей новый, отвечающий идеям и потребностям его политики вид; но разве был его труд закончен, пока Восток не организован, пока эта благородная часть древнего мира остается в состоянии бесформенного хаоса? Подобно большинству своих современников, он не знал истинного положения и распределения рас на турецкой территории; но одну из них он считал достойной своего внимания, ибо она явилась ему в ореоле светозарного прошлого. Мысль возродить Грецию, привязав ее к своей империи, неоднократно приходила ему на ум, глубоко пропитанный классическими воспоминаниями и страстями. «Греция, говорил он позднее, — ждет своего освободителя, в ней найдет он прекрасный венец славы»[2]. Предчувствуя для народов Востока новую судьбу, он хотел ее ускорить, для того, чтобы самому ее установить; и там, как и везде, его нетерпеливый гений мечтал подвинуть историю.

---

[1] Archives des affaires etranger Russie, 1810.
[2] Донесение Савери от 4 ноября 1807 г.

---

[1] Шампаньи к Коленкуру, 9 марта 1808.
[2] Memorial 10—12 mars 1816.

Александр слушал Наполеона с восхищением; его воображение разгоралось под влиянием его всеобъемлющей и могучей мысли. Страсть к Востоку внедрялась в его душу; он чувствовал, как честолюбивые мысли овладели им. В словах Наполеона он узнавал те самые звуки, которые напевали ему в юности. План раздела был в его глазах тем «греческим проектом», которым увлекалась его бабка; он еще по привычке, по традиции, называл его этим именем[1]. Слова французского завоевателя оживляли в нем воспоминания о царствовании Екатерины и переносили его в героические годы современной России.

Но, указав, что пришло время снова пойти по стопам великой императрицы и начать освобождение Востока, Наполеон сделал оговорку. Будущему, сказал он, надлежит развить и окончить этот труд. Теперь нужно заняться только тем, чтобы сузить оттоманскую территорию, оттеснить и «прижать»[2] к Азии народ, чуждый Европе, отнять у него некоторые провинции, которые он еще угнетает, но которыми более не управляет. Идти же дальше, приступить к полному разделу, было бы делом, чреватым осложнениями и опасностями. Оно не могло бы вызвать между Францией и Россией столкновение, гибельное для их согласия: могут создаться такие положения, когда споры не желательны и нельзя покидать друг друга. Очевидно, что будущая участь центральных провинций Турции и, особенно, Константинополя не была серьезно рассмотрена. Когда позднее оба императора подняли этот вопрос, он предстал перед ними как совершенно новый: ни тот, ни другой не намекнули на прежние разговоры, — в Тильзите они стремились к тому, что могло их соединить, а не разъединить. На европейском же Востоке, если допустить предположение об ограниченном разделе, были области, распределение которых не могло дать повода к пререканиям: их положение решало их судьбу. Наполеон по карте указал на них пальцем и выкроил из отрезанных владений Турции соответственные владения обоих государств. Россия в течение столетия домогалась Молдавии и Валахии и теперь занимала их по праву войны; они должны будут составить ее долю. В случае перехода через Дунай часть Болгарии могла бы разделить участь Княжеств. Франция же найдет средство к расширению по соседству своих Иллирийских владений. Наполеон указывал то на Боснию и Албанию, которые придали бы более прочности и устойчивости Далмации, маленькой провинции, расположенной вдоль берега Адриатического моря, то на Албанию, Эпир и Грецию, которые служили ее продолжением на юге. Хотя оба императора и много говорили о предполагаемых завоеваниях, они, однако, не устанавливали строго ни их внутренней ценности, ни протяжения: они не намечали границ. Убаюкав себя многочисленными гипотезами, не рассмотрев обстоятельно ни одной, они возвращались к общим местам туманного и отдаленного будущего, и разговор продолжался, не приводя ни к каким определенным выводам.

Хотя Наполеон и склонялся к разделу Турции и уже с этих пор изучал средства произвести этот грабеж[1], но в действительности он еще не остановился ни на каком решении. «Моя система относительно Турции колеблется и готова рухнуть, — писал он Талейрану, — я ни на что не могу решиться»[2]. Раздел Турции был одним из тех средств, которыми он считал необходимым искушать вожделения России, избегая в то же время всякого положительного обязательства. Сохраняя к России принципиальное недоверие, он не решался еще допустить ее до вечной цели ее стремления. Кроме того, страшное потрясение, вызванное преждевременным разделом, прибавляя к существующим уже между государствами причинам раздора еще новую, отдалило бы на неопределенное время общий мир, в котором Наполеон и нуждался и которого страстно желал; это значило бы прибавить новую распрю к тем бесконечным и жестоким распрям, которых не могли разрешить пятнадцатилетние победы французов. Конечно, если Англия, несмотря на давление, про-

---

[1] Hardenberg, III, 494.

[2] Письмо графа Румянцева, в котором упоминаются слова Наполеона, сказанные в Тильзите 26 ноября 1807 г. Архивы С.-Петербурга.

---

[1] 8 июля он приказал написать Мармону, командующему Долматинской армией, чтобы он выяснил, какие доходы будут давать западные турецкие провинции европейскому государству, которое будет обладать ими, и составил записку о способах завладеть этими провинциями. Voyages de dus Raguse, II, 389.

[2] Corresp. 12886.

изведенное на нее Россией, останется несговорчивой, придется в силу требований беспримерной борьбы прибегнуть к чрезвычайным мероприятиям. Чтобы сильнее привязать к себе Россию, побудить ее к деятельным мерам против общего врага и поразить этого врага на новой почве, Наполеон не отступит от решения восточного вопроса; он взглянет ему прямо в лицо, искренне и смело приступит к нему при условии быть его руководителем и сумеет извлечь из него окончательное торжество своей политики; но к этой крайней мере он решил прибегнуть только в случае безусловной необходимости вполне обеспечить свое господство над Европой, выяснив себе намерения Англии и испытать добросовестность Александра. Пока же он надеялся, что для того, чтобы удовлетворить Александра и сохранить над ним чарующую силу, достаточно будет только обещаний без всяких обязательств.

Несколько дней спустя он прекратил разговоры о Востоке под предлогом спешного отъезда в Париж, куда призывали его важные обязанности. Оставшееся в их распоряжении время, говорил он, займут дела, которые необходимо уладить теперь же; окончательное же соглашение по разделу следовало отложить до следующего свидания, где оно составит исключительный предмет переговоров. Александр обещал своему союзнику посетить его в Париже. Там-то оба императора, свободные от занятий, нетерпящих отлагательства, могут на досуге возобновить разговор о великом замысле — установить судьбу целой части света и распределить между собой управление ею[1].

Александр был так ослеплен, почти ошеломлен впечатлениями, которые Наполеон заставлял его ежеминутно переживать, неожиданными и захватывающими картинами, вереницами проносящимися перед его взорами, что даже, когда он и вполне владел собою, ему не приходило в голову подумать о просьбе решить дело теперь же и потребовать договора. Из всего, что ему было сказано, он помнил только одно: вместо того, чтобы противопоставить вожделениям России заявление о их неприемлемости, Наполеон поощрял их проявление, признавал за ними право на существование, обещал, что в скором времени они получат некоторое удовлетворение. С этих пор Александр горячо,

[1] См. Приложение под цифрой I, инструкции Коленкуру.

страстно предался этой надежде, не определяя ее пока точно и не придавая ей слишком широкого значения. Еще вопрос — соблазняла ли его перспектива действительного раздела Турции, крупной разверстки земель по соглашению с Наполеоном, настолько, как это вообще было принято думать. По-видимому, в его уме по временам зарождалась затаенная мысль. Русский монарх спрашивал себя: благоразумно ли, дело ли осторожной политики вмешиваться в окончательное упорядочение восточного вопроса, когда для этого нужно сделаться союзником честолюбца, перед которым трепещет весь мир? Не будет ли доля России, как бы ни была она значительна, всегда меньше той, которую по праву всесильного присвоит себе Франция, не разумнее ли извлечь из намерений императора непосредственную и осязаемую выгоду и не слишком ли серьезно компрометировать будущее?

К тому же Александр не испытывал того стремления к бесконечным захватам, той алчности к присоединению, которая не давала покоя некоторым государям восемнадцатого века. Если он и мечтал о победах, то о победах нравственных; его честолюбие не равнялось его самолюбию. Удовлетворив свое тщеславие тем, что, явившись в роли благодетельного посредника, он очаровал и привел в восторг Европу, он желал теперь понравиться своим подданным, поразить и их воображение и таким образом привлечь к себе их ненадежные умы. Его преобразовательные проекты и борьба с злоупотреблениями, которые должны были создать его славу, вызвали против него светскую оппозицию, злобную и иногда опасную. Несмотря на его благородные и привлекательные качества, популярность его была сомнительна. Чтобы установить ее, он горел нетерпением доставить России скорую, ощутительную, давно желанную выгоду, которая смягчила бы горечь от испытанных бедствий и удовлетворила бы чувство народной гордости. Но для осуществления этих намерений вовсе не было необходимости бросаться на поприще бесконечных завоеваний и приключений. Приобретения на Востоке несколько хорошо выбранных территорий, всего или, по крайней мере, значительной части Молдаво-Валахского княжества, которое Екатерина мечтала присоединить к своей империи, достаточно было бы для удовлетворения России и для достойного завершения настоящего кри-

зиса. Александр рассчитывал получить это, хотя и ограниченное, но все-таки значительное расширение, не дожидаясь раздела, то есть, соответственного увеличения Франции. Он смутно надеялся, что Наполеон, приговорив к смерти Оттоманскую империю, но не считая себя в силах привести приговор в исполнение, позволит России взять некоторые провинции в счет будущего наследства в Турции.

Итак, высказывая большое сочувствие к разделу, Александр не торопил с ним Наполеона, и, когда Наполеон, заботясь о соблюдении приличия, выразил желание, чтобы Россия до принятия против Турции совместных крайних мер попробовала вступить с ней в переговоры, царь не отклонил этой мысли: он рассчитывал легко вырвать у Порты выгодный мир и уступку территорий, так как Франция, до сих пор поддерживавшая Турцию, отдернула свою руку и отвернулась от нее. Он даже надеялся, что Наполеон окажет поддержку его требованиям и найдет выгодным ослабление империи, на которую впоследствии хотел напасть и разбить на несколько частей. «Я не жду слишком большого сопротивления моим намерениям,— писал Александр, — ибо они в интересах императора французов и вполне не отвечают его взглядам на Оттоманскую империю[1]. В конце концов, условились в принципе, что в первых числах июля Россия начнет мирные переговоры с Портой при посредничестве Франции. Если же Турция откажется или будет лишена возможности вести переговоры, будет составлен план раздела, который установит принятые взгляды и отречение Франции от своей прежней союзницы; но этот строго секретный проект не будет приводиться в исполнение до вторичного свидания и окончательного соглашения

[1] Инструкции графу Толстому. В заметке, служившей основой для редактирования этой инструкции, Александр выражает мысль, что вместо того, чтобы предлагать Наполеону Боснию и Албанию, что может вызвать раздел, следует ему только напомнить, что в случае, если он захочет выполнить это дело, ему будет выгодно, чтобы Россия теперь же вступила во владение княжествами. Архивы С.-Петербурга.

III

Когда вызванное на горизонте волшебное зрелище Востока все скрасило в глазах Александра, сделало его более дружелюбным и уступчивым. Наполеон энергично возобновил переговоры в делах, упорядочение которых было необходимо для того, чтобы теперь уже установить между двумя империями мирные и союзные отношения. При этом он хотел точно определить свои выгоды, но не принимая на себя обязательства по отношению к России. Рассмотрев сначала Европу вообще, затем Турцию в частности, установили некоторые основы, оставалось только закрепить соглашение письменными условиями.

Для выполнения этой задачи оба монарха должны были избрать себе из своих министров надлежащих помощников, и действительно, в первые же дни свидания, и тот и другой назвали своих полномочных министров. Уполномоченный Франции был уже намечен: это был Талейран, спешно вызванный из Кенигсберга. Александр предложил Будберга, который все еще управлял министерством иностранных дел. По поводу этого выбора Наполеон сделал несколько возражений. Он боялся, что барон Будберг, бывший орудием враждебной Франции политики, не достаточно искренне проникнется новыми идеями своего государя; во всяком случае его немецкая фамилия внушала ему некоторое недоверие. Александр заметил, что Будберг, уроженец прибалтийских губерний, был таким же русским, «как эльзасец — французом»[1]; тем не менее из утонченного внимания он не настаивал на нем, отстранил от переговоров самого министра и выбрал своим уполномоченным князя Куракина, нового посланника в Вене, находившегося в это время в главной квартире. В помощники ему был дан князь Лобанов. Куракин был старым царедворцем, вполне послушным, но не обладал ни инициативой, ни энергией: 2 июля у него было еще только одно совещание с нашим представителем и в жалобном письме к Талейрану, ссылаясь на свои недуги, он извинялся, что заставляет его ждать[2]. В сущности, переговоры между уполномоченными касались

[1] Hardenberg, III, 488.
[2] Archives des affaires etrangeros, Prusse 240.

только мелочей и редактирования, — всякий важный вопрос оставался исключительно в ведении императоров.

Их непосредственные переговоры были единственными в своем роде: не было ни приготовлений, ни торжественной обстановки, ни назначенных для совещаний дней, ни докучливых свидетелей, обязанных все записывать. «Я буду вашим секретарем, сказал Наполеон Александру, а вы моим»[1]. Виделись и совещались, не стесняясь временем. Не относящиеся к делу задушевные разговоры, откровенные беседы, нарушая монотонность деловых разговоров, давали возможность обоим императорам лучше узнать, понять и оценить друг друга.

Между ними установились общие и правильные привычки. Обыкновенно они встречались среди дня, то у одного, то у другого. Если свидание происходило у императора, то в течение долгих часов разговаривали в его салоне, стоя, или ходили по комнате большими шагами; иногда проходили в соседний кабинет, где были разложены карты, и изучали очертания той части Европы, о переделке которой шел разговор. Для отдохновения от трудов предпринимали прогулки, посещали войска, ездили верхом по окрестностям Тильзита. Тогда нарушались свидания вдвоем. Между обоими императорами являлось третье лицо — прусский король. Фридрих Вильгельм решился, наконец поселиться в Тильзите или, по крайней мере, проводил там часть дня. Он устроился в скромной обстановке, занял квартиру в доме мельника[2]. Хотя Наполеон и Александр и устранили его из своих совещаний, но они не могли исключить его из своего общества. Они приглашали его сопутствовать им во время их ежедневных выездов, и три государя ехали рядом во главе их слившихся в одну группу свиг.

Как только выезжали за город, Наполеон пускал в галоп своего коня и ехал с привычной ему быстротой. Александр, ловкий и искусный во всякого рода гимнастических упражнениях, не уступал ему. Чувствовавший себя неловко Фридрих-Вильгельм, к тому же ездок менее искусный, не знал, что делать со своей особой, «отставал или наезжал на Наполеона и постоянно мешал ему»[1]. Пруссаки, видимо, страдали от этого. Их унылый вид составлял резкий контраст с великолепным расположением духа остальной свиты. Скоро между французами и русскими установились сердечные отношения, и, хотя среди наших вчерашних врагов некоторые генералы, между прочим и Платов отказывались от всякого общения с нами, офицеры, состоявшие при особе царя, подражали ему и даже утрировали его поведение. Брат его Константин стал на короткую ногу с Мюратом, маршалом Бертье и генералом Груши. Он говорил с нами о Париже, обещал навестить их, клялся им в вечной дружбе. «Я желал бы, — говорил он впоследствии, — чтобы они вполне были уверены в моем уважении и моей преданности. Как свидетель их достойного поведения и доблести, я имел возможность оценить их. Нельзя любить их больше моего, всю жизнь буду я вспоминать приятные минуты, проведенные с ними»[2].

После прогулки Наполеон и Александр не расставались уже в продолжение всего дня. Обедали у императора; в это время присутствие Фридриха-Вильгельма опять вызывало некоторую натянутость и омрачало собрание. Вследствие этого оба друга довольно рано «расходились»[3], но это было часто только хитростью, имеющей целью отделаться от тягостного гостя. Вечером они снова встречались у царя, где «пили чай»[4]. Проговорив до полуночи и долее, они выходили вместе. Иногда военные всякого звания, наполнявшие вечером улицы Тильзита, встречали двух прохожих, которые, идя под руку, дружески разговаривали, с удивлением узнавали в них императора Франции и России[5].

В этих непрерывных свиданиях разговор всегда вел и направлял Наполеон. Он был неиссякаем в речах и мыслях. Отдаваясь своей страсти к эффективным монологам, он во всем находил предмет для подробного развития своеобразных и глубоких взглядов. Александр предоставлял ему говорить и умел его слушать. Такая манера держать себя облегчалась моло-

---

[1] Hardenberg, III, 490.
[2] Ibid., 480.

[1] Memorial, 16 1816.
[2] Поверочный в делах Лессепс министру иностранных дел, 22 августа 1807 г.
[3] Memorial, 16 1816.
[4] Ibid.
[5] Memoires du Roustam, los. cit.

дому монарху тем, что затрагиваемые вопросы были вполне достойны его внимания: дело шло о политике, администрации и войне. Наполеон рассказал о первых своих победах, поразивших мир, о походах в Италию и Египет. Заметив, что египетский поход в высокой степени поражал воображение царя, он повторял его романтическое описание. Затем простодушным тоном он открывал секреты и приемы военного дела. Он говорил, что искусство побеждать не было недосягаемой наукой, что иногда глубокие расчеты противника разрушаются на войне присутствием духа и хладнокровием. Все заключается в том, говорил он, чтобы испугаться последним[1]. Александр благоговейно слушал его, запечатлевая в своей памяти все слышанное и не забыл этого, «твердо решившись, — рассказывал он впоследствии, — «при случае» этим воспользоваться»[2].

Он также хотел научиться у Наполеона, как вести народ и управлять государством. Император любезно удовлетворял его любознательности, раскрывал главные двигатели своего могущества, объяснял устройство своего правления, внутренний ход той «громадной машины», рассматривать которую дозволялось в Европе только с ее внешней импонирующей стороны. Он вспоминал, какими способами он пересоздал администрацию, общество, нацию; как переделал Францию с помощью разбросанных и разнородных элементов. Вдаваясь в подробности, он давал краткую характеристику людей, услугами которых пользовался; описывал их происхождение, склонности, многообразные их способности; говорил, чего требовал от каждого из них и что умел извлечь; какую большую цену придавал тому, чтобы они оставались на своих местах, как обеспечивал устойчивость их должностей, как предпочитал, скорее, не обращать внимания на их недостатки, чем отказываться извлекать пользу из их хороших качеств, предпочитая лучше объездить их, чем сокрушить[3].

Затем беседа возобновлялась снова, вдаваясь иногда в чисто умозрительные области. Обсуждали

[1] Memoires de La comtesse Edling, 85.
[2] Ibid.
[3] Слова, о которых Александр упоминает в своих разговорах с Коленкуром: переписка этого посланника, 1807—1808.

различные образы правлений и присущую им ценность. Оказалось, между прочим, что Александр был поклонником «идеологии»[1]. Самодержец по положению, он хотел казаться либеральным по принципам, даже называл себя республиканцем, и коронованному солдату приходилось отстаивать преимущества наследственного права. Во всяком затронутом вопросе, каким бы отвлеченным он ни бы, Наполеон старался уловить, главным образом, практическую его сторону и коснуться того пункта, который должен был заинтересовать и понравиться его собеседнику. Однажды заговорили о печати. Император, искусно и не щадя противника пользовавшийся этим орудием, вспомнил, что Александру приходилось страдать от личных нападок и что у него сохранилось о них неприятное воспоминание. «Не нужно вспоминать прошлого, — сказал он, — но уверяю вас, что в будущем не будет сказано ни одного слова, которое почему-либо могло бы неприятно подействовать на вас, ибо, хотя печать и пользуется достаточной свободой, но полиция оказывает на журналы сдерживающее влияние»[2].

В ответ на такие любезности Александр делал вид, что совершенно отрекается от людей и дел прошлого режима. Он вполне откровенно сознался в своем посещении Митавы во время последней кампании и в своих сношениях с главой Бурбонского дома, но прибавил, что считает этого принца «самым ничтожным и пустым человеком в Европе»[3]. Наполеон был того же мнения, и оба согласились, что будущий Людовик XVIII лишен всяких качеств, необходимых для того, чтобы быть государем. Зато Александр крайне сочувственно относился к новой царствующей во Франции династии. Он выразил желание, чтобы Наполеон рассказал ему о своей семье, о семейной жизни, о своих интимных заботах и тревогах. Тогда император вспомнил о только что понесенной им утрате, о смерти старшего сына Людовика[4], о ребенке, которого он приказывал называть «маленьким Наполеоном» он особенно подчеркнул горе матери и заметил, что ко-

[1] Memorial, 10—12 1816.
[2] Донесение Коленкура от 30 апреля 1808 г.
[3] Слова, сказанные поверенному в делах Лессепсу, его письмо от 23 августа 1807 г.
[4] Дело идет о сыне Людовика, короля голландского. (Прим. пер. Е. В.)

ролева Гортензия занимает видное место в его сердце. Несколько месяцев спустя император Александр позволил себе тонкий намек на этот разговор: «Передайте императору мое поздравление, — сказал он нашему послу, — по поводу разрешения королевы Гортензии. Я очень доволен, что это мальчик[1]. В Тильзите император часто говорил мне о ней и о ребенке, которого она потеряла: это жестокая утрата. Я знаю, что она — женщина с большими достоинствами, и что он очень ее уважает»[2].

После обмена уверениями в преданности и доверии для обоих государей создавались лучшие условия для возобновления их труда и примирения их интересов. Незаметно они возвращались к политике, к делам, и простая беседа превращалась в совещание. В это время Наполеон особенно заботился, чтобы не столкнулись слишком резко взгляды, иногда *диаметрально противоположные. Какой бы ни поднимался* вопрос, он не рассматривал его близко, ограничивался лишь тем, что пускал в ход только идеи и внушал разные способы решения. Затем, вечером или на другой день, он приказывал передать Александру краткую, составленную в сильных выражениях записку, в которой он точно определял спорный вопрос, ясно излагал требования, вкратце и остроумно приводил доводы. Благодаря этому, когда возвращались к обсуждению вопроса, разговор становился сразу на определенную и заранее ограниченную почву. Впрочем бывали случаи, когда они не приходили к соглашению. Тогда, снова обдумав вопрос, Наполеон отыскивал способ примирения, как он говорил, и делал его предметом новой и последней записки[3]. При новой встрече императоров разногласие было уже сглажено, и им не трудно было окончательно устранить его. Благодаря такому приему, то есть, переписке, сопровождавшей словесные переговоры, дела подвигались вперед, составлялись решения, статьи договора и присоединялись одни к другим, и дело о союзе принимало конкретную форму.

Первый ряд вопросов был быстро рассмотрен. В

---

[1] Этот ребенок впоследствии император Наполеон III.

[2] Донесение Коленкура от 21 марта 1808 г.

[3] Записки Наполеона находятся частью в корреспонденции, частью в сборнике документов, приложенном в Memoires de Hardenbenrg, большая часть ответов Александра была опубликована Татищевым, Nouvelle Revue, 1 juin, 1890.

некоторых статьях общего договора Александр определенно или путем замалчивания признавал и даже гарантировал все завоевания своего союзника, все совершенное им до войны 1806 г. Он соглашался, чтобы *Франция, восстановленная республикой* в ее естественных границах, повсюду перешла их и стояла во главе федеративных государств; чтобы Луи-Наполеон царствовал в Голландии, Мюрат — в Бергском герцогстве, чтобы Швейцария оставалась вассальной, чтобы император французов был покровителем и главной Рейнской Конфедерации. Не довольствуясь тем, что допустил существование этой лиги, он признавал за ней право к неопределенному распространению. В статье 15-й мирного договора говорилось: «Его Величество Император России обещает на основании сообщений, которые будут доставлены ему Его Величеством Императором Наполеоном, признавать государей, которые сделаются в будущем членами Конфедерации в том титуле, который им будет дан актами, предназначенными их туда ввести»[1]. На Юге Александр соглашался, чтобы наш союз производил давление на Испанию, чтобы Франция, перейдя по ту сторону Альпы, распространилась на Пьемонт и протянулась по лигурийскому берегу; чтобы продолжением великой империи служило Цизальпинское королевство, чтобы остальные истальянские государства были ее пленниками; чтобы Жозеф-Наполеон, король неополитанский, обеспечил за нами оконченность полуострова; чтобы обладание Далмацией упрочило положение Франции на границах Турции. Австрия, обойденная молчанием в договоре, была исключена из Германии и оставалась в границах, установленных Пресбургским миром. Одним словом, все страны, расположенные к югу от границ Австрии, к югу от Саксонии и Тюрингии, на восток от Рейна и даже на восток от голландской границы, оставались в положении, в которое поставили их наши победы; таким образом Наполеону предоставлялась власть над Западом.

Когда было установлено это разграничение, задача обоих императоров сделалась менее трудной. Оставалось только рассмотреть и разрешить три вопроса, относящиеся к собственным и существенным интере-

---

[1] De Clercg Recueil de traites de la France, II, 211 II, 211.

сам России: судьбу Пруссии, согласование мер против Англии, составление статей по поводу Турции.

Вопрос о Пруссии включал в себя вопрос о всей северной Германии и Польше. Французское нашествие, прокатясь волною от Рейна до Немана, или сломило, или подняло все на своем пути. Оно стерло границы, повергло престолы, покорило многие народы; других оно оживило и увлекло за собой, не дав им прочного и устойчивого существования. Какой новый порядок должен возникнуть на исковерканной почве, на которой не осталось ничего, кроме бесформенных элементов, обломков прошлого и зачатков будущего? Наполеон обещал Александру восстановить Пруссию, но оставил за собой право переделать и устроить ее по-своему. Каким образом примирит он существование Пруссии с делами, которые он считал необходимыми для собственной безопасности?

С самого начала он задумал стройную систему. Первой его мыслью было создать на месте Германии во всю ее длину, от Рейна до Вислы, ряд государств, зависящих от Франции. Сперва Бергское великое герцогство, которому имелось в виду придать прусские вестфальские владения; затем гессенские, брунсвикские, нассауские владения, сгруппированные при иных условиях; затем Саксония, которая была бы возведена в королевство и политика которой зависела бы от нашей; далее отнятая у Фридриха-Вильгельма Силезия, отданная французскому принцу[1]; наконец, в конце этой непрерывной линии было бы создано княжество — великое герцогство Варшавское, которое можно было бы составить из польских провинций Пруссии. Благодаря такому взаимному положению государств, хотя и различных, но связанных между собой тесными отношениями и узами общей зависимости, влияние или, вернее сказать, власть императора непрерывным током прошла бы от наших границ до границ России. Сфера французского влияния рассекла бы пополам Германию и даже центральную Европу. Внедрившись между враждебными или сомнительными государствами, Пруссией и Австрией, она держала бы их разобщенными, помешала бы им соединиться и расшатала бы коалицию, разъединив ее членов.

По этой гипотезе Пруссия теряла менее в длину,

[1] Hardenberg, III, 492.

чем в ширину. Ей возвращались некоторые владения по эту сторону Эльбы[1]; но зато то ту сторону реки она получила бы только Бранденбург, Померанию и старую Пруссию, то есть неплодородные и песчаные Северные провинции; она была бы сведена к узкой полосе земли, втиснута в прежние границы[2] и прижата к морю. Кроме того, Наполеон имел в виду сохранить за собой на побережье, по крайней мере на время, все пункты, сколько-нибудь полезные для борьбы с Англией. Он хотел удержать за собой Ганновер, привлечь в свой союз Данию, по-прежнему занимать ганзейские города, Штертин, берега Мекленбурга и шведскую Померанию, сделать Данциг свободным городом и утвердить в нем свое влияние. Создание под негласным протекторатом Франции из Данцига и Варшавы автономных владений, связанных между собой рекой Вислой, плавание по которой предполагалось объявить свободным, отдало бы в наши руки течение Вислы и замкнуло бы кольцо, охватывающее Пруссию.

Возвращая к самостоятельной жизни некоторые части Польши, не хотел ли Наполеон, несмотря на свои уверения, подготовить будущее ее восстановление? Мы знаем, что во время войны, он тщательно избегал принять решение по этому вопросу и, не желая скомпрометировать себя, не давал полякам никаких обязательств. К тому же то, что он узнал от них, по-видимому, не могло внушить ему доверия в их политический ум в их способность снова возродиться. Следовательно, он был вполне искренен, когда в присутствии Александра отрекался от всякой мысли о действительном восстановлении Польши. Однако его практический ум вовсе не имел в виду лишать себя возможности использовать вызванные им к жизни на Висле воинственные элементы и свести их, так сказать, к нулю. Он спрашивал себя: нельзя ли, соединив их с другими заимствованными от Германии элементами, создать политическое и военное тело, настолько сильное, чтобы оно могло служить одним из оплотов Империи? Без сомнения, такому разнородному полуславянскому полугерманскому государству недоставало бы спайки, которую могли бы дать ему однородная национальность и общие традиции и стремления. Быть может, такое

[1] Hardenberg, III, 494.
[2] До Фридриха II. *(Прим. перев.)*

неестественное сочетание было бы кратковременным. Но в тот критический для империи период времени, когда ей приходилось быть на страже и защищать себя со всех сторон, Наполеон гораздо более думал об удовлетворении насущных потребностей, чем о закладке зданий для будущего. Его проект приклеить великое герцогство к чуждым ему элементам, то есть к Саксонии и Силезии, определяет истинный характер и мерило его намерений относительно Польши. Не намереваясь поставить жертву тройного раздела в положение прочного государства, он хочет создать в Европе, — я не скажу польскую нацию, но польскую армию, ибо он признает в проектируемом государстве только крупную военную силу, стоящую на страже Франции. Он хочет водворить ее на довольно обширную и достаточно сильно укрепленную местность для того, чтобы она могла сломить или, по крайне мере, задержать набег наших врагов; он хочет сделать из великого герцогства учреждение, подобное тем пограничным, поставленным на военную ноту провинциям, тем округам, которые создавал Карл Великий для прикрытия своих громадных владений и для охраны их от вторжений. Имея во второй линии поддержку в крепостях реки Одера, в третьей — в крепостях на верхней Эльбе, Варшавское герцогство будет тесно связано с нашей оборонительной системой, будет держать в почтении Пруссию и при случае угрожать Австрии. Сама Россия, если бы она когда-нибудь отрекалась от союза с нами и снова вступила в коалицию, не сможет сделать по направлению к Германии ни одного шага, не наткнувшись на острие французской шпаги, протянутой через Саксонию, Силезию и Польшу до самых ее границ.

Однако Наполеон вскоре осознал, что в точности выполнить этот план невозможно. Он допустил разорвать посредине цепь государств, которую рассчитывал протянуть между рейном и Вислой. Приняв Фридриха Вильгельма в Тильзите и признав за Александром право вступиться за него, мог ли он предписать Фридриху-Вильгельму кроме других многочисленных жертв еще и тяжелую утрату Силезии? Но, думал он, Силезия, возвращенная прусскому королю, не будет иметь в его руках своего прежнего значения: зажатая и сдавленная в своей северной части между Саксонским королевством и провинцией Позпанью, принадлежащей великому герцогству, пересеченная военной дорогой, которая будет поддерживать сообщение между этими двумя государствами, она только клочком своей территории будет примыкать к Бранденбургской монархии и при первом толчке отпадет от нее. К тому же Наполеон намеревался наложить на Пруссию денежную контрибуцию, которая даст ему возможность долго удерживать ее под своим гнетом, и, в случае надобности, вырвать у нее новые уступки. По этим причинам он отказался от требования Силезии, но в возмещение этой уступки решил взять обратно свое предложение о возвращении некоторых территорий по ту сторону Эльбы и потребовать, чтобы страны, расположенные между Эльбой и Рейном, были всецело отданы ему; одни из них должны послужить для увеличения Бергского великого герцогства, удела Мюрата, другие — для устройства принцу Жерому-Наполеону целого королевства, королевства Вестфальского[1].

Так как император только слегка коснулся Силезии, а свои предложения возвратить левый берег Эльбы изложил вполне определенно, то Александр вправе был запомнить из его не совсем определенной речи только то, что отвечало его желаниям, устранив остальное. Нотой от 4 июля при чрезвычайно нежном письме он напомнил Наполеону о его обещании, делая вид, что смотрит на это обещание, как на нечто решенное и безусловное. Тем не менее он сознавал трудность отстоять свое толкование. Для того, чтобы облегчить ему прием, он поддержал его такими соблазнительными предложениями: так как необходимо найти престол принцу Жерому, нельзя ли дать ему Варшавский и открыть ему путем брака права на Саксонский?[2]. Наполеон решительно отклонил это предложение. Он находил в нем неудобств более, чем выгод. Устраивая в центре Европы оборонительную систему, отчасти направленную против самой России, он не хотел, чтобы его мысль обнаружилась; он, конечно, стремился к тому, чтобы косвенно войти в соприкосновение с Северной империей, но так, чтобы это не бросалось

[1] Corresp. 12846, 12849. Hordenberg, III, 498.

[2] О каком браке говорится между императорами? Записка Александра не дошла до нас, а Наполеон в своем ответе не высказывается достаточно ясно. Как нам кажется, дело идет о браке принца Жерома со старшей дочерью саксонского короля, во всяком случае пробел в документах не позволяет нам утверждать что-либо положительно. См. № 12849. Correspondance.

ей в глаза. Посадить же на Висле одного из своих братьев значило бы официально поместить туда Францию, следовательно, водворить ее на границах России и создать возможность столкновения между двумя государствами, которые могли остаться друзьями, только при условии территориального разобщения: «Призвать принца Жерома на Саксонский и Варшавский престол, — ответил Наполеон Александру в сильно мотивированной ноте, — значит почти в один миг испортить наши отношения... Политика императора Наполеона состоит в том, чтобы его непосредственное влияние не переходило на Эльбу. Он признает эту политику за единственную, которая может согласиться с желанием искренней и вечной дружбы, которую он хочет заключить с великим Северным государством»[1]. Итак, пусть сохранит Саксония свою древнюю династию и пусть эта династия будет признана царствовать также и в великом герцогстве Варшавском, но Пруссия должна окончательно удалиться по ту сторону Эльбы и признать в этой реке границу, которую она не может переступить.

Александр не решился сам настаивать, но приказал возбудить вопрос своим уполномоченным. В первый раз начались довольно серьезные пререкания между представителями обоих императоров. Русские требовали для Пруссии по крайней мере двести тысяч душ на левом берегу Эльбы, просили также, чтобы Пруссии были возвращены некоторые частицы ее прежних владений в Польше «для того, чтобы установить непрерывность государства от Кенигсберга до Берлина»[2]. По первому вопросу Наполеон был непреклонен и признал исполнение этих требований только в неопределенном будущем. Он согласился на секретную статью, в которой будет сказано, что «в случае, если Ганновер, после мира с Англией, будет присоединен к Вестфальскому королевству, области на левом берегу Эльбы с четрьмястами тысяч душ будут возвращены Пруссии»[3]. На Севере он отказался тотчас же расширить слегка новые границы Пруссии так, чтобы она «от Кенигсберга до Берлина имела повсюду протяжение на пятьдесят лье более»[4]. Эти две ничтожные уступки были его последним и окончательным словом в ноте к русскому императору.

Благодаря царю прусский двор был в курсе всех перемен, происходящих в переговорах. Быстро оправившись после тревоги, причиненной ему требованием Силезии, он понемногу набрался смелости и упорно привязался к мысли возвратить себе некоторые владения на левом берегу Эльбы, в особенности крепость Магдебург, которая одна стоила целой провинции. Когда он узнал истинное неутешительное положение вещей, его горе было велико ; оно увеличилось еще более, благодаря несбывшимся надеждам. К довершению несчастья он не был допущен до участия в переговорах и мог защищать свое дело только при посредстве третьего лица. Он вынужден был представлять свои заявления и жалобы через посредничество Александра, рвение которого начинало ослабевать. Наполеон по-прежнему избегал говорить о делах с Фридрихом-Вильгельмом; да и всегда грустное настроение молчаливого короля вовсе не располагало к объяснению. Тщетно умоляли его преодолеть себя и быть хоть сколько-нибудь предупредительным. Он оставался мрачным и полным чувства собственного достоинства, как будто он предпочитал лучше покориться своей участи, чем просить помилования. Правда, маршал Калькрейт продолжал официально считаться прусским представителем, но он никогда не умел ни отстоять доверенное ему дело, ни даже оценить положения вещей. Старый солдат старого режима, честный и недалекий, он думал, что воевали еще так, как в прошлом веке без ненависти с рыцарской умеренностью; что поражение было неприятным приключением без слишком серьезных последствий; что Пруссия после неслыханных поражений выйдет из тяжелого положения, уступив «несколько католических церквей»[1]. Наполеон и Талейлейран оставляли его в приятном заблуждении и осыпали комплиментами и любезностями; с ним болтали, но не вели переговоров. Чтобы придти на помощь его бездарности, король слишком поздно дал ему в помощники графа Гольца с поручением видеть Наполеона и, если возможно, умилостивить его. Но новый уполномоченный тщетно просил Талейрана и Дюрока выхлопотать ему аудиенцию. Министр и фельдмаршал пооче-

[1] Correspondance. Corresp., 12849.
[2] Corresp., 12863.
[3] Ibid.
[4] Ibid., 12863.

[1] Hardenberg, III, 453.

редно отсылали друг к другу несчастного просителя. 7 июля, дважды написав Талейрану, Гольц все еще ждал ответа. Император сделался невидимкой, и Пруссия почувствовала, что ее приговорили, даже не выслушав ее[1].

При поисках во что бы то ни стало выйти из столь отчаянного положения ум прусских министров озарила мысль испытать исключительное средство. Как ни был труден доступ к Наполеону, может ли отказать надменный победитель выслушать августейшую особу, которая явится умолять его во всеоружии всем миром признанного обаяния? С некоторого времени знаменитая красота прусской королевы входила в расчеты европейской дипломатии. Говорили, что Александр вступил в прусский союз и оставался в нем благодаря ее влиянию. До Иены, чтобы увлечь нацию в пагубное предприятие, военная партия прикрывалась именем королевы. В то время Наполеон, объявив личную войну королеве, вел ее на страницах беспощадно и безжалостно. Теперь, после тяжкого душевного потрясения, удалившись в Мемель, Луиза Прусская с душевной тоской следила из своего угрюмого местопребывания за прениями, которые должны были решить судьбу ее народа. Когда ее стали просить вступиться за него и начать переговоры с победителем, оскорбившим в ней королеву и женщину, она сперва возмутилась, но затем вникла в дело, покорилась и объявила, что готова принести жертву, которой от нее требовали. О посещении ею Тильзита было объявлено официально. От 6 июля Наполеон писал Жозефине: «Красавица королева прусская придет сегодня обедать со мной»[2].

Въезд в Тильзит она совершила в придворной карете, причем ей были оказаны воинские почести. Ее сопровождали две дамы, графини Фосс и Тауенцин. Первая, состоявшая обер-гофмейстериной при дворе в течение пятидесяти лет, была олицетворением этикета. Она была совершеннейшим образцом немецких манер

---

[1] Письма Гольца находятся в archives des affaires etranger Prusse, 240.

[2] Corresp., 12861. Большинство следующих цитат взято из немецкого сочинения, M. Adami, Louise de Prusse. Этот автор пользовался двумя описаниями приближенных ко двору лиц. 243—257. См. также Les Souvenirs de la comtesse Voss, 305—309. По мере возможности мы будем указывать французские источники.

и вкусов; ее туалеты «резали глаз»[1]. Несмотря на волнение, сжимающее ее сердце, королева была дивно хороша в изящном воздушном наряде из вышитого серебром белого крепа, с диадемой из жемчуга на голове, с выражением томной прелести во всех движениях. Она остановилась в скромной квартире короля Фридриха-Вильгельма. Министры, офицеры столпились вокруг нее; каждый желал дать совет, ободрить ее, каждый читал ей наставления: «Ах! Ради Бога дайте мне немного успокоиться, дайте мне собраться с мыслями»[2], — говорила бедная женщина. Вдруг раздались крики: «Император едет!» Действительно, он приближался верхом, с коротким хлыстиком в руке, с многочисленным и блестящим эскортом, в сопровождении своих маршалов и всей своей свиты. Король и принцы двинулись ему навстречу.

«Королева наверху?» — кланяясь, спросил он, как будто хотел показать этими словами, что его визит предназначался только ей. Он поднялся по узкой и неудобной лестнице, которая вела в комнату королевы. «Чего только не сделаешь, чтобы достичь такой цели?» — любезно сказал он, когда королева стала извиняться, что заставила его подняться наверх. Она спросила его, как он переносит северный климат, и затем тотчас же с трогательной смелостью приступила к цели своего путешествия, оплакивая несчастья Пруссии, жестоко наказанной за то, что вызвала на сцену бога войны, что была ослеплена славными преданиями Фридриха. Она старалась придать сцене трогательный, возвышенный, даже патетический характер: «другой подумал бы, что это Дюшенуа в трагедии[3], — грубо выразился о ней император. Зато он изо всех сил старался свести разговор на шутливый тон. В возгоревшейся на этой почве борьбе он не оказался достаточно сильным — он сам сознался в этом. Он сделал королеве любезное замечание по поводу ее туалета. — «Этот креп и газ из Италии?» — спросил он. «Можно ли говорить о тряпках в такую серьезную минуту? — ответила она. Она овладела разговором и высказа-

---

[1] Archives nationales , AF, IV, 1691. Перехваченные письма.

[2] Ach, jetzt! bitte, ict, schweigen. Sie, das ich zur Ruhe komme und meine Gedanken sammeln kann. Adami, 253.

[3] Memorial, 15 juin. 1816.

ла все, что хотела сказать; просила возвратить владения в Вестфалии, на севере, и в особенности Магдебург. — «Вы слишком много просите, — закончил разговор император, — но я обещаю вам подумать». И с этими подающими надежду словами он покинул ее.

В продолжение всего остального дня королеве оказывалось всевозможное внимание. Ежеминутно в дом мельника приезжали с поручениями высокопоставленные особы, маршалы, принцы: Бессье привез помилование пленника; Бертье перед обедом приехал за королевой и проводил ее к императору. За столом она заняла место рядом с двумя императорами, по правую руку Наполеона, по левую руку которого сел прусский король. Иногда поворачиваясь к королю, победитель бросал ему с нескрываемой пренебрежительностью несколько слов утешения, которые тот отвергал с чувством собственного достоинства. Затем, обращаясь снова к королеве, Наполеон заводил с ней дружеские пререкания. «Знаете ли вы, что мои гусары едва не захватили вас в плен? — Мне трудно поверить этому, Государь, потому что я не видела французов. — Но зачем было так рисковать? Отчего не подождали вы меня в Веймаре? — Откровенно говоря, Государь, у меня не было ни малейшего желания».

Впрочем Наполеон все время был утонченно любезен и продолжал следовать своему плану. Вместо уступок он оказывал королеве изысканное внимание и вознаграждал ее ничего не стоящими любезностями; вместо Магдебурга он поднес ей розу. После обеда он долго продолжал разговор с нею и решил, что королева женщина очень умная, с характером и очень обольстительная. Вполне уверенный в себе, уверенный, что никогда не допустит чувству восхищения королевой овладеть собой, он не мешал себе ему отдаться. Хотя он тщательно избегал всякого слова, которому можно было бы придать характер обязательства, и не давал никаких обещаний, но его позволявшая на все надеяться предупредительность поощряла королеву пустить в ход всю силу своего обаяния, так что ему представился прекрасный случай насладиться встречей с красивой женщиной выдающегося ума и старавшейся ему понравиться. Словом, он сделал вид, что очарован ею, и королева, пустившая в ход, не теряя своего достоинства, всю силу своего обаяния, уехала от него убежденная, что дело выиграно. По ее отъезде безжалостный политик всецело вступил в свои права. Он спокойно призвал Талейрана, выразил ему свою волю и приказал, чтобы дело было покончено и договор без всякого смягчения подписан как можно скорее, что нисколько не мешало ему высказать свое восхищение королевой и дать о ней самой лестный отзыв. «Прусская королева и в самом деле прелестна, писал он Жозефине; она очень кокетничает со мной, но не ревнуй: я клеенка, по которой все это только скользит. Мне слишком дорого обошлось бы быть ее поклонником»[1].

Бедная королева вернулась домой вполне счастливой: «Идите, идите, — сказала она своим дамам, — я вам все расскажу». Она так верила в благотворное впечатление, произведенное ее присутствием, что была готова его продлить. «Если нужно будет, — сказала она, — я совсем поселюсь в Тильзите». Ночью она вернулась в Пиктупенен, где ее рассказы всех обрадовали; а так как Наполеон повторил свое приглашение, было решено, что на другой день она вернется в город. На другой день все готово было к отъезду. Экипажи были поданы, ждали только королеву, оканчивавшую свой туалет. Наконец, она появилась в великолепном и театральном костюме, красном с золотом, с муслиновой чалмой на голове, но с глазами красными от слез, с расстроенным лицом. Записка короля, который оставался в Тильзите, только что разрушила все ее надежды. «Положение очень изменилось, — писал несчастный монарх,— условия ужасны». В ту же минуту приехал граф Гольц. Наконец-то, сегодня утром император его принял, но был неумолим, дал понять, что его слова королеве были ничто иное, «как любезные фразы»; что прусский дом должен считать себя счастливым уже и тем, что сохранил корону, тогда как мог всего лишиться; что он обязан своим спасением только заступничеству Александра. Затем он отправил Гольца к Талейрану. Талейран вынул из своего портфеля совсем готовый проект договора, едва дал время прусскому министру познакомиться с ним и представил его как акт, который следовало подписать, но не обсуждать. Император, присовокупил князь Беневентский, хочет в скором времени возвратиться в свое государство и желает, чтобы в два дня все было покончено.

[1] Corresp., 12875.

Королева, возмущенная таким приговором, все-таки должна была вернуться в Тильзит; ей пришлось опять выслушивать комплименты Бертье, любезности Талейрана, занять место за столом возле человека, которого она ненавидела. Он начал опять говорить «о тряпках»: «Как, разве прусская королева носит чалму? Конечно, это не для того, чтобы понравиться русскому императору, который воюет с турками?» — «Мне думается, что я делаю это больше всего, чтобы быть приятной Рустаму», — ответила королева. И она посмотрела на мамелюка императора, стоявшего на вытяжку за креслом своего господина[1]. Вечер был для нее пыткой. Она должна была притворяться и делать отчаянные усилия, чтобы быть любезной в то время, когда сердце ее было переполнено горечью. По временам она не справлялась со своими чувствами. Принц Мюрат сильно ухаживал за ней: «Чем развлекаетесь вы, Ваше Величество, в Мемеле? — спросил он.— Чтением. — Что читаете вы, Ваше Величество? — Историю прошлого. — Но ведь и настоящая эпоха представляет события, достойные истории. — С меня довольно и того, что я переживаю их»[2]. Наполеон рассказал, что во время отъезда королевы, когда он, провожая ее, сходил с лестницы, она сказала ему нежным, в душу проникающим голосом: «Возможно ли, что после того, как я имела счастье видеть так близко исторического человека, мне не дано будет утешения и возможности уверить его в моей вечной преданности... — Ваше Величество, обо мне нужно сожалеть, — серьезно ответил он,— таков удел моей несчастной звезды»[3]. Прусский рассказ утверждает, что королева выразилась более резко: «Государь, — будто бы сказала оена, — вы жестоко меня обманули», «сатанинская» улыбка была единственным ответом на ее упрек. Достоверно, что в присутствии Дюрока, который сажал ее в карету и посетил на другой день, она не стеснялась в выражениях своей досады. Она жаловалась и Александру, что сделалась жертвой нарушенного обещания, но не могла припомнить ни одного положительного обещания императора. Ее заблуждение, общее многим ее соперницам по красоте и грации, состояло в том, что она верила, будто мимолетная дань удивления, воздаваемая ее красоте, была непреодолимым и глубоким чувством, которое подчиняло ее власти. Грубо выведенная из заблуждения, она вообразила, что ее обманули, уехала раздраженная , поняв наконец, как велика была ее неудача, унося неизлечимую рану, которая свела ее в могилу. «Если бы раскрыли мое сердце, — сказала она, пользуясь выражением Марии Тюдор, — в нем прочли бы слово Магдебург».

[1] Рустам не упоминает об этом анекдоте в своих мемуарах. Cf. Adami, 256.

[2] Archives nationales, AF, IV, 1691.

[3] Memorial, loc cit.

Договор с Пруссией был подписан 9 июля и утвержден 12 без всяких изменений главных статей после немногих споров о мелочах. Фридрих-Вильгельм терял треть своих владений, все, чем он владел в западной Германии и Польше, и обязался закрыть все свои гавани для английской торговли. Кроме того в силу особой статьи, он обещал 1 декабря 1807 г. объявить войну Англии, если она до этого времени не согласится подписать с нами мир согласно» с истинными принципами морского права»[1]. Побежденная Пруссия отрекалась от всякой свободы действий и приковывалась к колеснице победителя.

Скоро ли, по крайней мере, ценой такой покорности мог вступить Фридрих-Вильгельм во владение своим умаленным государством? В этом отношении статьи договора были, по-видимому, вполне точны, но Наполеон еще не покончил с Пруссией: он приберег ей еще одно лишнее огорчение. 12 июля между князем Невшательским и маршалом Калькрейтом было подписано в Кенигсберге условие об эвакуации прусских владений. Наши войска должны были уходить постепенно, эшелонами, в назначенные сроки. Но статья 4-я гласила, что это обязательство будет приведено в исполнение «только в том случае, если контрибуция, наложенная на страну, будет уплачена»[2]. Таким образом освобождение Пруссии ставилось: в зависимость от уплаты долга, (размер которого не был еще определен и мог превзойти ее платежные средства, окончательные расчеты по которому потребовали бы больших отстрочек и могли вызвать нескончаемые затруднения. Этим путем Наполеон предоставлял себе право бесконечно

[1] De clercg, II, 223.

[2] Ibid, 224.

отсрочивать эвакуацию, продлить мучение Пруссии. Быть может, вырвать у нее новые жертвы и при полном мире продолжать свои завоевания. Условие 12 июля в связи с договором 9 июля было «образцом разрушения»[1]; оговорка в главном акте делала чисто случайными благоприятные для Пруссии условия.

Единственная надежда Пруссии — быстро и сполна получить обратно оставленные ей провинции — основывалась на поручительстве России. Статья 4 мирного договора, заключенного между обоими императорами, упоминала об обещании возвратить Пруссии провинции и добавляла, что Наполеон отказывается сохранить за собой завоевания» в знак уважения к Его Величеству Императору Всероссийскому»[2]. Опираясь на эту статью, Александр мог потребовать очищение Пруссии как исполнения обязательства, данного России. Правда, чтобы окончательно разъединить и поссорить оба государства, Наполеон не щадил никаких усилий. Он предложил Александру часть из остатков Пруссии. Не довольствуясь тем, что заставил его принять Белостокский округ в Польше, который во всяком случае должен был переменить хозяина, он, ссылаясь на принцип естественных границ, навязывал ему Мемель с территориальной полосой, которой владел Бранденбургский дом по ту сторону Немана. Царь вынужден был несколько раз отказываться от этого почти оскорбительного подарка, — так мало отвечал он его чувству деликатности. Несмотря на его отказ Наполеон надеялся, что ему не слишком скоро напомнят об исполнении договора, так как Александр, поддерживавший сперва изо всех сил просьбы Пруссии, старался теперь делать вид, что отстраняется от нее. Однако ж статья 4 давала России право на вмешательство, которое, если бы оно произошло, могло создать первое разногласие между союзниками.

Однако не в вопросе о Пруссии была наибольшая

---

[1] Поццо ди Борго выражается так о договоре, который в 1815 г. Пруссия в пылу мести хотела поставить нам в вину и от чего отчасти предохранил нас имеператор Александр. Correspondance diplomatîque du comfe Pozzo di Borgo, 207.

[2] De Clercg, II, 208.

опасность для договора, установившего, по-видимому, порядок государств и распределение территорий от Рейна до Вислы. Можно думать, что Александр поддерживал Пруссию из рыцарского чувства, из страха угрызений совести и из желания ей добра, но предметом, на котором должно было скорее всего сосредоточиться его недоверчивое внимание, было герцогство Варшавское. Тщетно Наполеон поставил Польшу в тесные рамки и дал ей название, которое не заключало в себе ни воспоминаний, ни обещаний; тщетно избегал он поставить ее в непосредственную зависимость от себя; тщетно отделил незначительную часть ее для более выгодного исправления границ России. Да и странно было бы, если бы Россия вскоре не признала в герцогстве зародыша возрождающейся Польши, предназначенной сделаться ее врагом, выступить мстительницею за прошлое и потребовать обратно свои провинции. В Тильзите Александр как будто отрекся от своих опасений. Он доказал свою веру в добросовестность союзника, предложив вверить французскому принцу судьбу великого герцогства. Тем не менее ясно, что достаточно будет одного случая, одного неосторожного шага, какой-нибудь выгоды, предоставленной или обещанной полякам, сверх тех, которые были им даны в крайне умеренном размере по договору, чтобы покончить с притворным или действительным доверием. Но было ли во власти самого Наполеона задержать и замкнуть в определенных границах распространение силы, которую он, вероятно, имел в виду использовать? Без сомнения, если бы вскоре за соглашением между обоими императорами наступил общий мир, который сохранил бы государства в установленных тогда виде и границах, возвратил бы устойчивость Европе, уже в течение пятнадцати лет подвергавшейся бурному волнению, уплотнил бы, так сказать, эту расплывчатую массу, — может быть, Россия продолжала бы смотреть со спокойной уверенностью на свою западную границу, где она видела бы только неполную, изуродованную, не способную к развитию Польшу. Но война с Англией могла затянуться. В таком случае все останется по-старому неупроченным и шатким. Англия будет по-прежнему мутить Европу, будет искать и найдет способ вызвать новые войны. Чтобы их предупредить или наказать за них, Наполеон вынужден будет совершить более глубокие перевороты: гра-

ницы будут постоянно изменяться и перемещаться. При этой беспрерывной переделке континента Варшавское герцогство найдет причину и повод к приращиванию. У него явится сила притяжения на окружающие его элементы той же расы; оно окажет Наполеону услуги, за которые нужно будет заплатить. Император не разрушит окончательно надежды народа, который доблестно будет служить ему с оружием в руках. Не желая восстановления Польши, он в силу обстоятельств будет делать вид, что подготовляет его. С этой минуты наступит конец доверию, установившемуся в Тильзите. Царь откажется видеть друга в покровителе поляков, на которых он будет смотреть как на авангард, предназначенный для вторжения в Россию. Итак, бесполезно искать в другом месте, а не в Варшаве главную причину раздора, который, несмотря на установившиеся дружеские отношения Франции и России, доведет их до войны. Именно в Польше с 1807 г. таится причина разлада, хотя еще скрытая, но которой рано или поздно суждено обнаружиться. Создавая великое герцогство, с существованием которого в уме императора связывалась идея об обороне, но которое неизбежно должно было принять вид угрозы, тильзитский договор ввел в франко-русский союз зародыш смерти и положил начало своему собственному разрушению.

IV

Статьи, относящиеся к Англии и Турции, были составлены так, что представляли видимое соотношение. Действия того или другого императора, мирные или военные, смотря по обстоятельствам, должны идти параллельно, хотя и в разных местах. Каждый должен действовать в пользу союзника. Помощь, которую мы окажем России на Востоке, будет соответствовать услугам, которые окажет нам Россия против Англии, с той только разницею, что Александр брал на себя положительные, а Наполеон только условные обязательства.

Прежде всего Александр обязуется предложить лондонскому кабинету свое посредничество для восстановления мира между Францией и Англией: он употребит все силы, чтобы доставить успех желанному делу. Если Англия согласится заключить мир, признавая, «что флоты всех государств должны пользоваться равной и полной свободой на морях»[1], возвратит все завоевания, сделанные за счет Франции или ее союзников, начиная с 1805 г., — дело шло о французских, испанских и голландских колониях, — Наполеон возвратит ей Ганновер. Если к 1 ноября 1807 г. Англия не примет посредничества России или, приняв его, не согласится вести переговоров на вышеуказанных основах, петербургский кабинет в последний раз обратится к ней с требованием. Если к 1 декабря это требование не произведет действия, русский посланник возьмет свои верительные грамоты, и начнется война.

Тогда франко-русский союз должен вполне развить непреодолимую мощь своих средств. Не довольствуясь употреблением всех своих сил против общего врага, императоры принудят всю Европу целиком присоединиться к своему делу. Они не потерпят более нейтральных государств на континенте, так как Великобритания не признает таковых на морях. До сих пор одна великая держава, Австрия, и три второстепенных, но выгодно расположенных для морской борьбы, Швеция, Дания и Португалия, остались нейтральными или верными Англии. От дворов Стокгольма, Копенгагена и Лиссабона будет потребовано, чтобы *они закрыли свои гавани для английской торговли*, чтобы они отозвали из Лондона своих посланников и объявили войну. В случае отказа к ним будут немедленно применены принудительные меры. Со Швецией, король которой кичится своей доходящей до безумия враждой к Наполеону и финляндские владения которого представляют честолюбивым стремлениям Александра заманчивую добычу, будет поступлено особенно сурово: не только Россия и Франция не пощадят ее, но и заставят и Данию принять участие в войне. Для вовлечения Австрии в общую войну удовольствуются «мерами настойчивого нравственного воздействия», не прибегая к силе оружия. Пользуясь попеременно то материальным, то нравственным воздействием, Наполеон и Александр употребят все усилия для создания против Англии европейской лиги и превратят союз к коалицию[1].

[1] De Clercq, II, 214.
[2] От до 6 статьи тайного договора

В течение периода, предшествующего чрезвычайным мерам, в то время, когда петербургский кабинет будет употреблять все усилия для достижения мирного соглашения с Англией, Наполеон со своей стороны постарается о заключении мира между Россией и Портой. Он предложит свое посредничество туркам и царю, который и примет его. При его содействии будет заключено перемирие на Дунае. Главное условие предусмотрено уже теперь: Россия должна будет очистить Княжества, причем султан будет лишен права занимать их войсками. Хотя Наполеон, чтобы пощадить самолюбие турок и сохранит за собой их доверие, и настоял на том, чтобы эта статья вошла в подлежащий огласке договор, но на словах он дал понять Александру, что не придает ее выполнению большого значения и не будет настаивать на эвакуации русских войск[1].

По прекращении враждебных действий на Дунае, переговоры о мире будут продолжаться в назначенном месте. Задача Франции, которая будет председательствовать во время прений, будет состоять в примирении взаимных требований. Однако, «если, вследствие перемен, могущих произойти в Константинополе, Порта не примет посредничества Франции, или, если, после принятия посредничества, окажется, что в течение трех месяцев после открытия переговоров они не приведут к желательному результату, Франция будет действовать заодно с Россией против Оттоманской Порты. Обе высокие договаривающиеся стороны придут к соглашению об изъятии всех провинций Оттоманской империи в Европе, кроме Константинополя и Румелии, из-под ига и притеснения турок»[2].

Как видим, раздел Оттоманской империи ставился в зависимости от исхода переговоров, которые Франция, в роли посредницы, пользуясь своим грозным престижем, имела возможность направлять, ускорить или затянуть, прервать или довести до конца. Благодаря этой оговорке Наполеон сохранял за собой право определять размеры своих уступок России и оспаривать и увеличивать их в зависимости от услуг,

[1] Об этом словесном обязательстве упоминается в инструкциях Александра I его посланнику Толстому. Архивы С.-Петербурга.

[2] De Clercg, II, 214.

которые он от нее потребует и в зависимости от требований войны с Англией. Вместо того, чтобы круто изменить свою восточную политику, он просто принимал меры к ее видоизменению, если обстоятельства его к этому вынудят, и для выбора того или другого решения оставлял в своем распоряжении несколько месяцев. Правда, впоследствии император Александр утверждал, что Наполеон во время разговоров в Тильзите шел гораздо дальше и определенно обещал России приобретение на Дунае. Но следует заметить, что такой смысл был придан императорским словам приблизительно через четыре месяца после свидания, тогда, когда Александр разобрался в своих собственных домогательствах, когда сознал, что его вожделения выросли и приняли определенную форму. Однако, если и предположить, что Наполеон допустил неясность, благоприятную для русской политики, он запасся трудно опровержимым аргументом, который в случае надобности мог ее рассеять и который был не что иное, как самый текст договора, т. е. письменный документ, на который только и можно было ссылаться при разногласии между императорами. На несвоевременные или преждевременные требования Александра он мог бы всегда ответить, как он это и сделал впоследствии: «Мне указывают, что я не придерживаюсь более Тильзитской песни: я признаю только песню, положенную на ноты, т. е. букву договора»[1].

Следует еще заметить, что если бы раздел и состоялся, условия его были плохо определены. Только вопрос о Константинополе определенно был изъят из обсуждения. Выражение «Румелия», употребленное для обозначения стран, которые вместе со столицей оставались за Портой, было особенно растяжимо; можно было применить его в тесном смысле к территориям, непосредственно сгруппированным вокруг Константинополя, и можно было распространить его на все центральные провинции европейской Турции, которые обозначались в оттоманском словаре под именем «Румелия». С другой стороны, договором не воспрещалось, чтобы в вопрос о разделе были включены некоторые положения об островах: одна статья

[1] Шампаньи к Коленкуру 2 апреля 1808 г.

говорила определенно, что Неаполитанские Бурбоны получат «в вознаграждение Балеарские острова или остров Кандию, *или что-либо иное такого же значения*»[1], если при заключении общего мира у них отнимут Сицилию. Наполеон теперь же присудил себе драгоценную частицу приморского Востока, а именно: рейд Каттаро и семь ионических островов[2]. Если бы ему понадобилось еще бороться и завоевывать, они могли бы служить ему путем к более обширным приобретениям, он мог бы найти в них предмет для обмена и вознаграждения во время своих переговоров с Англией, если она не откажется «благодетельствовать человечество заключением мира»[3].

Все статьи, по которым состоялось соглашение между императорами, были распределены в трех актах: договор о мире, предназначенный к немедленному обнародованию, отдельные секретные статьи и, наконец, тайный договор о союзе. Эти акты взаимно дополняли и объясняли друг друга, и из всей их совокупности вытекала система, принятая обоими императорами для совместного разрешения мировых вопросов. Независимо от совместных шагов по отношению к Англии и Турции, тайный договор включал в себе общий наступательный и оборонительный союз. «Его Величество Император Французов, король Итальянский и Его Величество Император Всероссийский обязуются действовать заодно, будет ли то на суше, будет ли то на море, наконец на суше и на море, в каждой войне, которую Франция и Россия должны будут предпринять или поддержать против какого бы то ни было европейского государства. В случае, если наступит момент для действия союза, и всякий раз, когда это действие может быть предусмотрено, высокие договаривающиеся стороны определят особым соглашением силы, которые каждая из них должна будет выставить против общего врага, и места, где эти силы должны будут действовать; но они отныне же обязуются, если потребуют обстоятельства, употребить всю полноту своих сил, как морских, так и сухопутных»[1].

[1] De Clercg, II, 213.

[2] Нота, в которой Наполеон требовал Каттаро и ионические острова, была опубликована в мемуарах Гарденберга, V, 528—530.

[3] Выражение, употребляемое в 4 статье тайного договора.

Договоры были подписаны 7 июля и утверждены 9. Несмотря на неопределенность некоторых статей, Александр был, по-видимому, вполне счастлив и в предвидении крупных выгод беззаветно отдавался радости. По мере того, как свидание близилось к концу, дружба обоих императоров становилась еще более демонстративной. Они хотели, чтобы их хорошее настроение передалось другим. Начались раздача и обмен знаков отличий, заранее условленных между императорами; Александр собственноручно составил список новых кавалеров большого ордена Почетного Легиона, таковыми были: великий князь Константин, князья Куракин и Лобанов и барон Будберг. Новый Вестфальский король, великий герцог Бергский, князья Невшательский и Беневентский получили Андрея Первозванного. С той и другой стороны главные начальники и особенно отличившиеся офицеры получили похвальные отзывы в лестных выражениях. Войска также не были забыты; хотели, чтобы примирение армий послужило знаком примирения народов. Между французской императорской гвардией и батальоном Преображенского полка, расположенными в Тильзите рядом, установились превосходные отношения. Когда войска должны были брататься торжественно и по приказанию, их примирение состоялось по естественному влечению. В один прекрасный день в Тильзите, на месте прогулок, под зеленой сенью дерев были поставлены столы; солдатам обеих гвардий было устроено обильное угощение. Наполеон приказал привезти съестные припасы и вина из Варшавы, Данцига и еще более отдаленных

[1] Договор, подлежащий обнародованию, был опубликован de Clercg, II, 207—202; тот же автор мог только по частям анализировать секретные статьи и тайный договор. Тайный договор был опубликован Fournier по черновикам, подписанным уполномоченным и хранящимся в наших дипломатических архивах: Napoleon I, Leipsick et Praga, 1888, II, 250—52. Он был вторично опубликован Татищевым. Nouvelle Revue 1 juin 1890, по официальному договору, хранящемуся в архивах С.-Петербурга. Мы нашли нужным воспроизвести в приложении под цифрой 1 все три акта для того, чтобы в первый раз представить во всей их совокупности статьи договоров, заключенных в Тильзите между Францией и Россией.

мест. Вечером заразительная веселость наших французов увлекла за собой угрюмых во хмелю северных солдат. Обменявшись своими головными уборами и знаками отличия, в вывороченных на изнанку костюмах они смешанными группами весело проходили мимо окон, у которого стояли императоры. Ночь прошла в шумных играх при неистовой пушечной пальбе[1].

8 июля Наполеон сделал прощальный визит Александру. После продолжительного разговора оба императора вышли вместе. Перед домом стоял под ружьем батальон Преображенского полка и взял на караул. Тогда-то Наполеон попросил у царя позволения наградить орденом лучшего гренадера России. Приказали выйти из рядов одному храброму старому воину по фамилии Лазарев. На императоре был крест Почетного Легиона, но в этот день утром, имея ввиду устроить эффективное зрелище и обеспечить за ним верный успех, он приказал не очень крепко прикреплять орден[2]. Он снял его и надел на грудь Лазареву; старый солдат по русскому обычаю поцеловал ему руку, затем полу его мундира. По рядам пронеслись громкие радостные крики.

На другой день императоры расстались, и Александр опять переправился через Неман. В то время, когда удалялась лодка, Наполеон, стоя на берегу, делал своему союзнику рукой дружеские и прощальные знаки. В десять часов вечера он уехал в Кенигсберг, отправив сперва приказания, долженствовавшие ускорить перемирие с Турцией и передачу в наши руки ионических островов.

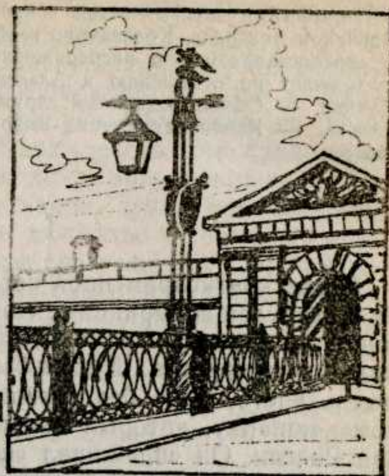
Сцены в Тильзите и великое зрелище примирения произвели на всех присутствующих неизгладимое впечатление, тем более сильное, что оно было почти единственным в это грозное боевое время. Во Франции радость по поводу заключения мира была даже сильнее гордости от побед. Как будто небо внезапно прояснилось. До сих пор думали, что эпоха войн будет бесконечна; теперь предвидели более спокойное будущее; вообразили, что император, закрепив дело своих побед соглашением с могущественным Северным монархом, пожелает и признает возможным прекратить войны на континенте. Мечта, которую история не может разделять! Пока не кончится морская война, — этот далекий и не всегда видимый источник, из которого вытекали все другие войны, — императору было предназначено судьбой вступать в союзы только для того, чтобы сражаться и без устали подвизаться на поприще завоеваний. Хотя наши континентальные враги и будут неоднократно побеждены и рассеяны, Англия всегда будет подле них, чтобы предложить им пристанище и сборный пункт, чтобы платить за возмущения и поощрять измену; и до тех пор, пока эта глава коалиции будет оставаться неуязвимой, ее разбросанные члены будут всегда стремиться к сближению и соединению. Раздробленная Пруссия, униженная Австрия, — столько побежденных, покоренных и недовольных государств не покорятся своей судьбе; наши вассалы постараются избавиться от тяжелой опеки, наши друзья будут ненадежны, и даже русский союз только с трудом устоит перед продолжительностью мирового кризиса. Тильзит отнюдь не закрепил судьбу мира, он даже не закрепил союза с Россией. Хотя оба монарха поклялись в вечной дружбе и неизменном доверии и клятвенно обязались оказывать взаимную помощь, хотя и обсуждали в духе союза важные задачи, которые разъединяли их до сих пор, они, откровенно говоря, не решили ни одной из них. Вопрос о Пруссии был окончен только внешне; польский вопрос по-прежнему был чреват опасностями; по восточному вопросу договор скорее давал надежду на его решение, чем уверенность. Как только дело пойдет о более точном определении интересов той и другой стороны в том положении, какое создалось для них соперничеством в прошлом и в особенности потребностями, вытекающими из последней войны, так и представится случай увидеть, что они попрежнему враждебны и в самом основании противоречивы. Это облако, нависшее над будущим, не ускользнуло от Наполеона. Он сознавал, что Англия располагала еще бесчисленными средствами для разрушения шаткого здания его союзников; что его врагу достаточно будет оставаться неуступчивым и затянуть хотя бы пассивное сопротивление, чтобы снова найти союзников и соучастников; что следовало его преследовать без отдыха, сломить его, не откладывая этого дела, опасаясь, что он снова подымет вопрос о

---

[1] Memoires de Roustam, Revue rètrospective, 8—9.
[2] Ibid.

результатах, добытых с такой славой; что Франция не может ждать, пока мир придет к ней, но должна его завоевать. Поэтому-то и составил он в Тильзите, пользуясь первым горячим порывом Александра, самый грозный из всех созданных им досель планов войны для того, чтобы сломить британское упорство. Но его план заключал в самом себе громадные опасности. Побуждая императора к применению еще более строгих мер, заставляя его доводить до крайнего раздражения побежденные и насиловать нейтральные государства, он тем самым давал новое оружие в ру-
его завоевать. Поэтоум-то и составил он в Тильзите,
ки Англии и, доводя гнет до последнего предела, должен был подготовить против нас всеобщий взрыв и дать ему оправдание. Тем не менее Наполеон покидал Александра с надеждами и был доволен своим делом. Он впервые заключил союз с великой державой и нашел помощника для борьбы, которую вел с заносчивой нацией. С его, хотя бы кратковременной, помощью он рассчитывал приступить ко всем своим предприятиям и выполнить их. Наполеон надеялся быстро укротить или разбить Англию, лишь бы царь, хотя бы не надолго, остался ему верен, и не так скоро прекратилось на него его обаяние, лишь бы Александр продолжал следовать в Петербурге импульсу, данному в Тильзите. «Всеобщий мир в Петербурге, говорил он после свидания, дела всего мира там же»[1]. Примирение с Россией отнюдь не обеспечивало всемирного покоя, но союз с нею мог его дать; хотя в Тильзитском соглашении ничто не было доведено до конца. Наполеон все-таки видел в нем средство все покончить.

[1] Неизданные документы.



II ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА

Генерал Савари временно назначается состоять при императоре Александре. Двоякая цель его назначения: он должен поддерживать доверие Александра и изучить настроение русского общества. — Инструкции императора; слова Талейрана. — Тяжелое путешествие; всеобщее нерасположение. — Любезный прием царя. — Его разговоры, слово в слово переданные в донесениях генерала. — Вечера на Каменном острове. — Императрица Елизавета. — Простота в обращении Александра. — Два двора. — Положение императрицы-матери. — Минутная аудиенция. — С.-Петербург летом; острова. — Савари отовсюду выпроваживают. — Оскорбления, которые ему наносят. — Он отправляет первую серию сведений; портреты русских министров и иностанных представителей. — Князь Адам Чарторижский и Жозеф де Местр. — Император Александр старается смягчить неприязнь общества к французскому послу. — Предмет его отдохновений. — Император Наполеон и русские красавицы. — Возрастающая в салонах агитация. — Савари опасается покушения на жизнь царя; он самовольно делается его министром полиции. — Роль Нарышкиной. — Усилия Савари убедить Александра почистить министерство и удалить недовольных; характерные слова Александра. — Светская деятельность Савари; его воинственный нрав. — Результаты его исследования. — Его мнение об императоре Александре, царствующей императрице, императрице-матери. — Музей в Павловске. — Великий князь Константин. — Описание дворянства. — Роскошь и нищета; исторические причины разорения; опасность, которая отсюда вытекает для союза. — Качества, которыми должен будет обладать посланник Наполеона,

— Торговый и экономический вопрос. — Наполеон назначает посланником генерала Коленкура; необходимость влиять на общество; предоставляемые в распоряжение Коленкура средства. — Он продолжает по отношению к Александру свою систему личного обаяния. — Обмен подарками; дружеская и непосредственная переписка. — Какое заключение выводит Наполеон из донесений Савари.

I

После кратковременной остановки в Дрездене Наполеон вернулся во Францию, чтобы насладиться своей славой и на короткое время заняться внутренними делами своего государства. Как ни был он ими озабочен, его мысль часто, и не без тревоги, переносилась к молодому монарху, который только что скрылся в далекой России. Он спрашивал себя: не подпадет ли Александр, предоставленный самому себе, снова под враждебное Франции влияние, и устоит, ли в разлуке с ним его недавняя дружба? Для сохранения над ним необходимого влияния, Наполеон желал, чтобы их отношения не прерывались. В Тильзите было решено восстановить дипломатические сношения и назначить посланников, но дело это требовало некоторого времени и формальностей. В ожидании этого Наполеон решил назначить к Александру и временно аккредитовать в Петербурге одного из своих флигель-адъютантов. Он надеялся, что этот, не имеющий официального характера посол, у которого права на внимание обусловливались только его генеральскими эполетами, займет, быть может, в интимных чувствах царя место, на которое с трудом мог бы претендовать официально признанный посланник, права которого были строго установлены и ограничены этикетом. Флигель-адъютант, на которого пал его выбор, был генерал Савари, присутствовавший при свидании в Тильзите и неоднократно входивший в сношения с Александром. Для ведения дел ему был дан в помощники поверенный в делах Лессепс. Савари получил от императора рекомендательное письмо к царю: «Прошу, Ваше Величество, — писал император, — принять его с присущей вам добротой и вполне верить ему во всем, что он будет говорить от моего имени»[1].

---

[1] Corresp., 12. 910.

По правде говоря, дело не шло еще о переговорах и урегулировании вопросов, поднятых или затронутых в Тильзите, а только о поддержании доверия, о том, чтобы продлить, постоянно обновляя, в душе русского монарха впечатление, которое произвело на него общение с Наполеоном. Живя десять лет около императора, видя его каждый день, приноровившись служить ему и понимать его, Савари, лучше чем кто-либо мог передать мысли своего монарха, которые он привык брать за образец своим собственным. Он, как думал Наполеон, передаст не только их смысл, но и форму, с теми оригинальными оборотами, которые составляли их характерную черту. Он явится как бы воплощенным воспоминанием об интимных часах, проведенных в Тильзите; в его лице будет всегда стоять подле Александра смутный образ самого Наполеона.

Его миссия имела еще и другую цель. Хотя русский император, по-видимому, и был на нашей стороне, но ни его правительство, ни министры, ни официальные и закулисные советники, ни представители знати и руководители общественного мнения, — никто из тех, кто под управлением снисходительного монарха мог иметь в Петербурге влияние на ход дел, кто мог служить или противодействовать его предначертаниям — не присутствовал в Тильзите и не подписывал договора о союзе. Пойдет ли Россия за переменой, происшедшей с ее государем? Или, наоборот, она будет упорствовать во вражде с нами и будет постоянно держать под угрозой союз и даже мир? Есть ли возможность оказать на нее давление, овладеть ею всецело или хотя бы отчасти? Прежде чем решить, чего следовало от нее ожидать, необходимо было ее узнать. О ней имелись только устарелые, неточные и противоречивые сведения. Савари был послан на разведки. Он должен был рассмотреть вблизи русское общество, изучить тайные общества и политические партии, проникнуть в игру интриг, исследовать средства для создания французской партии, оценить дух армии и дать по всем этим вопросам подробные сведения. Наполеон нуждался в них, чтобы определить истинную цену союзу и соответственно этому установить дальнейшие свои поступки. Наблюдательность и проницательность —способности, которыми Савари обладал в высокой степени и благодаря которым он позднее сделался превос-

ходным министром полиции, делали его особенно пригодным для роли разведчика. Он должен был приступить к ней тактично, втереться в доверие русских, не показывая вида, что наблюдает за ними, и избегать всего, что могло придать его деятельности характер надзора и шпионства. Талейран почти одним словом начертал ему план его поведения: «Старайтесь, — сказал он ему, — мало расспрашивая, много узнать»[1].

Савари вместе с прикомандированными к нему офицерами и секретарями переправился через Неман. Сперва французы проехали через узкую полосу прусской территории, которая не была занята нашими войсками. Они говорили громко, держали себя хозяевами, вели себя весьма шумно, как победители. На границе России им пришлось сразу понизить тон. Для начала их подвергли паспортным формальностям, хотя Савари и перечислил все свои звания[2]. Когда ему представилась возможность снова пуститься в путь, он скоро заметил, что русские все еще смотрели на нас, как на своих врагов. Повсюду угрюмые и недоброжелательные лица, немое молчание или злобные выходки. Повинуясь прежним внушениям, не ведая о Тильзите, чиновники и духовенство не переставали возбуждать против нас национальное и религиозное чувство. Так как Александр не позаботился еще об отмене указа о провозглашении анафемы французам, как врагам царя и врагам Бога, они по долгу службы продолжали молиться во всех церквах о нашем истреблении. По мере приближения наших путешественников к столице вражда принимала все более ощутимый и оскорбительный характер. По приезде в Петербург Савари едва нашел себе квартиру; никто не позаботился о том, чтобы его встретить и приготовить ему помещение[3].

Ему нужно было переступить порог императорского дворца, чтобы попасть в дружескую страну. Приехав 23 июля, он был принят Александром в тот же вечер. После нескольких любезных слов, обращенных к послу, Александр спросил: «Как поживает император?» и тотчас же с царской простотой, которой он пользовался, как одним из средств обольщения, дружеским и доверчивым тоном начал говорить о Тильзите, о тех днях, воспоминание о которых, по-видимому, владело его мыслью и доставляло ему истинное удовольствие. Савари записал этот разговор, придав ему форму диалога, как это ему приказано было делать со всеми беседами с Александром. Такой прием придает его рассказам замечательную жизненность и как бы воскрешает действующих лиц. Александр принял письмо Наполеона и прочел. Он задал несколько вопросов о путешествии императора и тотчас же сказал: «В Тильзите он дал мне доказательства своей привязанности, о которых я никогда не забуду. Я очень тронут уверениями в дружбе, полученными мною от него сегодня, и очень благодарен ему за то, что именно вас избрал он для вручения их мне».

После минутного молчания, пристально взглянув на генерала он продолжал: «Да! Чем более я думаю, тем более я доволен, что повидался с ним. Я все еще боюсь, как бы не забыть хотя бы одно слово из того огромного количества мыслей, которые он высказал мне в такой короткий срок. Это человек необычайный, и, надо сознаться, господа, что, хотя мы и имеем некоторое право на ваше уважение, у вас слишком заметное преимущество, и нужно быть безумцем, чтобы у вас его оспаривать. Впрочем, надеюсь, что с этим вполне покончено: я дал слово и сдержу его.— Нет ли у вас каких-нибудь инструкций, кроме письма?

Ответ. — Нет, Государь, у меня нет никаких полномочий. Мне предписано только употребить все усилия, чтобы быть приятным Вашему Величеству.

Император. — Не слыхали ли вы, кого император хочет избрать ко мне посланником?

Ответ. — Нет, Государь. Многие добиваются этой чести, но Император еще ничего не говорил об этом. Он приказал сказать Вашему Величеству, что ему предстоит большое путешествие, что ему нужно быть на открытии Законодательного Корпуса, познакомиться с делами Сената, учреждений по внутреннему управлению и Государственного Совета, в котором он

[1] Письмо Савари к министру иностранных дел, 9 сентября 1807 г.

[2] Life of general sir Robert Wilson. from autobiographical Memoirs Journal etc. London, 1862, 11, 319—20.

[3] Описание С.-Петербурга в промежуток времени от 23 июля до 5 августа, отправленное Савари 6 августа 1807 г. Archives nationales, AF IV, 1697. Memoires de Savaru duc de Rovigo, III, 149.

давно уже не председательствовал; что, вероятно, эти заботы всецело поглотят его внимание с самого его приезда, но что в первую же свободную минуту он наметит лицо, которое могло бы понравиться Вашему Величеству и которое было бы убежденным сторонником принципов великого Тильзитского события.

Император. — Отлично, я с удовольствием приму всякого, кто явится от него и будет говорить, как он, то есть, который всегда будет держаться его точки зрения, которой держусь и я... Слышите? которой держусь и я»[1].

После такого категорического заявления аудиенция продолжалась еще несколько минут. Когда она кончилась, обер-гофмейстер Толстой подошел к Савари и от имени императора, «который, — сказал он, — не любит церемоний», пригласил его к обеду на другой день.

24 Савари обедал в Зимнем дворце и несколько дней спустя на Каменном Острове, летней резиденции Его Величества. Приглашенных было мало: несколько министров и два-три лица из придворного штата. За несколько минут до обеда вошла императрица в сопровождении своей сестры Амилии Баденской. Елизавета Алексеевна была очень хороша собой и обладала удивительно изящной, истинно-царской фигурой и поступью. Екатерина II выбрала ее в супруги великому князю Александру, и никогда еще народы не преклонялись перед более прелестной четой. Но брак, по-видимому, обещавший Елизавете счастье, дал ей только корону. С душой романтической и гордой, она не сумела овладеть непостоянным юношей, за которого ее выдали замуж, и отказалась делиться с другими чувствами своего супруга. Непонятая и покинутая, она ушла в себя, скрыла свои истинные чувства под непроницаемой бесстрастной оболочкой и как бы гордилась тем, что живет, как чужая, при дворе своего супруга и остается в тени. Кроме того, презирая интригу, она избегала, если не иметь, то по крайней мере высказывать свое мнение; делала вид, что ничем не интересуется и позволяет управлять собой, уступая во всем и берегла только свое сердце. Она приняла французского посла с любезной, бесцветной улыбкой. Ее сестра подражала ей в искуственной манере держать

[1] Донесение от 6 августа 1807 г.

себя. Однако Савари показалось, что он подметил у обоих высочайших особ некоторый оттенок в проявлении покорности; натянутость показалась ему менее заметной у государыни, чем у ее неразлучной подруги.

За столом Савари сидел рядом с императором, по правую его руку. Разговор шел общий. Александр направлял его преимущественно на военные вопросы, на свои войска, на нашу армию и на заимствования, которые рассчитывал у нее сделать. Полная непринужденность царила между собеседниками; и эта картина чисто-семейного характера еще лучше оттеняла красоту и блеск обстановки. Зала была великолепно обставлена, сервированный массивным серебром стол был весь в роскошных цветах, что рисовало в воображении совсем иной климат. Придворные лакеи в красной ливрее имели величественный вид; а чернокожие африканские невольники, одетые по-турецки и стоявшие за креслами обоих величеств, напоминали царю о Востоке и как бы воплощали его мечты[1].

После обеда императрица удалилась рано. На Каменном Острове она проводила время на террасе, откуда взоры ее отдыхали на свежей зелени, на тихой воде, и на расстилавшемся вдали, объятом северными сумерками горизонте. Возле императора остались только мужчины. Тогда он подошел к Савари, отдалил его от кружка, овладел им и увел в сад, где вечер прошел в дружеской беседе. Заговорили о путешествии, которое Наполеон обещал предпринять в Петербург. «Я знаю, что он боится холода, — сказал Александр, — но, не взирая на это, я не избавлю его от путешествия; я велю натопить его помещение до египетской жары». Но предварительно он сам хотел поехать в Париж. Он хотел отдать визит своему союзнику, «еще поговорить с ним, повидать его у него дома и осмотреть все его великие учреждения». — «Трудно передать, — прибавляет Савари, — в каких выражениях и в каким удовольствием говорит император Александр об этом путешествии. Он уже рассчитал, что доедет до Парижа в двадцать дней и что только на обратном пути посетит места стоянки наших больших гарнизонов Мец и Страсбург. Он говорит об этом, как о любимой мечте, которую он всега лелеял». Затем Александр намекнул на слу-

[1] Донесение от 6 августа. Cf. Wilson, II, 354.

хи дня, на известия с Востока, незаметно перевел разговор на политическую почву, и, не будучи в силах удержаться от разговора о предмете, который его особенно озабочивал, он слегка коснулся его, сказав: «Когда пришли известия о событиях в Константинополе, император был так добр, что сказал мне, что он считает себя совершенно свободным от обязательств к Турции, и, по своей чрезмерной доброте, позволил мне надеяться... Говорил он вам что-нибудь об этом?

Ответ. Мне кажется, я понимаю вас, Ваше Величество. Вы делаете мне честь говорить со мной о деле, о котором он мне говорил, но не дал никаких инструкций.

Царь. Мне показалось тогда, что Император, который судит о делах лучше, чем кто-либо, также сознает, что Турецкая империя не может долго существовать среди европейских государств. Мы много об этом говорили, и, признаюсь, что, если Турция в один прекрасный день рухнет, положение России позволяет ей надеяться унаследовать известную часть ее останков. Император так добр, что понимает меня, и я всецело положусь на него, когда, по его мнению, наступит время... Я очень рассчитываю на чувство дружбы, которое он выказал ко мне... Я не буду ускорять этого момента...»[1]. И не настаивая более, ограничиваясь только этим скромным напоминанием, Александр тотчас же вернулся к менее щекотливым вопросам. Он заговорил о других государствах, о их поведении, которое порицал, о их представителях в Петербурге, которых не щадил, выражал к Франции полную симпатию, к нашему послу беспредельную благосклонность и Савари удалился польщенный, очарованный приемом, в восторге от любезного монарха, который не скрыл от него своих самых сокровенных мыслей.

Увы! За блестящими вечерами шли тяжелые дни. Савари скоро заметил, что у Александра не было двора в строгом смысле этого слова. Строй его жизни был похож на семейный быт богатого частного человека, живущего со своими друзьями, окруженного тесным кружком, который он себе избрал и которого не расширял. У него почти не было официальных приемов и никогра не бывало парадных обедов и церемо-

[1] Донесение от 6 августа 1807 г.

ний, ибо в таком случае ему пришлось бы «сидеть на возвышении и представительствовать в роли государя[1]. Когда генерал, удивленный такой простотой, спрашивал, где же найти в Петербурге блеск, торжественность, царскую обстановку с ее обаянием и влиянием, ему ответили, что за этим надо идти к вдовствующей императрице.

Мария Феодоровна, супруга Павла I, мать Александра, после трагической ночи, когда она сделалась вдовой, сохранила в России положение, которому не было примера. Ее сын, вступив на престол, пожелал, чтобы она сохранила свой прежний ранг, присвоенные ему доходы и почетные права. Сверх того, так как он питал отвращение к церемониалу и любил только тесный кружок или чисто военные торжества, смотры и парады, он в некотором роде, разделил царские обязанности и, оставив за собой заботы о делах, уступил матери представительство. Мария Феодоровна вполне подходила к роли, предоставленной ей ее сыном. Несмотря на то, что прошло уже много времени с тех пор, когда она впервые появилась при дворе Екатерины II, в расцвете молодости, прекрасная и «чистая»[2], ее годы и несчастье еще более возвели ее на пьедестал. Достойный подражания образ жизни, ее благоговейное, доходящее до театральности поклонение прошлому, неизгладимое воспоминание о перенесенных ею испытаниях, которые ранили ее сердце, не затуманив ясности ее чела, внушали к ней всеобщее уважение. В прежние времена ею или восхищались, или жалели ее, теперь ее боготворили. Всегда готовая творить добро, она заведовала делами благотворительности, царствовала над бедными и в империи своего сына создала свое собственное государство, основанное на любви и благодарности. Но при всем том рожденная для двора, зная в совершенстве и поддерживая при своем дворе службу придворных чинов, любя этикет и вводя его в малейшие подробности жизни, без утомления перенося долгие часы представлений ко двору, доводившие до изнеможения ее придворных дам, она считала своей главной задачей выставлять самодержавие в самой привлекательной его форме и в этом полагала свою гордость. Она продолжала играть роль царству-

[1] Joseph de Maistre, Mémoires et correspondance diplomatique, publiés par Blanc, 269.
[2] Memoires de Czartorysky

ющей императрицы, делала приемы, занимала трон, окружала себя многочисленным двором, при котором дворы ее четырех живших при ней младших детей были как бы спутниками большого светила. Только при ней можно было видеть службу придворных дам, камергеров, шталмейстеров, пажей, блеск больших приемов и церемониал официальных представлений. Поэтому-то все, кто стремился ко двору или не мог без него обойтись, представлялись императрице-матери, так как только при ней была придворная жизнь. Вполне естественно и без всяких усилий со своей стороны Мария Феодоровна сохранила за собой все почести, поклонение, словом, весь тот культ, который воздается царствующим особам. Власть прошлого удержала при себе всех приверженцев, которых настоящая власть не пожелала к себе привлечь. Вдовствующую императрицу являлись благодарить за всякое назначение, за всякую пожалованную милость, хотя бы даже она не принимала в этом никакого участия; ей представлялись и целовали руку вновь произведенные или награжденные орденом офицеры[1]. Хотя она обыкновенно жила в Павловске, в двенадцати лье от Петербурга, знать считала своей обязанностью показываться на ее приемах, по крайней мере, в две недели раз. Александр сам бывал там два раза в неделю. Старый двор — такое название давали императрице-матери и ее приближенным — оставался, таким образом, великой общественной и светской силой в России, и, не имея власти, сохранял влияние[2].

[1] «Царствующей императрице ни о чем не докладывается, — писал Савари, — и, когда иностранец выражает удивление по этому поводу, ему отвечают, что это не принято... Во время публичных церемоний, императрица-мать чаще всего идет под руку с императором: царствующая императрица идет позади нее и одна. В карете вдовствующая императрица сидит всегда на правой стороне — царствующая императрица налево от нее, а императора видели иногда на переднем сидении. Случалось часто, я сам это видел, что во время военных парадов, войска были уже выстроены, император верхом впереди них, а парад не начинался, потому что императрица-мать еще не прибыла». Archive nationales, AF, IV, 1697.

[2] Сведения о русском дворе, приложенные Савари к его донесениям от 6 августа 1807 г. Заметки о русском дворе и С.-Петербурге того же автора, мемуары, хранящиеся в национальном архиве AF, IV, 1697. Cf. Mémoires Czartorysky, I, 275, 384. Reminiscences sur Alexandre et Napoleon I, par comtes de Choiseul — Gouffier, 355.

В политике роль старого двора можно было бы сравнить с ролью верхней палаты в конституционном правительстве. Неподвижный, мало способный к прогрессивному движению, хранитель традиций, он сдерживал деятельность государства: он мешал уже своим бездействием. Чтобы какое-либо мероприятие было безрезультатным, часто достаточно было того, чтобы он его не одобрил. Он не утвердил еще мира с Наполеоном, и присутствие французского посла было для него делом несуществующим. Савари скоро убедился в этом на самом себе. «30, — говорит он, — я был представлен императрице-матери в Таврическом дворце; прием был холоден и не продолжался и одной минуты»[1].

Это было для генерала сигналом к неприятностям. Он приехал в Петербург в самый разгар лета. Летний сезон не остановил, а только переместил светскую жизнь. Официальная Россия, т. е. все семьи, которые в течение полувека занимали придворные и государственные должности, покидали тогда столицу, но оставались вблизи ее и селились на островах. В этой части города, где величественная Нева, разделенная на множество рукавов, особенно привлекательна и красива, летние помещения, дворцы и дачи, разбросанные на лужайках и в лесу, между ее извилинами, были все заняты. Там проживали министры, влиятельные особы, придворные, любители весело пожить и львицы. Держались отдельными кружками. На Островах виделись часто; всюду царили роскошь и веселье. Днем нарядные экипажи, запряженные четвериком, шестериком и восьмиреком, бороздили аллеи; вечером дачи сияли огнями, в лесу импровизировались концерты на духовых инструментах, громкие звуки которых далеко разносились в воздухе. За блестящими городскими приемами следовали собрания без соблюдения этикета, обеды на восемь, десять и двенадцать особ, прогулки по великолепным садам графа Строганова, расположенным террасами на одном из рукавов реки. По-видимому, веселая, широкая жизнь представляла Савари подходящий случай для более близкого знакомства с русским обществом и для того, чтобы наблюдать за ним в его семейном обиходе. Он добросовестно постарался найти туда доступ. Он расписался у высокопоставленных лиц; ему не отдали визита. Он возобновил попытку,

[1] Донесения от 6 августа 1807 г.

опять сделал визиты, и снова не был принят. Как будто быстро распространился лозунг, и русское общество замкнулось в своих кастовых предрассудкдах, в национальной вражде и отказалось от всякого общения с иностранцем, который был его победителем и не принадлежал к его обществу[1].

Особенно враждебно были настроены дамы. Француженки по вкусам и воспитанию, но француженки иного, старого времени, они теперь не желали видеть французов в революционном народе, который путем насилия и жестокости заставил признать себя союзником и другом. В большинстве случаев очаровательные и образованные, они действовали на окружающих мужчин силой высшей культуры. Они сумели в немногих словах навлечь на Савари всеобщее недоброжелательство. С их прелестных губок, на которых наш язык обыкновенно принимал обаятельный, немного шаловливый оттенок, срывались суровые, безапелляционные приговоры. В течение первых недель своего пребывания Савари не удалось открыть себе доступа ни в один дом. Когда он обедал у императора, он видел, как другие собеседники вечером покидали его, чтобы отправиться в свет, а я, говорил он грустно, возвращался оттуда в обществе своего секретаря[2]*.

Высказываемое ему недоброжелательство касалось не только его звания, но распространялось и на него лично. Его роль в казни герцога Энгиенского, которую припомнили и пересуживали на разные лады, давала против него положительное оружие, охлаждала немногих доброжелателей и способствовала унижениям, которым его подвергли со всех сторон. Появлялся ли он на прогулке, он видел, что все взоры устремляются на него с оскробительным влиянием; проходил ли по петербургским улицам, он замечал в окнах книжных магазинов брошюры, в которых осмеивали его нацию и его самого, видел противореволюционные пасквили, т. е. литературу, созданную эмиграцией. Чтобы заглушить свою досаду и скуку, он должен был на некоторое время ограничиться ролью неизвестного, одинокого путешественника; он добросовестно осматривал Петербург и совершал обыкновенные прогулки иностранцев по церквам, галереям и дворцам величественной столицы[1].

«Как находите вы Петербург, генерал? — спросил его Александр по прошествии нескольких дней. — Удивительным, Государь, даже в Италии нет ничего подобного. — Как проводите вы время? Я знаю, что вы не веселитесь. Ведь вы мало бываете в обществе? — Государь, должен сознаться Вашему Величеству, что, если бы не ваша доброта и доброта великого князя, я не вышел бы из своей квартиры. — Это скоро переменится»[2], — ответил император, и, чтобы помочь Савари терпеливо пережить это время, он посоветовал ему поехать осмотреть Кронштадт. Немного времени спустя по случаю именин императрицы-матери был блестящий прием в Петергофском дворце. Александр старался выдвинуть французского генерала путем самых лестных отличий и все время держал его около себя, как бы, молча, давая приказание признать в нем узаконенного гостя и представителя союзника России.

Вмешательство государя оказало некоторое действие. «Лица стали более приветливыми, — писал Савари, — двери некоторых домов открылись»[3]. Спустя месяц или полтора, он был уже принят в нескольких домах, столкнулся с высокопоставленными русскими и мог наблюдать их. В первой записке от 23 сентября, после краткого изложения и откровенного констатирования враждебного настроения общества, давалась характеристика некоторых видных лиц. Савари встретился с князем Адамом Чарторижским, европейской известностью, бывшим до Аустерлица управляющим делами министерства иностранных дел, «ныне сенатор и член Государственного Совета; в обществе прибавляют: друг императора. Его поведение непонятно, у него вид человека, который ни во что не вмешивается, а общественное мнение почти везде указывает на него. Чего он хочет, неизвестно; он редко бывает в об-

---

[1] Донесения и письма Савари, август — сентябрь 1807 г. Gf. Wilson, II, 345—56. См. также сочинение M. Pingaud. Francals et Russes, 483.

[2] Memoires du duc de Rovigo, III.

* Савари в это время было около 33-х лет. *(Прим. перев.)*.

[1] Memoires de duc de Rovigo, III, 153.

[2] Донесения от 6 августа 1807 г.

[3] Письмо к министру иностранных дел 23 августа 1807

[4] Ibid. Мы опубликовали этот докдумент в Revue d'histoire diplomatique. I-e juillet 1890.

ществе»... На полях Савари делает следующее неожиданное замечание: «Я нашел его гораздо ниже его репутации, это человек, о мнении которого нечего особенно заботиться». Когда-то князь вместе с Кочубеем, Строгановым и Новосильцевым составлял интимный совет императора, — то, что называлось Комитетом общественного спасения. Что же сталось с другими членами этого кружка? Кочубей теперь министр внутренних дел, но его положение поколеблено; остается опасаться Новосильцева. Все еще друг императора, он либерал на английский образец и мечтает только о том, чтобы ввести в России британские учреждения. Благодаря этому он смешон», — прибавляет Савари. Среди лучших генералов императора князь Лобанов, назначенный военным министром, — наш сторонник; адмирал Чичагов, морской министр, — молодой человек, сведущий в своем деле; он ни англичанин, ни француз, а просто добродушный русский человек; граф Румянцев, министр торговли, и генерал Будберг, министр иностранных дел, по-видимому, стоят за Францию, но с той разницею, что Будберг — сторонник только что оставленной системы, а Румянцев — друг новой. В группе портретов, набросанных Савари, позади министров первого разряда смутно выступают другие министры, люди безличные, и совершенно в стороне держится герой последней кампании князь Багратион, «человек угрюмый и честолюбивый; он не любит французов.

Впрочем, вдохновителей общества не следует искать среди русских. «Обществом, по своему усмотрению, повелевает дипломатический корпус, — говорит Савари, — он направляет умы и руководит развлечениями». Итак, вся сила враждебности — в дипломатическом корпусе. Посланники Англии и Австрии ведут войну с нами; агенты других дворов действуют по их указаниям; даже агенты тех государств, о которых Наполеон думает, что они подчинились его политике, открыто или исподтишка враждуют с нами. Более того, в Петербурге заставляют себя выслушивать и признавать оракулами фиктивные дипломаты, представители несуществующих государств, посланники государей, низложенных Наполеоном. Деятели далекого прошлого, как например, старый герцог Серра Каприола, состоящий уже тридцать пять лет[1] неаполитанским посланником, заставляют сторониться посла победителя Европы. Что прикажете делать:, если среди послов изгнанных королей встречаются противники, пользующиеся таким большим влиянием! «Здесь встречаешь, — говорит Савари, — графа де Местр (Жозефа де Местр), который все еще думает, что он состоит послом Сардинии. Это человек умный и свой человек в домах австрийского и английского посланников. Ему, может быть, скорее следовало бы быть в Митаве, чем здесь, если уж он так упорно хочет быть посланником короля Калияри*.

Эти первые свидания не вполне удовлетворили Наполеона. Он ожидал картину, а ему посылали серию набросков. Он потребовал от Савари более точных, а главное более глубоких наблюдений. Устремив пытливый взор на далекую и неведомую ему Северную империю, он спрашивал себя, представляет ли та группа вельмож, которая собралась вокруг трона, все мыслящее и действующее в нации или за этой светской Россией скрывается другая, менее склонная к предрассудкам, где наше влияние могло бы найти точку опоры. «Будьте любезны уведомить, — приказал он написать Савари, — не существует ли другого общества, более далекого от трона, но ближе стоящего к народу»[2]. На этот вопрос Савари мог смело, как он это и сделал, ответить отрицательно, за исключением группы купцов, в России не было среднего сословия. За дворянством непосредственно шел простой народ, та, по-видимому, косная, недоступная никакому внешнему влиянию масса, в которой ничто не проявляло внутренних сил, дремавших в ее груди. Чтобы иметь возможность вести борьбу с аристократией и приобрести в ее среде союзников, необходимо было изучить только ее. Савари вполне основательно стремился проникнуть в ее среду и сделать ее предметом своих наблюдений.

В деле осады аристократии Александр продолжал оказывать ему помощь. Государь действовал путем личного влияния; он старался воздействовать на своих приближенных и «на дам», за которыми немного уха-

---

[1] Он был женат на дочери одной русской дамы, у которой бывали большие приемы и которую называли тещей дипломатического корпуса.

* Провинция в Сардинии. *(Прим. перев.)*

[2] Министр иностранных дел Шампаньи к Савари, 17 сентября 1807 г.

живал». — «Мне сообщили из совершенно верного источника, — прибавляет Савари, — много маленьких анекдотов по поводу его ухаживаний, в которых он имел случай выказать всю искренность своей преданности к Вашему Величеству. Дошло до того, что он поссорился с одной особой, к которой относился благосклонно и взаимностью которой пользовался, из-за того, что она посмела рассуждать с ним обо всем, что произошло между ним и императором французов»[1]. Со своей стороны Савари и сам обратился за содействием к тем из дам, которые уже подпали под влияние обольстительного монарха; и у одной из них встретил самый блестящий успех.

Среди петербургских красавиц царь особенно отличал жену Александра Нарышкина, прелестную и поэтичную Марию Антоновну. Поклонение, которое он ей создавал уже несколько лет, было нежно и постоянно, хотя и не исключало других увлечений. Принятый в доме ее мужа, Савари был любезно встречен ею, нашел, что она хорошо относится к нам и счел возможным расположить ее в нашу пользу ценою маленьких услуг. Достаточно было бы доставить ей средства обеспечить за собой решительное превосходство над ее соперницами на почве изящного и моды. Только Париж мог доставить эти средства. Несмотря ни на что взоры русских все ще обращались к столице роскоши и вкуса; многие прощали Франции ради Парижа. Савари с корыстным усердием тотчас же подумал о том, чтобы выписать из Парижа, все, что могло понравиться Нарышкиной, и сделался ее поставщиком. Он написал об этом Дюроку и Коленкуру, но главным образом поручил это дело молодому французскому офицеру де Сеншаман. Конечно, ничто не должно было делаться без разрешения императора.

Идея понравилась Наполеону. Он только нашел, что Савари не был достаточно скромен и посвятил в дело слишком много людей. «Все, что касается частной жизни государя, должно быть для него священно»[2], — приказал он Шампаньи написать ему. Сверх того, так как это было государственое дело, то не следовало бояться обратиться по этому поводу мрямо к императору; он пожелал взять лично на себя это поручение. После министерского выговора, который спасал принцип, он собственноручно, в дружески бесцеремонных выражениях написал Савари: «Я и не знал, что вы такой дамский угодник, каким вы оказались на деле. Но тем не менее, наряды для ваших русских красавиц будут вам отправлены. Я беру расходы на себя. Передавая наряды, вы скажете, что случайно распечатав депеши, в которых вы их требовали, я сам хотел их выбрать. Вы знаете, что я отлично понимаю толк в туалетах»[1].

Неизвестно, нужна ли была такая предупредительность, чтобы окончательно привлечь на нашу сторону Марию Антоновну; ею руководили более серьезные побуждения. В действительности она не особенно любила Францию и еще менее политику; но она нежно любила Александра. Делаясь нашей союзницей, она верила, что служит его заветным желаниям, его интересам и даже делу его личной безопасности. Ее содействие было нам не бесполезно. Савари несколько раз передавал царю полезные советы через ту, которую царь, говоря языком сентиментальных рыцарей, называл «предметом своих отдохновений». Кроме того, Нарышкина охотно помогала генералу в его светских делах и облегчила ему доступ во многие салоны.

В русском обществе была сделана брешь; зато рвение наших противников удвоилось. Будучи до сих пор бесспорными господами положения, они ограничивались при своей обороне только презрением; но по мере того, как выяснялся характер деятельности Савари — создавалось и их сопротивление. Открылась война салонов. Те кружки общества, доступ к которым был нам закрыт, — а их было значительное большинство — предали анафеме других; достаточно было какому-нибудь дому принять французов, чтобы другие отшатнулись от него. В то же время общественное мнение, точно с цепи сорвавшись, набросилось на Александра; тон разговоров из ворчливого, каким он был до сих пор, перешел в ожесточенный; злословие принимало более опасный характер; поговаривали о необходимости добиться во что бы то ни стало перемены политики, хотя бы даже ценою перемены главы государства. Савари, до сведения которого дошел этот ропот, спрашивал себя, не следовало ли видеть в этом симптоме предвестника катастрофы. Воспоминание о 1801 г. ов-

[1] Письмо к императору от 9 сентября 1807 г.
[2] Шампаньи к Савари, 27 сентября 1807 г.

[1] Corresp., 13, 190.

ладело его умом; его врожденная склонность к сыску заставляла его видеть повсюду заговор; он опасался, как бы Александра не постигла участь Павла I. Считая, что долг перед Наполеоном обязывал его заботиться о безопасности царственного друга, он добросовестно отнесся к этому делу. Он взялся за русскую историю, отыскивая в ней описание прежних переворотов; спрашивал себя, каким путем можно было предупредить их, умолял Александра прибегнуть к мерам охраны, возбуждал бдительность его приближенных и добровольно взял на себя роль его министра полиции[1]. Он дошел до того, что доносил ему о неосторожных или преступных словах, говорившихся в его армии. Прием, оказанный его предостережениям, побудил его к шагу, который, по его мнению, мог дать решительные результаты. Что если бы ему удалось воочию выяснив Александру опасности, могущие произойти от чрезмерной терпимости, навести его на большое и энергичное дело: переменив своих советников, почистить высшую администрацию и удалить подальше коноводов враждебной партии? Такое проявление власти обуздало бы гордое общество, не желавшее сдаться.

Сначала Савари позондировал почву у Нарышкиной. Там его намеки были отлично приняты. Его умоляли поговорить с императором, быть с ним откровенным и настойчивым. «Помните, — говорилось ему, — что вы можете ему все сказать и что он вас выслушает»[2]. Но так как Савари не решался взять на себя инициативу подобного объяснения, Нарышкина сказала: «Ну, хорошо! В таком случае с вами заговорят и мы посмотрим, хотите ли вы служить ему... По крайней мере, — прибавила она, — постарайтесь сделать его более злым[3].

Через день после этого разговора Савари, в полной парадной форме присутствовал на смотре и сопровождал верхом императора. Когда проходили войска, Александр сделал ему знак, чтобы он занял место возле него и сказал: «Сегодня вы обедаете со мной. Вечером не уезжайте, мне нужно с вами переговорить». Во время разговора Савари должен был сказать все, что знал. Он в резких чертах обрисовал злословие салонов, возрастающую агитацию и зловредное поведение некоторых лиц, указал на необходимость для предупреждения их планов действовать против них решительно и положить конец их развращающему влиянию на общественное мнение. «Общественным мнением, — прибавил он, — отнюдь не следует пренебрегать. Оно что-то замышляет; с ним крайне необходимо быть настороже и мечом рассечь тучу; иначе, если за ним не наблюдать, оно в конце концов, охватит все умы до такой степени, что, когда, наступит момент исполнить обязательства, принятые на себя Вашим Величеством, вы найдете все пружины ослабленными, даже среди членов правительства... Мне кажется, что Ваше Величество много выиграет, если удалить слишком явно оппозиционных людей и заместить их другими, известные принципы которых помогут привести в исполнение предначертания Вашего Величества. В противном случае, возможно, что в непродолжительном времени интрига, даже крамола, и вопли всего торгового сословия заставят вас поколебаться в выборе между Англией и нами. Признаюсь, Государь, я предвижу такой момент»...

Царь прервал его, и, взяв за руку, сказал: «Генерал, мой выбор сделан, ничто не может его изменить. Не будем говорить об этом, а подождем событий». После этого он в трогательных выражениях просил Савари не судить о России по некоторым интриганам, пренебречь их происками и противопоставить им спокойствие и презрение. Он говорил, что работает над тем, чтобы поставить все на другую ногу, но что при этом он должен поступать осторожно и не торопиться; что ему нужно победить массу предрассудков, перевоспитать народ. Задуманная им перемена могла совершиться только постепенно. Сверх того, он утверждал, что никакая интрига не собьет его с его пути и не помешает идти к намеченной цели. Он намекнул, между прочим, и на разлад, который старались посеять между его матерью и им, и, постепенно оживляясь, он сказал: «Я очень люблю моих родных, но я царствую и хочу, чтобы ко мне относились с уважением». — «Говоря это, — прибавляет Савари, — император, видимо, начинал горячиться. Он вдруг остановился, устремив взоры в пространство, затем взял мою руку, пожал и продолжал: «Вы видите, генерал, что я отношусь к

---

[1] Memoires de Rovigo, III, 175 et suiv, 191 et suiv.
[2] Донесение от 23 сентября 1807 г.
[3] Ibid.

вам с большим доверием, ибо посвящаю вас в мои интимные отношения к семье. Я рассчитываю на вашу скромность и преданность»[1]. Такая вспышка казалась искренней, но ею и окончился разговор, не приведший ни к какому результату. Савари понял, что ничто не могло побудить его на решительные меры и жестоко поступить с оппозицией, где было много лиц, дорогих его сердцу.

Так как попытка покончить с оппозицией одним ударом не удалась, Савари вернулся к делу медленной осады. Он был неутомим. Верный данному предписанию, состоявшему в том, чтобы во что бы то ни стало найти себе доступ в общество, он не падал духом от дурных приемов. Если ему отказывали у дверей «петербургской красавицы», он являлся во второй, в третий, в четвертый раз, когда, наконец, его принимали[2]. Если он встречался с противниками, он принимал бой и держался, как подобает храброму воину. В этот период времени мы видим, как он ведет непрерывную борьбу, говорит авторитетно, всегда готов к едкому ответу, смело подхватывает всякий злорадный намек и заставляет относиться с уважением к своему императору и своей нации. Если он слишком часто заменяет такт самоуверенностью, если у него иногда сказывается дурная привычка высказывать революционные мысли за столом дипломатов старого режима, зато мы также слышим, как он отражает самохвальство наших врагов словами, вызывающими смех. Какой-то англичанин с ехидством заговорил о потери нами Египта. «Это произошло от того, что императора самого там не было, — живо ответил генерал, — пошли он туда только свою ботфорту, и вы обратились бы в бегство. Удивляя странностью своих манер, он подкупал своею то резкой, то цветистой речью и кончил тем, что внушил к себе всеобщее уважение[3].

Чтобы ослабить предубеждения императрицы-матери и ее двора, употребленное им средство не было плохо выбрано. Он просил разрешения посетить одно из больших благотворительных учреждений, созданных

[1] Донесение от 23 сентября 1807 г.

[2] Wilson, II, 359.

[3] Переписка Савари, сентябрь, октябрь, ноябрь 1807, passim. Cf. les Memoires du fel-marèchal comte de Stedingk, ministre de Suède en Russie, 11, 354, 376, 403, 404.

Марией Феодоровной, которым она лично заведовала и любила показывать как образец. Он очень громко восторгался всем, что ему показывали, и вскоре узнал, что его одобрение произвело благоприятное впечатление. Несколько времени спустя, хотя он лично и не имел доступа ко двору императрицы-матери, он сумел ввести туда молодого французского офицера де-Монтескьё, который был принят благодаря своему аристократическому имени, несмотря на невысокий чин. Хотя он не проник сам, но, благодаря сделанной бреши, он мог бросить взгляд на внутренний строй этой крепости и завязать в ней кое с кем сношения. Таким образом, он достиг того, что владел даже в самой враждебной среде, если не партией, то, по крайней мере, соучастниками, и если и не привлек на свою сторону лиц другого толка, то мог познакомиться с позициями, которые нужно было завоевать, узнать их слабые стороны, изучить средства возможно легче добиться успеха,— одним словом, установить свое мнение о настроении русского общества и способах овладеть им. После пятимесячного пребывания сборник трудов, под названием «Заметки о Русском дворе и С.-Петербурге» передал императору результат его разведки[1].

II

«Путешественник, приехавший в С.-Петербург, — говорит Савари в своем донесении,— совершенно ясно различает в нем четыре отдельных слоя: двор, дворянство, купечество и народ, который находится в крепостной зависимости». Коснувшись бегло двора, он добавляет только несколько подробностей к сообщенным уже сведениям об императоре Александре, в искренность чувств которого верит все более. На минуту он останавливается перед загадочной фигурой императрицы Елизаветы, тайну которой никто еще не разгадал. «Вот уже четырнадцать лет,— говорит он,— как царствующая императрица здесь; ее характер еще не разгадан даже теми, кто видит ее чаще всего. В обществе она до такой степени сдержана, что у нее не вырыва-

[1] Archives nationales A. F., IV, 1697. Мы опубликовали этот документ в Revue d'Histoire diplomatique, 1 juillet, 1890.

ется ни одного слова, ни одного взгляда, по которым можно было бы о ней судить». Савари считает ее очень умной, с выработанным суждением, а «так как она,— говорит он,— много занимается серьезными вещами, много читает, правильно судит о наших выдающихся писателях, восхищается, читая наших трагических авторов», то он думает, что легче было бы «овладеть ее умом, чем сердцем». Но зачем стремиться проникнуть в душу той, которая хочет остаться непроницаемой? Императрица менее, чем когда-либо, желает играть роль; нам нечего надеяться на ее поддержку, равно как и опасаться ее враждебности. «Оказанное время от времени внимание, любезно поднесенный подарок удержат ее на пути, избранном императором, ее супругом».

Следует, во что бы то ни стало привлечь на свою сторону императрицу-мать и ее салон. Какими способами можно добиться этой победы? Савари избегает высказаться и сказать что-нибудь определенное по этому вопросу. По его мнению, попытаться можно, даже следует; но это дело настолько серьезно и щекотливо, что пусть император возьмет его лично на себя; его непогрешимая мудрость подскажет ему, как довести его до желанной цели. Между прочим Савари подметил, что императрица Мария была крайне чувствительна к знакам внимания. Ей дорого всякое доказательство уважения, она свято хранит самые незначительные подарки, особенно, если они являются знаками внимания или предупредительности. Она живет окруженная предметами, которые все вызывают воспоминания, из которых одни говорят ее сердцу, другие ее самолюбию. Ее дворец в Павловске — храм прошлого. Посетив, как путешественник, ее чудную резиденцию, Савари видел там кабинет императора Павла, сохраненный в том виде, как он был в минуту его смерти[1]. В парке ему показали рядом с мавзолеями и надгробными урнами, воздвигнутыми императрицею в память ее усопших родителей, деревья, которые имеют свою историю, ибо они сажались по желанию Марии Феодоровны в день рождения каждого из ее детей и были посвящены воспоминаниям о ее семейных радостях. Он также обратил внимание на музей с подарками царствующих особ, на севрский сервиз, присланный Людовиком XVI и украшавший малые апартаменты императрицы, на обои, подарок Людовика XV Екатерине II,— приобрел уверенность, что такого же рода подарки от необыкновенного человека, на котором сосредоточено внимание всего мира, будут приняты с признательностью, лишь бы они были выбраны со вкусом, скромно предложены и до известной степени могли сойти за утонченную дань уважения. «Изящный выбор, — говорит он,— и искусство поднести,— вот что, главным образом, придает цену подобным вещам. Это произвело бы тем лучшее впечатление, что здесь, в особенности при этом дворе (при дворе императрицы-матери), есть люди, убежденные, что в царствование императора Наполеона наши фабрики и мануфактуры не выделывают уже таких изящных вещей, как в царствование королей. Очевидно, думают, что мы обошлись с искусством и ремеслами, как турки и арабы».

¹ Cf. Memoires de la comtesse Edling, 98—99.

Остановив на некоторое время внимание своего высокого читателя на Павловске, он заставляет его сделать быстро обзор дворца в Стрельне, местопребывании великого князя Константина. Великий князь почти совсем офранцузился; так как он любит только военное ремесло и легкие удовольствия, то Наполеон его бог, а Париж его рай. Он желает снова увидать Наполеона и познакомиться с Парижем. Пока он живет один со своим уланским полком, в тридцати верстах от Петербурга, и здесь он приблизительно воспроизводит привычки и занятия своего деда Петра III. Как и тот, он безумно играет в солдатики. Его дворец содержится как крепость; все мелочи крепостной службы соблюдаются со всей строгостью. Покои великого князя представляют арсенал; его библиотека состоит только из сочинений, относящихся к армии. Устремив взоры на великую военную нацию Запада, он беспрестанно отыскивает в ней предметы для кропотливого изучения и бесцельного подражания. Для украшения своих садов он заставил французских пленников соорудить в миниатюре Булонский лагерь; музыканты его кавалерии играют только французские мотивы; во время развода его уланы дефилируют при звуках Chant du départ. К тому же, благодаря своему причудливому нраву, Константин Павлович не пользуется в армии особенной любовью; его упрекают в том, что он только военный, а не воин; да и сверх того этот наш новоявленный новобранец, несмотря на его положение в императорской фамилии, по-видимому, вовсе не спосо-

бен сблизить с нами просвященное общество Петербурга.

Общество, которое исключительно состоит из дворян, доставляет Савари сюжет для подробной, крайне жизненной и очень язвительной картины. Не доходит ли суровость Савари до несправедливости? Мы склонны были бы так думать, если бы его описание не было согласно с описаниями других лиц, имевших возможность наблюдать лучше, чем он, при том принадлежащих к другим слоям общества и руководившихся совершенно другими побуждениями и склонностями. Его донесение является безжалостным, быть может, преувеличенным, но логическим развитием известных наблюдений, приводимых князем Адамом Чарторижским в его мемуарах и Жозефом де-Местром в его переписке[1]. Мы, однако же, не прочь признать, что Савари, очерчивая тех людей, которые столько раз его выпроваживали, не забыл и своих собственных неприятных приключений. Не вникая в глубину этого неспокойного и сложного общества, где боролось столько различных стремлений, где столько идей бродило под покровом страстей и светского легкомыслия, он старался уловить только характерные его черты, те, которые бросались в глаза и выступали рельефно. Затем, рассмотрев их в их связи с политикой, он настойчиво обращает на них внимание императора.

Савари различает в русском обществе при его тогдашнем составе две группы: в первую входят некоторые семьи с прочным положением, с безукоризненной репутацией, с традиционным блеском; другая, более многочисленная и неуравновешенная, представляется нашему наблюдателю толпой разоренных, алчущих роскоши, но не имеющих денег вельмож, которые при денежных затруднениях не всегда считались с требованиями нравственного чувства и по заведенному порядку прибегали к непозволительным средствам.

Такое безденежье объясняется историческим путем. Екатерина II по расчету, Павел — по склонности к деспотизму допустили установиться отвратительному обычаю, в силу которого государь не только награждал дворянство, но платил ему в строгом смысле этого слова за услуги; он платил ему деньгами, поместьями, людьми. В царствование Екатерины после каждого счастливого похода против Турции происходил между генералами и офицерами раздел завоеванных земель. Россия воевала столько же ради добычи, сколько и ради славы. «В этом отношении мы еще немного азиаты»,— простодушно сказал один из министров. Когда не хватало земель, отнятых от побежденных, Екатерина, чтобы по горло засыпать богатствами тех, которые ей хорошо служили, пользовалась государственными имуществами; ее чрезмерная щедрость вошла в пословицу. Павел, сумасбродный, доходивший во всем до крайности, еще усугубил эту систему: он дарил «три тысячи крестьян, как какой-нибудь перстень»[1]. Русское дворянство, поощренное такой чрезмерной щедростью, стало смотреть на государственную казну, как на неисчерпаемый запас, и дало волю своим расточительным и тщеславным инстинктам. Им овладела бешеная страсть наслаждаться, выезжать в свет, лихорадочное стремление веселиться, и самая молодая столица Европы сделалась самой тщеславной. В конце восемнадцатого века, в те мрачные дни, когда буря революции разразилась над Европой, Петербург остался светлой точкой, куда устремился весь цвет старого общества, где жилось легко, и не думали о завтрашнем дне, где царило гостеприимство, где старались перещеголять друг друга баснословной расточительностью.

Вдруг среди охватившего русское общество вихря удовольствий иссяк источник наживы. Призванный волею судеб на престол, Александр выступил с преобразовательными стремлениями, с честным желанием восстановить государственные финансы, а вместе с тем, покончить и с унизительным обычаем. Он прекратил все награды за счет государственной казны; на просьбы о пособиях отвечал советами быть экономнее. Но толчок был уже дан, привычки были сильнее воли монарха. Дворянство не сумело умерить свой образ жизни, продолжало жить в своих убранных с утонченной роскошью дворцах широко и открыто, среди толпы приживальщиков и прихлебателей; но так как царская щедрость не исправляла уже брешей, которые беспрестанно образовывались в состояниях, то вскоре под этот золоченый внешний блеск прокралось всеобщее безде-

---

[1] См. относительно первого, 1, 366; относительно второго том Memoires politiques et correspondance diplomatique les page, 99, 324—325.

[1] Донесение Савари от 4 ноября.

нежье. В 1807 г. Петербург — столица, блестящая по внешности, сделалась городом должников. На этот счет Савари дает характерные подробности. «Я знаю,— говорит он, рассказывая о русских,— нескольких титулованных особ, которые покрыты бриллиантами в дни представлений ко двору, занимают высокие должности в государстве, а между тем булочник нередко отказывается отпустить им хлеба к обеду. В этом отношении здесь увидишь вещи, которых нет нигде. Можно видеть людей с миллионными долгами, которым ничего не остается, как жить по примеру прочих, успокаивать себя этим и даже делать из этого предмет своей гордости. Одна титулованная дама в С.-Петербурге рассказывает, как о чем-то, чему она не придает никакого значения, что у нее полтораста тысяч рублей долгу. Когда ее приглашают на бал и она не может поехать, она обыкновенно извиняется, говоря, что ростовщик не хотел доверить ее бриллиантов на эту ночь. Особенно странно то, что все это нисколько не роняет этих дам в глазах света, так как все они приблизительно в одинаковом положении.

Далее он продолжает, что в этом разорении кроется некоторая опасность и для новой политической системы, и для самого Александра. Английская партия могла так легко возмутить общественное мнение против подписи тильзитского договора только потому, что она обратилась к тем, которые уже давно были недовольны. Среди них многие истощили свои последние средства. Ужас их положения делает их на все готовыми; революция, которая вновь открыла бы им при новом монархе дорогу к выгодным почестям, является для них средством к спасению. Если явится вождь, достаточно смелый, чтобы вести их на приступ против власти, он найдет в них вполне подготовленных борцов. Савари, хорошо знакомый с нашими авторами, узнает этих корыстных врагов государя в следующих знаменитых стихах:

> Un tas d'hommes perdus de dettes et de crimes
> Que pressent de ses lois les ordes legitimes,
> Et que, desesperant de les plus eviter,
> Si tout n'est renversé, ne sauraient subsiste.

Но не содержит ли зло в самом себе спасительного средства? Русская аристократия, опасная благодаря

своей неустойчивости, сама по себе представляет легкую добычу. Если такая неустойчивость и располагает некоторых из ее членов к отчаянным предприятиям, то с другой стороны, она не защищает их от увлечений удовольствиями, от блеска кстати данных балов и от поклонения высокому светскому положению. Нельзя ли одурманить ее и привлечь на нашу сторону подобными средствами? Если посланник Франции устроится в Петербурге так, чтобы привлечь всеобщее внимание, если будет жить на широкую ногу и поражать своим богатством, если двери его дома будут для всех широко открыты, если балы его будут предметом разговоров и будет считаться необходимым присутствовать на них, тогда политические убеждения не устоят перед притягательной силой удовольствий, и русские вельможи будут толпиться в салонах нашего посла: он будет в состоянии залучить к себе и подчинить своему влиянию одних, проникнуть в замыслы других, следить за обществом и управлять им.

Этот прием с успехом употреблялся то тем, то другим государством. В стране у него есть уже традиции, а в настоящее время его применяет Англия. Она до такой степени хорошо усвоила себе идею о необходимости держать в Петербурге открытый дом, что у нее как бы два посольства: дела ведет министр второго разряда, сэр Стюарт; на действительном же посланнике лорде Говере лежит, главным образом, обязанность представительства. «Большой лентяй, который не любит своего дела»,— сказал о нем император Александр. Но у этого надменного, удивительно беспечного представителя британской аристократии самые красивые лошади в Петербурге, самые роскошные экипажи, превосходный стол; он живет на более широкую ногу, чем некоторые немецкие короли, и знать, поклоняющаяся его манерам, ослепленная его пышностью, привлекаемая его блестящими приемами, является почтительно выслушивать от него наставления Англии. Когда император Александр, согласно тильзитскому договору, порвет с Лондоном, отъезд британской миссии произведет переворот в привычках общества и приведет его в замешательство. Следует воспользоваться этой неурядицей для привлечения его на нашу сторону; взять на себя роль руководителя его удовольствиями и предложить ему тотчас же новый сборный пункт. Следовательно, необходимо, чтобы к этому времени у Франции был

в Петербурге надлежащий представитель, прекрасно обставленный на своем посту. Этот посол должен быть не только добросовестным и искусным агентом, но и человеком с величественной осанкой, громкого имени и, если возможно, древнего рода, с выдающимся личным положением. Самое важное, чтобы дом его не имел себе равного, чтобы он отнюдь не боялся соперников в уменье создавать блестящее положение. Если наш посланник будет иметь все эти качества, ему, вероятно, удастся занять то господствующее положение в свете, которое теперь занимает посланник нашей соперницы, и отчасти приобрести ее политическое наследство. Конечно, нельзя рассчитывать на безусловное торжество: всегда будет весьма резко очерченная и стойкая оппозиционная партия; но та неустойчивая и беспочвенная толпа, которая плывет по течению и которую можно увлечь *обедами и танцами*, придет за приказаниями вместо английского дворца во французский.

Есть еще средство заменить влияние Англии нашим: это занять в торговле России господствующее положение. Савари мог судить, до какой степени выгоды торговых сношений, установившихся между Великобританией и Россией, способствовали политической дружбе обоих государств; он дает на этот счет любопытные подробности. Он видел, что торговля с Англией все более входила в права России. Она заставляет Неву кораблями, возбуждает деятельность в ее портах, оживляет ее набережные. Из тысячи двухсот судов, которые ежегодно входят в эту большую реку, более шестисот носят британский флаг. В Петербурге купечество всецело обязано своим благосостоянием торговым сделкам с Англией; большинство купцов британской национальности или британского происхождения. Что же касается до остальных, кто бы они ни были, немцы или русские, барыш создал им из Англии второе отечество и сделал их англичанами. Даже дворяне состоят данниками Великобритании. Она покупает лес в их обширных поместьях и доставляет им самую аккуратную статью их доходов. Более того, она приучила их видеть в ней общепризнанного, традиционного, неизбежного поставщика целой партии предметов, необходимых для их жизни. Произведения ее промышленности распространены повсюду в России, они каждую весну прибывают в виде громадных грузов. Те же продукты, ввоз

которых невозможен, благодаря строгим или запретительным пошлинам, Англия выделывает на месте руками своих добровольно эмигрировавших рабочих, т. е. в самой России выделываются на фабриках английские продукты. Она поставляет дворянам сукна для одежды, мебель для домов, посуду, которая украшает их стол, даже бумагу, перья и чернила, которыми они пользуются; она сделалась госпожой их вкусов, привычек, комфорта; сумела соткать тонкие, но бесчисленные и прочные нити, которые обвивают Россию и держат ее в плену.

Но будет ли Франция в состоянии тотчас же после политического разрыва, вслед за которым прекратится ввоз Англии, заменить ее произведения нашими и сделаться наследницею ее монополии? Савари не думает этого. Советуя предпринять это дело, он не скрывает, что средства к достижению этого, как то: ввоз избранных товаров, французские фактории, торговые дома могут создаться только постепенно и в течение долгого времени. Экономическое завоевание империи должно быть делом времени, рынок не захватывается, как военная крепость. Итак, Франция не может надеяться на немедленное заполнение громадной пустоты, которая произойдет в России, благодаря прекращению торговых сношений с Англией, и не будет в состоянии избавить ее от временных затруднений. Переходное время явится острым испытанием для союза. Тогда-то на почве материальных интересов вспыхнет против нас возмущение и разразятся яростные нападки недовольных. В это время от Александра потребуется исключительная энергия, которую необходимо будет внушить ему. Только один император Наполеон, благодаря своим непосредственным сношениям с русским государем и влиянию, которое он на него имеет, сможет внушить ему необходимую твердость и силу, чтобы устоять против всякого рода давления, сможет заставить его принять необходимые строгие меры и, таким образом, косвенно сломить оппозицию торгового мира, изгнать интригу при дворе и окончательно создать торжество Франции в России. Обращение к императору, призыв к его всемогуществу, надежда на чудодейственную силу его гения, — таково заключение, к которому приходит Савари, как по этому, так и по другим вопросам. Ничто не может лучше доказать, как мало верил он во все человеческие и рациональные средства.

В донесениях генерала Наполеон почерпнул необходимую точку опоры для нескольких решений. Его крайне озабочивал выбор посланника для Петербурга. Сознавая необходимость придать своему представительству в этой столице исключительный характер, он сперва остановился на следующем решении: крайне искусный дипломат, владеющий в совершенстве опытом и умением управлять делами, де Ла Форе, бывший посланник в Берлине, будет аккредитован в качестве посла; но, кроме него, император будет всегда держать в Петербурге одного из своих флигель-адъютантов, назначением которого будет состоять при особе самого царя и заместить Савари в дружеских отношениях к монарху. Это решение приобрело уже огласку, когда Наполеон признал, что крайне необходимо влиять не только на императора, но и на высшее общество. Это заставило его отказаться от первоначального плана и придать представительству своего посланника исключительный блеск. С этой минуты назначение только посла и выбор для этой цели другого, чем думал сперва Наполеон, лица сделались необходимыми.

Наполеон имел в своем распоряжении человека, имя и семейные традиции которого связывали его с прежней Францией, но который в то же время дал новому правительству доказательства безусловной преданности; это был его обер шталмейстер, дивизионный генерал Коленкур. Человек выдающегося ума, с прямой и великодушной душой. Коленкур питал к императору рыцарскую привязанность и доблестно служил ему при выполнении многих его поручений. Благодаря одному из них он был уже в России. Позднее, в дни испытаний, он возвысился еще более, сохранив верность и в несчастье,— удел только истинно благородных душ. В то же время этот благородный человек не забывал о своем происхождении и любил напомнить о нем своей манерой говорить и держать себя. Его от природы художественно развитой вкус заставлял его стремиться к изящному и роскоши; он искал придворной атмосферы, и никакая слава не могла более льстить его самолюбию, как слава — примирить императорскую Францию с аристократией одного из государств Европы. Наполеон нашел, что никто из состоящих при его дворе и в его свите не был более способен занять не только с достоинством, но и с блеском первый пост во французской дипломатии. «Я окончательно решил послать Коленкура»[1]; в таких выражениях объявил он 1 ноября 1807 г. Савари о своем выборе. Несколько дней спустя Коленкур, несмотря на горячее сопротивление, был снабжен полномочиями и должен был отправиться в Петербург в звании чрезвычайного посла, с содержанием в 800 000 франков, 250 000 франков на расходы по помещению и с избранным персоналом секретарей и чиновников. Ему приказано было во всем поступать широко, превзойти всех в роскоши и заняться делом завоевания светской России.

Наполеон позаботился расчистить путь своему посланнику и старался лично понравиться в России. Он ничего не щадил, ни малых, ни великих средств. Чтобы ослабить застой в торговле, Наполеон вызвался купить в России мачтового леса и выстроить на русских верфях три французских корабля. Он обещал для армии царя пятьдесят тысяч ружей нового образца и открыл наши гавани кадетам, желающим усовершенствоваться в морском образовании. В то же время, он, видимо, был расположен оказать содействие петербургским увеселениям. Так как Савари уведомил его, что открытие французского театра доставит удовольствие, он ответил: «Талейран вышлет актеров и актрис»[2].

Он желал также, чтобы сношения с обоими русскими дворами, сделались правильными и утонченно вежливыми. Хотя для снискания расположения обеих императриц он гнушался употребить несколько грубые приемы, о которых писал ему Савари, тем не менее, он настоял, чтобы его брат Жером и новая невестка, королева Екатерина Вестфальская, родственница Марии Феодоровны, уведомили ее в почтительных выражениях о своем бракосочетании. Самому себе он предоставил влиять на Александра силой личного обаяния. Между обоими императорами установился уже обмен любезностями. Александр послал императору шубы ценностью в восемьдесят тысяч рублей каждая и принял на себя звание его поставщика мехов; Наполеон ответил подарками из севрского фарфора, выбранными по вкусу царя на основании указаний Савари. Кроме того, он стал часто переписываться с самим Александром в

[1] Corresp., 13318.
[2] Jbid., 13190. На Талейрана, состоявшего в звании оберкамергера, был возложен высший надзор за театрами.

надежде, что, уверив его в своей преданности и доверии и овладев, таким образом, его сердцем, он вернее найдет доступ к его уму и будет управлять им. В своих письмах он тактично вводил в беседу о политике и делах уверения в преданности, высказывал в сдержанных, убедительных и трогательных выражениях, не злоупотребляя чрезмерными излияниями, свое желание, чтобы между Александром и им упрочилась истинная дружба, мужская, простая и солидная и чтобы, таким образом, на расстоянии поддерживалась тильзитская близость[1].

Несмотря на надежду, которую он возлагал на эти сношения и на другие, избранные им способы влияния, Наполеон обладал чересчур практическим умом для того, чтобы придавать им существенное значение. То, что установил Савари, было мало утешительным, и поддерживало в уме Наполеона сомнения, которые он не переставал чувствовать относительно прочности русского союза. Твердо решившись следовать плану, намеченному им в Тильзите, он решил, что ему ясно было указано на неблагоразумие отдаваться беззаветно этому плану. Он мало верил в покушение на царя. Среди вождей оппозиции он не видел ни одного, чья отвага была бы на высоте подобного злодеяния. Он даже приказал Савари прекратить предостережения, считая их скорее опасными, чем полезными; но, тем не менее, он усматривал серьезную опасность в настроении русского общества: он опасался его вредного влияния на ум Александра, в котором он, несмотря на все происшедшее между ними, замечал следы непостоянства и недоверия. Словом, Россия была завоевана только наполовину. Без сомнения, главная, высшая точка позиции, т. е. император, был наш. Но, находясь среди враждебных масс, которые засели в сильно укрепленных окопах, хорошо защищались и только с трудом позволяли добраться до них, он был в наших руках рискованным владением, оставался, говоря языком военных операций, без прикрытия и всегда мог подвергнуться враждебным посягательствам. Возврат России к заблуждениям прошлого все более казался Наполеону возможной гипотезой, которую следует иметь в виду и как существенный элемент, который должен войти в его расчеты. Это убеждение, которому наблюдения Савари давали прочную опору, должно было заметно повлиять на его политику. Мы увидим, что его сношениями с Петербургом будет руководить двоякая мысль; с одной стороны сохранить союз с Россией; заставить его действовать и приносить все плоды, но в то же время быть постоянно начеку против новой измены России.

[1] См. относительно конца 1807 г. письма Наполеона в Correspondance, t. XVI и ответы Александра, опубликованные Татищевым в Nouvelle Revue, 15 juin 1890.



III

РАЗРЫВ С АНГЛИЕЙ

Россия предлагает в Лондоне свое посредничество; отклонение ее услуг. — Англия подслушивает.— Она только отчасти выведывает тайну Тильзита. — Как Наполеон, так и Англия решили не признавать нейтралитета и свободы действий Дании. — Британское министерство предупреждает Наполеона. — Бомбардировка Копенгагена; захват флота. Впечатление, которое произвела эта катастрофа на Наполеона. — Его искусство извлекать пользу даже *из самых неблагоприятных условий. — Он хочет использовать* нападение, учиненное англичанами, чтобы поднять на их континент и ускорить исполнение тильзитского плана. — Призыв к России. — Вступление Австрии в континентальную лигу. — Причины, побуждающие Александра I временно поддерживать добрые отношения с Англией. — Сеятель интриг и подкупа. — Сэр Роберт Вильсон за царским столом. — Как создается легенда. — Заблуждения Сен-Джемского кабинета. — Русская политика приобретает более определенный характер под влиянием графа Румянцева; прошлое и характер Румянцева. — Причины экономического порядка, благодаря которым отсрочивался антагонизм русских и английских интересов на Востоке. — Соблазнительные речи Вильсона. — Его светская деятельность, его салонные успехи. — Врожденная склонность Савари к сыску сослужила ему полезную службу; он подстраивает жестокую неприятность Вильсону. — Гнев и горе Александра; его слова об освобождении крестьян. — Вильсон выслан. — Манифест о войне. — Истинная причина разрыва между Россией и Англией. — Александр требует, чтобы Наполеон отдал ему княжества.

I

Первым делом, к которому обязывали царя статьи Тильзитского договора, было предложение с его стороны посредничества между Францией и Англией. Александр приказал сделать в Лондоне соответствующие шаги. Ему было отвечено 29 августа, что Его Британское Величество желает прежде всего знать «те, покоящиеся на принципе справедливости и признания взаимных прав, основы, на которых Франция намерена вести переговоры»; Его Величество просит сообщить ему также и тайные статьи тильзитского договора[1]. Вторым требованием, несовместимым с принятыми Александром по отношению к Наполеону обязательствами, фактически отвергалось русское посредничество, и вместе с тем выдавались мысли, которые уже целый месяц осаждали и угнетали английский кабинет.

Лишь только Англия узнала о перемирии, и о состоявшемся вслед за ним свидании, лишь только почуяла попутный ветер для интимных переговоров между обоими императорами, она поняла, что их примирение могло состояться только за ее счет. Опасения ее пробудились, и она прибегла к шпионству. Ее ревностные, не стесняющиеся в выборе средств, агенты появились в Тильзите и проскользнули в главную квартиру обеих армий. Насторожив уши, они улавливали слухи о сказанных словах и взаимных обязательствах. Но, как обыкновенно бывает с теми, кто подслушивает, они схватывали только обрывки фраз и мыслей, и могли передать в Лондон только неточные и, следовательно, тревожные сведения. Усилия Англии раскрыть истину обнаружили только часть ее, а в остальном заставили ее прибегнуть к догадкам. Она узнала о состоявшемся против нее соглашении, но точный характер его оставался ей неизвестным[2].

Для того, чтобы лучше уяснить себе и разгадать настоящее положение дел, ничто не мешало ей обра-

[1] Донесения Савари от 9 сентября 1807 г. Депеши барона Жакоби-Клост, прусского министра в Лондоне, 3 и 25 августа 1807 г. Hassel, 342. Mémoires du comte de Stedingle, II, 334—335, 338.

[2] Alison, Histoir of Europe, from the revolution to the Restoration of the Bourbons, VII, p. 243.

титься к событиям недавнего прошлого и в них поискать указаний. 1807 г. представлял поразительное сходство с 1801 г. И в то время, как и теперь, Англия также стояла одиноко перед победительницею Европы — Францией. После Маренго и Гогенлиндена, как и позднее после Иены и Фридланда, континентальные государства, не желая долее работать в пользу других и вести войну, в которой все труды и издержки несли они одни, бросали оружие, сдавались одно за другим на капитуляцию, и откровеннее всех отделилась от британского дела Россия. Бонапарт тогда же мечтал сделать Россию своим орудием против англичан; но он не решился потребовать, чтобы она немедленно обратилась против своих вчерашних союзников и удовольствовался тем, что она присоединилась к другим прибалтийским государствам: Швеции и Дании; к той лиге, задачей которой было формулировать, выставить и, в случае надобности, поддержать силою оружия требования о признании прав нейтральных держав, т. е. те требования, на которые Англия смотрела как на отрицание своего господства на морях. Вооруженный нейтралитет привел Россию к разрыву с Лондоном, но дал ей возможность объяснить свою измену заботой о пользе общего дела и благодаря этому совершить переход в другой лагерь постепенно и безнаказанно. Естественно было думать, что и в Тильзите Наполеон прибег к тому же самому приему, и Англия вовсе не рассчитывала, что Александр перейдет на нашу сторону более открыто и отнесется к своим обязательствам менее добросовестно, чем Павел I. По ее предположениям, одним из обязательств, возложенных на царя, было его участие в лиге по наружности оборонительного характера, но, в действительности, предназначенной подготовить для действий против Англии внушительные морские силы[1]. Впрочем, по мнению англичан, возможно было, что Россия ограничится в этой коалиции второстепенной ролью, состоящей в том, чтобы оказывать давление на Швецию и в особенности побудить к войне Данию.

Хотя в 1801 г. принцип о независимости на морях надменно провозгласила Россия, но борцом за это дело выступила Дания; она проливала за него кровь и

[1] Депеша Жакоби, 18 августа 1807 г. Hassel, 345; Stedingk, II, 345—36.

рисковала своей столицей. Ей-то с ее двадцатью линейными кораблями, хорошо обученным и храбрым экипажем, с населением из природных моряков, по-видимому, и теперь было предназначено снова взять на себя ту же роль, лишь бы царь, ее старинный покровитель, поощрил ее или, по крайней мере, перестал ее сдерживать. Так как для создания балтийской лиги необходимо было участие и попустительство Александра, то было вполне вероятно, что самым деятельным и усердным ее членом сделается Дания. Сразу же поставив Данию в невозможность бороться, Англия могла надеяться привести в замешательство других членов предположенной ассоциации и, быть может, предупредить их враждебные действия. Она решила, что для уничтожения в самом зародыше тильзитских проектов нужно нанести удар в Копенгагене.

Конечно, такой взгляд не был совершенством, ибо он не обнимал во всей совокупности обязательств, подписанных Александром, но он был необыкновенно проницателен и верен. Действительно, ближайшие результат, которого Наполеон ожидал от союза с Россией, была возможность для него морской войны. Овладев континентом, он снова обращался к морю, где держалась его неуловимая соперница и где он поклялся до нее добраться. Он снова возвращается к своим проектам непосредственного на нее нападения, на которых еще недавно так упорно останавливался его гений. Видеть в блокадной системе, введенной его берлинским декретом, единственный принятый им способ борьбы с Англией, было бы важной ошибкой, вредящей пониманию его политики. Хотя в течение десяти месяцев после Тильзита он и старается ввести и распространить повсюду применение необычно строгой континентальной блокады, но вместе с тем он безустали и последовательно изучает планы морской войны, которые предназначает для поражения британского государства в его самых жизненных частях.

Между этими планами первый, за которым уже было право давности и который тотчас же пришел ему на ум, относился к северным морям. Наполеон рассчитывал создать из берегов Ламанша, точнее говоря, Северного и Балтийского морей, громадный фронт для нападения на Англию и снабдить его могучими средствами для морской войны: флотами, флотилиями, десантными войсками, чтобы затем целым рядом согласо-

ванных маневров тревожить неприятеля, угрожать ему и, наконец, подготовить и облегчить высадку[1]. В проектированном распределении французских или, лучше сказать, союзных сил, датский флот, единственный, с которым нужно было считаться на Балтийском море, занимал важное место и составлял наше правое крыло. Правда, Копенгагенский двор, несмотря на свои французские симпатии, все еще колебался открыто стать на нашу сторону и пытался сохранить нейтралитет, в котором видел свое спасение. Но император не допускал подобной роли: как известно, секретные статьи тильзитского договора устанавливали, что Дания волей или неволей будет нашим союзником. Впрочем намерение произвести на нее в случае надобности материальное давление явствует из поведения, предписанного императором своей дипломатии и войскам[2]. Итак, следует признать, что преемники Питта, отправляя против Копенгагена экспедицию с предписанием привести к покорности Данию и лишить ее флота, только разгадали и предупредили намерения Наполеона; они лишь разломали оружие, прежде чем он, решившись завладеть им, успел схватить его. Но их нападение по вероломству и жестокости, с которыми оно было совершено, по общей симпатии, которую внушала жертва, и по необычайным размерам катастрофы осталось самым жестоким примером того, как, к прискорбию, несовершенны те преграды, которые именуются правами людей, святостью договоров, уважением нейтралитета, и которые в решительные исторические моменты тщетно выдвигаются против необузданного произвола великих политических сил.

В последних числах июля английская экспедиция вышла в море. В начале августа эскадра из тридцати семи кораблей обложила остров Зеландию и высадила на нем армию. Известно, какими деяниями адмирал Гамбио и генерал Каткарт ознаменовали там свое присутствие. 1 сентября после ряда надменных требований с одной стороны и мужественных отказов с другой линия фугасных батарей открыла огонь по Копенгагену. После пятидневной бомбардировки часть города была в пламени, погибли сотни жертв. Тогда Копенгаген сдался, открыл городские ворота, передал арсенал, позволил увести свой флот и спас только честь. Принц регент удалился в Гольштейн. Отсюда он написал Наполеону, предлагал ему союз, теперь уже бесполезный, и призывал нас отомстить за него[1].

Вышеописанный разгром захватил императора врасплох и привел в бешенство; уверяют, что со смерти Павла I он не подвергался таким припадкам гнева. В этом нет ничего удивительного. И в самом деле, если Наполеон хоть короткое время мог рассчитывать на то, что Англия, покинутая Россией, пойдет на переговоры, зловещее дело ее флота самым оскорбительным образом опровергало такое предположение; оно означало, что постоянные неудачи Англии не только не ослабили, но, скорее, возбудили ее мужество, что в ее глазах Тильзит был только одним из событий великой борьбы, о прекращении которой она не хотела и думать, и что ее неразборчивая в средствах энергия и не думала слагать оружия. Сверх того, с захватом Англией датского флота исчез главный фактор первоначального плана, составленного в предположении силой принудить Англию к миру в случае, если бы она отказалась от него. Следовательно, всему проекту не доставало основы, он рушился. Но характерной чертой Наполеона была удивительная способность приспособляться к обстоятельствам и постоянно видоизменять и возобновлять свои планы в зависимости от хода событий. Он из всего умел искусно извлекать пользу, даже из неудач. Рассматривая совершившиеся факты со всех сторон, он всегда старался открыть в них элементы, с помощью которых он мог бы овладеть событиями и повернуть их в свою пользу; так что после неоднократных размышлений неприятное, даже роковое событие становилось исходной точкой для его победоносных операций. Потерпев в Копенгагене косвенное поражение, он видит в потере датского флота средство привести в исполнение другую часть своих планов — закрыть англичанам доступ на континент. Объявив всей Европе о гнусном их поступке, он в особенности обратит на него внимание России; заставит ее сдержать все свои обещания, даже ускорит их исполнение и понудит ее при первой возможности открыто выступить против Великобритании. Вместе с тем он воспользуется Россией

[1] Corresp., 12848, 12874, 12879, 12911.
[2] Ibid., 12962, 12974.

[1] См. Thiers, VIII, 188—199; Lebefvre, III, 136—145; Alisson, VII, 249—256.

для давления на остальные государства, на Швецию, даже на Австрию, чтобы побудить их к принятию суровых и исключительных мер против английских продуктов, агентов и подданных. Он предназначает царю задачу поднять против Англии север и даже центр континента, тогда как сам он займется югом; как в тисках сдавит он Испанию, займет войсками Португалию и будет преследовать до самых недр Иберийского полуострова влияние и торговлю наших соперников. Так как англичане еще раз доказали, что на океане они хозяева, он вооружится их преступной победой, чтобы закрыть им доступ на континент и изгнать их из европейского общества.

В письме к Александру от 28 сентября, он указывает на копенгагенскую экспедицию как на знаменательный ответ англичан на предложения России. «Мне кажется,— добавлял он,— что нам легко будет прогнать их со всего континента: это должна сделать совместная декларация»[1]. 13 октября в длинной депеше к Савари Шампаньи, заместивший Талейрана на посту министра иностранных дел, подробно излагает принятые Россией обязательства и напоминает, что 1 декабря она должна закрыть свои гавани и начать войну. «Гавани Португалии и Швеции,— продолжает министр,— должны быть также закрыты добровольно или силою. Сила обстоятельств требует, чтобы Франция взяла на себя закрытие португальских гаваней, а Россия шведских... Оба двора должны сообща повлиять на венский кабинет и заставить его примкнуть к общему делу»[2]. Последняя просьба вскоре должна была сделаться бесцельной. Предвидя такое требование, Австрия сочла за лучшее избавиться от него, предупредив наше желание, и после простого намека отозвала своего посланника из Лондона. 7 ноября Наполеон приказал Савари передать известие об этом императору Александру. Оно было такого свойства, что должно было поторопить русского государя и подстрекнуть его усердие в случае, если бы он не занял еще того положения, которое требовалось обстоятельствами. «Было бы делом постыдным для России остаться позади после события, которое ее так близко касается,— говорил Наполеон; но я надеюсь, что лорд Говер уже изгнан»[3].

[1] Corresp., 13191.
[2] Archives des affaires étrangères Russie, 144.
[3] Corresp., 13339.

II

О проходе кораблей Гамбие через Зундский пролив в Петербурге узнали в августе. Вслед за этим были получены один за другим потрясающие бюллетени об английских операциях. Волнение росло с каждым днем. Как только стало известно о бомбардировке города и о первых случаях пожара, Александр тотчас же приказал передать Говеру ноту с протестом и в то же время в частном разговоре сообщил Савари о своем негодовании. При первых же предложениях генерала выступить против Англии, он ответил, что готов принять против нее меры, которые ему укажет император, что он ждет только сигнала[1].

Но были ли вполне искренни уверения Александра? Некоторая разница между приподнятым стилем публичного обращения к Англии и той речью, с которой обращались к ней по секрету, разница между тоном дипломатических нот и тоном разговоров наедине — заставляют с самого начала усомниться в этом. Будберг дал понять лорду Говеру, что царь не оставил еще привычки смотреть на Англию как на свою лучшую союзницу[2]; сношения же самого Александра с не имеющим официальных полномочий агентом лондонского двора, по-видимому, скорее, подтверждали, чем опровергали уверения Будберга.

С некоторого времени Савари стал указывать на присутствие в Петербурге «сеятеля интриг и подкупа»[3]. Это был молодой английский офицер Вильсон. Он считался в числе тех агентов, которые составляли так называемую бродячую дипломатию коалиции. Без определенного местожительства, не имея определенного звания, они беспрестанно переезжали из одной столицы в другую, подогревая повсюду рвение наших противников; смотря по обстоятельствам, их или признавали, или отрекались от них, оставляли их в роли простых исполнителей поручений или возвышали до звания уполномоченных посредников. Даже в то время, когда Наполе-

[1] Correspp. de Savary, août-septembre, 1807, passim Pf., Stedingk, II, 334—35.
[2] Stedingk, II, 370 et suiv.
[3] Письмо к императору от 21 октября 1807 г.

он мечом разрубил узел коалиций, их происки все-таки сохраняли между государствами невидимую связь.

Родовитый, умный и образованный сэр Роберт Вильсон доблестно участвовал во всех кампаниях против нас и завоевал на поле битвы чин полковника. Однако, рассматривая портреты, оставшиеся нам о его физических и нравственных свойствах, смотря на его почти женски лукавое лицо, на его тонкий профиль, на взгляд — одновременно и пронизывающий и ласкающий, — читая донесения о нем наших агентов, а также его дневник о пребывании в Петербурге, представляющий собой настоящий светский вестник, где к политике примешиваются рассказы о балах и пикантные мнения о женщинах, узнаешь в нем человека, привыкшего находить в придворных и кабинетных интригах свою родную стихию. В настоящее время он с наслаждением погружался в нее, так как это было средством вредить его заклятому врагу. Бонапарт олицетворял собой все, что он ненавидел: Францию, революцию и торжество народных сил над правами происхождения и воспитания. Он питал к завоевателю непримиримую ненависть, сотканную из желчного патриотизма и кастовых предрассудков, ненависть англичанина и аристократа. В 1806 г. он сделал кампанию с пруссаками, а затем кампанию 1807 г., находясь при главной квартире императора Александра. Посланный теперь в Россию с дипломатическими депешами, он снова на другой почве возобновил борьбу с нами и деятельно вел ее в петербургских салонах.

Всюду хорошо принятый, обласканный нашими врагами, он смело стал в антагонизм с Савари, которого называл «палачом герцога Энгиенского»[1]. Ловкий, находчивый, необыкновенно подвижной, он всюду противодействовал генералу. Во время визитов Савари он или следовал за ним по пятам с целью разрушить успешный результат его работы, или же являлся до него, чтобы заблаговременно создать ему затруднения. Отправлялся ли Савари к Нарышкиной, он сталкивался у дверей ее с англичанином; открывала ли какая-нибудь дама свой салон французскому послу и «его клике», Вильсон делал ей по этому поводу строгий выговор и отнюдь не допускал подобной слабости; он заботливо

[1] Life of generale sir Robert Wilson. II, 319.

охранял «светскую»[1] Россию, старался защитить ее от французов и избавить ее от опасности замарать себя общением с нами. Стремясь всюду пролезть, он проник и ко двору, где император принял его с дружеской фамильярностью, как старого товарища по оружию; даже обедал на Каменном Острове, и, по довольно странной случайности, его рассказ об этой сцене точь-в-точь походит на рассказ Савари после его первого вечера во дворце. Англичанину были оказаны те же почести, та же предупредительность, предоставлено то же место около государя, как и французу; императрица говорила с англичанином немного более, чем с французом — в этом только и было все различие с внешней стороны[2]. Вот что еще более странно: несколько дней спустя Вильсон в разговоре с Алопеусом, русским посланником в Швеции, намекнул на некоторые более чем успокоительные слова, будто бы сказанные ему императором, Александр будто бы дошел до того, что сказал ему, что он будет доволен, если английские войска продлят свое пребывание на Зеландском острове около Копенгагена. Эти слова, переданные Вильсоном своим начальникам и друзьям в Лондоне, впоследствии повторенные ими в виде особой исторической подробности, в связи с заявлением Будберга, допустили создаться легенде, что Александр изменил Наполеону, чуть ли не на другой день после Тильзита и перед тем, как угрожал англичанам войной, заранее успокаивал их относительно своих намерений[3].

Поспешим добавить, что подобная роль, приписываемая царю, основана на неточных данных или на ложных толкованиях. Во-первых, на слова Будберга нельзя смотреть, как на выражение императорской мысли. Александр уже не доверял ему и готовился его заместить. От слов же, приписанных ему Вильсоном, Александр несколькими неделями позднее отрекся с гневом,— не перед Наполеоном или его агентами, которым остались они навсегда неизвестными, но перед Англией, и обращаясь только к ней, Вильсон, вынужденный дать объяснение, пытался выйти из затруднения, ссылаясь на то, что слова, сорвавшиеся с уст императора, он сообщил по секрету Алопеусу, а этот последний пере-

[1] Ibid., II, 362.
[2] Ibid., II, 354—355.
[3] Walter Scotte, Histoire de Napoleon VI, 24.

дал их царю; что только после такого путешествия они могли вернуться к своему автору в страшно искаженном виде; он не настаивал на своем первом изложении[1]. Однако мы не затруднимся допустить, что в то время в своих частных сношениях с Англией, Александр говорил с ней миролюбиво, почти дружески. Но, по нашему мнению, было бы безрассудно искать в этом вероломный умысел по отношению к Франции.

Нужно заметить, что у Александра были причины никоим образом не обнаруживать преждевременно своих планов двору, на который он обязался напасть. Ударом, который только что нанесла Англия, она показала, что предпочитает предупредить нападение, а не ожидать его. Ее флот находился в Балтийском море. Слишком явное поведение России могло привести его к устью Невы с целью подвергнуть Петербург одинаковой с Копенгагеном участи. В Кронштадте в продолжение нескольких дней ожидали его появления; форты были исправлены, батареи вооружены, сделан был запас каленых ядер. Но эти меры, достаточные для защиты столицы, оставляли открытыми для нападения другие гавани Балтийского моря, так как зима не воздвигла еще перед ними своих ледяных преград[2]. С другой стороны лучший флот России под командованием адмирала Сенявина, действовавший в начале года против турок и отозванный теперь с Востока, медленно возвращался на Север, огибая Европу. Разделенный на несколько отрядов, разбросанных в Средиземном море, он до окончания своего кругосветного плавания был во власти британских крейсеров. Итак Россия, если бы она слишком рано высказалась, подвергла себя почти неизбежнему бедствию; она более чем сжигала, она отдавала свои корабли. При таких условиях естественно думать, что Александр хотел усыпить недоверие лондонского кабинета, что с Вильсоном и его соотечественниками он пустил в ход всю силу скрытности, которой природа, по замечанию одного британского государственного человека, так щедро наделила его, и что, если он и старался обмануть кого-нибудь, то скорее Англию, чем Наполеона.

---

[1] Письмо Вильсона к Каннингу, 29 октября 1807 г. Wilson, II, 434 et suiv.
[2] Савари, сентябрь-октябрь 1807 г., passim. Stedingk, II, 357.
[3] Alison, VII, 267.

Его цель была достигнута, ибо лондонский кабинет поверил в возможность избегнуть разрыва и в свою очередь старался не ускорять событий. Придавая успокоительным сообщениям Говера и Вильсона больше значения, чем протестам против бомбардировки, в которых он видел только выражение официального гнева и по поводу которых мало беспокоился, он надеялся при помощи некоторых уступок заключить с Россией по делам Дании сделку, которая обеспечила бы бездействие великой северной державы. После того, как Дания была поставлена в невозможность принимать участие в борьбе, Англия могла легко признать ее нейтралитет и нейтралитет Балтики. В английском министерстве иностранных дел вздумали предложить царю принять на себя их охрану и ручательство за их нейтралитет; там думали, что такая роль миротворца и покровителя польстила бы, быть может, сентиментальной гордости Александра. Вильсон, отозванный в сентябре в Лондон, немедленно должен был отвезти это предложение в Петербург и дать по всем вопросам самые успокоительные объяснения. Если бы его предложения встретили хороший прием, лорд Говер должен был вмешаться официально и подписать соглашение. Таким образом, вездесущий офицер только самое короткое время оставался в Лондоне. После нескольких дней, проведенных в совещаниях с Каннингом, он 2 октября отправился в путь, ехал на курьерских и 17 попал в Петербург, где его друзья при дворе и в городе приняли его с распростертыми объятиями[1].

Пока он отсутствовал, время не ждало. Наступившая зима закрыла для англичан Балтийское море. Что же касается кораблей Сенявина, то некоторые из них нашли уже убежище в итальянских гаванях, большая же часть в Лиссабоне. Попав в руки Наполеона, они, по крайней мере, спаслись от британского захвата. В то же время Россия все более двигалась по пути, неблагоприятному для Англии, не столько в силу бомбардировки Копенгагена, сколько вследствие естественной перемены взглядов, начало которой было положено в Тильзите.

Такому более решительному изменению в русской политике способствовала перемена в министерстве. Однажды в сентябре к графу Румянцеву, заведовавшему

---

[1] Wilson, 374.

департаментом торговли, вошел сам император, держа в руках портфель министерства иностранных дел; — в то время портфель был не только в переносном, но и в буквальном смысле этого слова принадлежностью министерской должности. Александр передал графу, или, скорее, возложил на него эту драгоценную ношу, несмотря на довольно сильное сопротивление[1].

Николай Румянцев был самым доблестным ветераном прошлого века. Так как он сыздавна, благодаря очень важным заслугам, занимал высокое положение, был страшно богат, пользовался почетом и уважением, то государственные должности, как бы высоки они ни были, ничего не могли прибавить к блеску его положения. Этот старец, обремененный годами и почестями, этот министр-вельможа, особа и манеры которого сохраняли изящество и аромат минувшего века, мог считать, что, подвергая себя повседневной заботе о делах, скорее, снисходил к возлагаемой на него должности, чем получал повышение. Тем не менее он позволил соблазнить себя предложенной должностью, ибо видел в ней средство дать преобладание дорогой его сердцу политике и вести ее к блестящему будущему.

Русских государственных людей можно разделить на две категории: на сторонников западной и сторонников восточной политики. Первые, главным образом, мечтают для своего правительства о роли вершителя и посредника в раздорах на европейском материке, вторые думают, что Россия должна забыть Европу и принимать во внимание только свои личные интересы на Дунае и Черном море. Румянцев был сторонником восточной политики; он был им по традиции и, так сказать, по рождению. Как сын фельдмаршала Румянцева, который первый перенес императорский двуглавый орел по ту сторону Дуная и у подножия Балкан пожал бессмертные лавры, он свято чтил память об этих великих событиях. К тому же, достигнув во время самого блестящего периода царствования Екатерины полной зрелости,— тех лет, когда человек окончательно устанавливает свои принципы, когда его ум, характер, взгляды и суждения принимают устойчивый склад, Николай Румянцев выработал свои политические убеждения и правила по идеям, господствовавшим тогда при Русском дворе, по тем идеям, которые вызвали повторные

[1] Stedingk, II, 339.

нападения на Турцию и нашли свое самое смелое выражение в греческом проекте. По его мнению, если великая императрица только провидела Византию, если смерть помешала ей подчинить своей верховной власти наилучшие части Оттоманской империи, то разве не завещала она своему внуку славное дело возобновления ее плана? Румянцев тем более был сторонником этой идеи, что французская революция, сопровождаемая войнами и переворотами, по-видимому, особенно благоприятствовала ее осуществлению. Среди разрушения старого света России было бы легче толкнуть ногой гнилое, расшатанное здание на Востоке; было бы только одним переворотом больше; к тому же он был бы среди других самым естественным и самым законным. В начале нового царствования, в то время, когда Россия истощалась в борьбе с Наполеоном, вместо того, чтобы следовать по стопам Екатерины на Дунае, Румянцев стушевался, посвятив себя исключительно делам своего департамента. Тильзитский договор, намечая возврат к восточной политике, естественно снова выдвинул Румянцева на первый план и указал на него, как на человека, назначенного самой судьбой, почти незаменимого. Призванный к власти, он внес в политику взгляды более установившиеся, чем взгляды его государя, в планах которого было нечто туманное и неопределенное, придал более смелый характер ее стремлениям, больше твердости ее выводам. Он более Александра был предан идее о разделе Турции и, во всяком случае, не допускал окончания настоящего кризиса без значительного расширения для своего отечества. Благодаря его влиянию начинают точнее определяться взгляды России на Восток; желания очень пылкие, но в то же время очень неопределенные, стремятся превратиться в строго обдуманную связную систему, в которой разрыв с Англией составляет один из существенных элементов.

Правда, Англия долго закрывала глаза на восточные захваты России. Напротив, она рукоплескала победам Екатерины II. Чтобы оказать ей содействие при уничтожении оттоманского флота, она ссужала ее своими моряками и офицерами и направляла действия России в восточных морях. В этом зрелище восемнадцатого века нет ничего удивительного. Такое поведение Англии, выступившей впоследствии соперницей России на Востоке, объяснялось коммерческой выгодой. В то время Восток оставался еще рынком Франции, Россия же

была рынком Англии, и наши соседи по ту сторону Ламанша помогали своим покупателям, потребителям их произведений, во вред туркам, которые отказывались от лондонских сукон ради лангедокских. Но накануне революции, в то время, когда успехи России угрожали самому существованию Турецкого государства, когда и Англия тоже создавала себе сферу влияния в Азии, Питт пророчески предугадал столкновение между двумя силами, стремящимися к одной цели. Он нашел неблагоразумным допустить переход сухопутных путей в Индию из беспечных рук мусульман в руки честолюбивых и властолюбивых русских. Он попробовал возвести сохранение Оттоманской империи в догмат британской политики[1]. Но нация не поняла его и отказалась за ним следовать; купцы Сити почти что взбунтовались при мысли о войне с Россией. Питт не мог действовать и был только предвестником.

Его доктрина возродилась уже после него под влиянием событий. Следствием революции и египетского похода было изгнание нас из турецких гаваней на Средиземное море; англичане заняли отчасти наше место и оказались соперниками русской торговли. Между тем, как в Европе интересы Англии и России оставались тесно связанными, на Востоке они стали в противоречие, и между обоими государствами вырос антагонизм. Хотя в 1807 г. необходимость сломить французское влияние и сблизила их на этой почве, и привела к чуду появления английского флота, угрожавшего Константинополю именем царя, но это противоестественное соглашение, дело растерявшейся политики, не могло долго продолжаться. Скрытая, но уже глубокая вражда, которую оно прикрывало, ждала только случая, чтобы вспыхнуть. Этот случай доставил Тильзит. Сен-Джемский кабинет тотчас же понял, что Восток был одним из предметов состоявшегося между обоими императорами договора, и счел нужным противопоставить предполагаемым притязаниям России декларацию принципов: правительство Его Величества, сказал Каннинг русскому министру, никогда не признает сделки, результатом которой будет принесение в жертву Порты[2]. Это сообщение сильно поразило Александра и Румянцева.

[1] См.: Albert Sorel. L'Europe et la Revolution, II, 206.

[2] *Савари к императору, 23 сентября 1807.*

Оно доказало им, что в политике Англии произошел полный переворот, что с этих пор она становится на пути их честолюбивых стремлений, что рано или поздно им придется сломить ее, прежде чем осуществить ожидаемые за счет Турции выгоды.

Для России же было в высшей степени важно покончить счеты с Портой без промедления. Настроение Наполеона было таково, что ей представлялся чрезвычайно благоприятный случай приступить к этому делу, и не только потому, что она, по-видимому, могла отнять у Порты громадные владения, но также и потому, что при существующих условиях исключалось при разделе участие Австрии или, по крайней мере, ей предоставлялась второстепенная роль. Из всех государств Австрия была расположена выгоднее других, чтобы мешать успехам России на Востоке или их уравновешивать. В переговорах о разделе, происходивших в разные времена, всегда нужно было для отвращения ее вражды или чтобы заручиться ее содействием подкупать ее алчность обещаниями богатых возмещений. По опыту было известно, что всякое преследуемое Россией на Востоке предприятие на половинных с нею началах будет оплачено со стороны России жертвами, которые отчасти уничтожат ее выгоды. Следовательно, для Александра было неожиданной случайностью, истинным счастьем, что он застал Наполеона в Тильзите в минуту его неприязни к Венскому двору, когда он был предубежден и раздражен против него и не прочь был наказать его за двусмысленное поведение во время войны, отказав ему в каком бы то ни было серьезном расширении на Востоке. Правда, Австрия могла бы восстать против такого решения, но она еще не вполне оправилась от сильного удара, который был ей нанесен Наполеоном в 1805 г.; ее военные преобразования не были окончены, ее бездеятельность при недавних обстоятельствах в достаточной степени показала ее неспособность к действию. Было бы легко ценой некоторых уступок ее самолюбию заставить ее закрыть глаза на ее принесенные в жертву интересы. Так как невозможно было без войны с англичанами выполнить какое бы то ни было важное дело на Востоке,— а дело *шло о разделе совместно с Наполеоном или об отдельных* завоеваниях, предпринятых с его согласия,— то Россия думала, что самое лучшее было бы начать войну с Англией и привести в исполнение свои планы те-

перь же, пока не нужно было опасаться вмешательства неудобного третьего лица. Император Александр был склонен сильнее скрепить с нами узы и добросовестно исполнить свои обещания в надежде разрешить восточный вопрос с одной только Францией, против Англии и без Австрии[1].

Такой расчет не ускользнул от Лондонского двора. Поэтому, высказавшись сперва о предполагаемых требованиях России, как о неприемлемых, он понял опасность держаться на такой определенной почве и теперь старался доказать в Петербурге, что между давнишними друзьями сам Восток мог бы служить материалом для полюбовной сделки. Турецкий вопрос и был тем вопросом, к которому должен был приступить Вильсон, и, если возможно, основательно обсудить его во время второго путешествия. В секретных предписаниях ему было приказано не уступать ни в чем, что могло бы скомпрометировать существование Оттоманской империи, но во всем остальном он должен быть уступчивым и быть как можно предупредительнее с Александром.

30 октября он виделся с Румянцевым. Прежде всего он изложил предложение относительно Дании и Балтийского моря; но вскоре оба собеседника, как будто почувствовав, что не в этом суть дела, заговорили о других предметах. Вильсон заявил, что ради сохранения дружбы царя Англия готова на самые большие жертвы; что она не хочет ссорить его с Францией и вовлекать в новую коалицию, а просит только его нейтралитета и будет вести свое дело, не вмешивая его. Затем, приняв таинственный тон, посол объявил, что его правительство не начнет переговоров с Наполеоном до тех пор, пока не создаст против французского стремления к мировому господству достаточных преград; что такую гарантию могут дать только значительные территориальные выгоды для Пруссии и России за счет Германии. Здесь Румянцев не мог скрыть некоторого удивления. Можно ли, высказал он, допускать, чтобы Россия согласилась расшириться по направлению к Франции и неосторожно создала себе условия для столкновения с грозной империей? Вильсон не настаивал, и перешли к вопросу о Востоке.

---

[1] Разговор Румянцева с Савари, о котором доносит Савари 9 октября 1807 г.

Там, сказал эмиссар Каннинга, Англия согласится на все, что будет совместимо с ее принципами. Конечно, она никогда не согласится на уничтожение и полный раздел Турции, но, тем не менее, она признает, что у России по ту сторону Дуная первостепенные интересы. Вместо того, чтобы оспаривать ее интересы, она желала бы стать на страже их и заботиться о них, как о своих собственных. Она знала, что петербургский кабинет поддерживал переписку с греками Албании, Эпира и Мореи. Эти тайные нити только что порвались вследствие потери русскими владений на Средиземном море, которые служили передаточной инстанцией. Англия предлагала с помощью английских агентов снова связать их, предлагала сделаться посредником царя в сношениях с традиционными клиентами его империи. Мало того, ее щедрость приберегала для Александра великолепный подарок, настоящую жемчужину Востока, о цене которой Россия могла судить тем лучше, что долго владела ею. «Я должен вам сказать,— объявил Вильсон,— что Англия предполагает немедленно напасть на уступленные Франции Ионические острова и захватить их во что бы то ни стало, так как не желает, чтобы ими владела Франция. Мы не намерены удерживать их за собой, и хотим при заключении мира принудить Францию уступить их вам». Таким образом Англия возвратила бы своим прежним союзникам то, что Франция только что отняла у них и своею кровью загладила бы одно из последствий Фридланда. Может быть, Россия хочет большего? Есть еще средство удовлетворить ее. Она занимает Молдавию и Валахию; и общий голос приписывает ей намерение удержать их. Великобритания могла бы на это согласиться, так как не усматривает в потере Турцией этих провинций настоящего расчленения, но при одном условии: чтобы найдено было средство вознаградить Австрию и чтобы все было сделано с ее согласия. Высказывая последнюю уступку, Вильсон, вероятно, рассчитывал произвести наибольшее впечатление. Он не знал, что сопровождавшая ее оговорка совершенно ее обесценивала, так как русские считали, что одна из существеннейших выгод их настоящего положения состояла в том, что им не нужно было считаться с Веной. Сверх того, в Тильзите Наполеон, видимо, был расположен предложить сразу все то, что с таким трудом позволяла вырвать у себя Англия; он даже позволил провидеть более блестящее будущее. Неподкуп-

ность России была только тонким расчетом; британские предложения мало ее трогали потому, что она ждала с нашей стороны решительные надбавки.

Румянцев ответил молчанием на заманчивые слова Вильсона. Предоставляя ему высказываться, расточать обещания и исчерпывать убеждения, он за все время свидания ничем не проявил себя, и англичанин, несмотря на утонченную вежливость министра, ушел после разговора разочарованный, смущенный, спрашивая себя, не расточал ли он напрасно свое красноречие перед собеседником, мнение которого было уже установлено[1].

Тогда неизбежность разрыва сделалась очевидной для всех, даже Говер прозрел. Нашим врагам оставалась одна надежда. Они рассчитывали на возмущение общественного мнения, настолько сильное и единодушное, чтобы заставить императора отступить из страха перед последствиями, которые могли быть результатом его решения. Вильсон, деятельный более, чем когда-либо, напрягал все силы, чтобы вызвать такое движение. По невероятной дерзости его речей можно было задать себе вопрос, не приехал ли он в Россию для того, чтобы вызвать восстание: «У него вид человека, прибывшего ускорить роковое событие»,— писал Савари, который всегда предавался мрачным предчувствиям[2].

Все свое время наш неутомимый противник посвящал или тайным собраниям с единомышленниками, или агитации. Утром он работал — по его выражению — с руководителями английского заговора; день проводил в обществе кавалергардских офицеров, большинство которых кутило, нуждалось в деньгах и не прощало нам Аустерлица; вечером он показывался на всех светских собраниях, на обедах, чаях, балах и ужинах, где разжигал против нас ненависть и раздавал пароль. Возобновление зимнего сезона, открывая обществу обычные места свиданий и увеселений, давало Вильсону случай находить его в большом сборе и открыто поучать его. В театрах можно было видеть, как он перебегал из ложи в ложу с видом генерала, который делает смотр своим войскам и одобряет их к сражению. 31 октября большой вечер у одной из придворных дам подал повод

[1] Wilson. II, 319—362. Cf. Содержание разговора передано Румянцевым Савари, донесение Савари от 4 ноября 1807 г.
[2] Донесение Савари от 4 ноября.

к некоторого рода манифестации в его честь. Он имел честь открыть бал с графиней Ливен, обер-гофмейстериной императрицы-матери, а принцесса Амелия выбрала его своим кавалером в полонезе. Этот танец, или скорее марш, напоминающий величественное и торжественное шествие при блеске люстр, среди блестящих мундиров и роскошных туалетов, перед шестьюстами самых знатнейших особ в Петербурге, принял для молодого англичанина размеры триумфа. Но было ли это триумфом Англии? Вильсон надеялся, что это так, и занес свою надежду в дневник[1]. Но его победный клик был преждевременным. Опьяненный салонными успехами, он заблуждался относительно могущества своих интриг. При том, потеряв всякую меру, он дал своим противникам поводы его выжить, а кроме того его неосторожность доставила ему жестокую неприятность.

С целью сильнее возбудить умы он привез в Россию несколько экземпляров брошюры под названием «Размышления о тильзитском мире». Это был памфлет, сочиненный в Лондоне. В нем были среди обычных ругательств, направленных против Франции, фразы, безусловно, оскорбительные для Александра. Вильсон и Говер взяли на себя раздачу этого сочинения, и вскоре оно ходило по всем гостиным; оно распространялось и делало свое дело, ускользая, однако, от императорской полиции; оно было везде, но было неуловимо. Савари, следивший за всеми деяниями англичанина, остановился на мысли, что его собственные способности сыщика могли бы оказать услугу правому делу. Не стараясь соперничать с Вильсоном на почве изящных манер и успехов в свете, он начал гоняться за таинственной брошюрой, и ему удалось достать один экземпляр. На другой день, приглашенный на обед к императору, он позаботился захватить с собою свою находку.

«Итак, члены английской партии снова заговорили? — сказал ему император при встрече.— Да, Государь, и даже, как никогда еще до сих пор. На этот раз, кажется, это достойно внимания, так как в самом Петербурге и даже среди чинов вашего двора распространяются пасквили, в которых осмеливаются сеять раздор между Вашим Величеством и народом и армией. Эти отвратительные сочинения привезены сюда

[1] «This completed my Englisch triumph», Wilson, II, 380.

из Лондона Вильсоном и розданы им Орлову, Новосельцеву, Кочубею, Строганову и некоторым другим.— Император: Т. е., всей английской партии. А вы сами читали эту брошюру? — Да, Государь, вот она. Я постарался достать ее для вручения вам. По ней Ваше Величество увидит, не пришло ли время помешать этим господам зайти слишком далеко, дабы вы не были вынуждены покарать их слишком строго.— Император (с довольным видом): Очень вам благодарен, генерал; Румянцев (Romanzof[1]) обещал мне это сочинение, но он все еще не может достать его, вы оказались искуснее его...»

«Я только что прочел эту подлую брошюру,— сказал вечером император.— Нужно быть очень смелым, чтобы привезти подобное сочинение вместе с депешами кабинета. Благодарю вас, что вы мне ее дали. Напишите о ней Императору, но добавьте, что вместо того, чтобы придавать ей значение, я попираю ногами все, что в ней говорится о нем и обо мне. Надеюсь, что у него обо мне достаточно хорошее мнение, чтобы быть уверенным в моей непоколебимости». Затем Александр, скорее, с грустью, чем с негодованием, высказался о людях, которые взяли и распространили пасквиль, о предателях, которых он повсюду встречает на своем пути, о деятелях, неспособных его понять и ему служить. «Ваш император,— сказал он,— счастливее меня; он нашел готовых людей и многих создал сам. Мне же, наоборот, не хватает даже того, что у вас называется людьми, чтобы составить минстерство. Независимо от этого я унаследовал тысячи злоупотреблений, которые нужно искоренить, тысячи должностных лиц, недостойных занимаемого им места». Он долго продолжал в том же тоне, говорил о своем желании все обновить, о препятствиях, которые ему ставил существующий социальный строй в России, о безобразных обычаях, введенных при предшествующих правительствах, о невежестве народа, сделавшегося для дворян предметом купли и продажи. Он прибавил следующие знаменательные слова, в которых поистине, обрисовывается душа, поклонявшаяся добру и прогрессу: «Я хочу вывести народ из его варварского состояния. Скажу более, если бы цивилизация была достаточно подвинута, я уничтожил бы рабство, хотя бы ценой своей головы»[1].

Затем он отпустил Савари, обещая дать строгое предостережение виновным. На этот раз гнев его не остался без последствий: «Кочубей,— писал генерал на полях своего донесения,— только что получил приказ вернуть обратно портфель, Новосильцеву приказано отправиться путешествовать; Орлов, упав к ногам императора, признался, что Говер лично передал ему брошюру». Эти меры строгости непосредственно предшествовали решительным мерам против Англии. Вильсон осмелился написать царю. Его письмо вернулось к нему не распечатанным. Несколько дней спустя, 7 ноября, была выпущена грозная декларация против его правительства; в ней объявлялось о прекращении сношений и снова признавалась непререкаемость принципов морского права, оспариваемых в Лондоне. Декларация непосредственно предшествовала началу враждебных действий.

Инструкции, в которых содержалось предписание обратиться к России с призывом к враждебным действиям против Англии, посланные Савари в ноябре, прибыли в Петербург только в конце этого месяца. Таким образом, еще до получения от Наполеона положительного требования, за месяц до установленного тильзитским договором срока, Александр объявил себя врагом Англии и насилием, совершенным над чувствами и материальными интересами своего народа, дал союзнику неопровержимое доказательство своей искренности. Благодаря искусству, с которым Савари сумел обратить против наших противников не рыцарское оружие, которым они пользовались, он, быть может, на несколько дней ускорил крайние меры: благодаря ему они приобрели более резкий и неожиданный характер. Однако приписывать его вмешательству, как бы своевременно оно ни было, решающее значение в деле разрыва значило бы преувеличивать его роль. Александр решился на войну только потому, что быстрый ход развития его политических взглядов, который мы в нем заметили, достиг в это время своего апогея; досрочное исполнение по отношению к Франции своих обязательств представлялось ему как необходимый фактор активной по-

[1] Так написана фамилия Румянцева в французских документах того времени.

[1] Донесение Савари от 4 ноября 1807 г.

литики, на которую он бесповоротно решается на Востоке, и как необходимое условие для предъявления настойчивых и обоснованных требований услуги за услуги. Несмотря на то, что он с каждым днем все более отдается надеждам, которые породил в нем Наполеон, и что обстоятельства для их осуществления кажутся ему особенно благоприятными, он до сих пор не решался еще выставить их в определенной форме. Он ждет, чтобы император заговорил первым и чтобы от него исходило продолжение разговора, начатого в Тильзите. Стремясь к обширным приобретениям, он ставит их в известной степени в зависимость от решения, которое примет Наполеон по всей совокупности турецкого вопроса. В случае, если Франция предпочтет отложить раздел, он не прочь удовольствоваться выгодными исправлениями границ в Европе и Азии,— как о том свидетельствуют труды, составленные по его указаниям[1]. Теперь его притязания, развившиеся и созревшие под влиянием работы мысли и нашедшие поддержку в Румянцеве, ясно определяются и смело выступают вперед. Он решается предъявить свои требования. Чтобы иметь возможность многого потребовать, он соглашается на все, что может дать, т. е. на предупреждающее наши желания содействие против Англии. Уплатив вперед по своему счету, он чувствует в себе достаточно мужества, чтобы обратиться к Франции с просьбой уплатить и ему по первому его требованию; исполнив корректно, даже предупредительно, свои обязательства, он считает себя вправе требовать от Наполеона полной взаимности. Преступное нападение на Данию дает ему справедливый повод к разрыву с Англией. Оно уничтожает его колебания и успокаивает его совесть. Конечно, благородное негодование вместе с желанием придать всем своим поступкам вид утонченной честности, способствовало его решению, но не это было побудительной причиной, и в то же время, когда он подписывал акты, в которых объявлял себя врагом Англии, его взоры устремлялись скорее на берега Дуная, чем на дымящиеся развалины Копенгагена.

Такое направление его мыслей ясно обрисовывается в его словах и пояснениях, которыми он обставил свое сообщение Савари о принятых против Англии мерах. Александр сообщил ему о всех предложениях, которыми осыпала его Англия, подчеркивая особенно те, которые имели отношение к Востоку. «Скажите императору,— прибавил он,— что интрига достигла своего апогея; нас хотели подкупить, но меня не проведешь; я моментально всех выпроваживаю за дверь»[1]. Этим он давал понять, что ему приятнее быть обязанным исполнением своих желаний Наполеону, чем общему врагу. Со своей стороны Румянцев в замаскированных, но достаточно сильных выражениях, насилуя смысл тильзитского договора, старался установить полное тождество между обязательствами, подписанными Александром против Англии, и обещаниями Наполеона относительно Турции и старался обсуждать оба вопроса параллельно. При изложении средств, предназначенных для морской войны, он сделал обзор событий на Востоке. По его мнению, положение в Константинополе ухудшалось с каждым днем; там хронически царили беспорядок в правлении, волнение на улицах, насилие и бунт в войсках; Турция начинала разлагаться. «Вот увидите,— говорил министр,— что вскоре вынуждены будут объявить в газетах, что Оттоманская империя скончалась и что приглашают ее наследников явиться за наследством»[2]. Император не пренебрегал пользоваться такими же приемами. Объявив Савари, что его решение окончательно принято и что он порвал с Англией, он сказал: «Поговорим о другом», и круто перенес его на Восток. Он напомнил при этом, в каких выражениях вынес Наполеон в Тильзите приговор Турции, и с особым удовольствием повторял этот приговор, сорвавшийся с непогрешимых уст.

Эти намеки и вызовы на объяснения были прелюдией требований по форме. Не говоря еще о разделе, Александр пригласил Савари передать Наполеону его формальную просьбу о княжествах; он желал, чтобы Молдавия и Валахия, во всяком случае независимо от решения, принятого относительно судьбы Оттоманской монархии, были присоединены к его империи. Сообщение об этом сделалось предметом депеши, написанной

[1] Инструкции, данные графу Петру Толстому, назначенному посланником в Париж, 14 сентября 1807 г. Архивы С.-Петербурга.

[1] Донесение Савари от 9 декабря 1807 г.

[2] Донесение Савари, приложенное к его письму от 4 ноября 1807 г.

Савари 18 ноября[1], спустя девять дней после манифеста о войне с Англией, и близость чисел окончательно указывает на тесную связь, которую устанавливала Россия между обоими событиями. В то же время Россия вызывающе держала себя на Дунае. Она мешала успешности наших примирительных шагов, предпринятых в силу тильзитского договора, вызывала разного рода затруднения, умышленно поддерживала конфликт и ясно выражала свое намерение отклонить всякое основанное на умеренности соглашение с турками и, в крайнем случае, оставить за собой часть их империи и за их счет вознаградить себя за услугу, оказанную нам против Англии.

[1] Publieé dans le tome, VII, 364—385, de la Correspondance de Napoléon Bonaparte, parue cher Panckoucke, (1819—1820).



IV

ТУРЦИЯ И ПРУССИЯ

Положение дел на Дунае после тильзитского свидания. — Миссия Гюльмино и заключение перемирия. — Оскорбительные для России статьи; Александр отказывается утвердить перемирие и удерживает свои войска в княжествах. — Наполеон понимает невозможность добиться эвакуации. — Он сознает необходимость покончить одно из дел с Россией. — Его затруднения. — Он придумывает разные комбинации, которые могли бы заменить друг друга. — Он желает мира, который обеспечил бы Турции почти полную неприкосновенность ее владений, но не надеется на это. — Он соглашается предоставить русским княжества за территориальную компенсацию Франции. — Причины, заставлявшие его отложить раздел Оттоманской империи. — Его постоянные виды на Египет. — Он думает вознаградить себя за счет Пруссии. — Отсрочка эвакуации; финансовые затруднения. — Наполеон хочет поставить Пруссию окончательно вне возможности вредить нам. — Коленкуру поручено предложить царю княжества за Силезию. — Фридрих II и Наполеон. — Роль, предписанная Коленкуру; ампутация Пруссии, как средство избавить ее от страданий. — Заметка, продиктованная императором на полях инструкции. — В случае неудачи с прусско-турецкой комбинацией Наполеон не отклоняет в пр: ципе полный раздел Оттоманской империи, но откладывает его исполнение на неопределенный срок и после нового свидания.

I

После тильзитского свидания в главную квартиру русской армии в Валахии был отправлен французский офицер генерального штаба Гюльмино с поручением быть посредником между Россией и Турцией и подготовить между воюющими сторонами дело прекращения враждебных действий. Благодаря его стараниям 24 августа в Злободцах было подписано перемирие. В 22-й статье этого договора был параграф, которым предусматривалось очищение русскими обоих княжеств. Но Александр никогда не относился серьезно к этому обязательству и ждал только случая от него избавиться. По своей воле или нет, но только его генералы доставили ему такой случай, допустив включить в условия о перемирии обычно недопустимые статьи. Россия обязывалась не только отвести свои войска по эту сторону Днестра, но и должна была возвратить военную добычу и захваченные корабли; она должна была отдать не только свои завоевания, но и трофеи. Опираясь на то, что такие требования оскорбительны для чести его оружия, и, сверх того, ссылаясь на набеги турок по ту сторону Дуная, царь отказался утвердить перемирие. Его армия, начавшая уже отступление, получила приказание немедленно занять прежние позиции и более не покидать обеих провинций, не возобновляя, однако, враждебных действий ранее установленного срока. Россия необыкновенно искусно снова овладела в обеспечение долга Наполеона залогом, который тот для сохранения свободы своих собственных решений вовсе не хотел ей предоставить.

Император узнал об этом событии в октябре, еще до разрыва России с Англией, и не скрыл своей досады. Он отправил Гюльмино строгие приказания: выразил желание, чтобы неприемлемые статьи исчезли из условия о перемирии для того, чтобы отнять у русских всякий предлог к отсрочке эвакуации. Однако полуобязательства, которые он на словах принял на себя в Тильзите, не позволяли ему быть очень настойчивым; к тому же он не создавал себе иллюзий относительно возможности исправить неудавшийся план. Он понял, что Россия, освободившись от пут, которые имелось в виду наложить на нее тильзитским договором, не позволит вновь связать себя, что прием, придуманный им для отсрочки на несколько месяцев восточного вопроса, т. е. такое перемирие, которое вернуло бы все в первоначальное состояние, делался неприменимым.

Сверх того, выясняющееся общее положение обязывало Наполеона и со своей стороны установить на определенных началах свою политику. В надежде, что уже одна угроза франко-русского союза принудит Англию смириться, он избегал в Тильзите подписать с Александром вполне определенный договор, который лишил бы его возможности вернуть себе свободу действий. Но Англия отказалась вести переговоры; она держалась стойко и непримиримо; следовательно, необходимо было, чтобы союз обеих империй стал на твердую почву и от слов перешел к делу. Правда, Наполеон рассчитывал получить в скором времени извещение, что Александр объявил себя врагом Англии; но он сознавал, что даже и в этом случае его содействие будет только условным, обставленным известными оговорками, что только соглашение по турецкому вопросу сделает содействие Александра абсолютным. С ноября месяца эта истина сделалась для него очевидной, он писал: «Я сознаю необходимость покончить одно из дел и готов сговориться по этому поводу с Россией»[1]. Таким образом, восточный вопрос, который всегда искушал его воображение, который он уже не в первый раз, правда, не решая его, выдвигал на сцену, предстал перед ним и потребовал решения. Его судьба, вознося его на все более головокружительную высоту, ставя его гений пред решением все более трудных задач, возлагала на него теперь обязанности решить великий спор, который уже полвека занимал внимание Европы и был ее мучением,— решить его во время борьбы, необычайные условия которой сложились так, как будто их целью было создавать повсюду осложнения.

В предстоящей решению задаче главное затруднение состояло в удовлетворении Александра, не слишком компрометируя и даже, если возможно, вполне ограждая интересы Франции. А они были так значительны и так разносторонни, что Наполеон останавливался в нерешительности и почти в смущении перед их ужасающей сложностью. Его мысль работала медленно, шаг за шагом, с бесконечными предосторожностями. «Это дело меня очень интересует,— писал он,— оно требует

[1] Corresp., 13253.

больших соображений, к нему нужно подходить очень осторожно»[1]. В зависимости от тех планов, требований и уступок, которые он предполагал встретить в Петербурге, он придумывал разные решения, способные замещать друг друга и хотя бы отчасти согласоваться с принципами его политики.

Самое простое решение и наиболее легко осуществимое на деле был бы мир, обеспечивающий почти полную целость оттоманских владений, по которому Россия удовольствовалась бы незначительными выгодами в настоящем и большими надеждами на будущее. Конечно, такая развязка всего более соответствовала бы желаниям Наполеона, и он не отказывался от нее безусловно. Хотя он и ставил ее на первом месте в ряду своих излюбленных планов, но он не останавливался на ней, будучи убежден, что Россия отвергнет или, по крайней мере, только в силу необходимости допустит ее, сохраняя в сердце горечь обманутых надежд. Ясно было, что, вызвав ее высказать свои притязания, было крайне трудно отложить их удовлетворение на неопределенный срок, что только значительное расширение на Востоке, полученное теперь же, могло окончательно привязать к нам царя и, быть может, привлечь на нашу сторону общественное мнение России. При том, продолжая занимать Молдавию и Валахию, оставляя в них, вопреки букве договора, свои войска, Александр тем самым позволял угадать его желание — удержать за собой по крайней мере эту часть Турции. Не зная о положительных в этом отношении и намерениях России, Наполеон смотрел на отдачу обеих провинций, как на досадное, но почти неизбежное зло и занялся другой комбинацией, другим соглашением, приемлемым обеими империями, в основу которого как один из элементов входила бы уступка России княжеств.

При обдумывании этой комбинации его преследовала одна мысль: он не допускал для России какого-либо приобретения без выгоды, по крайней мере равной для Франции. Обе империи, говорил он, должны идти нога в ногу. Как ни был странен такой взгляд в то время, когда император уже далеко перегнал на завоевательном поприще своего союзника, было бы ошибочно видеть в этом простую страсть к захватам. Наполеон глубоко обдумывал все свои честолюбивые замыслы, и только, сказал бы я, злоупотребление логикой, расчетом и предусмотрительностью делало его ненасытным. Если он хотел противопоставить всякому усилению России параллельное усиление Франции, то только из предосторожности, предосторожности, обоснованной по отношению к ней и, надо сказать, имеющей свое оправдание. По сведениям, собранным в Петербурге, он знает, что русский союз, каким бы искренним он ни считался, зависит только от того, как долго продержатся дружественные к нам чувства впечатлительного и непостоянного монарха, окруженного нашими врагами, лично не обеспеченного от всех случайностей, которые угрожают трону и жизни царя; он знает также, что в отношениях между Францией и Россией в том виде, как их установили события, нет средины между дружбой и враждой, между союзом и войной; что если Петербургский двор разойдется с нами, то только для того, чтобы вернуться к нашим врагам[1]. Поэтому, сознавая необходимость дать широкое удовлетворение нашему теперешнему союзнику, он в то же время хочет подготовить против него, как против возможного в будущем противника, свои оборонительные средства; он не столько хочет соответствующего вознаграждения, сколько обеспечения своей безопасности. Забота о назначении своей доли чрезвычайно задерживает его выбор. В равномерном распределении прибылей, которые он хочет установить между двумя государствами, он не принимает в расчет и не вносит на свой актив ни Италии, где он берет Тосканские провинции, ни Испании, которую он уже замышляет тесно присоединить к себе, ни Португалии, до которой вскоре доберутся его войска и которую его политика разделит на части. Он считает, что ему необходимо усиление в тех странах, где Россия может действовать непосредственно, где произойдет столкновение обеих империй в случае, если бы между ними возобновилась вражда, т. е. в той территориальной зоне, которая разрезает Европу поперек с северо-запада на юго-восток и тянется от берегов Балтийского моря до берегов Бос-

[1] Corresp., 13318.

[1] В это время генерал Савари в подтверждение своего первоначального мнения писал: «Только Император и его министр граф Румянцев — истинные друзья Франции в России; это — истина, умолчать о которой было бы опасно. Народ же готов опять взяться за оружие и принести новые жертвы ради войны с нами». Archives des affaires etrangeres, Russie, 144.

фора. Если он и согласен, чтобы Россия сделала здесь один шаг вперед, то только при условии, что он сам сделает другой и сам наметит точку на той громадной шахматной доске, где встретятся и вступят в игру интересы обеих сторон.

В Тильзите, когда оба императора, давая волю своему воображению, замышляли великие переделки, Турции одной предназначено было за все расплачиваться. Как помнят, Франция приобретала на западе Балканского полуострова положение достаточно сильное, чтобы уравновесить положение России, которой предоставлялось занять нижнее течение Дуная. Однако после Тильзита Наполеон передумал; его взгляды изменились, ибо части не казались ему равноценными. России, которая фактически владела Молдавией и Валахией, оставалось только удержаться там, чтобы завладеть своей долей; Франции же свою пришлось бы завоевывать. Присоединяя румынские провинции, наша союзница приобретала пограничные со своим государством области, которые составляли ее географическое продолжение. Босния, Албания, даже Эпир и Греция будут в наших руках только отдаленными владениями, трудно соединимыми с главными частями империи. Россия приобретала провинции, Франция — колонии; и какие колонии! Суровые, бедные, недоступные страны, защищаемые воинственным племенем. Для завоевания их нужно было сражаться и опять-таки сражаться, чтобы их сохранить. Такая бесславная борьба привела бы только к сомнительным выгодам, и Наполеон недалеко был от мысли, что подобные крохи Турции не стоили крови и одного гренадера его армии.

Захват этих стран имел бы еще другое неудобство. Потеря Молдавии и Валахии не приводила неизбежно к падению Оттоманской империи; Турция могла жить ампутированной. Но перенесет ли она двустороннее увечье? Если после того, как Россия отнимет у нее дунайские привинции, и Франция, со своей стороны, нападет на нее и врежется в ее западные владения, Оттоманская империя почти неминуемо падет от страшного удара. Она или сама собой расшатается и распадется на куски, или, собравшись с силами для отчаянной борьбы, бросится на завоевателей, разобьется об их оружие и погибнет у их ног. В том и другом случае обоим императорам придется собрать ее останки и принять на себя трудную задачу их распределения. Мысль

о возможности частичного раздела, допущенная императором в Тильзите, теперь не казалась ему осуществимой; в его глазах пожертвование княжествами за приобретение Францией прав на западные провинции Турции вовсе не было надлежащим решением вопроса. Он обдумывал полный раздел оттоманской империи и увлекался этим планом.

Наполеон считал, что рано или поздно это громадное дело будет неизбежным. Для него дело шло вовсе не о том, могла ли Турция существовать, но только о том, следовало ли насильно ускорить ее конец или предоставить ей умирать медленной смертью. Впрочем, Наполеон отступал перед первым решением и по причинам чисто политическим. После падения Селима он полагал, что новое правительство — слабое, необъединенное, воспитанное в ненависти к иностранцам,— станет по отношению к нам в безразличное или даже враждебное положение. Более свежие известия опровергли такое предположение. Несмотря на то, что мир между Францией и Россией вызвал беспокойство в Константинополе, турки не обнаружили своего неудовольствия; они по-прежнему называли себя нашими друзьями, искали покровительства императора и вручали в его руки свою судьбу. Они снабдили своего посланника в Париже полными полномочиями для переговоров с Россией при нашем посредничестве и не возобновляли сношений с Англией. Мог ли решиться Наполеон разрушить собственными руками государство, которое в отчаянии снова льнуло к нему и могло еще принести ему некоторую пользу? Как ни казалось ему важным это обстоятельство, однако следует искать в ином месте главную причину, которая не позволяла ему поднять руку на Турцию. Чтобы понять секрет его отрицательного отношения к разделу, следует проникнуть до тайников одной из его заветных и глубоких мыслей, которая возникла у него во время события, составившего эпоху в истории его идей, как и в истории его жизни.

Экспедиция в Египет не было только героическим предприятием, внушенным Бонапарту его эгоистическими видами и желанием заставить признать себя великим человеком в стране древних. В 1797 г., одержав победу над природой Альп и выйдя к Адриатическому морю, молодой генерал увидал за покоренной Италией, по ту сторону моря, Восток. В восторге от этого нового мира он охватил его быстрым взглядом, обратил

внимание на его рельеф, на его выдающиеся позиции и, пораженный несравненными выгодами, какие представляло положение Египта, наметил его как долю Франции в будущем разделе Турции. Год спустя он был в Каире. Он тотчас же подпал под чарующее обаяние Египта. Ни с чем не сравнимая страна, ее почва, дающая по два урожая в год, ее кормилица-река, ее положение при слиянии двух миров, обаяние прошлого, теряющегося в безграничной глубине веков,— все производило на него неизгладимое впечатление. Он не считал себя вправе отказаться от надежды восстановить значение этой страны чудес и возвратить ее цивилизованному миру, упрочив ее за Францией. Вынужденный покинуть Египет, он не забывает о нем. Тотчас же после Маренго, все его усилия были направлены на то, чтобы выручить Египет, и утрата нами этой колонии примешивает горечь к опьянению, вызванному его победами. В течение следующих лет, будучи вынужден двинуться на Север и там сражаться, побеждать и делать завоевания, ценность которых казалась ему только относительной или преходящей, он часто мысленно переносится к той стране солнца, которая некогда предстала перед ним по ту сторону морей и завоевание которой было его заветной мечтой.

Он страстно желал снова привести Францию на берега Нила, но в то же время сознавал, что в 1807 г. время для этого еще не наступило, и его политика сводилась к отсрочке дела на будущее время. В этом отношении более продолжительное существование Оттоманского правительства отвечало его планам. Турок, дни которого, по-видимому, были сочтены, являлся на Ниле скорее временным, чем настоящим владельцем; он только хранил для других наследство, на страже которого был поставлен. Приговорить к смерти Оттоманскую империю, и, следовательно, объявить Египет совершенно свободным, не имеющим хозяина, значило предоставить его тому, кто первый его займет; а, по всему вероятию, Англия опередит нас. В ее руках было море. Занимая войсками Мальту и Сицилию, поместившись при входе в Адриатическое море, там, где перекрещиваются все пути, она владела всеми подступами к Египту. Она не сводила глаз с богатой провинции, куда Бонапарт показал ей дорогу. Хотя во время своих дурных отношений с Портой она и ограничилась угрозой только Константинополю, все-таки она не прочь была бы отнять Египет. Теперь желание быть в добрых отношениях с Константинополем и высокое значение, которое она придавала сохранению Оттоманской империи, препятствовали ей возобновить этот план и самой дать сигнал к разделу; но если только Наполеон и Александр возьмут на себя почин в этом перевороте, она, не будучи в состоянии воспрепятствовать ему, оградит свои интересы и захватит лучшую часть из добычи. Прежде чем наши войска доберутся до Константинополя и Салоник, она наложит руку на Александрию и Каир. В то же время она возьмет Кипр, Кандию, Циклады, быть может, Морею и Дарданеллы,— все наиболее ценные морские части империи, т. е. те, которые только одни и были желательны для Франции. Пытаясь отнять эти области теперь, Наполеон лишал себя обладания ими в будущем и заранее отдавал их Англии: «Это самое сильное возражение Императора против раздела Оттоманской империи»,— писал Шампаньи[1].

Но разве только на Востоке, думал Наполеон, надлежит искать компенсацию за приобретения России? Без сомнения, если союз порвется, французское и русское влияния, снова сделавшись враждебными, столкнутся на Дунае и Босфоре. Но разве там постарается царь нанести нам решительный удар? Прежде всего он позаботится поднять против нас Европу. Эту-то задачу можно будет легко, почти мгновенно, привести в исполнение. Первым следствием возобновления враждебных действий с Россией будет союз против нас трех, обладающих внушительными военными силами, монархий континента, т. е. коалиция более грозная, чем предыдущие. При появлении русских армий на Немане Пруссия, непримиримая со времени Иены и Тильзита, бросится им навстречу и будет служить их авангардом. Австрия нам глубоко враждебна. Хотя тяжкие раны 1805 г. и не позволили ей в 1807 г. подняться и броситься на правый фланг великой армии, но она деятельно продолжала восстанавливать свои силы. Может быть, не пройдет и нескольких лет, даже нескольких месяцев, как она снова займет положение великой державы. И если тогда представится случай, столь же благоприятный как тот, которым она не могла воспользоваться во время кампании в Польше, она поспешит ухватиться за него, будет действовать заодно с Россией и Прус-

[1] Инструкции Коленкуру.

сией, и, таким образом, создастся тот тройственный союз, который петербургская дипломатия тщетно пыталась завязать накануне Аустерлица и непосредственно после Иены. Наполеон победил Австрию и Россию без Пруссии. Пруссию и Россию без Австрии. Если ему придется сражаться одному против троих, борьба станет уже более неравной и может завершиться столь грозным нападением, какому до сих пор не подвергалась еще императорская Франция.

Но если бы одно из трех государств, вражды которых нужно было опасаться, было заблаговременно поставлено вне возможности борьбы, сделано неспособным вредить нам, вычеркнуто из числа государств, способных к активной деятельности, коалиция хромала бы на одну ногу, была бы недостаточно сильной и, следовательно, менее грозной. Чтобы справиться с ней, Наполеону достаточно было бы повторить Аустерлиц или нанести громовой фридландский удар. Как мы помним, со времени Иены мысль о полном уничтожении одного из членов европейской лиги вовсе не принадлежала к разряду тех, от которой бы Наполеон легко отказался, вынужденный в Тильзите согласиться на решение, не отвечающее его планам по отношению к Пруссии, нарушая, скрепя сердце, завет Фридриха Великого: «Никогда не оставлять противника недобитым», он ничуть не закрывал глаз на опасность обещания возвратить Фридриху-Вильгельму его владения. Мы видели, с какой недоверчивой заботливостью изыскивал он средства отсрочить исполнение обещания, ставя его в зависимость от уплаты тяжелой контрибуции.

С тех пор его великая армия отступила только на один шаг. Он отвел свои войска по эту сторону Пассарга, возвратил Фридриху-Вильгельму Кенигсберг, но удержал за собой остальную часть королевства и держал свои главные силы между Эльбой и Вислой, а авангард даже по ту сторону Вислы. Прикрываясь соглашением от 12 июля, он ставил эвакуацию в зависимость от соглашения относительно размеров и способа уплаты вознаграждения. Он был крайне тяжел в своих требованиях и в деле установления платежей. Первым делом его комиссар Дарю потребовал сумму в сто пятьдесят миллионов, несоразмерную с доходами Пруссии; к этому он присоединил другие требования, создавал бесконечные затруднения и систематически затягивал переговоры. В то же время военная окупация угнетала Пруссию неслыханной суровостью. Наши агенты хозяйничали повсюду, лишали страну свободы действий, изнуряли ее налогами и систематически истощали источники ее доходов; а так как пруссаки, приведенные в отчаяние таким ведением дела, изливались в жалобах, в протестах и давали повод заподозрить их в страстном стремлении к восстанию, то император чувствовал, как в нем росли вражда и недоверие к их родине. Теперь он думал о средствах совсем избавиться от исполнения договора. Когда он спрашивал себя, каким путем окончательно и прочно обезопасить себя со стороны Пруссии, требования, предъявленные Россией, явились для него лучом света. Вопреки статьям договора, по которым дробление Турции допускалось только в том случае, если бы она уклонилась от переговоров, царь желал получить теперь же известные провинции. Что мог бы он иметь против того, если бы, путем точно такого же нарушения договора император получил компенсацию за счет Пруссии, прибавил бы к наложенным уже на нее обязательствам новые и подверг ее новой ампутации? В случае его согласия Наполеон, ссылаясь на неисполнение Пруссией ее денежных обязательств, обошелся бы с ней как с несостоятельным должником и повел бы дело путем экспроприации; согласно с его первой мыслью в Тильзите, он вынудил уступить ему Силезию, обеспечив сперва за царем Молдавию и Валахию. Он предоставил своему союзнику княжества, Александр ему Силезию; оба императора принесут за чужой счет взаимную жертву, и двойной грабеж восстановит между ними равновесие.

С потерей Силезии Пруссия вернется в границы прежнего Бранденбургского курфюршества. Монархия Гогенцоллернов после временного господства над всеми своими соседями — Швецией, Саксонией, Австрией, Польшей — будет умирать медленной смертью в тех самых местах, которые были ее колыбелью. Отброшенная к берегам Балтийского моря, имея в своем распоряжении только бедные провинции, доходы с которых не позволят ей содержать армии, она вступит в число второстепенных государств и, как слабосильная, отныне будет или только присутствовать при борьбе на континенте, или бросит на весы тяжесть, не имеющую значения. Силезия же, не состоя непосредственно в нашей власти, будет способствовать укреплению оборонительной системы империи. По всем вероятиям, ее придется

присоединить к Саксонскому королевству для того, чтобы установить связь между ним и состоящим под скипетром саксонского короля великим герцогством Варшавским. Получив опять то назначение, которое в самом начале думал ей дать Наполеон, она усилит могущество германо-польского государства, создаваемого нами в качестве передовой позиции. И в этот раз мысль восстановить именно Польшу, составленную из однородных элементов, не проглядывает у Наполеона. Он не намерен воскрешать польскую нацию, но хочет парализовать этим путем другую нацию, ту самую Пруссию, в которой он провидит вечного врага, а вместе с тем он стремится увеличить свои средства обороны и против России. Он все настойчивее стремится обеспечить себе против России пункт сопротивления — «блокгауз», как сказали бы теперь. Что ему за дело, что для постройки этого ретраншемента он мешает разношерстные материалы, прибавляя несколько обломков Прусского королевства к тем, которые найдены в развалинах Польши.

За тридцать пять лет до описываемых событий некий прусский король, дальновидный и коварный гений, усмотрел в соперничестве на Востоке средство для удовлетворения своих честолюбивых замыслов за счет несчастного народа. Екатерина II, победительница турок, намеревалась подвергнуть их империю безжалостной операции. Австрия, смущенная успехами своей соседки, волновалась, угрожала и вооружалась. По-видимому, столкновение между обеими империями было неизбежно, когда Фридрих II задумал примирить их, указав им на обширную и в то же время слабую Польшу, провинции которой могли вполне насытить их честолюбивые аппетиты. Австрия нашла бы в Галиции компенсацию за успехи русского государства; Россия, прекратив свои завоевания на Востоке, вознаградила бы себя другими частями Польши, Фридрих же, завладев третьей частью приговоренного к смерти государства, получил бы плату за добрый совет. Это внушение привело к первому разделу Польши.

В 1807 г. планы Наполеона относительно Пруссии исходили из принципа, недавно установленного самой же Пруссией. Делая из ее лучшей провинции предмет обмена, добавку при разверстке территорий, которую имелось в виду произвести на континенте с севера на юг, французский монарх возобновлял и сам применял

политику разделов и вознаграждений, первые и незабвенные уроки которой дал Европе Фридрих II. Правда, сравнение грешит в одном. Когда Наполеон задумал нанести новый удар государству, которое в 1806 г. безрассудно вызвало его на бой, он рассчитывал только сделать неумеренное употребление из права победителя, употребление тем более противозаконное, что оно сводило к нулю условия недавнего мира, что оно было наказанием уже после помилования. Фридрих же не мог даже сослаться относительно Польши на высшие интересы, на интересы своей собственной обороны; он напал на нее врасплох и ограбил во время столетнего мира под единственным предлогом захватить ее владения и только потому, что знал, что она бессильна их защитить. Кроме этой разницы, прием был тот же и жестокость одинакова; это было то же самое отрицание за слабым права на жизнь со стороны сильнейшего. По неисповедимой превратности судьбы, по той справедливости, которая содержится в мировых переворотах и почти всегда воздает злом за зло, побежденная, униженная и бессильная Пруссия предназначалась по планам победителя для точно такой же роли, какую один из ее самых способных королей недавно предписал Польше. Доставляя нам соответствующую завоеваниям России на Востоке компенсацию, она избавила бы Наполеона от необходимости вознаграждать себя за счет Оттоманской империи, способствовала бы продлению существования этого государства и, подобно Польше, в свою очередь, послужила бы выкупом за сохранение Турции.

Оставаясь на этой идее, Наполеон решил сообщить ее императору Александру и указать ему на ее выгодные стороны. Об этом должен был первым долгом позаботиться наш новый посланник Коленкур тотчас же по проиезде в Петербург; это была главная статья в его инструкциях. Этот замечательный документ, помеченный 12 ноября 1807 г., составленный Шампаньи, но просмотренный и одобренный императором, дает возможность проследить весь ход его мышления[1]. По мнению Наполеона, Коленкур, посвященный вполне в развитие мысли, создавшейся в уме его государя, лучше поймет, сколь важно обеспечить ее успех. В это дело он должен будет вложить все свое усердие, всю силу

[1] Мы опубликовали инструкцию Коленкуру в Revue d'histoire diplomatique, 1 janvier 1897. Мы даем ее в приложении под цифрой II.

убеждения. Не предлагая с самого начала княжеств, он даст понять, если его вызовут, на это, что император, чрезвычайно желая быть приятным своему союзнику, который в то же время и его друг, ничего не имеет против этой важной уступки. Но тем не менее тождественный тильзитский акт не должен быть изменяем ради исключительной выгоды одной из сторон; нарушение, допущенное в пользу России, должно повлечь за собой такое же в пользу Франции. «Таков принцип, которым будет обусловливаться поведение Императора. Разум, справедливость и осторожность не позволяют ему принять другого решения, и никакое препятствие не будет в состоянии сбить его с этого пути».

Установив это, Коленкур укажет причины, которые побуждают императора отсрочить раздел и не позволяют ему искать себе на Адриатике компенсации русских завоеваний. При таких условиях только одна Силезия может послужить для него справедливым возмещением. Конечно, самым трудным будет заставить царя принять вторую часть предложения. Коленкур должен будет пустить в ход откровенные объяснения. Он не скроет, что при настоящем положении Европы император не может отказаться ни от одного из условий, обеспечивающих его выгоды; что упорная враждебность Пруссии оправдывает все принимаемые против нее меры предосторожности. Итак, Франция будет занимать ее, пока русские будут оставаться в Валахии и Молдавии, если только уступкой Силезии не будет дано нам соответствующей гарантии. Таким образом, Пруссия должна выбрать одно из двух: или она должна на неопределенный срок оставаться в наших руках как военнопленная, или же должна откупиться, пожертвовав своей провинцией. Следует постараться доказать, что из двух решений второе не самое для нее невыгодное. Нашему посланнику предстоит трудная, довольно оригинальная задача — доказать, что Пруссия меньше будет страдать после грозящей ей операции, что для ее же блага оба императора должны сделать ей ампутацию, что только живое участие к ней побуждает лишить ее положения великой державы, несовместимого с ее настоящим состоянием, дабы, низведя ее к ничтожеству, обеспечить ей спокойное существование. «У Пруссии,— говорится в инструкции,— будет население только в два миллиона жителей. Но разве этого не достаточно для счастья королевской семьи и разве не в ее интересах занять тотчас же и

вполне покорно место среди второстепенных государств, тогда как все ее усилия вернуть утраченное положение послужат только к тому, чтобы терзать ее подданных и питать бесплодные сожаления»?

Если царь согласится на предложенный обмен, все может быть кончено теперь же. Оба императора обменяются договором, который заменит тильзитский, под предлогом его истолкования. Он останется в тайне, но будет служить руководящей нитью для условий мира, который будет заключен между Россией и Портой при нашем посредничестве, и для новой сделки между Францией и Пруссией при посредничестве царя. Наполеон возьмет на себя труд дать совет султану покориться своей участи, Александр исполнит то же относительно Фридриха-Вильгельма. Восточный вопрос и прусский будут разрешены одновременно, и за решение одного будет отплачено решением другого.

Как ни была соблазнительна для Александра перспектива скорого окончания дела, как ни были обильны доводы, данные в распоряжение Коленкуру, как ни велико было доверие императора к его умению, тем не менее нельзя было быть уверенным, что русское правительство согласится на предложенную комбинацию. По некоторым донесениям Савари, Наполеон думал, что к Пруссии царь питает только незначительный интерес; вспоминая же о горячности, с которой царь, видимо, подхватил в Тильзите идею о разделе, он спрашивал себя, не поклялся ли он покончить с турком и не потребует ли он большего, чем Молдавия и Валахия. Если бы было предъявлено такое требование, нужно ли его отвергнуть? Наполеон рассуждал иначе. Он хотел, чтобы его идея о разделе была представлена царю как дело в принципе решенное и неотложное, но чтобы формальное предложение об этом не было его последним словом. В случае, если бы император Александр стал настаивать на расчленении Турции, Коленкуру следовало не отказываться от этого, но он должен был заметить, что вопрос настолько серьезен, что, согласно принципам, установленным в Тильзите, делает необходимым новое свидание и непосредственные переговоры между императорами. Отсюда мы видим, что, как ни желал Наполеон избегнуть раздела в настоящее время, он не отвергал безусловно идеи о нем, но допускал его только как последний довод при окончательном обсуждении и как последнее средство выйти из затруднительного

положения. Он, впрочем, позаботился лично указать на это своему посланнику. В изложении инструкции есть момент, когда стушевывается государственный секретарь и начинает говорить сам император; заметка на полях, гласящая «продиктовано Императором», как молния, озаряет тайники его мысли. «Итак,— говорится в ней,— в настоящий момент истинное желание Императора состоит в том, чтобы Оттоманская империя осталась в своей *нынешней* неприкосновенности (этим словом Наполеон исключал княжества, фактически уже отделенные от оттоманских владений), чтобы она жила в мире с Россией и Францией, чтобы ее границей было течение Дуная, сверх того крепости, которые принадлежат Турции на этой реке,— как например: Измаил,— конечно, все это при условии, что Россия согласится на приобретение Францией соответствующего увеличения за счет Пруссии. *Однако возможно, что вопрос о разделе Оттоманской империи уже решен в Петербурге. В таком случае Император желает, чтобы самолюбие России никоим образом не было задето по этому поводу: он предпочитает совершить раздел вдвоем с нею, ибо лучше доставить Франции в деле раздела наивозможно большее влияние, чем заставить русских впутать в него Австрию. Итак, никоим образом не следует отказываться от раздела, но заявить, что по этому поводу необходимо лично сговориться».*

Словом, Наполеон признавал три способа решения в восточном вопросе: во-первых, мир, обеспечивающий Турции возврат всех ее провинций, включая и княжества, если бы царь добровольно согласился отложить обсуждаемые в Тильзите проекты; во-вторых, уступка России княжеств за предоставление в наше распоряжение Силезии, причем Наполеон объявляет, что на этой основе он готов тотчас же начать переговоры; наконец, полный раздел Оттоманской империи при условии, что оба императора лично сговорятся о средствах направить его к общей пользе их государств. «Таковы намерения Императора по этому важному политическому вопросу,— заключала инструкция.— Самое предпочтительное для него, чтобы турки могли мирно владеть Валахией и Молдавией. Однако, в силу желания быть в добрых отношениях с петербургским кабинетом и еще более привлечь к себе императора Александра, он не прочь от того, чтобы предоставить ему обе провинции за справедливое вознаграждение, которое надлежит взять в прусских провинциях. Наконец, хотя он очень далек от раздела Турецкой империи, видя в нем меру, чреватую опасностями, он все-таки не желает, чтобы при ваших объяснениях с императором Александром и его министром вы осудили ее безусловно; но, тем не менее, он предписывает вам твердо представить причины, которые вынуждают отдалить время ее исполнения. Этот старинный проект русских честолюбивых стремлений представляет узы, которые могут привязать Россию к Франции, и поэтому-то следует остерегаться вполне разрушать ее надежды».



V

ДВА ПОСЛАННИКА

Желательные качества у русского посланника в Париже; желание Александра, чтобы он был недоступен влиянию салонов. — Выбор царя падает на графа Петра Толстого. — Достоинства и недостатки Толстого. — Графиня Толстая. — Граф покоряется своей судьбе, принимает назначение и уезжает в Париж. — Его инструкции относительно Востока и Пруссии. — Проезд через Мемель; чувства, внушенные ему прусским королем и королевой. — Милостивый и лестный прием Наполеона. — Наполеон отбирает у принца Мюрата дворец под помещение русского посольства. — Холодность Толстого; он уклоняется от милостивого внимания Наполеона и избегает встреч с ним. — Ссора Толстого с Неем. — Пребывание в Фонтенебло. — Блеск императорского двора. — Мнение русских о французском официальном обществе; Толстой ищет развлечений в предместье Сен-Жермен, а члены его посольства — в Французской Комедии. — Предвзятая враждебность Толстого к Наполеону. — Он горячо приступает к прусскому вопросу. — Наполеон развивает разнообразные комбинации. — Он не отказывает России в Константинополе. — Толстой полагает, что угадал в нем намерение совершенно уничтожить Пруссию. — Его тревожные депеши. — Сцена, будто бы происшедшая между императором и королем Жеромом. — Дурное впечатление в Петербурге. — Объяснение с Савари. — Приезд Коленкура. — Торжественная аудиенция. — Интимный обед у царя. — Важный разговор. — Первое появление Коленкура в свете. — Александр осыпает его почестями и вступает в ним в близкие и непрерывные сношения. — Задушевные беседы монарха; его расспросы о частной жизни Наполеона. — Благородный характер Коленкура, его преданность Александру не вредит его политической проницательности. — Он понимает опасность положения и откровенно указывает на нее своему повелителю. — Причины, вытекающие из понятий Александра о законах чести и интересах его государства, препятствуют ему согласиться на новую ампутацию Пруссии. — Возникновение польского вопроса; с этих пор он будет первенствовать над всеми другими вопросами в сношениях между Францией и Россией. Причина, по которой царь не может отказаться от княжеств. — Первый кризис союза.

I

В то время, когда Наполеон, точно определив Коленкуру его роль и что и как он должен говорить, готовился назначить в его лице постоянного при дружественном дворе представителя, Александр опередил его на этом поприще международных отношений и утонченной предупредительности. Коленкур должен был отправиться 10 ноября, а 6-го граф Толстой уже представил в Фонтенебло свои верительные грамоты: он был назначен чрезвычайным посланником. В первый раз со времени революции русский явился во Францию в таком высоком звании.

Прежде чем установить свой выбор, Александр, подобно Наполеону, испытал большие затруднения. Если задача привить в Петербурге тильзитский союз и сделать его плодотворным считалась одной из самых деликатных, какую только император французов мог поручить одному из своих подданных, то задача быть представителем царя при Тюльерийском дворе представляла ничуть не меньшие трудности. Действительно, их задачи были совершенно несходны, даже можно сказать, что для того, чтобы русский посланник имел во Франции успех, он должен был представлять полную противоположность французскому посланнику в России. Следовало, чтобы французский посланник был вполне светским человеком, и, наоборот, необходимо было, чтобы русский не был бы им чересчур. Вместо того, чтобы завоевать симпатии салонов и руководить ими, он должен был избегать слишком частого их посещения. Действительно, если одной из обязанностей нашего министра-резидента в Петербурге было привлечь на свою сторону аристократию страны и сблизить ее с Францией, то для русского посла в Париже слишком тесно сблизиться с общест-

вом старого режима и подвергнуться его влиянию было бы величайшей опасностью. Отели предместья Сен-Жермен, где втихомолку собиралась светская оппозиция, охотно открывали свои двери иностранным министрам; министры с удовольствием бывали там, тем более, что в этой среде их склонности, вкусы и предрассудки чувствовали себя как дома. В преобразованной столице они только здесь встречали тон и манеры, которые господствовали при их дворе и которым научила Европу прежняя Франция. Если бы русский уполномоченный позволил себе увлечься обаянием недовольного общества, он рисковал не понравиться императору; кроме того, он получил бы невыгодное понятие о новом режиме, смотрел бы на него глазами эмигранта, и его систематическое недоверие быстро ухудшило бы отношения между Россией и Францией. Недавний случай с графом Морковым, который своим поведением ускорил разрыв, сделавшись из-за своих частых посещений салонов и из-за интриг лично ненавистным Первому Консулу, служил в этом отношении прискорбным примером. Очевидно, нужно было опасаться, чтобы не повторились те же факты, тем более, что в русском дипломатическом корпусе не было ни одного вполне убежденного сторонника союза с Наполеоном.

За неимением посланника, взгляды которого отвечали бы его желаниям, Александр вынужден был остановиться на таком человеке, у которого послушание могло заменить личное убеждение. Эта мысль заставила его искать желаемое лицо между высшими чинами своей армии. Можно было думать, что военный, склонный по характеру своей деятельности к пассивному послушанию, не будет обсуждать своих инструкций, а будет исполнять их как приказание. Генерал-лейтенант граф Петр Толстой, брат фельдмаршала, по-видимому, представлял с этой стороны очень много гарантий. Большую часть своей службы он провел в армии. Его прошлое и его взгляды не позволяли считать его среди наших друзей; но он никогда не принадлежал к политическим партиям, раздиравшим петербургское общество, и держался от них в стороне. Такая выдержка, по-видимому, обещала, что он сумеет хорошо держаться в Париже. Он трудно сходился с людьми, не располагал к себе, был суров с виду. Но при настоящих обстоятельствах не могли ли его

недостатки превратиться в достоинства? Салоны тотчас же стали бы искать знакомства с приятным собеседником, с человеком блестящей внешности и, может быть, вполне завладели бы им. В этом отношении за Петра Толстого, по-видимому, можно было быть спокойным. При всем том его строгая военная выправка, репутация храброго воина, простые манеры и открытое лицо могли понравиться Наполеону, ненавидевшему больше всего интригу при дворе и в обществе. Быть может, этому суровому солдату лучше, чем профессиональному дипломату, удалось бы снискать доверие императора и установить с ним близкие отношения, лишь бы ему точно был намечен его путь.

Граф Толстой был в своем имении, когда получил предложение принять на себя обязанности посланника. Оно его расстроило, привело почти в отчаяние. Он колебался принять на себя эту должность и не смел отказаться: с одной стороны действовала привычка к повиновению, с другой — отвращение к тяжелому бремени, к которму он считал себя неспособным. Уверяют, что графиня, крайне враждебно относившаяся к Франции, умоляла его отказаться и что эта семейная оппозиция сильно смущала человека, привыкшего ко всякого рода послушанию[1]. В конце концоов Толстой покорился своей участи и принял место посланника как службу по приказанию. В последних числах августа он приехал в Петербург и был официально назначен на пост в Париже: «Вот и приехал мой посланник, — сказал однажды царь Савари; — вы скоро его увидите. Это прекрасный человек; я ему безусловно доверяю и отправляю его к императору, как человека, которого считаю самым подходящим для него. Я буду говорить с вами откровенно (беря генерала за руку): вы один из наших друзей и должны оказать мне услугу. Мое величайшее желание, чтобы граф Толстой имел у вас успех; если он не понравится Императору, я буду чрезвычайно огорчен; мне будет крайне трудно его заместить. От вас, генерал, я жду, что вы замолвите о нем слово и поможете ему сразу же по приезде поставить себя так, чтобы не быть неприят-

[1] «Высшее общество прохаживается насчет графини Толстой. Вот как ее описывают: «долговязая, тощая, несветская, неуклюжая, неумная, она тем не менее держит в руках своего мужа». On dit de Petersbourg. 13 janvier 1808.

ным; похлопочите, чтобы он стал, насколько возможно, поближе к Императору. Я знаю, что по вашему этикету посланники могут быть приглашены на императорские охоты и маневры; признаюсь, я очень желал бы этого для графа Толстого, ибо во время охоты нередко бывает, что Император, думая о делах и желая заняться ими, покидает охотников; при таких обстоятельствах мой посланник может найти случай говорить с ним. Наконец, есть тысяча маленьких способов в этом роде, которые часто лучше скрепляют узы, чем все официальные приемы, которые только утомляют. Напишите же вашим товарищам и попросите их не отказать в их дружеском внимании к Толстому. Скажите Дюроку и Коленкуру[1], что я очень советую моему посланнику почаще видеться с ними, и рассчитываю на них и на их дружбу к нему»[2].

Судя по предосторожностям, которые принимал царь, чтобы доставить Толстому благосклонный прием и заранее обеспечить ему хорошие отношения и добрые советы, легко понять, что его доверие к искусству посла далеко не было безгранично. Он выбрал Толстого за неимением лучшего, и, хотя надеялся, что особа графа не будет неприятна, отнюдь не хотел подвергать испытанию его таланты в качестве посредника. По мнению Александра, с Францией оставалось решить только один вопрос — вопрос об отношениях к Турции. Правда, он имел существенное значение, но до сих пор не было еще примера, чтобы важные переговоры велись одновременно при обоих заинтересованных дворах. Они хорошо идут и достигают цели только при условии, если они ведутся на одной только сцене и если все происходит между одним из правительств и уполномоченным представителем другого государства. Так как Александр приступил к восточному вопросу с Савари, то он рассчитывал, что наш посланник привезет ответ на его предложения и будет вполне посвящен в тайны Франции. Он был убежден, что соглашение состоится при посредничестве французского посла и что от его собственного агента не потребуется никакой инициативы. Инструкции Толстого отстали от событий, так как были даны до разрыва с Англией и до требований, которые Россия сочла себя вправе предъявить Франции после этого шага; по вопросу о турецких провинциях в них предписывалось посланнику говорить только намеками. Таким образом, наиболее существенное обсуждение было изъято из его ведения, и, по-видимому, его задача была значительно облегчена и упрощена. Единственные дела, по которым ему надлежало добиться решения, относились к выполнению статей договора, относящихся не к Востоку, а исключительно к эвакуации прусских провинций.

[1] Александр еще не знал, что Коленкур вскоре будет назначен к нему посланником.

[2] Донесение от 23 августа 1807 г.

По этому вопросу, как и по остальным, Александр не предвидел серьезных затруднений. Без сомнения, он был неприятно поражен слишком затянувшейся оккупацией Пруссии нашими войсками. Будучи чувствителен к ее страданиям и жалобам ее правительства, он искренне желал сократить первые и тем избавиться от вторых. При том, не зная еще о соотношении, которое император устанавливал между судьбами Силезии и княжеств, убежденный, что дело шло только о том, чтобы подвергнуть Пруссию на более или менее продолжительное время временной оккупации, он не хотел из-за этого ссориться с Наполеоном. Итак, хотя он и указал Толстому на очищение Пруссии, «как на вопрос, которому он придает громадное значение», хотя он и поручал ему ускорить его своими настояниями, но в то же время предписал ему сохранять во всех поступках меру, совместимую с главной целью его миссии, состоявшей в том, чтобы скрепить согласие и доверие[1].

Очевидно, Толстой не прочел этой формально выраженной в его инструкциях оговорки или, по крайней мере, нарушив с самого начала принципы воинской дисциплины, решил совершенно пренебречь ею и исключительно обратил внимание на предшествовавшие ей строки. Хлопоты о восстановлении Пруссии казались ему наиболее крупным делом настоящего времени, единственным, истинно достойным его забот. Чуждый величественным мечтам, искушавшим Александра и Румянцева, он не испытывал на себе действия чарующего миража, которое обыкновенно восточные страны производят на русское воображение; то, что

[1] Инструкции Толстому. Архивы С.-Петербурга.

можно назвать восточной лихорадкой, его не затронуло. По его мнению, его родине угрожала страшная опасность — та опасность, которая во время войны наглядно и осязаемо встала перед ним и против которой он сражался на равнинах Польши, то есть чрезмерное распространение французского могущества в Европе и особенно в Германии. Для того, чтобы возможно скорее восстановить преграду между обоими императорами и вернуть России оплот, он стремился к восстановлению Пруссии и покинул Петербург с желанием работать в этом направлении изо всех сил.

Одно событие во время его путешествия, затронув наиболее чувствительные струны его души, окончательно заставило его отдаться этому делу. Проезжая через Мемель, он засвидетельствовал свое почтение прусской королевской чете и имел случай видеть ее в момент самого бедственного ее положения. Без власти, без владений, без денег Фридрих-Вильгельм и королева Луиза беспомощно смотрели на страдания своего народа. К тягостным воспоминаниям, к беспокойству о будущем, к борьбе против постоянно нарождающихся требований присоединялся еще, к вящему их мучению, недостаток материальных средств. Это было полное безденежье, почти нищета. Для того, чтобы помочь им, Александр должен был под видом внимания и подарков на память снабжать их платьем и полезными для них подарками. «Несчастным, — говорил он, — нечего есть»[1]. Зрелище униженного величия, монарха, преисполненного горечи, и королевы, красота которой устояла перед всеми испытаниями и блистала среди несчастья, глубоко затронуло монархическую душу Толстого и внушило ему самое нежное участие. Он почерпнул в нем усугубленное усердие к делу Гогенцоллернов, которое в его глазах сливалось с делом всех законных династий, и русский посланник решил по собственной инициативе выступить в Париже в роли защитника интересов Пруссии. Симпатий и намерений, столь диаметрально противоположных желаниям Наполеона, трудно было придумать.

[1] Thiers, VIII, 436, 29 ноября 1807 г. Фридрих-Вильгельм заканчивал письмо к Александру следующим post scriptum: «Позвольте мне, Ваше Величество, выразить вам всю мою благодарность за любезное внимание, которое вы оказали мне, прислав великолепные перья на шляпу...» Hassel 369.

Император устроил ему торжественный прием. Это был способ отблагодарить за любезное гостеприимство, которым пользовался Савари; к тому же в нашу политику входило не только скрепить союз с Россией, но и всенародно объявить о нем. Вот в каких выражениях Шампаньи рассказывает Савари о приеме русского посла: «Аудиенция, — говорит он, — имевшая место 6 числа этого месяца, была замечательна по милости и доброте, с которыми Его Величество принял русского посланника. Все заметили утонченное внимание, которое оказал Император, надев орден Андрея Первозванного и нося его целый день. Двор так же, как и публика Фонтенебло, которая была допущена на придворный спектакль, вечером, во время представления manlius, обратили большое внимание на это выражение публичного и исключительного почета императору Александру со стороны императора Наполеона. Толстой допущен в тесный кружок императрицы, что не в обычае для посланников и иностранцев; он имел честь составить партию Ее Величеству. Он занял покои, приготовленные ему во дворце, пользуется всеми привилегиями придворного звания, допущен на утренний прием Императора и сегодня сопровождал Императора к обедне. Все это возбудило зависть других посланников[1].

Подарок, поистине императорский, увенчал эти милости. Наполеон сам хотел позаботиться о помещении русских посланников в его столице. Если доверять рассказу, который ходил по Петербургу, вот как он взялся за это: «Мюрат, — сказал он однажды великому герцогу Бергскому, — сколько вам стоит ваш отель в улице Cérutti? — Четыреста тысяч франков. — Я не говорю о четырех стенах: я подразумеваю отель и все, что в нем находится: мебель, посуда и пр. — В таком случае, Государь, он стоит мне миллион. — Завтра вам заплатят эту сумму: это будет отель русского посланника»[2].

Каково же было поведение Толстого в ответ на такие беспримерные отличия? Шампаньи писал по поводу первой императорской аудиенции: «Он немного оробел, как это и должно быть с прямодушным человеком, который впервые представляется великому че-

[1] *Шампаньи к Савари, 8 ноября 1807 г.*
[2] Joseph de Maistre, p. 277.

ловеку столь высокой гениальности, но доброе и приветливое обращение Императора вскоре его ободрило»[1]. Вопреки оптимизму официального сообщения и его утешительным объяснениям можно догадаться, что холодность со стороны русского посланника плохо согласовалась с благосклонностью его собеседника. Несколькими строками ниже министр почти признается в этом: «Не знаю, — говорит он, — почувствовал ли он всю цену необыкновенного приема, сделанного ему Императором, оценил ли он его так, как это сделал бы человек, проходивший дипломатическую карьеру и привыкший придавать цену самым незначительным обстоятельствам». А вскоре в позднейшей депеше Шампаньи вынужден сознаться, что в Толстом император не нашел «человека, какого он желал и с которым он мог бы беседовать»[2]. Действительно, почтительное, но обескураживающее немое молчание, которое на первой же аудиенции Толстой наложил на себя, продолжалось и делалось хроническим. На милостивые обращения Наполеона он отвечал *ледяным выражением лица.* Если во время приемов при дворе император обращался к нему со словами, которые, очевидно, вызывали на продолжительный разговор, он еле бормотал в ответ несколько слов, избегал всякого выражения, которое могло бы поддержать разговор, и монарх проходил мимо него недовольный. В других случаях он избегал направленного на него взгляда императора, отступал в смущении назад и скрывался в толпе придворных, как будто главной его заботой было уклониться от милостивого внимания.

С придворными и лицами, занимающими высокое служебное положение, его обращение было не менее странно. Ничто не обнаруживало в нем надежды установить прочную дружбу между обоими государствами и на желание этому способствовать; ничто не давало чувствовать в нем посланника дружественной державы. Скорее, могла быть речь о парламенте, присланном вечером после неудачной битвы в главную квартиру неприятеля. Такого рода посол с суровым, скорбным, непроницаемым лицом взвешивает каждое слово и прежде всего старается оградить свое достоинство побежденного: вот образец, по которому Толстой,

[1] Шампаньи к Савари, 8 ноября 1807 г.
[2] Шампаньи к Коленкуру, 2 февраля 1808 г.

по-видимому, создал свою роль. Если он начинал откровенно высказываться, его слова были еще более зловещи, чем молчание; тогда его разговор становился воинственным и отдавал запахом пороха. Однажды, после императорской охоты, он возвращался в карете с маршалом Неем и князем Боргезским. В пути он настойчиво наводил разговор на военные предметы: затем, разгорячась, начал восхвалять русские войска и чуть было не объявил их непобедимыми; он приписывал их неудачи несчастному стечению обстоятельств и дурно истолкованным приказаниям и кончил тем, что намекнул на надежду реванша. Ней, невоздержный от природы, горячо подхватил его слова. Разговор принял острый оборот, и скоро повсюду распространился слух о возможной дуэли между русским посланником и императорским маршалом[1].

Такие неуместные выходки вперемежку с надменной сдержанностью все более обнаруживали неспособность Толстого усвоить себе поведение, которое было ему предписано. Этот исполнительный солдат становился недисциплинированным дипломатом. Обманывая возлагаемые на него Александром надежды, превосходя его опасения, не довольствуясь тем, что принес с собой во Францию всю ненависть, все злопамятство русской аристократии, он даже не старался их скрывать и считал нужным внести в свою манеру следить за ходом дел и вести переговоры ту предвзятую враждебность, которая проявлялась в его манере держать себя.

Первые его впечатления во Франции и дух, царивший среди окружающих его, не только не ослабили, а скорее усилили эти тенденции. Как ни старались сделать членам русского посольства приятным их новое местопребывание, они не были им довольны. Они не чувствовали особенного влечения к официальному миру и относились равнодушно к зрелищу могущества и силы, которые являла Франция, ибо это величие было отчасти завоевано за счет и страны. Однако это было одним из тех времен первой Империи, когда Наполеон особенно заботился о торжественных приемах и о поддержании великолепия двора. В Фонтенебло, пребывание в котором в этом году носило исключительный блеск, непрерывной цепью проходили знатные посети-

[1] Шампаньи к Коленкуру, 2 февраля 1808 г.

тели и высочайшие особы, ежедневно приносились уверения в уважении и преданности Европы императору. Прелестное местопребывание Валуа, реставрированное в современном вкусе, роскошно украшенное в строго римском стиле, снова оживилось. Удовольствия следовали одно за другим ежедневно в назначенные часы; официальные приемы, театральные представления, великолепные балы, о которых сообщалось в военных приказах, поездки на охоту, для чего даже дамы надевали установленный для них кокетливый мундир, который и в самом деле шел к ним; в таких охотах принимали участие эскадроны амазонок, причем у каждого был свой отличительный цветной значок[1]. Русские любовались этим зрелищем, но находили, что блеск не всегда спасал их от монотонности и что новый двор не сумел позаимствовать от старого то, что составляло его неподражаемую прелесть: непринужденность хорошего тона. Когда они наезжали в Париж, им казалось, что сторонники правительства живут слишком замкнуто; они жаловались, «что в Париже не было даже двух-трех открытых домов, подобных дому князя Беневентского, где можно было с уверенностью найти гостей, любезную, предупредительную хозяйку дома и хороший ужин после театра», они находили, что «в Париже в этом отношении совсем плохо»[2]. Не находя общества по своему вкусу, они искали развлечений в ином месте и проводили вечера у мадемуазель Жорж, «героини русского посольсгва»[3].

Их более солидный глава не противился искушению посещать роялистские салоны. Он там не интриговал, но слушал, наблюдал и, не задавая сам тона, воспринимал его. Разговоры, которые он слышал там, обыкновенно вращались около честолюбия и деспотизма Наполеона и усиливали его недоверие к главе государства и к его режиму. Относясь к императорскому правительству с вечным недоверием и подозрительностью, он дошел до того, что чуял западню во всех обращенных к нему словах и истолковывал их в смысле своих предубеждений. Не лишенный тонкого, предусмотрительного ума, он угадывал быстро некоторые из намерений императора, но под влиянием ненависти, дававшей ложное направление его проницательности, он неосновательно приписывал ему и такие, которых у него не было.

[1] См. Le mémoires de madame de Rèmuzat, III, 227—245.
[2] Новости и on dit Петербурга, 29 января 1808 г.
[3] Новости и on dit Петербурга, 29 января 1808 г.

Как только встретился он с Шампаньи, он горячо затронул Прусский вопрос. Уклончивые ответы министра ему не понравились и показались признаком задней мысли. В своем первом разговоре с императором он приступил к тому же предмету и стал совершенно не похож на того Толстого, каким казался обыкновенно. Сбросив с себя всякое смущение и сохранив только упорство, он напрямик потребовал эвакуации Пруссии, осмелившись сказать, что Россия не может считать себя в мире с Францией до тех пор, пока первое условие договора остается невыполненным. Наполеон попробовал сперва уклониться от ответа. Зачем, с фамильярной откровенностью сказал он Толстому, принимать такое участие в прусском короле, в этом неудобном и ненадежном союзнике? «Вы дождетесь, что он сыграет с вами плохую шутку[1]. Впрочем Франция готовится вывести свои войска — они уже в походе. Но генерал Толстой был слишком сведущ в вопросах, касающихся военного дела, чтобы поверить, что подобные операции могут быть приведены в исполнение в одну минуту. «Армию передвинуть — не табаку понюхать»[2], — писал он Румянцеву. Так как Толстой не сдавался на эти доводы и продолжал настаивать на своем, то император, прижатый к стене и желавший к тому же намекнуть русскому правительству о более ценных со своей стороны предложениях и подготовить его к ним, позволил себе поднять завесу, скрывавшую его планы. Крупными штрихами набросал он три возможных комбинации, заявив при этом, что он не будет оспаривать удовлетворения желаний России, как бы чрезмерны они ни были, лишь бы ему самому была предоставлена свобода избрать для себя вознаграждение.

Прежде всего он объявил, что готов вывести войска из Пруссии при условии, что Россия удалится из княжеств, что полное и обоюдное исполнение договора было его первейшим желанием. «Он сказал мне, — излагает Толстой в своем донесении, — что в расчле-

[1] Толстой к Румянцеву, 26 октября — 7 ноября 1807 г. Архивы С.-Петербурга.
[2] Толстой к Румянцеву, 26 октября — 7 ноября 1807 г.

нении Оттоманской империи он не видит для Франции никакой выгоды, что не желает ничего лучшего, как только обеспечить ее неприкосновенность, что он даже это предпочитает, ничуть не прельщаясь Албанией и Мореей, где, по его словам, можно ожидать только неудач и затруднений. Однако, если мы уж так стремимся обладать Молдавией и Валахией, он охотно согласится на это и предлагает нам русло Дуная, но при условии, что ему будет предоставлено вознаградить себя в другом месте. Я сильно настаивал на том, чтобы он объяснил мне, что он под этим подразумевает и где рассчитывает получить компенсацию. Он хотел уклониться от всякого объяснения по этому поводу, но я настаивал все сильнее и почти прижал его к стене замечанием, что, так как он знает, что мы желаем приобрести, было бы вполне справедливо, чтобы и мы знали, чего и где он домогается. После некоторого колебания и как бы сделав над собой большое усилие, он сказал мне: «Ну, конечно, в Пруссии. Если в планы России входит более крупный раздел Оттоманской империи (продолжал он), он даже и на это согласен. Он уполномочивает меня предложить Константинополь, так как уверяет, что не подписывал никакого обязательства с турецким правительством и не имеет никаких видов на столицу Турции. Однако, при этом последнем предложении, он не может не принимать во внимание интересов Франции, равно как и высказаться теперь же о требованиях, которые отсюда воспоследуют. Итак, он предлагает вывести войска из областей, возвращенных по тильзитскому договору Пруссии, если мы откажемся от наших видов на Молдавию и Валахию. Если не согласны на это, он готов предоставить нам русло Дуная, при условии, что он вознаградит себя за счет Пруссии. В третьем случае, предусматривающем полное расчленение Европейской Турции, он согласен на расширение России до Константинополя, включая и самый Константинополь, при условии получения им приобретений, относительно которых он не дал никаких объяснений»[1].

---

[1] Толстой к Румянцеву, 26 октября — 7 ноября 1807 г. Архивы С.-Петербурга. Донесения Толстого, подобно всем дипломатическим бумагам того времени, написаны по-французски. Генерал Шильдер опубликовал часть их по-русски. (Русский архив, январь 1890 г.).

Думается, что неожиданно заговорив о Константинополе с такими оговорками, благодаря которым предложение было неясным и беспочвенным, Наполеон хотел только испытать Толстого, поглядеть, какое действие произведет на него это магическое слово. Быть может, он хотел посмотреть, как далеко идут честолюбивые стремления России, не расположена ли она ради приобретения Константинополя допустить все и не согласна ли предоставить ему всю Европу за один город. Но Толстой и глазом не моргнул при виде вызванного перед ним лучезарного видения; он отнесся к нему равнодушно, и хотя и передал своему двору предложения императора, но сделал это, прибавив придуманное им самим объяснение. Смотря на все с точки зрения преследующей его идеи, он в словах Наполеона обратил внимание главным образом на то, что относилось к Пруссии. Он более не сомневался, что исполнение договора в пользу Пруссии отсрочивалось умышленно. Исходя из этого верного данного, его воображение выводило или неточные, или чересчур преувеличенные следствия. Сопоставляя слова императора с собранными с ветру непроверенными слухами, он пришел к убеждению, что Наполеон в принципе решил полное расчленение Прусии. Это ложное открытие в высшей степени взволновало его; он счел своим долгом забить тревогу.

Приняв тон прорицателя, он поспешил указать своему двору, как на непосредственный предмет наших вожделений, не только на Силезию, но и на Берлин и на течение Одера. По его мнению, эти места были сперва предназначены для округления За-Рейнского французского королевства, удела Жерома. Этот проект будто бы был на пути к осуществлению, и только твердость русского посла заставила Наполеона одуматься. Толстой в подтверждение своих слов рассказывал самые неправдоподобные сцены: «*Господину Жерому*, — писал он, — был положительно обещан для его Вестфальского королевства Берлин с расширением до Одера. После моей частной аудиенции Император приказал позвать его и напрямик объявил ему, что об этом нечего и думать; но Жером, как это нередко с ним бывает, пустился в препирательства; он осмелился требовать обещанного и сослался на данное ему императорское слово. Между обоими братьями произошла одна из самых бурных сцен, результатом

которой была высылка Жерома, вынужденного уехать сегодня утром в Шельбург, под предлогом исполнения поручения императора»[1].

По словам Толстого, вместо брата Наполеона остатки Пруссии получит один из его вассалов; в настоящее время лучшая часть из них предназначена для великого герцогства Варшавского. Затем завоеватель закончит восстановление Польши присоединением к ней западных провинций России. Уничтожение Пруссии служит ему только средством добраться до империи, с которой он пока обходится как с союзником и которую обольщает коварными обещаниями. Вместо того, чтобы содействовать планам России, он хочет оттолкнуть ее в ее прежние границы, сделать из нее азиатское государство, изгнать ее на Восток, отбросить на Персию и Индию, пока не будет в состоянии разрушить ее окончательно. Его цель, разрушив и низвергнув все вокруг себя, царствовать над развалинами Европы. Он объявил, что его династия вскоре будет самой древней на континенте, и он сдержит свое слово[2].

Свое первое послание с курьером Толстой посвятил разбору этого ужасного будущего. Он написал его в патетических выражениях, в чрезвычайно искреннем и глубоко тревожном тоне; умолял, чтобы в Петербурге открыли глаза и приняли меры для обороны и спасения. Не довольствуясь тем, что высказал свои страхи в нескольких донесениях, он сделал их предметом частного письма к Румянцеву, и его сообщение, спешно отправленное в Петербург, опередило Коленкура. Таким образом, вместо того, чтобы с надлежащими предосторожностями в качестве простого предложения довести до сведения Александра мысль о том, чтобы часть Пруссии послужила компенсацией за румынские княжества, эта мысль, благодаря неожиданному и прискорбному стечению обстоятельств, была сообщена ему в грубой форме; она дошла до него через посредство врага Франции в искаженном, преувеличенном виде; была представлена ему как бесповоротное решение, как зрело обдуманный проект, противный духу

[1] Толстой к Румянцеву, 26 октября — 7 ноября 1807 г. Архивы С.-Петербурга.

[2] Толстой к Румянцеву, 26 октября — 7 ноября, 22 ноября — 4 декабря, 27 ноября — 9 декабря 1807 г. Архивы С.-Петербурга.

договоров, существованию независимого государства и безопасности России.

При чтении депеш Толстого Александр не скрыл своего удивления и беспокойства. Он спросил Савари. На несчастье как раз в это время Савари было поручено подготовить при удобном случае благосклонный прием предложению, которое вез Коленкур. Конечно, тот не мог ответить на вопросы царя безусловным отрицанием. Благодаря его полупризнанию Александр пришел к мысли, что Толстой судил верно и что уничтожение Пруссии входило в намерения Наполеона. В нем вспыхнула жалость к Пруссии и вместе с тем пробудились его опасения по отношению к необузданному и разрушительному гению; вера его в французский союз поколебалась, в нем возникло сомнение в дело рук своих. Он тотчас же приказал написать в Париж, чтобы напомнили Наполеону о том, что говорилось в Тильзите, и пожелал, чтобы вознаграждение, предназначенное Франции, было указано именно на Востоке, а не в ином месте; в первый раз ясно предлагался раздел Турции[1]. Тщетно объяснял Савари, что проект императора имел в виду только одну провинцию, а не всю Прусскую монархию; что он имел только случайный характер в зависимости от согласия России и предназначался для облегчения ее же планов. Александр оставался под впечатлением недоверия, предубежденный против всякого предложения, по которому Пруссия была бы осуждена на новые жертвы. Когда Коленкур прибыл, наконец, 17 декабря в Петербург, оказалось, что вместо подготовленной для него почвы он нашел почву, которую не в меру усердная ненависть загромоздила препятствиями.

II

Сомнения, осаждавшие ум царя, нисколько не отразились на приеме, сделанном Коленкуру. Чтобы быть приятным Наполеону, Александр сразу же пустил в ход милостивое обращение с послом и оказал ему исключительное внимание. Тотчас же по приезде в Петербург Коленкур был отвезен во дворец Волконских,

[1] Румянцев к Толстому, 26 ноября 1807 г. Архивы С.-Петербурга.

самый красивый в столице после дворцов императора и великого князя. Тут ему сообщили, что он у себя дома и что этот великолепный дворец царь предоставляет в его распоряжение. «Это целый город»[1], — писал он в первом порыве своего восторга. 20 декабря состоялось вручение верительных грамот. Со времени приема графа Кобенцля, чрезвычайного посла Иосифа II при Екатерине Великой, Петербург не присутствовал при столь великолепном дипломатическом торжестве; был соблюден тот же церемониал с некоторыми изменениями в нашу пользу; Франция официально была признана наследницею германских цезарей. Царь принял нашего посла как старого знакомого и несколькими дружескими и любезными словами скрасил обычную банальность официальных разговоров. Вечером был спектакль в Эрмитаже. Зала, выстроенная в конце дворца, представляла собой амфитеатр, где весь двор щеголял роскошными мундирами и туалетами. Позади оркестра ряд кресел предназначался для императора, обеих императриц и высочайших особ. Коленкур, прибыв по особому приглашению, был отведен к одному из кресел и занял место в одном ряду с императорской фамилией, рядом с великими князьями, — «отличие, гласит современный рассказ, которому не было еще примера; оно поразило весь двор и расположило умы видеть в Его Превосходительстве более, чем простого посланника»[2].

«Я с удовольствием принимаю посланника и рад буду видеть генерала у себя», — сказал ему на утренней аудиенции Александр[3]. Он сдержал слово и на третий день пригласил Коленкура на обед, на один из тех интимных обедов, на которых Савари в течение четырех месяцев был частым гостем. Новый посланник с некоторым страхом повиновался этому приглашению. Посвященный Савари в привычки, личные взгляды и чувства царя, Коленкур знал уже, что Александр по вечерам охотно беседовал о политике, а также и то, что сообщения Толстого привели его в отчаяние; «Слово это не слишком сильно»[4],— писал он Наполеону. Он боялся, как бы царь, вызвав его в этот же вечер

---

[1] Донесение от 20 декабря 1807 г.
[2] Archives des affaires etrangeres, Russie, 144.
[3] Донесение Коленкура от 23 декабря 1807 г.
[4] Письмо от 31 декабря 1807 г.

изложить наши предложения, с первых же слов не замазал ему рта ссылкой на их неприемлемость. Посоветовавшись с Савари, опыт которого имел большое значение, он решил быть с Александром крайне сдержанным и постараться, осторожно наводя разговор, узнать его мысли, но так, чтобы иметь возможность отступить при первом же намеке на сопротивление. Составив, таким образом, свой план, он отправился в Зимний дворец, где нашел в сборе несколько министров и генералов, и друзей и недругов Франции. Он беседовал с графом Румянцевым, когда вошли император с императрицей. Теперь мы предоставим слово ему самому; в своем донесении к Наполеону он выражается так:

«Перед обедом император сказал мне: «Генерал, с удовольствием вижу вас здесь и спешу ввести вас в круг ваших прав и обязанностей. Мы побеседуем после обеда». Императрица сказала мне несколько любезных слов по поводу моего первого пребывания здесь. Затем все двинулись к столу.

За обедом император говорил о том, с какой быстротой Ваше Величество путешествуете и ездите верхом; что в Тильзите только он да я могли поспевать за вами. Затем зашла речь о князе Невшательском. Его Величество сказал, что он принадлежит к числу людей, внушающих ему наибольшее уважение. Он спросил меня, велико ли было производство по армии Вашего Величества, и добавил, что слышал, будто Ваше Величество отказалось от белого цвета для пехоты, что он лично стоит за синий и предпочитает его потому, что в синем французская армия совершила столь славные дела.

После обеда разговор со мной продолжался несколько минут о Петербурге и о безразличных предметах. Затем Император прошел в свой кабинет и приказал позвать меня. Он сказал мне:

Император. До получения депеш, которые везет Фодоа (дело шло о депешах, отправленных Савари 18 ноября, доверенных капитану Фодоа и содержавших просьбу о княжествах), у нас не будет ничего особенно важного для обсуждения, но я хочу ввести вас в круг ваших прав и обязанностей.

(Император взял меня за руку, заставил сесть направо от себя и продолжал так):

«Вы пользуетесь полным моим доверием. Импера-

тор не мог сделать выбора, который более бы отвечал моему личному желанию и который, благодаря вашей близости к нему, более бы приличествовал нашей стране. Передайте ему, что в этом я вижу новое доказательство его дружбы ко мне. Я всегда буду рад вас видеть. В дни торжественных приемов можете быть посланником, сколько вам угодно; в другое же время вы знаете дорогу в мой кабинет; я буду рад вас видеть.

Посланник. Эту честь, Государь, я ценю выше всего, и только это может вознаградить меня за жизнь вдали от моего повелителя.

Император. Я знаю, что, уехав далеко от Императора, вы принесли жертву: но Ла Форе совсем не годится. Я не мог бы видеться с ним вот так. Здесь нужен военный, и, кроме того, такой человек, который своим умением обращаться привлек бы на свою сторону (наше) общество. Император Наполеон всегда умеет сделать хороший выбор.

Посланник. Если бы приехал Ла Форе, с ним остался бы генерал Савари или какой-либо другой флигель-адъютант Императора.

Император. У двух лиц дела не могут идти успешно, ибо у каждого из них свой личный интерес, который нередко ставится впереди самого дела. Мои намерения прямодушны, в моей привязанности к императору Наполеону нет задней мысли, я это доказал ему всеми моими поступками. Генерал Савари мог бы вам сказать, что все дела, о которых ему поручалось просить, он находил следанными заранее. Мы сделали в октябре то, что должны были сделать только в декабре; генерал Савари, вероятно, уведомил Императора, что я и Румянцев всегда предупреждали его желания в вопросе о войне с Англией. Если бы мы оба не думали, что следует ждать сигнала императора Наполеона, я, может быть, объявил бы ее еще раньше. Что же касается шведов, мы уже приняли меры, как я говорил вам об этом вчера.

Здесь император вкратце изложил требования, предъявленные Швеции, которая оставалась по-прежнему неуступчивой, и о сделанных для понуждения ее приготовлениях. Затем, словно спеша высказать мысль, которая лежала у него на душе, он почти тотчас же заговорил: «Император говорил Толстому о Пруссии. Меня это огорчило: Савари, вероятно, скажет вам об

этом. Никогда не было речи о том, чтобы она расплачивалась за турецкие дела. Император Наполеон сам завел в Тильзите разговор о Валахии и Молдавии, равно как и о другой части Турции. Он сам определил свою долю. Благодаря низложению султана Селима, он считал себя вполне свободным от обязательств. Верьте, что не было сказано ни одного слова, которое могло бы заставить подумать, что бедная Пруссия должна будет сыграть роль вознаграждения в этой сделке, которую вызвали не столько интересы России, сколько беспорядки в упомянутых провинциях. Генерал Савари мог сказать вам, насколько подобная сделка не отвечает моим чувствам, и что я, действительно, не могу согласиться на дележ остатков владений несчастного короля, про которого Император возвестил Европе и Франции, что он возвращает ему владения из уважения ко мне. По законам чести он остается моим союзником до тех пор, пока не будет восстановлен во владения тем, что предоставлено ему мирным договором».

Посланник. Государь, император Наполеон питает к Вашему Величеству такое же чувство привязанности; все его мысли направлены к интересам и славе Вашего Величества. Вы могли найти новые доказательства этому в том, что он говорил графу Толстому, если только граф дал Вашему Величеству верный отчет. Вы не можете сомневаться относительно его истинных намерений, ибо самое большее, чего может желать Император, — это точное исполнение тильзитского договора. Он впервые отделяет свое дело от дел одного из своих исконных союзников. Он делает это ради Вашего Величества, ибо всеми доводами, приводимыми вами в пользу Пруссии, мой повелитель мог бы с таким же правом воспользоваться в пользу Турции. По вопросам чести, которым, по-видимому, Ваше Величество придает такую цену, положение обоих государств во всех отношениях одинаково. Повторяю Вашему Величеству, что в этом случае император Наполеон более думал об интересах Вашего Величества, чем о своих собственных. Прошу, Ваше Величество, обратить особенное внимание на это замечание.

Император. Я понимаю вас: то, что вы говорите, справедливо. При таком способе обсуждения дел всегда можно сговориться. Письмо Толстого меня огорчило. Я не могу дать согласия на такую сделку, кото-

рая не согласуется с намерениями, высказанными мне самим Императором.

Посланник. Государь, когда Толстой подольше пробудет при Императоре, он лучше, и в их истинном свете, станет передавать сделанные ему предложения.

Император. Вот потому-то мне и приятно, что Император выбрал именно вас. Вы лучше других понимаете, чего он хочет, и мы всегда поймем друг друга.

Посланник. Благоволите, Ваше Величество, сообщить ваши мысли своему посланнику. Император, мой повелитель, ничего не желает лучшего, как только установить свои действия согласно с действиями Вашего Величества. Император готов на все: его заветные мысли направлены всецело к интересам и славе Вашего Величества. Имею честь повторить это вам. Позволите ли вы мне, Ваше Величество, вернуться к одному из вопросов настоящего разговора?

Император. С удовольствием.

Посланник. Мне хотелось, Государь, познакомить вас с истинными намерениями моего повелителя, с этого я и начал. Теперь я должен сказать относительно его интересов. Компенсации в Турции, о которых говорит Ваше Величество, нужно еще завоевать, тогда как вы, Ваше Величество, нарушив тильзитский договор и обусловленное им перемирие, уже взяли себе свою долю. Нам нужно сражаться, чтобы завоевать свою долю, и опять-таки сражаться, чтобы сохранить ее. В этих провинциях нет никакой торговли и ни одной из тех выгод, какие приобретет Ваше Величество. Если Вам угодно будет вполне беспристрастно взвесить условия, в которых находятся то и другое государство, вы не будете более сомневаться, что положение Франции относительно Турции было бы то же самое, что и положение России относительно Пруссии, если бы добрые чувства императора Наполеона к императору Александру не склоняли весов на вашу сторону.

Император. Это возможно. Вы хорошо изображаете дело. Но я все-таки ссылаюсь на то, что мне говорил император Наполеон. Я шел навстречу всем его желаниям. Его интересы лежали в основе моего поведения. Я оставил в стороне мои собственные, ибо до сих пор не имею никаких известий о моем флоте. Я жду, чтобы на деле сказалась та истинная дружба, в которой он дал мне слово; доказательства моей дружбы он уже имеет. Я не могу войти в сделку, о которой между нами никогда не поднималось вопроса и которая разорит короля, и так уже так много потерявшего. Пусть он будет восстановлен во владении всем тем, что полагается ему по тильзитскому договору, и по поводу чего Император сказал, что отдает ему ради меня. Затем пусть будет то, что Богу угодно. Я лично нисколько не сомневаюсь в намерениях Императора, но здесь, у нас, нужно что-нибудь такое, что доказало бы нации и армии, что наш союз существует не только ради вашей выгоды. В ваших интересах сделать его национальным; говорю вам откровенно, это было бы даже услугой лично для меня. Судя по тому, что говорил мне Император в Тильзите, мнение его о турках не таково, чтобы заставить его ими дорожить. Он сам назначил нашу и свою долю — и что-нибудь дать Австрии, чтобы удовлетворить скорее ее самолюбие, чем честолюбие — таковы были его намерения. Они не должны измениться, ибо с тех пор я шел навстречу всему, чего он мог желать. Что же касается завоеваний, которые предстоит ему сделать, мои войска будут готовы, если он вернется к своим первоначальным намерениям. Турки первые нарушили перемирие. Следовательно, если бы я не относился добросовестно к Императору, у меня был бы предлог порвать с ними, не нанося ущерба тильзитскому договору.

Посланник. Сделки, о которых говорит Ваше Величество, как мне кажется, входят в круг тех сделок, переговоры о которых вы и мой Император отложили до личного свидания. Если турки и обошлись дурно с некоторыми валахами, так ведь они пока еще их подданные. И Пруссия, в свою очередь, не всегда соблюдала меру и была внимательна, хотя это и требовалось от нее мирным положением; но такие пустяки, которые относятся скорее к ведению полиции, чем политики, не могут иметь влияния на громадные интересы, связывающие нас.

Император. Я отправил инструкции Толстому, как вы могли это видеть из моего разговора с генералом Савари. Император, вероятно, пришлет вам инструкции, составленные на основании депеш, отправленных с Фодоа. Мы часто будем беседовать и поймем друг друга. Нам следует обдумать, что делать весной, если англичане будут угрожать нашим берегам. Моя армия

уже укомплектована и может действовать либо против англичан, либо против шведов.

Посланник. Император, наверное, всеми своими силами поможет Вашему Величеству, и в нужную минуту французская и датская армии будут в готовности вступить в Сканию*, если это потребуется для поддержки операций Вашего Величества.

Император. До свидания. Очень рад, что побеседовал с вами (и, пожав мне руку, сказал): объясняясь подобным образом, всегда можно сговориться»[1].

В результате, что доказывал этот разговор, законченный словами доверия и надежды, и какой вывод мог сделать из него Коленкур? Императору, видимо, очень понравились его благоразумная речь и умение с достоинством держать себя: можно было думать, что они ослабили тягостное впечатление, произведенное Толстым на ум государя. Но изменили ли они его взгляд на самое существо дела? В этом позволительно было сомневаться. Александр смягчился, но вовсе не был убежден. Чтобы выведать его мнение по всем пунктам, Коленкур осторожно коснулся в предписанном ему порядке тех трех способов решения восточных затруднений, между которыми надлежало сделать выбор. Он заговорил о таком мире с Турцией, при котором все осталось бы по-прежнему — об этом не хотели и слышать. Дважды он вскользь намекнул на предоставление княжеств за Силезию; тогда он наткнулся на любезное, но упорное сопротивление. Оказалось, что из всех возможных решений только-что придуманное Наполеоном больше всего противоречило чувствам царя. Наконец, истощив все доводы, и ничего не добившись, посланник допустил возможность принятия некоторых соглашений при личном свидании императоров, а это значило согласиться на разделе,— и по манере, с которой Александр наводил на это неопределенное обязательство, с которой заставлял дать его, легко можно было угадать, что он ничего не уступит из своих требований: он хоотел расчленить Турицю или, по крайней мере, отнять у нее часть ее владений и не хотел жертвовать Пруссией; вот что вытекало из его слов и замалчиваний. Коленкур поспешил сообщить в Париж о решении, которое, по его мнению, он обнаружил в уме царя и которое после разговора с Румянцевым он уже предчувствовал[1]. Тем не менее он отложил свое окончательное суждение, просил дать ему немного времени, чтобы осмотреться, лучше разгадать Александра и затем уже, согласно полученному впечатлению, высказать свое мнение.

Другие обязанности на время отвлекли его от этого дела. Он должен был не только вести переговоры, но и представительствовать. Упрочив за собой доверие государя, он должен был победить общество. Прежде всего он хотел произвести впечатление на умы и заставить уважать себя, а затем уже позаботиться о том, чтобы сделаться приятным; поэтому он был крайне неуступчив по вопросам о своих прерогативах. На первом же приеме дипломатического корпуса он смело пошел впереди австрийского посланника, которому в течение целого века принадлежало старшинство; его смелость была одобрена свыше: «Эти французы, — улыбаясь, сказал Александр, — всегда проворнее австрийцев»[2]. Вечером, в тот же день, на большом балу у императрицы-матери уже сами пошли навстречу желаниям нашего посла: ему во всем предоставлялось первенство. Он явился на этот бал в полном блеске своего звания,окруженный настоящим двором из гражданских и военных чинов. Первые его выезды в свет произвели сенсацию. Его изящная осанка, гордое и вместе с тем утонченно-вежливое обращение были оценены по достоинству, — ему были благодарны за его старания подражать тону и манерам старого французского общества. Не отказываясь от некоторой сдержанности, большинство знати не объявило ему заранее войны и не уклонилось от знакомства с ним, как это было с Савари. Даже женская оппозиция перестала быть непримиримой, и посланнику казалось, что умилостивить ее будет делом внимания и предупредительности: «Я танцевал с самыми непримиримыми, — писал он, — а остальное сделает время»[3].

«В свете мое положение вполне прилично», — добавлял он немного позднее; при дворе он считал его

* Южная провинция Швеции. *(Прим. перев.)*.

[1] Донесение от 23 декабря 1807 г. По странной случайности это донесение находится в архивах министерства иностранных дел России, 144.

[1] Письмо к Шампаньи от 23 декабря 1807 г.

[2] Донесение Коленкура от 26 февраля 1808 г.

[3] Донесение от 26 декабря 1807 г.

«превосходным»[1]. И в самом деле, всякое официальное торжество служило поводом для оказания ему все больших почестей и для того, чтобы доставлять ему нравственное удовлетворение. 1 января — день большого бала в Зимнем дворце, на который было приглашено четырнадцать тысяч человек, и на который дамы явились в живописных национальных костюмах, осыпанных жемчугом и бриллиантами, ужин был сервирован в зале Эрмитажа, превращенный ради этого в феерический дворец; Коленкур занимает место за столом высочайших особ, под хрустальным сводом, блещущим тысячами огней. Несколько дней спустя состоялся интимный бал у императора; вопреки обычным правилам церемониала французское посольство получило на него приглашение. За ужином стол был сервирован одним из севрских сервизов, присланных Наполеоном: «Император, обе императрицы и принцесса Амелия, — писал Коленкур, — пользовались всяким удобным случаем, чтобы похвалить как его рисунок, так и вкус, с которым он выбран, и неоднократно говорили посланнику об удовольствии, которое они испытывают, пользуясь вещами, присланными императором»[2].

На другой день после этих балов царь и генерал встречались на параде перед фронтом войск. Коленкур чувствовал себя польщенным в своей национальной гордости, видя, что побежденный, как это неизменно бывает после несчастной войны, до мелочей подражал маршировке и выправке победителя: «Все на французский образец, — писал он, — шитье у генералов, эполеты у офицеров, портупея вместо пояса у солдат; музыка на французский лад, марши французские, ученье тоже французское»[3]. Во время смотров Александр постоянно обращался к нашему послу и часто приглашал его обедать. Эта честь оказывалась Коленкуру по нескольку раз в неделю, а после обеда государь приглашал его в свой кабинет, и разговор продолжался без докучных свидетелей.

Тогда Александр становился сообщительным и обаятельным; роли менялись, и теперь уже монарх, видимо, желал приобрести расположение посланника. Он

[1] Письмо к Шампаньи, от 25 февраля 1808 г.
[2] Письмо к Шампаньи, от 10 января, 1808 г.
[3] Feuille de nouvelles, janvier. 1808.

ничем не пренебрегал, чтобы понравиться ему. Зная, что Коленкур чуть не молился на Наполеона, он высказывал безграничный восторг перед великим человеком, не забывая, однако, любезных комплиментов по адресу посланника: «Кстати, генерал, — внезапно сказал он ему, — вы имели большой успех в высшем обществе, вы одержали победу над самыми непримиримыми... Благодаря вашему обращению, у нас все сделаются французами»[1]. Коленкур был обрадован такой похвалой, воздаваемой его светским талантам. Затем шли откровенные излияния души, которые исходя из высочайших уст, так приятно щекочут самолюбие простого смертного, ибо сокращают расстояние и на время уничтожают разницу между ним и его высоким собеседником, допуская видеть в государе только человека. Всякий раз, когда дело не касалось интересов его государства, Александр любил проверять свои тайны, и, так как он был сердечно расположен к Коленкуру, такт, скромность и прямоту которого ценил, он посвящал его в свои задушевные радости и треволнения; он не задумываясь, поведал ему свою сердечную тайну. Как сильно увлекающийся человек, он не мог не поддаться искушению говорить о своих любовных связях и об особе, которая создала для него семейный очаг, «о влечении, которое постоянно приводило его к Н.., хотя бы он мимоходом и увлекался некоторыми другими; о ревности, которая ни к чему не ведет и ни от чего не ограждает; об удовольствии любоваться, как растут маленькие детки, которых любишь. «Есть в жизни минуты, говорил он, когда чувствуешь потребность не быть государем; особенно приятно быть уверенным, что вас любят ради вас самих, что расточаемые вам внимание и ласки — не жертва, которая приносится из честолюбия или корыстолюбия»[2].

Затем, возвращаясь к Наполеону и не меняя темы разговора, он сказал: «Мне жаль его, если у него нет предмета любви; это приятный отдых после больших трудов. Он необходим ему, невзирая на то, что он слишком умен, чтобы увлекаться чувством»[3]. Он вы-

[1] Донесение, приложенное к письму Коленкура от 31 декабря 1807 г.
[2] Донесение, приложенное к письму Коленкура от 26 января 1808 г.
[3] Письмо Коленкура к императору, 4 апреля 1808 г.

разил желание познакомиться с частной жизнью императора; с любопытством друга постоянно расспрашивал о нем и, таким образом, давал доказательства, что интересуется не только славой, но и личным счастьем своего союзника. Наконец, желая польстить в Коленкуре самому щекотливому из всех чувств, чувству сердечного тщеславия, и, зная, что Коленкур оставил во Франции особу, к которой питал нежные чувства и настойчиво стремился к женитьбе*, к чему существовали препятствия, он, по-видимому, одобрял его выбор и желал ему успеха: «И у вас, генерал, — добавил он, — будет предмет. Может быть, *она* приедет?»[1].

Чувствительное и нежное сердце Коленкура было беззащитно против такого способа обращения. Он принадлежал к числу тех людей, которые не в состоянии противостоять знакам искреннего участия и любят за то, что их любят. Анекдот, распространившийся некогда на его счет в парижском обществе, метко обрисовывает его в этом отношении. Рассказывали, что Коленкур, сильно ухаживавший за женщинами и мастер этого дела, не обратил внимания только на одну особу, хотя не менее других достойную любви. Она затаила в себе чувство горькой обиды и не щадила в своих разговорах блестящего офицера, все преступление которого состояло в том, что он был к ней равнодушен. Узнав о ее вражде, Коленкур придумал способ отомстить ей, самый благородный и самый остроумный. С этих пор не было той предупредительности, того внимания и тех знаков нежных чувств, которых бы он не оказывал той, которая объявила себя его врагом. Он так искусно вел дело, что эта особа не только отказалась от своих предубеждений, но воспылала к нему страстной любовью и не скрывала этого от него. Его торжество было полным; даже чересчур. В самом деле польщенный и тронутый переменой, происшедшей в сердце, которое теперь беззаветно ему отдавалось, он не мог устоять и не разделить чувства, которое сам внушил и не на шутку полюбил свою победу. Если исключить вражду, с которой началось это похождение, оно представляет некоторое сходство в отношениях, установившихся между Коленкуром и императором Александром. Получив приказание понравиться русскому государю и стараясь добросовестно его выполнить, генерал вполне достиг этого, но в то же время его поразили благородные, великодушные, даже поэтические стороны характера царя, благодаря которым тот возвысился в его глазах, и он восторженно и прочно привязался к нему. Однако было бы крупной ошибкой думать, что его привязанность к человеку имела влияние на его суждение о главе России. В этом отношении его неусыпное усердие и здравый, утонченный ум предохраняли его от всякого заблуждения и давали ему возможность всегда с удивительной проницательностью оценивать русскую политику; он считал вопросом чести при всяком обстоятельстве, угрожающем делу Наполеона, своевременно усматривать опасность и указывать на нее. Наоборот, близкие отношения, в которых он был с Александром, служили ему для непосредственного изучения и лучшего понимания царя и давали возможность с успехом влиять на его ум, нередко рассеивать его сомнения и надолго сохранить его доверие. Даже его склонность приписывать царю возвышенные чувства в большей мере, чем это было в действительности, и, не довольствуясь оценкой благородных качеств, увлекаться им иногда до признания за добродетель его милостивое обращение, были ему небесполезны для того, чтобы лучше понимать и заранее предвидеть ход мыслей государя, который любил выставлять на вид, что во всех своих поступках он руководствуется законами чести и благородными чувствами.

Так, в частной жизни, особенно в деле привязанности, Александр казался ему рыцарем — слово, которое он любил повторять. В нем укрепился взгляд в сущности очень верный, что русский император никогда не пожертвует несчастным союзником, что Пруссия останется для него «святая святых»[1]. Естественно напрашивалась такая мысль: если царь более всего дорожит тем, чтобы обеспечить Пруссии возврат ее владений, то для достижения этой цели он располагает чрезвычайно простым средством — ему стоит только отказаться от турецких провинций, и Наполеон, связанный формальными обещаниями, будет лишен возможности оставить за собой Силезию. Но Коленкур полагал, что для отступ-

* Коленкуру в это время было 34—35 лет. *(Прим. перев.)*.

[1] Письмо Коленкура к императору, 4 апреля 1808 г.

[1] Коленкур к императору, 31 декабря 1807 г.

ления на Востоке царь не обладал уже полной свободой действий и, что нечто вроде состоявшегося договора с подданными налагало на него долг отстаивать свои требования.

Из разговоров, слышанных им в петербургских салонах, и из оказанного ему в них приема посланник мог вывести следующие заключения: русское общество, сопротивление которого против политики Александра до сих пор выражалось открыто, изменило тактику. Теперь оно подобралось, молчало, приняло выжидательное положение и, прежде чем высказать окончательное суждение о союзе с Францией, ожидало его плодов. Царь лично завел речь о таком перемирии. Предпочитая лучше жить в мире, чем бороться с представителями оппозиции, он не скрыл от них, какие надежды заронил в нем Наполеон. За их покорность он обещал им обширные завоевания на Востоке: а так как такая перспектива имела дар ослепительно действовать на все умы, то общественное мнение, приняв к сведению царские слова, ждало, чтобы течение событий оправдало или опровергло их. Если выгоды, о которых говорил царь, осуществятся, если границы России без кровопролития расширятся до Дуная или даже перейдут за него — тогда враждебное осношение прекратится и настанет окончательный мир. Наоборот, если ожидаемый результат заставит себя ждать, если Франция даст повод усомниться в ее искренности, за которую ручался Александр, тогда Александр тотчас же увидит, что против его политики и даже лично против него с удвоенной силой возобновятся нападки, тем более нестерпимые, что он будет сознавать их справедливость. Он вынесет из этого опыта убеждение, что попал в западню, и, быть может, его власть и даже жизнь подвергнутся опасности; во всяком случае пострадает его царственный престиж, сам он будет унижен и скомпрометирован в глазах его подданных, и в силу его законной обидчивости он никогда не простит императору французов такого страшного оскорбления. Таким образом, Коленкур находил, что вопрос, сойдя с политической почвы и перейдя на почву гораздо более щекотливую, на почву личного самолюбия и вопросов чести, принимал угрожающую остроту. По его мнению, наступило время, когда императору следует окончательно привязать к себе Александра под опасением потерять его навсегда. Тогда в силу своей беспредельной преданности, рискуя попасть в немилость, он заговорил откровенно и хотел сообщить своему повелителю всю правду в том виде, как она являлась перед ним. Он сделал это в трогательных, смелых и сильных выражениях:

«Государь, — писал он императору 31 декабря, — союз России с Вашим Величеством и, в особенности, война с Англией перевернули в ней вверх дном все понятия; это, в некотором роде, перемена веры». Затем посланник объясняет, что Александр считает делом своей чести доставить русским приобретения на Востоке за те жертвы, которые налагает на них война с Англией: «Вот его положение, — добавляет он, — или говоря точнее, его затруднительное положение, ибо его рыцарская честь закрывает ему тот выход, который Ваше Величество предлагает ему в Пруссии... Конечно, если чувства и мысли императора не изменятся, он восторжествует над всеми препятствиями, но если он сочтет себя обманутым, если его министр, мечтающий связать свое имя с славными завоеваниями, сочтет себя одураченным за то, что доверчиво отнесся к тому, что торжественно возвестил ему его император, невозможно определить те последствия, к каким его приведут его размышления»[1].

Некоторое время спустя, лучше уяснив себе дело, Коленкур признал, что побуждения, которыми руководствовался Александр как при своем отказе, так и в своих требованиях, не были исключительно сентиментального свойства. Царь упорно отказывал нам в Силезии не столько из сострадания или симпатии к Прусскому дому, сколько в силу неустанной заботы об интересах России. Александр и Румянцев сразу же поняли, что Наполеон предназначал Силезию для усиления герцогства Варшавского. Подпав, несмотря ни на что, под влияние зловещих предсказаний Толстого и притом веря всякому слуху, отвечавшему их тайным опасениям, они боялись, чтобы присоединение Силезии к герцогству Варшавскому не положило начала полному возрождению Польши. Приписываемая ими Наполеону мысль о восстаноовлении Польши показалась им теперь не как случайное, преходящее желание, а как твердо принятое намерение, близкое к осуществлению. Их по-

[1] Письмо от 31 декабря 1807 г.

дозрения приняли определенную форму, смутные опасения превратились в смертельную тревогу, и в результате, благодаря созданию герцогства Варшавского расцвел внедрившийся между двумя государствами и, благодаря обстоятельствам быстро созревший зародыш раздора. Хотя русский император и его министр постоянно говорили о Пруссии, но думали они, главным образом, о Польше; секрет их упорного сопротивления проекту относительно Силезии следует искать в их опасениях, чтобы *Польша не возродилась из пепла*; этой затаенной мысли предназначено было отныне оказывать на их сношения с Наполеоном преобладающее и роковое влияние. «Требование Берлина, быть может, встревожило бы менее»[1],— писал Коленкур; эти слова точно определяли положение. По вопросу же о Турции между правительством и общественным мнением существовала полная общность во взглядах и надеждах, так как император Александр очень чутко относился к желаниям своего народа, находил их справедливыми и вполне присоединялся к ним.

Итак, царь повиновался побуждениям, менее бескорыстным, чем предполагал Коленкур сначала; но тем не менее, посланник с самого начала пришел к неоспоримо верным выводам. Да, тильзитский союз переживал критическое и роковое время. Вопросы восточный и польский, которые уже целое столетие мешали всякому прочному сближению между Францией и Россией, выступили теперь снова на сцену и были поставлены в тесную зависимость; Наполеон же, пытаясь разрешить первый с помощью второго, только усложнил его. Если тот или другой вопрос будет оставаться нерешенным, затягивая настоящее неопределенное положение, союз не развалится немедленно, но то, что составляет его сущность и силу, то есть вера Александра в блага этого союза, безвозвратно исчезнет, и останется только одна иссохшая скорлупа, которая рассыплется при первом же толчке. Все могло бы быть еще исправлено, но только при условии, чтобы Наполеон рассеял недоверие России и заодно удовлетворил ее честолюбивые стремления; необходимо было успокоить ее по вопросу о Польше и, как можно скорее дать ей удовлетворение за счет Турции.

---

[1] Письмо к императору от 17 февраля 1808 г.

VI

ЭВОЛЮЦИЯ К ВОСТОКУ



Наполеон узнает, что Александр не соглашается предоставить ему Силезию и что он настойчиво требует княжества. — Путешествие в Италию; посещение Венеции. — Мираж Востока. Наполеон серьезно думает о разделе Турции и хочет воспользоваться им как средством добраться до своей соперницы. — Пророческое предвидение будущего. — Англия уязвима в Азии. — Упорная мечта об экспедиции в Индию. — Три пути, ведущие в Индию: 1) путь через Суец; 2) мимо мыса Доброй Надежды; 3) через центральную Азию. Наполеон пытался использовать один за другим все три пути. — Проекты Павла I. — Сношения с Персией. — Посланник Фет-Али во дворце Финкенштейн. — Договор, обеспечивающий нам свободный проход через Персию. — Топографическая миссия. — Наполеон думает поставить раздел Турции в связь с экспедицией в Индию. — *Истинный* характер его проектов относительно Азии. — Разговор с Талейраном. — План всемирной войны. — Усилия поднять и использовать против Англии все государства южной Европы; соотношение между проектами относительно Испании и проектами, предметом которых служит Турция. — Колебания императора. — Его постоянно преследует мысль о Египте. — Наполеон хочет выиграть время. — Новый курьер Коленкура; настойчивость России усиливается. — Австрия приглашается на всякий случай к разделу. — Разговор с Меттернихом. — Важная депеша Коленкуру от 29 января 1808 г.; она свидетельствует о нерешительности императора. — Возвращение Савари. — Вопросы, предложенные Коленкуру. — Необходимость в течение некоторого времени поддерживать союз с Россией. — Англия заявляет о своей непримиримости; тронная речь; прения в парламенте. — Гнев Наполеона; он клянется уничтожить Англию и сделать Александра соучастником своих колоссальных планов.

I

В декабре 1807 г., еще до вступления Коленкура в должность, Наполеон узнал впервые из донесений Савари, что император Александр отказывается предоставить ему Силезию. Кроме того, он получил ноту от 18 ноября и из нее увидел, что царь настаивает на своих притязаниях относительно княжеств. Если бы после Савари и Коленкуру не удалось убедить согласиться на предлагаемый обмен, единственным средством для удовлетворения России и сответственного вознаграждения Франции оставался раздел между ними Турции. Но решился ли бы Наполеон на такую крайнюю меру, хотя он и намекал на нее в письменных инструкциях и в разговорах, правда, с оговорками и не скрывая, что это вовсе не отвечает его желаниям?

Депеши Савари нагнали его в Венеции. В продолжение нескольких недель он осматривал свое Транзальпинское королевство. Он был в восторге, видя снова места своих первых подвигов, и горел желанием осмотреть попутно те венецианские государства, которые дал ему Аустерлиц, и привести в блестящее положение свои новые владения. Он только заехал в Милан и быстро прокатил через Ломбардию, сея повсюду на пути полезные учреждения и зачатки цивилизации. Венеция задержала его на более продолжительное время. Он занялся возрождением этого мертвого города и, по рассказам, в четыре дня сделал больше, чем австрийское правительство в четыре года. В Венеции он снова очутился у порога Востока. Здесь-то в 1797 г. взорам его открылись страны, которые имели на него притягательную силу; здесь в нем зародилась мысль, что ему предназначено быть участником в решении их судеб[1]. Теперь, десять лет спустя, не явилось ли перед ним то же, открывающее ему широкие горизонты, видение? Прибыв снова на Адриатическое море, оба берега которого теперь принадлежали ему и вместе с Корфу охраняли в него вход; любуясь этим морем или, вернее, глубоким заливом, из которого открывался вид на греческие моря и из которого он хотел сделать французский рейд, не испытал ли он под влиянием этого зрелища более сильное желание использовать эту чудную операционную базу? Не поддался ли он снова горячему призыву Востока, и не способствовало ли его влечение к нему так же, как и русские требования, уменьшению его предубеждений против великого предприятия? Мы охотно верим этому, так как вид местностей захватывающе действовал на его воображение и иногда имел решающее влияние на его планы. Во всяком случае, не подлежит никакому сомнению, что его мысли снова устремляются к Востоку. Из Венеции он пишет Савари: «Моя главная цель и основное желание моей души — изменить всю политику так, чтобы согласовать мои интересы с интересами императора Александра»[1]; в этих словах как будто слышится обещание покинуть Турцию. Из Удино он приказывает Мармону: «Присылайте мне какие только можете достать, сведения о значении различных провинций Европейской Турции, а также и о положении дел на Востоке; но, собирая сведения, не компрометируйте себя»[2]. Подняв в Тильзите вопрос о разделе, отсрочив и сделав по поводу его оговорки в ноябре, теперь он снова возвращается к нему. Пока еще не решая его, он приступает к его изучению и обдумывает его выполнение.

Верный самому себе, он вовсе не имел в виду идти против неизбежного; он хотел только взять это дело в свои руки и приноровить его к своим видам. Этим путем он сохранял возможность руководить событиями; вместо того чтобы подчиняться им, он хотел повелевать ими. Переворот на Востоке, ограниченный разделом только собственно турецких провинций, был чреват опасностями, так как мог привлечь англичан в Египет. Но не мог ли тот же раздел вместо того чтобы принести пользу нашим соперникам, сделаться орудием для их разгрома и полного уничтожения, если, не останавливаясь перед самыми рискованными последствиями, довести до конца это гигантски громадное дело?

Оттоманские владения, в частности полуострова Фракия и Малая Азия, которые сближаются почти до соприкосновения, имеют не одну только внутреннюю ценность. Их географическое положение во много раз усиливает их значение, так как они представляют пункт соединения Европы с Азией, образуют между этими ма-

[1] См. сочинение графа Boulay de la Meurthe, *Le Directoire et l'expédition d'Edypte*, p. 17—18.

[1] *Corresp.*, 13384.
[2] Ibid., 13386.

териками как бы мост. Для Наполеона же они имели исключительную важность, ибо в эту же самую Азию, но только в более отдаленную ее часть забралась Англия и приобрела там свои самые драгоценные владения; там это морское государство вступило на сушу и сделалось континентальным. Ведь только тут и мог властитель суши добраться до нее и нанести удар непосредственно ей самой. В Индии необъятность владений, завоеванных Великобританией, вредит прочности ее могущества; несколько тысяч европейцев господствуют над миллионами туземцев, над слабовольным населением, покорным с виду, но способным легко приходить в брожение и волнуемым неуловимыми течениями и глухим недовольством. На этом-то неустойчивом фундаменте возвышается ослепительное, но хрупкое здание английского могущества: достаточно прикоснуться к нему, чтобы оно рассыпалось в прах. Поэтому во все времена Англия сознавала необходимость издалека защищать свои индийские владения, никого не допускать до путей к ним и держать в своих руках все подступы. Мусульманские государства, расположенные последовательно от долины Инда до Средиземного моря, как-то: афганские государства, Персия, даже Турция — всегда рассматривались ею как необходимые оплоты ее восточной империи, и в наши дни она объявила, что защита Индии начинается у стен Константинополя. Убежденный в неоспоримой верности ее взгляда, Наполеон думал создать из турецкого Востока исходную точку для похода в глубь Азии. Он думал, что если Франция и Россия соединят все свои силы, если Турция будет уничтожена или послушна, шкак раба, а Персия и пользована, если соединенные армии, выйдя из Малой Азии, займут позиции на возвышенных плоскогорьях, которые идут вдоль бассейна Евфрата и господствуют над ним, то на пути между союзными армиями и английскими владениями не будет никакого непреодолимого препятствия. Только море, усеянное английскими кораблями, может ограничить их свободу действий; от Евфрата до Инда им придется устранить со своего пути только варварские племена, преодолеть расстояние, победить природу, пройти по суше, и, быть может, Франции легче будет дойти до Инда, чем переплыть Па-де-Кале.

За время борьбы с вечным врагом у императора

всегда было в запасе два плана, из которых он выдвигал на первое место то тот, то другой. То он предается мысли о высадке, хочет напасть на Англию на ее острове и сразиться с нею грудь с грудью; то предпочитает напасть на те пункты, по которым она разбросала свои морские и торговые станции. Тогда он мечтает развить военные операции против этого распространившегося повсюду государства во всех пунктах его владычества, но особенно в тех странах Азии, где оно обладает неисчерпаемым источником богатств, в той колонии, которая сделалась империей. В продолжение десяти лет в его мыслях о будущем живет план нападения на Индию, принимая в зависимости от создавшегося положения тот или иной характер.

В 1797 г. в то время, когда Директория подготовляла высадку в Ирландию, Бонапарт организует египетский экспедиционный отряд, составляющий «правое крыло действующей против Англии армии» и имеющий назначением открыть нам через Суец путь к прекраснейшей колонии наших врагов[1]. Но завоеванный Бонапартом Египет был отнят у его заместителей, и, чтобы найти доступ к Индии, Первый Консул должен был искать других путей. Был момент, когда Россия предлагала открыть ему путь в Индию. Павел I увлекся Наполеоном и хотел помочь ему с таким же страстным порывом, с каким недавно сражался против нас. Он лелеял мысль о франко-русской экспедиции через Азию[2], и его мечта окончилась только с его жизнью. Павел внезапно сошел со сцены; Россия замкнулась и снова воздвигла между нами и Азией свою непроницаемую громаду. Однако Наполеон все-таки не отказывается от своих наступательных планов или, по крайней мере, от диверсии в Индию. В 1805 г., в то время когда он подготовляет нападение на Англию и сосредоточивает французские силы между Булонью и Дюнкирхеном, он замышляет усилить мыс Доброй Надежды тремя эскадрами и направить их к берегам большого азиатского полуострова[3].

Несколько месяцев спустя Трафальгар снова за-

---

[1] Boulay de la Meurthe, Le Directoire et l'expedition d'Egypte, p. 15.
[2] См. Rambaud. Histoir du Russie, 524—25.
[3] Corresp., 8279.

крывает перед ним доступ к океану, но вот как будто опять открывается путь в Индию — по суше. Турция возвращается к союзу с нами, а далее к востоку, за империей турецкого султана, наши отважные агенты проникают в Персию. Им предшествует молва о наших победах. На персидском троне они находят монарха, поклонника Наполеона, от всей души желающего поступить в его школу. Шах Фет-Али объявляет себя другом великого западного императора, посылает ему подарки, просит офицеров для обучения войск, ружей для вооружения, умоляет о нашей помощи против России и предлагает свою против Англии. Наполеон тотчас же соображает, что Персия, единственное полупросвещенное государство Иранского плоскогорья, может, благодаря своим средствам, дорогам, некоторому подобию организации, облегчить нам путь в Индию и довести нас до английских колоний. Это неожиданное содействие дает толчок его смелой мысли. В нем пробуждается идея проникнуть в Индию через Азию и принимает определенную форму.

С Персией устанавливаются сношения: посланник Фет-Али отправляется в Европу. Зимой 1807 г. он застает Наполеона в Польше в самый разгар борьбы с Россией. Император принимает его в своей квартире в Финкенштейне, в промежуток времени между двумя сражениями, среди войск, расположившихся биваками на мерзлой земле. Эта воинственная картина вызывает перед глазами восточного человека образ тех азиатских завоевателей, у которых, помимо их лагеря, не было другой столицы и которые управляли полмиром из своей палатки. Из Финкенштейна посланника перевозят в Варшаву; начинаются переговоры; Наполеон преследует свою идею и заставляет перса подписать договор, в котором обращает на себя внимание следующая статья: «Если бы Его Величеству Императору Французов заблагорассудилось отправить сухим путем армию для нападения на английские владения в Индии, Его Величество Персидский Император, как добрый и верный союзник, предоставляет ему свободный проход по своей территории. В это же время в Персию был отправлен генерал Гардан; но этот посланник был, главным образом, главой топографической миссии, которому было поручено изучить топографию страны, ее средства и способы провести через нее армию. Он должен был собрать сведения в течение трех месяцев, а затем, после ратификации договора, долженствующего открыть нам доступ в глубь Азии, передать их своему повелителю[1].

Между тем Россия уступает нашему оружию и просит мира. Между императорами происходит свидание. После сердечного объяснения они делаются друзьями и заключают союз, полагая в основу его общность вражды и общность политических целей. В союзе с Россией Наполеон видит новый довод в пользу того, чтобы действовать в Азии. Чего только он не сделает в этой части древнего мира, если к содействию, обещанному ему Фет-Али, прибавится еще содействие, которое предлагал ему Павел I; если он одновременно будет располагать и Персией, и Россией? В Тильзите он поверяет свой план Александру, говорит ему о предполагаемой экспедиции и просит принять в ней участие. Четыре месяца спустя Коленкуру поручается возобновить разговор об этом в Петербурге[2]. Александр и Румянцев отнеслись к нашему предложению сдержанно[3]. Будучи ближе к месту предполагаемых действий и в лучших условиях для оценки трудностей предприятия, зная варварское состояние народов и громадность расстояний, они вовсе не разделяли фантазий Павла I, но тем не менее избегали высказаться в отрицательном смысле. Чувствовалось, что они могли бы дать согласие на наши планы, если не по убеждению, то по крайней мере из желания быть нам приятными. Но, очевидно, Россия не оказала бы нам содействия даром; она пожелала бы получить выгоды, пропорциональные возможному риску. Плохо веря в сомнительные завоевания по ту сторону пустыни, она потребовала бы себе теперь же нечто положительное; прежде чем действовать в Азии, она заставила бы заплатить себе в Европе. Наполеон сознавал, что даже уступка княжеств не подвинет ее на это дело, что необходимо будет сделать ей за счет Турции выходящие из ряда вон, окончательно решающие восточный вопрос уступки, и вот мало-по-

---

[1] Текст договора и инструкции генералу были опубликованы в сочинении, озаглавленном: «Miss on du general Gardane en Perse sous le premier empire» par le comte Alfred de Gardane Paris, 1865, p. 71—94, Gf Lettres inédites de Talleyrand à Napoléon, publiées par M. Pierre Bertrand, fevrier à avril 1807.

[2] См. в приложении инструкции Коленкуру.

[3] Коленкур к Шампаньи, 31 декдабря 1807 г. Archives des affaires étrangères Russie, 144.

малу в нем начала зреть мысль, исполнение которой, по-видимому, превышало человеческие силы, мысль — построить поход в Индию на разделе Оттоманской империи.

Верил ли он искренне в возможность достигнуть Индии? В наши дни Россия, чтобы пробраться в глубь Азии и приблизиться к подножию едва доступных гор, в которых расположены проходы в Индию, употребила треть столетия. Провидя пророческим оком это движение России, думал ли Наполеон заставить ее совершить его одним прыжком, по его команде, в силу данного им импульса, предполагая, что она бросится туда вслед за несколькими тысячами французов? Если действительно такова была его надежда, нельзя не остановиться в смущении перед столь дерзновенной мыслью и вместе с тем столь глубоким проникновением в будущее. Правда, союз с Пресией делал предприятие менее фантастичным. В девятнадцатом веке агенты и солдаты царя, вынужденные избегать персидской территории, должны были обогнуть ее с севера, пройти через степи Туркестана и могли приблизиться к Индии только после грандиозного обхода. В 1808 г. расположенная на Иранском плоскогорье, занимающем господствующее положение между долиной Евфрата и Индийскими странами, Персия открывала нам более естественный и прямой путь в Индию, тот путь, по которому всегда шли завоеватели и купцы. Но было ли содействие Персии искренним или, по крайней мере, имеющим цену? Как ни симпатизировал нам Фет-Али, правительство его было распущено и своевольно; его действиями руководила интрига; все зависело от подкупа. Если бы Персия и допустила нас на свою территорию, она, вероятно, воспретила бы доступ к себе нашим союзникам, русским, в которых привыкла видеть опасных врагов.

Эти затруднения не могли ускользнуть от Наполеона, и, однако, несмотря на все это, при чтении его точных и подробных инструкций Гардану ясно видно его намерение наметить этапы будущего похода. В складе его ума всегда выступает одна особенность, которой не следует пренебрегать при оценке столь невероятных проектов. Даже позволяя себе увлекаться ими, он был далек от того, чтобы не признавать за ними рискованного и романтического характера и не в меру обольщать себя возможностью успеха. Но так как его необычайная способность и страсть к математически точному подсчету шансов своих проектов были равны силе его воображения, — явление, быть может, единственное в своем роде, — то как только какой-либо из таких проектов останавливал на себе его внимание, он находил особенное удовольствие представлять его себе в точной, конкретной форме, с правильными очертаниями, с точно определенными линиями, и даже его мечты принимали математическую форму. По тому серьезному вниманию, с каким он изучал поход в Азию, нельзя с достоверностью заключить, что он льстил себя надеждой довести одну из своих армий до Индии, по крайней мере, в одну кампанию. Мысль, которую он лелеял, — как это и обрисовывается в его переписке и подтверждается указаниями современников[1], — очевидно, была более осуществимой и более практичной.

Когда он думал о приведении в исполнение стремительного движения Франции и России к азиатским странам, его непосредственной целью было не поразить Англию оружием, а причинить ей моральный ущерб, пошатнуть ее престиж и поколебать в ней уверенность в ее безопасность. Для достижения этого результата не было необходимости доходить до Индии, нужно было только доказать, что это возможно. Император имел в виду скорее демонстрацию, чем нападение. По его мнению, достаточно будет нашим колоннам миновать Босфор, чтобы привести в трепет Азию. В безлюдных пустынях этого материка, где слышен малейший шорох, шум наших шагов пробудит бесконечное эхо и донесется до Индии; он вселит надежду в народах и ужас среди их владык. Англия почувствует непрочность своего могущества. Увидя перед собой нацию, которая, перейдя пределы возможного, готовится нанести ей смертельный удар, она испугается нападения, успех которого удвоится благодаря имени Наполеона, вступит для предупреждения нападения в переговоры, и гордыня ее смирится перед столь страшной угрозой.

Вот какие мысли роились в уме Наполеона при его возвращении из Италии; можно думать, что они часто посещали его за время его долгого пути. 1 января 1808 г., возвратясь в Тюльери, не отдохнув ни минуты, он запирается с Талейраном и проводит в беседе с ним

[1] Corresp., lettres du 2 fevrier 1808, XVI, 586 et du 17 fevrier 1808, 13573. Gf. les instructions de Caulaincourt in fine.

пять часов[1]. Хотя он и позволил князю Беневетскому переменить должность министра на звание вице-кардинала, но, освободив его от других дел, он всегда охотно с ним советовался, посвящал его в важные государственные дела и держал его при себе на случай совещаний по вопросам высшей политики. Их беседы повторялись в течение нескольких дней и не ускользнули от общего внимания. В них он открыл ему оба проекта, — первый, по которому в жертву приносилась Турция, и второй, по которому объектом его операций могла сделаться Индия. Несмотря на возражения Талейрана, он дал заметить, что тот и другой проект его сильно соблазняют[2].

Однако эти проекты заключали в себе только одну сторону его обширнейших планов, только одну из частей обнимавшей весь мир политической системы. Другие дела поглощали тогда императора, и каждое из них могло быть рассматриваемо им как дело исключительной важности и требующее полного его внимания. В это время он заканчивал и усиливал оккупацию Португалии, посылал новые полки по ту сторну Пиренеев, осторожно вводил свою армию в глубь Испании и потихоньку протягивал к ней руку. В Италии, заняв сперва Этрурию, Парму, Пьяченцы, он решает захватить романские государства и зачинает против главы церкви роковую для его памяти борьбу. Эти многочисленные дела не отрывают его от мыслей о Востоке, и несмотря на то что столько предприятий, начатых и подготовленных, меняют в его уме свой характер, он хочет поставить их в тесную связь, чтобы они дополнили одно другое и взаимно поддерживали друг друга. По его мнению, всех их связывает одна общая идея. Он не рассматривает их каждую в отдельности, но видит в них ряд военных операций, направленных к одной общей

[1] Толстой Румянцеву, 29 декабря — 9 января, 30 декабря — 11января 1808 г. Архивы С.-Петербурга.

[2] Memoires de Metternich, II, 144 а 150 по разговорам с Талейраном, 16 января 1808 г. Талейран по секрету сказал австрийскому послу: «У императора два плана, один основан на реальной почве, другой на романтической. Первый, это раздел Турции, второй — экспедиция в восточную Индию. Вы знаете, что новые перевороты не входят в мои планы; но в этом отношении ничто не может повлиять на решения императора, характер которого вам известен». Gf Beer. Die orientalich Politik Oesterreichs 171—174, и Zehn Jahre oesterreichischer Politik, 303—308.

цели, совокупность которых должна сломить Англию и повергнуть ее, доведенную до ничтожества, к его ногам. Страстное желание заставить Англию занять подобающее ей место и тем добиться полного мира охватывает его властно, с непреодолимою силой. Оно то подстрекает и одухотворяет его гений, то вводит его в заблуждение, то внушает ему гениальные, глубокие, но чересчур широкие планы, диктует применение чрезвычайных, сверхчеловеческих мер, которые нарушают как обычные законы политики, так и права народов. Сдавив, как в тисках, Германию, веря в возможность обеспечить за собой Россию, которая стоит его стражем на севере, он думает, что пришло время организовать юг Европы для борьбы с морским и колониальным могуществом англичан. Несколько государств на юге из принципа или по недостатку решимости уклоняются еще действовать сообразно его желаниям; их слабость делает их доступными влиянию нашей соперницы. Следует, чтобы они сплотились под его рукой; чтобы не только прекратили всякие сношения с нашими врагами, но и могли быть употреблены в дело против них; чтобы они допустили нас на свою территорию, отреклись от своих симпатий и поднялись против нашего врага. Они должны или исполнять нашу волю, или погибнуть, ибо их средства, их население должны быть использованы для общего дела; их территория должна быть предоставлена нам для свободного прохода до тех мест, которыми владеет или которым угрожает Англия. Распространяя французскую власть на Средиземном море, Наполеон хочет подчинить себе этот обширный бассейн от одного конца до другого для создания одной громадной операционной базы. В основе всего этого лежит та же самая мысль, которая побуждает его направить правое крыло своих сил к Гибралтару, а левое перекинуть по ту сторону Босфора.

Несмотря на то, что ум его работает с поразительной силой, что он наводнен и как бы брызжет идеями, он вовсе не думает, что наступило время для решения двух главных вопросов, испанского и восточного. Он ждет, чтобы события, принимая более определенный характер, доставили ему более ясные указания и достаточные причины для принятия того или другого решения. Думая об Испании, он колеблется между несколькими решениями, не зная, следует ли ему низложить царствующую династию или сделать ее своим орудием;

следует ли уничтожить королевство, завладев при этом его северными провинциями, или попытаться примирить его с собой, обеспечив ему лучший образ правления; следует ли довести свои границы до Эбро или же распространить свою сферу влияния до Кадикса. Что касается Востока, то он выжидает, когда он лучше уяснит себе желание России, и ждет от Коленкура первых его донесений. Прежде чем пожертвовать Оттоманской империей, он хочет знать, безусловно ли обязывают его к этому требования Александра, и в то же время задает себе вопрос, способна ли Турция играть активную роль в его политике.

Зная, что турецкий посланник только что виделся в Париже с Толстым и выразил желание поскорее начать переговоры, он приказывает 12 января задать Себастиани целый ряд вопросов. Подпишет ли Порта мир, по которому она лишится Молдавии и Валахии, и будет ли уступка княжеств достаточным средством для удовлетворения России? С другой стороны, не предпочтут ли турки скорее возобновить борьбу, чем уступить эти две провинции, и, во всяком случае, нужно ли, чтобы Восток оставался в пламени? Останется ли Порта нашей союзницей против Англии, каков бы ни был исход переговоров? Какое военное содействие может она предложить нам? По всем этим вопросам Наполеон желает иметь обстоятельные сведения[1]. Но в конце концов он все-таки возвращается к своим первоначальным возражениям против раздела и находит, что ему не удалось их устранить. Присутствие британского флота в Средиземном море стесняет все его планы, мешает их осуществлению и, умеряя полет его мысли в область воображаемых завоеваний, возвращает его к грозящей ему действительности, которую он предусматривает и которой боится. У него нет уверенности, что Турция распадется при первом толчке и что, следовательно, Азия будет для нас открыта; но зато он почти что уверен, что Англия попытается овладеть Египтом и островами, лишь только мы нанесем первый удар оттоманской неприкосновенности. Перед такой грозной перспективой он отступает в нерешительности и временно останавливается на мысли не ускорять событий. 14 января он заставляет Шампаньи написать Коленкуру в смысле первых данных ему инструкций, т. е.

[1] Corresp., Archives des affaires étrangères, Turquie, 216. 13446 Шампаньи к Себастиани, 14 января 1808 г.

чтобы он вернулся к турецко-прусскому проекту и отклонил всякую компенсацию для Франции на Востоке: «она решила бы вопрос о существовании Турецкой империи, а император отнюдь не хочет ускорять ее падения».

Его истинные намерения в рассматриваемое нами время обнаруживаются в post-scriptum, прибавленном к министерской депеше. Теперь он не надеется уже получить Силезию за уступку России княжеств; его желание сводится к тому, чтобы как можно дольше не высказываться и не связывать себя обязательствами. Поэтому посол должен затянуть переговоры; не вызывать императора Александра и его министров на категорические объяснения; избавить его от требования вывести немедленно войска из Пруссии и от необходимости принимать теперь же решение относительно Турции. Настоящее положение дел, несмотря на всю свою непрочность и неопределенность, вовсе не было для него неблагоприятным; оно давало возможность нашей армии оставаться в Пруссии и предоставляло Франции господство над Европой; оно могло и долее продолжаться вполне безопасно. Имея в виду продлить это неопределенное положение, Наполеон приказывает добавить к сведению Коленкура следующее замечание: «Существующее положение отвечает намерениям императора; ничто не вынуждает желать его изменения; стало быть, не следует ускорять принятия определенных решений петербургским кабинетом, тем более, если есть основание думать, что они не будут соответствовать намерениям императора. Особенно это применимо к разделу Турецкой империи в Европе, т. е. тому самому делу, которое император желает отсрочить, так как при настоящих условиях оно не может состояться с выгодой для него. Следовательно, вы должны постараться выиграть время, действуя настолько умело, чтобы эти отсрочки никоим образом, не вызвали неудовлетворения Русского двора; вы должны неустанно внушать ему, что главным предметом забот и усилий обоих императоров должна быть война с Англией и мир, к которому ее необходимо принудить»[1].

Депеша от 15 января с post-scriptum, помеченным 18 числом, была приготовлена, но не была еще отправлена, когда пришли от Коленкура донесения в форме

[1] Archives des affaires étrangères, Russie, 146.

заметок и наблюдений, которые он вел со времени своего приезда до 31 декабря. Вероятно, читатели не забыли, в каких выражениях и с каким возрастающим жаром говорил в них посланник о непреодолимом предубеждении царя против проекта, в основу которого была положена уступка Силезии, о его вновь пробудившемся недоверии, о том что его честолюбие возбуждено до последней степени; и что наступило время рассеять его недоверие и дать удовлетворение его честолюбию, словом, о том, что безотлагательно нужно остановиться на известном решении и провести его в жизнь. Итак, необходимость принять определенное решение, от чего Наполеон старался всячески избавиться, становилась неотложной. Основанные на наблюдениях выводы посла удивили его. Он велел отправить заранее составленные депеши, но при этом обещал Коленкуру новые и точные инструкции. Пока же он уполномочивал его подать надежду на соглашение, хотя бы Франции при подписании такого соглашения пришлось пожертвовать своими принципами. «Ни о чем не просите, — заставляет он написать ему, — и не давайте определенного ответа на требования, которые вам предъявят, но при всяком удобном случае вы должны говорить о том сердечном участии, с каким император старается относиться к желаниям императора Александра, и что единственно желания русского императора могут заставить его уклониться от направления, которое намечают ему интересы его империи. Следует указать на возможность во всем сойтись при взаимном искреннем желании понять друг друга»[1].

В следующие за этим дни император снова занимается вопросом о разделе Турции, изучает его, рассматривает его со всех сторон и изыскивает средства ослабить невыгодные стороны и опасности ужасного дела, на которое толкает его сама судьба. Русские вожделения, упорство которых ясно выступает наружу, беспокоят его не менее, чем предполагаемые захваты Англии. Он чувствует, что если он должен принять предосторожности против своих врагов, то в той же мере ему необходимо защитить себя и от своих союзников. Он задается вопросом: не сумеет ли он создать на пути честолюбивых стремлений России в иной форме преграду

[1] *Шампаньи к Коленкуру, 18 января 1808 г.* Archives des affaires étrangères, Russie, 146.

взамен той, которую он уничтожит, разрушив Турцию, и нет ли возможности удовлетворить Россию, задержав в то же время развитие ее могущества?

Тогда Наполеон усматривает известные выгоды в политике, которую он пытался вести в самое недавнее время, которую постоянно превозносил Талейран, но которая была несовместима с тильзитским соглашением. В июле 1807 г. он с презрением устранил Австрию от всякого участия в предстоящих разделах; в январе 1808 г. он считает себя счастливым, что на свете есть Австрия, и что он может воспользоваться ею для того, чтобы поставить преграду выходящему из пределов могуществу наших союзников. Теперь он стремится соединить обе системы, между которыми он некогда колебался, т. е. союз с Россией, и в то же самое время союз с Австрией. Пусть император Александр получит по ту сторону Дуная выгоды, настолько блестящие, чтобы они могли на время обеспечить нам его признательность, но зато пусть и Венский двор будет приглашен к разделу и выкроит себе обширные владения в центральных частях Турции. Тогда политика Венского двора, решительно втянутая в восточные дела, обратит главное свое внимание на Восток; там как наши интересы, так и австрийские столкнутся с интересами великой православной державы, которая все более будет стремиться к присоединению к себе одноплеменного и православного населения, и, благодаря этим условиям, монархия Габсбургов перейдет на нашу сторону и окажет нам содействие. Уже с этого времени Наполеон хотел подготовить Австрию к предназначавшейся ей роли. Вот почему, рассматривая раздел, главным образом, как средство быть приятным императору Александру, он, прежде чем заговорить о нем с русским кабинетом, сообщил по секрету предполагаемый план австрийскому послу.

22 января он принимал в частной аудиенции графа Меттерниха, посланника Франца I. После нескольких ничего не значащих слов он, по выражению Меттерниха, «обеими ногами прыгнул в турецкий вопрос». «Только властная сила обстоятельств, — сказал он, — может вынудить меня нанести удар Турции, которую я должен был бы всячески поддерживать; к этому помимо моей воли могут принудить меня англичане: мне приходится искать их там, где я могу их найти. Мне ничего не нужно, я не ищу никакого расширения; Египет и некото-

рые колонии представили бы для меня некоторую выгоду, но эта выгода не может возместить непомерного расширения России. Вы также не можете смотреть равнодушно на ее расширение, и я вижу, что именно разделу Турции суждено теснее нас сблизить». Здесь слова императора приняли знаменательное значение: в двусмысленных фразах, в которых чувствовались и бессильная злоба, и опасения, у него вырвалось полупризнание о чрезвычайных жертвах, к которым, быть может, принудит его союз с Александром. «В тот день когда русские...» — сказал он, затем тотчас же спохватился и, «проглотив» начало этой фразы, он продолжал: «Когда водворятся в Константинополе, вам нужна будет Франция, как помощница против России, и Франция будет нуждаться в вас, чтобы сдерживать русских». Он нарисовал перед глазами Меттерниха русскую опасность и «с силой и увлечением говорил о ней»; наоборот, одобрил притязания Австрии на долину Дуная, притязания, по его мнению, вполне законные, так как они «основываются на ее географическом положении». Наконец, изложив все вкратце, он в виде заключения сказал графу: «Вы можете уведомить ваш двор, что вопрос о разделе Турции еще не поднят; но лишь только это случится, вы не только будете допущены, но даже приглашены, как это и подобает по всей справедливости, для защиты и обсуждения с общего согласия ваших интересов и ваших видов»[1].

Предупрежденный Талейраном Меттерних ждал этого разговора. Он не успел еще получить приказания своего двора и ограничился принятием к сведению слов императора. Впрочем, Наполеон и не хотел ничего другого. Он не думал, чтобы Австрия могла не откликнуться на надежды, которые он на нее возлагал. Не потому чтобы он верил в силу и постоянство восточных вожделений Франца I, напротив, ему было известно, что Австрия, — уже по самой своей натуре сторонница охранительной политики — с ужасом будет смотреть на новое разрушение; но он знал, что ее географическое положение вменяет ей в обязанность, скрепя сердце, принимать участие во всяком разделе Турции, раз она не в состоянии помешать ему. Для Австрии Оттоманская империя очень удобный и не особенно грозный со-

[1] Mémoires de Metternich, II, 151, 154 a, 156, 159.

сед; у нее нет ни малейшей охоты заменить его одним или несколькими другими государствами, менее уживчивыми. Но лишь только новое расхищение Турции делается неизбежным, единственным средством Австрии уменьшить роковые его последствия остается примкнуть к дележу: она плачет, но берет, и, обогащаясь за счет турок, утешается в своем бессилии спасти их. На этих, совершенно верных данных Наполеон основывал свои расчеты. Поэтому он не столько желал сговориться с Австрией, сколько заранее предупредить ее, чтобы события не застали ее врасплох, чтобы и она со своей стороны могла изучить вопрос, определить точно свои намерения и подготовить средства к борьбе. Благодаря этому, когда наступит час решительного спора, она будет в состоянии властно, с полным знанием дела, появиться на сцене и, став на нашу сторону, работать в пользу наших интересов.

Но, приняв предосторожности в Вене, был ли намерен Наполеон приступить, наконец, совместно с Россией к важному вопросу? 29 января он отсылает Коленкуру обещанный ответ, но эта инструкция не содержит, в себе ничего оперделенного. Император подвигается очень мало вперед — он делает только один шаг по направлению к чрезвычайным мерам. Он позволяет Коленкуру не только выслушивать русских, если они заговорят с ним о разделе, но и спросить, как они думают и желают выполнить это дело. Однако слова посланника не должны иметь значения ясно выраженного согласия. Наполеон отлично понимал, что если война с Англией затянется, он вынужден будет вступить с Россией в серьезное, прочное соглашение, что он вынужден будет удовлетворить царя, и намеревался включить требуемое царем удовлетворение в общую сумму вознаграждений за действия, гибельные для Британской империи. Тем не менее, он имел в виду решиться на это только скрепя сердце, и в настоящее время старался отдалить, насколько возможно, часть расплаты, ибо отсрочивая ее, он все еще надеялся избавиться от нее. Положим, Англия как будто готова вести с нами ожесточенную борьбу. Но искренно ли ее поведение? Может быть, чтобы привести ее в более мирное настроение, достаточно будет найти только способ подойти к ней и объясниться? Недавно, до отозвания своего посланника из Лондона, венский кабинет пытался предложить свое

посредничество в лице этого агента[1]. Австриец плохо взялся за дело и не имел успеха. Но, думал Наполеон, разве порванная нить не может быть опять скреплена более искусной и более доброжелательной рукой? Ведь вполне возможно, что в ближайшие месяцы, даже недели, завяжутся переговоры, что они сделаются серьезными, приведут к цели и в результате избавят его от непоправимых решений. Но захочет ли Александр и будет ли иметь возможность согласиться на новые отсрочки? Долго ли еще, не касаясь вопроса о Пруссии, а говоря только о разделе, можно заставить царя ждать и питать исключительно только надеждами, и отталкивая его от нас и не компрометируя его личной безопасности? Вот вопрос, по которому недавно прибывший из Петербурга Савари после долгих расспросов не мог сказать ничего определенного[2]; по этому же вопросу было предписано собрать сведения и Коленкуру. В письме от 29-го император не приказывает, а только расспрашивает: этот документ выдает секрет его нерешительности. Чувствуя на себе тяготение рокового закона, обрекающего его не останавливаться на своем пути, он противится еще его велениям, и, готовясь переступить пределы, за которыми человеческий разум и предвидение теряют свою силу, увлеченный потоком борьбы до грани, за которой начинается неизвестность, он, прежде чем поставить на карту свою судьбу, колеблется и собирается с мыслями.

«Господин посланник, — пишет Шампаньи, — я сообщал вам, что мне придется более подробно ознакомить вас с намерениями Императора относительно того направления политики, которого вы должны держаться. Я это делаю теперь. Вы прекрасно выразили намерения. Нужно непрестанно говорить при Петербургском дворе, — и крайне важно, чтобы Петербургский двор вполне проникся этим убеждением, — что главный интерес Франции и первейшее желание Императора состоят в точном выполнении тильзитского договора, что Император вовсе не думает о расчленении Пруссии, что ему не нужно ни одной из ее провинций и что если он и требует Силезию, как компенсацию за Валахию и Молдавию, которые останутся за русскими, то вовсе не потому, что придает особую цену приобретению этой

[1] Mèmoires de Metternich, II, 144.
[2] Mémoires du duc de Rovigo, III, 205.

провинции, а в силу невозможности найти в другом месте справедливое вознаграждение за подобную жертву. Но и эта сделка будет заключена им весьма неохотно, единственно из желания оказать услугу императору Александру и усилить престиж его власти. Император более всего предпочитает, чтобы положение вещей оставалось таковым, как установил его тильзитский договор.

Но может ли оно оставаться таким? Так как население Петербурга не будет занято приготовлениями к войне и надеждой на новое расширение империи, то не возрастет ли его нетерпение вследствие лишений и потерь, которые налагает на него прекращение давнишних сношений с Англией? Не найдет ли недовольство народа поддержку у недовольных при дворе и в армии? Не будет ли армия тяготиться бездействием и с величайшим неудовольствием смотреть, как исчезают ее надежды на возможность сделать, благодаря новым завоеваниям, блестящую карьеру? Может ли английская партия извлечь значительную выгоду из такого настроения?

Разузнайте, Милостивый Государь, будет ли Император в силах справиться с затруднениями. Критический момент наступит весной. Тогда прекращение торговых сношений с Англией даст себя сильнее почувствовать. Может ли император Александр, не меняя политической системы и не опасаясь революции, ждать следующей зимы, не имея, однако, возможности сказать своим подданным: «Благодаря моему союзу с Францией, я увеличил Российское государство, и хотя вы и испытали некоторые лишения, но они с избытком вознаграждены уважением, с которым произносится русское имя, и приобретением богатых провинций, которые увеличивают и богатство, и мощь России»?

Наконец, как долго, по вашему мнению, можно будет поддерживать спокойствие в России, питая ее только надеждами, от осуществления которых избавит нас мир?

Если правда, что благодаря вашему званию, вашему блестящему положению и влиянию на дипломатический корпус, — который вскоре будет состоять из лиц, преданных Франции, — вы можете влиять и на петербургское высшее общество, имеющее со своей стороны, как говорят, большое влияние на двор и армию, то вам предлагается не пренебрегать никаким средством для достижения этой цели. Все средства, которые могут быть вам доставлены отсюда, будут даны в ваше распоряжение.

Но можете ли вы добиться того результата, который необходим для осуществления желания Императора, а именно: поддерживая до мира с Англией франко-русский союз, ограничиться только точным выполнением тильзитского договора, не подвергая императора Александра опасностям дворцового переворота?

Император отлично знает, что, как уступкой Валахии и Молдави, так и разделом Турецкой империи, он сохранит союз и обеспечит императору Александру спокойное царствование. Но в таком случае союз обойдется нам слишком дорого: в Европе начнутся новые перевороты. Нет сомнения, они представят гению Императора счастливые моменты, которым он сумеет дать выгодный для себя оборот, но эти же перевороты отдалят мир с Англией и усилят для Франции и Европы бедствия войны, которая и так уж затянулась слишком долго и делается, благодаря все более далеким походам, более дорогой и более утомительной.

Однако в ваших разговорах с императором Александром и графом Румянцевым не отвергайте окончательно идеи о разделе. Наведите справки, как хотят его совершить, каковы средства для его выполнения какие государства хотят приобщить к нему, и не скрывайте, насколько он малоблагоприятен для интересов Франции, которая не может иметь в нем выгодной доли, как бы обширна она ни была. Укажите также на выгоду отложить раздел до мира с Англией или, по крайней мере, до того времени, когда можно будет вырвать у нее господство на Средиземном море, ибо это господство дает ей в настоящее время возможность захватить самые драгоценные части Оттоманской империи»[1].

Всегдашним и главным препятствием, на которое намекал император и которое считалось до сих пор непреодолимым, было положение, занятое Англией на пути в Египет и Архипелаг. Однако стечение благоприятных обстоятельств начинало внушать ему надежду на устранение этого препятствия; но на них мы укажем в дальнейшем изложении. Несколько дней спустя, в самом конце января, пришли из Лондона известия, которые привели его в бешенство. В Лондоне только что открылась парламентская сессия; тронная речь, прочитанная перед обеими палатами и обсуждаемая ими, дышала неукротимым упорством; министры говорили в

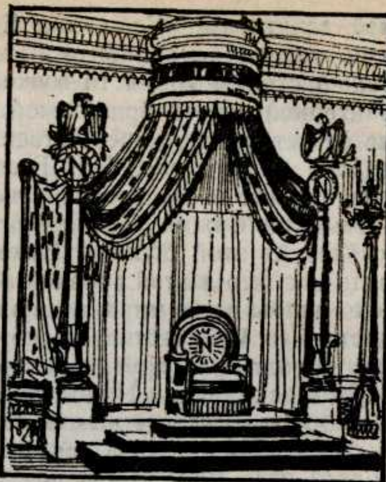
[1] Archives des affaires étrangères, Russie, 146.

ней депутатам: «Если, как Его Величество твердо в этом уверен, вы проявите в это решительное для судьбы вашей страны время то мужество, которое служит характерной чертой британской нации, если вы бесстрашно встретите противоестественную лигу, которая образовалась против вас, Его Величество приказывает нам убедить вас в его твердой уверенности, что с помощью Промысла Божия Великобритания с успехом и славой выйдет из этой борьбы. Наконец, нам приказано уверить вас, что в этой грозной борьбе, на которую устремлены взоры всего мира, вы можете рассчитывать на твердость Его Величества, у которого, помимо интересов его народа, нет других интересов...»[1]. При чтении этой гордой декларации Наполеон затрясся от гнева. Он принял брошенный ему вызов. Так как Англия хотела войны на жизнь и смерть, он поклялся уничтожить ее и потрясти весь мир, чтобы раздавить ее под его развалинами. Тогда и он, подобно Англии, принял свое решение, решил теснее сблизиться с Россией, разбудить эту громадную империю, открыть честолюбию Александра беспредельную будущность и показать ему Константинополь, как этап на пути в Индию.

[1] Moniteur du 2 février, 1808.

VII

ПИСЬМО ОТ 2-го ФЕВРАЛЯ 1808 г.



Письмо Наполеона к Александру от 2 февраля 1808 г. — Оно дышит страстью к великим делам. — Искренно ли оно?— Не есть ли предложение поделить Турцию только приманка, назначение которой ослепить Александра и отвлечь его внимание? — Необходимость отвлечь внимание царя от Испании и Пруссии; предложение раздела дает к тому средства. — Не преследует ли письмо императора также и другую цель: подготовить предстоящие действия на Востоке? — Планы Наполеона относительно Турции и Индии зреют и постепенно развиваются. — Приготовления в Далмации и Албании. — Морские операции. — Стремления Наполеона завладеть Средиземным морем. — Его усилия захватить одну за другой все господствующие над нами позиции. — Он приписывает исключительную важность обладанию Корфу. — Кратчайший путь в Египет. — Многочисленные меры, употребляемые для обеспечения и сохранения Корфу. — Пока англичане будут в Силиции и на Мальте, они останутся властителями Средиземного моря. — В декабре 1807 г. англичане выводят из Сицилии часть своих войск и увозят их в океан. — Наполеон тотчас же призывает в Средиземное море наибольшую часть своих морских сил. — Он обдумывает внезапный захват Сицилии. — Настоятельная необходимость: снабдить Корфу всем необходимым. — Наполеон думает о возможности сочетать эти два предприятия, успешное выполнение которых устранит его главное возражение против раздела. — Параллель между инструкциями, данными королю Жозефу и адмиралу Гантому, и предложениями, сделанными в Петербурге. — Откровенное сообщение министру Декре по поводу Турции и Египта. — Условный характер проекта нападения на Турцию. Разговор с Толстым на охоте. — Наполеон ставит крупные предприятия, которые он обдумывает, в зависимость от враждебных отношений с Англией; он усиленно старается добиться мира; справедливость, которую воздают ему его самые ожесточенные враги. — Истинный смысл письма от 2 февраля. — Сочетание планов политического и военного характера. — Наполеон хочет дать Англии сражение на пространстве целого мира. — Желаемая диверсия на севере; предполагаемые операции у берегов океана, в Испании, в Средиземном море, в Африке и как последнее средство — проект относительно Турции и Индии. — Мысли императора о будущей судьбе Востока. — Инструкции Коленкуру. — Наполеон предлагает новое свидание. — Прения, которые вскоре откроются в Петербурге, должны носить только подготовительный и крайне неопределенный характер. — Пункты, не подлежащие обсуждению. — Сербия. — Вопрос о Константинополе выделен из вопроса о Дарданеллах. — Наполеон просит немедленного содействия русских эскадр в Средиземном море. — Европейский флот. — Черное море как русская собственнотъ. — Поприще, открытое русским честолюбивым стремлениям на севере Малой Азии. — Наполеон желает оттеснить Россию в Азию, а Австрию на Балканский полуостров для того, чтобы обеспечить себе первенство в Европе и господство на Средиземном море.

I

2 февраля 1808 г. Наполеон написал Российскому императору следующее письмо:

«Мой брат, только что приехал генерал Савари. Я провел с ним целые часы, разговаривая о Вашем Величестве. Все, что он передал мне, очень тронуло меня, и я, не теряя времени, хочу поблагодарить вас за оказанные ему и моему посланнику милости.

Ваше Величество, прочтете о последних речах в английском парламенте и о его решении вести войну до последней крайности. Вот при каких условиях я пишу непосредственно Коленкуру. Если Вашему Величеству угодно будет поговорить с ним, он познакомит вас с моими взглядами. Только путем крупных, обширных мероприятий можем мы добиться мира и упрочить нашу систему. Увеличьте и усильте, Ваше Величество, вашу армию. Всякую помощь и содействие, какие я только буду в состоянии оказать вам, я окажу от чистого сердца. У меня нет ни малейшего чувства зависти к России, а лишь желание ей славы, благоденствия и увеличения ее территории. Позволите ли вы, Ваше Величество, высказать мнение человеку, который считает своим долгом питать к вам самую нежную и искренную преданность? Вашему Величеству необходимо отодвинуть шведов от вашей столицы; расширьте ваши гра-

ницы в ту сторону, насколько вам угодно; я готов всеми моими силами помочь вам в этом.

Армия в 50 000 человек, состоящая из русских, французов и, быть может, даже отчасти и из австрийцев, направленная через Константинополь в Азию, не успеет дойти до Евфрата, как приведет в трепет Англию и заставит ее преклониться пред континентом. Я имею возможность собрать армию в Далмации; вы, Ваше Величество, на Дунае. Через месяц после того, как мы условимся, они могут быть на берегах Босфора. Слух об этом разнесется по Индии, и Англия будет сломлена. Я не отказываюсь ни от какого предварительного условия, ведущего к достижению этой великой цели. Но следует привести в соответствие и уравновесить взаимные интересы обоих государств. Это может совершиться только при свидании с Вашим Величеством или после искренних бесед между Румянцевым и Коленкуром и после назначения сюда лица, преданного нашей политической системе. Толстой честный человек, но полон предрассудков и недоверия к Франции; он совсем не на высоте тильзитских событий и нового положения вещей, в которое поставила мир тесная дружба, существующая между Вашим Величеством и мной. Все может быть решено и подписано до 15 марта. К 1 мая наши войска могут быть в Азии, и к тому же времени войска Вашего Величества в Стокгольме. Тогда англичане, угрожаемые в Индии, изгнанные с Леванта, будут раздавлены тяжестью событий, которыми будет пропитана атмосфера. Ваше Величество и я предпочли бы блага мира, мы предпочли бы проводить нашу жизнь среди наших обширных империй, посвящая себя заботам о их возрождении и счастии наших подданных, покровительствуя наукам и искусствам и сея повсюду благодетельные учреждения. Этого не хотят всесветные враги. Поневоле приходится стать выше этого. Мудрости и политике присуще следовать велениям судьбы и идти туда, куда ведет нас непреодолимый ход событий. Тогда эта стая карликов, которая не хочет видеть, что настоящие события таковы, что следует искать им сравнение в истории, а не в газетах последнего столетия, смирится и последует по указанному Вашим Величеством и мною пути. Русские подданные будут наслаждаться славой, богатством и счастьем; которые будут результатом этих великих событий.

В этих немногих строках я изливаю Вашему Величеству всю мою душу. Дело Тильзита установит судьбы мира. Быть может, некоторая доля малодушия, как со стороны Вашего Величества, так и с моей, заставляла нас предпочитать более обеспеченное настоящее положение лучшему и более совершенному положению, которое может быть приобретено в будущем; но так как Англия не хочет мира, признаем, что настало время великих перемен и событий»[1].

В этом удивительно красноречивом письме идея о разделе не была высказана, но она подразумевалась. В более ясно изложенном письме, написанном в тот же день Коленкуру, говорилось о формальном согласии на раздел. В нем предписывалось посланнику приступить к обсуждению долей, взаимных выгод и способов действий и войти в самую суть и в подробности вопросов. Царю император хотел только указать на общий характер действий и дать к ним толчок. Он сделал это столь же искусно, как и благородно. Не говоря русскому монарху ни одного слова, которым бы тот мог злоупотребить, он делал для него все ясным и предоставлял ему на все надеяться. В письме его гениальная личность проявляется во всех направлениях, переходя последовательно от слов дружбы и ласки к гениальным и величественным мыслям: сперва он льстит и ласкает, затем отрывается от земли, расправляет во всю ширь свои могучие крылья и несется в заоблачную высь. По мере чтения письма сообщается читателю и высокий полет его мысли. Чувствуешь, как увлекаешься, как подпадаешь под влияние непреодолимой силы воли этого человека, и становится понятным, что позднее двадцать различных народов, — не из ненависти, не будучи обуреваемы страстями, по одному мановению его руки, бросились за ним на завоевание Москвы. Когда он говорит о нашествии Европы на Азию, кажется, что дух древних великих завоевателей, тот дух, который перебрасывал народы из одной страны в другую, отрывал их от мирного труда и толкал на далекие переселения, ожил в нем и повелевает его устами. Никогда еще более мощный человеческий голос не трубил сигнала к великим сражениям и к обновлению мира.

---

[1] Corresp; документ без номера, т. XVI, с. 586.

Хотя при чтении императорского письма сперва проникает в душу трепет воинственного восторга, но затем мало-помалу зарождается и овладевает умом сомнение. Как мы видели, Наполеон до последней минуты был против раздела. 29 января он еще колебался и ни на что не давал согласия; и вдруг, четыре дня спустя, он предупреждает желания союзника, опережает его надежды, опускает перед ним все барьеры. Было ли впечатление, произведенное на него английскими декларациями столь сильно, чтобы вызвать в нем такую полную перемену? Было ли искренно его обращение к царю? Не прикрывало ли оно громадного обмана? По мере того, как усиливалось упорство Англии, а наши армии углублялись в Испанию, прижатый Россией к стене, видя возрастающую с каждым днем необходимость обеспечить за собой Север и поддерживать с ним добрые отношения, сознавая, насколько это важно и в то же время чувствуя непреодолимое недоверие к России, не старался ли Наполеон избавить себя от действительных жертв, предлагая своему союзнику только для вида важные уступки? В таком случае он предлагал бы раздел, не имея в виду его выполнить, и его план сводился бы к следующему: пользуясь формально поставленными прениями о восточном вопросе, он обошел бы императора Александра, обворожил и ослепил бы его блестящими надеждами, а сам тем временем привел бы в исполнение свой план относительно Испании, единственный, которым он был серьезно занят; затем, устроив судьбу полуострова, поставив Россию и Европу пред совершившимся фактом, он мало-помалу отрекся бы от своих предложений, и в результате от столь великолепно вызванного миража осталось бы пустое место. В этом случае его письмо было бы только произведением бесподобного, но коварного искусства, и фраза в конце, в которой вибрирует страсть к великим делам, была бы эффектным заключением речи. Тогда целью Наполеона было бы только показать России зрелище обширного замысла, взволновать ее процессом фиктивных переговоров, пропустить перед ее ослепленными глазами видения городов, предназначенных для завоевания, и территорий, и королевств, подлежащих разделу, а между тем под прикрытием этой великолепной декорации вероломно преследовать более практический проект: свергнуть безвольную династию и похитить ее корону. Следует ли допустить такой коварный расчет и признать, что на этот раз победитель Европы опустился до роли крайне искусного декоратора? Или, наоборот, мы можем поверить, что Наполеон, величие которого проявилось в искренности его необузданных проектов, действительно хотел того, о чем говорил, что он действительно был склонен к тому, чтобы после переделки Европы преобразовать Восток? С этой загадкой мы встречаемся на высшей ступени его карьеры, в то время, когда он, по-видимому, в нерешимости останавливается на самой вершине, прежде чем пуститься по роковому пути.

Достоверно, что в первых числах февраля 1808 г. императору было крайне необходимо занять ум Александра и отвлечь его внимание. Следовало отвлечь внимание царя и от Испании, и от Пруссии, от юга и центра Европы. Нет сомнения, что в это время, быть может, под впечатлением известий из Лондона Наполеон решился направить всю свою деятельность на Испанию и сильнее упрочить ее за собой с тем, чтобы использовать ее для борьбы с Англией. Обдумал ли он уже заранее все, что должен был сделать в Испании? Для него все более выяснялось ничтожество Бурбонов. Их мелочные ссоры, по-видимому, предавали их в его руки; он чувствовал искушение вмешаться в распри между потерявшим престиж отцом и сыном, обладавшим более честолюбием, чем мужеством, — вмешаться с целью устранить одного при посредстве другого. Он действительно думал о перемене династии; но при всем том, у нас нет основания положительно утверждать, что уже в это время он исключал возможность иного, менее жестокого решения; хотя он и думал о дипломатическом воздействии, опирающемся на значительные военные силы, он не отказался еще ни от мысли о договоре, по которому отошли бы к Франции северные провинции, ни от брачного договора принца Астурийского с дочерью Люсьена, ни от мысли подчинить себе королевский дом. Во всяком случае он не предвидел народного сопротивления; борьба с восставшим народом, так называемая Испанская война, отнюдь не входила в его расчеты, и это было самой крупной и самой роковой из его ошибок. Полагая, что введение Испании в сферу его влияния должно быть, главным образом, делом политики, ловкости, — может быть, времени, — он не отделял этого дела от других, еще

более крупных предприятий, и подготовлялся к его выполнению не менее других. А для того, чтобы Россия закрыла глаза на это новое усиление французской сферы влияния, нужно было возбудить ее собственные аппетиты. Давая ей надежду поживиться за счет всех ее соседей, Наполеон тем самым предоставлял самому себе такое же право. «Я ни в чем не завидую, — писал он в письме к Коленкуру, — и прошу не завидовать и мне»[1].

С другой стороны, допустив возникнуть между Францией и Россией назойливому и опасному прусскому вопросу и не желая решать его, Наполеон стремился изъять его из обсуждения. Александр в виде намека просил Коленкура, а через Толстого настойчиво требовал освобождения Пруссии; Наполеон же твердо решил не выпускать Пруссии из цепей, в которых он ее держал, и не ослаблять их до окончания войны с Англией. В этом отношении он никогда не уступил бы Александру и не согласился бы вывести войска из Пруссии; но ему не хотелось слишком решительно отказывать ему, так как он боялся восстановить его против себя и вызвать конфликт. Итак, он желал прекратить разговоры по этому вопросу и избавиться от более настойчивых просьб. Предложение о разделе давало ему возможность это сделать. Заговорив об этом предмете, Наполеон прекращал плохо начатую партию, смешивал карты и мог возобновить свою игру с Россией на новых началах. Приглашенная к обсуждению вопроса, значение которого заставило бы померкнуть всякий другой интерес, Россия на некоторое время перестала бы обращать внимание на Пруссию, смотрела бы только на Турцию и не мешала бы нам и впредь пользоваться положением, обеспечивающим наше господство в Германии. Наполеон вполне спокойно мог бы продолжать обращаться с Пруссией, как с завоеванной страной, и сохранять по отношению к ней все права завоевателя. Это было одной из не упомянутой, но несомненной выгодой среди тех, которые он ожидал от своего письма.

Но при всем том не думал ли он добиться и другого результата, того, о котором говорил открыто? Откладывая между Францией и Россией один из двух щекотливых вопросов, — прусский вопрос, не хотел ли он в то же время сговориться с Александром о другом, то есть о Востоке, и скрепить союз двух империй путем необычного по своим размерам согласования мероприятий, гибельных для общего врага?

[1] Выдержка из письма Коленкура, опубликованная Татищевым в Nouvelle Revue, du 15 juin 1890.

По-видимому, изложенная нами перемена, происшедшая с императором в течение двух месяцев, предшествующих письму, заранее отвечает на этот вопрос. Мы видели, как проект о разделе, бывший доселе в его уме на последнем плане, мало-помалу занимает первое место в его заботах. В январе 1808 г. мы чувствуем в уме императора присутствие этого проекта и даже по временам ясно видим его, благодаря собственным словам Наполеона или словам его министров, благодаря откровенным беседам Талейрана с Меттернихом и разговору, в котором Наполеон дает австрийскому министру возможность предугадать близкое падение Турции. Таким образом, хотя медленно и с трудом, но эта идея прокладывает себе путь в уме императора. Инструкции Коленкуру от 29 января рисуют нам идею о разделе все еще спорной, но требующей скорейшего решения; и, наконец, когда она высказывается в письме от 2 февраля, вполне естественно предположить, что после вызова Англии Наполеон не счел нужным откладывать долее ее выполнение. Это доказывается еще тем, что в письме к императору Александру мы узнаем проект в том виде, как уловили его в зачаточном состоянии несколько недель тому назад. Это все тот же план, взятый в последовательных положениях в различных стадиях его развития, но все еще обнимающий в характерных чертах оба существенных элемента: раздел Турции и поход в Индию. Эта последняя особенность служит признаком его искренности. Если бы Наполеон хотел обмануть Россию, он предложил бы ей только раздел, который, по его мнению, должен был преисполнить ее радостью, а не поход в Азию, которому она мало сочувствовала, считала неосуществимым и опасным. Уже тем, что он вносит это условие и эту поправку в вопрос о расчленении Турции, он дает неоспоримое доказательство, что действительно допускает раздел Турции и выдает нам одну из причин своей уступчивости: он согласен разрушить старое восточное здание, потому что среди его развалин надеется проложить себе путь в Индию

и через труп Турции добраться до Англии и нанести ей поражение.

Такое намерение окончательно обрисовывается в военных мерах, принимаемых им на границах Оттоманской империи. Между речами, предписанными Наполеоном его дипломатии, и его приказами по армии и флоту существует вполне определенное соотношение. В то время, когда он предлагает в Петербурге раздел, он принимает и меры к его выполнению. Его армия в Далмации служила для него авангардом по направлению к Востоку; с этого времени он ее усиливает, снабжает всем нужным и поддерживает постоянные сношения с ее командирами. Он расспрашивает Мармона о местах высадки на берегах Эпира;[1] приказывает изучить пути, по которым наши войска могут вступить на оттоманскую территорию и по которым можно не только идти вдоль моря, но и углубиться во внутрь страны. Узнав, что одна дорога идет из наших владений в Берат, главный город одного из пашалыков Албании, он пишет: «Следует основательно ознакомиться с этой дорогой, каждая ее миля меня крайне интересует»[2]. Правда, эти инструкции могут быть объяснены заботой об обороне. С некоторого времени Наполеон думал провести на всякий случай французский отряд через турецкую Албанию с тем, чтобы, поставив его против Корфу, поручить ему защиту острова от нападения англичан. Но рассмотрим другие, более убедительные данные: от берегов Адриатики перейдем к берегам Средиземного моря. Тут все в движении, все готовится; отдельные эскадры и сопровождающие их суда с припасами соединяются вместе; несмотря на тысячи затруднений, вот уже два месяца идет, иногда замедляясь, но никогда не прерываясь, внушительное сосредоточение боевых сил. Если следить за ходом этого дела, начав с его возникновения, то видишь, как все ярче выступают наружу вначале неясные планы императора и изменения, которые он в них вносит; как внезапно воскресают в нем неоднократно разрушенные надежды и, наконец, в первых числах февраля, когда развивающемуся движению дается ускоренный темп, когда оно направляется к восточной части Средиземного моря, — относящиеся к нему приказы, спешные и сжатые, дают очевидные намеки на намерения именно относительно Турции, содержат в этом смысле бесспорные указания и выражения, приобретающие все более определенное значение, и в заключение — признание в своих намерениях в полном смысле слова.

[1] Corresp., 13489.
[2] Ibid.

С того самого момента, когда Наполеон выступил, как звезда первой величины, на мировой арене, он мечтал о завоевании Средиземного моря. Это была одна из его постоянных идей, с которой он сроднился, — вовсе не из тех, которые возникали в нем только под давлением событий. По его мнению, чтобы господствовать над морем, которое он любил, волны которого омывали берега его родины, шум которого убаюкивал его первые сны, вовсе не было необходимости противопоставлять англичанам равные морские силы, искать их в их стихии и на ней стараться победить их. Ведь от Гибралтара до Босфора море было подчинено суше; заливы, в которых оно заключено, полуострова, которые делят его и разобщают его части, рассекающие его мысы, разбросанные по нем архипелаги, каналы, в которых оно суживается, — все это держит его в тесной зависимости. Для завоевания открытого океана необходимо покрыть его воды победоносными эскадрами; Средиземное же море управляется с высоты господствующей над ним суши. Среди этих позиций Наполеон, руководимый топографическим инстинктом, тем «диагнозом местностей»[1], которым никто не владел в таком совершенстве, как он, тотчас же распознал самые важные и наиболее выгодно расположенные позиции, те позиции, которые должны были служить базами его могущества, и его целью было присваивать их себе одну за другой.

Эта система обнаруживается с самого начала его карьеры. Лишь только он спустился с Альп, он между остатками итальянского государства выбирает и захватывает для Франции сперва островки, расположенные на юг от Сардинии, затем, по мере того, как по-

[1] L. Drapeyron, Revue de géographie, mars 1888: Le grand dessein méditerranéen et l'expedition d'Égypte.

беды наши следуют одна за другой, берут Геную, Эльбу, Анкону, наконец, Корфу и прилегающие к нему острова, те семь островов на Ионическом море, которые Венеция сумела сохранить до дня своего падения и которые составляли остатки ее восточных владений, последние жемчужины ее короны. Сделавшись хозяином на Корфу, он стремится завоевать Египет и мимоходом берет Мальту. Вскоре после такого натиска Франции на Средиземное море следует отступление. Вторая коалиция вырывает из наших рук Ионические острова, Мальту, Александрию и всюду замещает нас англичанами или их союзниками. Однако Наполеон не отказывается от возможности вернуть эти потери и старается достигнуть этого косвенным путем. От 1805 до 1807 гг. он пользуется каждой своей победой на севере, чтобы снова занять какую-нибудь позицию на Средиземном море. После Аустерлица он овладевает Далмацией, изгоняет Бурбонов из Неаполя и размещает по берегам их королевства свои войска. Два года спустя, благодаря Фридланду, он снова приобретает Корфу. Тильзитский договор, возвращая ему Ионический архипелаг и драгоценный рейд Каттаро, вторично приводит Францию в восточный бассейн Средиземного моря.

Корфу сразу же становится для Наполеона предметом беспримерных забот. Этот пост, неохотно переданный нам русскими военачальниками и пока занятый лишь несколькими французскими отрядами, мог подвергнуться опасности; он должен был искушать алчность англичан. Из предложений Вильсона русскому кабинету видно, что захват острова был одной из их излюбленных идей. Но Наполеон угадал их умысел даже прежде, чем разоблачили его сообщения Рямянцева, и, дабы предупредить его, он увеличивает боевые силы острова. Он намерен отовсюду доставить в Корфу войска, боевые припасы и провиант. Находясь вдали от острова, он организует его оборону, входит во все мельчайшие подробности и ничего, что может предусмотреть, не предоставляет случаю. По мере того, как недели идут одна за другой, усиливается и его неусыпное внимание; он повторяет приказания, подгоняет и бранит лиц, которым поручено дело, и вменяет им в преступление их медлительность. Корфу постоянно упоминается в его предписаниях; остров, занимающий

несколько квадратных километров, один заботит его более, чем все остальные части его империи[1].

Эта всепоглощающая забота делается понятной при сопоставлении ее с планами, обсуждаемыми в Тильзите. Если бы суждено было приступить фактически к разделу Турции, Корфу был бы стержнем, на котором вращалась бы вся операция, развернутая на два фронта, континентальный и морской. Главный Ионический остров Корфу, примыкая к флангу европейской Турции, ставил нас в непосредственное соприкосновение с самыми важными областями этой страны, давал возможность наблюдать за Албанией, за Эпиром и Али, его тираном; позволял нам приобрести сторонников среди начинавших волноваться под турецким игом греков и пробудить в них национальное чувство. Эта островная Греция могла служить для возбуждения восстания в остальной Греции. Ее продолжение на суше, Парга, укрепленная по приказанию императора, и Бутринго, которую он предписал занять, составляли по ту сторону Адриатики наши укрепленные места, предназначенные для десантов. Непрерывность позиций облегчала переход из Италии в Эпир, и в случае, если бы потребовалось внезапно напасть на Турцию, Корфу был одним из тех пунктов, откуда всего легче было начать предприятие.

С другой стороны, Корфу был часовым, выдвинутым на пути к Египту, этому вечному предмету нашей скорби и наших вожделений. Бросьте взгляд на карту. Италия, вытягиваясь к юго-востоку, выставляет свой южный конец по направлению к Египту; прямая линия, исходя из глубины Тарентского залива, проведенная через море, оканчивается у Александрийской пристани. Области Отранто, Бриндизи, Таренто, то, что Наполеон называл «конец сапога»[2] и что вернее представляет каблук, вот место, где западная Европа подходит ближе всего к бывшему нашему африканскому владению.

---

[1] Corresp. 13095, 13098, 13116, 13117, 13118, 13126, 13206, 13221, 13223—24, 13232—33, 13240, 13269, 13331, 13337, 13368. Correspondance politique et militair du roi Joseph, publiée par A. Du Casse. 3-e édution, t. IV, 25 septembre au 15 décembre 1807, Voy aussi la mission du commandant de Clermont-Tonnerre a Corfou, dans l'auvrage de M. Camille Roussel intitulé: Un ministre de la Restauration, le marquis de Clermont-Tonnerre, 50 et suiv.

[2] Drapeyron, вышеупомянутая статья.

Отсюда в наше время начинается путь быстрого пароходного сообщения, путь торговых сношений, который через Суец соединяет европейские страны со странами далекого Востока. Пророческий гений Наполеона предвидел значение этой части Неаполитанского государства; именно из Таренто предполагал он отправить экспедицию для возвращения нам Египта. Но Ионические острова, как вехи, стоят на востоке, вдоль пути, по которому нам придется идти; они составляют необходимое дополнение к нашей позиции; с потерей их она утратила бы всякое значение. Раз англичане в Корфу, это значит, что выход из Адриатики закрыт, Туренский залив под их строгим надзором. Неаполитанское королевство подвержено нападению с тыла. Наоборот, в наших руках Корфу был бы для нашего флота первой гаванью на востоке, превосходным рейдом, в котором он мог бы укрываться от врагов и морских волн, выжидать для выхода в море благоприятного момента, окончательно подготовить свои силы и броситься на врага.

Хотя обладание Корфу и облегчало нам доступ к Египту, оно не обеспечивало его за нами, пока англичане владели Мальтой и особенно Сицилией. Водворившись на этом большом острове, который дает возможность прервать сообщение между двумя бассейнами Средиземного моря, они могли ударить нам во фланг, преградить нам путь, предупреждать нас повсюду на Востоке и мешать там нашим операциям. Создав себе из Сицилии арсенал и пристанище, они постоянно держали там от восьми до десяти тысяч испытанного войска, готового действовать по всем направлениям. Пока они были на острове, Наполеон считал их хозяевами Средиземного моря. Поэтому-то в октябре и ноябре 1807 г. он старается отложить на неопределенный срок раздел Турции, так как пока не видит еще возможности прогнать их из Сицилии.

В декабре он получил в Милане неожиданное известие: Сицилия была оставлена англичанами[1]. Почти все их войска под командованием генерала Мура были посажены в Палермо на суда, и вскоре стало известно, что они вышли в открытый океан. Куда отправлялись они? Не для защиты ли Португалии от наших войск? Или, может быть, в Балтийское море, спеша на помощь Швеции, которой угрожали русские? Каково бы ни было их назначение, но было достоверно, что возрастающая в других местах опасность вынудила Англию устремить туда свои силы и очистить Средиземное море. С присущей ему быстротой Наполеон тотчас же оценил выгоду, которую он мог извлечь из этого оборота дела, и решил ответить на него движением в противоположном направлении. После Тильзита, рассчитывая еще на содействие датского флота, он, главным образом, предполагал употребить свои эскадры на севере; теперь, когда юг предоставил ему на некоторое время свободное поле действий, он предписывает своим морским силам быструю перемену фронта и решает перенести их все без исключения в Средиземное море. Он сберег одну эскадру в Бресте, другую в Лориенте, третью в Рошфоре. 12 декабря из Венеции он приказывает послать им всем приказ выйти в море, обогнуть Иберийский полуостров, пройти Гибралтарским проливом и соединиться в Тулоне под командой адмирала Гантома с флотом, который еще находится у него в этом порту и к которому в то же время должны присоединиться шесть кораблей, вызванных из Кадикса[1]. Дело закипает тотчас же; курьеры скачут, эскадры снимаются с якорей. 24 января становится известным, что рошфорская эскадра, которой первой удалось обмануть бдительность неприятельских крейсеров, идет в Тулон, где ее ожидают корабли Гантома. Император хочет использовать эту первую концентрацию морских сил, предвестницу другой, более значительной, и тотчас же намеревается направить на Сицилию соединенные морские силы. 24 января он отправляет неаполитанскому королю Жозефу план неожиданного нападения на остров и завоевания его[2]. Этот план представляет собой в миниатюре предполагаемый большой план высадки в Англию; дело постоянно идет о том же: обеспечить успех армии одновременным содействием флота.

Наполеон со страстью предавался приготовлениям к экспедиции, когда до него дошли неприятные известия из Корфу. По этим известиям, хотя главные ан-

[1] Король Жозеф Наполеону, 12 и 19 ноября 1807 г.

[1] Corresp., 13387. Voy, aussi Chevalir, Histoire de la marine française sous le Consulat et l'Empire, p. 281 et suiv.

[2] Corresp., 13480.

глийские силы и удалились из Средиземного моря, но крейсера остались там, и один из них, бдительно наблюдая за Ионическими островами, мешал подвозу провианта и войск[1]. Наши подкрепления и транспортные суда перехватывались им. К 1 января ничто не дошло по назначению; и несколько дней спустя король Жозеф откровенно указал на недостаточность средств, употребляемых для обеспечения обороны[2]. Англичане могли появиться неожиданно с большими силами, и опасность становилась угрожающей. Сицилия сама по себе имела в глазах Наполеона меньше значения, чем Корфу. Завоевание Сицилии облегчило бы выполнение всех планов, но, с другой стороны, утрата Корфу была бы всему помехой. Желая как можно скорее предупредить несчастье, Наполеон решил сперва употребить оба флота, которыми он располагал, для снабжения Корфу провиантом. Гантом получает приказание выйти навстречу рошфорской эскадре, как только она покажется в виду Тулона, и соединиться с ней в открытом море; затем он должен пойти прямо в Корфу, выгрузить там провиант и боевые припасы, защитить путь для танспортов, а также крепость от всякого нападения. В то же время Наполеон пишет генералу Цезарю Бертье, губернатору Семи Островов, извещая его о прибытии помощи и приказывая в случае нападения, держаться до последней крайности[3]. Жозефу он пишет, чтобы он сосредоточил все свои силы для защиты Корфу, и уже не говорит о высадке в Сицилии.

Несколько дней спустя его мысль принимает другое направление и делается смелее: у него возникают новые планы. Так как соединение обоих флотов вскоре обеспечит нам в Средиземном море хотя и кратковременное, но бесспорное превосходство сил, отчего бы не соединить обе операции, пойти сперва в Корфу, а затем в Сицилию? Подобная экспедиция, представлявшая все шансы на успех, действительно, имела бы решающее влияние на наши проекты относительно Востока и была бы в состоянии положить конец нашей нерешительности. Она лишила бы англичан операционной базы и в то же время обеспечила бы нашу. В конце концов Наполеон решает попытаться привести в

[1] **Ibid.**, 13418.

[2] Король Жозеф Наполеону 12, 18 и 23 января 1808 г.

[3] **Corresp.**, 13504.

исполнение этот план, и в этом смысле излагает свои последние инструкции. Гантом должен направиться сперва в Корфу, затем, приняв меры, обеспечивающие безопасность этого поста и проникнув в Мессинский пролив, дать нашей неаполитанской армии, которую Жозеф будет держать наготове к походу, возможность прочно основаться в Сицилии[1].

Эти меры предписаны 7 февраля; следовательно, они были решены в предшествующие дни, то есть в то время, когда Наполеон предлагал раздел русскому императору; связь между этими двумя его решениями не подлежит спору. Она сказывается даже в некотором сходстве выражений. В депеше к Коленкуру от 29 января Наполеон указывает на выгоду отложить раздел «до того дня, когда у англичан будет вырвано господство на Средиземном море»[2]. В инструкцях для Гантома он указывает «на громадное значение обладать Сицилией, что совершенно изменит положение на Средиземном море»[3]. Таким образом, он смотрит на завоевание Средиземного моря как на нечто, отныне осуществимое и неизбежное, и думает, что в настоящее время можно считать, что главное условие, в зависимости от которого он ставил раздел, имеется налицо. В то же время он обращается к Жозефу по поводу Корфу с поразительными, характерными по их таинственному смыслу словами: «Корфу до такой степени важен для меня, — пишет он ему, — что утрата его нанесет роковой удар моим планам... Запомните мои слова: при настоящем положении Европы самое большое несчастье, которое только может меня постигнуть, это — утрата Корфу»[4].

Вскоре он высказывается определеннее. По прошествии нескольких недель флот Гантома, снабдив всем необходимым Ионические острова, вернулся передохнуть в Тулон, ничего не сделав однако в Сицилии. Такой неполный успех не только не разочаровывает Наполеона, а скорее возбуждает его деятельность. В марте в адресованном министру Декре общем обзоре, в котором рассматривается предполагаемое распределение и употребление всех его морских сил, в том месте,

[1] **Corresp.**, 13534.

[2] См. с. 139.

[3] **Corresp.**, 13534.

[4] **Ibid.**, 13537, 13540.

где он подробно излагает меры, которые нужно принять на севере, он добавляет: «В то же время я буду делать приготовления в Корфу, Таренто и Неаполе для экспедиции в Сицилию или Египет»[1]. Затем он снова возвращается к своей мысли и дополняет ее, но уже не допускает выбора между экспедициями в Сицилию или Египет, а указывает на их нераздельность и связь с событиями, театром которых сделается Турция. После указания на маневры, при помощи которых он надеется скрыть от англичан свои виды на океан и на западную часть Средиземного моря, он отказывается от мысли обмануть их на Востоке, намекает, что нападение на Оттоманскую империю с суши обнаружит наши морские планы и кончает следующей фразой: *«Желание овладеть Сицилией и Египтом будет столь очевидно; операции, направленные против Константинополя, до такой степени выяснят это, что англичанам невозможно будет заблуждаться»*[2].

Итак, мысль вторгнуться в Турцию и затем угрожать Индии засела и укрепилась в уме императора. Следует ли из этого, что она приобрела характер бесповоротного решения? А главное, верил ли Наполеон, что обе операции могли быть вполне подготовлены и приведены в исполнение в столь точно определенный срок, какой он назначал в своем письме с столь молниеносной, как бы волшебной быстротой? Мы этого не думаем. Напротив, более вероятно, что, когда он писал письмо от 2 февраля, в его намерение входило желание, вполне сохраняя за собой возможность дальнейших соглашений с Россией, избегать всякого преждевременого обязательства под предлогом обсуждения вопроса, важность и сложность которого доставляли ему достаточно материала, чтобы увеличивать препятствия для его решения. Чтобы успокоить нетерпение России, он приглашал ее теперь же к совместному обсуждению предприятия, на которое сам он смотрел не иначе, как на самое крайнее средство против Англии, и которое держал про запас, вовсе не думая, что оно должно

[1] Corresp., 13708.
[2] Ibid., 13708.

быть выполнено немедленно и даже что следует придти по этому поводу к соглашению. Неотступно преследуемый мечтой, которая искушает его в течение уже нескольких месяцев, он высказывает ее вслух Александру с целью очаровать этого монарха, заставить его обо всем забыть и все претерпеть, но вместе с тем и с целью подготовить совместно с ним средства превратить в действительность самые смелые замыслы, но только при том условии, если это властно потребуется грядущими событиями и окажется возможным.

К тому же даже в своих основах проект оставался в неопределенном положении; приведение его в исполнение зависело от стечения обстоятельств. Для этого требовалось, чтобы вполне удались предварительные операции на Средиземном море; чтобы дела в Испании без особых хлопот были улажены; чтобы удалось сговориться с Александром по вопросу о распределении оттоманских владений. В случае отсутствия какого-либо из названных условий Наполеон не исключал из разговоров с Россией другие предположенные и рассмотренные им средства к соглашению. Как всегда, его планы имели много решений, и он выдвигал то, или другое, смотря по собеседнику, с которым разговаривал. В первых числах февраля, почти одновременно с отправкой письма к царю, он приглашает Толстого на охоту и пользуется этим случаем для продолжительного разговора. Хотя он и остерегается откровенно говорить с непользующимся его доверием посланником о том, что только что сообщил его государю, хотя и ограничивается одним из тех многочисленных, тягучих, часто противоречивых разговоров, которыми он превосходно умел сбивать с толку своих собеседников и скрывать от них свою мысль, он тем не менее слегка касается всех способов решения и не отказывается ни от одного из них. Он может согласиться на раздел, говорит он, «в угоду императору Александру»[1]; он не отвергает мысли предоставить России просто расшириться до Дуная даже в том случае, если Франция выведет войска из Пруссии: тем не менее он

[1] Толстой Румянцеву. 25 января — 6 февраля 1808 г. Архивы С.-Петербурга.

все-таки просит себе Силезию, но в то же время не перестает весьма энергично утверждать, что готов отказаться от нее, вернуть ее тотчас же Пруссии, если Россия очистит княжества[1]. Он остается постоянным только в одном пункте — в необходимости нанести тяжкий удар Англии и добраться до нее в Азии. Если Турция не будет разрушена, можно будет ею воспользоваться и мирным путем занять ее территорию до границ Персии; затем необходимо достичь Евфрата: «Раз это будет сделано, ничто не помешает дойти до Индии. Если это предприятие не удалось Александру и Тамерлану, это не служит еще доказательством его невозможности; следует только повести дело лучше их»[2].

Таким образом, все было направлено против Англии. Но было очевидно, что ее современная уступчивость остановила бы все и удержала бы занесенную на нее руку императора. Даже в то время, когда Наполеон предлагал довести борьбу до неслыханных размеров, он не пренебрегал никаким случаем, как бы ничтожен он ни был, чтобы предупредить путем соглашения ее ужасную неизбежность. Русский посол в Лондоне Алопеус[3] был отозван вследствие разрыва с Англией и, возвращаясь на родину, проезжал в феврале через Францию. Узнав, что тот слышал в Англии кое-какие примирительные слова, которые как будто противоречили тону министерских деклараций, Наполеон спешит ухватиться за эту нить. Через посредство русского он пытается возобновить переговоры, неуспешно начатые австрийцем. Даже его упорные порицатели, между прочим и Толстой, вынуждены были признать в нем бесспорное желание мира[1]. Новая попытка не могла дать лучших результатов, чем предшествующие; но император твердо решил, если Англия будет расположена прекратить борьбу, считать свои предложения России недействительными и остановить грозные пружины, которые он готовился пустить в ход.

Обставленное вышеизложенными оговорками, освещенное дошедшими до нас показаниями современников, письмо к царю раскрывает свой истинный смысл и выступает во всем своем значении. Если же сопоставить его с мерами, предписанными императором не только на юге, но и в других частях Европы, все понятно в нем, каждая фраза принимает точное значение, и между строк выступает во всем его величии набросок проекта во всей его совокупности. Это план тонкой и глубокой политики, способный доставить успех самой грозной военной комбинации, когда-либо возникавшей в человеческом уме. Начиная с Балтийского моря до самоой глубины Малой Азии, вдоль Северного моря, берегов Атлантического океана, Иберийского полуострова, Италии, Востока, — Наполеон распределяет мир, как поле битвы. По этой линии, протяжением в несколько тысяч лье, пользуясь то властью, то искусным подстрекательством, он призывает и ставит в боевой порядок, как корпуса одной и той же армии, подвластные и союзные ему народы и указывает каждому его место, его роль: одним поручает производить демонстрации и ложные нападения, других держит в резерве для нанесения решительных ударов; он хочет вызвать целый ряд находящихся в тесной связи, хорошо согласованных, взаимно поддержи-

---

[1] «Он схватил обеими руками свою шляпу, — пишет Толстой, — и бросил ее на землю, а затем обратился ко мне со следующими словами, слишком замечательными, чтобы не передать их слово в слово. «Обратите внимание на мои слова, господин Толстой, к вам теперь обращается уже не император французов, а ведет разговор дивизионный генерал с другим дивизионным генералом. Пусть буду я последним из людей, если я не исполню добросовестно обязательства, подписанного в Тильзите, и если я не выведу войска из Пруссии и герцогства Варшавского в то время, когда вы будете уводить ваши войска из Молдавии и Валахии. Как можете вы сомневаться в этом? Я не сумасшедший и не ребенок, чтобы не знать, о чем я заключаю договор, а то, что я обязываюсь сделать, я исполняю всегда».
Толстой Румянцеву, 25 января — 6 февраля 1808 г. Архивы С.-Петербурга.

[2] Толстой Румянцеву, 25 января — 6 февраля 1808 г. Архивы С.-Петербурга.

[3] Брат русского посланника в Швеции.

[1] «Находя у императора Наполеона, — пишет Толстой 6—18 марта 1808 г., — неизменную склонность к миру, неизменное желание мира, я счел долгом воспользоваться этим последним средством» (посредничество Алопеуса); архивы С.-Петербурга. Со своей стороны после одного разговора с императором Алопеус говорил, «что, по его мнению, император довольно определенно выражал желание мира с Англией и что это оказывалось во всех его вопросах... Не так обстоит дело в Лондоне, — добавлял представитель России, — где не только сэр Каннинг, но и все министерство стоит за продолжение войны...» Hassel, 498.

вающих друг друга операций в ожидании того момента, когда, держа в руках соединенную Европу, он бросит ее, если того потребуют обстоятельства, на решительный приступ против британского могущества. Это будет последним актом великой борьбы, достойной развязкой той драмы, отдельные сцены которой назывались Маренго, Аустерлиц, Иена, Фридланд и Тильзит.

Россия должна теперь же начать решительные действия на севере против Швеции и угрожать Стокгольму. Наполеон предлагает царю в вознаграждение за его энергию не только Финляндию, но все, что можно будет завоевать в этом направлении, и высказывает готовность оказать ему содействие. И действительно, одновременно с этим он предписывает Бернадоту, занимавшему со своим корпусом ганзейские города, подвинуться до Ютландии для того, чтобы иметь возможность пройти на датские острова, и, кроме того, приказывает ему условиться с правительством Копенгагена по поводу нападения на Сканию, южную провинцию Швеции. Хочет ли он на самом деле уничтожить Швецию? Такой план далек от его мысли, он вскоре напишет: «Я ничего не выиграю от появления русских в Стокгольме»[1]. И действительно, он никогда не окажет им серьезного содействия. В его глазах нападение, к которому он их подстрекает, — только политическая и военная диверсия, назначение которой отвлечь внимание и наших созников, и наших врагов. Предлагая России теперь же приобретения на Севере, хотя она просит их на Востоке, он дает необходимую пищу завоевательной алчности русского двора; он занимает его силы войной с Швецией, а ум — разговорами о разделе Турции. С другой стороны, поход русских на Скандинавский полуостров в связи с демонстрацией Бернадота будет все более привлекать в этом направлении силы Англии и задержит их вдали от Испании и Средиземного моря.

В то время когда Англия, не смея отказать в помощи монарху, ради ее выгод безрассудно поставившему себя в тяжелое положение, пошлет в Швецию лучшие свои полки, Испания, предоставленная самой себе, не способная сопротивляться влиянию Наполеона и как бы зачарованная им, бросится в его руки

[1] Corresp., 13955.

Быть может, переменив династию и, наверное, характер правления, она теснее сблизится с нами и будет действовать против нашей соперницы. К тому времени Средиземное море будет очищено от англичан; отважные нападения доставят нам или Сицилию, или некоторые посты на северном берегу Африки и облегчат более далекие операции. До этого времени проект о разделе будет служить только приманкой для России и в то же время пугалом для Англии, ибо Наполеон в Moniteur дает возможность предугадать, «каков будет результат войны, если будет иметь неблагоразумие ее продолжать. Мир когда-нибудь наступит... — говорил он, — но к тому времени произойдут такие события, что Англия очутится без буферов в своих самых отдаленных владениях, в главном источнике своего богатства»[1]. Если и эта угроза не будет убедительна для британской заносчивости, если ударов, косвенно нанесенных на Севере, в Испании, на Средиземном море, не будет достаточно, чтобы смирить Англию, тогда только решатся судьбы Востока; только тогда обозначится конечная задача всех операций и наступит время для вторжения наших сил.

Когда между Францией, Россией и Австрией все будет условлено, армия Мармона, стоящая наготове в Далмации, двинется на юг; затем, устроив на Адриатике операционную базу, усилившись доставленными на судах корпусами, она бросится к Константинополю. Находящийся в тылу у ней Корфу, в изобилии снабженный войсками, снарядами, аммуницией, всевозможным провиантом, будет ее арсеналом и магазином. «Когда у нас захватили Корфу, — говорил Наполеон на острове Св. Елены, — там должны были найти боевые припасы и полное снаряжение для армии в сорок — пятьдесят тысяч»[2]. В первых провинциях вторгнувшаяся армия не встретит никакого организованного сопротивления, никаких регулярных войск: она найдет только пашей, убивающих друг друга, мусульманских данников, которые будут просить о только сохранении их привилегий, и христиан, готовых восстать против Турции; в Албании не найдется против

[1] Moniteur, du 2 fevrier, 1807.
[2] Ibid., 10—12 mars, 1816.

нас и шести тысяч»[1]. В Македонии и Румелии французы соединятся с австрийцами, которые спустятся через восставшую Сербию с севера, далее — с бросившимися из княжеств русскими. Победители и побежденные при Аустерлице, примирившись на почве общей идеи, двинутся далее вместе ускоренным маршем. Даже у врат своей столицы Турция не может надеяться на серьезную защиту. Большая часть ее армии, собранной в прошлом году у Адрианополя, после перемирия была распущена, и для ее восстановления нужно несколько месяцев. Союзники без выстрела подойдут к Константинополю, где крамола облегчит их дело; они уничтожат или выгонят правительство султана и лишат Турцию ее главы.

В то время, как огромное тело Турции будет корчиться в предсмертных судорогах, будут двинуты войска второй линии, назначенные для оккупации страны. Постепенно западная часть Балканского полуострова, предназначенная при разделе Франции, покроется нашими солдатами. Задачей их будет сломить местное сопротивление и организовать страну. Головная же колонна, т. е. армия, состоящая из французов, русских и австрийцев, смело будет продолжать начатое дело в Азии и двинется навстречу новым русским войскам, спускающимся с гор Кавказа. Как только союзная армия достигнет верховьев Евфрата, вступит на дорогу в Персию и Индостан, ее задача на время будет закончена, ибо назначение ее не нападение, а скорее угроза. Тогда император займется тем, чтобы закончить свои предприятия в других пунктах. Прежде чем европейские войска пройдут насквозь Турцию, французские и союзные морские силы, прибывшие со всех концов света, присоединятся к нашему тулонскому флоту. «Жду другие эскадры»[2], — пишет император Жозефу. Это будут эскадры из Лориента, Бреста, Картагены, корабли с острова Эльбы, из Лиссабона и Кадикса. Таким образом составится грозная, непобедимая морская армия. Подойдя сперва к берегам Таренто, она возьмет на свой борт экспедиционный отряд и отве-

[1] Письмо, написанное 18 апреля 1808 г. губернатору Ионических островов одним из его корреспондентов в Албании. Документы относительно Ионических островов в Албании нам любезно сообщил г. Август Боппе.

[2] Corresp., 13561.

зет его в Египет, население которого зовет нас и на нас надеется[1]. Англия, на азиатскую империю которой направлены дула орудий, увидит угрозу и со стороны Египта и убедится, что оба пути, как сухопутный, так и морской, ведущие в Индию через мусульманские государства, почти перешли в наши руки. В то же время из наших портов на Северном и Атлантическом морях появятся флоты и флотилии и произведут целый ряд демонстраций. В Ирландии, где уже орудуют наши агенты, начнется волнение. Легкие крейсера, проскользнув во все моря, наведут ужас повсюду во вражеских владениях. Тогда Англия, оглушенная нападениями со всех сторон, не зная, где на них ответить, не будучи в состоянии отличить действительных ударов от ложных атак, истощаясь в бесплодных усилиях, растерявшись среди такого «всемирного вихря»[2], пошатнется. Потеряв силы и, что еще важнее, мужество, она перестанет оспаривать то положение, которое событиями предоставлено новой Франции, признает своего победителя, и полный мир будет следствием этого необъятного мирового переворота.

Итак, мы видим, что Наполеон желал серьезно вести переговоры с Россией, хотя и ставил их в зависимость от событий и не определял точно времени, когда к ним следует приступить; — таков смысл его письма. Несмотря на то, что он придает своему намерению только преходящее, условное значение, оно с течением времени должно было окрепнуть; оно устояло перед первыми затруднениями в испанских делах и уступило только всей совокупности событий, из которых самые важные были всего менее предусмотрены. И действительно, как и во всех случаях, когда стратегический замысел лежит в основе задуманных Наполеоном проектов, когда он служит их исходной точкой, его воображение открывает в них блестящие и величественные стороны, которые, возвышая их в его собственных глазах, еще сильнее заставляют его стремиться к ним. Борьба с Англией может вынудить его напасть на Турцию; необходимость этого пробуждает в нем мысли о преобразовательной работе, кото-

[1] Lettre du consul Drovetti, en date du 8 avril 1808, archives des affaires étrangeres, consul du Caire.

[2] Письмо Наполеона к королю Людовику, 27 марта 1808 г. Corresp., XVI, 589, документ без номера.

рую нужно совершить по ту сторону Дуная и Адриатики, и заставляет его ум работать в этом направлении. Ему, стремящемуся к такой высокой цели, нет дела до того, что он будет опять приносить в жертву человеческие жизни, вызывать перевороты, нарушать обязательства, изменять традиционной политике. Он не останавливается перед мыслью принести в жертву исконного союзника Франции и с легким сердцем готовится погубить монарха, желающего быть его другом, того самого султана, которому он даже в это время пишет в дружелюбном и доверчивом тоне, предписывая, однако, своему посланнику передать письмо осторожно и не возбуждая внимания[1]. Такая двойственная игра кажется ему простым расчетом благоразумия. Хотя он и избегает преждевременно компрометировать себя по отношению к Турции, тем не менее он обдумывает средства ее уничтожить. Польза и величие цели берут в его глазах верх над всяким другим соображением; беззаконие средств исчезает в конечной справедливости будущего порядка, который он думает сделать священным, поставя страны, которые оспаривают друг у друга жестокие тираны, под покров твердой, зиждительной и охранительной власти и водворив мирную французскую культуру в большей части стран, в которых некогда Рим распространял свой просвещенный деспотизм.

II

На каких же началах думал Наполеон создать новый режим на Востоке? Иначе говоря, на каких условиях предлагал он царю произвести раздел? Чем руководился он при определении своей собственной доли, долей России и Австрии? Каким способом надеялся он согласовать требования, очевидно противоположные, т. е. так повести дело, чтобы дать удовлетворение Александру и доставить пользу Франции? Затруднение при ответе на этот вопрос осложняется пробелом в документах. «В Корреспонденции» недостает письма к Коленкуру; оно не дошло до нас[1]. Только с помощью объемистых ответов посланника, в которых он постоянно ссылается на приказания своего государя, излагает их своими словами, иногда приводит выражения из них, возможно восстановить если не полный текст, то, по крайней мере, смысл инструкций.

[1] Archives des affaires étrangeres. Turguie, 216.

По правде говоря, письмо к Коленкуру, допуская даже, что оно целиком было нам известно, не осветило бы вполне намерения императора. По фразам, дошедшим до нас, легко понять, что оно не содержало в себе ничего вполне определенного, ничего безусловного относительно проведения в жизнь поставленного на очередь вопроса. Сомнительно, чтобы уже в то время в уме Наполеона бесповоротно созрел план полного раздела Турции; по крайней мере он не сообщал об этом своему посланнику, подобно тому, как не выдавал секрета военных операций, предназначенных решить судьбу дня, генералу, которому поручал открыть огонь в начале сражения.

В дипломатии, как и в сражении, его обычные приемы почти что не изменялись. Сперва он в широких размерах предлагал состязание, то есть, обращаясь к противной стороне, он приглашал ее к обсуждению вопроса по всей его полноте, со всех сторон. Это было средством заставить противника обнаружить все его намерения, исчерпать все доводы. Предоставляя спору разгореться по всей линии, принять значительные размеры и дойти до обсуждения деталей, он тем временем уяснил себе таланты противников, их скрытые желания и свои собственные выгоды; а также к чему он мог стремиться и чего мог достигнуть. Затем, пользуясь идеями, выдвинутыми обеими сторонами, он выбирал способ решения дела, хватался за него с быстрой несокрушимой решимостью и старался усилием своей вполне свежей воли доставить себе победу над противниками, уже утомленными борьбой.

В вопросе о разделе эта тактика выступает яснее,

[1] В опубликованном Татищевым кратком изложении (см. с. 249), которое предназначалось для сведения русского кабинета, который и сохранил его в своих архивах, только более подробно развивается содержание письма к царю, не указывая видов императора на условия раздела. Вообще же письма Наполеона к Коленкуру за время миссии Коленкура в России до сих пор, за редким исключением, не были найдены.

чем во всяком другом. В деле переговоров Наполеон устанавливает два вполне определенных фазиса. В первом Коленкур должен начать общие прения, но не высказывать никаких заключений; он должен коснуться всех затруднений, не разрешая их, и должен заставить русских «предъявить свои желания»[1], то есть, обнаружить всю подноготную их упований и вожделений. Во втором император раскроет свои намерения и выскажется лично. Представив вполне готовое решение, — то решение, которое он на основании указаний предварительного обсуждения будет считать самым удобоисполнимым и самым выгодным, — он постарается заставить принять его либо во время совещания с русским послом, снабженным полномочиями, либо во время разговора с самим Александром, для чего он устроит нечто вроде второго Тильзита. В письме к царю он только намекает на новое свидание; Коленкуру же он положительно предписывает предложить таковое. Он предоставляет Александру выбор места и дня, лишь бы только оно состоялось в скором времени. Пусть царь и посланник, говорится в инструкции, «поставят циркуль на карту»[2] и выберут точку на равном расстоянии от Петербурга и Парижа, пусть русский монарх сообщит о своем намерении прибыть в такой-то день; Наполеон заранее согласен на свидание, обещает быть точным и уполномочивает Коленкура принять от его имени формальные обязательства. Такая поспешность еще раз доказывает его желание лично направлять последнюю часть переговоров.

Итак, согласно желанию Наполеона, прения, которые вскоре должны открыться в Петербурге, будут иметь только подготовительный характер. Во всяком случае, если для достижения преследуемой им цели и нужно предоставить им широкую свободу, то не менее важно поставить их в известные пределы и сохранять за собой известную позицию. Хотя император и надеялся лично вернуть часть боевого поля, которое уступил бы его представитель, тем не менее Коленкур не должен отступать бесконечно из опасений вселить русским неосуществимые надежды. Следовательно, необходимо теперь же оказать безусловное сопротивление по некоторым пунктам их требований. Наполеон указал Коленкуру эти пункты, и донесения посланника дают возможность определить, о чем идет дело. Относительно других он соглашается на более или менее серьезные уступки; наконец, по третьей серии пунктов он подсказывает разные способы сделок, сохраняя за собой право в удобную минуту выбрать между ними те, которые покажутся ему самыми подходящими для подготовки окончательного соглашения.

В непосредственном соседстве с каждым из участников предполагаемого дележа были области, отвечающие его вожделениям. Каждый и начнет с того, что завладеет ими. В то время, как французское господство, начиная от Далмации, будет распространяться вдоль берегов Адриатики и Ионического моря, в другом конце Турции Россия окончательно присвоит себе княжества, но они будут зачтены ей за долю Франции, соответствующую им по пространству и их необыкновенно важному значению. По ту сторону Дуная пространство, лежащее между княжествами и Балканами, очевидно, было продолжением новых приобретений наших союзников; в них Наполеон им не отказывал. До каких же мест позволит он им дойти на западе и юге? По руслу Дуная он останавливает их на границах Сербии, которая должна будет составить или автономное княжество или стать в зависимость от Австрии. От Белграда мысль императора направляется к юго-востоку. Минуя неведомые области Румелии, поле, открытое соперничеству России и Австрии, она несется к крайним пределам полуострова и встречает проливы и Константинополь. Там возникает главное затруднение. Занимая бесподобное местоположение, куда некогда для более удобного управления миром перенесся древний Рим, Константинополь был рожден, чтобы царствовать. В то время народные легенды связывали с его обладанием идею господства над всеми прилегающими странами. Между тем, как весь полуостров был в глазах современников покрыт густым мраком, Константинополь, являясь в блеске своей былой славы, своей неувядаемой красоты, представлял в своем лице и заключал в себе весь европейский Восток. Подобно золоченому куполу, который, сияя на вершине монумента, бросается первым в глаза, он привлекает взоры, чарует их издали:

[1] Донесение Коленкура от 29 февраля 1808 г.
[2] Донесение Коленкура от 26 февраля 1808 г. Gf. выдержка, опубликованная Татищевым.

кажется, что именно из него-то состоит все здание, тогда как в действительности он составляет только его украшение.

Установилось убеждение, что Наполеон никогда не отдал бы Константинополя России. Оно основано на предании, освященном некоторыми фразами из Мемориала. «Константинополь, — сказал император на острове Св. Елены, — по своему положению предназначен быть центром и столицей всемирного владычества»[1]. Однако нам известно, что Наполеон в разговорах с Толстым и Меттернихом[2], предвидел и допускал водворение русских на Босфоре. В 1812 г в разговоре с Нарбонном, он признался, что предлагал Константинополь императору Александру[3]. Нам кажется, что разногласие между показаниями современников объясняется, как различием во времени, так и в направлении ума Наполеона. На острове Св. Елены он выражал свои идеи в теоретической и абсолютной форме, не принимая в расчет требований данного момента. К тому же он записывал свои мысли для потомства и хотел выставить себя защитником европейской независимости против чрезмерного честолюбия России. Наоборот, его откровенная беседа с Нарбонном, очевидно, отвечает вполне тем идеям, которые он себе составил в 1808 г. Требуя от России огромного напряжения сил, мечтая воспользоваться ею для нанесения англичанам «сокрушительного удара»[4], он далеко не прочь был заплатить ей за содействие необычайным вознаграждением.

Однако дойдет ли он до уступки ей несравненной позиции, которая открыла бы ей доступ к Средиземному морю и поставила бы под угрозу всю Европу? Конечно, нет. Но Царь-град сам по себе, один, не составляет еще всей позиции; — он только одна из ее частей. Проход между Черным морем и Средиземным состоит прежде всего из Босфора, затем расширяется во внутреннее море, Мраморное, и суживается вторично в Дарданеллах. Этот драгоценный соединительный путь имеет два затвора, и Наполеон, оставляя за собой один из них, мог лишить всякого значения другой в руках России. Таким образом, у него появилась мысль разделить на части спорную позицию, и в случае, если император Александр решительно потребует Константинополь, обусловить приобретение наших союзников водворением в Дарданеллах другого государства: либо самой Франции, либо Австрии[1]. Конечно, Коленкур не должен сразу предлагать Константинополь. Сначала он должен отказать, предложить сделать из него столицу независимого и нейтрального государства, расположенного на двух проливах; затем, если Россия уж очень будет настаивать, медленно отступить к Дарданеллам и там сосредоточить свое сопротивление. Подобная тактика заставит, быть может, Россию отказаться от своих требований; возможно и то, что, ставя для уступки Константинополя трудно приемлемое условие, эта тактика была только средством косвенного отказа. Наконец, согласился ли бы Наполеон сделать царя византийским императором, если бы тот принял предложенный ему для разрешения трудного вопроса способ? Мы далеки от того, чтобы утверждать это. Весьма вероятно, что он не решил этого окончательно. Несомненен один только факт: в феврале 1808 г. он не ставил вопроса о Константинополе в число тех, по которым бы он отказывался от соглашения и который бы ставил вне всякого обсуждения.

Наполеон никогда не делал уступок даром: и если он не отвергал с самого начала самой блестящей из всех возможных уступок, то только потому, что эта уступчивость, может быть, только кажущаяся, могла привести его к крупным, необычайным выгодам. Для него Египет был тем же, чем для России Константинополь — его кульминационным пунктом. Во всех рассматриваемых им случаях он берег его для себя. Но завоевание Египта вынуждало его сделать другие завоевания. Для защиты нашей предполагаемой колонии будет необходимо присоединить господствующую над ней с севера Сирию, затем приобрести аванпосты Александрии, остров Кипр и Кандию и связать цепью принадлежащих Франции островов превращенный в нашу провинцию Египет с Мореей, освобожденной нашим оружием. Тогда для того, чтобы господствовать

---

[1] Memorial, 10—12 mars 1816.
[2] См. с. 201 и 236.
[3] Souvenirs contemporains d'histoire et de litterature, par Villemain, nouvelle edution, Paris, 1858, 178.
[4] Донесение Коленкура от 29 февраля 1808 г.

[1] Письмо Коленкура от 16 марта 1808 г.

над всеми морскими путями древнего мира в точке их соединения и царствовать на главном перекрестке земного шара, Франции останется завоевать только Архипелаг и наложить руку на порты Малой Азии.

Но Наполеон не хотел, чтобы оттоманские владения в Африке и Азии были теперь же точно распределены, во-первых, потому, что он не установил еще соотношений долей в предполагаемом разделе, а во-вторых, боялся, чтобы Россия не сочла бы себя вправе сократить нашу европейскую долю, если бы Франция в слишком ясной форме стала домогаться провинций по ту сторону морей. Его желанием было, чтобы император Александр, сосредоточив все свое внимание на Дунае, на Черном море и Константинополе, предоставил нам свободу действий в Египте, Сирии, в портах Малой Азии на Средиземном море, и даже оказал бы нам в этих приморских местах бескорыстное содействие своим флотом. Русский флот еще не перешел из Средиземного моря в Балтийское; его корабли были разбросаны между Триестом, островом Эльбой и Лиссабоном, без всякой пользы качаясь на своих якорях. Наполеон с болью в сердце видел, что русский флот остается в бездействии в то время, как все силы его энергии были направлены к борьбе на морях. Поэтому он поручил Коленкуру просить о передаче в его распоряжение русских кораблей, о предоставлении ему права распоряжаться ими по своему усмотрению и пользоваться ими, как частью своих эскадр. Он хотел, чтобы это содействие было ему обеспечено теперь же; чтобы оно предшествовало всякой окончательной сделке; чтобы Россия, одолжив нам свой флот, тем самым помогла нашим предварительным операциям, около Корфу и Сицилии; чтобы она содействовала сформированию могущественной *Армады,* назначением которой было подобрать расположенные на морях останки Турции и которая должна была покинуть Тулон только для того, чтобы сделаться владычицею Средиземного моря[1]. Если бы Россия в возмещение столь значительных услуг, в свою очередь, потребовала бы права на приобретения вне европейского континента, Коленкур не должен отказывать ей в этом; но пусть он предложит ей вознаграждение вдали от нас, на севере турецкой Азии; пусть он

[1] Corresp., 13897.

укажет ей на Трапезонд, на южный берег Черного моря и с этой стороны покажет ей естественное поле к ее расширению[1].

Итак, пусть Черное море сделается русским озером, но при условии, чтобы Средиземное море сделалось французским. Такова, очевидно, была преобладающая мысль Наполеона. Он вносил еще поправку, в силу которой оба моря окончательно были бы отделены одно от другого; он сохранял за собой право в случае надобности запереть Черное море. Имея именно это в виду, он и предлагал создать в Константинополе промежуточное государство, поставленное на страже проливов и обязанное держать их закрытыми для России. Если бы Россия во что бы то ни стало пожелала получить Константинополь, оккупация Дарданелл, оборудованных так, чтобы запереть выход с востока в Средиземное море, в иной форме выполнила бы цель, преследуемую императором. Россия найдет тогда в Константинополе великолепное, но зато и окончательное завершение своего поступательного движения в Европе, и когда она довершит свою историческую и ниспосланную Провидением миссию, когда отомстит за Крест и водрузит его на Босфоре, когда благодаря ей своды храма Святой Софьи огласятся торжественным греческим богослужением, — тогда на пороге своего завоевания она столкнется с авангардом Запада, поставленным у второго пролива, владеющим сильно укрепленными позициями и поддержанным силами Франции и Австрии. Все это представит более серьезное препятствие, чем слабая и непрочная Турция. Россия отступит перед «такой преградой»[2]. Энергично сдерживаемая со стороны Европы, она направится в Азию, куда Наполеон указывал и открыл ей путь. Таким образом, объясняется фраза, сказанная позднее Нарбонну, обе части которой, на первый взгляд, как будто исключают одна другую. «Я по-дружески хотел толкнуть Россию в Азию: я предложил ей Константинополь»[3]. Громадным обходом, путем русского союза, приближался Наполеон к тому, к чему

[1] Донесения и письма Коленкура от 26 февраля по 16 марта 1808 г. Мы опубликовали эти документы в Revue d'Histoire diplomatique, 1 juillet 1890.
[2] Memorial, 10—12 mars 1816.
[3] Villemain, 178.

хотел его привести Талейран путем союза с Австрией. Что бы он ни обещал для услаждения гордости и воображения России, он предоставлял ей основываться только на восточном берегу Балканского полуострова. Отдавая в ее распоряжение устье Дуная без Сербии, болгарскую землю без центральных частей Румелии, быть может, и Константинополь, но без Дарданелл, он поставил бы ее в положение, уступающее в стратегическом отношении положению Австрии, прочно устроенной в центре прежней Турции. Оттесняя одновременно оба государства к востоку, он натравил бы их друг на друга и закончил бы тем, что толкнул бы Россию на путь, на котором она в один прекрасный день очутилась бы соседкой Англии, т. е. в борьбе с ней. Таким образом, между тремя государствами, с которыми нам нужно было сражаться или которых нам нужно было опасаться, установился бы вечный конфликт. Одновременное отступление к Востоку наших обеих соперниц на континенте очистило бы перед нами поле и сделало бы Францию властительницею Европы и царицей Средиземного моря.

VIII

РАЗГОВОРЫ В С.-ПЕТЕРБУРГЕ



Нетерпение и мучительные тревоги Александра.— Несмотря на хлопоты Коленкура Россия не решается начать борьбу со Швецией. — Приводимые ею предлоги отсрочки. — О каких делах велись переговоры на балу. — Праздник Водосвятия. — Смотр войск; Александр обещает употребить их против Швеции. — Новая отсрочка. — Протесты посланника; какое средство было принято для выхода из создавшегося положения. — Барон Штединг. — Старания успокоить тревоги Швеции. — Внезапное вторжение русских в Финляндию. — Александр все настойчивее требует уступок на Востоке. — Подарки от Наполеона. — Александр надеется получить провинции, а получает только роскошное оружие и севрские фарфоры. — Показное уведомление и затаенное разочарование. — Невозможность сговориться относительно Силезии. — Опасность для союза усиливается. — Прибытие письма от 2 февраля. — Нежданное эффектное событие. — Восхищение Александра. — Лица проясняются. — Размышления царя и министра снова вызывают их недоверие. — Желание Александра добиться формального отречения от Силезии и гарантии против расширения герцогства Варшавского. — Искусный оборот речи. — Александр предлагает сделать Константинополь в о л ь н ы м г о р о д о м. — Совещания Коленкура с Румянцевым по поводу раздела: необычный характер этих переговоров. — Распределение городов, провинций и королевств. — Первый спор по поводу Константинополя и Дарданелл. — Румянцев осторожно и издалека подходит к вопросу: бой начинается. — Коленкур допускает возможность уступки Константинополя, отступает к Дарданеллам и там сосредоточивает свое сопротивление. — Он передает на суд

государя требования министра. — Разговор Александра меняет свой характер; какие причины и чьи советы заставляют его требовать Константинополя и проливов; он крайне упорно стоит на этом требовании. — Долгие часы обсуждений с Румянцевым. — Дарданеллы постоянно остаются предметом спора. — Кошачий язык. — Два министра в одном лице. — Чтобы получить спорную позицию, Россия предоставляет нам Египет и порты в Малой Азии, предлагает нам военную дорогу через проливы, отдает свой флот в наше распоряжение. — Средство примирения, придуманное Коленкуром: у Франции и России, у каждой в отдельности, будут свои Дарданеллы. — Отказ Румянцева. — Последний разговор с Александром. — Нота Румянцева и оговорки к ней Коленкура. — Франко-русский Восток. — Доля Австрии. — Александр ставит условием свидания предварительное соглашение относительно основ раздела. — Его два письма к Наполеону. — Отправка подарков. — Сибирский мрамор в Трианонском дворце. — Сообщения Коленкура о настроении в Петербурге. — Раздел мира.

I

Русский император с возрастающей тревогой ждал ответа на свои требования, переданные через Савари и позднее через Коленкура. В течение первых недель 1808 г. задача нашего посланника сделалась особенно затруднительной. В силу своих прежних инструкций он должен был просить у России новых обязательств и не давать ей ни одной из просимых ею выгод; должен был советовать ей вести активную политику на севере, терпение на юге и, не позволяя ей действовать против Турции, торопить ее с принятием решительных мер против Швеции.

Оставаясь глухим к увещаниям, нечувствительным к угрозам, шведский король решительно отказался присоединиться к двум союзным империям и закрыть для Англии свои гавани. Верность к прошлому и ненависть к революционному императору сделались у этого монарха с рыцарской душой и неуравновешенным умом пунктом помешательства. Он хотел держаться независимо среди поверженной Европы и думал, что́, уступая требованиям Франции или ее союзников, он поступит противно законам чести. Как только вполне выяснились его намерения, Коленкур настойчиво стал просить царя прибегнуть к обещанным мерам воздействия и напасть на Швецию. Александр не отказывался. К концу 1807 г. корпуса, назначенные для вторжения в Финляндию, окончательно сгруппировались и расположились вокруг Петербурга. В то время, когда армия была уже в полном составе и ждала только приказания выступить в поход, в правящих сферах стало заметно некоторое колебание. Последние приготовления шли вяло и часто прерывались. Нельзя было объяснить эти проволочки только медлительностью, присущей русской администрации, и Коленкур вполне справедливо приписывал их и другим причинам.

До сих пор разрыв с Великобританией носил платонический характер. Александр объявил войну нашим врагам, но в действительности не вел ее. Вторгнуться в пределы Швеции, союзницы и друга британского кабинета, значило перейти от угроз к делу и закрыть себе всякое отступление. Не будучи вполне уверен в нас, Александр колебался рискнуть на такой решительный шаг. Вместе с тем он боялся торопиться с занятием Финляндии, дабы Наполеон не указал ему на это завоевание, как на равнозначащее завоевание турецких провинций, не отнес его тотчас же на актив России и не уменьшил бы соответственно ее долю на Дунае и Черном море[1].

Итак, Россия не торопилась действовать. Граф Румянцев, которому поручено было не поддаваться нашим настояниям, с неистощимой плодовитостью изобретал предлоги к отсрочке. Сегодня движению войск мешала оттепель; завтра — недостаток съестных припасов; на третий день генерал-аншеф Буксгевден упал с лошади, что уложило его в постель; затем приближалось Крещение. В этот день происходило освещение воды, и религиозная церемония по традиции сопровождалась большим смотром. Чтобы зрелище вышло более блестящим, надлежало, чтобы в нем приняли участие войска экспедиционного корпуса; следовательно, нужно было удержать их в Петербурге до этого торжественного дня. Единственным средством посланника против такой тактики было обращаться непосредственно к царю, который любил обсуждать дела более широко, и, действительно, редко бывало, чтобы разговор с ним не приводил к сокращению отсрочек, требуемых его министром[2].

К счастью, у нашего посла не было недостатка в случаях беседовать с государем. Не считая того, что Александр чаще обыкновенного приглашал его в свой интимный кружок, они почти каждый вечер встречались

[1] Письмо и донесение Коленкура, январь 1808 г. passim.
[2] Письмо и донесение Коленкура, январь 1808 г. passum.

в свете. Зима подходила к концу; Петербург все более оживлялся; официальные и частные балы следовали без перерыва. Император бывал всюду, оставался до утра, и, отдаваясь развлечениям света с увлечением, свойственным его возрасту, отрывался от них только для того, чтобы побеседовать с посланником Франции. Тогда он подходил к Коленкуру, дружески начинал с ним беседу и увлекался долгими разговорами. Присутствующие, привлеченные любопытством, образовывали на почтительном расстоянии круг зрителей. Самым внимательным из них был шведский посланник, престарелый и умный барон Штединг, который видел, как на его глазах, но без его участия обсуждалась судьба его страны. Он старался, хотя бы по жестам и выражению лиц обоих собеседников, понять скрытое значение их слов. Он видел, как посланник о чем-то настойчиво просит, как сначала император сопротивляется, потом уступает, и по глубине поклонов, с которыми принимались последние слова императора, он догадывался, что враг Швеции получил новые обещания и что опасность приближалась[1].

6 января благодаря милости, которой до сих пор не было примера, Коленкур сопровождал императора на водосвятие. В продолжение всего этого, исключительно русского обряда, ему было отведено место вблизи императора. Он шел по льду в процессии, состоящей из духовенства, обеих императриц, придворных, императора и его свиты. После водосвятия проходили войска церемониальным маршем; их было сорок семь батальонов; тридцать девять эскадронов — целая армия. «Это было великолепное зрелище, без которого я мог бы отлично обойтись»[2], — писал Штединг, с тихой грустью смотревший из окна на грозное шествие войск. «Остались ли вы довольны моими войсками?», — спросил император Коленкура после смотра. — «Да, Ваше Величество, они великолепны»[3], — ответил посланник. Он воспользовался своим комплиментом, чтобы возобновить просьбу о более скором употреблении в дело этой отборной армии. Ему ответили, что вскоре будет выпущена декларация, равносильная манифесту о войне. На этот раз наш посланник считал, что выиграл дело.

---

[1] Memoires de Stedingk, II, 434.
[2] Memoires de Stedingk, II, 430.
[3] Донесение Коленкура от 21 января 1808 г.

Каково же было его разочарование, когда, явившись на другой день к министру иностранных дел за получением копии с декларации, он узнал от него, что дело отложено на пятнадцать дней. Он выразил удивление, не удержался от сопоставления слов государя со словами Румянцева, объявил первым непреложным законом и назвал «еретиками»[1] всех тех, которые их нарушали. Александр не хотел дать повода усомниться в своей честности, и, чтобы выйти из неловкого положения, были приняты соответствующие меры. Было условлено, что декларация будет составлена тотчас же и копия передана нам; но это сообщение о выпуске декларации, которое связывало Россию по отношению к Франции, должно было содержаться в тайне до 15 февраля, число, в которое будет объявлен Стокгольмскому двору акт о разрыве, и армия вступит в Финляндию[2]. Благодаря своей умышленной медлительности, Россия и на самом деле лишила себя возможности приступить к действиям ранее установленного срока, а с другой стороны, пользуясь искусным, но не совсем добросовестным приемом, она хотела объявить войну своим соседям только в момент нападения[3]. Штединга успокаивали до самого конца, старались усыпить тревоги Швеции и в то же время готовились напасть на нее врасплох: «Я занимаюсь разговорами, пока это желательно в Петербурге, — сказал Александр, — но это не мешает действовать моим войскам»[4] Действительно, армия незаметно приближалась к границе, 15-го она внезапно перешла ее, и тотчас же открылись военные действия. Императорский кабинет ограничился тем, что несколькими неясными фразами смягчил впечатление внезапного нападения.

Россия еще раз исполнила свои обещания. Благодаря такой точности она приобретала новые права требовать турецкие провинции, и заявления ее сделались более резкими. К несчастью, в феврале месяце Коленкур мог говорить толькоо на основании неопределенных приказаний, присланных ему в течение января. В это время в своих сношениях с Россией Наполеон старался заменить уступки знаками внимания; каждая посылка депеш сопровождалась подарками императору Александру, вы-

---

[1] Коленкур к Шампаньи, 29 января 1808 г.
[2] Коленкур к Шампаньи, 29 января 1808 г.
[3] Stedingk, II, 438, Gf. Lefebore, III, 342—350.
[4] Донесение Коленкура от 17 февраля 1808 г.

бранными со вкусом и особым вниманием. Александр горячо благодарил за них, но охотно предпочел бы несколько строк, имеющих решающее значение в восточном вопросе. Весьма интересен контраст между официальным удовольствием, которое он считал необходимым высказывать, и разочарованием, проглядывавшим в его интимных разговорах.

6 февраля из Парижа прибыл курьер. Ему поручено было доставить депеши, написанные Шампаньи 15 и 18 января, в которых рекомендуется ничего не решать; вместе с тем он привез для Его Императорского Величества коллекцию драгоценного оружия. На другой день Коленкур видел императора на параде. «К вам прибыл курьер», — сказал ему император и продолжал: «Сожалею, что сегодня воскресенье. Я обедаю в семейном кругу, но приезжайте завтра ко мне обедать». На другой день за обедом император говорил исключительно о Париже и Франции. «Он переименовал всех маршалов, — писал Коленкур Наполеону, — говорил о флигель-адъютантах Вашего Величества, об армии и о том преимуществе, благодаря которому при производстве не надо считаться с местничеством, а можно награждать единственно по заслугам. После обеда я прошел в его кабинет и поднес ему от имени Вашего Величества оружие. Он подробно осматривал его, ежеминутно восторгался тонкой работой и изяществом отделки, часто повторял мне, что Ваше Величество осыпает его любезностями и что он глубоко ценит каждый знак внимания Вашего Величества, хотя каждый курьер привозит ему новые. Затем он сказал мне, что сожалеет, что не в состоянии подарить вам ничего столь изящного, а затем прибавил: «Получили вы письмо от Императора?» — «Нет, Государь», — должен был ответить Коленкур. Чело царя тотчас же омрачилось. В продолжение разговора несколько раз вырывались у него жалобы: «Я со своей стороны, — говорил он, — делаю все, что возможно. Я исполнил все мои обязательства; Император найдет меня всегда готовым идти навстречу тому, что он сочтет полезным и даже только приятным для себя; но, признаюсь, я ожидал ответа по поводу того, что говорил мне Император в Тильзите»[1]. Несколько дней спустя, встретив Коленкура на балу, царь добавил следующие слова: «Я хотел бы, однако, чтобы этому наступил конец»[1].

20 февраля прибыл новый курьер из Франции. Он привез вместе с длинной и неопределенной депешей от 29 января картину, написанную на фарфоре, образец искусства севрской мануфактуры. Когда эта, единственная в своем роде вещь была поднесена императорской фамилии, царица Елизавета, не скрывая своего удовольствия, любезно похвалила ее. Александр хотел отослать Наполеону обратно знаменитый образец прогресса, достигнутого в искусстве под его управлением: «Гений все одухотворяет», — любезно заметил он. Затем он отвел генерала в сторону: «Ну, что же, сказал он ему, пишут вам что-нибудь о Турции? Император, должно быть, уже пришел к решению; ведь он знает, хочет ли он или не хочет сдержать то, о чем говорил мне в Тильзите»[2]. Не будучи уполномочен удовлетворить его жгучему желанию знать истинное положение дела, Коленкур с этих пор мог по его лицу проследить день за днем его возрастающее неудовольствие; сперва он находил его «серьезным», затем «задумчивым», затем «рассеянным» и даже «мрачным»[3].

Заводил ли посланник разговор об обмене Силезии на румынские провинции, Александр отвергал эту мысль более упорно, чем когда-либо; тягостный и неприятный разговор об этом возобновлялся в десятый раз. Видно было, что если бы Россия и согласилась на новые тяжелые жертвы со стороны Пруссии, все-таки требовалось, чтобы этой жертвой не была Силезия и чтобы Кенигсбергский двор[4] получил надлежащую компенсацию. Притом, этот способ выйти из затруднения не восстановил бы доверия, и облако продолжало бы висеть над будущим. Депеши Толстого, продолжавшего видеть «все в мрачном свете»[5] и указывать на польскую опасность, а также жалобы Пруссии, которая обвиняла петербургский кабинет в том, что он приносит ее в жертву своим собственным честолюбивым замыслам, окон-

[1] Донесение Коленкура от 9 февраля 1808 г.

[1] Донесение от 14 февраля 1808 г.
[2] Донесение от 20 февраля 1808 г.
[3] Коленкур к Шампаньи, 17 февраля 1808 г.
[4] Фридрих-Вильгельм и королева Луиза в ожидании, что им будет возвращен Берлин, только что поселились в Кенигсберге.
[5] Толстой Румянцеву, 14—26 января 1808 г. Архивы С.-Петербурга.

чательно смутили душу Александра. Так как его личные отношения к Коленкуру, его природная доброта и деликатность не позволяли ему высказывать вполне свои мысли, то Румянцев был уполномочен быть их выразителем. Он ясно давал понять, что основные наши предложения неприемлемы, что наши приемы затягивать дело никому не приносят пользы, что они дают оружие в руки нашим врагам. По серьезному, настойчивому, иногда скорбному тону его речей чувствовалось, что царь быстро отдаляется от нас, и что союз подвергается чрезвычайной опасности. Но проходили дни, недели, а определенного ответа не было. Намерения императора все еще были окружены непроницаемой тайной[1].

Наконец, 25 февраля прибыло в Петербург императорское письмо от 2-го, привезенное камергером Дарбергом. Это было неожиданным событием. Чем дольше, нетерпеливее и тягостнее было ожидание, тем сильнее была радость. Хотя до сих пор император Александр был более склонен к простому приобретению княжеств, чем к разделу, но, видя, что теперь осуществляется золотая мечта его предков, что она делается доступной и осязаемой, он почувствовал, как в нем пробудилась та унаследованная страсть, от которой загорались глаза его бабки Екатерины, когда она говорила о Востоке. Он не сумел побороть своего волнения, и в присутствии Коленкура, рассказ которого передал нам все подробности этой сцены, отдался порыву радости.

Коленкур отправился во дворец, чтобы довести до сведения гофмаршала Толстого, что ему нужно передать царю письмо императора. Немедленно извещенный Его Величество, — писал Коленкур, — приказал мне явиться к нему в том виде, как я был. Я попросил позволения отправиться за письмом Вашего Величества и тотчас же принес его.

Император. Отчего вы не хотите ко мне войти? В моем кабинете этикета не полагается. Я с нетерпением жду писем Императора, а вас я всегда вижу с удовольствием. Здоров ли Император? Я думаю, нам будет о чем поговорить.

Посланник. Имею честь передать Вашему Величеству письмо Императора, моего повелителя.

Император поспешил взять его и сказал мне: «Прошу, генерал, позволения прочесть. Вы не мешаете», прибавил он, так как я хотел удалиться. Император был серьезен, но мало-помалу лицо его оживлялось. В конце первой страницы он улыбнулся, затем, спустя некоторое время, воскликнул: «Вот великие дела!» и повторил несколько раз: «Вот стиль Тильзита!» При фразе: *«Не будем искать в газетах»*, он воскликнул: «Вот великий человек!» Прочел мне вслух эту фразу, затем про себя прочел письмо до конца. Затем он взял мою руку и, с волнением пожимая ее, сказал мне: «Передайте Императору, как тронут я его доверием, как я желаю ему содействовать. Вы свидетель тому, как я принял письмо. Я хочу вам его прочесть». Император прочел его со мной. На каждой фразе он останавливался, но особенно на вышеупомянутой. Затем он сказал мне: «Скажу вам откровенно, генерал, это письмо доставляет мне большое удовольствие: это язык Тильзита. Император может на меня рассчитывать, так как, вы знаете, я не менял тона»[1].

Затем он разошелся и начал говорить о способах окончательно сговориться после совещания Коленкура и Румянцева, когда они подготовят основы соглашения. Он страстно желал поехать в Париж. Но, возможно ли, говорил он, пробыть там только несколько дней, и, кроме того, разве мог он при теперешних обстоятельствах надолго отлучиться? Он откладывает на будущее время это путешествие, как награду, которую назначил себе после славных дел. Что же касается до того, чтобы послать доверенного человека, его трудно найти. «Император убедился на Толстом, что у меня нет такого; не знаете ли вы здесь подходящее лицо? Я избрал Толстого потому, что он не интриган; ну! а он не занимается делами. Император им недоволен. Между нами говоря, я уже давно замечаю это». Он склонялся к свиданию на полпути, говорил, что помчится, «как курьер», чтобы поскорее встретиться с своим союзником. Пока он желал, чтобы Императору сообщили о его чувствах: «Напишите ему о моей благодарности... До свидания, генерал, прибавил он, отпуская Коленкура. «Вам все еще досадно, что вы не по форме одеты? А я, я очень рад, что вас видел». Донесение посланника оканчивается так:

[1] Переписка Коленкура с императором и с министром иностранных дел, январь, февраль 1808 г., passim.

[1] Донесение Коленкура № 17. Не на всех донесениях посланника в продолжение этих переговоров выставлены числа; мы указываем на них по порядку номеров.

«Вечером на балу император несколько раз говорил со мной и сказал мне»: «Я несколько раз перечел письмо Императора; вот где речи Тильзита». Я уверил его, что других никогда и не говорилось»[1].

Первым душевным движением Александра был восторг; вслед за ним явилось размышление, и оно-то пробудило недоверие. У Александра и Румянцева возникли те же подозрения, которые овладевают и нами в наши дни при чтении письма от 2 февраля, когда мы размышляем об обстоятельствах, при которых оно было написано, о необходимости для Наполеона избавиться по вопросу о Пруссии от определенного ответа, о необходимости оборвать и переменить предмет обсуждения. Они опасались (это слова Коленкура), чтобы «предложение о разделе не оказалось бы только средством подменить вопрос и оставаться в Силезии, лишив Россию возможности спросить, зачем»[2]. Эта мысль, которая имела непосредственную связь с мыслями, осаждавшими царя уже в течение трех месяцев, отравляла его радость. Она сделалась столь назойливой, что ему во что бы то ни стало нужно было выяснить себе дело. Румянцеву было поручено позондировать Коленкура и в случае надобности поприжать его. И вот во время первого же совещания между обоими уполномоченными Пруссия сделалась главным предметом разговора, который, по-видимому, предназначался всецело вопросу о Турции.

Русский министр всячески старался получить обещание, в силу которого наши новые предложения повлекли бы за собой безусловное отречение от проекта относительно Силезии. Одно слово, твердил он; достаточно будет одного слова. Коленкур не был уполномочен сказать это слово. Его ответы показались настолько неудовлетворительными, что царь счел нужным лично поддержать просьбы своего министра. 1 марта посланник обедал во дворце. Естественно, что разговор зашел о письме императора. Александр, пользуясь риторическим приемом, состоящим в том, что вместо того, чтобы непосредственно изложить просьбу, предполагается, что желаемое уже исполнено, выразился так: «Я очень рад, что не будет более разговора о Силезии. Откровенно говоря, вопрос о разделе Оттоманской империи, должно быть, покончит со всем, что предлагалось

[1] Донесение № 17.

[2] Письмо Коленкура императору от 29 февраля 1808 г.

и говорилось относительно Пруссии со времени Тильзита; это восстановит дело в том виде, как его освятил договор»[1]. На этот вызов Коленкур ответил ссылкой на потребности борьбы с Англией, что они не позволяют еще выполнить обязательства, принятые на себя обеими сторонами. Вместе с тем он признал, что относительно эвакуации Пруссии еще не принято определенного решения, но при этом заметил, что и русская армия занимает княжества. Его объяснение закончилось фразой, заимствованной из инструкций его повелителя: «Император Наполеон просит Ваше Величество не торопить его, равно как и он не торопит вас»[2].

Александр должен был удовольствоваться таким ответом, который, очевидно, заключал в себе обещание эвакуировать в срок, и не отказался идти вслед за нами на Восток. Сразу же приступив к рассмотрению главного вопроса, он проявил на этой почве неожиданную умеренность: «Конечно, Константинополь, — сказал он, — важный пункт, но он слишком далек от вас, и поэтому вы, быть может, преувеличиваете и для нас его значение. Мне пришла такая мысль: чтобы не было из-за него затруднений, сделаем из него нечто вроде вольного города»[3].

После такого заявления, очевидно, весьма облегчавшего задачу французского посла, Александр пошел за пределы Константинополя и позволил увлечь себя в глубь Азии. Несмотря на свое первоначальное предубеждение, он соглашался принять участие в походе на Индию и давал требуемое Наполеоном количество солдат. «Я выберу ему их, как друг»[4], — сказал он. Большая часть из них может пройти вместе с французскими войсками через Константинополь и Малую Азию, а остальные высадятся в Трапезонде на Черном море и в Астрабаде на юге Каспийского моря; может быть, потом можно будет пойти к конечной цели через Герат и Афганистан. Впрочем, заключил царь, дело наших представителей придти к соглашению относительно способов действий и предусмотреть и разрешить затруднения; сам же он хочет свидеться с Наполеоном только для того, чтобы скрепить соглашение на свидание в Германии, в

[1] Донесение № 18.

[2] Донесение № 18.

[3] Ibid.

[4] Ibid.

Веймаре или Эрфурте, и обещал явиться своевременно, хотя бы для этого ему пришлось ехать «день и ночь»[1].

Чтобы удовлетворить его нетерпеливое желание, Румянцев и Коленкур принялись за дело и 2 марта приступили к дележу. Вначале у них был момент нерешительности и сдержанности. Так два противника во время дуэли, скрестив шпаги и встретившись взорами, некоторое время, молча, наблюдают друг за другом и выжидают в надежде, что противник начнет поединок первым и откроет себя. Такая тактика была предписана Коленкуру Наполеоном, но и Румянцев считал ее также для себя удобной и не хотел от нее отказаться. По его мнению, так как инициатива проекта исходила от императора Наполеона, то ему первому и надлежало ознакомить со своими взглядами и высказать основные положения, которые должны подвергать обсуждению. Во-первых, о каком разделе идет речь? О том ли, вопрос о котором был поднят в Тильзите и по которому Румелия с Константинополем оставались за турками? Следовало ли приступить к разделу всей европейской Турции? Следует ли дойти до раздела между собой оттоманских владений в Азии и Африке? Ответ Коленкура был постоянно один и тот же: что следует высказаться по всем этим гипотезам, что инструкции Наполеона ничего точно не определяют и ничего не исключают. Наконец, отчаявшись вызвать нападение своего собеседника, Румянцев покорился необходимости взять нападение в свои руки. Тогда начались эти единственные по своей необычайности переговоры, тайну которых сохранили наши архивы. Министр и посланник разговаривают по-приятельски, с глазу на глаз. Перед ними стол, заваленный картами. С утонченной вежливостью и даже любезным и игривым тоном, который дипломаты доброго старого времени старались придать своим прениям, они общими усилиями стараются сочинить решение самых грозных задач, какие только может поставить политика. Они распределяют столько территорий, провинций, королевств, сколько никогда не раздавал торжественно-собранный конгресс. Стараясь на словах перещеголять друг друга в любезностях, они на деле стараются превзойти в неуступчивости; играя прижимисто, но с приятной улыбкой, они любезно спорят о

[1] Донесение № 18.

самых знаменитых, чрезвычайно выгодно расположенных странах, на которые с завистью устремлены взоры всего мира.

Решили начать с гипотезы частичного раздела, развернули карты:

П о с л а н н и к. Поищем, что вам подойдет. Чего желал император (Александр) в Тильзите? Ему тоже должно быть известно и то, чего хотел император Наполеон.

М и н и с т р. Он никогда вполне определенно не высказывался об этом. Мне кажется, что нашими были Молдавия, Валахия и Болгария; у Франции — Морея и, может быть, Албания и Кандия.

П о с л а н н и к. Это не все. Что делали с остальным, даже и в том случае, если бы Румелия осталась за турками? Ведь об этом плане теперь мы говорим? Не так ли, граф?

М и н и с т р. Да! Мы желаем, чтобы вы получили то, что вам наиболее подходяще. Австрия ничего не сделала. Если она примет участие, ей немного нужно; но недурно было бы воспользоваться ею.

П о с л а н н и к. Что же вы даете ей?

М и н и с т р. Кроацию; если этого слишком мало, то кое-что в Боснии.

П о с л а н н и к. Босния — прямой путь в Албанию. По ее положению, — это наша естественная доля. Но вы забываете Сербию.

М и н и с т р. Можно ее сделать независимой, дать ей собственное правительство, поставить ее в сферу нашего общего влияния.

П о с л а н н и к. Два сильных влияния в одной стране, не то же ли, что две хозяйки в одном доме?

М и н и с т р. Вы правы, это будет неудобно. Можно будет отдать эту провинцию австрийскому эрцгерцогу. Император Наполеон мог бы выбрать его из младшей линии для того, чтобы Сербия никогда не перешла к царствующей линии.

П о с л а н н и к. Нет ли у вас каких-нибудь обязательств с сербами?

М и н и с т р. В этом отношении никаких; — только отнюдь не отдавать их туркам и постараться добиться для них отдельного правительства, хотя бы под главенством Порты, т. е. не отдавать их на избиение туркам.

П о с л а н н и к. Вы берете слишком много. Все эти провинции в непосредственной связи; все их население

останется на месте, и так как оно состоит из христиан, то будет за вас, тогда как в других областях большинство жителей — турки, которые уйдут вслед за оттоманским правительством во время его бегства. Следовательно, ваши провинции будут населены, а наши безлюдны»[1].

Румянцев не обратил внимания на последнее возражение своего противника. Как бы то ни было, они ведь только для виду спорили по поводу этой гипотезы, не имевшей, по их мнению, никакой будущности. Назначая Константинополь исходным пунктом для похода на Индию, Наполеон заранее предрешал разрушение и полное расчленение Турции. Прения неизбежно должны будут расшириться, и тогда только наступит момент для серьезного столкновения аппетитов. Румянцев первый сорвал завесу: «Если турки, — сказал он, — будут изгнаны из Европы, — а это мне кажется неизбежным, имея в виду поход в Азию, ибо я сомневаюсь, чтобы султан, которому заранее отсекут руки и ноги, разрешил пройти по своей территории, да и помимо того, если, говорю я, турки будут изгнаны из Константинополя, что, по моему мнению, противно нашим интересам, конечно, если только его не отдадут такому же слабому, как турецкое, правительству, — в силу положения, занимаемого этим городом, в силу нашего положения и требований нашей торговли, ключ которых лежит на Босфоре и Дарнанеллах, Константинополь должен отойти к нам, а также и большая часть территории, прилегающей к проливам.

П о с л а н н и к. Ключ от Черного и ключ от Мраморного моря! Это слишком много для одного выхода, граф; иметь и один из них было бы уже очень хорошо. Мне кажется, можно было бы предложить, чтобы у каждого был свой ключ.

М и н и с т р. Один без другого ничто. Наше географическое положение и обладание Черным морем, — даже более чем наши политические интересы, — требуют, чтобы мы владели Константинополем. Вы далеко от Константинополя, да и, кроме того, у вас будут настолько хорошие владения, что вы не будете иметь повода нам завидовать»[2].

После этих слов, совершенно противоречащих мысли, высказанной императором Александром за несколько часов до совещания, оба собеседника поспешили приступить к рассмотрению других вопросов, как будто они хотели на этот раз только коснуться жгучей почвы. Министр оказался более требовательным, чем его государь, более русским, чем царь. Не делая ни малейшего намека на идею о Византии, как о вольном городе, он требовал Константинополь и даже отказывался отделить его от Дарданелл. Убедил ли он императора согласиться с его мнением и выражал ли он точно волю своего правительства? Говорил ли он только от себя лично? Быть может, в его требованиях следовало видеть только способ спорить, одно из тех требований, которое выставляется для того, чтобы из отказа от него создать себе право на вознаграждение? Если Коленкур и питал сначала такую несбыточную надежду, второе совещание, состоявшееся через день, должно было вполне рассеять его иллюзию. Доктрина русского министра определилась вскоре еще точнее и энергичнее.

Однако министр, желая подготовить почву, приступил к ней осторожно и начал с предложения императору Наполеону «всего, что могло быть ему подходящим».

П о с л а н н и к. Что подразумеваете вы под этим, граф?

М и н и с т р. Ну! Например, что, кроме Мореи и Архипелага, вы можете взять Албанию, о которой не было речи. Эта страна находится возле нас и даст вам драгоценные средства для вашего флота. Император Александр лично пришел к мысли, что это будет подходяще для императора Наполеона. Кроме того, вы можете еще приобрести Египет, даже Сирию, если это вам нравится.

П о с л а н н и к. Вопрос об Албании до сих пор считался решенным. Вы часто называли ее мне и даже еще третьего дня указывали на нее, как на приобретение, относительно которого вы не возбуждали никаких сомнений. То, что вы намерены предложить без Албании, было бы то же самое, что дать Валахию без Молдавии. Затем вы тотчас же ведете нас в Азию, граф. Я очень рад идти за вами. Однако будем подвигаться шаг за шагом, распределим по порядку наши идеи и разделим сперва Европу, так как, я думаю, следует начать с этого пункта.

М и н и с т р. Ну, что же! Валахию и Молдавию с прибавкой Болгарии, пожалуй, даже Сербию, вот что нам подходяще; Франция возьмет Морею, Албанию, Архипелаг, часть Боснии. Другая часть Боснии и Кроация

[1] Донесение № 19.
[2] Донесение № 19.

отойдут к Австрии. Конечно, все это при условии, что Румелия и Константинополь останутся за турками.

Посланник. С прошлого раза вы очень сильно увеличили вашу долю, граф. Если пойдет так дальше, вы скушаете все. Австрия не поблагодарит вас за долю, которую вы ей предназначаете. Я даже хорошенько не знаю, что думать о нашей собственной. Взгляните на карту; Сербия лежит вне вашего географического положения.

Министр. Императору она не нужна; не будем более об этом говорить, если, по вашему мнению, это неприемлемо. Отдайте ее в таком случае, как мы говорили, какому-нибудь эрцгерцогу их младшей линии или какому-нибудь европейскому принцу, например, если хотите, принцу Кобургскому, или кому-нибудь другому. Если вы хотите сделать нам приятное, назначьте ее в приданое одной из наших великих княжен (какой вам угодно), хотя бы как собственность ее супруга, если вы найдете это нужным. Как православная, она будет служить связью между принцем, за которого ее выдадут замуж, и жителями этой страны. Они крайне фанатичны, и высказывая эту мысль, я думаю сослужить службу делу мира и указать на единственное средство поддержать спокойствие среди этих дикарей. Быть может, будет даже полезно выговорить, что дети будут воспитываться в духе греческой веры. Впрочем, я не придаю никакого значения этой мысли, она исходит лично от меня.

Посланник. Императору будет, конечно, очень приятно доставить удовольствие лично императорской семье, но Сербия будет плохим приданым для великой княжны при обязательстве жить ей там. Поставить одну из ваших великих княжен между вами и нами, не значит ли поступать на деле противно вашим принципам о неудобствах непосредственного соприкосновения великих держав и, может быть, подать повод к некоторым недоразумениям, ибо фактически вы будете царствовать там, где будет ваша великая княжна. Как видите, я держусь вашей доктрины. Впрочем, вы знаете, что я не уполномочен ни отказывать вам, ни давать согласие.

Министр. Пусть эта страна будет независимой, вот все, чего мы хотим при настоящем положении вещей»[1].

---

[1] Донесение № 20.

Начнется ли бой после этой схватки? Румянцев начал подходить к главной позиции, но путем искусных подходов. «Мы хотим,— говорил он,— оказать вам услугу, помочь вам всеми нашими силами; но, уже потому, что наше содействие будет безграничным, оно должно повлечь за собой крупные выгоды, такие, которые бросились бы в глаза, которые поразили бы нацию, закрепили бы ее за новой системой и не показались бы ей не соразмерными с требуемыми от нее жертвами. Ведь мы пойдем в Индию только ради вас; у нас там нет никакого личного интереса.

Посланник. Можно подумать, что вы и не воюете с Англией? Мы тоже хотим оказать вам услугу, граф, и, главным образом, сделать нечто такого рода, что привязало бы вашу нацию к ее повелителю: вот наша цель в этом деле, поверьте мне. Мы с вами можем только набросать предварительные мысли, постараться предусмотреть затруднения для того, чтобы поскорее сговорились: вот наша роль; ибо, как вы знаете, я не имею права заключать договора. Приступим же откровенно к вопросу».

Прежде чем ответить на этот вызов, русский министр постарался еще раз обеспечить свой тыл. Поддавшись снова опасениям или как бы угрызениям совести, он внезапно вернулся к вопросу о Пруссии и сделал следующую оговорку: «Все-таки нужно будет объясниться и сговориться относительно Силезии».

Посланник. Видно, что в России не существует расстояний. Какое отношение может иметь Силезия к громадному вопросу, которым мы заняты? Мне досадно, что вы еще не формулировали ваших взглядов, тогда мы двигались бы скорее»[1].

Румянцев ответил, что самое лучшее было бы составить общий план и записывать его по мере того, как будет создаваться соглашение, и, решившись, наконец, снова перейти в наступление, он сказал: «Поговорим о Константинополе. Самой судьбой предназначено нам владеть им; наше положение толкает нас к нему так же, как к Босфору и Дарданеллам. В таком случае Сербия должна быть отдана в полное владение Австрии, равно как и часть Македонии и Румелии до моря для того, чтобы она разделяла нас согласно принципу, изложенному в ноте императора Наполеона в Тильзите,

---

[1] Донесение № 20.

по которому для того, чтобы оставаться друзьями, не следует быть соседями. Вы не можете себе представить, до какой степени такая сделка привяжет нашу страну к вашей системе, к вашей династии. Ваше дело будет нашим делом. Вам достанется остальная часть Македонии и часть западной Румелии, вообще все, что вам подходит. Хотите, берите всю Боснию взамен того, что будет дано Австрии в Румелии и Македонии с целью нас обособить. Сверх того, Египет и Сирию, если это вам нравится.

Посланник. Доли не равны. Константинополь один стоит всего, что вы предлагаете нам в Европе. Вы не щедры сегодня, граф.

Министр. Вы больше получите. Что такое Константинополь и все окружающее его, когда не будет турок? Наконец, как смотрите вы на это?

Посланник. Сознаюсь, Константинополь пугает меня. Проснуться императором Константинополя,— какое чудное пробуждение! От вашей теперешней границы до него,— ведь это целая империя. Какое положение, можно сказать, на двух частях света! Нужно свыкнуться с этими мыслями, чтобы взять на себя смелость говорить об этом.

Министр. Этого требуют как наше географическое положение, так и интересы нашей торговли; ваше географическое положение требует нечто другое. Это вовсе не так выгодно, как вы думаете. Это далеко от нас, это будет город и страна без жителей; но наше положение таково, что, ради Черного моря, мы не можем не желать Константинополя и Дарданелл.

Посланник. В моей голове не укладывается возможность приобретения Константинополя; но, если это допустить, сознаюсь, я не соглашусь на приобретение и Дарданелл тем же государством.

Министр. Кому же вы дадите Дарданеллы?

Посланник. Я возьму их для Франции.

Министр. Для чего? Какая вам выгода так близко подходить к нам?

Посланник. Результатом уступки вам Константинополя должны быть для Франции огромные, поразительные выгоды. Где прикажете искать их в Европе? Я не вижу. Не в Азии ли; может быть Египет, Сирия? Разве это сравнимо? Положим, вы подносите их нам, но нужно иметь возможность сообщаться с этими приобретениями. Я вижу только один верный путь — через Дарданеллы. Да сверх того, я спрошу вас, поможете ли вы нам завоевать эти две провинции. Конечно, говоря мне о Сирии и Египте, вы хотели оказать нам услугу, граф. Но что стоит это подношение без Дарданелл?

Министр. Император не высказывался относительно особого на этот предмет содействия; но вы знаете, как он уступчив по всем этим вопросам и как охотно принимается им все, что подтверждает, какую цену он придает союзу и всему, что устраивает императора Наполеона. А наша торговля, господин посланник! Я допускаю, что пока жив Император, ее не будут тревожить: но потом, чем она будет обеспечена, если ключ будет у вас?

Посланник. Вся наша торговля в земледельческих продуктах. Вся Европа нуждается в них, и Франция так же, как и другие государства. Их корабли, а не ваши перевозят ваши продукты. Какой же вред могли бы вы ощутить от нашего положения на Дарданеллах? Никакого, уверяю вас; ваше положение может стеснять всех, наше — никого.

Министр. Судите сами, что вы приобретаете таким путем, какое влияние! А мы, что мы получим? Город с громким именем и более ничего. Я во сто крат предпочел бы второе.

Посланник. Сравнение не будет в ущерб Константинополю.

Министр. Острова представляют для вас несметное богатство, они дадут вам превосходных матросов. Вы устроите Египет и Сирию, для кого вам угодно, а что мы получим за это? Если вы уж так дорожите Дарданеллами, не можете ли вы нам отдать Сербию?

Посланник. Таким образом, вы залезаете в наш карман, говоря, что не хотите, чтобы мы залезли в ваш. Что же оставите вы Австрии, так как имеется в виду воспользоваться и ее услугами? Взгляните на карту, граф, география решительно не допускает, чтобы Сербия была вашей. Раз мы заговорили об Азии, вы там можете взять: Трапезонд у вас под рукой. Вот великолепное приобретение для министра торговли; но, граф, примите в соображение следующее: все, что вы приобретаете, соприкасается с вашим государством и укрепляет его; все, что вы нам предлагаете, находится по отношению к нашему почти на краю света. Итак, при любом положении дела вы везде будете сильны, а мы слабы.

Министр. Но до каких мест и каким путем пойдете вы, если признать Дарданеллы вашими?

Посланник. Ну, по крайней мере, до Родосто; можно будет принять за границу цепь гор от Пристина до Адрианополя.

Министр. Мое мнение таково: мы не можем уступить ни Константинополя, ни Дарданелл. Впрочем, я подожду приказаний Императора, может быть, он будет более податлив. Будьте уверены, мы хотим вам помочь, помочь всеми способами, и хотим, чтобы вы получили все, что вам нравится; что же касается наших желаний, то мы должны найти те же чувства в императоре Наполеоне»[1].

С кем согласится царь, к которому Румянцев вызвался обратиться по этому поводу? Со своим ли министром, наследником русских традиций во всей их полноте, или с посланником, который мог сослаться на первоначально поданные ему надежды? Примет ли он по крайней мере тот способ соглашения, который внушала Франция? В течение нескольких дней государя нельзя было видеть: пост и говение задержали все дела, официальная Россия отсутствовала. Каков будет результат его уединенных размышлений?

Когда Александр снова встретился с нашим послом, его слова были милостивы, но не удовлетворили Коленкура.— «Кажется,— сказал он ему — вы отлично ладите с Румянцевым, и дело подвигается».

Посланник. Наши мнения расходятся относительно Константинополя и Дарданелл, хотя я и не уполномочен давать согласия на что бы то ни было и в чем бы то ни было отказывать. Впрочем, первоначальная мысль о нем была высказана Вашим Величеством. Вы думали, что, может быть, нужно будет сделать Константинополь вольным городом.

Император. Положение дел изменилось. Император поднимает вопрос о походе, о котором не было речи. Мы сговоримся, будьте в этом уверены. Вопрос идет о делах, которыми я должен дорожить хотя бы для того, чтобы иметь возможность действовать открыто и следовать вашей политике[2].

Александр не упоминал о Константинополе. Он еще стеснялся высказывать свои честолюбивые стремления,

[1] Донесение № 20.

[2] Письмо Коленкура императору от 7 марта 1808 г.

но чувствовалось, что в нем произошла перемена. Вскоре Коленкур узнал, чье влияние ее вызвало. Несмотря на обязательство соблюдать тайну, стало известно, что были запрошены мнения некоторых лиц, что были совещания, на которых всегда одерживало верх наиболее захватывающее мнение Румянцева. Представленные им доводы вполне убедили Александра. Постепенно доведенный до чрезмерных требований, он будет с этих пор настаивать на них, так как мысли, высказанные по этому вопросу, а также расчет, даже более чем наследственное влечение, указывали на их необходимость. Он пришел к убеждению, что настоящий момент был решающим для будущности его государства. Вот уже сто лет, говорил он себе, Россия стремится обладать Константинополем из-за славы и проливами ради своих интересов; на пути к этим двум целям ее постоянно останавливала зависть европейских государств. Теперь Европы более не существует; ее заменил человек, который по своему произволу создает и разрушает империи и мечом разрубает вопросы, по которым в былые времена дипломатия ограничивалась тем, что откладывала решение. Однако оказывается, что этот завоеватель не может упрочить своего дела и сокрушить Англии без содействия русского государя. Под опасением пропустить момент для выполнения своего исторического назначения, Россия должна воспользоваться случаем, быть может, единственным в течение веков, и вырвать у Наполеона то, чего она никогда не получит после него от восстановленной Европы. Она должна упрочить за собой беспримерное завоевание, которое сделает ее владычицей Востока.

Чувствуя за собой поддержку, Румянцев оставался несговорчивым. Взаимные требования были изложены письменно, и резко обозначилось, что они в корне расходятся. Перед ними были две вполне определенные системы раздела. Но как бы Франция и Россия отважно, но обдуманно, ни совершали поход по Востоку, как бы их честолюбивые стремления ни уносились ввысь, постоянным местом их встречи и последующего спора были Дарданеллы. Без боя отдавали друг другу громадные пространства; но возле этого клочка земли, возле «кошачьего языка»[1], как называл его Румянцев, наме-

[1] Донесение № 22, 9 марта 1808 г.

кая на форму Галлиполийского полуострова, нападение и оборона сосредоточивали все свои силы. 9 марта борьба продолжалась четыре часа; 10-го спор опять начался, но не внес ничего нового; те же требования, те же ответы, те же доводы. Румянцев всегда ссылался не только на политические, но и на экономические потребности; он с одинаковым знанием дела умел выдвигать как те, так и другие, так как, сделавшись министром иностранных дел, оставался и министром торговли: «Благодаря этому,— с грустью писал Коленкур,— всегда двое против одного»[1].

Граф прибегнул к своей щедрой на обещания тактике. Он старался поколебать своего противника, предлагая ему во всех других местах все более важные выгоды. Так, высказавшись сперва против содействия России при завоевании нами Египта, Сирии и малоазиатских портов, он мало-помалу перешел к обещаниям, искусно распределяя свои уступки. Его двор, сперва говорил он, формально гарантирует нам, если не Египет и Сирию, слишком отдаленные от России, то, по крайней мере, порты Малой Азии; уступку их Франции он поставит одним из условий своего будущего мира с Англией.— «Но поможет ли нам Россия теперь же вступить во владение ими?» — спросил Коленкур. Сперва Румянцев отказал, затем внес поправку, ссылаясь на то, что Россия не будет в состоянии действовать на суше, так как война со Швецией, завоевание Турции и поход в Индию займут все ее армии, но она может располагать своими морскими силами на Средиземном море, может отдать их в наше распоряжение, согласно высказанному нашим посланником желанию. Однако Румянцев не допускал, чтобы подобное одолжение могло осуществиться без условий и оговорок; он направил Коленкура для переговоров по этому вопросу к адмиралу Чичагову: «У флота,— сказал он,— свой собственный начальник. Начальник этот, как Бог Израиля, самый завистливый из всех богов, и при том бог немного упрямый»[2]. Вместо того, чтобы идти к адмиралу, Коленкуру пришла счастливая мысль отправиться к императору. Он принес от него приказание, в силу которого на все время войны государь, без всяких условий, отказывался в пользу своего союзника от всякой власти над своими собственными кораблями на Средиземном море. Александр знал Коленкура и знал также, что предупредительность действовала на него сильнее требований, но он не принял во внимание определенных инструкций, которые связывали нашего посла и парализовали его доброжелательные намерения. По главному вопросу продолжал существовать полный разлад; императорский кабинет не хотел уступать, а Коленкур не был на это уполномочен.

Однако Россия старалась делать вид, что уступает. Как способ сообщения по суше с нашими будущими владениями в Анатолии, вместо Дарданелл, она предложила нам военную дорогу, которая прошла бы через сделавшуюся русской провинцией Румелию и через пролив, и, таким образом, в Азию был бы свободный путь нашим войскам. Коленкур отверг эту сделку, но придумал заменить ее другой. Две крепости или, лучше сказать, два замка на Дарданеллах, обстреливающие своей артиллерией узкий пролив, получивший от них свое название, возвышаются один на европейском берегу, другой — на азиатском. Разве нельзя было европейский дать России, а азиатский Франции? У каждого были бы свои Дарданеллы. Румянцев ответил, что всякая сделка, в силу которой его государь не получит целиком, без всякого ограничения, всей позиции, будет в его глазах хуже, чем продление настоящего положения, которое, по крайней мере, не предрешает будущего и не лишает надежд[1].

В последний раз Коленкур хотел подвергнуть решение министра на благоусмотрение государя. У него был с ним окончательный разговор.

«Румянцев прочел мне свои соображения,— сказал Александр.— я внес несколько поправок, и все в вашу пользу. Ей-Богу! у вас прекрасная и большая доля.

Посланник. Скорее прекрасна и удобна доля, которую выделили вы себе, Ваше Величество: все неразрывно и всюду поддержка; она выгодна, как в географичесом отношении, так и в отношении ее населения.

Император. А у вас! Сколько владений, не считая Албании и Мореи.

Посланник. Везде отрезки и все далеко от нас.

Император. Как! Ваша доля прикасается к Далмации, к Каттаро, смежна с Италией, со всеми вашими владениями.

[1] Письмо Коленкура императору от 16 марта 1808 г.
[2] Донесение № 23, 10 марта 1808 г.

[1] Ibid.

Посланник. Да, Государь, если бы Вашему Величеству принадлежали владения Австрийского императора, и вы отдали бы их нам. Только в таком случае мы прикасались бы к нашей доле. Без этого между нами только море, тогда как в доле Вашего Величества все в непосредственной связи с вашими теперешними владениями.

Император. Нужно же сделать что-нибудь, что внушило бы и поддерживало доверие, что доказало бы, что наша теперешняя политическая система самая лучшая. Уверяю вас, я умерен в моих требованиях. Я прошу только то, к чему вынуждают меня интересы государства и в чем я не могу уступить.

Посланник. Прошу у Вашего Виличества позволения напомнить вам вашу прежнюю мысль, мысль создать независимое государство в Константинополе. Будьте уверены, император Наполеон присоединится к вашему мнению.

Император. Я не взвесил тогда значения того, что просил у меня Император. Смотрите, как на недействительное, на то, что я вам говорил об этом. Если я даю армию для похода в Индию, следует, чтобы результатом этого были выгоды, могущие вознаградить Россию за ее жертвы. Итак, обладание Константинополем не должно оставаться под сомнением.

Посланник. А Дарданеллы, Государь? Если вместе с Константинополем они будут во владении Вашего Величества, проход будет менее свободен, чем через Зунд, у которого, однако, на каждом берегу особое государство.

Император. Не будем соседями. Я помню добрые советы императора Наполеона. Вероятно, Румянцев сказал вам, что я не могу уступить по этому вопросу. Если вы будете у проливов, без вашего позволения ни я, ни кто-либо другой не может ни войти ко мне, ни выйти от меня. Я не сомневаюсь относительно намерений императора Наполеона, но я ничего не хочу сделать такого, что дало бы повод к беспокойству общественного мнения и что установило бы неясные отношения между нами. Уже давно ждут какого-нибудь результата. Сделайте, чтобы он был достоин Императора. Необходимо, чтобы выгоды, которые вы нам обещали втайне, сделались, наконец, явными. Знаете ли вы что-либо богаче и населеннее портов Востока? Смирна, какое богатство! Вообще ваше положение великолепно во всех отношениях.

Посланник. Ваше Величество изволит говорить о нашем положении. Однако каково же оно? Положение осторожных людей, которых Англия вынуждает быть предусмотрительными, — и ничего больше! Впрочем, можем ли мы когда-либо сделаться врагами России? Мы слишком далеко от нее. Государь, и если мы приблизимся к ней, то только для того, чтобы действовать с ней заодно. Враг России, Государь, — Австрия. Если произойдет раздел, она будет враждебнее, чем когда-либо. Ее географическое полжение не может сделать ее вашим союзником; но благодаря нашим войнам с ней, Вашему Величеству не придется ее опасаться в продолжение полувека; следовательно, Франция уже этим оказала услугу России. Эта выгода не может ускользнуть от политики, которая учитывает все. Когда в России все взвесят беспристрастно, Государь, никто не будет сомневаться в намерениях Франции относительно России; до тех же пор неоднократно будут несправедливы ,но, тем не менее, император Наполеон останется верным союзником императора Александра... Возвращаюсь к Турции, Государь. Вы, Ваше Величество, предлагаете нам в Азии, чего мы не просим, и ставите нам это на счет.

Император. Даже не считая Азии, благодаря нашему флоту, у вас все-таки лучшая доля.

Посланник. Ваше Величество, вы предлагаете нам военную дорогу к портам Востока. Но откуда начинаются эти порты? Конечно, от азиатских Дарданелл. Без Дарданелл чем будет обеспечена эта дорога? Затем, Ваше Величество, ведь, в сущности, вы уплачиваете нам за то, что берете себе в Европе, только предложением взять в Азии; куда бы то ни шло еще, если вы, независимо от похода в Индию, предложите нам свое содействие в деле завоевания нашей доли в Азии. Благодаря этому она, может быть, приобрела бы некоторую цену!

Император. Берите в Азии все, что хотите, исключая того, что лежит около Дарданелл. В противном случае, то, что вы дадите, потеряет всякую ценность. Что же касается содействия для завоевания портов, я всегда в этом отказывал; я обещал только мою гарантию; но сегодня вечером я не хочу вам отказывать во всем, чего вы просите. Если предложенные мною осно-

вы будут приняты, если состоится крупный раздел, который приведет меня в Дарданеллы и Константинополь, я помогу вам в ваших завоеваниях, но кроме Сирии и Египта.

Посланник. Я уверен, что Ваше Величество не прочь оказать нам в этом отношении любезность, что вызывает во мне чувство глубокой признательности. Но имею честь заметить вам, что если я говорю об Азии, то только для того, чтобы облегчить средства сговориться. Намерения Императора мне неизвестны. Я не могу ничего ни принять, ни дать, ни отказать в чем-либо. Мне поручено только предложить почву для соглашения и обсудить вопрос в этом направлении. Итак, если во время переговоров я сказал что-нибудь лишнее или не договорил, прошу, Ваше Величество, поставить это в вину лично мне, так как Император не дал мне никакой инструкции, кроме тех, которые находятся в его письме к вам.

Император. Само собой разумеется, что, стараясь, чтобы ваша доля была как можно лучше, вы исполняете свой долг. Но Император оценит мои доводы. Я очень надеюсь на это. Вот случай сделать для меня то, на что мне всегда позволяла надеяться его дружба ко мне[1].

После столь определеных слов трудно было допустить, чтобы Россия устами своего государя не сказала своего последнего слова. Тогда наш посланник, памятуя, что ему поручено только узнать желания двора, участвующего в дележе, стараясь свести их к самому умеренному объему, счел бесполезным продолжать прения и полагал, что наступило время сообщить Наполеону результаты своих трудов. Он попросил Румянцева более подробно изложить свой проект и тщательно указать на возражения и оговорки, которые были представлены с нашей стороны. Результатом этого была нота, всецело написанная рукой министра, в которой оба проекта, один французский, другой русский, выработанные во время хода переговоров, выступили во всей их полноте, с их параллельными и противоположными чертами, с их характерными различиями по существу и по форме[2].

Французский проект представлял только эскиз, набросанный, согласно кратким инструкциям, робкой рукой его автора, оставлявшего все вопросы на благоусмотрение своего повелителя. Однако из него видно, что Франция, направляясь от Адриатики и Ионического моря, поглощает всю западную часть полуострова до Салоник включительно; Россия же, идя от ее теперешней границы, присоединяет к себе сперва Бессарабию, Молдавию и Валахию; затем она переходит Дунай и распространяется на Болгарию; Австрия одновременно с нею вступает в Сербию и Македонию. Для Константинополя, Дарданелл и северной стороны Эгейского моря проект допускает выбор между двумя решениями: по первому, Константинополь, с Дарданеллами и территорией, которую предстоит еще определить, возводится в автономное княжество; Австрия завладевает приморскими частями Македонии, за исключением Салоник. По второму предложению, русская часть идет, суживаясь, от Балкан до Босфора. Константинополь составляет ее конечный пункт; французская часть идет мимо Салоник, по берегу Архипелага до Дарданелл, включает эту позицию и прикасается к Мраморному морю. Австрия отстранена от моря, но в ширину выигрывает то, что теряет в длину. Водворившись в Сербии, она распространяется на соседние провинции, турецкую Кроацию, Боснию и на северную Македонию; заняв центр внутренних областей, она получает там более прочное положение.

Что касается внеевропейских территорий, то Франция заявляет, что она воспользуется сделанным ей предложением относительно Египта, Сирии, Анатолийских портов и предложенной ей помощью для приобретения и сохранения этих стран; кроме того, она теперь же возьмет в свое ведение русский флот. Со своей стороны Россия может взять в Азии, по направлению к Трапезонду, возмещение или отказ от Константинополя, если она на это решится, или за водворение Франции на берегах Геллеспонта.

В русском проекте все точно, все определенно, читая его, можно начертить карту франко-русского Востока в том виде, как о ней мечтали Александр и Румянцев. Новая граница империи, охватив княжества, идет сначала по Карпатам до Дуная, затем переходит через Дунай, некоторое время примыкает к Сербии, затем уклоняется на юго-восток, чтобы приблизиться к течению реки Марицы, древнему Гемусу, вдоль которого она идет до моря. Круто повернув тогда к востоку, она

[1] Донесение № 21, 12 марта 1808 г.
[2] Нота Румянцева была опубликована Тьером, VIII, 449—456.

идет вдоль Архипелага до Дарданелл, продолжается по европейскому берегу этого пролива, предоставляя азиатский берег туркам, обходит Мраморное море и, включив предварительно Константинополь с районом в несколько лье в Азии, оканчивается у Черного моря. Доля Австрии непосредственно примыкает к доле России от Дуная до Архипелага; на востоке ее граница совпадает с новой русской границей. На западе Франции предоставляется полная свобода в деле разграничения своих владений с владениями Австрии в Кроации, Боснии, Сербии и Македонии при условии, что будет принят во внимание принцип несмежности империй французской и русской. Впрочем, было предусмотрено, что Салоники не только будут принадлежать Франции, но что и Австрия должна будет также гарантировать ей это важное приобретение. Франция получает полностью Албанию, Эпир, Фессалию, собственно Грецию, Пелопонез и острова. По ту сторону морей ее владения идут по Египту, Сирии и западной окраине Малой Азии. В записке любезно перечисляются все меры, предполагаемые нам Россией, для содействия в деле присоединения к нам этих стран: неограниченное пользование ее средиземным флотом, военную дорогу, идущую через Дарданеллы, гарантию Анатолийских портов и, наконец — последняя уступка царя — содействие сухопутной армии в деле завоевания этих богатых факторий. С другой стороны, Россия отказывается от Трапезонда и заранее отказывается от всякого притязания на завоевания, которые могут быть сделаны сообща в Индии. Она только ради нас пройдет через Азию, ничего не требуя себе в тех местах. Вместо того, чтобы разбрасывать свои честолюбивые стремления, она сосредоточивает их на новой империи, которую желает создать себе в Европе и столицей которой будет Византия.

Последняя часть ноты касалась весьма существенного и щекотливого пункта. Этот пункт должен был не понравиться Наполеону более всякого территориального требования. Мы видели, что в планы императора входило уклоняться от всякого предварительного обязательства до личного свидания с русским императором. Что же касается условий раздела, то Наполеон думал, что необходимо было, чтобы до встречи все оставалось неопределенным, незаконченным, шатким для того, чтобы при встрече с Александром, он не был связан заранее никакими обещаниями, мог в случае надобности взять весь вопрос целиком, обсудить и решить его согласно своему ничем не связанному вдохновению. К несчастью, в Петербурге, по-видимову, разгадали его расчет и хотели ему помешать. Свидание было принято, но с условием, чтобы Наполеон теперь же согласился с принципами, высказанными Россией, и принял, если не в подробностях, то в главных чертах изложенный проект раздела. Нота Румянцева вполне определенно ставила эту оговорку. Можно было подумать, что царь хотел предохранить себя от собственной слабохарактерности и не хотел отдаваться обаянию гения, не обеспечив себя заранее.

Впрочем, государь и его советник делали вид, что вполне доверяют намерениям императора. Он будет справедливее и не так несговорчив, как его посол, говорили они Коленкуру тоном дружеского упрека и не раз высказывали ему: «Вы проиграете дело»[1]. Тем не менее Александр счел необходимым лично обратиться к Наполеону. Ему нужно было ответить на письмо от 2 февраля. Он изложил свое письмо так, что оно имело бесспорный и веский характер утверждения министерской ноты. Он выражается в нем с чувством, пишет в самом сердечном и нежном тоне, но среди уверений в преданности и признательности ухитряется два раза ввернуть вскользь намек на предварительные статьи, необходимые для свидания. Его письмо не оставляет, впрочем, никакого сомнения относительно его непреклонной воли одобрить мировой переворот и принять участие в его осуществлении, лишь бы ему предоставили главный предмет его честолюбивых стремлений. За ключами от Константинополя он готов идти до Индии. Отвечая императору по пунктам и не будучи в состоянии сравниться с ним в блеске красноречия, он старается возвысить свою мысль до уровня колоссальных идей своего союзника.

«Мой брат, — писал он, — письмо Вашего Величества от 2 февраля перенесло меня во времена Тильзита, воспоминание о котором навсегда останется для меня столь дорогим. Читая его, я как будто снова переживаю то время, когда мы были вместе, и не могу достаточно сильно высказать вам о том удовольствии, которое оно мне доставило. Взгляды Вашего Величе-

---

[1] Донесение № 25.

ства кажутся мне столь же великими, как и верными. Только такому исключительному гению, как вы, дано в удел задумать столь обширный план. Тот же самый гений будет руководить и его выполнением. Я откровенно и ничего не скрывая, высказал генералу Коленкуру, каковы интересы моей империи; ему поручено сообщить Вашему Величеству мои мысли. Их основательно обсудили Коленкур и Румянцев, и, если Ваше Величество согласен на них, я предлагаю вам армию для похода в Индию, другую — чтобы помочь вам завладеть портами, расположенными в Малой Азии. Равным образом, я пишу некоторым командирам моего флота, чтобы они всецело исполняли приказания Вашего Величества. Надеюсь, что вы усмотрите во всем моем поведении неизменное желание доказать вам всю силу моих чувств к вам, равно как и желание теснее скрепить узы, соединяющие нас и долженствующие иметь влияние на судьбы мира. Если предлагаемые мною Вашему Величеству планы соответствуют вашим, я готов отправиться на желаемое вами свидание. Я заранее радуюсь этому. Мне потребуется только пятнадцать дней, чтобы приехать в Эрфурт, — место, по-моему, самое подходящее для свидания. Генералу Коленкуру поручено объяснить Вашему Величеству причины, заставляющие меня предпочесть этот город. Я смотрю на это время, как на самое прекрасное в моей жизни. Завоевание Финляндии не было трудным делом. Мои войска уже занимают самые важные пункты и в то время, когда бомбардируется Свеаборг, идут на Або. Я рассчитываю, что в непродолжительном времени с этой стороны все будет кончено, и думаю, что недалеко то время, когда Англия должна будет смириться благодаря совокупности всех мер, которые примет Ваше Величество»[1].

К этому письму было приложено другое, вполне интимного характера; оно еще сильнее подчеркивало страстные уверения первого. Александр хотел ответить достойным его образом на неоднократные любезности свого союзника. Вот уже несколько дней весь Петербург любовался выставленными в одной из зал Зимнего дворца наиболее замечательными произведениями азиатской России: то был редкий мрамор, порфировые колонны великолепного зерна и великолепной полировки и массивные малахитовые вазы, с большими расходами добытые из каменоломен Сибири; эти предметы предназначались Александром в подарок Наполеону. «Мой брат, писал во втором письме царь, я не в силах достаточно поблагодарить Ваше Величество за многочисленные подарки, которые вам угодно было мне сделать, а именно за великолепное оружие, прелестную картину на фарфоре, за две фарфоровые вазы и, наконец, за великолепный труд Каирского Института[1]. Вы оказываете любезности не неблагодарному. Со своей стороны позволяю себе предложить Вашему Величеству некоторые произведения моей страны. Это только каменные глыбы, но они способны сделаться украшением благодаря вкусу, с которым работают в Париже. Соблаговолите их принять на память от того, кто считает своим долгом быть вам искренно преданным».

Наполеон пожелал, чтобы из русского мрамора была сделана драгоценная мебель, оправленная в золото и бронзу, и чтобы она служила украшением одной из зал большого Трианона[2]. Этот мрамор можно видеть и теперь в заброшенном дворце, где он увековечивает память о дружбе, которая провозглашала себя несокрушимой, как этот мрамор, и которая, задавшись целью обновить судьбы мира, оставила Франции только это вещественное воспоминание.

После отправки обоих императорских писем в сопровождении ноты Румянцева Коленкур не удовольствовался отправкой Наполеону объемистого донесения или, вернее, протокола своих совещаний. Он хотел, сверх того, в частном письме к императору вкратце изложить впечатление, вынесенное им из этих беспримерных дебатов, и о «великом испытании»[3], которому подверг его повелитель. Он сделал это со своей обычной честностью безупречного слуги. Сперва его более всего поразило — он считает своим долгом настаивать на этом, — что русский двор, несмотря на предложение о

[1] Archives des affaires étrangères, Russie, supplément 17. Мы опубликовали это и следующее письмо в Revue de la France moderne, 1 juin, 1890.

[1] Посланный Наполеоном с письмом от 2 февраля.

[2] «При дворе и в городе,— пишет Тибодо,— малахит стал входить в моду. На севрской императорской мануфактуре были выполнены из фарфора бюсты императора Александра. Их пустили в продажу, и придворные, всегда готовые подслужиться, запасались ими».

[3] Письмо Коленкура от 16 марта 1808 г.

разделе и на испытанную им вследствие этого безграничную радость, продолжает относиться недоверчиво. Любезности, подарки, обещания, — все это он принимает с удовольствием, с признательностью, но тем не менее он держится настороже с тех пор, как пришел к мысли, что уловил в наших проектах относительно Силезии секрет наполеоновской политики, сокровенную и вероломную мысль — воссоздать Польшу, прибавив к ней отрезки Пруссии. Этим объясняется его упорное требование гарантии по поводу Силезии. Если даже Восток вопреки надеждам Наполеона не мог вполне отвлечь русский двор от прусского вопроса, так это случилось потому, что прусский вопрос более, чем когда-либо, сливается в его глазах с вопросом о Польше.

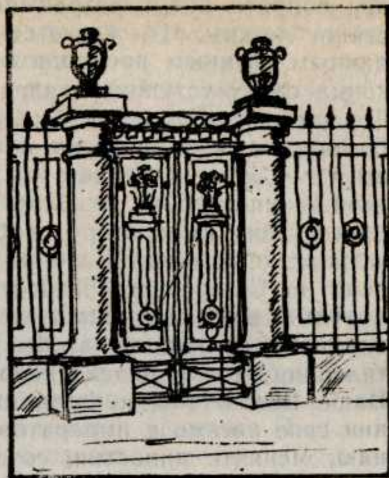
Тем не менее Коленкур упорно верит, что царь лично предан императору и склонен к доверию. Царь скоро отрекся бы от своих подозрений, если бы его министр беспрестанно не поддерживал их в нем, и, с другой стороны, если бы он, вопреки своим уверениям, не поддавался влиянию двора и общества. Чтобы успокоить его, существует одно верное средство: вывести войска из Пруссии и особенно из великого герцогства. Посланник не решается советовать подобной жертвы, но умоляет, чтобы впредь избегали всякого намека на переделку территории, чтобы обуздали неуместные манифестации поляков, чтобы воздержались от мер, которые, согласно характерному выражению Александра, могли бы «оживить мертвецов и подать мысль, что их хотят совсем воскресить»[1]. Благодаря такому благоразумию, быть может, окажется возможным усыпить опасения России, а затем и рассеять их. Такой результат сильно упростит нашу задачу в Петербурге. «Если не будет более вопроса о Силезии и если сговорятся по поводу раздела Оттоманской империи, то через шесть месяцев посольство превратится в легкий и прибыльный приход»[2], — фамильярно пишет Коленкур, но он считает второе условие не менее необходимым, чем первое. Затем он полагает, что обязан откровенно высказать свое мнение о способах произвести раздел.

Он убежден, что Александр никогда не уступит в вопросах о Константинополе и Дарданеллах. Если эти

[1] Донесение № 24.
[2] Письмо Коленкура от 2 апреля 1808 г.

два вопроса будут разрешены по его желанию, все станет легким. Что касается содействия России нашим личным военным предприятиям, она еще не дошла до конца своих уступок. Владея Константинополем и тем, что по географическому положению обеспечивает его безопасность, она пойдет с нами не только в Индию, но и в Сирию и Египет, — всюду, где мы найдем полезным употребить ее флот и армию. Сверх того, она предоставит императору свободу по своему желанию, устроит юг и центр Европы. Оставляя за собой только дела на Севере, она предоставит ему управлять всеми другими, не будет мешать и завидовать его гигантским планам и согласится, чтобы раздел на Востоке превратился на деле в раздел целого мира. «Присоедините, Ваше Величество, к Франции, — заканчивает посланник свое письмо к императору, — Италию, даже Испанию; меняйте династии, создавайте королевства, требуйте содействия Черноморского флота и сухопутной армии для завоеваний Египта; просите, каких хотите гарантий; обменивайтесь с Австрией, чем вам будет угодно — одним словом, хотя бы весь свет перевернулся вверх дном, но, если Россия получит Константинополь и Дарданеллы, ее, по моему мнению, можно будет заставить смотреть на все спокойно»[1].

[1] Письмо от 16 марта 1808 г.



IX

ПЕРВАЯ ОТСРОЧКА

Наполеон переносит свою деятельность в Испанию. — Положение на полуострове. — Дошедший до безумия двор. — Симптомы революции. — Наполеон все более склоняется к решению низложить Бурбонов. — Всякое обязательство с Россией должно быть отложено до приведения в порядок испанских дел. — Конфиденциальные сообщения Талейрана Меттерниху. — Восток все-таки остается для Наполеона конечной целью. — Его слова принцу Вильгельму Прусскому. — Шампаньи предписывается составить доклад по поводу раздела Турции и средств его выполнения. — Необходимость поддерживать терпение России. — Как держится Толстой в Париже. — Где он бывает. — Русский посланник и мадам Рекамье. — Наполеон старается успокоить Толстого и подает ему надежду на эвакуацию Пруссии. — Он теперь же предлагает Александру уступки, но только в другом месте, а не на Востоке., — Он вторично советует ему завладеть Финляндией. — Начало испанского кризиса. — Прибытие писем Александра и донесений Коленкура. — Император отсрочивает свидание, откладывает всякое обсуждение по делам Востока и уезжает в Байонну. — Тревожные известия из Константинополя. — Резкие и беспорядочные скачки оттоманской политики. — Воинственное настроение турок. — Наполеон во что бы то ни стало хочет помешать возобновлению военных действий на Дунае. Он от имени Александра дает обязательство, что до исхода переговоров, начатых в Париже между Россией и Портой, к военным действиям приступлено не будет. Чрезмерная смелость такого поступка. — Как посмотрят на это в Петербурге. — Недолго продолжавшееся доверие и спокойствие духа Александра. — Он справляется ехать в Эрфурт. — Успехи русских в Финляндии. — Царь принимает эту провинцию как подарок Наполеона. — Красавицы Петербурга. — Присоединение Финляндии. — Благодаря этому союз с Францией приобретает благосклонность общества. Предводители оппозиции появляются в салонах посольства. — Маршал Бернадот останавливает свое движение по направлению к Скании. — Дурное впечатление, вызванное этим в Петербурге. — Вести об отъезде Наполеона в Байонну; разочарование Александра. — Второй кризис союза. — Важность политической и стратегической роли, выпавшей на долю Коленкура.

I

Пока велись переговоры в Петербурге, Наполеон действовал в Испании. Если и допустить, что 2 февраля он еще не установил ни размеров предполагаемых на полуострове военных операций, ни способов вмешательства в испанские дела, все-таки его проекты под влиянием событий скоро созрели. Со второй половины месяца создавшееся на полуострове положение внушало ему сильное желание покончить с Бурбонами, ускорить события в Мадриде и водворить там свою династию[1].

Наши колонны, без огласки двинутые за Пиринеи, продолжали подвигаться вперед, ставили гарнизоны в городах, занимали провинции и перешли Эбро, нигде не встретив сопротивления; но внутреннее состояние страны становилось угрожающим. Национальное чувство пробудилось и страдало; общественное мнение все более отдалялось от потерявшей авторитет власти, которую обвиняли в том, что она предала Испанию в руки иноземца. Недовольные обращали свои взоры к инфанту Фердинанду. Члены верховного суда, оправдав друзей инфанта, обвиняемых в заговоре, очевидно, тем самым осудили старого короля; со всех сторон выступали предвестники переворота. Поставленный между угрожающей ему революцией и нашей армией, намерения которой делались для него подозрительными, двор умел только дрожать от страха. Карл IV писал Наполеону отчаянные письма, умоляя его нарушить молчание

[1] По тщательному изучению и сравнению документов Твер нашел возможным установить, что у императора в середине февраля зародился следующий план: застращиваниями побудить Бурбонов к бегству; приказать нашему флоту арестовать их в Севилье; затем, устранив их таким образом и не допустив уехать в Америку, отделить колонии от метрополии и возвести на вакантный испанский престол французского принца (VIII, 428).

и высказать свои желания. Вокруг королевы поговаривали о крайних мерах и думали о бегстве. Правительственные пружины повсюду ослабли. Нам не было оказано Испанией обещанного морского содействия, которому предназначалась известная роль в наших операциях на Средиземном море и которое было одним из элементов предполагаемой нами преобразовательной деятельности на полуострове. Вызванная в Тулон из Картагены испанская эскадра не прошла еще Балеарских островов; она не явилась на помощь Гантому в Сицилии, и ее отсутствие оставило пробел в наших комбинациях. Обманутый в своих надеждах и раздраженный Наполеон, ничего не ожидая от ослабевшей власти, собрал свои испанские войска под начальством Мюрата и направил их по дороге в Мадрид. Думая, что для падения колеблющегося трона Бурбонов достаточно малейшего толчка, он решился ускорить развязку, чтобы затем, когда царствующая династия сойдет со сцены, перейти Пиринеи, явиться перед испанцами в роли вершителя их судеб, в роли властного и благодетельного преобразователя, и установить у них власть, которая исходила бы от него самого. Хотя в предыдущие недели он, по-видимому, и был занят главным образом восточным вопросом, однако он не скрывал от своих приближенных, что предпочитает устройство испанских дел окончательным переворотом с Россией; именно на это-то его желание и намекал Талейран в новом разговоре с Меттернихом: «Дело,— сказал он, говоря о разделе,— как будто, немного откладывается», и так как австриец, еще не пришедший в себя от ужаса, который он испытал, благодаря предупреждениям Талейрана о наших планах, поторопился схватить на лету надежду на отсрочку, Талейран быстро перебил его: «Не говорите отсрочен, я говорю только, что, самое большее, он менее неизбежен»[1].

Действительно, Восток оставался для Наполеона по-прежнему его конечной целью. 17 февраля в письме к своему брату Луи, он дает ему возможность предугадать время, когда Англия, атакованная со всех сторон, «угрожаемая в Индии французской и русской армиями»[2], должна будет сдаться, и при этом он понукает его и

[1] Metternich, II, 161.
[2] Corresp., 13573.

приказывает, чтобы тот содействовал этому результату, усиливая боевую готовность флота. 23-го, принимая принца Вильгельма Прусского, который приехал умолять его за свою страну, он встретил его следующими словами: «Вопрос об устройстве ваших дел занимает определенное место в планах общей политики, которые накануне своего развития: это вопрос не денег, а политики... В течение лета,— добавляет он,— крупные дела, быть может, будут налажены». И он повторяет несколько раз, «что в настоящее время Константинополь составляет главный пункт, к которому стремится его политика», прибавив, что «смотря по обстоятельствам, он будет смотреть на турок или как на своих друзей, или как на врагов»[1].

По его приказанию собирались топографические сведения об европейской Турции и обо всем, что могло облегчить нападение на нее. Изучение этого вопроса было специально поручено министру иностранных дел. Когда Наполеон написал Александру и Коленкуру письма от 2 февраля, он отправил их посланнику непосредственно от себя, минуя государственного секретаря; он даже не счел нужным преждевременно посвящать Шампаньи в это важное дело. Правда, было бы крупной ошибкой видеть в подобном поступке склонность к скрытой дипломатии, желание изменить официальные пути или идти им вразрез. Наполеон никогда не шел против своих министров, но иногда он действовал помимо их. Видя в них деятелей пассивных и подчиненных его воле, он знакомил их со своими мыслями постольку, поскольку это требовалось для исполнения их прямых обязанностей. Считая, что вопрос о разделе должен обсуждаться непосредственно между обоими государями и что они одни имели право судить о нем, он с самого начала хотел придать этому вопросу интимный и конфиденциальный характер, не желая уменьшать значения предварительных переговоров вмешательством канцелярии. Но из-за этого он не хотел лишать себя тех сведений, которые мог бы дать ему министр иностранных дел; он советовался с ним на почве исторических данных. В половине февраля он приказал Шампаньи, усердие и преданность которого высоко ценил, представить себе доклад политического и географического ха-

[1] Hassell, 451.

рактера по поводу раздела Турции и о средствах его выполнения.

Министр, не зная, что вопрос по существу уже в значительной степени предрешен, долго изучал его, сделал оценку своевременности предприятия и в двух донесениях добросовестно, хотя и коротко, изложил доводы за и против раздела, избегая высказывать свое мнение и полагаясь во всем на мудрость своего повелителя. К своему докладу он приложил несколько заметок, часть которых была составлена Барбье-дю-Бокаж, географом департамента. В них были указаны, по довольно неполным данным, которые имелись тогда о Балканском полуострове, несколько путей, по которым могли бы идти наступательные армии, отправленные с берегов Адриатики по направлению к Константинополю. Это был сборник маршрутов, где были указаны этапы, расстояния, продовольственные средства страны, имеющиеся на пути следования, и препятствия, которые придется преодолеть. С своей стороны Шампаньи наполнил свой отчет всякого рода справками, какие только мог понабрать из книг относительно поверхности и рельефа разных провинций и о их значении[1].

С помощью этих трудов император получал возможность, когда наступит время, основательно обсудить с Александром условия раздела и завоевания Турции. Собирая сведения, он придумывал, чем бы подсластить России горечь от отсрочки решения восточных дел, которая все более входила в его комбинации. Поэтому, не говоря с ней более о разделе, довольствуясь тем, что заронил в ум царя крупные надежды, он в ожидании известий о произведенном там впечатлении по другим вопросам старался быть крайне предупредительным. Пользуясь для сношения с Россией всеми способами, обращаясь письменно к императору и на словах к Толстому, он приноравливал свой разговор с тем и другим, сообразуясь с особенностями их стремлений и их характера.

Успокоить Толстого и вылечить его от недоверия было трудновыполнимой задачей. Посланник не поддавался никаким соблазнам. Тщетно привлекал его император в свой интимный круг, тщетно пользовался всеми случаями отличить его и оказать ему почет: русский посланник оставался сумрачным, озабоченным, встревоженным. Он поступал как раз наоборот желаниям Наполеона. Вместо того, чтобы посещать «то общество, которое было в духе правительства»[1], он обыкновенно искал в Сен-Жерменском предместье забвения от неприятных, удручающих его официальных обязанностей. Можно было подумать, что он нарочно старался сходиться с лицами, наименее приятными императору. В их обществе он сбрасывал свою холодность и делался любезным. Он дошел до того, что влюбился в мадам де-Рекамье как раз в то время, когда император говорил, что на всякого иностранца, который будет посещать эту даму, «он будет смотреть, как на своего личного врага»[2]. Тем не менее Наполеон не сердился на него за подобные поступки. Отчаявшись взять его любезностями, он, наконец, попытался переговорить с ним и счел необходимым сделать, по крайней мере, кажущиеся уступки личной политике посланника.

До сих пор он обещал ему вывести войска из Пруссии только при условии, если Россия выведет свои из княжеств; он в особенности старался внушить ему терпение, указывая, что терпение — основная добродетель в его новой должности: «Вы вовсе не дипломат,— говорил он ему,— вы хотите, чтобы дела шли, как идут бригады и полки; вы хотели бы поднять их в галоп. Они должны хорошенько назреть»[3]. В конце февраля его речь сделалась определеннее. Он говорит, что в ближайшем времени выведет войска из Пруссии и особенно напирает на то, что вернет Фридриху-Вильгельму его столицу; он даже приказывает Дарю подписать в Берлине проект о финансовой сделке. В разговоре с Толстым он протестует против всякой мысли о восстановлении Польши, уверяет его, что выведет войска из великого герцогства тотчас же, как время года позво-

[1] Обе записки Шампаньи с приложениями и отправленными к императору письмами хранятся в национальных архивах, A. F. IV.1688. В это же самое время Шампаньи признавался Толстому, который продолжал высказывать ему свои опасения по поводу Силезии, что император обдумывает «более обширные планы». Толстой Румянцеву, 12—22 февраля 1807 г. Архивы С.-Петербурга.

[1] Коленкур императору, 13 января 1808 г.

[2] Nouvelles et on dit de Pétersbourg du 18 août 1808: «Говорят, что Толстой влюблен в мадам Рекамье». См. Les souvenirs de madame Récamier, опубликованная госпожой Ленорман, I, 90.

[3] Толстой Румянцеву, 25 января — 6 февраля 1807 г. Архивы С.-Петербурга.

лит ему их передвинуть. Самое позднее в июле, прибавляет он, все будет установлено и окончательно покончено между Францией и Россией, так что обоим дворам ранее четырех-пяти лет не о чем будет обмениваться мнениями[1].

Императору Александру он дает удовлетворение более положительного свойства. Он приказывает Коленкуру вторично предложить царю Финляндию и от его имени дать совет объявить о ее присоединении. Это — задаток, который он дает царю в счет более обширных завоеваний, как средство успокоить нетерпение общественного мнения и дать возможность пережить грозные испытания предстоящей весны. Чтобы занять русских на Севере и как можно долее затянуть их в войне со Швецией, он обещает им свое содействие и сообщает, что корпус Бернадота уже в походе, что он вступил в Гольштинию и что, если позволит время года, в скором времени двадцать тысяч французов с десятью тысячами датчан проникнут с юга на Скандинавский полуостров и вместе с подошедшими с севера русскими поставят Стокгольм между двух огней[2]. Он и на самом деле посвящает часть своих забот этой совместной операции[3], не переставая, однако, с возрастающим вниманием следить за Испанией, где он ждет событий, которые бы дали ему повод к вмешательству.

В марте вспыхивает испанский кризис. Двор, перепуганный приближением наших войск, потеряв голову от страха, решил удалиться в Севилью с тем, чтобы уехать в Америку. Все уже готово было к отъезду, когда население Мадрида, решившее помешать бегству, восстало против Карла IV, или вернее против королевы и ее недостойного фаворита. 18-го восстание переносится в Аранжуец, резиденцию двора; мятежники овладевают князем Мира, вынуждают у старого короля акт об отречении и провозглашают королем Фердинанда. Наши войска на пути в Мадрид, где идет борьба между двумя спорящими за власть и взаимно обвиняющими друг друга партиями. Положение создалось безусловно революционное. Испания доставляет нам повод к вмешательству, и теперь ничто не мешает Наполеону выступить на сцену.

Он начинает поговаривать о своем отъезде и приказывает сделать необходимые приготовления. Но для того, чтобы развязать себе руки, ему необходимо знать, как принял Александр его письмо, согласен ли государь на свидание и на какое число назначил он его; ибо чем объяснит он свою неявку на столь формально вызванное, столь торжественно предложенное свидание, если русский император, поймав его на слове, решил немедленно откликнуться на его приглашение. Наполеон горит желанием уехать и, считая дни, затягивает свое пребывание в Париже, надеясь, что ответ России уже в пути и не замедлит прибыть. Наконец, в последних числах марта он получает две посылки: одну от Александра, другую от Коленкура; они доставляют ему истинное удовольствие. Принимая свидание условно, ставя его в зависимость от исхода новых переговоров, царь фактически откладывает свидание. Наполеон ухватывается за это обстоятельство, чтобы извинить перед союзником свой отъезд в Испанию. Так как свидание, во всяком случае, не должно состояться в скором времени, то он считает себя вправе отложить его на более долгий срок и в этом смысле и пишет Коленкуру. 2 апреля он уезжает в Байонну, не высказавшись по существу русских предложений, отложив все переговоры и, не отказываясь от своих будущих проектов относительно Востока, на несколько недель совершенно отрешается от них.

Для сохранения вопроса во всей его неприкосновенности он хотел помешать возобновлению враждебных действий на Дунае, которые в силу того, что перемирие не было ратификовано, да к тому же и срок его приходил к концу, делались неизбежными. Если бы они вспыхнули, они могли изменить положение воюющих сторон и впоследствии и оказать на наши решения нежелательное влияние. Вот уже полгода русские и турки в полной боевой готовности стояли друг против друга в ожидании, что Наполеон примирит их или вернет им свободу сражаться. Бездействие начинало тяготить их, и, сверх того,— что особенно важно,— известия из Константинополя принимали угрожающий характер.

Вследствие полученных в январе инструкций Себа-

[1] Толстой Румянцеву, 8—20 февраля 1808 г. Архивы С.-Петербурга. Gf. донесение, отправленное 19 марта из Петербурга прусскому двору майором Шелером, получившим сведения о депешах Толстого. Hassell, 406.

[2] Инструкция Коленкуру, выдержки из которой он приводит в своем донесении № 27, 9 апреля 1808 г.

[3] Corresp., 13592, 13651.

стиани позондировал Порту по вопросу об уступке княжеств. Вспоминая о тех днях, когда он гордо гарантировал туркам неприкосновенность их территории, он с болью в сердце приступил к исполнению своего долга и боялся, как бы они не сослались на его собственные слова. «При таких обстоятельствах,— писал он,— я испытывал самое тягостное, что только может быть в обязанностях должностного лица»[1]. Диван, который был торжественно созван с специальной целью выслушать его сообщения, принял их с угрюмым изумлением. Сквозь подобающие восточным людям спокойствие и важность на их лицах сквозило негодование. Одни — наши враги,— торжествовали, видя, как подтверждаются их зловещие предсказания; повязка спала с глаз других; нельзя было более сомневаться в предательстве императора. Против нас немедленно началась реакция; слова ненависти и гнева дошли до слуха посланника. Наших друзей отрешали от должностей, ссылали, казнили; втайне возобновили переговоры с Англией. Однако жестокое, но безвольное правительство Мустафы IV не посмело довести до конца перемену своего фронта. Опасаясь нашего оружия, смутно сознавая страшную опасность, висевшую над его головой, оно старалось отвратить ее искусной тактикой. Ответ на наше сообщение был составлен в полных достоинства, не лишенных искусства выражениях. Порта не жаловалась: она уверяла в своей неизменной преданности, но при этом выражала свою непреклонную волю не уступать ни одной пяди своей территории. Султан лично написал Наполеону, прося его гарантировать целость его государства. Сначала Диван отказал, но затем согласился дать формальное обещание открыть нашим войскам доступ в Албанию, если бы англичане появились перед Корфу. Глава антифранцузской партии, поставленный сперва у власти, был вскоре смещен. В течение нескольких дней оттоманская политика делала резкие скачки, то удаляясь от нас, то возвращаясь снова к императору в надежде удержать за собой его благосклонность. В этих беспорядочных движениях чувствовалась борьба между страхом и различными иными чувствами. Турки были единодушны только в одном,— в том, что необходимо принять меры для своей защиты и своего спасения.

[1] Себастиани Шампаньи 12 февраля 1808 г. Archives des affaires étrangères Turquie, 216.

Собирались новые войска; призывались азиатские банды; поднимался вопрос о священной войне и поголовном ополчении; дунайская армия увеличивалась, и настроение ее становилось воинственным. В этом критическом положении малейшая случайность, малейший вызов со стороны русских, которые в предвидении огромного будущего дела и со своей стороны усиливали войска, могли подать повод к страшному столкновению.

По мнению Себастиани, исход конфликта не мог подлежать сомнению. Конечно, солдаты султана будут сражаться храбро, бешено, но их беспорядочное мужество не устоит перед врагом, превосходящим их дисциплиной, вооружением и тактикой; результатом будет страшное поражение Турции и роковое для нее потрясение, Правительство рухнет; в столице водворится бешеная анархия; провинции отпадут сами собой; русские, увлеченные своими победами, одним прыжком очутятся у стен Константинополя и захватят драгоценнейшие части империи прежде, чем Франция успеет сговориться с ними о распределении восточных территорий[1].

Наполеон решил предотвратить эту опасность во что бы то ни стало. Чтобы сдержать Порту и тем самым обеспечить ее существование, он поступил самовластно и обязался за Александра, не спросив его согласия. Он дал знать в Константинополь, что ручается за намерения царя и что Россия не возобновит военных действий до окончания переговоров, тогда как они только для виду велись между Толстым и турецким посланником и, по желанию, могли быть или затянуты, или прерваны в любое время[2]. Чтобы объяснить петербургскому кабинету эту более чем смелую меру, он приказал сообщить ему как оправдательный документ своей добросовестности депеши Себастиани, удостоверявшие отречение Франции от оттоманских интересов, но в то же время указывавшие на последствия преждевременного движения русских[3]. Итак, решив прежде всего покончить с Испанией, а затем уже вернуться к Востоку, он задержал все дела в этой части света и,

[1] Депеши Себастиани от 12, 15 и 26 февраля; 4 и 5 марта 1808 г. Archives des affaires étrangères Turquie, 216. Gf. Lefebvre, III, 374—380.
[2] Шампаньи к Себастиани, 3 апреля 1808 г., Id.
[3] Шампаньи Коленкуру, 2 апреля 1808 г., Russie, 146.

сдерживая своей мощной рукой готовых столкнуться Россию и Турцию, останавливал ход событий.

Приняв к сведению нашу гарантию, Порта успокоилась и согласилась не подавать первой сигнала к борьбе. Но подчинится ли и Россия так же покорно нашим желаниям? Какое впечатление произведет на нее отсрочка исполнения ее надежд и прекращение дел на Дунае? Считая себя уже на пути к осуществлению своих честолюбивых замыслов, не будет ли Александр с горьким чувством смотреть, как оно снова отдаляется? Не увидит ли он в отъезде Наполеона предлог уклониться от всякой определенной уступки и не посмотрит ли на это, как на первый симптом недоверия?

После переговоров о разделе ни одно облако не омрачало искренних отношений между нашим посольством и Зимним дворцом. Можно было подумать, что Франция и Россия, согласие которых временно было нарушено, снова без задней мысли взаимно полюбили друг друга и наслаждались вторым медовым месяцем. Чтобы быть более приятным Наполону, Александр изменил присущей ему снисходительности. Он дошел до запрещения оставшимся в России эмигрантам носить белую кокарду и цветы лилии, иначе говоря, изгнал благородную и прелестную эмблему прежней Франции. Льстя императору, он надеялся скорее привлечь его в Эрфурт и сделать его более уступчивым. Думая, что свидание очень близко, он также считал дни и высчитывал расстояния; он полагал, что ответ Наполеона будет известен в Петербурге к 15 апреля и что в начале мая оба императора могут встретиться в Эрфурте. Заботы о предстоящем путешествии доставляли ему истинное удовольствие; он приказал держать в готовности свои экипажи. «Ну! Когда же мы отправимся?»— весело спрашивал он Коленкура и беспрестанно говорил о том, как он будет рад, когда снова увидит своего союзника, и повторятся чарующие дни Тильзита.

В ожидании этого он деятельно вел войну с Швецией. С тех пор, как его войска перешли границу, он твердо решил взять Финляндию и, смотря на нее уже как на свое владение, ждал только, чтобы с признательностью принять дар. Этот подарок в несколько сот тысяч душ подданных шведского короля был предложен и принят с одинаковой непринужденностью, как знак внимания и любезности. Пользуясь словами своего государя, Коленкур сказал Александру: «Императору очень желательно, чтобы Ваше Величество владело Финляндией как ради личной выгоды Вашего Величества, так и ради того, чтобы петербургские красавицы не слыхали впредь пушечных выстрелов». «Благодарю его,— ответил Александр, за себя и за петербургских красавиц; (смеясь) я передам им это; он всегда любезен со мной»[1].

«Дела идут хорошо»,— прибавил он. Действительно, первые операции в Финляндии удались блестяще. Застигнутые врасплох в их плохо оборудованных крепостях, шведы нигде не удержались. Гельсингфорс, Або были взяты без выстрела, и в то время, как летучие отряды рассыпались по всем частям страны, где единственным для них препятствием была только природа, главные силы армии сосредоточились вокруг Свеаборга, главного города провинции, осадили эту крепость и быстро взяли ее. 5 апреля Александр писал Наполеону, что город после жестокой бомбардировки просит о капитуляции, а 10 мая,— что акт о сдаче подписан[2]. В переписке по поводу этих событий он крайне тактично не поднимал вопроса о разделе. Высказав вполне откровенно свои желания, он считал неуместным настаивать на них и, таким образом, проявлять сомнение относительно намерений своего союзника. Непрестанно думая о Востоке, он не заводил более о нем разговора, ограничившись только сообщением, что Порта обратилась к нему с предложениями о непосредственном соглашении и что он отклонил их. Сверх того, он избегал всякого намека на судьбу Пруссии, предоставляя Толостому заботу обсуждать это неприятное дело и добиться ратификации и даже, если возможно, улучшения условий подготовленного в Берлине соглашения; его письма были только бюллетенями о его успехах. Он хотел уведомлять о них императора по мере того, как его самого извещали, дабы сделать его участником своей радости и, вместе с тем, показать, что пользуется его советами. Даже прежде чем полное занятие Финляндии сделалось совершившимся фактом, руководствуясь нашим примером и опираясь на поощрение с нашей стороны, предвидя уступку, которую имелось в виду вынудить у шведского короля, и возводя право за-

[1] Донесение Коленкура от 7 марта 1808 г.

[2] Эти два письма опубликованы нами в Revue de la France moderne, 1 juin, 1890.

воевания в основной закон, он объявил о присоединении провинции к своей империи простым указом, как это делали древний Рим и Наполеон.

Это событие произвело в Петербурге глубокое впечатление — и целиком в нашу пользу. В первый раз значение союза с Францией проявлялось вещественным доказательством, осязаемым для всех. Александр, видевший в завоевании Финляндии личное торжество, первое оправдание своей политики, не преминул указать на эту сторону вопроса: «Будете ли вы еще жаловаться на мой союз с Францией? — сказал он недовольным; — что дали союзы с вашей милой Англией?»[1]. Довод был неопровержим и оказал свое действие на светские круги. Конечно, неисправимые не складывали оружия. В гостиных политика по-прежнему продолжала вызывать язвительные споры, но кредит наших противников был поколеблен; число их уменьшилось. Даже вожди оппозиции — Чарторижский, Новосильцев, Строганов — показались впервые у нашего посланника и сочли долгом присутствовать на его вечерах, а это было характерным симптомом. Эти единичные, может быть, не всегда искренние, но вызвавшие горячие разговоры поступки были, очевидно, началом массового перехода из одного лагеря в другой[2].

---

[1] Коленкур императору, 5 апреля 1808 г.

[2] Ibid. Коленкур доводил иногда свою аккуратность в наблюдениях до того, что в своих донесениях передавал слово в слово разговоры, которые велись в петербургских салонах. Мы приводим один из таких разговоров, взятых из жизни. Его можно сравнить с некоторыми сценами из *Войны и мира, в* которых автор, благодаря поразительной силе своего таланта и искусству вызывать образы прошлого, заставляет говорить русское общество того времени.

«У обер-камергера Нарышкина был крупный спор по поводу Финляндии. «Я русский,— сказал муж,— когда я вижу, что император навсегда ограждает Петербург от нападения и присоединяет к своей империи то, на что даже наша великая Екатерина не смела надеяться, я доволен. Это должно дать нам надежду на другие выгоды». Жена его, большая болтушка, подхватила: «Вот и отомстили за нашу дорогую великую княжну маленькому Шведскому королю *(Густав IV некогда грубо порвал с проектом о браке с дочерью Павла I)*. Только бы Франция дала нам эти турецкие провинции, да наша молодежь вернулась из армии, да был бы у нас мир! Тогда, если кто-нибудь будет жаловаться на императора, он должен будет удалить его от двора. А англичане! Они никогда ничего для нас не сделали, они только думают о себе». Некоторые выразили сожаление о Швеции, говоря втихомолку, что Франция позволила России взять только то, в чем не могла ей помешать, но вот увидят, что она не даст ей турецких провинций. Вот последний аргумент недовольных, но их число весьма уменьшилось.

«Княгиня Голицына, жена Сергея (молодая и хорошенькая женщина, которая была в Париже и видела только артистов и ученых), сказала датскому посланнику: «Вот вы и французская провинция! Вы увидите, чего вам это будет стоить. Испания может служить для вас примером».— «Лучше было бы принять англичан, не правда ли?» — возразил посланник Дании; ведь они так хорошо помогли своим союзникам...»

Госпожа Головина, у которой это происходило, также вмешалась в разговор, поддерживая княгиню. Обе стороны обменялись резкими словами. «Вы постоянно говорите о вашем обожании к императору, даже о вашей преданности ему»,— сказал наконец, княгине посланник, — «неужели вы думаете, что такой образ мыслей соответствует вашим чувствам? Англомания вскружила вам голову, вы более не русская». — «Я ставлю императора вне всего, что происходит,— ответила она.— Император французов и его посланник, который управляет нами, обманывают его. Ему, как и вам, пускают пыль в глаза. Нас ослепляют Финляндией, но вскоре увидят, что это и все, что хотят нам дать. Только там и можно будет встретить всех наших охотников до новенького...» Nouvelles de Péterbourg du 12 au 15 avril, 1808.

Первое разочарование прекратило это движение. Основываясь на повторных обещаниях императора, Александр и его министры были твердо уверены, что вскоре состоится вступление французских войск в Сканию, что эта операция облегчит полное покорение Финляндии и допустит возможность самых смелых предприятий, и дали понять это своим окружающим. К этому нужно прибавить, что Бернадот дошел уже со своим корпусом в Гольштинии до места, наиболее близкого к датскому архипелагу; отсюда он должен был броситься на южные провинции Швеции. Однако, хотя Наполеон, согласно своим обещаниям, и послал маршалу полный план наступления, он только при известных обстоятельствах позволил ему привести его в исполнение. Рассматривая вступление в Сканию как простую диверсию, предназначенную только способствовать другой диверсии, той, которую должны были сделать русские против Стокгольма и центральных частей королевства, он не хотел необдуманно отправлять свои войска по ту сторону Балтийского моря и рисковать несколькими своими полками ради дела, которое не имело для него непосредственного значения, не уяснив себе предварительно, что там происходит. Поэтому он приказал Бернадоту действовать только наверняка и с

большой осторожностью. Маршал должен был переплыть проливы и вступить в Швецию только в том случае, если датчане дадут ему столько войск, чтобы успех операции был обеспечен[1]. Будучи от природы осторожным, Бернадот истолковал подобные приказания в смысле, наиболее ограничивающем его инициативу. Он переправил на острова только авангард; затем, встретив у датчан мало сочувствия и узнав о прибытии в Балтийское море нескольких английских фрегатов, авангарда эскадры, он совершенно остановил свое движение и не трогался со своей континентальной позиции.

Эта остановка в движении Бернадота сделалась очень скоро известной в Петербурге и произвела удручающее впечатление. Императора французов несправедливо заподозрили в том, что он отменил свои приказания, и увидели в этом первый симптом его двуличия. До крайности нервное и непостоянное общественное мнение тотчас же спохватилось; те, которые были уже на пути к нам, остановились, и в обществе обнаружились некоторые симптомы обратного движения. Александр был, видимо, озадачен; и вот в самый разгар волнения, вызванного этими событиями, разнеслась весть об отъезде императора в Байонну. Франция решительно отвлекалась на Юго-Запад, тогда как в Петербурге ожидали, что она пойдет, во-первых, на Север, а во-вторых, что она поможет России расширить ее границы на Востоке.

«Вот Император и уехал,— сказал Александр Коленкуру.— Время, когда я мог бы с наименьшими неудобствами отлучиться из Петербурга, пройдет, и ничего не будет сделано. Но ведь я брал на себя не половину расстояния; а сделал бы три четверти дороги, чтобы Император выгадал несколько дней и мог скорее заняться другими своими делами. Турецкие дела важны ничуть не менее других. Кто знает, что станут делать турки? В угоду Императору я ни разу не воспользовался по отношению к ним ни одним из преимуществ, которые я имел. Теперь, ничего не решив, он все откладывает. Что будет дальше?..»[2]. Он отказался поставить возобновление враждебных действий в зависимость от нашего согласия. Он говорил, что пока не начнет враждебных действий и, если турки не нападут,

[1] Corresp., 13672.
[2] Донесение Коленкура от 20 апреля 1808 г.

будет сдерживать свои войска, как можно долее; но что он вовсе не желает связывать себе руки и оставит за собой право определить границы своего долготерпения.

Сообщение писем Себастиани произвело на него впечатление как раз обратное тому, на которое рассчитывали. Он нашел в их содержании дух недоверия к России и спросил, не намерена ли Франция, заставляя его читать эти депеши, подготовить его к перемене политики[1]. Особенно он был удивлен тем, что ему не дают знать, согласен ли император с запиской Румянцева, допускает ли он долю, которую назначила себе Россия. Неизвестность удручала его. Как всегда, Румянцев был более откровенен и настойчив, чем его государь. Он резко жаловался, подчеркивал свои упреки, требовал категорического ответа. «Ведь не может же Император между Парижем и Мадридом совсем забыть о нас»[2],— говорил он. Что же касается до высшего общества, то его возврат к прошлому был полный; оно снова сделалось враждебным и возобновило борьбу.

Впрочем, все способствовало тому, чтобы расстроить и опечалить Россию и показать ей обратную сторону союза, который за несколько недель до этого выступил перед ней в таком блестящем и благоприятном свете. Положение, которое на Юге было очень непрочно, внезапно изменилось к худшему и на Севере, а затем сделалось и совсем плохим. Оправившись от первых неудач, шведы начали защищаться; к ним вернулись их прежние качества отличных вояк; в нескольких сражениях они взяли верх и нанесли самолюбию врага жгучие раны. Они только что взяли остров Готланд со всем гарнизоном. Этот пост, расположенный вблизи финляндского побережья, дал им возможность снова прочно на нем утвердиться и поставил под вопросом судьбу провинции. За спиной Швеции начинает показываться Англия и несется на помощь своим союзникам. Оказывается, что взятые из Сицилии десять тысяч солдат генерала Мура только что высадились в Готенбурге. В Петербурге не секрет, что британский флот крейсирует в датских водах; люди с пылким воображением говорят, что его уже видели в Балтийском море. Известно и то, что на берегах империи не оста-

[1] Коленкур Шампаньи, 6 мая 1808 г.
[2] Коленкур императору, 28 апреля 1808 г.

лось войск, что финляндская армия, находясь под плохим начальством, плохо снабженная и разбросанная на слишком большом пространстве, только с трудом может защищаться против врага, взявшего на себя инициативу нападения; боятся, чтобы шведы и англичане, соединившись, не перенесли войны к вратам столицы. Петербург не чувствует себя в безопасности.

В то же время прекращение торговых сношений с Лондоном дает себя знать. Торговые сделки прекращаются, банкротства следует одно за другим; курс ассигнаций страшно падает; всеобщий застой в торговле и безденежье присоединяются к затруднениям правительства и усиливают в нем горечь от сознания несбывшихся надежд. Александр чувствует, что в нем снова воскресают его подозрения, что его сомнения крепнут, и Коленкуру приходится бороться с вновь вернувшимися тревогами и недоверием царя. С этих пор роль нашего посланника изменяется. Дело идет уже не о том, чтобы, сверкая дипломатическим оружием, делать на почве Востока блестящие выпады, которым было предназначено подготовить более серьезную дипломатическую дуэль между императорами; его позиция становится оборонительной и приобретает в этом отношении капитальную важность. В то время, когда наполеоновские силы временно отвлекаются в Испанию, Коленкур должен прикрыть их движение, сдержать Север и,— препятствуя России, соединиться с восставшей Германией для нападения на нас врасплох в тот момент, когда мы меняем фронт — обеспечить безопасность нашему делу.

X

СВИДАНИЕ БЕЗ УСЛОВИЙ



Перемены в настроении и словах Александра. — Русский самодержец и французские журналы. — Записка князя Адама Чарторижского. — Поццо ди Борго снова выступает на сцену. — Усилия Коленкура одержать победу над русским обществом; он просит подкреплений. Рекогносцировка в Москву. — Посланник употребляет все силы, чтобы приобрести уважение и доверие Александра. — Он дает ему стратегические советы. — Выговор Наполеона. — Блестящий ответ Коленкура. — Наполеон продолжает действовать на Александра путем личной дружбы. Письмо с выражением сочувствия. — Объяснения, данные по поводу Испании. — Как Наполеон сам объясняет Байоннские события. — Защитительная речь от 8 июля. Испанские дела подвергают союз новым испытаниям. — Александр скрывает свои чувства, одобряет действия Наполеона и льстит ему. — Таким способом он надеется ускорить разрешение восточного вопроса. — Наполеон прерывает молчание, но все еще уклоняется от всякого компрометирующего обязательства; он желает свидания без условий. — Упадок душевной энергии и нервное состояние Александра. — Он соглашается на свидание без предварительных условий. — Последний разговор по поводу Константинополя и Дарданелл. — Считая, что дела в Испании налажены, Наполеон возвращается к своим проектам, относительно Востока и Индии; он рассчитывает дать им исполинское развитие. — Флот Бреста и Лориента. — Новая экспедиция в Египет. — Замечание Декре. — Сверхчеловеческая деятельность и бесчисленные приготовления. — Объявление о необычайных событиях. — В то время, когда Наполеон думает, что в недалеком будущем, изнурив Англию необычайной по размерам борьбой, он вынудит ее к миру, восстает Испания и дает Европе сигнал к восстанию.

I

Александр то предавался надеждам, то впадал в уныние, и его разговоры были ярким отражением его настроения и его дум. Иногда, возвращаясь к своей излюбленной системе, он старался тронуть императора, делая вид, что безгранично восторгается как Францией, так и лично им. Он просил Коленкура передать императору уверения в своем восхищении и преданности, скромно присоединяя к ним совет не гнаться за слишком многим. «Когда,— говорил он,— будут улажены дела в Турции и Индии,— что вынудит Англию к миру,— Императору останется думать только об отдохновении и, особенно, о личном счастье. Тогда ему нечего будет больше желать. Он часто говорил мне это в минуты откровенности в Тильзите. Да и чего можно еще желать, когда управляешь французами? Что за нация! Какое просвещение! Какая разница с нами! Мы перепрыгнули все промежуточные ступени. Петр I слишком торопился жить; Екатерина любила только мишуру. В мирное время, когда Император станет на страже мира, его будут обожать так же, как удивлялись ему на войне. Что за гений! Но, чтобы наслаждаться всем содеянным, он нуждается в личном счастье и в тихой спокойной жизни. Это потребность всех людей. Слишком напряженная деятельность Императора даст ему впоследствии почувствовать, как это необходимо. Я, со своей стороны, желаю ему счастья, ибо в Тильзите я привязался к нему... Мне приятно, что даже наши современники воздают ему должное. Уверяю вас, что, кто думает иначе, плохо принят у Императора Александра. У него нет большего поклонника, чем я»...[1]

На другой день после этих излияний чело Александра было снова озабочено, омрачено печалью: он «обдавал холодом»[2] посланника. Чему приписать такую внезапную перемену? Александр был обидчив по натуре. Недавние неприятности усилили, довели в нем эту склонность до болезненности; он дошел до такой степени чувствительности, что малейший укол булавки причинял ему страдания, как бы от раны. Достаточно было незначительного события, статьи во французском журнале,

[1] Донесение Коленкура от 27 апреля 1808 г.
[2] Коленкур к Шампаньи, 8 июня 1808 г.

составленной в духе неблагоприятной России, чтобы сомнение вновь возродилось в его душе, и Коленкур должен был в продолжение многих часов успокаивать и разуверять его,— задача тяжелая и ни к чему не приводящая; труд Пенелопы, так как каждое утро сводило к нулю работу предыдущего дня.

Действительно, после свидания с нашим посланником, Александр попадал в общество своих министров, друзей, в свою семью, и, по-видимому, каждый из окружающих его дал себе слово отдалить его от Франции. Его теперешний кабинет, хотя и составленный из лиц, наименее враждебных тильзитской системе, советовал ему быть осторожным и держать ухо остро. Что же касается его старинных советников, поверенных первых его дум и влечений юности, то, если и были моменты, когда они отказывались от открытой борьбы и уходили с поля сражения, зато тайно они относились ко всему с удвоенным вниманием и враждебностью. Князь Адам Чарторижский отправлялся в Вену; но при отъезде выпустил последнюю стрелу: он передал императору талантливо и ядовито составленную записку, в которой будущее изображалось в самых мрачных красках. Обычные агенты коалиции опять взялись за дело: снова появился Поццо ди Борго. Правда, Александр в беседах с Коленкуром выражался очень резко о личном враге Наполеона[1]. Он обещал опять его удалить, но его уверения были не вполне искренни. Отправляя обратно в Вену своего прежнего в этом городе эмиссара, он разрешил ему изложить свои соображения обо всем, что касалось безопасности и славы России[2], и Поццо поторопился до своего отъезда представить ему общий обзор положения. В своей записке, со свойственными ему прямотой, жаром и страстью, он старался доказать, что Россия, доверяя Наполеону, стремилась к пропасти; что предположение о разделе, даже предполагая, что оно искренно, было только западней; что царь, приведя в исполнение это опасное дело по сигналу и под руководством Франции, сделается и орудием и игрушкой бессовестного честолюбия[3].

Александр прочел и сохранил записки, составленные противниками союза. Записка Чарторижского была

[1] Донесения Коленкура от 27 апреля 1808 г.
[2] Архивы Поццо ди Борго.
[3] Архивы Поццо ди Борго.

найдена после смерти царя в его бумагах[1]. Если эти записки и не убедили, то, во всяком случае, поколебали его. Являясь как бы отражением, но в слишком преувеличенном виде, его собственного недоверия, они заставляли его более внимательно относиться к своим подозрениям. Непрерывное обещание и ежедневные разговоры с нашими врагами в часы, посвященные монархом государственным делам, наводили его на грустные и опасные размышления.

Но и вечером Александр встречал общество или у императрицы-матери, или у великих князей, или в домах, где он имел обыкно́вение бывать, и гул антифранцузских чувств доходил до его слуха. Приняв за правило беседовать с салонами, вместо того, чтобы заставить их замолчать, он затруднялся теперь отвечать на их возражения. Обладая достаточным мужеством для борьбы с общественным мнением, он сам не был убежден в пользе союза настолько, чтобы совершенно не считаться с недовольством общества и не огорчаться этим. В течение нескольких недель он был счастлив,— писал Коленкур,— «потому что никто не дулся на него»[2]; теперь же он страдает, читая на лицах скрытое под видом почтения уныние или еще более нестерпимое выражение сожаления.

Правда, Коленкур был тут же, являлся всегда на самом опасном месте, без устали стараясь смягчить проявления недовольства, а, следовательно, и нежелательное действие их на ум государя. Чтобы снова завладеть своим влиянием на общество, он не пренебрегал никакими средствами, какими только мог располагать ревностный и превосходный посланник: он не щадил ни себя, ни своего состояния. Он достиг того, что удивлял своей роскошностью общество, «в котором самый плохо обставленный дворянин ездил четвериком»[3]; всюду говорили о его образе жизни, о его роскоши, непомерных тратах и утонченных пирах[4]. Неудачи последнего

[1] См. т. VI. Recueil de la Société historique russ.

[2] Коленкур императору, 4 июня 1808 г.

[3] Коленкур императору, 4 июня 1808 г.

[4] «У Коленкура был великолепный ужин, на котором было подано семь груш, стоимостью в триста франков каждая». Joseph de Maistre, 325.

времени не приводили его в уныние; для характеристики его можно позаимствовать следующее сравнение: «после того, как он в течение нескольких недель победоносно нес знамя Франции», он и теперь «во время бури, держал его высоко и крепко». «У меня часто бывают,— писал он,— вскоре ко мне опять соберутся»[1]. Так как его высокое положение препятствовало ему быть не в меру любезным и зазывать к себе общество, а нужно было ждать, чтобы оно само посещало его, то он рассылал наиболее деятельных и обаятельных членов своего посольства, поручая им заманивать к нему. Он даже просил у своего правительства об увеличении числа таких помощников; он ходатайствовал о подкреплении. «Смею напомнить Вашему Величеству, — писал он императору, — что мне будет крайне полезен молодой офицер, безукоризненно воспитанный и остроумный, музыкант, с приятным голосом, для того, чтобы образумить некоторых молодых дам, более чем другие недовольных. Наша гвардия кишит красивыми молодыми людьми, обладающими светскими талантами; некоторые из них могут нравиться дамам; итак, нужны только такие, а других совсем не надо». Он доходит до того, что называет среди своих парижских знакомых лицо, наиболее, по его мнению, обладающее качествами, потребными для такой роли[2], и наиболее способное «вернуть под наше знамя всю партию Чарторижского и Кочубея, в которую, необходимо сознаться в этом, эмигрировали наиболее блестящие представители и представительницы столичного общества»[3].

Его деятельность не ограничивается Петербургом. Он посылает одного из своих атташе разведчиком в Москву, куда удалялись во все царствования попавшие в немилость, и где замечалось опасное течение. При теперешнем настроении умов внезапный взрыв недовольства, даже покушение на императора, делалось возможным предположением. Необходимо было проверить это, чтобы в случае надобности иметь возможность не допустить ничего подобного. На этот счет сведения, собранные в Москве и Петербурге, оказались успокоительными; нельзя сказать того же самого в другом отношении. Русская знать не подготовляла переворота, но,

[1] Коленкур императору, 22 мая 1808 г.

[2] M. de Flahaut.

[3] Коленкур императору, 28 апреля 1808 г.

более, чем когда либо, предавалась надежде вызвать перемену в политике. Наши враги всюду брали верх; они царили в гостиных, оттачивали там свои стрелы и распространяли эпиграммы. Их дерзость доставляла им многочисленных союзников; верные вчерашние друзья, как например, великий князь Константин, фельдмаршал Толстой, начинали колебаться и перестали влиять на императора в пользу правого дела.

Коленкур задумал тогда подействовать непосредственно на монарха, «на единственного, может быть, человека,— с грустью признавался он,— который является более или менее искренним сторонником теперешней политики»[1]. При невозможности влиять на его ум, снедаемый борьбой между различными течениями, не удастся ли, думал он, воздействовать на его сердце и его сохранить за собой? Александр продолжал выказывать лично к посланнику большое расположение и симпатию. Если бы эти, заботливо поддерживаемые и развиваемые, чувства приобрели силу истинной привязанности, если бы между государем и посланником установилось безусловное доверие человека к человеку — дело только выиграло бы от этого. Александр легче поверит объяснениям нашего посла, если он, как Коленкур, а не в качестве посла будет отстаивать искренность нашей политики. Тому, что говорится дружескими устами, лучше верится. Чтобы полезнее служить императору, Коленкур все более старался приобрести привязанность Александра и сделаться достойным ее.

При достижении такой задачи нужно было снова бороться с обществом, которое, не довольствуясь тем, что ставило препятствия его политической деятельности, до некоторой степени приписывало ему лично несчастья России и старалось лишить его не только доверия, но даже уважения государя. На его счет распускались ложные слухи, и совершенно несправедливо, с злым умыслом, старались связать его имя с особенно ненавистными воспоминаниями. Пользуясь тем, что он был в Страсбурге в 1804 г. с особым и определенным поручением, ему приписывали некоторую роль в деле похищения герцога Энгиенского; на него указывали как на одно из орудий, избранных Бонапартом для того, чтобы схватить и казнить знаменитую жертву. Коленкур счел долгом как в видах государственных интересов, так и для ограждения своей чести, рассеять в этом отношении все сомнения, которые могли возникнуть в уме Александра. Он вызвал его на конфиденциальное объяснение, восстановил, с документами на руках, истинный характер событий, заставил своего собеседника благосклонно преклониться перед очевидностью, и раз навсегда покончил с клеветой, которую по временам бросали ему в лицо[1].

В своих деловых разговорах с Александром он старался как можно меньше ему противоречить, входил в его взгляды, не оспаривал законности его требований и старался не столько оправдывать, сколько извинять наши проволочки. Он дошел до того, что вызвался давать советы царю в деле военных операций и дал ему возможность воспользоваться своим опытом, приобретенным подле Наполеона. Он составлял для него специальные краткие обзоры и рассуждения о способах защиты Финляндии и как обеспечить владение ею за Россией, т. е., целый план нападения на Скандинавский полуостров. Александр, видимо, в высокой степени ценил знаки его преданности, и первым доказательством его благодарности был строжайший выговор вождям оппозиции и мнение, которое он высказал некоторым из них, «что не мешало бы им попутешествовать»[2].

Однако, эта новая тактика, в которой Коленкур откровенно признавался в своих донесениях и которая начинала приносить плоды, не была одобрена императором. Тот нашел, что советы, которые он давал царю, не совместимы с ролью посланника, так как они свидетельствуют о слишком заметной заботе о чужих интересах: «Помните,— резко писал он своему послу,— что вы должны оставаться французом!»[3]

Эти слова, поразившие Коленкура в самое сердце, вызвали в нем благородную вспышку негодования. Он с почтительной смелостью дал это почувствовать и высказал, что считает незаслуженным упрек, против которого говорила вся его жизнь: «Смею думать,— ответил он,— что Ваше Величество имеет обо мне мнение, основанное на моих бесспорных заслугах. Если бы вы соблаговолили подумать, что ваше перо пишет на скри-

[1] Коленкур императору, 8 июня 1808 г.

[1] См. Lefebvre, III, 362.
[2] Коленкур императору, 22 мая 1808 г.
[3] Ibid.

жалях истории, быть может, вы не причинили бы такого огорчения слуге, верность и преданность которого вы испытали». Далее, он оправдывал свое поведение полученными результатами. «Эти мелочи, которым Ваше Величество придали значение советов, лучше, чем всякое другое средство, сослужили мне службу в деле приобретения доверия русского государя и позволили дать другое направление теперешнему затруднительному положению... Проявить по некоторым вопросам усердие в пользу дела государя, значит тронуть его сердце. Он знает, что я слишком предан Вашему Величеству, чтобы не установить тесной связи между моим советом, который он считает полезным, и сочувствием, которое вы к нему питаете. Император никому не показывал ни заметок, ни соображений, которые я ему передал; однако, я знаю, что он отдал приказания, сообразуясь со всем, изложенным в них. На будущее время, Государь, я буду более осмотрителен. Если этого не было в настоящем случае, то только потому, что нужно было снискать полное доверие государя, сделаться даже до некоторой степени ему необходимым, дабы нам ничего не упускать в то время, когда все более или менее старались отдалить его от меня... Ваше Величество лучше, чем я, знает трудность моего положения. Итак, я ограничусь уверением, что достаточно Вашему Величеству кашлянуть, чтобы это услышали здесь; а так как известная часть общества весьма усердно распространяет все дурное, что думают и говорят в Европе о Франции, то необходимо быть всегда настороже против этой части общества и заботиться о разрушении ее происков. Проявленная за последнее время императором ко мне благосклонность и его твердость разрушили надежды оппозиции более, чем все, что делалось до сих пор. Может быть, действуя подобным образом, я и заслужил подозрения Вашего Величества, будто я недостаточно ценю ваше доверие и ваши милости; обвинение удручающее; но в глубине вашей души вы, Государь, воздадите мне должное»[1].

Коленкур не заблуждался, предугадывая в своем письме сокровенные чувства императора. По свойственному ему обыкновению, Наполеон нарочно сильнее выразил свою мысль, чтобы произвести более сильное впечатление на агента, к которому он обращался. В действительности, он никогда не переставал правильно оценивать благородные качества Коленкура и его испытанное усердие, и даже в то время, когда он жестоко и строго журил его, он вознаградил его преданность, сделав его герцогом Виченцы[1]. Но, будучи до крайности недоверчивым, он не допускал, чтобы его доверенное лицо стало в слишком близкие отношения с иностранным государем; в особенности он не хотел, чтобы Коленкур своими советами способствовал военному образованию русских и развивал в них таланты, которые они могли бы когда-нибудь использовать против нас.

Впрочем, сам он не отказывался действовать на Александра силою своего авторитета и уверениями в нежных чувствах, т. е. от тех средств, пользоваться которыми запрещал своему послу. Он боялся, что другие не окажутся достаточно сильными в этой опасной игре, и, думая покорить Александра, сами не устоят против чар обаятельного монарха; в самом же себе он был настолько уверен, что не опасался подобных увлечений. Он знал, что ни ласка, ни предупредительность не в состоянии ни на один шаг сбить его с прямых и сокровенных путей, по которым он вел свою политику. Рассчитывая продолжать в Эрфурте систему обольщения, испытанную в Тильзите, он подготовлял ее, поддерживая сношения со своим союзником на дружеской и фамильярно доверчивой ноге.

При всяком удобном случае он старался доказать царю, что любит его ради него самого независимо от каких бы то ни было политических соображений. Он давал доказательства того, что принимает участие в его тревогах и горестях. Узнав, что Александр только-что испытал большое горе, что он лишился своего единственного ребенка, маленькой великой княжны Елизаветы, он написал ему следующие строки: «Я вполне разделяю горе Вашего Величества. Я чувствую, как сильно страдает ваше сердце от только что понесенной утраты. Позвольте мне повторить уверение, что вдали от вас есть друг, который чувствует все ваши огорчения

[1] Коленкур императору, 22 мая 1808 г.

[1] Узнав об этой милости прежде самого Коленкура, царь доставил себе удовольствие объявить ему о ней: «Император Александр,— сказал он ему, — первый, который называет вас герцогом Виченцы». Донесение от 20 апреля 1808 г.

и желает вам успеха во всех ваших делах»[1]. В других письмах он говорит, с каким нетерпением ждет предполагаемого свидания. «Я страстно жду,— говорит он,— минуты, когда снова увижу Ваше Величество и лично выскажу вам мои чувства»[2]. Хотя он даже в настоящую минуту избегал всякого намека на раздел, опасаясь, чтобы в момент окончательных прений не сослались на какое-нибудь выражение, ставящее его в неловкое положение, но по всем другим вопросам он всегда не прочь был вступить в дружеские и сердечные объяснения.

Это старание делалось особенно заметным по мере того, как испанские дела приближались к развязке. Остановившись в Байонне, на полпути между Парижем и Мадридом, Наполеон ожидал Карла IV и Фердинанда VII, согласившихся съехаться здесь. Сперва приехал молодой принц, затем прибыли старый король и королева. Признав Наполеона судьей, они решили подчиниться его приговору. Подготовляется развязка, «в трагедии начинается пятый акт»[3]. И в эту важную минуту Наполеон не забывает о России; по временам его внимательный взор переносится на нее, и более чем когда-либо он сознает необходимость поддерживать тесное общение с Александром. Он желает объяснить ему причины своего поведения относительно Испании, представить ему в выгодном для себя свете деяния, которые должны отдать ее в его руки; он хочет постепенно приучить его к мысли о дерзком захвате чужого права. Он обращается то лично к царю, то в кратких записках к Коленкуру, дает наставления посланнику, доставляет объяснения, которые следует давать, даже выражения, которые следует употреблять. Благодаря этому у нас имеется бюллетень о байоннских событиях, составленный самим Наполеоном, и толкования, которыми он сопровождает их, по мере их развития[4].

29 апреля в письме к Александру он ограничивается сообщением о присутствии в Байонне королевской четы и принца Астурийского. Он говорит о их ссоре, и

---

[1] Татищев, Nouvelle Revue du, 15 juin 1890.
[2] Corresp., 13792.
[3] Corresp., 13778.
[4] Как мы уже раньше отметили, мы не имеем в оригинале текста писем императора к Коленкуру; но посланник воспроизводит их в тех же самых выражениях в разговорах с Александром, которые он дословно передавал в своих донесениях.

тоном почти добродушным, по-видимому, не придавая ей слишком большого значения, жалуется на беспокойство, которое причиняют ему эти неприятные сцены вражды. «Эта семейная ссора и симптомы революции, которые обозначаются в Испании,— говорит он,— причиняют мне некоторые хлопоты, но скоро я буду свободен, чтобы совместно с Вашим Величеством обдумать великое дело»[1]. Тем не менее процесс начинается; на нем присутствуют отец и сын. Наполеон устраивает им очную ставку, заставляет их уличать друг друга, застращивает того и другого, с тем, чтобы бросить их к своим ногам уничтоженных, потерявших голову, готовых променять свои священные права хоть на какое-нибудь убежище. К этой-то развязке и следует подготовить Александра и, все более роняя в его глазах испанских Бурбонов, указать на невозможность оставлять их царствовать. Коленкуру поручено говорить следующее: «Сын обвиняет отца, отец — сына: это не подвигает дела. Крайне трудно будет примирить их. Сын оскорбляет принципы и нравственные чувства, отец — нацию. И тот и другой вряд ли успокоят возбуждение и будут в состоянии импонировать страстям, которые разыгрались благодаря этим событиям. В заключение император очень сожалеет, что свидание, вопреки его предположениям, пока еще не состоялось: ему приятнее было бы быть в Эрфурте, чем в Байонне»[2].

Вскоре свершилось подготовленное уже событие; его ускорил вспыхнувший в Мадриде 2 мая бунт. Фердинанд VII, испугавшись совершившегося его именем дела, удрученный отцовскими проклятиями, отказывается от своих прав. Власть номинально возвращается к старому королю, который спешит отречься от нее. Испанская корона свободна. Наполеон овладевает ею и намеревается распорядиться по своему усмотрению. Прием, который он употребляет для своего оправдания перед Александром, неизменно состоит в том, чтобы доказать, что он не обдумывал заранее своего захвата, а был приведен и вынужден к нему событиями. Согласно его приказанию, Коленкур говорил: «После того, как отец опозорил сына, а сын отца, невозможно допустить, чтобы кто-либо из них мог внушить уважение гордой и пылкой нации, среди которой появились уже первые

---

[1] Corresp., 13792.
[2] Донесение Коленкура от 29 мая.

вспышки революции. Следовало немедленно спасти Испанию и ее колонии. Ваше Величество согласится, что другого средства не было. Из-за этой неожиданной развязки, быть может, как справедливо думает Ваше Величество, на некоторое время затянется возвращение Императора[1]. Проходит еще несколько дней. Наполеон сбрасывает последний покров, скрывавший его намерения, и объявляет, что удерживает испанское королевство для своего брата Жозефа. Он приказывает тотчас же сказать в Петербурге, «что перемена династии делает страну только более независимой, что Император ничего не берет себе, что Франция получит только ту выгоду, что, в случае войны, будет более уверена в своей безопасности, если в Испании будет править король ее династии, а не Бурбоны». При этом он снова подчеркивает, что был вынужден «вырвать Испанию из рук анархии»[2]. Наконец, уже после провозглашения Жозефа, он снова возобновляет с Александром об этом же переписку, и, путаясь, пишет ему довольно длинное письмо, в котором философствует, оправдывается, предусматривает возможные возражения, старается их опровергнуть и принимает совершенно не свойственный ему тон. В своем письме он не оправдывает себя, а только объясняет свои поступки.

«Мой брат,— пишет он,— посылаю Вашему Величеству конституцию, которую только что утвердил испанский совет. Беспорядки в стране дошли до невероятных размеров. Вынужденный вмешаться в дело, я был приведен, благодаря непреодолимому ходу событий, к политической системе, которая, обеспечивая счастье Испании, в то же время обеспечивает спокойствие моих владений. При этом новом положении Испания фактически будет более чем когда-либо независима от меня; но я буду иметь ту выгоду, что она, заняв положение, предназначенное ей самой природой, и не имея никакого повода не доверять континенту, употребит все средства на восстановление флота. Я имею причины быть крайне довольным знатью, состоятельными и образованными классами. Только монахи, которые владеют половиной всех земель, предвидя в новом порядке вещей прекращение злоупотреблений, равно как и многочисленные агенты инквизиции, предчувствующие свой близкий конец, волнуют страну. Я отлично сознаю, что это событие даст обильную пищу для разговоров. Не захотят оценить событий и обстоятельств, при которых оно совершилось; будут говорить, что все это подстроено с заранее обдуманным намерением. Однако, если бы я имел в виду только интересы Франции, к моим услугам было бы более простое средство, а именно; расширить в эту сторону мои границы и уменьшить Испанию. Ибо кому не известно, что в расчетах политики родственные узы мало принимаются во внимание и к концу двадцати лет теряют всякое значение? Филипп V воевал со своим дедом. Провинция вроде Каталонии или Наварры, присоединенная к Франции, имела бы более значения для могущества Франции, чем только что совершившаяся перемена, которая, на самом деле, полезна только Испании»[1].

С помощью таких доводов Наполеон старался оправдать свои хищнические приемы и ослабить их впечатление. Позднее, говоря о тех же фактах, но обращаясь к потомству, он выскажется в качестве судьи, постановит решение против самого себя и, не переставая отстаивать с гордым высокомерием величие своей цели, не будет искать оправданий несправедливой и бесполезной жестокости своих приемов. Он признает в испанском деле главную ошибку своего царствования и причину своего падения[2].

II

Узнав о факте, который в лице одной из древних династий нанес удар и всем остальным, Александр выказал себя более русским, чем европейцем, более склонным преследовать интересы собственной страны, чем охранять права корон. Нельзя сказать, чтобы захват, которому предшествовало столько других, не усилил его беспокойства по отношению к честолюбцу, который думал только о себе и беспрестанно искал новой добычи. Тем не менее, как ни была расшатана его вера в систему, которую старались установить в Тильзите, благоразумие, самолюбие и, особенно честолюбивые замыс-

[1] Донесения, посланные с письмом от 17 июня.
[2] Ibid., 10 июля.

[1] Corresp., 14170.
[2] Memorial 14 июня 1816 г.

лы повелевали ему стойко держаться за нее. И в самом деле, опыт будет доказателен и может принести плоды только при условии, если он будет доведен до конца. Стоило ли из-за жалоб и упреков портить отношения с Наполеоном в ту минуту, когда, по-видимому, для России наступало время получить награду за свое долготерпение; когда Наполеон, распорядившись Испанией по своему усмотрению, не мог более выставить никакой причины, чтобы уклониться от соглашения по восточному вопросу. Благодаря этим соображениям, Александр решился быть снисходительным, но желал по крайней мере, поставить это себе в заслугу перед своим союзником, сделав это с любезностью, проявлять которую ему никогда ничего не стоило. Не имея возможности идти против событий на Юге, он не ограничился тем, что утвердил их своим молчанием, напротив, он сделал даже вид, что одобряет их и, затаив в глубине души свои истинные чувства, сумел выказать другие.

Пока тянулись переговоры в Байонне, он избегал неуместных вопросов, довольствовался даваемыми ему объяснениями и предоставлял Наполеону действовать. Так как он не был особенно расположен к испанским Бурбонам, то ему не было надобности особенно насиловать себя, чтобы выражаться на их счет пренебрежительным тоном. Отречение Карла IV показалось ему делом вполне естественным для государя, который «хотел жить только для своей Луизы и для своего Эммануила»[1]. Когда стала известна развязка, у него по отношению к императору были только слова одобрения, доходящие до лести: «Я думал,— говорил он,— что он заполнил уже все страницы в истории, но ему остается в ней еще одна прекрасная страница для Испании»[2]; и он приветствовал в нем «преобразователя и законодателя»[3] Испании. Когда ему была представлена новая конституция королевства, он нашел ее либеральной и достойной ее автора. Однако по некоторым выражениям, предусматривающим дальнейший ход событий, по некоторым словам, кстати сказанным, легко было убедиться, что царь не смотрел на свои похвалы, как на нечто не подлежащее оплате: «Я не завидую и не буду завидовать ни одной из выгод, которую получает или может получить Император,— говорил он»[1]; но при этом он начал с указания, что выгоды должны быть обоюдными. Он не пропускал случая, чтобы в выразительных словах не подчеркивать корректности своего поведения, «своей нетребовательности за все время, пока шли события»[2]; и видно было, что он учитывал свои хорошие поступки и давал им накопляться, предоставляя себе право бросить их на весы во время тех решительных объяснений по делам Востока, о которых он говорил с тревожной настойчивостью.

[1] Королева и князь Мира. Донесение Коленкура от 27 апреля 1808 г.
[2] Ibid.
[3] Ibid., 26 августа.

Если исключить гипотезу о соглашении с Англией, то Наполеону никогда и в голову не приходило уклоняться от платежа: он хотел только отдалить его. Хотя он все еще был против точного определения своих обязательств к России, но он всегда допускал принцип раздела Турции при условии, если лондонский двор будет долго затягивать борьбу. Он хорошо сознавал опасность не в меру злоупотреблять долготерпением Александра. Поэтому с мая месяца, лишь только он дал желаемое направление переговорам в Байонне и получил уверенность, что Бурбоны сойдут со сцены, он нашел, что самое трудное в его задаче на Юге выполнено, и уделил часть своего внимания Востоку. Ему достаточно было только взглянуть на план раздела Турции, составленный Румянцевым, чтобы по многим пунктам признать его неприемлемым. Более обстоятельный просмотр русского проекта только укрепил его в этом убеждении. Тем не менее он не отчаивался примирить, когда придет время, взаимные требования, и, скорее с целью оживить надежды Александра, чем прийти к немедленному соглашению, не отказался теперь же возобновить прения.

Нота Румянцева и письмо Александра, в котором царь давал санкцию ноте своего министра, ставя условием свидания предварительное соглашение об основах раздела, вынуждали его изменить тактику. Вместо того, чтобы, как он желал, установить все с Александром с глазу на глаз, ему приходилось решиться вести переговоры издали и при содействии посредников. Он попробовал вступить на этот путь. Он вполне посвятил Шампаньи в тайну дела, передал ему разные бу-

[1] Донесение Коленкура от 10 июля 1808 г.
[2] Ibid.

маги, полученные из Петербурга, и приказал ему составить по поводу их пространный доклад[1]. 22-го он приказывает объявить Коленкуру о предстоящей отправке министерской записки в ответ на ноту Румянцева[2]. Однако проходят дни, недели, а обещанная посылка заставляет себя ждать. Что за причина этого нового замедления? Вникнув в вопрос, Наполеон и на этот раз признал невозможным решить его обычным дипломатическим путем, с помощью нот, депеш, предложений и контр-проектов. Он решительно не допускает, чтобы кто-либо другой, а не он лично вел переговоры, от которых зависит судьба мира. С другой стороны, возможно и то, что он не решается выдать русским документ, который они могли бы использовать против него, если бы соглашение не состоялось, и между ними произошел разрыв; что он не хочет оставить им письменного доказательства своих разрушительных планов. Поэтому, он возвращается к своей первой мысли, к свиданию без предварительных условий, упорно держится именно за такой характер свидания и намерен настоять на нем. 31 мая он пишет Коленкуру, поручая ему опять заговорить о свидании. Посланник должен снова указать на необходимость все отложить до откровенного личного объяснения между императорами без предварительных обязательств, которые могут только связать их и помешать их взаимному доверию. Для того, чтобы сговориться, им нужно свидеться; только их личной дружбе должны они предоставить заботу примирить их интересы[3].

В то время, когда было отправлено это письмо, оно было уже ненужным. Доблестно отвечая на упреки своего императора, Коленкур определил его приказания и, продолжая действовать в духе прежних инструкций, возобновил просьбу и добился свидания без условий.

Он обязан был своим успехам не любезности Александра, а его тяжелому настроению. Изнервничавшись от ожидания, все более обуреваемый то надеждой, то сомнением, царь на первом плане ставил уверенность, что он еще в течение текущего года встретится с Наполеоном и категорически объяснится с ним, и только

[1] Шампаньи Коленкуру, 2 апреля 1808 г.
[2] Corresp., 13955. Шампаньи к Коленкуру, 23 мая 1808 г.
[3] Инструкция от 31 мая, о получении которой Коленкур доносит в своем письме от 20 июня 1808 г.

эта уверенность могла облегчить его нетерпение. Сверх того, благодаря только что поразившему его личному горю[1], он переживал период отчаяния и страдал от чувства одиночества: его энергия была надломлена. После первых дней горя, он прежде всех других пожелал видеть Коленкура. Он говорил ему о своем горе, открыл свою душу; затем, сделав над собой усилие, перешел к делам. «Я всегда желал свидания,— сказал он,— я вполне доверяю Императору. Он отлично написал вам: «Поставьте циркуль на карту». Но из моего письма явствует, что следует предварительно сговориться о некоторых основах; тогда при встрече мы нашли бы крупные вопросы уже законченными, а это значительно облегчило бы дело. И обсуждение деталей достаточно важно для того, чтобы занять наше внимание. Получили ли вы какой-нибудь ответ на ваше донесение? Нет ли затруднений по вопросу о кошачьем языке?»

Посланник. И тридцать курьеров не выяснят того, что будет сделано в три дня свидания; даже в два года нельзя покончить того, что будет сделано в десять дней. В этом важном деле столько неудобных положений, что только одни государи могут сговориться. У графа Румянцева руки длинноваты.

Император. Я желал свидания, ибо вижу в нем доказательство дружбы Императора, которую я чрезвычайно ценю.

Посланник. То, что оно предложено, доказывает Вашему Величеству полное его доверие к вам. Лучший способ на него ответить,— если Ваше Величество разрешите мне говорить об этом,— это принять свидание без условий. Интересы России более связаны с этим делом, чем интересы Франции. Проявляя по отношению к Императору такое же доверие, какое он оказывает вам, Ваше Величество только ответите ему тем же. Ведь раздела желаете вы, Ваше Величество. Император Наполеон соглашается на него только потому, что желает быть вам приятным. Следовательно, в этом случае, он не может жертвовать всеми интересами Франции и интересами своего исконного союзника. В таком важном деле дипломатические прения скорее задерживают, чем подвигают дело.

Император. Согласен; я сам всегда был такого

[1] Смерть великой княжны Елизаветы, единственной дочери Александра. (Прим. пер.).

же мнения. Впрочем, я питаю к нему полное доверие; я слишком сочувственно отношусь ко всему, что может быть выгодно императору Наполеону, чтобы он иначе думал о моих интересах; я доказал ему это. Как бы вы хотели устроить это дело? Скажите откровенно.

Посланник. Принять, Государь, свидание без условий.

Император. Охотно, но когда?[1]

Этот вопрос поставил Коленкура в затруднение. Он не знал, установил ли его повелитель время свидания, и на всякий случай заговорил об июне месяце. Александр облегчил ему задачу; он нашел, что это время слишком близко и что он не может покинуть Петербурга в самое удобное для действий неприятеля время года. Действительно, это было время, когда можно было опасаться, что шведы перейдут в нападение, быть может, пришлось бы отражать и нападение англичан, причем все это совпало бы с сильнейшими нападками недовольных. Может ли государь для отлучки со своего поста избрать час опасности? По мнению Александра, раз уже пропустили зиму, не дав хода проекту, всего лучше было бы подождать до конца лета, по крайней мере, до августа. Если это время будет принято, посланник должен получить полномочия установить с царем точно день встречи. Со своей стороны Наполеон обяжется отправиться в путь немедленно по получении известия о выезде своего союзника. Это желание было немедленно внесено в отправленную в Байонну ноту, которая начиналась следующей фразой: «Император Александр принимает свидание без предварительных условий»[2].

Наполеон восторжествовал. Россия уступила ему в вопросе о непосредственных переговорах и отсрочила их настолько, что позволяла ему сперва окончить покорение Испании. Он поспешил согласиться на прибывшее из Петербурга предложение. Тем не менее, не желая, чтобы Александр прибыл в Эрфурт с надеждами, которые могли бы сделать невозможным всякое соглашение, он предупредил его, что его молчание на ноту Румянцева не должно быть принято за согласие на все территориальные требования России. Он написал

---

[1] Донесение от 21 мая 1808 г.

[2] Нота, приложенная к донесению от 21 мая 1808 г.; мы даем ее в приложении, под цифрой III.

ему об этом и сверх того приказал Коленкуру, снабженному соответствующими инструкциями, на словах подтвердить это; а так как царь пожелал узнать, по каким пунктам встречалось затруднение, то предметом последнего разговора сделались Константинополь и Дарданеллы.

«Основы Румянцева,—сказал посланник,— хорошо устанавливают долю России, но не считаются с чужими интересами. Константинополь такой важный пункт, что обладание им и выходом из Дарданелл сделает вас вдвойне господами всей торговли с Востоком, даже с Индией. Ничего точно не определяя, скажу, что основы проекта Румянцева не могут быть приняты».

Император. Константинополь по уходе турок будет только провинциальным городом на окраине империи. Наше географическое положение требует, чтобы я владел им, потому что, если он будет принадлежать кому-либо другому, я не буду хозяином у себя дома. Император согласился, что для других не будет никакого ущерба в том, что я буду владеть ключом от дверей моего дома.

Посланник. Этот ключ — в то же время ключ от дверей Тулона, Корфу, от всей мировой торговли.

Император. Но, ведь можно составить такой договор, который гарантировал бы, что этот путь никогда не будет и не может быть закрыт для чьей бы то ни было торговли.

Посланник. Если бы вы, Ваше Величество, царствовали вечно, такая гарантия могла бы иметь огромную ценность; но предусмотрительность требует, чтобы в деле, которое устанавливает судьбы народов, Император заручился всеми возможными средствами для безопасности своей империи. Будет ли преемник Вашего Величества другом и союзником Франции? Можете ли вы, Ваше Величество, поручиться и за него? Румянцев составил долю России так, чтобы она была хорошей и надежной при всяком положении дел. От всей души сочувствуя всему, что может быть удобно и выгодно для Вашего Величества, Император, однако, не может в деле такой огромной важности приносить вам в жертву интересы и безопасность Франции. Все присвоить себе, не значит еще согласовать обоюдные интересы.

Император. Я ничего так не желаю, как сговориться; но в то же время, как вы получаете огромнейшую долю, в то время, как все выгоды этого великого

дела будут в вашу пользу, нужно же и мне получить то, что следует мне по географическому положению. Это, впрочем, гораздо меньше, чем вы думаете. Император не может желать Дарданелл. Может быть, он хочет отдать их кому-нибудь? Разве ему будет неудобно, если они будут моими?

Посланник. Если вы, Ваше Величество, будете владеть ими, вы будете у дверей Корфу и Тулона.

Император. Не ближе, чем вы у дверей Портсмута, а Англия у дверей Бреста и Шербурга.

Посланник. Потому-то мы с ней и союзники, даже в мирное время. Вероятно, мы никогда не будем друзьями, а, тем более — союзниками. Позвольте мне, Ваше Величество, заметить вам, что ваше сравнение служит не в пользу проекта Румянцева и именно в силу вашего желания, чтобы мы оставались друзьями. Для этого нужны только такие приобретения, которые не приносили бы ущерба ни вам, ни нам. Согласно планам Румянцева, действительной силой на Востоке была бы Россия, новые приобретения которой непосредственно примкнули бы к ее обширной империи. Стало быть, не было бы более того равновесия, благодаря которому сохраняется мир. Франция, которая приобретает вдали от себя, Франция в Дарданеллах, даже в Константинополе — никому не страшна, потому что ее владения будут отдаленной собственностью, вроде колонии, тогда как в руках России это будет грозным делом.

Все эти причины доказывают Вашему Величеству, что только при личном свидании можно примирить столь важные интересы. Это одно из тех великих соглашений, по которым могут сговориться только государи.

Император. С этим я согласен; но я не хочу поставить мою страну в более затруднительное положение, чем то, в котором она находится теперь, благодаря своему соседству с турками. Если Франция будет владеть Дарданеллами, мы потеряем больше, чем выиграем[1].

Несмотря на отрицательный исход этого разговора, в уме Александра наступило некоторое успокоение с тех пор, как состоявшееся соглашение относительно способа и времени свидания на некоторое время установило взаимное положение обоих дворов. Теперь Александр жил с мыслью, что его тревогам скоро наступит конец, что в определенный день он будет в состоянии откровенно расспросить Наполеона, проникнуть в его планы и разгадать тайну политики, которая казалась ему все более неопределенной и неустойчивой; он узнает, наконец, может ли союз превратиться в действительность или он только обманчивый мираж; вернется ли он из Эрфурта излеченным от своего недоверия или от своих надежд. В ожидании этого, хотя он и говорил о главном затруднении, но говорил об этом с меньшей горечью, иногда даже весело: «Сообщили ли вы Императору,— спросил он как-то Коленкура, говоря с ним о Дарданеллах,— что Румянцев называет их кошачьим языком?»

Посланник. Да, Государь, Я ничего не скрываю от Императора; это лучший способ служить ему и в то же время Вашему Величеству[1].

Александр не продолжал более разговора. Он говорил, что свидание рассеет все сомнения, удовлетворит все интересы; и, может быть, он не притворялся, надеясь на это. Быть может, он предполагал, что Наполеон придумает какое-нибудь непредусмотренное и верное средство для соглашения; что его гений, для которого нет невозможного, сделает чудо и примирит их честолюбивые стремления,— одинаково неустойчивые, завистливые и чрезмерные.

Со своей стороны, хотя Наполеон и скрывал или, по крайней мере, облекал в глубокую тайну свои окончательные намерения относительно условий раздела, он надеялся на успех от свиданий и ожидал от него громадных результатов. Точнее определяя свои будущие планы по мере того, как затруднения настоящего времени видимо устранялись с его пути, он назначил на сентябрь время для встречи, а на октябрь начало великих операций, которым предназначалось создать переворот в восточном мире от Дуная до Инда.

Он рассчитывал, что к этому времени на Иберийском полуострове все будет кончено; что Испания будет неразрывно связана с его системой; что, вместо причиняемых хлопот, она окажет ему содействие: «К тому времени Испания будет настолько огранизована, что благодаря этому, моя тулонская эскадра увеличится на

[1] Донесение Коленкура, 24 июня 1808 г.

[1] Донесение Коленкура, 10 июля 1808 г.

несколько кораблей»[1]. Упорно оставаясь в роковом ослеплении, находя твердую опору своим заблуждениям в той легкости, с которой Бурбоны предались в его руки, он думал, что отречение обоих принцев отдало в его власть целое королевство, и, на самом деле, воображал, что, овладев подножием Пиренеев, завоевал всю Испанию. Он думал, что самое большее, что придется сделать его войскам,— это справиться с какими-нибудь частичными единичными вспышками, с какими-нибудь восстаниями отдельных городов, вроде того, которое он некогда подавил на улицах Каира; что-нибудь вроде восстания горцев, с которыми легко справилась в Калабрии неаполитанская армия. Что же касается народной массы,—он не сомневался, что она подчинится ему и признает новое правление; он уже считал этот результат как бы достигнутым и объявил о нем с высокомерным оптимизмом: «Общественное мнение в Испании, сообщал он Камбасересу, складывается согласно моему желанию»[2]. Он остается еще шесть недель в Байонне, устанавливает передачу власти в руки нового правительства, заставляет официальную Испанию воздать своему брату королевские почести, организует подобие народного представительства и председательствует при вступлении на престол нового короля; но уже немедленно после отъезда Карла IV в Компиен, а Фердинанда в Валенсию, он подготовляет предприятия будущего, вполне уверенный, что совсем покончил с испанскими делами. Испания занимает его уже менее, чем Восток.

Теперь он жаждет сведений о далеких странах Востока. Узнав, что в Мадриде у некоторых правительственных агентов сохраняются «в большом количестве карты и бумаги о путешествии по Египту, Африке и Малой Азии, предпринятом после 1803 г.»[3], он приказывает отобрать все эти документы, в которых, конечно, найдутся полезные сведения; они должны составить его личную часть из испанской добычи. Он приказывает начертить подробную карту Египта; приказывает отпечатать ее, но не опубликовывать; он желает, чтобы она хранилась «под секретом», как государственная тайна, чтобы можно было раздать ее во время необычайных

[1] Corresp., 13877.
[2] Corresp., 13888.
[3] Ibid., 13857.

событий»[1]. Вместе с тем, он предписывает снова взяться за дело, за бесчисленные приготовления на всех пунктах империи. Мы видим, как сквозь посылаемые из Байонны все более точные, ясные, содержательные приказы, выступает великий проект, начатый в январе и феврале, как яснее обрисовываются его линии и закрепляются контуры.

На суше все готово. Рекрутский набор 1809 г.[2] дал нашим армиям в Италии и Далмации подкрепление в 80000 человек; эти армии должны будут по первому сигналу напасть на Европейскую Турцию. Наиболее существенная часть предприятия, морская, поглощает преимущественно внимание императора; он всякий день прибавляет к ней новые подробности. Он замышляет теперь вторжение в Индию и с моря совместно с крупными операциями, которые будут выполнены на суше. Он приказывает снарядить один флот в Лориенте, другой в Бресте[3]; они должны будут отправиться один за другим, первый флот, как авангард второго, и высадить в Индии 18000 человек в то время, когда франко-русская армия, разрушив сперва на своем пути Турцию, придет к Евфрату. Кроме двух экспедиций — сухопутной с Востока и морской с Запада Европы,— которые, выйдя из двух крайних пунктов нашей операционной линии, должны будут сойтись у одной общей цели, для главного нападения предназначается большая эскадра Средиземного моря, которая будет состоять из французских, русских, итальянских, испанских и португальских кораблей с моряками всех национальностей. Египет по-прежнему остается главной целью его желаний, так как между останками Порты император прежде всего и неуклонно стремится захватить именно его и живет надеждой присвоить его себе. Его желание обнаруживается не только в намеках и в некоторых словах, разбросанных в его переписке; оно проявляется и в длинных инструкциях, в которых тщательно указаны условия предприятия, количество потребных людей, продолжительность переездов и пункты остановок.

Конечно, исполнение этого плана остается пока под сомнением, ибо возможно, что не удастся сговориться

[1] Corresp., 13940.
[2] Вероятно, опечатка в подлиннике, так как дело происходит в 1808 г. (Прим. пер.).
[3] Corresp., 13877.

с Россией о разделе, да к тому же Наполеон еще не решил бесповоротно разрушить Оттоманскую империю. Если заготовленные силы не пойдут в Египет, они пойдут в Алжир, Тунис или Сицилию, но эти предположения остаются на втором плане. «Я рассуждаю в предположении, что экспедиция предназначается для Египта»[1],— пишет Наполеон Декре, излагая подробно меры, которые нужно принять для снабжения провиантом войск, и исчисляя издержки по экспедиции. К военному министру Кларку, которому поручено собрать в Тулон необходимые запасы, он обращается со следующей знаменательной фразой: «Чтобы лучше понять мою мысль, сравните то, о чем я вас прошу, с тем, что было у египетской армии при высадке»[2]. 13 мая он высказывается окончательно; он делает это в длинной депеше к морскому министру, касающейся установки взаимного соотношения между всеми предполагаемыми предприятиями. Он указывает числа, когда должны будут сняться с якорей флоты в Лориенте и Бресте, затем продолжает: «В то же время я отправлю мою тулонскую эскадру взять 20000 человек в Тарентском заливе и отвезти их в Египет... Совокупность этих операций,— прибавил он,— нагонит ужас на Лондон»[3]. За время своей карьеры он мечтал уже о нападении на Англию в Индии по каждому из трех существующих путей, отдельно взятому: в 1791 г. через Суец; в 1800 г., во время своего первого сближения с Россией,— через центральную Азию, и — мимо Капштадта в 1805 г. В настоящее время он хочет воспользоваться всеми этими путями одновременно, сразу двинуть туда и армию и флот; он хочет опять начать египетскую экспедицию в то самое время, когда его флот будет огибать Африку, и на границах Персии объявить о смелом походе, о котором мечтал Павел I.

Иногда он приводит своих министров и агентов в смущение превосходящей всякую меру самонадеянностью; они дают ему понять, что исполнение его приказаний превосходит понимание и силы человека. Тогда он сердится и жестоко бранит их: «Чтобы добиться успеха,— говорит он,— не нужно быть Богом; но нужно преодолеть препятствия и исполнять мою волю, которая непреклонна»[1]. И, в самом деле, он хочет внушить всем окружающим его ту горячую деятельность, которая воодушевляет его самого, передать даже самому последнему французу частицу великого пылающего в нем огня. Он требует от них единодушного соревнования в усердии, в преданности, в вере в успех, направленных прямо или косвенно к одной и той же цели. По его мнению, чтобы добраться до Англии в самых чувствительных для нее местах, нужно делать вид, что хочешь повсюду напасть на нее. Нужно готовиться не только в Бресте, Лориенте, Тулоне, Специи, где воздвигается другой Тулон, на Генуэзском берегу, на всех пунктах, где формируются и откуда выйдут главные экспедиции, но и в Голландии, Булони, Дюнкирхене, Гавре, Шербурге, Рошфоре, Бордо, Ферроле, Корунье, Лиссабоне и Картагене, на береговом пространстве в несколько тысяч лье, повсюду, где господствует Франция. Пусть же во всех гаванях,— говорит он,— деятельно возводят укрепления, обучают людей, строят корабли, формируют команды матросов; пусть неприятельские эскадры, которым поручено наблюдать за нашими берегами и блокировать наши рейды, почувствуют, что выставленные против них силы вырастают и готовятся к делу. В продолжение лета наши эскадры и флотилии должны быть готовы всякую минуту сняться с якорей; они не будут переходить из одной гавани в другую, «заведут игру в барры»[2] с неприятельскими эскадрами, не дадут Англии передохнуть и «загоняют ее до изнеможения»[3]. При приближении решительной минуты выступят на сцену диверсии; возобновленное наступление наших войск на Севере, в Сканию, задержит внимание англичан на Балтийском море; в Флиссингене будет стоять флот, в Булони флотилия, опирающаяся на лагерь; тот и другая будут стоять по направлению к Британским островам. В Кадиксе, где уже находятся корабли Сенявина, будут собраны эскадры судов, и повсюду будут происходить вылазки, маневры, демонстрации и «такая путаница в операциях, что враг не будет знать, не предназначается ли все это для десанта у его берегов»[4]. Должна получиться такая всемирная уг-

[1] Corresp., 13997.
[2] Ibid., 13924.
[3] Ibid., 13877.

[1] Corresp., 13877.
[2] Corresp., 13873.
[3] Ibid.
[4] Ibid., 13997.

роза, которая даст возможность обмануть бдительность англичан на Средиземном море и, может быть, на океане; позволит предупредить их в Египте, в Малой Азии, может быть, в Индии; позволит разрушить, по крайней мере, позиции, которые защищают их империю со стороны Ближнего Востока и служат преддверием к ней. Эта угроза позволит направить против них ту подавляющую кампанию, в которой под нашим начальством будут сражаться все армии и весь флот Европы, и в которой у императора французов главным помощником будет русский царь.

В этой последней борьбе местопребывание главы армии и флота, т. е. императора, было точно определено. Император намерен быть в Италии, в центре движения, недалеко от Сицилии, Греции и Египта, между двумя бассейнами Средиземного моря,— между Западом, который он рассчитывал поднять, и — Востоком, который он хочет наводнить всеми своими силами. 30 июня, он объявляет вице-королю Евгению, что перейдет Альпы в октябре или ноябре[1]. Это уведомление подтверждает ранее сказанную фразу Талейрана. «Как руководить таким сложным движением?» — спросил у него Меттерних.— «Неужели вы можете думать, что в этом деле Император откажется от своих обычных правил? — ответил князь.— Он будет всем руководить из Италии»[2].

Впрочем, в то время, когда император открывает ленным королям, министрам, генералам и администраторам только ту часть своих планов, исполнение которой специально поручается каждому из них, он дает Европе возможность предвидеть необычные события и хочет, чтобы она подготовилась к ним. Именно 19 июня в депеше, отправленной дружественному саксонскому правительству, он обещает мир, но ценой последнего кризиса. Изложив, обычным ему способом, через посредство Шампаньи, падение Бурбонов и возведение на престол Жозефа, он дает понять, что эти события служат только началом; что Англия, отказываясь от мира с ним, вынуждает его прибегнуть к крайним мерам; что она должна поторопиться уступить, если хочет спасти то, что остается от старого европейского здания. Изложив вкратце историю борьбы, которую он ведет с ней на континенте путем разорительных для нее мер в течение уже пяти лет, он указывает на грозную последовательность в своих предприятиях: «Если благоразумные люди, говорилось в депеше, не возьмут верх в британских советах, Англия подвергнет себя еще более гибельным событиям, чем все те, которые до сих пор имели место и которые нужно поставить в вину только ее правительству, желавшему войны и имеющему безумие бесконечно тянуть ее. События, которые совершатся в будущем, будут иметь такой характер и такие размеры, что Английское государство или будет раздавлено, или же вынуждено будет войти в надлежащие границы»...[1]

Между тем, в то самое время, когда Наполеон предается своим грандиозным проектам и доводит их до ясной и почти окончательной формы, вблизи него, но не доходя до его сведения, начинается всеобщее восстание Испании, которое доказывает неосновательность его предложений и вскоре разрушит все его планы. За Пиринеями уже началась борьба между восставшим населением и нашими, более чем слабыми, войсками, разбросанными на слишком обширной территории. Эта война, благодаря ее ожесточенному, не знавшему жалости характеру и жестокому вероломству, приводит в замешательство наших солдат. Со всех концов полуострова скачут к императору адъютанты. Отправленные своими генералами, которые находятся в критическом положении, они должны сообщить ему об их опасном положении и о крайней нужде в помощи; но для этого им нужно проехать через восставшие города, под выстрелами партизан, засевших в засаду на их пути; одни погибают, другие, вынужденные делать большие объезды, блуждают из провинции в провинцию, повсюду натыкаются на мятеж, с трудом проскальзывают через него и привозят в Байонну уже устаревшие известия. Вся Испания в огне, а Наполеону известна только незначительная доля истины; он с беспримерной самонадеянностью продолжает отдаваться заботам о приготовлениях к своим дальнейшим предприятиям. 22 мая он пять раз пишет Декре; упрекает его за медлительность и за возражения; требует, чтобы к 15 августа в Тулоне было пятнадцать французских кораблей и чтобы Испания прислала туда с Балеарских островов свой флот. Так как движение

[1] Corresp., 14144.
[2] Mémoires de Matternich, II, 148.

[1] Archives des affaires étrangères, Saxe, supplements, 6.

должно начаться из Картагены, то следует, чтобы сперва он пришел туда. А в этот самый день Картагена восстает, избивает французов, водружает знамя Святого Фердинанда и подает пример всем испанским городам. 26 мая Наполеон составляет план новой экспедиции в Египет, и 26 же мая возмущается Севилья, вторая столица Испании, учреждает правительство и делается центром восстания. За день до этого Сарагосса провозгласила королем Фердинанда VII; несколько дней спустя, Валенция следует ее примеру; за ними идут Гранада, Бадагос, Корунья; на севере восстали Астурия и Галиция — с одной стороны, Аррагония с другой, и идут на соединение в тылу нашей армии. В конце месяца, хотя Наполеон и занимается делами Испании, но все еще только для того, чтобы заставить ее военные и морские силы принять участие в своем военном предприятии. Он намеревается двинуть их на Гибралтар или в Марокко, чтобы закрыть Англии вход в Средиземное море, но, главным образом, стремится увеличить флоты Кадикса и Лиссабона путем укомплектования местными средствами. Но ему неизвестно, что его корабли в Кадиксе осаждены восставшими; что они чуть ли не завтра будут взяты в плен; что на юге регулярные войска перешли на сторону его врагов, и что Испания в лице Верховного Совета только что объявила ему войну[1]. Оскорбленная в своих национальных чувствах, в своем национальном достоинстве, вся нация поднялась; она хочет вцепиться в бока победителя, задержать его бег, парализовать его движения и вызвать против него, вслед за борьбой королей, борьбу народов. Пример Испании заражает уже Германию, и австрийский дом, уступая общественному мнению и боясь за свою собственную безопасность, готовится начать первую войну за германскую независимость. После непрерывного ряда побед, покрывших его славой, но не давших ему возможности успокоиться, Наполеон думал, что только одно последнее громадное и решительное усилие отделяло его от мира с Англией, которого он так страстно желал и который должен был на прочных началах установить его судьбу, упрочить его величие и увенчать его дело, и вдруг почва начинает колебаться и уходить из-под его ног, самые основы его могущества подкашиваются и рушатся.

---

[1] См. Thiers IX, à 43.

XI

ИСПАНИЯ И АВСТРИЯ



Наполеон слишком поздно сознает опасность испанского восстания; он откладывает до 15 июля приготовления к далеким экспедициям.—Впечатление, произведенное в Вене байоннскими событиями. — Меры для спасения империи — всеобщая мобилизация; Австрия вооружается. — Наполеон не хочет войны с Австрией и старается ее избегнуть; роль, назначения им России. — Александр старается быть любезным и предупредительным. — Его первые обращения к Австрии. — Эрцгерцог Карл и испанская корона. — Россия признает короля Жозефа. — Ненадежное положение полуострова. — Наполеон не отказывается вполне от своих проектов на Востоке и в Индии; инструкции по поводу Персии; труд, возложенный на библиотекаря Барбье. — Путь римских легионов к Евфрату. — Победа при Медина де Рио-Секо; значение, которое Наполеон придает ей. — Капитуляция при Байлене. — Громадное значение этого события; все расчеты Наполеона сведены к нулю. — Оно вызвало его гнев и причинило ему большое огорчение. — Резкая перемена фронта. — Он решает увести войска из Пруссии и хочет представить эту меру как удовлетворение, данное России. — Каким приемом пользуется он при сообщении царю о Байленской катастрофе. — Два курьера из Рошфора. — Корректное поведение царя. — Русские рекруты и солдаты Дюпона. — Царь не хочет угрожать Австрии и ограничивается осторожными предупреждениями; причины его поведения. — Его слова и поступки. — Новая революция в Константинополе. — Убийство Селима. Визирь Байрактар. — Александр назначает день свидания. — Он удваивает свою предупре-

дительность. — Толстой неисправим. Слова Наполеона на охоте. Северные снега и благодатный климат Франции. — Александр подводит счет франко-русскому союзу. — Договор с Пруссией от 8 сентября. — Александр требует полного освобождения Пруссии и раздела Турции. — Нежные и настойчивые письма к Наполеону. — Вопросы, которые будут обсуждены в Эрфурте.

I

Только в конце июня Наполеон впервые усмотрел в делах Испании серьезное препятствие своим проектам относительно Востока и Индии. Получив в первую голову известия о волнениях, происходящих вблизи наших границ, в Аррагонии, в Каталонии и Астурии, он видел в этом только проявление местного фанатизма, вызванного монахами, поднявшими толпу, склонную к беспорядкам; он все еще думал, что его войскам придется сражаться в Испании не с народом, а с чернью, и что несколько быстро и энергично нанесенных ударов приведут все в порядок. Он приказал направить колонны на главные пункты восстания и спешно отправил подкрепления по ту сторону Пиринеев. Первые стычки были в нашу пользу; но эти успехи только определеннее выяснили силу и размеры зла. Позади врагов, которых рассеивали наши войска, они встречали других; им приходилось не мятеж подавлять, а завоевывать королевство, провинцию за провинцией. На севере Бессьер столкнулся с регулярными войсками; на Эбро остановила нас Сарагоса; в королевстве Валенция (dans le royaume de Valence) Монсей, окруженный врагами, с трудом подвигался вперед; о Дюпоне, который рискнул вступить в Андалузию, получались только краткие и редкие известия. Наполеон понял тогда, что подчинение Испании потребует большого напряжения сил, настоящей войны, и может вынудить его отсрочить отдаленные экспедиции. Пока еще он не отменяет приказаний о приготовлениях к ним, но временно задерживает приготовления. «Я желаю,— писал он Декре 28 июня,— чтобы вы испрашивали у меня новых приказаний прежде, чем будете производить затраты, которые будут напрасны, если не состоится брестская экспедиция...» Вслед за тем он прибавляет: «Так как испанские дела вот уже месяц, как приняли довольно серьезный оборот, то может случиться, что в мои планы не войдет рисковать таким большим количеством сил на морях»[1].

Более ясные указания на необходимость приостановиться на том пути, по которому он так энергично пошел, т. е. на пути приготовлений к операциям на Востоке, он почерпнул в известиях о настроении Австрии. Несмотря на его усилия улучшить отношения с венским двором, тот и не думал отрекаться от своих предубеждений и ненависти. Разрыв Австрии с Англией был только кажущимся: британские товары по-прежнему доставлялись в Триест. В Вене общество оставалось верным той антифранцузской коалиции, которая имела деятельных членов во всей европейской аристократии, даже в то время, когда правительства не принимали в ней участия. Австрийская столица была очагом всемирной интриги. Что же касается кабинета, он, несмотря на свою слабость и раздоры, не мирился с мыслью, будто Пресбургский мир навсегда установил судьбу монархии. Он был в отчаянии, что в 1807 г. упустил случай поправить свои дела. Недовольный другими и самим собой, сознавая свое одиночество, относясь с недоверием ко всем и особенно к Франции, он подготовлялся к решительной борьбе. Он и желал войны и, вместе с тем, боялся ее; он считал, что она должна неизбежно вспыхнуть, независимо от того, будет ли Австрия к ней вынуждена или сама вызовет ее.

Со времени Пресбурга его главной заботой было восстановить и преобразовать военные учреждения империи по системе, отчасти заимствованной у Франции, с тем, чтобы иметь возможность располагать во время войны наличным составом войск, который ни по качеству, ни по количеству не уступал бы нашим. Предложения Наполеона и его слова по поводу Турции вызвали в Вене только большую осторожность. Решив, если бы это оказалось безусловно необходимым, действовать на Востоке, совместно с нами, соглашаясь с нами, соглашаясь взять несколько оттоманских провинций и наметив их заранее[2], Австрия выставила на сербской границе несколько корпусов, не переставая, од-

[1] Corresp., 14138, 14161.
[2] Beer, Die orientalische Politik Oesterreichs seit, 1774, 172—173. Beer, Zehn Jahre oesterrichischer Politik, 305.

нако, с тревогой наблюдать за другими границами. Окруженная развалинами, видя, как все рушится вокруг нее, она, из чувства самосохранения, старалась быть готовой ко всему, и безостановочно вооружалась, не зная наверное, против кого и для какой цели.

Внезапно вспыхнувшие события в Испании дали ее опасениям определенное направление; падение Бурбонов отозвалось в Вене как погребальный звон. Там не сомневались более, что захват испанского трона был только началом борьбы, замышляемой Наполеоном против всех законных династий, и что вслед за Бурбонами должна наступить очередь Габсбургов. Эта мысль, находившая опору в тревожных донесениях, присылаемых Меттернихом из Парижа, в продолжительном пребывании наших войск в Германии, особенно в Силезии, и в воинственных речах некоторых офицеров великой армии, вызвала в Вене настоящую панику и заставила прибегнуть к таким мерам, которые употребляются только тогда, когда опасность угрожает существованию государства. Страх, дошедший до крайних пределов, вызвал у Австрии внезапный подъем энергии и смелости. Она хотела безотлагально завершить восстановление своих военных сил и ввела в преобразовательные, действительно полезные меры, нечто торопливое и лихорадочное, что существенно изменило их характер. В продолжение одного месяца император Франц приказал образовать резерв, назначением которого было пополнять действующую армию, уже доведенную до трехсот тысяч; затем создать милицию, в которую должны были войти все, не взятые по набору. На бумаге к 16 июля все должно быть закончено; затем предполагалось приступить к учениям и маневрам, в которых должны были принять участие в полном составе резерв и милиция; не довольствуясь созданием громадных сил, отдали приказ о мобилизации их. Для того, чтобы сделать разным народам, входящим в состав монархии, не очень чувствительным столь тяжелое бремя, нашли нужным разжечь их страсти, пробудить, или, лучше сказать, создать среди них имперский патриотизм. Прокламации, журнальные статьи, путешествия высочайших особ,— ничто не было упущено. Говорилось о необходимости отвратить страшную опасность, о необходимости отразить всегда готового вести войну врага. Кто же мог быть этим врагом, как не безжалостный победитель 1805 г., ненавистный француз? На кого же

иного указывало правительство, отдавая приказания о концентрации войск против французских лагерей в австрийской Силезии и о мерах исключительной обороны на западной границе? Стало быть, возбуждение общественного мнения было направлено против нас. Когда распространялся слух о разрыве, следствием которого было быстрое понижение государственных бумаг, крики «Смерть французам!» раздавались со всех сторон, и население начало оскорблять наших агентов. Набор милиции проходил восторженно, шумно и быстро. Не будучи ни угрожаема, ни серьезно вызвана на такие меры, Австрия приняла вид лагеря, готового выступить в поход[1].

Известия о таком возбуждении народных страстей, доходившие до Наполеона со всех сторон,— из Вены, Дрездена, Мюнхена и Триеста,— огорчили его. Никогда он не был так далек от мысли о войне с Австрией. Напротив, вовсе не думая о нападении на нее, он рассчитывал воспользоваться ее услугами. Теперь он понял, что венский двор, упорствуя в своей враждебности к нему, делал разрыв неизбежным, даже помимо своего желания, ибо его вооружения вынуждали Францию к тому же самому. Когда войска будут стоять друг против друга, когда оба государства, глядя в упор, будут следить друг за другом, неизбежно произойдут какие-нибудь из тех событий, которые, мало обращая на себя внимания в мирное время, примут при подобных обстоятельствах грозное значение. Отсюда произойдут неприятные объяснения, угрозы, враждебные демонстрации и, наконец, война, которую скорее вызовут случайные обстоятельства, чем заранее обдуманные намерения правительств. Наполеон теперь же понял, что вынужден будет иметь в виду крайне нежелательную, но, может быть, весьма близкую вероятность новой войны с Австрией одновременно с многочисленными операциями в Испании и, следовательно, употребление в целях защиты не только великой армии, но и тех итальянских и иллирийских сил, которые он берег для более отдаленных и продуктивных предприятий.

Когда он увидел, что, кроме Испании, осложнения надвигаются и со стороны Австрии, он затрясся от

[1] Archives des affaires étrangères correspondance de Vienne, 1808. Id., de Baviere, Beer, Zehn Jahre oesterreichischer Politik, 308—337.

раздражения и гнева, подобно тому, как это было в 1805 г. в булонском лагере, накануне переправы через пролив, когда он подметил признаки новой коалиции и понял, что суша вскоре отвлечет его от океана. В 1808 г., победив Европу вплоть до Немана и устроив ее согласно своему желанию, он вернулся к прерванному делу, к непосредственной борьбе с Англией; он подготовил против Англии весьма сложные и более грозные операции, чем те, о которых мечтал три года тому назад, и был уверен, что нанесет удар своему врагу если не в самое сердце, то, по меньшей мере, в его самые жизненные части. Всецело отдаваясь этой мечте, он долгое время закрывал глаза на симптомы возмущений, которые со всех сторон давали о себе знать. Теперь не было более места заблуждению; ему пришлось признать, что его дело на континенте опять разрушено и что важные побочные обстоятельства опять грозили вырвать из его рук Англию; что ему придется отказаться от намеченной добычи и, может быть, необходимо будет снова начать те кампании в Италии и Германии, ту нежелаемую им борьбу, в которой он уже достаточно стяжал славы; опять приняться за ряд ослепительных, но бесплодных завоеваний, которые кончались ничем, и где сама победа служила для него постоянным источником новых войн.

Тем не менее, в начале июля положение, по-видимому, не было еще скомпрометировано бесповоротно; казалось, что все можно было еще исправить. В Испании наскоро сформированные повстанческие армии не обладали стойкостью регулярных войск. Ряд операций, систематически и дружно проведенных против них с достаточными силами, мог почти немедленно покончить с ними; мог, благодаря перемене военного счастья, отбить у мятежников охоту к ненависти и сломить энтузиазм, в котором была вся их сила. Разве возмущение, — думал Наполеон,— не было одной из тех внезапных и мимолетных вспышек пламени, которые разгораются и потухают с одинаковой легкостью? Для успокоения умов и всеобщего умиротворения он очень рассчитывал на приезд Жозефа в Мадрид, где Жозеф явится перед испанцами, как видимое доказательство и гарантия их независимости. Поэтому-то, рассчитав, что новый король может водвориться в Мадриде до середины июля, он и писал Декре, что только 15 июля он решит, откажется ли он окончательно от морских экспедиций

или придется снова начать приготовления[1]; к этому времени положение полуострова выяснится и, быть может, Испания не будет более служить препятствием; может быть, удастся снова овладеть ею в тот самый момент, когда она ускользнула от Франции и выступила против нее.

Быстрое и прочное умиротворение Испании может заставить Австрию задуматься и остановить ее на пути к рискованному предприятию. Но нельзя ли было, думал Наполеон, теперь же обратить ее на путь благоразумия и хладнокровия, навести на спасительные для нее размышления и указать на пропасть, в которую она сама стремилась? Легко было бы доказать ей, что с 1805 г. средства ее против Франции, вопреки их кажущимся размерам, не только не увеличились, а скорее уменьшились, и что, в грозной партии, в которой она готовилась поставить на карту свое существование, хотя ее ставка в игре и сделалась крупнее, ее шансы на успех ничуть не увеличились. У нее было больше войск, чем прежде, больше военных припасов; она больше рассчитывала на преданность и рвение своих народов, но Пресбургский мир оставил без прикрытия ее империю и со всех сторон обнажил ее границы. Сверх того, главное различие было вот в чем: в 1805 г. она сражалась, опираясь на Россию, и имела в России неисчерпаемый источник средств; теперь же Россия будет действовать заодно с Францией и нападет на нее с тыла. Правда, венский двор, плохо осведомленный о статьях тильзитского соглашения, не имея данных для того, чтобы понять истинный характер отношений Франции к Александру, рассчитывал на нейтралитет русского государя и надеялся даже встретить с его стороны доброжелательное отношение, которое, как думали в Вене, будет возрастать по мере хода военных событий. Но нельзя ли рассеять эти заблуждения, нельзя ли побудить Александра определить свое будущее поведение, огласить свои симпатии и обязательства и тем самым произвести на Австрию давление, которое парализовало бы ее действия? Не может ли Россия прежде, чем стать в наших руках грозным орудием для нападения на Англию, послужить драгоценным оборонительным средством против покушений нарушить наш покой? Не может

[1] Corresp., 14138, 14161.

ли она заместить на страже в Европе Францию? Эту-то роль и хотел Наполеон назначить ей до момента свидания и теперь же хотел подготовить ее к ней.

Он написал Коленкуру 28 июня, затем 9 июля, приказывая ему узнать мнение царя о поведении Австрии и, если возможно, дать надлежащее направление его взглядам и чувствам. Император французов, должен сказать наш посол, был глубоко удивлен, узнав о вооружениях, о которых говорит вся Европа. Не будучи в ссоре с Австрией, он не может понять их цели. Сверх того, принимаемые ею меры угрожают столько же России, сколько и Франции. Император имеет тому доказательства, ибо он знает, что венская политика втайне действует на сербских инсургентов с целью нанести ущерб русскому влиянию в Сербии; что, в виду таких обстоятельств, он готов условиться с Александром, чтобы сообща предъявить правительству императора Франца требования дать объяснения. Что же касается испанских событий, то Наполеон усвоил себе особую манеру представлять их царю, доходившую до того, что он ставил их себе в заслугу перед Россией. По его словам, падение Бурбонов с последовавшими вслед за тем беспорядками, открывая англичанам на Юге поле действий, отвлекало их внимание и силы к Иберийскому полуострову и лишало их возможности помочь Швеции; оно вынуждало их покинуть Север и, таким образом, облегчало операции русских войск на Севере. Хотя покорение Испании, приказывает сказать он, и требует от Франции некоторых усилий, но император будет утешаться мыслью, что этим путем он избавляет от лишних трудов своего союзника и что он жертвует собой ради общего дела. Наконец, чтобы окончательно расположить к себе Россию, и при том, умея всегда искусно соразмерять свои уступки согласно обстоятельствам, он уполномочивает Коленкура повторить обещание о вступлении наших войск в Сканию,— жертва для него не трудная, ибо это движение, как мы видели, согласовалось с общим направлением его планов[1].

Император Александр предупредил сообщения, которые должен был сделать ему Коленкур. Он сам заговорил об Австрии и с первого же раза в таких выражениях, которые не оставляли желать ничего большего. Всегда верный поведению, которое он себе наметил, он до свидания не хотел причинять Наполеону ни малейшего неудовольствия. Напротив, он воспользовался нашими затруднениями, чтобы подчеркнуть свои чувства к нам и в силу этого получить право на взаимность; он как бы кокетничал утонченной предупредительностью к менее счастливому другу, в надежде увеличить столь великодушной деликатностью долг признательности, которым он хотел связать императора.

Лишь только он узнал о происходящих в Вене приготовлениях, он сказал герцогу Виченцы: «Ссора Австрии с нами может привести ее только к гибели. Для меня, искреннего друга и союзника императора Наполеона, Австрия не страшна»[1]. Несколько дней спустя, узнав о прибытии в Триест английского корабля, который привез от инсургентов Сарагоссы предложение испанской короны эрцгерцогу Карлу, он счел нужным предупредить Коленкура об этом событии, сопровождая свое сообщение увеличивавшими его ценность словами: «Если бы я,— сказал он,— состоял в тесной дружбе и союзе с императором Наполеоном, не сообщил ему чего-либо, что может иметь для него значение, а тем более о замыслах против него других государей, я поставил бы себе это в упрек. Когда до меня дойдут другие сведения, вы убедитесь в моем доверии к вам: не пройдет и пяти минут, как вы будете знать их. Я не понимаю, как можно быть союзником или другом наполовину»[2].

Соответствовало ли его поведение его уверениям? Когда Коленкур заговорил с ним о предостережении по адресу австрийцев, он выразил желание не ускорять событий. Он сказал, что не верит в нападение Австрии; что такой поступок с ее стороны был бы безумным, а безумия нельзя предполагать. Он неоднократно высказывал эту мысль, и в этой напускной уверенности, не трудно было видеть принятую им систему — насколько возможно дольше уклоняться от таких поступков, на которые ему трудно было бы решиться. Тем не менее, окончательный его ответ был тот, что император, во всяком случае, может рассчитывать на него. Можно

---

[1] Донесения Коленкура от 24 июля и 8 августа 1808 г. Эти донесения, отвечавшие по пунктам на инструкции монарха, знакомят с ними во всех их частях и часто приводят их точные выражения.

[1] Донесение Коленкура от 12 июня 1808 г.
[2] Письмо Коленкура от 20 июля.

было думать, что будучи с ним более настойчивым, более выставляя перед его глазами как волшебную приманку призрак надежды на весьма близкое решение восточного вопроса, можно было заставить его обратиться к венскому кабинету с достаточно ясными словами[1]. Насчет Испании он менее стеснялся, так как требовалась не материальная помощь, а только нравственная поддержка; он поспешил признать короля Жозефа, признавая тем самым пред лицом Европы отречение Бурбонов.

Об этом решительном поступке России Наполеон не знал еще 15 июля, т. е., в тот день, который он назначил как срок для принятия решения относительно предприятия за морем. Ему были известны слова Александра только по поводу первых сообщений об испанских событиях, а на основании их он мог только предполагать, что Александр признает Жозефа, но не мог иметь уверенности. Что касается Австрии, то она продолжала вооружаться, но отрицала свои приготовления; на целый ряд заявлений, предъявленных французским кабинетом, получались только уклончивые ответы. Положение в Испании улучшалось, но вполне еще не выяснилось. Первые систематические операции французов не дали ожидаемого Наполеоном результата; решительного успеха, вопреки его предположениям, до сих пор не было. Король Жозеф не мог еще прибыть в Мадрид. Проезжая по дороге, вдоль которой расположились мелкие отряды врагов, вынужденный принимать серьезные предосторожности, окруженный войсками, которые освещали местность и охраняли его путь, он подвигался только шаг за шагом; 15-го он не доехал еще до Бургоса. Глухая и нестройная борьба шла во всех частях полуострова. В некоторых местах брали верх наши войска; в других ошибочные движения скомпрометировали их положение. В Аррагонии и Каталонии деревни подчинялись, города сопротивлялись; Монсей на востоке, Дюпон на юге вынуждены были только защищаться. Дюпон имел дело с привыкшей к войне милицией Кастаноза; на севере было неизбежно столкновение между Бессьером и астурийскими и галицийскими войсками под командой Ла-Гуэста, который шел, чтобы отрезать от Франции наши вторгшиеся в Испанию войска

---

[1] Донесение Коленкура от 24 июля 1808 г.

и лишить их операционной базы. Наполеон придавал громадное значение исходу этого столкновения, верил в победу, но не считал ее вполне обеспеченной, и исчислял шансы своих войск, как семьдесят пять на сто[1].

Ввиду неопределенного положения он не отдает приказаний о возобновлении приготовлений в Бресте, Лориенте, Тулоне, но и не отказывается окончательно от всего, о чем мечтал и что обдумывал в продолжение шести месяцев. Он все еще в Байонне. Тут, видя, как он все более втягивается в войну с Испанией, как силится неустанным, сверхъестественным трудом все исправить, все предусмотреть, упорядочить все мелочи войны, кажется, что его только и занимает это роковое дело, имеющее, однако, в его планах только второстепенное значение. Однако, на основании некоторых указаний следует признать, что великий проект все еще живет в нем, что он занимает его и владеет его умом. По крайней мере, он продолжает мечтать об эспедиции на Средиземном море, продолжает снабжать провиантом Корфу, «с тем расчетом,— говорил он,— чтобы знать заранее, на что можно рассчитывать, если бы потребовалось снабдить там провиантом эскадру на два или три месяца»[2]. Иногда его мысль переносится даже по ту сторону Средиземного моря, проникает в глубь Востока, останавливается в долине Евфрата, на пути в *Персию и Индию*.

Он только что получил записки о топографии Персии и о способах пройти через нее, составление которых было поручено Гардану. Он приказал Шампаньи «уложить их тщательно в отдельный ящик, чтобы в случае надобности можно было легко найти их»[3]. Он предполагает заняться этим делом в Париже, куда рассчитывает вернуться в августе; пока же он приказывает, чтобы ему подготовили все необходимое для изучения вопроса, выписали бы из книг необходимые сведения и собрали географические и исторические дан-

---

[1] Corresp., 14184, 14191, 14192, 14195.
[2] Ibid., 14180.
[3] Corresp., 14124. В то же время император приказывал сообщить Гардану свое удивление, что Персия еще не подписала мира с русскими. «По-видимому, она тем более должна желать его, добавляется в депеше, что ей приходится поддерживать войну с афганцами и, быть может, заняться более отдаленными экспедициями». 27 июля 1808 г. Archives des affaires étrangères, Perse, vol. 10.

ные; а так как в поисках за образцами нужно было обратиться к завоевателям древнего мира, то он приказывает сообщить ему, каким путем шли римские цезари, когда они гонялись с своими легионами за парфянами и хотели завоевать Азию. Диктуя инструкции для своего библиотекаря Барбье по поводу выбора книг, которые ему желательно иметь при себе во время путешествий, он приказывает прибавить следующую заметку, которая выдает его тайные заботы: «Между прочим Император желал бы, чтобы Барбье, с одним из лучших наших географов взял на себя следующий труд: составить записки о походах на Евфрат и против парфян, начиная с похода Красса до седьмого столетия, включая сюда походы Антония, Трояна, Юлия и т. д.; начертить на картах, надлежащего размера, путь, по которому шла каждая армия, с древними и новыми названиями стран и главных городов; дать географические сведения о территории и исторические описания каждой экспедиции, заимствуя их из оригиналов»[1].

Приказ этот от 17 июля. В этот же день император узнал о победе при Медина де Рио-Секо, которой закончилось ожидавшееся столкновение между Бессьером и лучшими войсками восставшей Испании. Это было блестящее военное дело, в котором стремительным натиском трех дивизий были рассеяны тридцать пять тысяч врагов. В первую минуту Наполеон приписал этому событию преувеличенное значение. Никогда еще сражение не было выиграно при более важных обстоятельствах,— пишет он, дрожа от радости; — оно решает испанские дела»[2]. Высказываясь столь решительно, он слишком преувеличивал — день Медины разрешал вопрос только наполовину. Для обеспечения полного успеха нужно было, чтобы подобный же день повторился и на юге в Андалузии, нужно было, чтобы Дюпон разбил Кастаноза так же, как Бессьер Ла-Гуэста. Впрочем, Наполеон почти тотчас же понял это и перенес свои главные заботы на андалузскую армию. Он послал ей подкрепления, выразил желание, чтобы она двигалась быстрее, и с замиранием сердца ждал бюллетеней о своих операциях, надеясь на вторую победу, которая бы уничтожила последние регулярные войска Испании и к осени вернула бы ему свободу действий.

[1] Corresp., 14207. Gf. Ihibaudeau, III, 565 a, 567.
[2] Corresp., 14210. Gf. les n-os 14212, 14213, 14215, 14217.

Вместо того он узнал о страшном бедствии, о капитуляции при Байлене. Дюпон, вынужденный отступить перед препятствиями, поставленными ему природой, климатом, врагом, дал себя окружить, не сумел ни маневрировать, ни успешно сражаться, отдался на волю победителя, сдав людей, ружья, пушки, знамена, покрыв наше оружие первым позором. Последствия этой катастрофы немедленно дали себя почувствовать. Жозеф, уже приехавший в Мадрид, но считая невозможным в нем удержаться, отступил до Виттории; французы, еще недавно владевшие всей Испанией, отхлынули к подножию Пиринеев и укрылись между горами и Эбро, окруженные со всех сторон будущей волной восстания. Отступая, наши войска покинули в Португалии Жюно, и, оставив его без поддержки, подвергали участи Дюпона; Франция могла лишиться обеих эскадр, как в Кадиксе, так и в Лиссабоне; а на них возлагалось столько надежд. Англия, вместо того, чтобы ждать нападения, которым угрожал ей Наполеон в самых отдаленных ее владениях, высадила одну армию в Португалии, другую в Галиции, направилась к нашим южным границам и перешла в наступление.

Много говорилось о негодовании императора при известии о Байлене и об ужасной вспышке его гнева. «Тут у меня пятно»,— говорил он, кладя руку на свой сюртук[1]; его честь солдата, его гордость француза жестоко страдали при мысли, что люди, победившие при Иене и Фридланде, оказались малодушными. Его достоинство, как политика и главы империи, страдало не менее. Так как только одному ему были известны многочисленные, тайные и сложные пружины, с помощью которых он действовал на столько наций и заставлял их служить своим целям, то только он один и мог понять, до какой степени вести о неудаче в Испании расстроят и перепортят все эти пружины. Он один мог понять размеры своего несчастья. За непосредственными следствиями поражения, видимыми для всех, он усматривал другие, недоступные массе, и учитывал их грозное значение — вот где лежала одна из причин той ярости и скорби, того горя «поистине сильного»[2], которыми дышали все его письма. В потере трех ди-

[1] Нам известны эти слова от внука одного из тех людей, которые вполне заслужили и пользовались доверием императора.
[2] Corresp., 14243. Voy aussi les n-os 14242, 14244.

визионов Дюпона, в последовавшем затем отступлении к Эбро он видел не только удар, нанесенный незапятнанной славе наших знамен, удар его собственной славе непобедимого, тому престижу, который составлял часть его силы, но, сверх того, он видел крушение всех своих планов, как наступательных, так и оборонительных. Результатом Байлена была, прежде всего отсрочка на неопределенное время тех обширных операций на Востоке и на морях, за которыми он видел мир с Англией и конец великой распри; благодаря тому же Байлену, становилось возможным восстание против него всего континента; благодаря ему, созданная им империя повсюду подвергалась угрозе нападения.

Накануне капитуляции император был хозяином Европы. Властный покровитель второстепенных государств, он, благодаря своей великой армии, как в тисках сжимал Германию и Пруссию, рукой России держал в бездействии Австрию и приковывал Россию к своей судьбе, обещая ей сделать ее участницею при выполнении своих планов относительно Турции и при разделе оттоманских владений. На другой день после Байлена все изменилось. Для вторичного завоевания полуострова нужно было вызвать из Германии часть наших войск, освободить Пруссию от наших объятий, т. е., дать ей возможность сделать попытку приподняться и напасть на нас с тылу; Австрия, вполне вооруженная, по-видимому, ждала только случая, чтобы выступить на сцену; такой случай она найдет в перемене фронта наших войск, а, чтобы сдержать ее, Россия могла и не оказать нам помощи. Уже теперь наши неудачи давали себя чувствовать на Севере и угрожали испортить отношения с Александром. Испанские войска Ла-Романа,— составлявшие авангард Бернадота и уже занимавшие датские острова, ожидая, когда можно будет высадиться в Швеции,— при известии об успешных действиях их соотечественников, восстали против нас, перешли на сторону врага, просили английский флот отвезти их на родину и хотели принять участие в деле ее освобождения. Их измена лишила Бернадота необходимых сил для выполнения его задачи; движение в Сканию, которое до сих пор задерживалось умышленно, становилось невыполнимым; а, известно, какую цену придавал Александр этой диверсии. Сверх того, Наполеон, вынужденный отложить свой поход в Турцию, не мог уже предлагать России той главной и необычайной выгоды, которой она ждала от нашего союза. Великий договор, подготовляемый уже полгода между обоими императорами, не мог состояться за отсутствием предмета договора. Наполеон чувствовал, как одновременно ускользали у него средства сдержать его врагов и упрочить за собой корыстную верность своего союзника.

Вынужденный изменить все свои планы, Наполеон быстро применяется к новому положению и принимает решение без колебаний, как он это делал на поле битвы. Прежде всего нужно действовать как можно быстрее; нужно перебросить в Испанию достаточное количество войск, чтобы во что бы то ни стало поправить наши дела и отомстить за наши знамена. Наполеон намеревается отозвать с Севера три корпуса великой армии и перенести их с Одера на Эбро. С остальными он, пожалуй, мог бы удержать несколько прусских провинций; но, вынужденный к некоторой жертве на Севере, он не думает останавливаться на полдороге, имея в виду получить в других местах обширные выгоды. Он решает совсем очистить от войск Пруссию, покончить с ней распрю, вернуть ей существование, и эта мера, вызванная отчасти требованиями войны, ляжет у него в основу новой политической комбинации.

Он даст знать о своем решении в Кенигсберг только после того, как сообщит о нем в Петербурге; он представит его императору Александру, как знак личного к нему доверия, придаст ему характер заслуги перед царем и воспользуется этим, чтобы удержать его в своих руках. Памятуя, что со времени Тильзита в его сношениях с Петербургом на первом плане стоят два вопроса, восточный и прусский, и, уже не зная, как справиться с первым, он возвращается ко второму, который он оставлял под сукном в течение полугода; он снова берется за него, но уже для того, чтобы решить его в направлении, благоприятном России, и освободить ее от неприятного присутствия наших войск в Силезии и на Одере. Благодаря этой, так часто требуемой, столь горячо желаемой уступке, может быть, Александр согласится своим твердым поведением внушить страх не только Пруссии и Германии, но и оказать более сильное давление на Австрию, и сдержит ее. Может быть, таким путем можно будет добиться от Австрии гарантии, которые обеспечат спокойствие центральной Европы на то время, пока Франция займется покорением

Испании. Затем, когда наступит время определенно поставить турецкий вопрос, т. е. время свидания, Наполеон примет решение, смотря по обстоятельствам, и постарается примирить требования России с французскими интересами и с новыми требованиями современного положения.

Чтобы удался этот план, следовало приводить его в исполнение искусно, тактично и осторожно. С таким государем, как Александр, доверие и внимание могут сделать многое; наоборот, он может оскорбиться, если только ему покажется, что ему ставят условия или торгуются с ним. Итак, важно было не давать ему заметить слишком тесного соотношения между нашими уступками и просьбами, просить о содействии только после уступок и придать услугам, оказываемым друг другу обоими императорами, такой вид и такое значение, как будто они исходили лично от них самих.

С этой целью Наполеон весьма искусно распределил свои сообщения. О Байлене он узнал 2 августа в Бордо, когда, возвращаясь из Байонны в Париж, осматривал на своем пути наши юго-западные департаменты; 5-го, из Рошфора, он отправляет к Коленкуру первого курьера, который должен спешить, дабы определить в Петербурге вести из Испании.

По получении этого сообщения Коленкур должен ограничиться извещением царя, что император решил примириться с Пруссией и вернуть королю в пользование его владения; что, возымев эту мысль, он счел долгом сообщить ее прежде всего своему союзнику, дабы доставить ему удовольствие объявить в Кенигсберге счастливую весть. В случае надобности, можно будет сказать Александру, что Франция, не довольствуясь эвакуацией Пруссии, выведет одновременно свои войска и из Варшавы; что она окончательно отступит на левый берег Эльбы и там наметит границу своей власти. Однако, посланник должен дать второе обещание только в том случае, если признает это полезным; он, как и при первом обещании, не должен делать ни малейшего намека на Испанию. С другой стороны, так как Коленкуру было уже поручено просить сделать предостережение Австрии и так как он усердно работал в этом направлении, Наполеон, не предписывая ему более усиленных настояний, представил ему идти настойчиво по этому пути.

6 августа, двадцать четыре часа спустя после первого курьера, уезжает из Рошфора второй, имея местом своего назначения наше посольство в России. Предполагая, что о постигшем его в Испании несчастье уже известно, Наполеон ставит на первом месте то, что должно особенно интересовать русских, т. е., опасность для их флота, стоявшего в Лиссабоне. Он дает понять, как близко к сердцу принимает он судьбу кораблей Сенявина, и посылает по поводу их успокоительные сведения, к несчастью, слишком скоро опровергнутые событиями. Посланник должен сказать, что, при известиях с Юга, первой мыслью его государя была мысль о русском флоте; что генерал Жюно, прикрывающий его главными силами своей армии, находится в трудном положении вследствие измены испанских войск, которые должны были оказывать ему содействие; но что в самом непродолжительном времени ему будет оказана помощь, да к тому же и память о горе Табор ручается за то, что Жюно знает, что предпринять в минуту опасности. Об общем положении посланник должен говорить спокойно; он признает, что положение серьезно; но прибавит, что император остается хозяином положения и удерживается на всех местах. Пока еще он должен ограничиться осторожными намеками, что России, быть может, представится случай оказать нам услугу и исполнить свои обязанности союзницы. Он скажет, что император настолько хорошо знает, чего он может ожидать от России, что даже совершенно не упоминает об этом в своем письме[1].

Только 20 августа, вернувшись в Париж и, со своей стороны, действуя энергично на венский двор, Наполеон в депеше от Шампаньи к Коленкуру официально просит у России параллельных шагов. От Австрии он ждет не слов и не бесплодных уверений, а дела, доказательства ее прямодушия, публичного заявления, которое будет тем убедительнее, чем тягостнее оно для ее гордости и ее предрассудков. Пусть император Франц признает Жозефа испанским королем, а Мюрата королем неаполитанским; пусть он даст согласие на новое распределение корон, состоявшееся в силу приказа Наполеона; пусть он тотчас же, не заставляя себя просить, по своей доброй воле, решится на это. Этим пу-

---

[1] Письмо и донесения Коленкура от 24, 26 и 28 августа 1808 г., в которых содержится отчет о его поступках, согласно инструкциям императора.

тем он откажется от всякого единомыслия с инсургентами и Англией; покажет, что не боится открыто присоединиться к нашему делу и скомпрометировать себя общением с нами; именно к такому изъявлению спасительной покорности должны привести усилия России совместно с нашими.

Чтобы побудить Александра действовать, Коленкур должен прибегнуть к двум доводам,— и тот и другой такого свойства, что могут произвести впечатление на русского государя. Сперва он даст понять, что, если император не будет немедленно успокоен относительно намерений Австрии, он, не долго думая, предупредит ее, нападет на нее со всеми своими силами и раздавит ее до возобновления борьбы с Испанией. Но такой новый переворот в Европе не в интересах России, с какой бы точки зрения она ни смотрела на это дело. Затем он укажет, что, невзирая на величайшее желание императора вывести войска из Пруссии, разве может он исполнить свои добрые намерения, если армии эрцгерцогов будут угрожать ему в Богемии, Моравии и на Дунае. В подобном случае стратегии должно быть отдано предпочтение перед политикой,— наши войска должны будут оставаться в Силезии ради сохранения выгодной позиции на фланге их будущего противника. Следовательно, от Александра зависит, принудив Австрию занять мирное положение, устранить всякое препятствие в деле освобождения Германии[1].

Благодаря необычайной быстроте, с какой ехал первый гонец Наполеона с известием о проекте эвакуировать Пруссию, он прибыл к месту своего назначения в семнадцать дней. Царь принял его как желанного, неожиданного гостя. Уже давно Александр ни слова не говорил о Пруссии; но сколько раз в его разговорах с Коленкуром имя этого несчастного государства готово было сорваться с его губ! Никогда еще в такой степени, как теперь, подобно угрызениям совести, не тревожило его присутствие наших войск в Берлине, а присутствие их в Варшаве явилось в его глазах опасностью для него самого. Узнав, что Гогенцоллерский дом вскоре будет восстановлен в своих правах, он заключил из этого, что Польша будет покинута и предо-

[1] Депеша Шампаньи от 20 августа 1808 г. была опубликована Bittard des Portes b Revue d'Histoir diplomatique, 1 janvier, 1890.

ставлена своей участи, хотя со стороны Коленкура и не было формального заявления о возможности такого исхода дела. Поэтому это доставило ему облегчение вдвойне. «Это для меня неоценимо!» — воскликнул он и намекнул, что если бы участь прусской королевской четы не была заранее решена, ему неминуемо пришлось бы выслушать жалобы в Кенигсберге во время своего проезда на свидание. «По крайней с мере,— сказал он,— когда я увижу этих людей, они не будут в отчаянии»[1]. Он, по-видимому, был чрезвычайно тронут тем, что император захотел избавить его от такого испытания.

В течение первых дней царь приписывал это неожиданное великодушие императора чувству признательности, вызванному у Наполеона поспешностью, с которой он признал Жозефа; он радовался, что уже простая демонстрация дала такие результаты. Однако, тревожные слухи о нашем положении в Испании, распространяемые злонамеренными людьми и, переходя из одной гостиной в другую, начали мало-помалу принимать характер действительно совершившихся фактов. Вскоре стало известно, что Франция потеряла армию, а король Жозеф — столицу. Слишком умный, чтобы не уловить очевидной связи между этими событиями и уступками императора, Александр скрыл, что заметил эту связь; его, уже менее искренняя, благодарность была все такой же экспансивной. Вместе с тем его удивительное умение держать себя заставило молчать наших врагов и не позволяло им слишком шумно выражать свою радость. Он делал вид, что огорчен нашими неудачами, любезно выслушивал объяснения Коленкура и старался умалять значение события. Если он и возвращался иногда к этому тягостному вопросу, то только потому, что слишком большая сдержанность могла бы показаться неестественной. Он несколько раз говорил об Испании, но делал это тактично, всегда кстати, избегая тех тягостных утешений, которые только усиливают горе, вместо того, чтобы его смягчить, и нежной рукой перевязывал раны нашего самолюбия. К его соболезнованиям всегда примешивались слова надежды и утешения. Он приписывал поражение Дюпона слишком поспешному формированию его армии и недоста-

[1] Письмо Коленкура императору, 28 августа 1808 г.

точному воспитанию молодых войск; говорил, что, возвратясь во Францию после капитуляции, они быстро вернут себе веру в свои силы и найдут случай загладить свой позор. Однажды, присутствуя с Коленкуром на параде, он сделал смотр некоторым батальонам, составленным из рекрутов, маршировка и выправка которых оставляла многого желать. Наклонясь к посланнику, он сказал: «Вот и эти солдаты похожи на армию Дюпона; но через несколько месяцев они будут лучше и будут сражаться рядом с войсками Дюпона там, где потребуют этого наши общие интересы»[1]. Как и всегда, он говорил на свою любимую тему «что в тяжелую минуту Император всегда найдет его подле себя»[2].

Подобные уверения нередко доставляли Коленкуру удобный случай указать царю на то, что наступило благоприятное время дать Франции непреложное доказательство его привязанности и симпатии к ней. Заговорить с Австрией суровым тоном,— говорил он,— разве не было самым лучшим средством послужить нашему делу в Испании? Посланник несколько раз высказывал эту мысль, но первое время получал только такие ответы, из которых видно было, что царь затрудняется сказать что-нибудь определенное. Да иначе и быть не могло. Наводя разговор на эту тему, он затрагивал самые деликатные и самые щекотливые стороны русской политики, то сложившееся в уме Александра представление о международном положении России, откуда вытекали его тайные опасения и упования.

Конечно, Александр боялся новой войны между Францией и Габбургским домом; она привела бы его в ужас, ибо доставила бы императору предлог отсрочить всякое дело на Востоке; она могла повлечь за собой гибель Австрии и, уничтожая промежуточное между Францией и Россией государство, поставить Россию в грозное соприкосновение «с чрезмерным господством»[3]. Его искренним желанием было, чтобы венский двор был предупрежден и удержан от рискованных предприятий. К несчастью, его вера во франко-русский союз не была настолько сильна, чтобы позволить ему не заботиться о добрых отношениях с Австрией. Он сознавал, что, если в Эрфурте не установится соглашение с нами, ему

[1] Коленкур императору, 4 сентября 1808 г.
[2] Донесение от 26 августа.
[3] De Maistre, 318.

неизбежно придется обратиться к ней; что ему крайне выгодно сохранить возможность снова сойтись со своей вчерашней союзницей и сделать из нее будущего своего помощника. Австрия, стеснявшая его на Востоке, оставалась не только полезной, но даже могла сделаться необходимой в Европе. Со времени Тильзита у него были с ней холодные отношения, но не было разрыва; она несколько раз шла навстречу его желаниям и еще недавно предложила России под видом посредничества в Константинополе свое содействие в деле приобретения княжеств[1]. Александр, избегая всего, что могло бы оскорбить императора Наполеона, любезно отклонил ее предложения. Однако, это не мешало агентам царя при иностранных дворах, в силу традиций и личных взглядов и склонностей, выслушивать жалобы своих австрийских коллег, помогать им и действовать заодно с ними; напротив, такое поведение, по-видимому, противоречащее намерениям их государя, до некоторой степени служило его интересам, облегчая ему сближение с Францом I. Благодаря таким косвенным сношениям с Австрией, Россия поддерживала связь с коалицией. Могла ли она пойти на непоправимые поступки, порвать эту последнюю связь, эту почти невидимую нить, благодаря которой она могла найти опять свой естественный путь и снова вступить на него в том случае, если бы ей пришлось признать бесполезность и опасность союза с Францией? Сверх того, ссылаясь на то, что Австрия угрожает ему, не искал ли Наполеон только предлога, чтобы напасть на нее и уничтожить? Не было ли в его просьбах другой цели, кроме желания заручиться наверное содействием России? Уступая ему, не позволит ли Россия вовлечь себя в преступное предприятие, которое будет началом ее собственного разгрома? «Разгром Австрии,— писал Толстой,— должен быть рассматриваем, как предвестник нашего разгрома и как средство для него»[2]. Взволнованный его мрачными словами, преследуемый сомнениями, колеблясь между противоречивыми чувствами, Александр остановился на полумерах. Он попробовал оказать услугу Франции, не компрометируя своих от-

[1] Martens, Traites de la Russie avec l'Autriche, III, 20—22.
[2] Толстой императору Александру, 26 июля — 17 августа 1808 г. Archives de Saint-Pétersbourg.

ношений к Австрии и сделал далеко не то, о чем мы его просили. Наполеон подсказывал ему по адресу Австрии слова порицания и угрозы; он и не отказался передать их от своего имени, но постарался сделать это, смягчив тон и изложив их в форме дружеских и скромных советов.

Почему бы, говорил ему Коленкур, не объявить, что союз обоих дворов нерасторжим, что он сохраняет свою силу при всех условиях, что оба двора будут действовать заодно во всех случаях, что порвать с одним значило бы начать войну с другим? Александр находил эту мысль хорошей и обещал руководствоваться ею; он хотел написать в этом смысле князю Куракину, своему посланнику в Вене. Несколько дней спустя он сказал: «Я обращаюсь к Австрии с твердой речью; я даю ей понять, что у меня есть обязательства к вам, которыми я чрезвычайно дорожу, и что, если они сами не образумятся, их принудят к этому силой»[1].

В действительности, вот каков истинный характер его твердых заявлений: это не что иное, как текст писем, адресованных Куракину. Предостережение высказывается в них робко, в неясной, замаскированной форме. «Никто,— пишет Александр 10 июля,— не может судить об интересах Австрии лучше венского кабинета. Но императору Францу известна моя искренность, и, по-видимому, он ценит ее. Не скрою, что боюсь, чтобы ее крупные военные приготовления вместо сохранения добрых отношений, не испортили их. Вместо доверия явится сдержанность, подозрения вызовут объяснения, а объяснения поведут к войне, избегнуть которой чрезвычайно важно. Приготовления к войне сделаны, это — факт; они возбудили внимание. Остается только желать, чтобы венский кабинет, действуя сообразно принципам своей собственной мудрости, устранил и смягчил все то, благодаря чему эта мера может повести к вражде, и чтобы он позаботился сохранить мир, плодами которого пользуется. Сделайте ему представление, что я пламенно этого желаю. Разве подписанный мною тильзитский мир не может иметь своих обязательств?»[2]. И царь приказывает Куракину «осторожно» дать почувствовать это замечание.

[1] Коленкур Шампаньи, 28 августа 1808 г.
[2] Publié par Hassel d'après les archives de Vienne, p. 536.

Коленкур настаивал на том, чтобы князь получил приказание объявить в Вене, что он возьмет свои верительные грамоты при первом же явном признаке вражды против Франции; вместо этого австрийцам дана была только возможность предвидеть замещение посланника простым уполномоченным. 5 сентября Александр нашел нужным снова обратиться к ним со вторым советом. Он оправдывал их опасения, сочувствовал их тяжелому положению, словом, говорил с ними обычным языком коалиции, насквозь пропитанным недоверием к императору Наполеону; но при этом старался указать на несвоевременность и опасность войны в настоящее время, ничего не имея против возможности ее в будущем. «Если испанские дела пойдут скверно,— писал он Куракину,— разве нельзя предположить, что Наполеон будет рад случаю отложить их на некоторое время, напасть со всеми своими силами на Австрию и уничтожить одну из двух империй, которые только и омрачают его горизонт в Европе? Мне кажется, самым мудрым решением для Австрии было бы остаться спокойной зрительницею борьбы, которую Наполеон должен выдержать в Испании. Потом всегда будет время принять то решение, какое подскажут обстоятельства. Следуя такому поведению, Австрия избавит меня от тяжелой необходимости выступить против нее, ибо я обязан сделать это только в том случае, если она нападет первая»[1]. В этот раз Александр яснее говорил о своих обязательствах, но придавал им ограничительное значение и давал понять, как тяжело будет ему сдержать их. Он не отказал нам в своем дипломатическом содействии и в деле признания новых королей, но окружал его такими же недомолвками.

Как ни была туманна речь России, все-таки на первое время она произвела впечатление в Вене. В столице Австрии, где с трудом осваивались с мыслью о серьезном соглашении между Александром и Наполеоном, были крайне удивлены и приведены в смущение, узнав, что не только нельзя было рассчитывать на Александра, но что даже рисковали встретиться с ним, как с врагом[2]. Но, очевидно, там скоро оправились от неожиданного удара. Заявление России не заставило Ав-

[1] Publié par Hassel d'aprés les archives de Vienne, p. 536—537.
[2] Archives des affaires étrangères correspondance de Vienne, août—septembre 1808.

стрию заметно изменить свое поведение и не склонило ее к немедленному признанию новых королей; но оно продлило ее колебания, вследствие чего дурной ход испанских событий не вызвал взрыва, которого опасались. Вмешательство России оказалось достаточным для сохранения мира и способствовало отсрочке континентальной войны. Зато надежды Наполеона — допуская, что он мог подумать, что его союзник, страстно желавший предупредить новые осложнения в Европе, допустит отвлечь себя от Турции,— оказались кратковременными. Напротив, вожделения Александра, вместо того, чтобы ослабеть, как того желал Наполеон, приобрели новую силу. Причиной тому было то, что параллельно с испанской войной продолжался и проходил свои фазы и восточный кризис. В то самое время, когда за Пиринеями рушилось французское господство, один из тех переворотов, по-видимому, столь частых на Востоке, где все было так неустойчиво и перепутано, потребовал усиленного внимания обоих императоров и, казалось, оправдывал и даже требовал их вмешательства.

Султан Мустафа IV, слабовольный и трусливый, не сумел отделаться от унизительной опеки мятежных солдат, которые возвели его на трон. В Константинополе хозяйничало даже не войско, а самая недисциплинированная и буйная часть его, ямаки или гарнизон, сброд искателей приключений, скорее разбойники, чем солдаты. Засев в крепостях Босфора, они сделались полными господами в Константинополе, назначали и смещали министров и, как игрушкой, вертели Верховным Советом. Такая анархия вызвала реакцию против столицы в провинциях и их вооруженное вмешательство, с целью восстановления в Константинополе власти, способной управлять империей и провести в жизнь реформы.

Рушукский паша, Мустафа Байрактар, имел в своем распоряжении четыре тысячи на все готовых солдат. Став во главе их, он задумал освободить из заточения в Серале Селима III и восстановить его на трон. Он покидает свою крепость на Дунае и направляется в Константинополь, где, по его словам, он хочет водрузить на прежнее место знамя Пророка, отнесенное в лагерь год тому назад. Перед священным знаменем опускаются все преграды: города отворяют ворота, войска склоняют оружие, население — головы. Недалеко от Босфора, Байрактар приказывает горсти отчаянных албанцев отправиться вперед, захватить врасплох в гареме вождя ямаков и умертвить его, предполагая, что лишенное главы войско разбежится само собой. Наконец Байрактар у врат столицы. Не поддаваясь лести султана, он проникает в город с тысячью вооруженных людей и идет прямо на Сераль. Но прежде, чем войти силою в священное для турок место, он на момент останавливается в нерешимости, вступает в переговоры и, благодаря этому, дает возможность совершиться в стенах дворца мрачной трагедии. Когда, наконец, прибывшие силой ворвались во второй двор, первый предмет, который бросился им в глаза, был труп Селима. Убивая его, Мустафа IV думал сделать самого себя неуязвимым и рассчитывал, что его не посмеют низвергнуть с трона, не имея готового заместителя.

Тщетная надежда! Род Оттоманов не весь еще погиб. При обходе дворца солдаты Байрактара нашли спрятавшегося под циновками молодого принца Махмуда. Они падают к его ногам и, по заточении Мустафы IV, провозглашают его императором. Их вождь назначается великим визирем и надеется царствовать именем нового падишаха. Но его правление делается сплошной борьбой. Ненавистный янычарам, видящим в нем последователя Селима, подозреваемый улемами, которые в его реформах видят только зло, возмущая народ своей недоступностью и безжалостной строгостью, Байрактар чувствует, как на его глазах против него составляется заговор всеми существующими в столице партиями; и не трудно предсказать, что этот минутный, насилием возвысившийся, владыка падет под ударами нового мятежа. Эти все чаще повторяющиеся перевороты, эти периодические конвульсии, в которых истощается оттоманское правительство, грозят ему полным крушением. Как будто Турция, исполняя пророчество Румянцева, стремится предупредить смертный приговор, висевший над ее главой, и погибнуть от собственных неистовств[1].

Анархия в столице отразилась на границах. На Ду-

[1] Подробный рассказ об этой революции был изложен бароном de Schlechta в его книге *Die Revolutionen in Constantinopel in den Jahren 1807 und 1808*, 113—179, по восточным источникам. Cf. Juchereau de Saint Denys, 165—189.

нае воцарились невообразимый беспорядок и безвластие. Несмотря на склонность самого Байрактара к миру, армия, увлекаясь не сдерживаемым дисциплиной воинственным пылом, оставляла свои позиции, переходила на ту сторону Дуная и делала вид, что хочет напасть на русских, все еще неподвижно стоявших на своих квартирах. До Петербурга дошли слухи, что турки нападают на сербов, состоявших под покровительством царя и включенных в перемирие. Если бы все это подтвердилось, могла ли Россия позволить не только нападать на себя, но даже оскорблять себя безнаказанно? Когда Александр, не связывая себя формальным обязательством, дал понять, что не возобновит войны без предварительного соглашения с нами, он всегда исключал тот случай, когда поведение турок заставит опасаться нападения с их стороны. При существовании же сказанных условий, не оставалось ничего другого, как приступить к военным действиям, если бы соглашение между императорами не состоялось в самом ближайшем времени. Русский кабинет почерпнул в таком положении дел лишний довод для того, чтобы более решительно потребовать уже шесть месяцев обещанного и все еще ожидаемого решения. Румянцев лично сообщил герцогу Виченцы известия из Константинополя и с Дуная, указав на их важность, а вскоре и Александр самым недвусмысленным образом подтвердил слова своего министра. Воспользовавшись свободой выбора, предоставленного ему Наполеоном, он сам назначил точно день свидания, сообщив Коленкуру, что будет 27 сентября в Эрфурте, и что приедет туда за окончательным ответом императора. «Я аккуратно прибуду на свидание»,— сказал он французскому офицеру, которому поручено было отвезти сообщение об этом[1].

В течение тех недель, которые предшествовали свиданию, Александр не только осыпал Коленкура любезностями и милостивым вниманием, он заваливал его ими. Поселившись на Каменном Острове, он пожелал, чтобы посланник выбрал свое летнее помещение рядом с ним для того, чтобы, благодаря такому близкому соседству, чаще представлялись случаи видеться и беседовать. В августе, когда двор переехал на несколько дней в Петергоф, посланник должен был перебраться туда же. Его устроили с его свитой в одном из павильонов, разбросанных в парке русского Версаля, и за все время пребывания в Петергофе он постоянно обедал у императора. В день именин вдовствующей императрицы, после ужина, когда императорская фамилия совершала свою традиционную прогулку по иллюминованным садам, Коленкур, поставленный на одну ступень с высочайшими гостями России, ехал в экипаже с герцогом Ольденбургским и Веймарским, непосредственно за экипажем царствующих особ. При всяком удобном случае Александр назначил для него особое место, выше членов дипломатического корпуса, и, в ожидании решительной минуты, старался до конца льстить гордости Наполеона и заслужить его благодарность[1].

Приблизительно в то же самое время вернувшийся в Париж Наполеон пригласил посланника Толстого на одну из своих охот,— завидная и крайне редкая милость. Не зная еще дня, в который должно состояться свидание, он чувствовал, что он близок, и, со своей стороны, хотел дать известное направление мыслям Александра и заблаговременно привести его в хорошее, доброжелательное настроение. Во время поездки он рассчитывал сказать Толстому слова, которые, по сообщении в Петербург, возбудили бы там надежду и доверие.

Отправляясь на сборный охотничий пункт, назначенный около Сен-Жермена, он взял к себе в коляску русского посланника вместе с двумя приглашенными, принцем Вильгельмом Прусским и маршалом Бертье. Принц сидел рядом с ним, маршал и посланник напротив. Во время пути Наполеон начал восхвалять качества императора Александра, говорил о своей к нему дружбе и превозносил выгоды, которые Россия уже извлекла из союза, а также и те, которые она в скором времени получит. Но он напрасно тратил слова: Толстой, очевидно, мало заботился о том, чтобы поддерживать разговор. Лицо посланника, строгое и непроницаемое, выражало только холодную почтительность и предвзятое недоверие. Наконец, чтобы развеселить его, император начал шутить над его опасениями и над зловещими слухами, которые посланник передавал своему двору. Разве, говорил он, события не говорят сами за себя? Вместо того, чтобы быть зрителем распри между Францией и Россией, мир, наоборот, будет присутст-

[1] Донесение Коленкура от 22 августа 1808 г.

[1] Коленкур Шампаньи, 9 августа 1808 г.

вовать на торжественном акте освящения их дружбы. Оживляясь мало-помалу, он произнес слова, которые должны были бы в будущем сделаться достопримечательными, если бы он сам не потрудился доставить им роковое опровержение. Зачем заподозривать его в том, — сказал он,— будто бы он желает воевать с Россией? Что ему от нее нужно? Разве можно предполагать, что он настолько безрассуден, что отважится вторгнуться в ее дебри. Не будет ли подобное предприятие стоять в противоречии с природой вещей и с опытом прошлого? «В истории нет примера, чтобы народы Юга вторгались в северные страны; наоборот, народы Севера наводняли Юг». Затем, любуясь освещенными солнцем полями, ясным небом, тихой и спокойной прелестью кончавшегося лета, наслаждаясь их яркими тонами и теплотой, он сказал: «Э, да что тут! У вас слишком холодно. Кому нужен ваш снег, а вы можете желать нашего благодатного климата?». Высокомерным тоном Толстой ответил, что теперешнее время не похоже на времена, о которых говорит Его Величество. Не особенно любезно по отношению к своим соотечественникам, как и по отношению к нам, он заметил, что «Север, почти так же прочен, как и Франция, и что ей нечего опасаться». Но почти тотчас же с гордостью истинного сына своей родины он добавил: «Я лично предпочитаю наш снег чудному климату Франции»[1]. Если он и делает этот разговор предметом донесения своему правительству, то только с целью предостеречь его от вероломных предложений и умолять отказаться от системы уступок, которые, по его мнению, принимая во внимание характер Наполеона,— и бесполезны и опасны.

Как ни был велик контраст между поведением русского посланника и поведением его государя, в глубине души Александр, как и Толстой, думал, что период уступок должен прийти к концу; если он все еще упорно старался быть приятным и уверять в наилучших чувствах, то его небескорыстная нежная предупредительность имела только одну цель: лучше подготовить Наполеона к положительным требованиям, которые тому в скором времени придется выслушать. Он давал ему возможность уже предвидеть эти требования. Его разговоры с Коленкуром, никогда не теряя дружеской

[1] Толстой Румянцеву, 28 августа — 9 сентября 1808 г.

фамильярности, часто принимали знаменательную важность. Перед свиданием Александр, по-видимому, занимался сведением счетов франко-русского союза. В счете, который был взаимно открыт, он выставлял имя России на каждой странице; он отнес на свой актив значительные выдачи вперед, и выводил отсюда заключение, что Франция должна, наконец, с ним расплатиться, и восстановить баланс, притом сразу, а не затягивая дела.

Повторяя вкратце события целого года, начиная с самого Тильзита, он предупредительно высчитывал все, что он добросовестно и искренно сделал в пользу общего дела. Он указывал послу на испытания, которым подвергалась его дружба к Наполеону и против которых он победоносно устоял. «Ничто, ничто на свете,— говорил он ему,— не заставит меня измениться, вы это знаете. Ни препятствия, ни потери, которым может подвергнуться Россия, не могли и никогда не смогут заставить меня уклониться с пути. Генерал Савари не должен был скрыть от Императора, что меня не нужно было торопить с объявлением войны Англии; что, когда он заговорил со мной об этом, декларация была уже составлена и приготовлена; что мое решение было принято потому, что пришло условленное время. Я не считался с опасностями, которым подвергался мой флот, и не искал никаких поводов, на основании которых можно было бы на законном основании отложить дело. Я дал слово и сдержал его. Я говорю вам все это только для того, чтобы доказать, что Император может рассчитывать на меня, и что и сегодня я так же верен обстоятельствам Тильзита, как год тому назад. Вы видите, как страдает Россия от прекращения торговли с Англией и от всех мер, принятых мною с целью воспрепятствовать торговым сношениям, дабы англичане ничем не могли поживиться от нас. И при всем том, вы можете заметить, как изменилось общественное мнение, как переходит оно на вашу сторону и как в общем известные надежды вводят союз с вами в плоть и кровь нашего народа. Только от Императора будет зависеть, чтобы союз был вечен и чтобы он дал, наконец, мир вселенной... По отношению к испанским делам у меня только одно желание — видеть их быстро законченными в пользу короля Жозефа и согласно желанию Императора. Вы видели, как Румянцев в этом

отношении шел навстречу вашим желаниям[1], как мы предупреждали их»[2].

Александр обращал его внимание на то, что за столько услуг, оказанных Россией, в активе Франции формируют лишь слова и многократно повторяемые обещания, исполнение которых пока в будущем. Когда же Коленкур заводил разговор о Финляндии, о приобретении, которое так удачно довершило территориальное единство империи, о «руке, присоединенной к туловищу»[3], или напоминал о занятии княжеств, которое продолжалось, вопреки договорам, только благодаря любезности императора, Александр обрывал разговор; но затем снова кротко, но настойчиво, возвращался к своим жалобам по двум главным предметам, по которым он все еще требовал и до сих пор все еще ждал удовлетворения.

Во-первых, это была Пруссия. Ему казалось, что освобождение ее, столь формально обещанное с курьером от 5 августа, приводилось в исполнение не согласно объявленнным условиям. В Петербурге только что был получен текст договора об эвакуации, который Наполеон хотел навязать кенигсбергскому двору и статьи которого произвели удручающее впечатление. Этот акт, который предполагалось подписать в Париже 8 августа, хотя и устанавливал территориальное освобождение Пруссии, но не обеспечивал ее независимости. Наполеон возвращал Фридриху Вильгельму его столицу, отдавал ему в известной последовательности провинции, управление его владениями, сбор доходов, но ограничивал до сорока двух тысяч человек наличный состав прусской армии, и между другими гарантиями уплаты долга сохранял за собой три крепости на Одере: Штетин, Глогау и Кюстрин. Александр подозревал, что, удерживая за собой эту стратегическую линию, Наполеон имел в виду сохранить операционную базу против России и вместе с тем средство продлить порабощение Пруссии. В пользу этого говорило и то, что корпус Даву, вместо того, чтобы очистить великое герцогство Варшавское, сконцентрировался в нем. Разве, думал

[1] В качестве министра иностранных дел Румянцев отправил русскому правителю в Мадрид приказание признать новое правительство.

[2] Донесение Коленкура от 24 июля 1808 г.

[3] Ibid., 4 апреля 1808 г.

Александр, это делалось не в государстве, которое создано ради вечной угрозы России и которому послужит на пользу окончательный упадок Пруссии, разоренной долгом, который определялся договором в полтораста миллионов и подлежал быстрой уплате?[1]

«Признаюсь,— говорил Александр Коленкуру,— я надеялся, что условия сделки с Пруссией, по поводу которой Император сказал, что соглашается на нее только ради меня, не будут столь тяжки. Толстой сообщает мне о них. Вы требуете такую сумму, которую эти люди никогда не будут в состоянии уплатить вам в такое короткое время; кроме того, вы пользуетесь со времени Тильзита доходами Пруссии, оставляете их за собой до эвакуации и не засчитываете их в уплату. Чем могут они вам заплатить? Затем вы удерживаете крепости! Я откровенно говорю с вами, во мне нельзя заподозрить задней мысли, ибо я более чем доказал Императору мою привязанность, уважение и доверие к нему; все это я доказывал ему при всевозможных обстоятельствах. Смотрите, ведь будут говорить, что эти крепости удерживаются, имея в виду скорее нас, чем Пруссию, так как провинции[2] представляют более действительную гарантию, чем эти крепости; а Пруссию вы приведете в трепет одним щелчком по Магдебургу. Император хорошо знает это; следовательно, дело вовсе не в гарантии уплаты. Следует требовать вещи возможные; со временем они вам заплатят; но в определенный вами срок и при том состоянии, в каком вы их держите со времени Тильзита, мне кажется это невозможным. Если Император, действительно, хочет, согласно требованиям тильзитского мира, восстановить этих людей в их правах, в таком случае нужно ставить им такие условия, которые они действительно могли бы выполнить. Иначе придется вечно сутяжничать с ними; вельможам не подобает искать ссоры с маленькими людьми. Мое личное желание, чтобы они удовлетворили вас; но я боюсь, чтобы такие условия не были источником нового горя для них и, следовательно, новых затруднений для Императора; ибо нельзя требовать невозможного. Заставьте их заплатить еще что-нибудь,

[1] См. текст договора у de Clercq, II, 270—273. Относительно переговоров см. Hassel, 236—247.

[2] Договор 8 сентября давал Франции закладную на владения прусской короны для взыскания по ее долговым обязательствам.

что им по силам, но не ставьте им унизительных условий. У Императора так много славы, что он не нуждается в чьем бы то ни было унижении. Клянусь вам, эти люди будут к его услугам, если он этого пожелает и если только он не будет так давить их. Я говорю, генерал, как говорят об этом в свете. Если Император хочет оказать мне услугу, пусть будет он повеликодушнее. Клянусь вам, это будет мне всего приятнее и, кроме того, это докажет всем, что и он делает хоть что-нибудь для меня, тогда как теперь говорят, что только я все делаю для него. Я хочу создать Императору друзей. Вспомните о девизе, который вы написали на его бюсте (в одном из салонов посольства): Велик в войне, велик в мире, велик в союзах.

Если он выведет войска из тех местностей, где присутствие их является угрозой, он тем самым доставит государствам уверенность в их безопасности. Вы всем внушаете доверие, ибо нельзя скрыть, что ваше пребывание в великом герцогстве и занятие Праги причиняет беспокойство[1]. Немного уверенности послужит на пользу и вашим интересам. Франция будет от этого только еще могущественнее, а Император более велик и более счастлив. Тогда англичанам, как и всем вашим врагам, нечего будет сказать против вас. Я говорю вам об этом откровенно, так как никогда не разделял всеобщих опасений. Я никогда ничего не хотел получить от Императора моей политикой, а только прямодушием и верностью. Он видит, до какой степени он может рассчитывать на меня; пусть же он сделает для Пруссии и для меня что-нибудь такое, что доказало бы всем,— это я опять-таки повторяю вам,— что я был прав, полагаясь на него»[2].

Переходя затем к другому предмету своих упований, к делу соглашения по восточному вопросу, Александр указывал, что истинный узел, скрепляющий союз, в решении этого вопроса; что только решение этого вопроса сделает его нерасторжимым и придаст ему характер неувядаемого величия. Казалось бы, что в продолжение шести месяцев все уже было сказано относительно раздела Турции; но Александр сумел придать

[1] Прага, предместье Варшавы, представляет собой предмостное укрепление по ту сторону Вислы.
[2] Донесение Коленкура от 23 сентября 1808 г.

делу новизну, сумел открыть в нем неожиданные, подкупающие и величественные стороны. Он постоянно возвращался к тому, что он считал обязательствами Наполеона, говорил о данном ему слове, впутывал высший интерес Франции, т. е., необходимость нанести Англии решительный удар в Индии и таким путем укротить ее; но, главным образом, его призывы обращались к самым высоким чувствам Наполеона, к теме, которая всегда волновала душу завоевателя. Пользуясь словами, сказанными в Тильзите, обращаясь к императору с его собственными доводами, он повторял: «Турки, как говорил мне Император, варвары без организации, без правительства; трудно сказать, на что это похоже. Теперь самый удобный случай придать тильзитским проектам о Турции, т. е. *истинному ее освобождению*, *либеральную* окраску, подобающую этому великому делу. Наш век даже более, чем политика, отводит этим варварам место в Азии. Освобождение этих стран будет делом благородным и похвальным; оно не есть следствие честолюбивых планов. Человеколюбие требует, чтобы в наш век просвещения и цивилизации не было в Европе этих варваров»[1].

Наконец, приходя постепенно в восторженное состояние, подогревая себя своими собственными речами, он доходил до самых воинственных намерений, которые были ему так несвойственны, и давал сигнал к нападению на всех врагов своей империи. Зима приближается,— говорил он,— это самое подходящее время года для возобновления военных действий против Швеции; «мороз повсюду скует мосты», что даст возможность перейти Ботнический залив, подойти к Стокгольму, и дело, предпринятое на Севере, превосходно сочетается с большими операциями на Юге. Нигде не должно быть проволочек, нужно действовать, и да совершатся повсюду судьбы России: «В сентябре в Эрфурте, в октябре — в поход и в течение зимы — результаты»[2].

Не довольствуясь изложением своих мыслей в двадцати различных версиях перед Коленкуром, Александр пожелал передать их вкратце непосредственно Наполеону. Ему нужно было ответить на письмо от 8 июля, в котором император излагал и защищал свое поведение

[1] Донесение Коленкура от 31 июля 1808 г.
[2] Донесение Коленкура от 12 августа 1808 г.

в Испании. Кроме того, в инструкции, позднее присланной Коленкуру, последнему поручено было выразить царю горячую благодарность за признание короля Жозефа; а это, очевидно, обязывало царя к новым дружеским уверениям. Да и кроме того, назначив день свидания, Александр считал более удобным лично сообщить об этом своему союзнику. 25 августа он написал ему последнее перед свиданием письмо в следующих выражениях:

«Мой брат, позвольте, поблагодарить Ваше Величество за ваше письмо из Байонны от 8 июля, и за все то, что вам угодно было сообщить мне в нем об испанских делах. Ваш посланник передал мне содержание письма, которое он получил от вас третьего дня. С удовольствием вижу, что Ваше Величество отдали справедливость чувству, которое заставило меня идти навстречу вашим желаниям. Оно естественно и проистекает только из привязанности, которую я желаю доказать вам при всяком случае. То, что Ваше Величество предполагает сделать для Прусского короля, преисполнило меня живейшей благодарностью, и я хочу, не теряя ни минуты, выразить вам все удовольствие, которое доставило мне это известие. Позволяю себе еще раз прибегнуть к вашей дружбе ко мне и усерднейше ходатайствовать за его интересы. Что же касается испанских дел, то я надеюсь, что смуты, которые так нравится вызывать англичанам, в скором времени будут успокоены. Ваше Величество, должно быть, уже знаете о событиях в Константинополе. Султан Селим погиб. Мустафа заточен, а Махмуд — слабый и телом, и духом,— только призрак государя. Различные партии грызутся, как никогда. Мне думается, что все эти обстоятельства значительно облегчают исполнение великого плана и освобождают Ваше Величество от последней связи с Портой. Я точно так же был удивлен, узнав о непонятных вооружениях Австрии. Я счел нужным дать ей совет, и мой посланник получил приказание сделать ей по этому поводу представление и указать, к какой пропасти она стремится. Услаждаю себя надеждой в скором времени свидеться с Вашим Величеством. Если не получу от вас известий, которые могли бы помешать мне отправиться в путь, я рассчитываю выехать 13 сентября и на пятнадцатый день буду в Эрфурте. Жду этого времени с живейшим нетерпением, чтобы лишний раз выразить вам те чувства, которыми я преисполнен к вам»[1].

«Вы видите, что я говорю ему все»,— заметил Александр Коленкуру, читая ему черновик своего письма. Действительно, превосходным слогом, сердечным и обаятельным тоном он весьма ясно высказал все свои желания; напомнил, что он сделал, что мог сделать и чего сам ожидал. Его письмом были заранее определены и поставлены в точные границы основы предстоящих обсуждений. В Эрфурте предметом обсуждения и сделки будут четыре вопроса: об Испании, Австрии, Пруссии и Турции. Решение двух первых было важно для Франции; другие два касались безопасности и величия России. Благодаря такому равновесию в интересах возможна была полная взаимность в услугах и уступках между обоими императорами. Александр предоставлял нам свободу действий в Испании; против Австрии он предлагал нам скорее кажущуюся, чем действительную, помощь, но которой он искусно сумел придать значение. Взамен он требовал не призрачного восстановления Пруссии, а такого, которое гарантировало бы его от восстановления Польши, и затем удовлетворения его восточных вожделений, возобновляя, таким образом, накануне Эрфурта притязания, высказанные так вскоре после Тильзита. Ввиду этого настойчивого по двум вопросам требования, хотя и облеченного в форме самой искренней дружбы, на каком же решении остановится Наполеон в настоящее время, когда он уже потерял всякую надежду соединить и слить воедино интересы Франции и России на почве неотложного пересоздания вселенной?

[1] Archives des affaires étrangères, Russie, simpplement, 17. Мы опубликовали это письмо в Revue de la France modern 1 juin 1890.



XII

ЭРФУРТ

I. Намерения Императора. — Прежде чем возобновить военные операции в Испании и остановиться на определенном способе соглашения с Россией, Наполеон хочет уяснить себе намерения Австрии. — Дипломатический прием 15 августа 1808 года. — Обещания Австрии. — Второй разговор с Меттернихом. — Празднества по случаю прохода войск. — Послание Сенату. — Наполеон узнает, что день свидания назначен. — Он хочет явиться в Эрфурт при самой величественной обстановке, устроить в нем разнообразные развлечения, ослепить и очаровать Александра. — Разговоры с Талейраном; положение, занятое Талейраном. — Работа, порученная де Готриву. Совещания с Себастиани. — Наполеон откладывает на неопределенное время раздел и надеется удовлетворить Россию только обещанием княжеств. Характер соглашения, которое он хочет заключить в Эрфурте. — Талейран старается привлечь в Эрфурт австрийского императора. — Отъезд Наполеона и его министров. — Проект раздела, составленный де Готривом и его препроводительное письмо Талейрану.

II. Встреча. — Несмотря на страх матери, Александр отправляется в путь. — Его способ путешествовать. — Сперанский. — Проезд через Кенигсберг. — Император Александр и графиня Фосс. — Барон Штейн. — Наполеон приказывает передать царю перехваченное письмо Штейна. — Маршал Ланн посылается навстречу императору Александру; французская армия в Германии. — Вид Эрфурта: преобразившийся город. — Грандиозные приготовления, прилив иностранцев, меры предосторожности, тайная полиция. — Короли Баварии, Саксонии и Вюртемберга; слезное послание баварского короля. — Громадное стечение немецких принцев. Их рабски почтительная и подобострастная манера держать себя. — Их просьбы. — Прибытие Наполеона. — Встреча с императором Александром и торжественный въезд; ни с чем не сравнимое зрелище. — Съезд высокопоставленных особ в Эрфурт; как они держатся и что хранят в глубине души. — Барон де Винцент. — Талейран. — Его измена. — Он хочет вести переговоры о своем личном мире с Европой; его влияние на царя. — Александр I. — Наполеон. — Знаменательный разговор императора о делах Испании; он собирается с силами, чтобы снова овладеть Александром.

III. Прения. — Затрагиваются все вопросы. — Пруссия — предварительные требования Наполеона. — Польша — обещание эвакуировать великое герцогство и не занимать его снова. — Отсрочка раздела Востока. — Александр довольствуется княжествами; к чему привело его размышление. — Какую демонстрацию пытались сделать Англии. — Курьер из Вены. — Отказ Австрии признать созданных Наполеоном королей; важное влияние этого решения на ход переговоров. — Австрия становится главным предметом обсуждения. Требования Наполеона и сопротивление Александра. — Заблуждение Александра и Талейрана относительно истинных намерений венского двора. — Бурная сцена между императорами. — По отношению к Австрии Александр отказывается от всякого поступка, имеющего характер угрозы. — Наполеон объявляет, что он удержит за собой прусские крепости. — Неприятный разговор. — С большим трудом приходят к удовлетворительному соглашению. — Кажущееся согласие обоих государей; необычайный блеск в Эрфурте. — Знаменитый жест. — Веймарская интермедия.

IV. Поездка в Веймар и жизнь в Эрфурте. — Охота в Эттебургском лесу. — Веймарский двор. — Стол государей. — Когда я был артиллерийским поручиком. — Наполеон во время спектакля. — Виланд, по приказанию доставленный на бал. — Разговор с Гете и Виландом; политическая цель Наполеона. — Посещение поля битвы при Иене. — Гора Наполеона. — Уроки военного искусства. — Жизнь обоих монархов в Эрфурте. — Завтрак императора; двор ученых и поэтов. — Послеобеденное время; прогулки, посещения войск. — Восторг великого князя; что он привез из Эрфурта. Да здравствует коронация. — Париж в мечтах Наполеона. — Отношения к Сперанскому. — Шпага Наполеона в Петербургском музее. — Вечера. — Французская комедия и русский союз. — Бегство mademoiselle Жорж в С.-Петербург; ей предназначается интимная роль при Александре; ее дебюты. — Пьесы, даваемые в Эрфурте. — Русские не любят трагедии. — После спектаклей. — Салоны Эрфурта; жена презуса де Рек и принцесса де-ла Тур и Таксис.—Интимные беседы между Наполеоном и Александром.

V. Разговор по поводу брака. — Слухи о разводе императора и его браке с русской великой княжной. — После Тильзита Наполеон думает расстаться с Жозефиной. — Придворные интриги; соперничество между королевой Гортензией и великой герцогиней Бергской. — Фуше пускает слух о разводе. — Беспокойство в С-Петербурге. — Великие княжны Екатерина и Анна: их характеристика, сделанная Жозефом де Местр. — On dit Петербурга. — Право вето, предоставленное императрице-матери. — Тревожное письмо Румянцева. — Выходка Фуше по отношению к Жозефине: первое объяснение между императором и императрицей; семейный мир устанавливается за счет министра полиции. — Второй

кризис: донесение Толстого по поводу сцены в Тюльери. — Старания императрицы-матери выдать поскорее замуж дочь Екатерину. — Баварский наследный принц; герцог Ольденбургский. — В Эрфурте Наполеону хотелось бы, чтобы русский император сохранил для него одну из великих княжен. — Его указания Коленкуру и Телейрану, как подойти к этому вопросу. — Александр соглашается начать разговор. — Характер разговора, которым обмениваются оба императора. — Замалчивания с той и другой стороны; невыгодные стороны и опасности этого предложения.

VI. Договор. Постепенное составление статей договора; роль государей и министров. — Статьи, относящиеся к Англии, Испании, Финляндии и княжествам. — Наполеон хочет, чтобы Россия не требовала в Константинополе уступки княжеств до тех пор, пока не будет известен результат переговоров с Англией; причины, которыми он руководится. — Нетерпеливая жадность и недоверие русских. — Задние мысли, которые они приписывают Наполеону. Важная перемена во взглядах. — Полюбовная сделка. Статья, относящаяся к Австрии. — Турция поставлена под секвестр. — Новые затруднения; наконец, решаются подписать договор. — Письмо английскому королю. — Существенное различие в словах, с которыми Наполеон и Александр обратились к барону Винценту. — Опять о признании новых королей; отдельное письмо Александра. — Наполеон старается успокоить и образумить венский двор. — Просьбы Пруссии. — Наполеон прощает ей двадцать миллионов. — Конец переговоров; прощание императоров. — Письмо Александра к матери. — Грустное настроение Наполеона. — Результаты Эрфурта. — Непосредственная причина к конфликту между Францией и Россией устранена. Наполеон пламенно желал, чтобы следствием свидания был всеобщий мир. Почему не была достигнута эта цель. — Последовательные стадии, через которые прошел Александр на пути разочарования и недоверия. — Оставляя под сомнением свои намерения, он тем самым поощряет воинственные намерения Австрии. — Талейран выдает Меттерниху секрет истинного настроения Александра. — Действие этого сообщения. — В Вене решено объявить войну. — Неизбежность рокового влияния новой континентальной войны на отношения Франции и России. — Сравнение между Тильзитом и Эрфуртом.

I

НАМЕРЕНИЯ ИМПЕРАТОРА

Как ни был поглощен Наполеон неотложными делами — решением судьбы Пруссии и военными приготовлениями против Испании — он непрестанно думал об условиях своего будущего соглашения с Россией и не терял из виду Востока. Его заботила катастрофа в Константинополе. Еще с большим основанием, чем прежде, он вывел из нее заключение о невозможности поддерживать существование Турции и пользоваться ею для своих политических целей. В душе он уже приговорил ее, но сознавал свое бессилие теперь же привести в исполнение приговор. Поэтому он был очень доволен тем, что избегал всякого определенного обязательства с Россией и что, благодаря шестимесячной дипломатической отсрочке, отложил свои окончательные решения.

Хладнокровно рассматривая положение, он сразу же пришел к заключению, что все дела на Востоке должны быть отложены до полного покорения полуострова. На это дело пойдет осень 1808 г. Следовательно, чтобы покончить с Испанией, Наполеон назначил себе три месяца. По его расчетам, этого времени было достаточно для того, чтобы разогнать мятежные армии, смести в море англичан, войти победителем в Мадрид, явиться там в роли миротворца и завершить свои победы делами умиротворения. «К началу января, — писал он Жозефу,— во всей Испании не будет ни одной восставшей деревни»[1]. Он рассчитывал, что, в начале 1809 г., он будет располагать всеми своими силами, и тогда, если Англия не признает себя побежденной, надеялся соединить свои колонны с берегов Эбро и Таго с колоннами на Адриатике и на Ионическом море, и после поражения нашей соперницы в Испании, доконать ее на Востоке. Но прежде, чем составить план операций для настоящего и будущего времени, прежде, чем определить характер сделок с Россией, было необходимо выяснить намерения Австрии. Без сомнения, конфликт с Австрией не казался уже столь неизбежным, ибо венский кабинет не воспользовался для разрыва моментом наших неудач; австрийский посланник в Париже держался корректно, да и Россия вмешалась в дело. И все-таки могла ли Франция безбоязненно направить свои лучшие силы в Испанию, не приобретя предварительно уверенности в том, что Австрия не воспользуется этим моментом для вероломного нападения на нее с тыла? Поведение, усвоенное в Вене, ставило будущему предприятию на Востоке еще более серьезное препятствие, чем возмущение на полуострове, взятое в отдельности. Испания вынуждала только к отсрочке, Австрия не могла быть ему помехой. Итак, Наполеон признавал чрезвычайную важность теперь же проникнуть в планы Австрии, знать наверное, чего он должен опасаться и чего ожидать с ее стороны; одной из побудительных причин, ускоривших его возвращение в Париж, и было желание

[1] Corresp., 14275.

вызвать ее на категорическое объяснение. Появившись неожиданно на сцене, он намеревался обратиться к венскому двору в лице его представителя, и, пустив в ход все свое искусство, чтобы внушить ему страх, и, благодаря этому, удержать его от враждебных решений, попытаться затем уверить его в его безопасности и примирить с собой.

В ночь с 14 на 15 августа министры и иностранные посланники получили извещения, что на другой день, в день своих именин, Его Величество примет их в Сен-Клу. Эти коллективные аудиенции имели скорее грозный, чем торжественный характер. Наполеон часто пользовался ими, чтобы выпустить то, что Меттерних называл «его устными манифестами»[1]; те неожиданные, как молния в ясную погоду, язвительные упреки и замечания, с которыми он обращался к представителю какого-либо государства и которые разносились по всей Европе и часто предшествовали пушечным выстрелом. 15 августа 1808 г. в одной из зал дворца собрался дипломатический корпус. За отсутствием нунция, австрийский посланник, граф Меттерних, занял первое место; за ним граф Толстой, затем голландский посланник; немного далее Турок и Перс в своих длинных восточных нарядах придавали экзотический отпечаток этой выставке придворных костюмов и форменных мундиров. Вошел император со своим двором и министрами. По своей привычке он сперва быстро обошел собравшихся, принимая знаки почтения и отвечая на них немногими словами. Произведя смотр дипломатическому корпусу, он вернулся к графу Меттерниху и остановился перед ним. Это была критическая минута, ожидаемая с замиранием сердца.

Однако, чело императора не предвещало бури. Произошел обмен несколькими малозначащими словами. Затем, в то время, когда Шампаньи «блокировал»[2] с тыла австрийского посланника и мешал ему отступить, Наполеон подошел к нему с фронта и начал с ним, в очень энергичной, очень настойчивой форме, но вполне спокойный и любезный, разговор по поводу вооружений Австриии. Он энергично развил целую серию доводов, на которых основывались его нападки, тесня своего противника и не давая ему перевести дух.

[1] Metternich, II, 237.
[2] Metternich, II, 196.

Меттерних защищался искусно, исчерпывая все силы своего гибкого, обширного ума, привыкшего к диалектике в переговорах.

С той и другой стороны сразу же стали на твердую почву. Меттерних защищал положение, что Австрия имела право преобразовывать свою армию и никому этим не угрожала. В принципе это было справедливо; но и Наполеон не был не прав, утверждая, что спешность, внесенная в это дело, придавала ему вид угрозы. Кроме того, он утверждал, что были сделаны приготовления для непосредственных военных действий: передвижения войск, закупка лошадей; он приводил технические подробности и выражался как знаток дела. Он обвинял также в давлении, которое производилось на общественное мнение, и в возбуждении народных страстей. Он перечислял все эти факты, нанизывал их один на другой, подавлял ими, однако, без гнева, своего собеседника; приписывал императору Францу не злой умысел, а скорее неосторожность; настойчиво указывал на опасность такого поведения и на необходимость положить этому конец. В нем заметно было усилие быть сдержанным в выражениях, ибо он желал предостеречь, не оскорбляя; он говорил не обличительную речь, а хотел только убедить Австрию, старался отклонить ее от ложного пути и вернуть на путь ее истинных интересов.

Во время разговора, продолжавшегося час с четвертью, он высказал следующие соображения. К чему могут привести Австрию ее вооружения? Она не будет в состоянии воевать, ибо Франция и Россия состоят в союзе, и всякое нападение сокрушится об их союз. Мы уверены, уверены безусловно в императоре Александре; он не позволит венскому двору тронуться с места, и венский двор вынужден будет преклоняться пред его волей Не лучше ли будет для него сойтись с нами по собственному побуждению и, вместо того, чтобы уступать силе, добровольно примкнуть к политической системе Франции. Таким путем он получит выгоды, связанные с нашей дружбой; но он их безвозвратно лишится, если будет продолжать свои неправильные способы действий. «Русский император, — говорил Наполеон,— может быть, и помешает войне, твердо объявив вам, что он не желает ее и будет против вас; но, если Европа только его вмешательству будет обязана сохранением мира, то ни Европа, ни я, мы ничем не

будем вам обязаны. Не имея возможности смотреть на вас, как на моих друзей, я буду избавлен от необходимости приглашать вас к совместной со мной деятельности при устройстве Европы, которого может потребовать ее настоящее положение»[1].

Последние слова относились к Востоку. Чтобы его собеседник не заблуждался на этот счет, Наполеон тотчас же завел речь о поведении австрийских агентов в Турции, об их интригах, направленных против нас на той почве, где интересы обеих империй должны были бы сблизиться и слиться воедино. Касаясь самой сущности вопроса, он мог выражаться только намеками, так как в двух шагах стоял посланник Порты, бесстрастный, но внимательный. Тем не менее, он попытался в замаскированной форме придать ясный смысл своим словам и затронул в форме намеков весь вопрос о разделе. Это был беспримерный разговор, где в присутствии осужденного обсуждалось, каким способом его умертвить. «Не думаете ли вы, благодаря вашим вооружениям, вступить на равных началах в наши соглашения? — говорил император Меттерниху. — Вы ошибаетесь. Никогда не дозволю я вооруженному государству предписывать мне условия... Я совсем не допущу вас к участию в предостоящем решении многих вопросов, в которых вы заинтересованы; я один столкнусь с Россией, а вы будете только зрителями»[2]. Однако общим характером своего поведения и разговора он давал понять, что его слова должны быть приняты скорее за предостережение, за угрозу, чем за выражение непреклонной воли. Он давал понять, что, если император Франц и его кабинет пойдут навстречу его желаниям и докажут свою готовность сговориться с ним, если они поклянутся в своих мирных намерениях и во всеуслышание объявят об этом, все может быть исправлено. Указывая Австрии место, которое она может занять в его доверии, и роль, которую может сыграть в его планах, он старался указать ей на ее одиночество и вызвать ее на откровенные и искренние поступки.

---

[1] Депеши Шампаньи к Андреосси с отчетом о разговоре императора с Меттернихом, опубликованные в Correspondance под № 14254. Cf. Memoires de Metternich, II, 194 а 199 и депеши барона Брокгаузен прусскому королю, упомянутые у Hassel 507.

[2] Metternich, II, 197.

Рассуждение императора было истолковано всеми присутствующими, включая и тех, которых он предупреждал более других, как попытка к миру, как желание сблизиться. Вечером Шампаньи пригласил дипломатический корпус на обед. После обеда Меттерних разговаривал с посланниками России и Голландии, своими ближайшими соседями во время аудиенции. «Что решает дипломатический кружок?» — подходя к ним, спросил Шампаньи. — «Он решает, — ответил Меттерних, — что Европа получила новый залог мира»[1]. Толстой выразился в том же смысле. К несчастью, поведение Толстого во время утренней сцены почти что отнимало всякое значение у императорской речи. Когда Наполеон ручался за верность и намерения царя, он в упор смотрел на Толстого, безмолвно призывая его в свидетели, стараясь уловить и вызвать на его лице какой-нибудь знак одобрения. Но русский посланник стоял, как мраморное изваяние. Такая холодность позволяла Меттерниху усомниться насчет истинных чувств Александра и поощряла Австрию искать свое спасение не в одном только искреннем примирении с Францией.

На донесение Меттерниха об этом разговоре Австрия обещала, что собранные в Кракове, около силезской границы, войска будут распределены по другим местам; что резервы и милиция, мобилизованные для упраждения и обучения, будут в скором времени распущены по домам, и что монархия примет вскоре свой обычный вид[2]. Она еще не высказалась по поводу признания короля Жозефа, но позволяла надеяться на благоприятный ответ.

Получив приказание передать эти уверения, Меттерних 25 августа вернулся в Сен-Клу. Император принял его в частной аудиенции вечером, перед спектаклем. Он принял к сведению заявления посланника и, со своей стороны, вошел в объяснения успокоительного характера по поводу исключительных причин, которые заставили его свергнуть с престола испанских Бурбонов; заявил, что эта мера, принятая в видах собственной безопасности, не должна быть рассматриваема как угроза другим династиям и закончил свой раз-

---

[1] Ibid., II, 200.

[2] Шампаньи к Андреосси, 26 августа 1808 г. Archives des affaires étrangéres, Vienne, 381. Metternich, II, 212.

говор пожеланием, чтобы была устранена всякая возможность серьезной размолвки между Францией и Австрией. Теперь нужно работать над тем, чтобы возродить доверие и создать дружбу, — добавил он. Он охотно пойдет на это, лишь бы его поощрили вступить на этот путь. Он жаловался, что император Франц, его семья и министры вносят слишком мало любезности и предупредительности в их сношения с нами. В Вене наш посланник только терпим, а не принят благосклонно; двор и общество сторонятся его; в официальных кругах стараются не произносить имени императора французов; никогда любезного слова, никакого внимания. Отчего не порвать с такими вредными традициями? Мелочи также имеют свое значение и ведут к крупным последствиям.

Вместо прямого ответа Меттерних искусно обошел вопрос. Он притворился, что не уловил более глубокого смысла, скрытого в словах Наполеона, что понял их буквально, и, вместо того, чтобы вступить в объяснения, постарался замять разговор. «Ручаюсь вам, Ваше Величество, что мне очень скоро поручено будет передать вам несколько драгоценных ваз, если только они могут служить к упрочению добрых отношений между нами», — заверил он. Более прижатый к стене, он сказал в упор: «Вы желаете союза»? — На это император ответил: «Для союза нужна подготовка; договоры ничего не стоят, все зависит от дел». Он привел как образец полного согласия между двумя дворами свои отношения с Россией; заметил, что от самой Австрии зависит стать с нами на равную дружескую ногу; что она много раз пренебрегала случаем для этого. Он долго говорил тоном дружеского упрека и был более прост и сообщителен, чем во время сцены 15 августа. Публичная аудиенция имела вид политической лекции, частная аудиенция, по выражению Меттерниха, походила «на ссору любовников».

Наконец, пришли предупредить императора, что уже около часа ждут с началом спектакля. «В этом вы виноваты»,— сказал он Меттерниху. Затем, подводя итог общему положению, он сказал, что не видит никакого повода к раздору между обоими государствами и даже наоборот. «В Европе есть место, — сказал он, — на которое должны быть устремлены и ваши, и наши взоры: вы видите, что происходит в Константинополе. Если бы вы в последнее время иначе держались, мы

бы теперь уже сговорились; но, благодаря вашему поведению, дела приняли такой оборот, что мне придется сговориться с Россией. Однако, ведь это вопрос скорее австрийский, чем французский? У меня на Востоке, — продолжал император, — нет прямых интересов, и мало претензий к Порте». Оканчивая разговор, он постарался дать понять, что его последнее слово еще не сказано, что «поступки и иное поведение в мелочах» могли быть полезны Австрии и изменить будущее в ее пользу[1].

Ожидая результатов своих намеков, в особенности же, чтобы Австрия высказалась по вопросу о признании Жозефа и дала формальный ответ на требование, целью которого было не только испытать ее, но и связать ей руки, он все еще облекает свои проекты непроницаемой пеленой. По временам он, как будто, все еще верит в то, что более сложные и более решительные дела могут последовать вскоре за делом, начатым по ту сторону Пиринеев: «Невозможно рассчитать, — пишет он своему брату Жозефу, — что может случиться от сегодняшнего дня до апреля»[2]. Вокруг него все истощено; натянутые до крайности пружины ослабевают; люди, преданные ему, колеблются; страдающие интересы отдельных лиц вызывают тревогу; повсюду чувствуется недовольство; истомленная Франция жаждет покоя и требует его уже с заметным ропотом. Один он неутомим и непреклонен; ибо он знает, что мир, чтобы быть прочным, должен быть всеобщим; что Франция не может рассчитывать на мир, пока Англия остается под ружьем. Он старается оживить мужество своих подданных, которое, видимо, ослабевает в них. В августе и сентябре 1808 г. он предлагает Франции зрелище целого ряда воинственных торжеств. Колонны великой армии, отозванные с Севера на Юг, проходят через империю, направляясь в Испанию. Наполеону желательно, чтобы это шествие было истинным триумфом, чтобы задним числом были отпразднованы победы предыдущих лет, — те победы, всех героев которых нация еще не видала и не приветствовала; он желает, чтобы наши батальоны, из ко-

---

[1] Metternich, II, 207 à 214.
[2] Corresp., 14282.

торых многие понесли большие потери, но которые, несмотря на это, все еще были бодры и верили в себя, нашли на своем пути триумфальные, убранные цветами и зелеными ветвями, арки, украшенные флагами города, устроенные в их честь пиры и ликующее население; чтобы в их честь были сочинены гимны, дабы при общении с ними вновь вспыхнул охладевший энтузиазм. Он сам встречает их в Париже, делает смотр, говорит речь, и его слова ясно говорят им, что после ожидавшей их Испании, им придется встретиться с новыми трудами и пожать новые лавры, может быть в тех странах, куда еще никогда не проникал французский орел: «Солдаты, — говорит он им, — вы превзошли славу современных армий, но сравнялись ли вы в славе с римскими легионами, которые в одну и ту же кампанию одерживали победы на Рейне и Евфрате, в Иллирии и на Таго? Долгий мир, прочное благосостояние будут наградой за ваши труды. Истинный француз не может и не должен отдыхать, пока моря не будут открыты и свободны»[1].

3 сентября он созывает Сенат и приказывает ему утвердить новый рекрутский набор; при этом случае его речь носит на себе следы забот, которые еще осаждают его ум. Доклад, представленный в оправдание новой меры министром иностранных дел, делая обзор Европы, ограничился только намеком на беспорядки в Константинополе. В своем собственном послании Сенату император подчеркивает события в Константинополе, как будто он хочет привлечь общественное внимание на Восток и подготовить его к важным событиям на этом поприще. По его мнению, чем более откладывается великий проект, тем более необходимо, чтобы Европа думала, что он близок к осуществлению, и чтобы Англия пришла в ужас. «Византийская империя, — говорит Наполеон, — подвергается самым ужасным переворотом. Султан Селим, лучший император, какого с давних пор не имели оттоманы, только что погиб от руки своих ближайших родственников. Эта катастрофа сильно подействовала на меня»[2].

Два дня спустя, он узнал, что русский император выезжает в Эрфурт 12 сентября; вслед за извещением

[1] Corresp., 14388.
[2] Corresp., 14923.

Коленкура прибыло и письмо Александра I. Наполеон не мог и не хотел уклониться от этоого приглашения. Он написал Александру, имея в виду уведомить его о своем согласии на свидание и выразить ему, какое счастье испытывает он при мысли о встрече с ним. Он поручил маршалу Ланну приветствовать монарха-друга на границе занятых нашими войсками областей (это все еще была Висла), и повсюду воздавать ему чрезвычайные почести. Вместе с тем он принял меры, чтобы свидание произошло при беспримерном блеске. Он хотел предстать в Эрфурте во всем блеске своего могущества, и, сверх того, собрать там все наиболее привлекательное; хотел не только поразить и очаровать Александра, но и доставить ему развлечения, ослепить и его взоры, и его ум. Наконец, снова возвращаясь к столь страстно обсуждаемому, но в продолжение целого года ни на шаг не подвинувшемуся вопросу, рассматривая в последний раз судьбу Востока, он позаботился точно определить решения, с которыми он явится в Эрфурт.

У него было обыкновение прибегнуть в важных и специальных вопросах к лицам, за которыми установилась репутация знатоков, и пользоваться их опытом и знаниями. Их мнения, не определяя его решений, служили ему материалом; они давали его решениям прочную точку опоры и позволяли ему охватить вопрос со всех сторон. До отъезда он совещался с некоторыми министрами; позвал в свой кабинет возвратившегося из Турции генерала Себастиани и долго расспрашивал его об этой стране; но прежде всех был приглашен на совещание князь Талейран.

Талейран все более входил в роль сдерживающего элемента при Наполеоне. Это была роль, которую он пытался играть и которую, в особенности, любил выставлять напоказ. Оценивая события с присущей ему проницательностью скептического наблюдателя, он ясно понимал, что борьба между Наполеоном и Европой делалась все более опасной, уже не только потому, что слишком затягивалось, но и потому, что делалась все напряженнее и доходила до беспримерных размеров. Он сознавал, что ошибочные действия делали успех необеспеченным, и начинал сомневаться в конечном исходе. Он начал отделять свою судьбу от судьбы Наполеона, который, по его мнению, слишком зарвался; он начал думать о том, чтобы избавиться от

ответственности, чтобы позаботиться о своем будущем и с этой целью прилагал все старания отделить свой политический путь от пути, по которому упорно, неистово и без удержу шел император. В присутствии лиц своего круга, при иностранных министрах, он порицал начатые или подготовляемые предприятия и выражался с сожалением и строго о необузданном честолюбце, стремившемся в пропасть. Как скрытно ни велась эта игра, она не ускользнула от Наполеона. Результатом была некоторая холодность в его отношениях с его прежним министром. Тем не менее, подготовляя свидание, во время которого нужно было и очаровать, и вести переговоры, император считал, что Талейран может быть ему полезен при выполнении той и другой задачи, и как искусный редактор, и как увлекательный собеседник. Решив взять его с собой в Эрфурт, он сперва воспользовался им для подготовления своего дела. Он полностью посвятил его в тайну наших сношений с Россией, разрешил взять для справок из государственной канцелярии донесения Коленкура, ноту Румянцева о разделе, различные записки Шампаньи, географические и статистические труды Барбье дю Бокаж[1]. По его мнению, из этих бумаг князь почерпнет данные для тех решений, которые придется предлагать в Эрфурте; во всяком случае, он будет осведомлен, как вести разговор с русским государем и его кабинетом. В то же время одному из светил департамента, Готриву, было поручено представить письменно, так спешно, как только допускала обширность такой задачи, соображения по поводу раздела Востока. Готрив лихорадочно взялся за работу, и начал с того, что представил записку в пятнадцать страниц.

Поседев на изучении политических задач, воспитанный в разумных и охранительных принципах нашей прежней школы, ученик Талейрана, Готрив ненавидел идею о разделе Турции. Но, с другой стороны, он знал, что император упорно держался за нее. Ему были известны статьи тильзитского договора, равно как и содержание совещаний, происходивших в Петербурге, и он считал, что эти предварительные переговоры заранее предрешали вопрос. Он с особым усердием постарался, — о чем свидетельствуют его усилия, — втиснуть в рамки своих принципов проект, который был само их отрицание. Благодаря такому разладу, его вывод опровергает положения, высказанные им вначале; на поставленный вопрос: следует ли уничтожить Турцию? — он отвечает: да, после устранения всех доводов в пользу противного мнения.

В целом ряде пространных, но бедных идеями, рассуждений, он установил в принципе, что раздел чреват самыми роковыми последствиями, — возможно ли его избегнуть? — Для борьбы с Англией, незаконно завладевшей морями, — пишет он, две великие континентальнве державы, Франция и Россия, поставлены в необходимость принять на себя не имеющую пределов систему параллельного территориального расширения. Турция, стоящая на пути, которым они должны идти, чтобы нанести поражение их врагу в Индии, является в настоящее время первым государством, которое должно испытать на себе применение этого агрессивного обязательства. Следовательно, Турции суждено пасть. Однако, Готрив высказывает желание, чтобы раздел был допущен, «как простой проект, исполнимый только при лучших обстоятельствах»[1]. Прилагая к своей записке набросок предварительного договора, он в крупных чертах указывает в нем весьма простой и скорый способ, которым можно воспользоваться для определения долей. Пусть Балканский полуостров, — говорит он, — будет пересечен надвое, по проведенной с севера на юг черте, по меридиану от Никополя на Дунае до соответствующей точки на Эгейском море. Все части на восток от этой черты, включая Константинополь и Дарданеллы, должны быть предоставлены России, западная половина будет разделена между Францией и Австрией, Франция оставит за собой право определить долю Австрии, но во всяком случае, возьмет себе Египет и острова. В заключение Готрив предлагает, чтобы план раздела, отложенный пока на будущее время, и только, как дело, возможное при известных условиях, был сообщен Англии нотою, «как мера предупреждения, как угроза, которая будет

---

[1] В национальных архивах хранится собственноручное письмо, в которм Талейран, с разрешения императора, просит о передаче ему документов и свидетельств, удостоверяющее, что они были ему переданы. IV, 1696.

[1] Archives des affaires étrangéres, Franc et divers États de Europe, 268. Memoires et documents, Paris, 23.

немедленно приведена в исполнение, если она не окажет на Англию надлежащего действия, и не сломит упорства ее правительства, которое не соглашается дать Европе и народам мир, в котором все так нуждаются».

Как ни велика была неопределенность этого проекта, в котором все предоставлялось будущему, он не отвечал уже теперешним желаниям императора. Правда, он не отказался от мысли поддерживать надежды Александра на разделе, но самый раздел должен был отступить в далекую и туманную даль; он уже не хотел, даже условно, давать обязательства по этому делу, а тем более, связывать себя какой-либо статьей договора. По-видимому, его решение на этот счет установилось под влиянием его разговоров с Себастиани. Если верить автору, который был в курсе дворцовых событий[1], Себастиани три дня подряд приглашался на совещания. Вначале Наполеон все еще сочувственно относился к идее о разделе. Он признавал, что главным препятствием была Австрия; он раздражался; говорил, что нужно уничтожить это препятствие, чтобы на развалинах старой Европы остались только две империи, два колосса, Франция и Россия, окруженные их вассальными королевствами. Затем, спускаясь с этих головокружительных высот, он возвращался к практическому изучению проекта при настоящем положении вещей. Тогда Себастиани выдвигал технические соображения, доводы военного человека военному. По его мнению, для нападения на Турцию Франция будет вынуждена удлинить сверх всякой меры свою операционную линию, следовательно, сузить ее и растянуть. Проведенная «от Парижа до Афин»[2], пересекая Италию, огибая Адриатику, углубляясь «в мало исследованные страны Албании и Греции, эта линия, сжатая и сдавленная между морем и Австрией, подвергалась бы всегда опасности быть прерванной, была бы под угрозой внезапного нападения, зависела бы от вероломной воли, — все это было более чем вероятно при прошлом и настоящем настроении венского двора. Император был поражен этим возражением и признал его неопровержимым. Тогда, быстро переходя к другому

[1] Le géneral de Ségur Histoire de Hanoleon pendant l'année 1812, I, 35. Gf. Thibaudeau, IV, 33.
[2] Ségur, I, 34.

решению, он высказал, что он надеется и думает добиться всего от Александра, пожертвовав только княжествами.

И, в самом деле, он хотел сделать из этой уступки новую основу своих соглашений с русским императором. Но было бы ошибкой приписывать ему намерение дать своему союзнику, хотя бы и ограниченное, но немедленное удовлетворение, — поставить факт на место надежд. В конце концов он остановился на мысли подписать такой договор, по которому княжества были бы только обещаны царю, но не предоставлены ему теперь же во владение, и по которому этой ценой обеспечивалась бы за нами свобода действий в Испании и полное содействие России против Австрии, т. е., акт очень неопределенный в деле уступок с его стороны и крайне положительный по его требованиям. В таком смысле Талейрану было поручено составить целый ряд статей. Итак, Наполеон хотел проделать в Эрфурте то же самое, что и в Тильзите; он имел в виду только в более определенной форме высказаться о признанных за Россией выгодах, но все еще не придавая им бесспорного характера.

Талейран исполнил приказания своего повелителя. Тем не менее, осведомленный о русских вожделениях, узнав из прочитанной переписки Коленкура, как горячо желали раздела Александр и, в особенности Румянцев, он не переставал бояться, как бы результатом свидания не были крупные перемены. Чтобы их предупредить, он прибег к окончательным путям и постарался вызвать внешнее давление. Как и всегда, он надеялся на Австрию. Он хотел бы, чтобы Франц I, неожиданно явившись на свидание императоров в Эрфурт, заставил бы их принять себя как третьего участника в совещаниях, с тем, чтобы опираясь на свои восстановленные военные силы, поддержать в Эрфурте дело умеренной политики и существующих прав: «Ничто не может свершиться в Европе, — говорил Талейран Меттерниху, — без содействия или противодействия австрийского императора. В настоящем случае я желал бы, чтобы приезд императора Франца подействовал, как тормоз»[1].

Меттерних был поражен этой идеей и поспешил со-

[1] Metternich, II, 223.

общить ее своему двору. Затем, так как оставалось слишком мало времени для получения инструкций, он, как человек предприимчивый, который, не колеблясь, ловит случай на лету, взял на свою ответственность обратиться к Наполеону с просьбой о разрешении ему сопутствовать императору французов во время его поездки. Ему в самой любезной форме ответили отказом. Наполеон опасался, чтобы присутствие Австрии в Эрфурте не повело к сближению ее с Россией. К тому же, ввиду характера наших отношений с Александром, необходимо было, чтобы предположенное восемь месяцев тому назад совещание было исключительно франко-русским и чтобы всякому обмену мыслей между тремя великими континентальными державами предшествовало дружеское соглашение между императором и царем.

Наступил час отъезда. 23 сентября в Сен-Клу император садится в карету. Его министры, Шампаньи с канцелярией, Талейран со своим верным Ла-Бернардиером, отправились вперед. До отъезда Талейран, чтобы быть готовым ко всяким случайностям, разрешил Готриву, оставшемуся в Париже, приготовить и прислать ему план раздела, более подробный, чем его прежний набросок, но составленный в том же духе; ибо во всяком случае разговор будет идти о разделе Турции, притом в срок и на условиях, о которых уже велись переговоры. Готрив снова берется за перо и набрасывает на бумаге новый проект. В благородном стремлении водворить порядок в Европе и обеспечить ей нормальное существование, он желал бы, чтобы переговоры в Эрфурте положили основание этому великому делу. К статьям, относящимся к Турции и Англии, он прибавляет некоторые статьи, имеющие общее значение, применимые всецело к характеру наших отношений с Россией. 23 сентября он отправляет в Эрфурт князю Беневентскому свой проект с препроводительным письмом. Из него видно, что, на основании всех переговоров за этот год, он в это время считал невозможным избегнуть в более или менее близком будущем раздела Турции и больших военных операций в Азии.

«Предназначенный к выполнению план и экспедиция в Индию, — писал он Талейрану, — дела, при известных условиях, возможные, и, во всяком случае, дело мудрой политики установить их, как таковые, теперь же, впредь до времени их осуществления. Настолько я понимаю это дело, нет сомнения, что все это совершится. Оттоманская империя будет разделена, и мы сделаем поход в Индию. Каковы бы ни были последствия этих двух великих событий, они неизбежны; но нужно все сделать, чтобы они не наступили слишком скоро; нужно все сделать, чтобы выиграть время для того, чтобы обратить их в пользу континента, и, в то же время, нужно все сделать, чтобы они сделались главным предметом действительного и обоснованного страха Англии. В этом всецело узел затруднений. Именно в едва уловимой связи этих двух планов гений и мудрость императора должны найти разрешение современных затруднений. Я все сказал по этому предмету. Я хочу дать отдых моему уму и с живейшим беспокойством буду ожидать известий из Эрфурта. Никогда еще никакое имя не производило на меня такого впечатления, как это варварское название. Я не могу думать о нем без страха и надежды. С ним связаны судьбы Европы и всего света, будущее могущество европейской политики и, быть может, европейской цивилизации»[1].

II

ВСТРЕЧА

14 сентября Александр выехал из Петербурга, напутствуемый слезами и увещаниями своей матери. При дворе и в городе говорили, что царь не вернется из Германии; что ему устроена западня; что Наполеон прикажет его увезти и поселить во Франции, так же, как испанских Бурбонов; что Эрфурт будет второй Байонной. Эти слухи дошли до Гатчины, где императрица-мать проводила лето, и не на шутку встревожили ее. Уверяют, что в минуту прощания она будто бы сказала гофмаршалу Толстому, уезжавшему с Его Величеством: «Вы ответите за это путешествие пред императором и пред Россией»[2].

---

[1] Archives des affaires étrongéres, Memoires et documentum, Russie, 32.

[2] Коленкур императору, 5 ноября 1808 г.

Александр ехал быстрее «всякого курьера», без всякой пышности, в простой коляске[1]. Он не взял с собой своего придворного штата; его спутниками были только гофмаршал, флигель-адъютант и лейб-хирург. Его брат Константин и лица, которые должны были в Эрфурте состоять при его особе, уехали раньше. Между ними были прокурор Святейшего Синода князь Голицын, несколько генерал-адъютантов и среди этих родовитых вельмож Николай Сперанский, сын простого священника. Этот молодой человек, с оригинальными и глубокими взглядами, человек сильной воли и почти апостольского энтузиазма, в короткое время сделался любимцем царя и поверенным его преобразовательных стремлений. С его помощью Александр надеялся провести в администрации и правительстве упорно желаемую им реформу и осуществить свою благородную мечту. В 1808 году Сперанский был на заре своей карьеры; его только что произвели в тайные советники и в статс-секретари. Александр желал, чтобы он видел Наполеона, чтобы услышал те обаятельные речи, в которых император французов подробно излагал свой образ правления; чтобы он вступил в его великую школу, в которой вырабатывались порядок и метод. Сперанскому в Эрфурте предназначалась только роль слушателя, для помощи же в переговорах царь рассчитывал на Румянцева. Вполне естественно, что и Коленкур участвовал в путешествии. Александр милостиво пригласил его, а Наполеон считал полезным его присутствие при свидании.

Первая остановка в этом подававшем столько надежд путешествии была тягостна. Прежде чем вступить в переговоры с гением, с баловнем счастья, Александр не мог избавиться от необходимости отдать визит людям в несчастье. Проездом через Кенигсберг, он остановился в нем на два дня. В печальной столице, где всюду чувствовалась нищета, постарались, тем не менее, достойно принять его и даже дать впечатление великой державы. Состоялся торжественный въезд, на пути государей были выстроены войска; был дан обед-гала во дворце. Вечер второго дня был проведен в тесном семейном кругу. Фридрих-Вильгельм увез своего гостя в загородный дом, купленный им для себя в окрестностях города. В этом скромном убежище прусский король находил удовлетворение своим чисто мещанским вкусам, и, созерцая природу, забывал об удручающих его думах. При всяком удобном случае Александр выказывал свою обычную рыцарскую любезность: он был внимателен к дамам, любезен со всеми. Узнав некоторых из своих сотоварищей по оружию в 1807 г., он для каждого из них нашел милостивое слово. Дело Пруссии, которое он обещал защищать в Эрфурте, по-видимому, внушало ему самое живое участие; но в общем, казалось, что его твердость не будет на высоте его добрых намерений. В своей семейной хронике о дворе графиня Фосс передает слухи о такого рода разочаровании, хотя она, подобно всем дамам, и была сторонницею Александра. Она находила его очаровательным, но таким слабохарактерным[1]. Только один министр Штейн вынес лучшие надежды. Он уловил в Александре возрастающие опасения по поводу наполеоновского честолюбия и считал, что бедствия Пруссии возбудили в нем искреннее чувство жалости[2].

Наполеон предвидел это впечатление — это было неизбежное зло. Однако, случай доставил против него целебное средство. За несколько недель до этого французская полиция в Берлине нашла у одного обвиненного в шпионстве прусского агента письмо Штейна к князю Сайн-Виттегенштейну. Это письмо доказывало, что Пруссия не только лгала, уверяя в своем раскаянии, но и старалась поддерживать смуту и разжигать возмущение в новом Вестфальском королевстве. Император с гневом и презрением прочел перехваченное письмо. «Пруссаки, — сказал он, — жалкие и дрянные людишки»[3]. Он решил потребовать отставки и изгнания Штейна, лишить его права проживать в сосед-

[1] Коленкур императору, 23 сентября 1808 г. «Император, — писал Коленкур своему повелителю, — решил не брать ни своего штата, ни кухни. В этом он рассчитывал на Ваше Величество; он каждый день воздает вам хвалу; хвалит также ваше вино, даже шампанское, которое раньше никогда не пил». 24 марта 1808 г.

[1] Neun und Sechszig Jahre am Preussichen Hofe, с. 237.

[2] Hassel приводит на с. 547 письмо Штейна, написанное в таком смысле: «Он видит, — говорит прусский министр, говоря об Александре, — какой опасностью угрожает Европе честолюбие Бонапарта, и я думаю, что он согласился на свидание только ради сохранения еще на некоторое время внешнего мира».

[3] Наполеон Сульту, 4 сентября 1808 г., неизданное письмо. Archives nationales, AF, IV, 878.

них государствах, поставить его вне европейского закона; но, в то же время, умея искусно пользоваться всеми, даже внушающими ему брезгливое чувство обстоятельствами, он сумел извлечь выгоды из доставленного ему документа. Он использовал его сперва для ускорения подписи соглашения от 8 сентября, пригрозив в Париже принцу Вильгельму и прусскому посланнику, что прервет переговоры и подвергнет их страну суровому режиму, теперь более, чем когда-либо, оправдываемому, если они немедленно не согласятся исполнить его волю, а затем приказал напечатать письмо Штейна в Journal de l'Empire, сопровождая его ядовитыми комментариями[1]. Кроме того, он приказал переслать Коленкуру письмо в качестве вещественного доказательства. Посланник должен был показать его во время самого путешествия сперва Румянцеву, а затем и императору Александру, как противоядие от впечатлений их пребывания в Кенигсберге. Царь получил известие об этом случае тотчас по выезде из Кенигсберга. Он был удручен им и сразу же понял, что Пруссия сама доставила против себя страшное оружие. «Это потемнение разума, — сказал Румянцев, — и при том необъяснимое»[2].

Как только Александр переправился через Вислу, он заметил наши флаги и мундиры. Немного далее, в Фридберге, его приветствовал маршал Ланн, которого он взял к себе в коляску и с которым завязал дружеский разговор. Когда иностранец, хотя бы то был государь, встречается с французом, он почти немедленно начинает говорить с ним о Париже. Александр не нарушил общепринятого обычая. «Он много говорил мне о Париже, — писал маршал, — он даже сказал мне, что если дела устроятся так, как он надеется, он чрезвычайно желал бы посетить нашу столицу и подольше побыть с императором Наполеоном»[3]. Он без устали говорил о своей привязанности к императору французов и не только любовался, но и интересовался нашими войсками. На Висле он обратил особое внимание на 26-й полк легкой пехоты и 8-й гусарский

[1] Voy. Le Journal de l'Empire (Journal des Debats) du 9 septembre 1808.
[2] Коленкур императору, 23 сентября 1808 г.
[3] Письмо маршала было опубликовано M. R. Buttard des Portes в Revue d'Histoire diplomatigue, janvier 1890, 143—144.

полк за их «выправку»[1]; в Кюстрине он пожелал остановиться на несколько часов, чтобы видеть стоящую в нем гарнизоном кирасирскую дивизию. Впрочем, были приняты меры, чтобы наиболее выдающиеся по военной выправке или по красоте обмундирования полки были показаны ему на многих остановках его пути. Стоящие вне всякого сравнения войска были расставлены шпалерами от города до города, вдоль всего его пути через Германию.

По мере приближения к цели царь ехал быстрее. Не заехав в Берлин, промчавшись через Лейпциг, он остановился только в Веймаре, совсем возле Эрфурта: он хотел там отдохнуть несколько часов и «сделать свой туалет»[2], прежде чем отправиться к месту свидания, где Наполеон должен был уже ждать его и принять 27-го.

Расположенный на полпути между Рейном и Эльбой, в одной из местностей Германии, где скрещиваются несколько путей, древний ганзейский город Эрфурт был некогда обязан своим значением и богатством своей торговле. Позднее, вместе со свободой исчезло и его оживление; древний город заглох под управлением духовного князя, а затем был присоединен к Пруссии. После Иены он остался в ведении императора в числе военной добычи, которую он удержал за собой для того, чтобы потом распределить по своему усмотрению. Он ожидал своей участи, не зная, будет ли он саксонским или вестфальским городом, будет ли оставлен князю-примасу или отдан какому-нибудь великому герцогу, когда узнал, что земные владыки назначили себе свидание в его стенах, и что в нем будут обсуждаться дела, имеющие мировое значение. Прежде всего, известие об этом его смутило. Мирный город Эрфурт, население которого состояло из горожан и чиновников, не претендовал на столь высокое положение, да к тому же и устройство его совершенно не годилось для его новой роли. Очевидно было, что его извилистые, плохо мощеные, не освещавшиеся по вечерам улицы и неправильные площади были мало пригодны для процессий и движения войск. Его узенькие дома с остроконечными коньками, с живописными фасадами, которые искусство шестнадцатого века украсило нежной

[1] Письмо маршала Ланна.
[2] Колекур императору, 23 сентября 1808 г.

лепной работой, если до сих пор и были достаточно просторны для того, чтобы укрывать под своей кровлей роскошную семейную обстановку богатых горожан, вовсе не отвечали требованиям блестящей жизни двора. Что за дело! хозяин так приказал. Эрфурт не принадлежал себе. Он должен был предоставить себя в распоряжение владыки и изменить весь строй своей жизни, сделаться на несколько дней столицей и приспособиться к почестям и обязанностям, связанным с его непредвиденным назначением.

Сперва им завладел военный элемент; всюду появились войска. В крепости — артиллерия с генералом графом Удино, комендантом крепости; в городе отборные войска, в окрестных деревнях — расставленные по квартирам пехотные полки. Сперва горожане с восхищением смотрели, как проходили наши великолепные войска, но потом сообразили, что им, пожалуй, придется снабжать их съестными припасами и отводить им квартиры; это соображение умерило их восторг. За нашествием солдат последовало нашествие чиновников, агентов и рабочих. Они являлись длинными вереницами, приводя с собой обозы с дорогими вещами. Их руками все было исправлено и украшено. В княжеском дворце прежняя мебель была заменена обстановкой в современном стиле; античные вещи были подновлены, появились бронза, вазы, статуи; стены зал, украшенные легкой лепной работой, скрылись под тяжелыми материями и гобеленами. Портреты прежних князей, герцогов в фалборках, с улыбками на напудренных лицах, уступили место эмблемам империи; орлы и золоченые пчелы были всюду рассыпаны по пурпурным обоям. Старый, заброшенный и превращенный уже в сарай, придворный театр снова засверкал свей подновленной позолотой; некоторые дома горожан, отведенные под квартиры гостям императора, украшались роскошно и принимали вид дворцов[1].

К этим нескрываемым приготовлениям присоединились тайные меры предосторожности. В Эрфурте, как и везде в Германии, были недовольные; их число увеличивалось с каждым днем. Их называли их родовым именем — пруссаками, ибо взоры и надежды их инстинктивно устремлялись к Пруссии. Важно было учредить над ними надзор. Во время свидания же-

[1] Донесения полиции. Archives nationales, AF, IV, 1696.

лательно будет следить за состоянием умов и направлять их надлежащим образом, и с этой целью императорская полиция, роль которой в правительстве усиливалась с каждым днем, поставила на ноги все свои резервы. Париж прислал полный комплект служащих, другой был организован на месте, набран в стране[1]. Его составили из разного рода агентов, тайных и явных, состоящих на службе и из добровольцев. Блюстители замечали злонамеренных, следили за их поступками, проникали во все собрания, подслушивали, что говорилось в частных кружках, в кофейнях и «казино». Каждый день их задача становилась тяжелее, ибо население Эрфурта на глазах у всех удваивалось и утраивалось. Двадцать городских гостиниц брались с боя, частные дома были переполнены. Каждый час прибывали новые лица; вчера — группа дипломатов, приехавшая до своих государей; сегодня — Comédie française, приглашенная в усиленном составе, в числе тридцати двух человек; затем любопытные, чиновники в отпуску, профессиональные игроки, люди ничем не занятые, приехавшие с германских вод, из Карлсбада и Теплица, из всех увеселительных и общественных мест которые Меттерних называл «кафе Европы»[2]; наконец, среди этой жужжащей и разношерстной толпы появились люди, обращающие на себя внимание: важные особы всякого рода, маршалы империи, владетельные принцы и короли.

Первые слухи о свидании вызвали при германских дворах большое волнение. Наиболее значительные из них оказались в наиболее затруднительном положении. Короли Баварии, Саксонии, Вюртемберга, — короли милостью Наполеона, — желали выразить свое уважение и преданность их вождю и государю, покровителю Конфедерации. Но, может быть, императоры предпочтут быть только вдвоем, и присутствие королей может вызвать их неудовольствие, помешать их дружеским беседам, так как, по своему официальному званию, короли имели право на приличествующие им почет и место рядом с Наполеоном и Александром? Короли оставались в нерешительности, колеблясь между

[1] Archives nationales, AF, IV, 1696. Брокгаузен прусскому королю, 20 сентября 1808 г. Hassel, 512.

[2] Меттерних Шампаньи, 3 августа 1808 г. Archives des affaires étrangères, Vienne, 381.

желанием угодить императору и боязнью его стеснить. В конце концов, они решили написать императору и представить вопрос на его благоусмотрение. Они сообщили ему о своем желании и о своих сомнениях, и почтительно просили допустить их в Эрфурт. Великий герцог Баденский, который по своему преклонному возрасту не мог приехать, старался извиниться письмом, написанным в особенно униженной форме, в котором он выражал повелителю «чувства глубокого благоговения» и «свои неизменные пожелания ему славы и сохранения его драгоценного здоровья»[1]. Таков был тон, который царил между императором и его крупными германскими вассалами.

Наполеон позволил королям приехать в Эрфурт. Первыми получившими ответ были короли Саксонский и Вюртембергский; они отправились тотчас же. Так как ответ королю Баварскому немного запоздал, то он испытывал страшное беспокойство. Он собственноручно написал нашему посланнику, аккредитованному при его дворе, следующую записку: «Король Саксонский со вчерашнего дня в Эрфурте. Мой зять герцог Баварский сообщает мне, что он тоже едет туда. Неужели я один буду исключен? Я знаю, что Император относится ко мне дружелюбно; смею льстить себя надеждой, что он считает меня среди самых верных его союзников; несмотря на все это, если он не пригласит меня к себе, хотя бы на двадцать четыре часа, он до некоторой степени, умалит мое политическое значение и огорчит меня лично. Если вы найдете, что эти соображения не прогневают Его Величество, я уполномочиваю вас, господин Отто, довести их до его сведения»[2]. Когда Максимилиан — Иосиф, узнал, наконец, что император позволяет ему явиться, он был вне себя от радости. «Никогда Его Величество, — писал Отто, — не казался мне более довольным и более веселым»[3].

Что же касается князьков, которых имелось в Германии в изобилии, их ничтожество избавляло их от всякого затруднения. Они явились без предварительного извещения, зная, что их присутствие никого ни к чему не обязывает, и в надежде, что и на них падет

[1] Archives nationales, AF, IV, 1696.
[2] Archives des affaires étrangères, Baviere, 184.
[3] Ibid. Отто к Шампаньи, 30 сентября, 1808 г.

взор повелителя. Они понаехали со всех концов, с севера и юга; они приезжали или в одиночку, или с семействами, и их имена стояли вперемежку в списке иностранцев, добивавшихся милости быть представленными Его Величеству, наряду с польскими полковниками и немецкими графинями. Каждый из них был одновременно и льстецом, и просителем. У каждого свое прошение, своя просьба. Кто хочет город, кто денег, кто титула или какой-либо милости. Никто не желал сделать бескорыстного путешествия и вернуться с пустыми руками. Герцог Ольденбургский просит вернуть ему несколько клочков земли за счет Голландии; герцог Веймарский просит Эрфурт; герцог Кобургский — Байрейт и Кульмбах, «с таким округлением, чтобы привести их в непосредственное соприкосновение с Кобургским герцогством». Герцог Мекленбург-Шверинский просит титула великого герцога, герцог Мекленбург-Стрелицкий желает, «чтобы соблюдалось полное равенство между его домом и Шверинским. Принц де-ла-Тур-и-Таксис желает вознаграждения за потерянные им, благодаря новому устройству имперских почт, доходы. Герцог Александр Вюртмбергский желает аббатства в вознаграждение за потерю своих уделов»[1].

Тем не менее эти затерянные в толпе посетителей принцы старались отличаться от нее роскошью своих уже вышедших из моды ливрей и экипажей и обилием придворного штата. Вместе с ними снова появились придворные чины и титутлы феодальной Германии. Собравшихся в Эрфурте, насквозь пропитанных чванством камергеров, тайных советников, обер-шталмейстеров было несчетное число. Но, как только появлялся француз, более или менее близкий к императорской свите, каждый из них старался почтительно держаться в сторонке, — до такой степени было врожденно у немцев поклонение силе. Старый режим преклонялся перед новым; принципы царствующего дома давали дорогу герцогам, созданным Наполеоном. Чтобы на чем-нибудь сорвать злобу за такое общее унижение, они соперничали между собой, воскрешали старые претензии и старые ссоры; эти статисты шумно толкались

[1] Список просьб немецких принцев, составленный Шампаньи, Archives nationales, AF, IV, 1696.

на сцене в ожидании, когда появление главных актеров заставит их замолчать.

Наполеон приехал 27-го утром, неожиданно, как простой путешественник, сопровождаемый только князем Невштательским. Красивые эскадроны его гвардии скакали вокруг его кареты. Вид этих воинов, героев сказочных подвигов, этой живой легенды, произвел на народ свое обычное, захватывающее впечатление. Наполеон не пожелал, чтобы ему был сделан официальный прием. Были приготовлены триумфальные арки, — он приказал их отменить. Он хотел, чтобы все почести, все знаки внимания были общими для обоих императоров, и отказался преждевременно принять на свой счет хотя бы ничтожную их часть. Он поместился во дворце, отправил некоторые приказания, написал Камбасересу, отдал визит королю Саксонскому; затем сел на коня и со всем своим придворным штатом поехал навстречу русскому императору.

На некотором расстоянии от города показалась ехавшая с противоположной стороны коляска Александра, окруженная группой блестящих офицеров. Александр вышел из коляски, Наполеон сошел с коня. Оба императора пошли друг другу навстречу, обнялись, затем, в продолжение нескольких минут обменивались сердечными приветствиями, как друзья при радостной, давно желанной встрече. По знаку Наполеона, Александру подвели коня с седлом, на каком обыкновенно ездил царь, убранного по-русски чепраком из горностаевого меха. Александр сел на него, Наполеон на своего коня; их свиты смешались, и, составив одну колонну, все направились в город, готический силуэт которого обрисовывался вдали.

Войска в парадных мундирах были собраны у въезда в Эрфурт. Артиллерия гремела непрерывными залпами, старые крепостные орудия отвечали французским батареям, а в промежутках между оглушительной пальбой в воздухе разносился со всех церквей, со всех башен торжественный и ясный звон колоколов. С высот, окружающих Эрфурт и представлявших природные трибуны, несметная толпа любопытных любовалась величественным зрелищем, приближавшимся к городу. Позади стальных рядов кавалерии авангарда виднелись блестящие чины свиты, — снежная белизна султанов, блестящие мундиры, золотое шитье и цвета лент больших орденов, начиная с красной ленты Почетного Легиона до голубой ленты ордена Андрея Первозванного; мало-помалу впереди группы начали выделяться оба императора. Они ехали рядом. Александр, изящный в темно-зеленом общегенеральском мундире, ловко управляя своим конем, ехал по правую руку; его высокая и стройная фигура была выше фигуры его союзников. Однако, все взоры привлекал и приковывал к себе небрежный всадник, казавшийся сгорбленным, благодаря своей короткой и коренастой фигуре, в простом мундире стрелков французской гвардии,— то был Наполеон. Рядом с ним меркло всякое величие, всякое великолепие, ибо его бессмертные дела, окружая его своим блеском, указывали на него народам и были его волшебными спутниками[1].

Въезд в город был торжественный. Барабаны били поход, знамена склонялись, и, по мере того, как перед войсками проезжали свиты обоих императоров, в рядах поднимались возгласы: «Да здравствуют Императоры!» В продолжение дня Наполеон и Александр показывались несколько раз с многочисленной свитой, и народное любопытство было удовлетворено в избытке. Возле императора отыскивали и старались разглядеть знаменитых высокотитульных людей, тех генералов, которые носили прозвища по их победам, сынов народа и победителей королей, тех преданных слуг, которых народное воображение никогда не отделяло от Наполеона и всегда ставило рядом с ним: Ланна, Бертье, командира стрелков Дюрока, Коленкура, снова принявшего на себя обязанности обер-шталмейстера. Министров, государственных людей было труднее найти в глубине их карет; называли Талейрана, Шампаньи, Румянцева. Формы французских сановников и русские мундиры поражали своей новизной. В ход пошли анекдоты. Манера держать себя, малейший жест обоих государей находили своих истолкователей; передавали, что они все время дружески разговаривали, что на их лицах были написаны сердечность и доверие, и что они под руку вошли в дом, предназначенный императору Александру. Эти обстоятельства принимались за счастливые предзнаменования и уменьшали опасения за будущее. Но после того, как стало известно, что император, по случаю

---

[1] Thibaudeau, IV, 58 и след., неизданные документы.

радостного прибытия, освобождает жителей об обязанности давать квартиру и провиант войскам, ничто более не мешало полному удовлетворению: вид города, по донесению одного полицейского с претензиями на красноречие, «давал сладостное удовлетворение наблюдателю»[1]. Вечером в иллюминованном городе гарнизон и народ общими группами ходили свободно по улицам, и ничто не нарушало порядка. Спокойствие было полное, восторг казался единодушным; каждый оставался под впечатлением событий дня и незабвенного величественного зрелища[2].

На другой день оба императора установили порядок дня на время своего пребывания вместе. Они условились, что каждый из них предоставит себе утро для личных дел; время после полудня будет посвящено вопросам политики, приемам монархов и высокопоставленных лиц и прогулкам; вечер — свету и развлечениям. Этот же день был отмечен замечательными событиями. Прибыл чрезвычайный австрийский посол, генерал барон Винцент, с письмами своего государя к Наполеону и Александру, и то и другое сердечные, но бессодержательные. Очевидно, что, под видом этого дружеского шага, Франц I, отчасти по совету Талейрана, хотел обратить на себя внимание императора и косвенно вмешаться в их переговоры. Наполеон немедленно дал аудиенцию барону Винценту и при торжественной обстановке принял его послание.

Этот момент и выбрал придворный художник для того, чтобы в сцене, воспроизводимой его воображением на картине, сохраняемой в музее нашей славы, искусно сгруппировать главные лица, собравшиеся в Эрфурте, в тех позах, которые им приписываются рассказами современников и легендами. Прием происходит в кабинете императора. Возле массивного стола стоит император. Его, с печатью думы, озаренное славой чело слегка наклонено; рука величественно протянута за письмом, которое подает ему с глубочайшим поклоном барон Винцент. В нескольких шагах император Александр с довольным взором созерцает эту подающую надежду на мирный исход сцену; его поза дает полную возможность любоваться тонким

---

[1] Донесение полиции от 29 сентября.

[2] Донесение коменданта крепости, донесения полиции. Archives nationales, AF, IV, 1696. Thibaudeau, loc. cit.

очертанием его профиля, его благородной и изящной осанкой. На втором плане между обоими императорами виден Талейран; его темный с голубым шитьем костюм вносит скромную нотку в среду блестящих мундиров; напудренные волосы смягчают жесткое выражение его лица и напоминают былую красоту; помещенный позади стола, он, по-видимому, ограничивается ролью беспристрастного секретаря; он как бы готовится писать под диктовку обоих императоров и составит акт принятых ими решений. В глубине зала виднеются короли, немецкие принцы и министры; затем Дюрок, Бертье, Маре, Коленкур, другие слуги императора; наконец, граф Румянцев и великий князь Константин, татарское лицо которого выступает в полумраке. Все эти лица сгруппированы в разных позах, но таким образом, чтобы составить круг царедворцев около императора, который занимает середину сцены и привлекает и сосредоточивает на себя всеобщее внимание. Лица, так же, как и костюмы и аксессуары, воспроизведены с исторической верностью: каждая фигура — портрет. Что же касается выражения лиц, художник — сознательно или бессознательно — изображает их нам с тем выражением, которое они принимали для парадных сцен, следовавших одна за другой в Эрфурте, т. е. холодными, бесстрастными и торжественными. На лицах всех присутствующих выражение казенной приятности, то выражение удовольствия по обязательствам службы, при котором неуловимы внутренние чувства, которые волнуют их и заставляют биться их сердца. Попытаемся же под этой деланной внешностью добраться до душевных состояний. Попробуем у этих лиц, большинство которых будет в Эрфурте играть роль и оказывать свое влияние, выделить пылкую игру их страстей, их ненависти, их вожделений, готовых слиться воедино или бороться, соединиться на общей почве интриг или с любезностью царедворцев начать упорную борьбу.

Австрийский посол, согнувшись в робкой почтительной позе, выражает только притворную покорность, принятую императором с недоверием. Наполеон хочет судить об Австрии по ее поведению, а не по словам; он не получил еще никакого убедительного доказательства ее добрых намерений. Сам барон Винцент — враг; наш посланник в Вене, оповещая об этом, указывает на него, как на наперстника и креа-

туру Стадиона, этого неисправимого нашего противника[1]. В Эрфурте барон Винцент будет, главным образом, в качестве соглядатая; ему поручено разузнать секрет обоих императоров, проникнуть в тайну их совещаний и, если возможно, вырвать Александра из-под влияния Наполеона. Он уже позондировал почву, и почуял поддержку для достижения своей задачи, обнаружив среди самих же французов помощников и такого союзника, лучше которого не мог желать.

Точно так же князь Талейран, который только старается делать вид, что держится в стороне и отходит в глубину сцены, намерен, оставаясь в тени, играть выдающуюся роль и вести свою собственную линию. Эрфурт — та почва, на которой завяжется решительная игра, в которой он принимает участие уже несколько месяцев; с этого времени он находится в рядах скрытых, но бесспорных врагов своего повелителя, и является сюда не с целью служить его воле, а с целью составить заговор против его планов. У него на первом плане — вести переговоры о своем обособленном личном мире с Европой, скрепить свои добрые отношения с Веной и заручиться доверием царя для того, чтобы застраховать себя от опасностей в будущем. В Эрфурте он вступает с Александром в сношения, которые шесть лет спустя позволят ему воздать русскому монарху почести от имени взятого Парижа.

Его изменой руководили и другие, более возвышенные побуждения. Видя со справедливым ужасом, как Наполеон все более стремится к невозможному и идет к верной гибели, но неправильно оценивая роковые потребности, управляющие политикой императора, он считал, что существовало только одно средство остановить его и умерить его пыл, и что таким средством было — поддержать мужество других государей и убедить их стойко сопротивляться ему. Он становится в противные ряды, на сторону иностранцев, и изменяет его делу, обольщая себя мыслью, что служит его интересам. Беря противоположное направление во всем, чего желает и чего добивается император, он постарается сделать так, чтобы Австрия не слишком склонялась перед ним, чтобы император Александр не вполне доверялся ему. Он предупредит

[1] Андреосси к Шампаньи, 22 сентября 1808 г. Archives des affaires étrangères, Vienne, 381.

Александра, посоветует ему не поддаваться соблазну, попытается уронить в его глазах обаяние Наполеона и будет умолять его не приносить независимости Европы в жертву своим собственным честолюбивым стремлениям. Хотя он и желает, чтобы переговоры дали результаты, и чтобы состоялось соглашение между обоими государями, но он хочет, чтобы это соглашение было неполным, было окружено предосторожностями и обставлено ограничительными условиями. По его мнению, союз с Россией должен сделаться для Наполеона не рычагом, а тормозом. Идея, которая была бы верна и глубока, если бы Англия была расположена вести переговоры, и если бы всеобщий мир зависел только от умеренности завоевателя. При существующих же условиях его идея — ложная, игра — преступная и роковая, так как Англия — она вскоре докажет это — непоколебимо решила не уступать до тех пор, пока у нее будет еще надежда на возможность разъединить континент, или пока Наполеон не соединит в своих руках для борьбы с нею всю Европу.

Тотчас же по приезде Александра Талейран испросил себе у него тайную аудиенцию, о чем мы знаем со слов Меттерниха, которому было сообщено об этом под строжайшим секретом. Чтобы приобрести доверие царя, он сделал безрассудно смелый, но крайне искусный ход — он с первых же слов отдал свою судьбу в его руки. Он сказал ему следующие смелые слова: «Государь, зачем приехали вы сюда? Вам надлежит спасти Европу, а вы достигнете этого, только ни в чем не уступая Наполеону. Французский народ цивилизован, его государь не цивилизован. Русский государь цивилизован, а его народ нет. Следовательно, русскому государю надлежит быть союзником французского народа»[1].

И в следующих беседах Талейран продолжает развивать ту же мысль. Он указывает, что просвещенная славой, утомленная победами, жаждущая покоя Франция, чтобы избавиться от новых испытаний, вверяется мудрости и стойкости Александра, и прибегает к нему, как к посреднику между нею и ненасытным гением, который ее изнуряет. Он развивает эту тему перед царем и при содействии посредников; он влагает ее в уста других лиц. Пуская в ход все средства, ко-

[1] Metternich, II, 248.

торые подсказывает ему его изощренный ум, свое обаятельное обращение и превосходное знание людей и дел, он умело вербует в свою партию самых разнородных лиц. В каждом собеседнике он находит его слабую струнку, разжигает господствующую в нем страсть, и, овладевая им, пользуется им для достижения своих целей. Ему удается сойтись с Толстым, который долго уклонялся от сближения; он поддерживает его страхи, заставляет его в пылу горячих разговоров повторить своему государю все, что заключается в его депешах. Он ухаживает за Румянцевым, очаровывает его, внушает ему свои идеи, льстя тщеславию, которое составляет преобладающую слабость престарелого государственного человека, и ослепляет его мечтой о великой роли, которую ему предназначено сыграть. Он умеет привлечь на сторону своих взглядов и превратить в бессознательных соучастников даже самых усердных слуг Наполеона. Отравдывая в маршалах, в сановниках начинающую проглядывать в них усталость и желание мирно наслаждаться приобретенным положением, он доводит до Александра отголоски их жалоб; он приучил их чтить в нем олицетворенного гения политики, и не один из них думает, что, следуя направлению, данному князем, он тем самым доказывает свою просвещенную преданность императору. Одним словом, с поразительным искусством и осторожностью Талейран работает над тем, чтобы соткать вокруг царя сеть интриг и незаметно завлечь его в свои сети. В Тильзите Наполеон победил Александра. Отчего же Талейран не может взять его в плен в Эрфурте[1].

Несмотря на знаки привязанности и дружбы Наполеона к царю, которые царь и сам расточает ему, царь взволнован и поражен доходящими до него с той стороны речами. Он сам говорит, что они кажутся ему выражением мнения «всего мыслящего о Франции»[2]; он видит в них подтверждение осаждающих его столько месяцев сомнений, непреложное доказательство его личного недоверия. Так как «даже самые просвещенные и наиболее мудрые люди Франции»[1] сами не доверяют императорской политике и не одобряют ее, его ли дело сглаживать пути не знающего границ честолюбца и помогать ему сокрушать все препятствия? Безрассудство такого попустительства представляется ему теперь доказанным. Но он не хочет отказаться от союза с Францией до получения от него выгод; он согласится продолжить опыт, но при условии, что Наполеон даст ему удовлетворение, требовать которого дают ему право оказанные им услуги и его долготерпение. Но он ждет теперь этих, столь горячо желанных, выгод уже не от дружбы своего союзника, а в силу его затруднительного положения. Он надеется, что Франция, занятая в Испании, находясь под угрозой со стороны Австрии, предоставит ему за незначительные услуги свободу действий на Дунае, позволит ему преследовать там свое честное дело и со славой окончить текущие предприятия. По достижении этого результата, он вполне избавится от зависимости и подумает о принятии окончательного решения. Итак, его желание состоит в том, чтобы Россия получила полную свободу действий для того, чтобы теперь же посвятить себя своим собственным интересам и, затем, чтобы в течение этого времени не было нанесено европейской независимости непоправимого удара. Увлекшись желанием добиться этой двоякой цели, он считает за счастье, что непредвиденные затруднения тормозят действия Наполеона, и у него все более теряется желание устранять их с его пути. Он не поддается уже тем мимолетным восторженным порывам, которые недавно заставляли его связывать свое дело с делом великого императора, и не желает входить с ним в тесное общение во взглядах и поступках. Хотя он и продолжает наружно высказывать доверие, искренность, сердечную дружбу, хотя ничто не изменилось во внешнем, воздаваемом им императору Наполеону поклонении, его вера в него близка к тому, чтобы погибнуть безвозвратно. Он еще поклоняется, но уже не верует.

Хотя в сношениях с союзником Наполеон и высказывает невозмутимое спокойствие и непринужденность, тем не менее он чувствует, что враждебные ему влия-

---

[1] Metternich, II, 247—48. Gf. les Réminiscences sur, Napoleon et Alexandre I, par la comtesse de Choiseul Gouflier, p. 168.

[2] Частное и собственноручное письмо Александра Румянцева, 19 декабря 1808 г. Archives de Saint-Pétersbourg.

[1] Александр Румянцеву, 18 декабря 1808 г. Archives de Saint-Pétersbourg.

ния оспаривают у него Александра; он замечает в нем недоверие, задние мысли; находит его «не тем, каким он был в Тильзите». Как только он свиделся с Коленкуром, он пожаловался ему и спросил у его о причине такой перемены. Коленкур смело объявил ему, что каждый считает себя под угрозой и что Россия начинает разделять общие опасения. «Какое же предполагают у меня намерение?» — спросил Наполеон. «Властвовать одному», — ответил Коленкур. — «Меня считают властолюбивым?» — улыбаясь, сказал император; но Франция достаточно велика, чего же еще могу я желать?.. Без сомнения, это все те же испанские дела». И, чувствуя в них непоправимую ошибку, и как бы испытывая необходимость оправдать себя перед другими и перед самим собою, он повторяет Коленкуру рассказ о событиях в Байонне; утверждает, что его принудила к этому сила обстоятельств; что довериться Фердинанду значило бы предать Испанию нашим врагам, открыть в нее доступ англичанам, лишить Францию ее естественной союзницы: «Разве я был не прав? Время докажет это; поступать иначе, значило бы вновь воздвигнуть Пиринеи. И Франция, и история поставили бы мне это в упрек. Впрочем, — прибавил он, — России не к лицу ставить ему в преступление, что он распорядился по-своему одним народом. Разве в ее истории нет раздела Польши?» Проникая в мысли Александра и его советников, он добавляет: «Это дает мне занятия вдали от них; это-то им и нужно; они в восторге от этого»[1].

Однако, несмотря на этот высокомерный тон и желание придать своим действиям непогрешимый характер, он отдает себе отчет в том, что испанские события, выставляя его ненасытным властолюбцем и доказывая, что он уже не непобедим, подают надежду на успех всем нашим врагам. В окружающей его низкопоклонной толпе он уже улавливает симптомы возмущения; он чувствует, что правительства и народы зашевелились под его рукой, и сознает, что великолепие Эрфурта только вуаль, наброшенная на критическое и угрожающее положение. Привыкши к победам, он надеется и теперь восторжествовать над всеми препятствиями, надеется снова овладеть Александром и

[1] Неизданные документы.

сковать Европу рукою России; но он не скрывает от себя, что борьба будет горячая, в упор; что она потребует всех его сил и ловкости. Видя, с каким невозмутимым спокойствием царит он над своим собственным из коронованных особ двором, можно подумать, что он занимается только представительством; между тем, он приготовляется к борьбе, подготовляет средства, напрягает все силы своего гения и готовится дать в Эрфурте великое дипломатическое сражение.

III

ПРЕНИЯ

С 28 сентября по 5 октября имели место главные прения, относящиеся к основам имеющегося в виду соглашения. В эти дни, когда Талейран действовал под судинку, ходил то к Наполеону, то к Александру и имел с Румянцевым тайные совещания, продолжавшиеся далеко за полночь[1], монархи обсуждали дела вдвоем, с глазу на глаз. В большинстве случаев они разговаривали, прогуливаясь взад и вперед по обширному кабинету императора. Вначале Наполеон и Александр зондировали друг друга по всем вопросам. Избегая входить в суть дела, каждый из них старался проникнуть в намерения противника, угадать его игру, не раскрывая своей. Осторожно были затронуты в общей связи все вопросы, как-то: о Пруссии, Польше, Турции и Австрии.

По вопросу о Пруссии можно было заметить, что главное затруднение будет относиться к трем крепостям, остающимся в наших руках по сентябрьскому договору. Александр настаивал на возвращении крепостей; Наполеон же хотел, чтобы Пруссия прежде всего утвердила этот договор и тем дала доказательство своей полной покорности. Если она отдастся на его милость, говорил он, он не откажется принять в Эрфурте посла Фридриха-Вильгельма; но, во всяком случае, право на окончательное решение он удерживал за собой. Не прекращая своих настояний, Алек-

[1] Донесение полиции от 4 октября: «Главным образом волнуются по поводу бесед графа Румянцева с князем Беневентским, продолжавшихся две ночи подряд до двух часов утра».

сандр приказал пригласить кенигсбергский двор дать требуемый от него залог, чтобы этим путем дать ему возможность с наибольшей пользой вступиться за него[1]. Относительно Варшавского герцогства, он во что бы то ни стало требовал гарантии; он откровенно высказывал свои опасения и свои душевные тревоги в виду возрождающейся Польши, которая в присутствии наших войск черпала удвоенную веру в свои силы и стремление к расширению своих границ. Наполеон понял необходимость принести серьезную жертву. Он обещал вывести свои войска; он сделал больше; он дал обещание, что великое герцогство ни в коем случае не будет снова им занято. Подобное обязательство не могло сделаться статьей письменного договора; достаточно было слова Наполеона, и он дал его. Это удовлетворение не уничтожило зародыша вражды, брошенного между обоими императорами созданием великого герцогства, но оно на короткое время задержало его развитие.

Еще восемь месяцев тому назад предметом обсуждения при свидании был назначен раздел Востока. В Эрфурте должны были постановить окончательный приговор судьбе Турции и распределить ее владения; решить, кто будет хозяином на Дунае, кто будет господствовать в Греции, кто присвоит себе Египет и острова; решить, может ли Константинополь войти в долю России, или эта ни с чем несравнимая позиция должна оставаться навсегда предметом желаний. Но, как известно, при том положении, которое создали императору неудачи в Испании и угрожающее поведение Австрии, он не допускал, чтобы эти громадные вопросы были разрешены или даже серьезно обсуждены в Эрфурте. В настоящее время он хотел объявить раздел несвоевременным и предложить России только княжества.

По этому вопросу он не встретил в Александре большого сопротивления. К тому же царь никогда не требовал разрушения Турции; его первоначальные виды, как он их изложил в ноябре 1807 г., не шли далее Молдавии и Валахии. Целый уже год раздел был скорее наполеоновской, чем русской идеей. Его неожиданно для Александра предложил в Тильзите император французов; в феврале 1808 г. он снова взялся

[1] Hassel, 275. Documents inédits.

за эту идею, давая ей неслыханное развитие. Тогда Александр отдался ей с увлечением, с энтузиазмом, веря, что он поведет свой народ в Константинополь и воочию покажет ему конечную цель своих честолюбивых стремлений. Но теперь, после целого ряда разочарований и под влиянием первых впечатлений в Эрфурте, он спрашивал себя, не подвергнет ли Россию всякое, совместно с Наполеоном начатое предприятие опасности быть одураченной, не окончится ли оно для нее самой горькой и самой блестящей неудачей. Без всякого постороннего влияния он пробудился, хотя и с сожалением, от волшебного сна. Опасаясь волшебной силы чарующей и обманчивой мечты, он постарался, хотя не без грусти, отрешиться от нее, чтобы вернуться к более прозаической, но более мудрой действительности. Он возвращался к мысли, что самостоятельно предпринятое расширение границ даст более верные выгоды, чем обширная система совокупных завоеваний, в которой Наполеон наверное возьмет себе львиную часть. Теперь и Румянцев присоединился к этой мысли и сделался ее защитником. Намекая на проекты раздела, которые он все еще думал найти в уме Наполеона, он писал своему государю: «Приобретение только Молдавии и Валахии, и притом без всякого сотрудничества, будет для нас гораздо выгоднее»[1]. Таким образом, Россия уже заранее свыклась с идеей частичного решения восточного вопроса, и, когда Наполеон заговорил о княжествах, царь не отказался удовольствоваться дунайским королевством, которым некогда ограничивались его желания. Итак в принципе было условлено отложить вопрос о разделе, не исключая возможности вернуться к нему при новом свидании, а в Эрфурте коснуться восточных дел только для того, чтобы установить расширение границ России до Дуная. Александр дал себе слово добиться, чтобы этой уступке был дан бесспорный и точный характер; Наполеон же надеялся ослабить ее значение или, по меньшей мере, отсрочить ее исполнение некоторыми ограничительными статьями.

Итак, раздел был отложен. Но нужно ли было в силу этого отказаться от преследования иными способами той главной цели, для достижения которой

[1] Румянцев императору Александру, 15—27 декабря 1808 г.

он должен был бы послужить, т. е. устрашения Англии и косвенного на нее нападения? Каким же другим средством заменить его, раз этот способ одолеть общего врага был исключен, и в настоящий момент приходилось отказаться от проекта проложить себе путь через Оттоманскую империю к британской Азии?

Не имея возможности активно действовать, остановились на идее о демонстрации. Несмотря на тайну, в которую Франция и Россия целый год облекали свои совещания, их план вышел наружу. Сверх того, Наполеон сам умышленно разгласил о нем в своих речах. Слух о задуманном предприятии распространился далеко. О нем говорили даже в самых отдаленных провинциях Турции, говорили и в Лондоне. Англия заволновалась. Она боялась за свою торговлю на Востоке, за свое преобладание на Средиземном море, за Индийскую империю. Она изучала способы помешать разделу или свести к нулю его результаты. По мере приближения времени свидания, ее тревога усиливалась; свидание казалось ей предвестником чрезвычайных событий. Вовсе не желая рассеивать ее подозрений, оба императора решили, наоборот, довести их до крайних пределов, создав для них официальную основу, и остановились на следующем приеме. Они попробуют сделать в пользу мира следующий внушительный шаг. Написав королю Великобритании за общей подписью письмо, они предложат ему вступить в переговоры, пригласят его дать мир народам и признать происшедшие в Европе перемены. Затем в осторожных, но достаточно определенных выражениях они дадут ему понять, что отказ повлечет за собой новые и более серьезные перевороты. Так как внимание англичан было направлено на Восток, то нет сомнения, что они усмотрят в этих словах угрозу Турции и, быть может, покорясь необходимости, начнут переговоры ради предупреждения разрушения Турции. Не будучи в состоянии напасть на Англию с оружием в руках, Наполеон и Александр хотели поразить ее морально, воздвигая перед ее глазами бесформенное страшилище, и показать ей под покровом нарочито-загадочных слов призрак великого проекта.

Но Наполеон думал, что этот прием даст результат только при условии, если будет сопровождаться настолько сильными и угрожающими шагами против Австрии, что отнимет у нее не только всякое желание, но даже и возможность сделаться союзницей Англии и возобновить войну на континенте. Поэтому еще до отъезда на свидание Наполеон решил просить Александра двинуть русские войска к границам Галиции, т. е. сделать военную демонстрацию, имеющую своей задачей ответить на вооружение Австрии и парализовать ее действия. В Эрфурте новое, крайне важное событие, указав ему на необходимость быть в этом отношении более требовательным, вдруг осложнило переговоры и изменило их ход.

На другой же день после первых совещаний Наполеону была передана депеша от нашего посланника в Вене генерала Андреосси. Она шла вслед за бароном Винцентом. Из содержания ее было видно, что поведение Австрии шло вразрез с заявлениями ее посла и решительно говорило о ее непримиримости. Обеспокоенная таинственными совещаниями в Эрфурте, потеряв от страха всякое благоразумие, Австрия отказывала в единственном удовлетворении, которое могло бы успокоить императора относительно ее намерений. Она отказывалась от признания королей испанского и неаполитанского. Повторные требования генерала Андреосси не могли заставить Стадиона дать благоприятный ответ. Долго укрываясь за уклончивыми ответами, тщательно избегая слова «признание», министр объявил, наконец, «что дипломатические сношения с указанными дворами будут восстановлены тогда, когда оба короля прибудут в свои столицы и установленным порядком известят о своем вступлении на престол»[1]. Это было откровением требования о признании, высказанным в самой оскорбительной форме, так как Австрия ставила свое поведение в зависимость от событий и не признавала прав созданных Наполеоном государей, считая нужным преклониться только пред совершившимся фактом. К тому же, вопреки обещаниям, задачей которых было только обмануть и успокоить императоров, она продолжала, правда, с меньшим шумом, но деятельно и настойчиво свои вооружения. По сообщениям Андреосси, никаких мер для успокоения народного возбуждения не принималось. Итальянские курьеры, проезжавшие по австрийской территории, были только что задержаны

---

[1] Андреосси к Шампаньи. 22 сентября 1808 г. Archives des affaires étrangères, Vienne, 381.

и оскорблены. Во внешней политике венская дипломатия по-прежнему вела подпольную работу. Стало известным, что ее отношения и дружба с Англией никогда не были более тесными; что в Константинополе австрийские агенты ведут себя, «как бешеные»[1], и жестоко возбуждают турок против нас; что в Сицилии и Испании они сеют интригу, и хотя нельзя сказать, чтобы Австрия повиновалась обдуманной и предвзятой мысли — начать с нами войну, — но ее «враждебное настроение»[2] заставляет ее поддерживать повсюду наших врагов, возбуждать диверсии в их пользу и держать ее в состоянии постоянного заговора против нас.

Это сообщение произвело на императора глубокое впечатление. Его гнев разразился в резких выражениях. Одно время он думал, что австрийский император лично прибудет в Эрфурт. «Теперь я понимаю, — сказал он, — отчего император не приехал. Для государя трудно лгать в глаза: он возложил этот труд на барона Винцента»[3]. Его волнение и бешенство понятны, ибо открыто проявленная вражда Австрии вполне определенно ставила его перед осложнением, которого он более всего опасался. Если Австрия без удержу поддастся чувству страха и ненависти и пустится по роковой наклонной плоскости, нападение с ее стороны сделается, если и не достоверным, то, во всяком случае, весьма вероятным. А разрыв с ней был бы эрой новых коалиций; он замедлил бы покорение Испании, снова нарушил бы континентальный мир, отсрочил бы на неопределенное время морской. Существовало ли средство избегнуть этого испытания, более грозного, чем предыдущие? Чтобы с ним справиться, нам необходима была помощь России. Но не могло ли ее содействие совершенно избавить нас от войны с Австрией и от всего, что связано с нею? Устоит ли Австрия перед совокупным требованием двух властителей мира, которые пригласят ее покориться под угрозой немедленного разгрома? Ради достижения этой цели Наполеон мирился с необходимостью усилить свои уступки России. Он решил, если потребуется, точнее высказаться об отдаче княжеств[1]. Перед лицом высшей необходимости всякое другое соображение становилось для него второстепенным. Обеспечить за собой наверняка помощь Александра для войны с Австрией в случае, если бы она напала на нас, и удержать ее от этого шага, если только уже не поздно, — такова была отныне преобладающая мысль императора в Эрфурте и цель, к которой стремилась вся сила его воли.

Он обратился к Александру со следующей речью. Англия надеется найти помощников и вызвать войну на континенте, — вот что поддерживает ее и питает ее воинственный пыл. Следя за настроением и поступками Австрии, лондонский кабинет надеется найти в Вене ядро пятой коалиции, которая будет состоять из Испании, части германских народов, быть может, Турции и которая даст всей Европе сигнал к восстанию. Но если Австрия под совместным давлением обоих императоров будет вынуждена преклониться пред их желанием мира, разоружиться, окажется вполне от всякой мысли и от всякого способа вести войну, если она вынуждена будет порвать связь с Лондоном и чистосердечно присоединится к франко-русскому союзу, сопротивление нашей соперницы потеряет главную точку опоры. Испания, предоставленная самой себе, быстро падет. По замирении полуострова Англия очутится одинокой пред всеми государствами Европы, сгруппированными около двух императоров, прикованными неразрывной цепью к их политике. Может быть, ее мужество ослабеет при зрелище континентальной лиги, о которой столько раз возвещалось и которая на этот раз превратится в грозную действительность. Итак, следует говорить ясно. Не прекращая переговоров с Лондоном, следует пригрозить в Вене. Необходимо, чтобы результаты, полученные в Вене, тотчас же сделались известными в столице Британского государства. В записке, составленной по указанию Наполеона и предназначенной для императора Александра, подробно излагаются меры, которые следует принять против тайного врага; объясняется тесная связь их с теми мерами, которые будут предприняты против явного, и указывается, каким

[1] Андреосси к Шампаньи.
[2] Ibid.
[3] Неизданные документы.

[1] См. его слова, обращенные к Меттерниху в 1810 г. Memoires de Metternich, II, 361 и 371.

образом покорность Австрии может обусловить сдачу Англии.

«Австрия, — говорилось в ноте, — единственное государство на континенте, намерения которого находятся под сомнением. Следует устранить это сомнение. Нужно сообщить Австрии о предложениях мира которые будут сделаны Англии, и дать понять ей, что в случае, если они будут отвергнуты, она не на словах, а на деле должна объявить войну Англии, изгнать всех проживающих в Вене и в наследственных ее владениях англичан, уничтожить все приготовления к войне с Францией, чтобы от них не осталось и следа, и последовать, наконец, по пути, который не оставил бы Англии никакой надежды на возможность отвлечь Австрию от политики континента. Главным образом, ей нужно вменить в обязаность — признать происшедшие перемены в Испании. Было бы желательно, чтобы признание Россией и Австрией этого порядка вещей стало известным в Лондоне в момент получения в нем относящихся до мира предложений. Это известие в совокупности с дошедшим уже до Лондона известием о походе французских войск в Испанию весьма способствовало бы ускорению переговоров. Англия выиграла бы этим еще то, что могла бы включить Португалию в свое Uti possidetis и избавить свою армию от позора быть вышвырнутой в море.

Но такой результат получится только тогда, когда Англия вполне убедится в том, что Франция, будучи совершенно уверена в полной безопасности на континенте, может наводнить Испанию своими войсками и вполне спокойно двинуть их до Гибралтарского пролива.

Австрийским императором прислан сюда барон Винцент. Необходимо, чтобы ему было объявлено обоими императорами, что они требуют признания вновь установленного в Испании порядка; что он должен отправиться за этим признанием; что только при этом условии оба императора согласны продолжать дружественные отношения с Австрией. Признание должно быть изложено Стадионом в ноте, обращенной к английскому правительству. Эта нота будет опубликована в Moniteur, и Англия получит ее в одно время с предложениями о мире.

Значило бы не знать современного положения дел, если не видеть, что без системы объединенных сил и мероприятий, которые давали бы возможность быть всегда готовым к совместным действиям, Англия будет поддерживать в Европе смуту и неупроченное положение и натолкнет Австрию на компрометирующие поступки, которые хотя и не нарушат мира, на континенте, но в самой Англии дадут опору и почву врагам и мира. Предлагаемые же меры, если они будут проведены энергично, свидетельствуя о согласии обоих императоров и о непоколебимой твердости их решений, заставят Англию дать мир Европе, ибо у нее не будет более надежды вносить в нее смуту»[1].

Но поддастся ли Александр этим пылким речам? Захочет ли он предписать Австрии, чтобы она заранее сдалась на капитуляцию и сложила оружие; согласится ли он предъявить ей такие требования из боязни, чтобы она не воспользовалась сделанными приготовлениями для ничем не оправдываемого нападения? Александр заявил, что он готов подписать обязательство действовать заодно с нами, если почин к разрыву будет исходить от венского двора, и согласился снова взяться за хлопоты о признании новых королей. Затем в весьма ясных, твердых и вместе с тем крайне любезных и сдержанных выражениях он дал понять, что дальше этого он не пойдет; что он никогда не пойдет на преждевременное насилие над Австрией; никогда не согласится на лишение ее свободы располагать собой; не нарушит ее прав самодержавного государства, насильственно изменяя ее политический путь и принуждая ее разоружиться в то время, когда она ничем не проявила своего намерения нарушить европейский мир и когда приходилось обвинять ее скорее в намерениях, чем в поступках.

Наполеон настаивал, и спор принял необычайное значение. Все остальные обсуждения были приостановлены. О Пруссии уже мало говорили и совсем не говорили о Востоке. Внезапно поставленный вопрос о согласовании мер против Австрии казался единственным, который с этих пор волновал императоров. Он отодвинул на второй план слегка задетые или наполовину уже решенные вопросы и заставил совещания уклониться от их первоначального предмета.

Неистощимый в средствах воздействия, прибегая то к хитрости, то к настойчивым просьбам, то к лас-

---

[1] Archives nationales, AF, IV, 1697.

ке, то к требованиям, Наполеон до бесконечности разнообразил свои приемы и доводы. Он прочел Александру письмо Андреосси и дал ему красноречивое разъяснение. Чтобы доказать исключительно оборонительный характер своих намерений, он не прочь был гарантировать Австрии, если она согласится разоружиться, неприкосновенность ее территории. Он допускал, чтобы она была успокоена со стороны Франции, лишь бы только оставалась под угрозой со стороны России. Если бы предлагаемый план действий был принят, повторял он, если бы у австрийцев была отнята возможность мутить Германию, ему было бы гораздо легче совсем очистить Германию от войск. Тогда он мог бы облегчить участь Пруссии и сохранить на Одере только одну крепость вместо трех. Но и эти подкупающие маневры действовали на Александра не лучше прямых нападений. Этот император, о котором говорили, что он слабохарактерный, непостоянный и нерешительный, таил под видом невозмутимо ясного душевного спокойствия удивительную стойкость характера. Он выслушивал все с удивительным терпением, спорил мало, даже не пытался опровергать многочисленных и сильных доводов своего противника, давал волю этому стремительному потоку, но затем возвращался к высказанной им идее и отстаивал ее с кротким упорством.

Его кроткое, но упорное сопротивление, совершенно не поддававшееся силе убеждения, уступая, подобно пружине, давлению только для того, чтобы вслед за тем вновь незаметно выпрямиться, страшно раздражало императора. Вернувшись к своим приближенным после таких встреч, во время которых его противник, уклоняясь от сражения, лишал его победы, он не щадил Александра и, смотря по расположению духа, выражался о нем или язвительно или насмешливо. Однажды он сказал Коленкуру: «Ваш император Александр упрям, как лошак. Прикидывается глухим, когда не хочет чего-нибудь слышать»[1]. Затем, намекая на злосчастное предприятие, в котором признавал источник своих затруднений, он воскликнул: «Эти дьявольские испанские дела дорого мне стоят»[2]. На другой день он возвращался к сражению совершенно свежим, полным сил, с новым оружием; но его энергия снова разбивалась о неуловимого противника.

Исчерпав все доводы, он разразился жалобами. Союз, говорил он, потеряет всю свою силу. С тех пор он не будет иметь в глазах англичан никакого значения и не обеспечит всеобщего мира. Александр оставался невозмутимым. Упреки, как и любезности, не действовали на него. В конце концов Наполеон прибег к вспыльчивости. Он рассердился. Произошла бурная сцена. В один прекрасный день, когда, расхаживая по кабинету императора, опять перешли к нескончаемому вопросу, спор разгорелся, и Наполеон в порыве яростного нетерпения бросил на пол свою шляпу и начал топтать ее ногами. Александр тотчас же остановился, пристально, с улыбкой посмотрел на него, помолчал немного, затем сказал спокойно: «Вы вспыльчивы, а я упрям. Гневом от меня ничего не добьешься. Поговорим, обсудим — иначе я ухожу»[1]. И он направился к двери. Императору оставалось только стихнуть и удержать его. Спор возобновился в сдержанном, даже в дружеском тоне; но дело нисколько не подвинулось вперед. И в этот раз Александр не дал увлечь себя на какой-либо угрожающий шаг против Австрии.

Можно ли сказать, что он хотел поощрить Австрию начать с нами войну? Ничуть. Александр так же, как и император французов, искренне желал сохранения мира. Еще более он желал избегнуть войны в Германии, ибо дал обязательство в ней участвовать. Оба императора были согласны относительно цели, но резко расходились в способах ее достижения. Александр думал, что дружеские и успокоительные слова вернее, чем угрозы, удержат Австрию. Он был убежден, что австрийский двор не желал войны, что он вооружался только из страха и что если его не выведут из терпения, он никогда не начнет вражеских действий. «Он никогда не дойдет до такого безумия, чтобы сделаться зачинщиком и в одиночку вступить в борьбу»[2], — говорил он.

По его мнению, истинная опасность шла не от Вены, а от Франции; он думал, что Наполеон только скрывал свое собственное намерение напасть на Авст-

[1] Неизданные документы.
[2] Ibid.

[1] Неизданные документы.
[2] Ibid.

рию и уничтожить ее. В предлагаемых ему крутых мерах Александр видел неопровержимое указание на такие намерения; в них он усматривал только способ обезоружить несчастную монархию и лишить ее средств защиты, чтобы вернее справиться с нею. Чем настойчивее просили его, тем глубже укоренялась в его уме эта мысль. Вследствие этого он считал полезным, даже необходимым, чтобы Австрия вместо того, чтобы сдаться на волю победителя, оставалась во всеоружии, обладая всеми своими силами; в положении, настолько внушающем уважение, чтобы отбить у Франции охоту от всякого корыстного покушения. Что же касается России, то она вместо того, чтобы преждевременно перейти на нашу сторону, должна была, по его мнению, занять строго нейтральное положение и стараться, сколь возможно дальше, не склонять весов в чью-либо пользу. Если бы Франция или Австрия стали питать планы, противные миру, необходимо было, чтобы ни та, ни другая не могли рассчитывать на его содействие. Такое его поведение будет поддерживать между обеими сторонами известное равенство положения и сил, поставит их лицом к лицу с готовыми в равной степени к бою внушительными силами, даст им возможность защищаться, но не нападать. Следствием такого равновесия сил будет их обоюдное бездействие. Если Франция и Австрия будут таким образом взаимно держать друг друга в почтении, парализуя друг друга, континентальный мир не будет нарушен, а, с другой стороны, Россия получит свободу действий на Дунае и отнимет у Турции то, что Наполеон предоставлял ей в этой империи[1].

Эти мысли, которые поддержал и укрепил в уме

---

[1] Несколько времени спустя после свидания Александр писал Румянцеву: Вы, вероятно, помните, что во время наших разговоров в Эрфурте я всегда находил, что самым полезным было бы создать в Европе политическую систему, целью которой было бы помешать которой-либо из трех ныне существующих великих держав, — России, Франции и Австрии, — нарушать всеобщий мир на континенте. Эта система возможна только при существовании равновесия между этих трех держав, и, следовательно, Россия, которой лично нечего опасаться Австрии, может, в некотором роде, спокойно видеть в увеличении ее боевых сил средство достичь введения вышеупомянутой политической системы». Александр Румянцеву, 18 декабря 1808 г. Archives de Saint-Pétersbourg.

царя своими внушениями Талейран[1], основывались на глубоко ошибочной оценке положения. Александр, равно как и французский министр, сделавшийся его советником, не считался ни с характером Наполеона, ни с требованиями его политики, ни с истинными намерениями Австрии. Если Англия не уступит, Наполеону придется начать с ней трудную борьбу на новой почве, придется сражаться с нею в Испании. Ему не желательно, да и нельзя будет терпеть позади себя отделившееся от его системы, шедшее вразрез с требованиями его политики, всегда пытавшееся зайти ему в тыл государство; рано или поздно он обернется против него и мечом рассечет нестерпимое положение. Поддерживать в Австрии дух возмущения и скрытой вражды было наивернейшим способом вызвать войну, которой хотели избегнуть.

Более того. Допуская, что принятые в Вене меры носили сначала чисто оборонительный характер, они в силу обстоятельств должны были существенно измениться и окончиться нападением. Благодаря вооружениям, совершенно не отвечающим ее средствам, ее денежным доходам, Австрия была на пути к разорению. Такое положение не могло долго продолжаться. Уже теперь император Франц с грустью повторяет: «Армия съедает государство»[2]. А вскоре его министры и администраторы объявят ему об ужасной пустоте в его казне; они укажут ему, что Австрия не в состоянии долее содержать войска, если не будет субсидий от Англии или если армии не будут кормиться за счет неприятеля[3]. Итак, пройдет еще несколько месяцев, а может быть, даже недель, и Австрия вынуждена будет или сражаться или разоружиться. Из двух решений она изберет первое. Она скорее предпочтет пойти на крайне рискованное дело — использовать собранные ею громадные военные средства, вернувшие ей веру в самое себя, чем примириться с горестным положением и открыто признать свое падение. Если бы император Александр мог проникнуть в тайны венского кабинета, он открыл бы в них то, о чем через несколько дней сообщит Андреосси, и что проницательность Наполео-

---

[1] Александр Румянцеву, 19 октября и 18 декабря 1808 г. Archives de Saint-Pétersbourg.

[2] Archives des affaires étrangères, Vienne, 381.

[3] Beer, Zehn Jahre oesterreicihscher Politik, 341.

на позволяла ему заранее предчувствовать, а именно, — что идея о нападении, о необходдимости попытать счастье оружия, о реванше быстро брала верх. Стадион всегда поддерживал ее. Теперь присоединился к ней осторожный эрцгерцог Карл, и даже сам император Франц начинал предпочитать рискованный, быть может, спасительный кризис тревожному, изнуряющему монархию, выжидательному положению. Единственное обстоятельство смушало и могло удержать Австрию — это страх, что Россия открыто присоединится к Франции, и что Австрия погибнет, раздавленная под тяжестью их двойной массы. Если царь даст повод усомниться в его намерениях, откажется идти заодно с нами, тогда в Вене война будет окончательно решена, и рано или поздно обоим императорам придется сражаться с Австрией, если они не сговорятся теперь же смирить и обезоружить ее. Предлагая это решение, жесткое и властно-требовательное, Наполеон указывал на него, как на единственное средство сохранить мир, который был столь же дорог его союзнику, как и ему самому. При настоящем положении дел он один был безжалостно последователен. Александр и Талейран, — великодушный монарх и тонкий политик, — оба сбились с пути.

Хотя Наполеон видел лучше и дальше всех, но он ошибался, думая, что Александр мог смотреть на вещи его глазами и что он согласится с его требованиями. В общем он просил Александра на время сдержать Австрию. Но не была ли Австрия, снова ставшая на ноги и занявшая твердое положение, единственной преградой, защищавшей Россию от наполеоновского всемогущества, единственным буфером, поставленным между русской границей и распространившейся по всей Европе Францией? Для России разоружить Австрию значило остаться самой без прикрытия, подставить под удар самое себя, отказаться от всякой гарантии, кроме веры в добросовестность Наполеона. Но испытанные Александром со времени Тильзита разочарования и невнимательное отношение к его интересам не допускали уже такого чуда. Наполеон нес наказание за то, что в продолжение целого года скрывал от своего союзника конечный результат и величие своей цели, которая состояла в том, чтобы дать покой миру; за то что в своих самовластных поступках он слишком мало принимал во внимание его беспокойство и личные

его интересы и за то, что насиловал королей и народы. Его наказание состояло в том, что теперь, когда он чистосердечно заявлял о своем желании мира и о своих чисто оборонительных намерениях, ему никто не верил. Александр не мог читать в его душе, он судил по его поступкам, а прошлое давало ему право не доверять будущему. Его опасения, основанные на неправильном толковании фактов, оправдывались внешним их характером; он вполне основательно не мог соглашаться на то, чего вынужден был просить у него Наполеон. Вопрос о совместном плане действий против Австрии, в том виде, как он был теперь поставлен, становился неразрешимым. Всякое усилие достичь полного и действительного соглашения неизбежно должно было сокрушиться о неожиданно появившийся камень преткновения.

Прошло восемь дней, потерянных в бесплодных спорах, а по вопросу, сделавшемуся главным, не получалось никакого результата. Наполеон понял, наконец, что он гоняется за невозможным; что он ничего не добьется от Александра; что он наткнулся на непреодолимое сопротивление. Тогда по своему обыкновению он внезапно переменил план и, не сходя с места, переменил фронт. Почти не надеясь избегнуть войны с Австрией, но думая, что она не возгордится тотчас же, он хотел вести ее, когда будет вынужден, с ней, при наиболее выгодных для себя условиях. Он взял с Александра простое обещание, что, если Австрия нападет, Александр окажет ему содействие. Вместе с тем, чтобы ограничить и локализировать борьбу и помешать революционному пламени распространиться на всю Германию, он объявил о своем намерении сохранить все, что обеспечивает за ним благоприятный исход. Он сказал, что оставит за собой в Пруссии три крепости на Одере на все время, на какое давал ему право договор от 8 сентября.

Александр снова восстал против этого притязания. Теперь он, в свою очередь, должен был занять наступательное положение, а Наполеон развить всю силу своего сопротивления. Императора французов и просили, и умоляли покинуть крепости, дать России и Европе этот залог умеренности. «Вы предлагаете мне систему слабости, — гневно сказал он, — если я на это соглашусь, Европа будет обходиться со мной, как с

мальчишкой»[1]. Он с некоторой досадой, в раздраженных, почти оскорбительных выражениях отверг просьбу Александра. «Как! Мой друг и союзник, — сказал он, — предлагает мне покинуть единственную позицию, откуда я могу угрожать австрийскому флангу, если бы Австрия напала на меня в то время, когда мои войска будут на юге Европы за четыреста лье?.. Впрочем, если вы непременно требуете эвакуации, я соглашусь, но тогда вместо того, чтобы идти в Испанию, я теперь же покончу мои счеты с Австрией»[2]. Перед такой перспективой, которой он боялся больше всего, Александр отступил. Удостоверившись тем, что убедил Наполеона удовольствоваться против Австрии тайным соглашением оборонительного характера, веря, что благодаря этому мир будет сохранен и, следовательно, его главная цель достигнута, он согласился, чтобы Наполеон удержал временно крепости на Одере, полагаясь в деле обеспечения полного освобождения Пруссии на будущее. Таким образом, монархия Фридриха-Вильгельма понесла издержки за неполное соглашение, к которому с таким трудом пришли оба императора.

Оставалось изложить на бумаге установленные пункты: предложения Австрии, уступки России княжеств, содействие в случае нападения Австрии. Наполеон представил Александру, как свой личный труд, составленный Талейраном проект договора. Но он не вполне отвечал выработанным соглашениям; кроме того, и царь, со своей стороны, приказал написать целый ряд статей. Прежде, чем сличить и изложить в форме договора оба проекта, императоры решили дать себе отдых.

Вне их интимного круга ничто не обнаруживало происшедших между ними разногласий. На глазах публики они продолжали расточать друг другу самое нежное внимание, как будто они всецело отдавались своей дружбе и удовольствию быть вместе. Для успокоения и направления общественного мнения Наполеон отправлял каждое утро записки в следующем роде: Камбасересу: «Совещания продолжаются; все идет как нельзя лучше». Королю Жозефу: «Все принимает хороший оборот». Камбасересу: «Высочайшие особы и иностранцы прибывают со всех сторон, и дела продолжают подвигаться к общему удовлетворению». Королю Мюрату: «Эрфурт великолепен»[1]. Действительно, съезд достиг тогда апогея своего блеска. Только что прибыли государи Баварии, Вюртемберга и Вестфалии, и вечером в партере театра короли были в полном составе. 4 октября давали *«Эдип» Вольтера*. Когда дошли до стиха:

L'amitie d'un grand homme est un bienfait des dieux*,

Александр встал, взял руку сидящего рядом с ним Наполеона и крепко пожал ее. Этот жест, подсказанный артистическим внушением, восторженно принятый присутствующими, отмеченный в истории, был понят не только как банальное проявление дружбы. В нем видели освещение соглашения и торжественное возобновление союза.

На третий день после этого императоры намеревались посетить в его столице герцога Саксен-Веймарского, их временного соседа. Во время их отсутствия оба министра иностранных дел — Шампаньи и Румянцев, — с пером в руке должны были рассмотреть статьи договора и редактировать их, дабы при своем возвращении государи нашли работу уже подвинутой; тогда им останется еще окончательно столковаться относительно встретившихся между министрами затруднений и довершить дело соглашения. Эта последняя часть их роли будет не менее затруднительной. Когда их мысли будут изложены в точной форме, они яснее взглянут на принятые обязательства. Тогда могут возродиться некоторые сомнения и различия во взглядах; могут обнаружиться задние мысли, и найдутся новые поводы для интриг. Поездка в Веймар, предпринятая императорами, как переходная ступень и как отдых, разделяет свидание в Эрфурте на два различных, но почти одинаковых по значению, периода. В первом — с большим трудом пришли к соглашению по некоторым основным вопросам; во втором — придется подойти к более деликатной задаче, к вопросу о применении соглашения.

---

[1] Неизданные документы.
[2] Неизданные документы.

[1] Archives nationales, AF, IV, 876.
* Дружба великого человека — благодеяние богов.

IV

ПОЕЗДКА В ВЕЙМАР, ЖИЗНЬ В ЭРФУРТЕ

6 октября Наполеон и Александр выехали в экипаже из Эрфурта. На границе веймарских владений они были встречены герцогом в сопровождении обер-егермейстера и четырех лесничих со свитой лесников и охотников. Началом празднеств должна была послужить большая охота, которая входила в программу развлечений первого дня. Экипаж въехал в Эттерсбергский лес. Вместо обычной здесь лесной тишины и безмолвия императоров встретили шум и толпы народа. Горожане из Эрфурта и Веймара, крестьяне в национальных костюмах, любопытные, пришедшие за десять лье в окружности, заняли все дороги. Появились продавцы пищи и прохладительных напитков. Для привилегированных зрителей возвышались трибуны. Яркое солнце, заливая своим светом лес, придавало необычайно картинный вид этим сценам, и, согласно официальному немецкому описанию, все представляло «вид веселого народного праздника»[1].

Императоров провели на возвышенное, открытое место, откуда взору, отдохнувшему сперва на позлащенных осенью лесах, открывались вдали зеленеющие горизонты Тюрингии. В глубине ограды, скрытой за натянутыми полотнами, был выстроен павильон. Это была продолговатая, открытая галерея. Вместо колонн ее поддерживали стволы деревьев, украшенные прикрепленной на их верхушке листвой. Гирлянды из цветов и фруктов окончательно придавали этой постройке безыскусный вид. Императоры заняли места; короли прибыли раньше их. Затем по сигналу ограда из полотна местами была спущена, и через устроенные таким образом отверстия пробегали загнанные в лес из окрестностей олени, лани и косули.

Как только монархи сделали первый выстрел, по всему фасаду галереи вспыхнул беглый огонь из ружей. Обезумевшие животные прыгали в ограду, где,

[1] Описание празднеств, данных в честь Их Величеств императоров Наполеона и Александра и некоторых других коронованных особ, в Веймаре и Иене, Его Св. Карлом-Августом, герцогом Саксен-Веймарским. Веймар, 1809 г., с. 8.

попадая прямо под выстрелы, падали и умирали перед императорами. Появление каждого шестирогого оленя приветствовалось звуком труб и литавров. По временам пальба прекращалась. Из-за деревьев выскакивали переряженные в дикарей, закутанные в шкуры и листву загонщики. Они подбирали убитых животных и воздвигали перед павильоном залитые кровью пирамиды. Когда было убито сорок семь оленей, эта безжалостная бойня, которая не давала даже понятия о настоящей охоте, была прекращена. Государи отправились в Веймар искать более благородных развлечений[1].

Несмотря на небольшие размеры, Веймар — очень представительный город. Его украшенные статуями площади, колоннады, значительное число памятников, правильное их распределение, величественная обрисовка фасадов, придавали ему местами облик столицы. В то время это была столица германской мысли и искусства. Герцог Карл-Август любил окружать себя учеными и поэтами. Он умел привлекать их к себе, умел удерживать при своем дворе и гордился тем, что создал для своей резиденции положение, единственное среди городов Германии; что сделав ее средоточением наук и искусств, он отличил ее от ей подобных и создал из нее нечто вроде Афин. Его двор сохранил традиции и обычаи прежнего режима. Он принял своих знаменитых гостей с непринужденностью хорошего тона, который выигрывал еще больше от достойной его посетителей пышности. Въезд императоров и королей состоялся в простых охотничьих колясках; но зато на пути их следования стояли шпалерами с развернутыми знаменами городские корпорации. В замке, где приветствовала их герцогиня, их ожидало радушное гостеприимство. Их свитам был оказан великолепный прием, и старинная столица сделала чудо, поместив достойным образом пятьсот пятьдесят человек гостей.

Приходилось страшно со всем торопиться. Наполеон отдал своим хозяевам только один вечер, и поэтому на протяжении нескольких часов хотели нагромоздить все обычно принятые при дворе развлечения. Должны были состояться обед, концерт, спектакль и бал. Для выполнения всей программы не хватало времени; концерт пришлось выкинуть. За обедом стол высочайших особ,

[1] Описание празднеств, с. 7—11.

поставленный в виде подковы, был сервирован на шестнадцать персон, наименьший титул которых был титул принца. Во время обеда Наполеон говорил очень много. Он изумил обширностью своих познаний, вступив с князем-примасом в спор по детальным вопросам древнегерманской конституции, и, когда стали удивляться такой серьезной учености, он напомнил, что некогда во Франции досуги гарнизонной жизни давали ему возможность много читать и много изучать; тогда-то он начал одну из своих фраз такими словами: «Когда я был артиллерийским поручиком...» В ту минуту, когда он вспоминал об этом, направо от него сидел император Всероссийский, затем государи Вестфалии и Вюртемберга; налево герцогиня Веймарская, короли Баварии и Саксонии; ему служили пажи; а позади него, у стены, высокотитулованные вельможи, носители славнейших фамилий Германии, исполняли обязанности феодальных слуг[1].

Поездка в театр и обратно совершилась торжественно, в парадных каретах, по иллюминованным улицам, между двумя рядами вооруженных людей, из которых каждый держал в руке зажженный факел. Из любезности к своему гостю герцог Карл-Август выписал из Эрфурта артистов императора. Они дали «Смерть Цезаря», где Тальма выступил на первой немецкой сцене в роли великого завоевателя. Когда бесподобный трагик произнес стих:

Sur l'univers soumis régnons sans violence*,

намек был понят, и уверяют, что дрожь, как электрическая искра, пробежала по присутствующим. Во время спектакля Наполеон осматривал залу, лица, туалеты и позы. Он заметил в одной из лож старца, красивая, убеленная сединами голова и умное лицо которого бросились ему в глаза. Узнав, что этот старец Виланд, «Вольтер Германии», он выразил желание, чтобы вечером он был ему представлен.

Тотчас же после спектакля в большом зале замка, где столпилось общество, подобного которому нельзя было видеть ни в одном императорском или королев-

[1] Thibaudeau IV, 70. Recit des fetes II.

* Над покорённою вселенной да будем царствовать мы кротко.

ском дворце, Александр открыл бал с королевой Вестфальской. Молодой монарх в течение вечера несколько раз принимал участие в танцах, причем его изящество и приятная наружность имели громадный успех. «Император Александр танцует,— писал Наполеон Жозефине, — я нет. Сорок лет дают себя знать»[1].

Обходя группы, он приказал представить себе некоторых замечательных по красоте или уму дам и осчастливил их взглядом или словом. Он беседовал с выдающимися лицами; затем, увидав Гёте, который по званию тайного советника был в числе приглашенных, подошел к нему, как к старому знакомому. За несколько дней до этого, узнав, что поэт в Эрфурте, он пожелал его видеть; с восхищением и как знаток, говорил он с ним о его произведениях и разбирал некоторые места из «Вертера»[2]. «Вот человек в полном смысле этого слова»,— сказал он после аудиенции. В Веймаре он возобновил с ним разговор и поддерживал его некоторое время; затем спросил о Виланде. Но Виланда не было. Старец удалился тотчас же после спектакля и не присутствовал на балу. Пришлось отправиться за ним вдогонку до самого его дома и привезти к императору.

«Мне ничего не оставалось,— рассказывает Виланд,— как сесть в карету, присланную за мной герцогиней, и поехать на бал в моем обыкновенном наряде, не напудренным, с ермолкой на голове, в суконных сапогах; но в общем одетым прилично. Я приехал в половине одиннадцатого. Едва я вошел, как Наполеон пошел мне навстречу с другого конца залы; сама герцогиня представила меня ему»[3].

Прием, оказанный Наполеоном поэту, был совершенно исключительным. Это не был прием монарха подданному, которому он хочет оказать некоторое внимание. В словах Наполеона, в его манере держать себя не было ничего покровительственного, ни малейшего следа той монаршей благосклонности, которая заставляет чувствовать разницу положения. Он хотел понравиться Виланду и серьезно познакомиться с этим гениальным человеком. Обнаруживая высокую степень деликатности,

[1] Corresp., 14. 566.

[2] См. сочинение под названием: Entrevue de Napoléon I avec Goethe, par S. Sklower, Lille, 1853.

[3] Freundesbilder aus Goethes Leben, von H. Duntzer, cite par Sklower, 90.

понимания людей и собственного величия, он обошелся с ним, как с равным, и говорил с ним простым, увлекательным тоном, равно далеким от надменности и фамильярности. Можно было подумать, что это — встреча двух равных по положению людей, двух величайших гениев на различных поприщах, которым принято познакомиться, обменяться взглядами и которые знают, что могут многое сказать друг другу.

На Александра, который в это время принимал участие в танцах, перестали смотреть. Зрелище было в другом месте. Высочайшие особы, министры, сановники составили на почтительном расстоянии около императора и поэта круг любопытных. Из благоговейного чувства к этому великому воспоминанию Виланд не хотел ни описать разговора, ни рассказать о нем подробно, но присутствующие уловили некоторые отрывки, и согласные рассказы дают возможность воспроизвести некоторые штрихи. Наполеон коснулся самых разнообразных и высоких предметов. От литературы он перешел к истории, к грекам, которых плохо понимал; к римлянам, которыми сильно восторгался; защищал цезарей от нападок Тацита; рассуждал также о религиях и их социальной пользе; говорил — и не только как верующий,— о значении христианства в политике. По всем этим вопросам он высказывался горячо, в оригинальных, хотя всегда серьезных выражениях; оживлялся, не впадая в игривый тон, ничуть не стараясь блеснуть, ослепить, но стараясь только выдвинуть вперед идеи и вызвать своего собеседника на разговор. Среди высказываемых им глубоких взглядов, он иногда обращался к нему со словами участия и интересовался интимными сторонами его жизни. Но главной целью, которую он преследовал, оказывая Виланду такое внимание, было показать, какую цену он придавал его мнениям по затронутым вопросам и как велико было его желание ознакомиться с его взглядами. Немец отвечал на очень плохом французском языке и излагал свои вгляды, очарованный и приведенный в смущение острым, кованным языком этого человека, который проникал в самую его душу и стремился осветить все уголки его ума и знания. После двухчасовой беседы, усталый и взволнованный, он остановился в выжидательной позе и старался вызвать знак, которым разрешалось бы ему удалиться. Не получая его, он набрался смелости и начал откланиваться: «Идите»,— дружески сказал ему император и повторил: «Идите, доброй ночи». Наполеон вернулся опять к Гёте, еще раз поговорил с ним и, наконец, удалился, оставив присутствующих под впечатлением этих достопамятных сцен.[1]

В таком поведении его ясно видна политическая цель. С некоторого времени он стал замечать в Германии пробуждение нового и мощного чувства, чувства сознания общенемецкой национальности, пробужденного нами благодаря общению с нашими идеями, но направленного против нас и вытекавшего из ненависти к нашему господству. Усматривая в этом чувстве грозного противника, он старался его успокоить и обезоружить. С этого времени он стал заботиться, хотя и о запоздалых, но тем не менее достойных внимания мерах, для успокоения германских народов и облегчения их страданий[2]. Он хотел в лице самых знаменитых представителей Германии почтить и примирить с собой ее общественное мнение, и именно в этом смысле и приказал официально истолковать прием, оказанный обоим поэтам. В сообщении о празднествах, опубликованном по распоряжению веймарского двора, по поводу благосклонности, оказанной Гёте и Виланду, мы читаем: «Герой века доказал этим, что он с уважением относится к нации, покровителем которой состоит; что он уважает ее литературу и язык, которые служат ее национальной связью»[3]. Добавим, что эти знаки внимания не были обременительны для Наполеона. Он правильно оценивал интеллектуальные силы и, хотя иногда и смотрел на них, как на своих врагов, и безжалостно изгонял их, но всегда признавал их и никогда не считал за унижение обращаться с королями ума, как с равными себе.

Следующий день был реваншем за вечер в Ваймере. Воздав дань уважения просвещенной и покорной Германии, Наполеон безжалостно афишировал свою победу над воинственной и восставшей, присоединив к ней задним числом и Александра. Он сговорился с Александром поехать осмотреть поле битвы при Иене. Поездка, на которую покорно согласился веймарский двор, заняла второй день. Праздничные торжества приказано было устроить на самом поле битвы. Немецкие руки украсили место, где погибло прусское величие. На самом возвышенном месте, на вершине горы, получившей бла-

[1] Sklower, 91—92. Thiers, IX, 328.
[2] См. Corresp., 14319, 14321, 14341.
[3] P. 15.

годаря этому случаю прозвище горы Наполеона, была воздвигнута легкая постройка — храм Победы. Один из профессионалов Иены сделал для нее рисунок, а член факультета составил для фронтона бьющее на претензию двустишие[1].

Наполеон и Александр отправились верхом к подножию памятника. Осмотрев его, они спустились на менее возвышенную площадку, откуда император руководил сражением. Гравюра, исполненная с натуры, представляет их именно на этом месте[2]. Оба императора изображены пешими впереди свиты из королей, высочайших особ и маршалов. В нескольких шагах их ожидают оседланные и взнузданные кони; конь Наполеона оставлен под присмотром его мамлюка. Палатки и зажженные костры напоминают бивуак. Вдали солдаты из Веймара сдерживают громадную толпу любопытных, которая теснится и давит друг друга. Наполеон держит в руках карту. Предварительно объяснив своему союзнику расположение корпусов и предписанные им движения, он воспроизводит перед глазами Александра на волнистом поле, которое расстилается вокруг них, нестройную и беспорядочную картину битвы; рисует черные массы пехоты, полосы дыма, которые в зависимости от хода битвы то отступают, то подаются вперед; пылающие деревни, штурм позиций, сшибки эскадронов. Когда урок военного искусства был окончен, для довершения иллюзии позавтракали, как на войне,— государи в палатке, их свита — под открытым небом. Во время завтрака Наполеон принял депутацию от Иенского университета и пожаловал некоторые привилегии городу, свидетелю его победы; затем, когда оба императора осмотрели в подробностях все поле сражения, общий обзор которого они сделали вначале, и поохотились в окрестностях Апольда, где Наполеон провел ночь накануне сражения, они пораньше вернулись в Эрфурт, чтобы показаться вечером в театре. Представление пьесы «Горации» довершило этот, столь богатый по воспоминаниям, день[3].

В Эрфурте императоры возобновили свою правильную и почти монотонную жизнь. Каждое утро они обменивались через камергеров взаимными приветствиями. У того и другого был утренний прием, когда они показывались раззолоченной толпе, которая заполняла их апартаменты. Затем они работали со своими министрами. В это время Наполеон читал дипломатические депеши, диктовал в меньшем, чем обыкновенно, количестве приказы и инструкции, принимал донесения коменданта крепости, к которым прилагались донесения полиции. Он желал знать в малейших подробностях происшествия дня и предыдущего вечера, т. е. что говорилось в разных обществах, где собирались «пруссаки»; что делала полиция для поддержания порядка; как устраивалась она, чтобы одновременно следить и за недовольными, и за «мошенниками, воровавшими кошельки, табакерки и часы у лиц, выходивших из театра»[1].

Затем следовали аудиенции. Наполеон более или менее быстро сбивал их с рук между двумя беседами со своими министрами, принимая в соображение не столько ранг представляющих лиц, сколько их ум и таланты, и продолжая во время своего завтрака и работу, и прием. В такой именно момент и видел его Гёте. Он дал нам в нескольких штрихах набросок этой сцены. «Меня ввели. Император завтракал, сидя за большим круглым столом; направо, в нескольких шагах от стола, стоит Талейран; налево, возле императора — Дарю, с которым он говорит о сборе контрибуции». Наполеон хотел еще раз повидать Виланда и некоторых веймарских академистов. Иногда он оставлял их завтракать, присутствовал при их спорах и, будучи чувствительным ко всякого рода успеху, находил удовольствие видеть при своем дворе ученых.

Днем императоры сходились вместе. Они совещались, беседовали, ездили верхом. Волнообразные и веселые окрестности Эрфурта способствовали продолжительным прогулкам. Сверх того, события и картины из жизни войск, которые разыгрывались в окрестностях города, постоянно разнообразили цель их поездок. Благодаря передвижению войск с севера на юг и перемене фронта великой армии, под стенами Эрфурта почти каждый день проходили новые полки. Наполеон хотел, чтобы они были представлены его гостю, и чтобы некоторые из полковых офицеров несли при нем почетную службу. Как и в Тильзите, он ездил с ним в места стоянок войск

---

[1] Rêcit des fêtes, 16.
[2] Ibid, planch 3.
[3] Recit des fêtes, 15—19.

[1] Донесения полиции. Archives nationales, AF, IV, 1696.

и вводил его во все подробности военной жизни французов. Ему доставляло немалое удовольствие показать свои войска во всеоружии, в полной парадной форме, в их воинственной красоте. Он часто назначал церемонии, в которых они должны были принимать участие: маневры, парады, полковые богослужения. Около Эрфурта происходил непрерывный и торжественный церемониальный марш, как бы большой несколькодневный смотр[1].

Александр с удовольствием следил за этими зрелищами и, видимо, ими интересовался. Он умел разнообразить свои похвалы и оказывал каждому роду оружия, каждому корпусу подобающее ему внимание. Среди его спутников, бесспорно, самым счастливым был великий князь Константин. Как и всегда, обращая главное внимание на мелочи, он запоминал номера полков, замечал малейшее различие в форме, маршировке, в движениях войск. Он восхищался, как знаток дела; но и недостатки от него не ускользали. Он постоянно говорил «то о дисциплине и хорошей выправке 17-го армейского пехотного полка и 6-го кирасирского, то о красоте 8-го гусарского, о плохом обучении 1-го гусарского, о великолепии и воинственном виде гвардейских батальонов». По возвращению в Петербург его первой заботой было собрать офицеров Конного и Уланского полков и передать им свои впечатления. «Похвалы были неиссякаемы относительно всех войск, за исключением 1-го гусарского полка». На память об Эрфурте он привез целое собрание французских военных мотивов, и на первом параде, которым он командовал, в то время, когда трубы конной гвардии играли наши марши, музыканты двадцати двух батальонов все вместе грянули французский марш под названием «Да здравствует коронация!»[2].

Не так односторонне смотрел на вещи Александр. Он изучал в Наполеоне не только полководца, но и законодателя. Несмотря на то, что восхищение Наполеоном все более заслонялось у него другими чувствами, он по-прежнему желал учиться у него. Речи императора служили для него источником, из которого он пополнял свои знания. Отвечая его желаниям, Наполеон с одинаковым удовольствием беседовал с ним как о трудах

[1] Донесения коменданта крепости. Archives nationales, AF, IV, 1696.

[2] Коленкур императору, 5 ноября 1808 г.

и заботах мирного времени, так и о военном деле. С картинным и безыскусственным красноречием рисовал он великие проекты всякого рода; объяснял свои чудные творения; говорил, что создаст новые; перечислял чудеса цивилизации и искусств, которые он надеялся во множестве возрастить на французской почве; говорил о величественных зданиях, которые воздвигались по его повелению в его столице и которые должны были придать ей небывалый блеск. Он рисовал пред ним тот Париж, который был в его мечтах — нечто вроде древнего Рима, перенесенного в нашу эпоху — вид блестящего и строгого города, усеянного триумфальными воротами, портиками и пантеонами. Эти картины поражали живое воображение Александра. Чуткий и склонный ко всему, что казалось ему благородным, полезным и новым и горя желанием подражать Наполеону, он просил, чтобы ему прислали планы всех памятников, предназначенных для украшения наших городов[1]. Он и сам рассказывал о своих преобразовательных проектах. Наполеон сочувствовал ему, деликатно давал советы, рекомендовал управлять твердой рукой и дать почувствовать свою власть. Он выразил желание видеть Сперанского; долго разговаривал с ним, подарил ему свой портрет, осыпанный брильянтами, и этим лестным вниманием, которое относилось столько же к государю, сколько и к любимцу, он, по-видимому, поздравлял царя, так хорошо поместившего свое доверие.

В уменье стать на уровень вкусов и непостоянного настроения Александра он обнаружил поразительное искусство. Он старался то ослепить его блестящими идеями, то развлечь игривыми или пикантными разговорами. У Александра, склонного к тоскливой меланхолии, бывали иногда порывы увлечения и молодости. Наполеон умел быть с ним молодым, умел разделять его увлечения. Зная, что он не любит церемониала, он сумел изолировать его от окружающей его пышности и среди придворной суеты устроить для него интимную и почти товарищескую жизнь. По словам очевидца, о них можно было сказать, что это «два молодых человека хорошего общества, у которых общие удовольствия, и нет ничего заветного друг от друга»[2]. И никто, видя

[1] Донесение Коленкура от 23 ноября 1808 г.

[2] Thibaudeau, IV, 66. Gf. Memorial de Sainte-Hélène, 16 juin 1816.

их такими доверчивыми и откровенными, не мог бы заподозрить существующих между ними жестоких разногласий. Бывали моменты, когда у них было общее жилище и общие покои. Если Александру по возвращении с прогулки нужно было привести в порядок свой туалет, Наполеон приглашал его к себе; но царь должен был остерегаться любоваться чем-либо под опасением, что ему тотчас же будет предложено то, на что он обратил внимание. Так, Наполеон подарил ему два великолепных из позолоченного серебра несессера, которыми он обыкновенно сам пользовался. Он не забыл и отсутствующих и заготовил для императрицы Елизаветы несколько великолепных севрских фарфоров, которые он приказал доставить в Эрфурт. Для выражения благодарности Александр умел находить слова, в которых ничего не было банального. Однажды, когда он забыл надеть шпагу, Наполеон предложил ему свою. «Я никогда не обнажу ее против Вашего Величества»[1],— сказал царь, принимая ее. Эта шпага хранится теперь в Петербурге, в музее Эрмитажа, недалеко от трофеев, взятых у императора и Франции во время русского похода.

Каждый вечер государи обедали у Наполеона в местном дворце. Талейран и Шампаньи по приказанию императора угощали иностранных сановников и дипломатический корпус. Затем все общество неизменно встречалось на спектакле. Наполеон приказал устроить залу так, чтобы она вполне отвечала особенностям Александра, который был туговат на ухо. За образец была взята зала, которой пользовались для придворных спектаклей в собственном дворце царя. Наполеон хотел, чтобы Александр и здесь нашел привычные ему удобства, чтобы, как бы по мановению волшебного жезла, театр Эрмитажа перенесся в Эрфурт. Оба императора сидели непосредственно за оркестром, против сцены. Короли сидели рядом с ними в том же ряду; далее за балюстрадой весь Рейнский союз, министры и сановники. Ложи были заняты элегантной и нарядной толпой. Там сидели — как бы окаймляя роскошною рамой картину собравшихся государей — дамы в парадных придворных костюмах и лица, занимающие высокое положение, понаехавшие из любопытства в Эрфурт[2].

Спектакли были обставлены великолепно; каждый

[1] Thibaudeau, IV, 70.
[2] Recit des fêtes,

вечер давались новые пьесы, изобилующие блестящими эффектами и всякого рода дивертисментами. Наполеон хотел, чтобы из входивших в программу развлечений его союзника эта часть была особенно тщательно оборудована. Он сам лично выбрал состав артистов и назначил им роли. Нужно прибавить, что в деле воздействия на Александра увлечениями этого рода у него был уже некоторый опыт, и вызов Французской Комедии в Эрфурт был только следствием хорошо обдуманного плана. Еще задолго до того, как пустить в дело главные силы, он выпустил разъезды.

Припомним, что Александр, как и большинство русских, был большим любителем театра и что после свидания в Тильзите он выразил желание иметь при своем дворе некоторых из лучших наших актеров и известных актрис. Наполеон приказал рассмотреть этот вопрос, но не решил его в удовлетворительном смысле. По какой причине — мы не знаем. Быть может, вследствие мнения кардинала Берни, к которому императрица Елизавета обратилась с просьбой прислать ей Лекена и mademoiselle Клерон и который нашел, что «вопрос об удовольствиях Парижа заслуживает внимания правительства и что взять из состава Французской Комедии главных актеров значит привести ее в упадок»[1]. Император не послал актеров. Впрочем, когда в дело вмешался случай и сыграл в руку желаниям Александра, Наполеон решил не быть помехой.

В один прекрасный день Париж узнал, что модная трагическая актриса, талант и красота которой производили фурор, знаменитая mademoiselle Жорж исчезла. Вскоре узнали, что она уехала в Петербург вслед за молодым русским офицером, в которого влюбилась и который, как говорили, обещал на ней жениться. В одно время с нею уехал Дюпор, танцовщик из Оперы, который должен был присоединиться к ней в Петербурге. Наполеон мог бы потребовать обратно беглецов; но он воздержался и оставил их России. «Несколько артистов,— писал он Коленкуру в особой записке,— сбежали из Парижа и нашли себе убежище в России. Мое желание, чтобы вам не было известно об их дурном поступке. В чем другом, а в танцовщиках и актрисах у нас в Париже недостатка не будет»[2]. Посланник добро-

[1] Archives des affaires etrangeres, 24 juin 1758.
[2] Corresp., 14107.

совестно сообразовался с этим приказанием. «Франция, — сказал он царю,— настолько населена, что может не гоняться за беглецами»[1].

Впрочем, для бегства mademoiselle Жорж, кроме ее страсти к русскому офицеру, была еще и другая причина. Параллельно с ее романом шла интрига. В Петербурге довольно многочисленная партия задавалась целью устроить сближение между императором и императрицей. Многие жалели государыню, которая, будучи неутешной матерью, едва была супругой. Надеялись за возвращение к ней супруга получить право на ее благодарность и использовать приобретенное этим путем влияние. Задача, за которую брались, была трудна, так как император, по-видимому, все более увлекался Нарышкиной[2]. Не осмеливаясь нападать открыто на его привязанность, мечтали об отвлекающем средстве. У заговорщиков в Париже были друзья. При их посредничестве, они постарались привлечь mademoiselle Жорж в русскую столицу, где ей была обещана блестящая карьера. Они рассчитывали, что, когда она явится перед императором в полном блеске своей красоты, с ореолом успеха, Александр не устоит перед ее общепризнанной чарующей красотой и покинет давнишнюю привязанность ради «царицы театра»[3]. Но такая связь, по их мнению, не могла долго продолжаться; от прихоти легче излечиться, чем от серьезной привязанности. Оторванный от своего привычного круга знакомств и не имея времени завести новый, Александр вернется к законному чувству и, благодаря случайной прихоти, возвратится на путь долга. Нам не известно, знал ли Наполеон об этом плане, когда он допускал побег mademoiselle Жорж. Во всяком случае, когда Коленкур рассказал ему все подробности, он не отнесся к нему неодобрительно. Нарышкина не оправдала его надежд. Она скоро отказалась от влияния на дела и довольствовалась тем, что властвовала над сердцем своего государя. «Это не Помпадур,— говорил Жозеф де-Местр,— это не Монтеспан, это скорее Лавальер; только она не хромая и никогда

[1] Feuille de nouvelles du 27 juillet 1808.

[2] Nouvelles de Petersbourg du 28 février 1808: «Нарышкина снова одержала победу над своими соперницами. Ухаживанья на балу. Во время ужина от нее не отходят; ее встречают каждое утро раз по пяти, шести; то верхом, то в санях».

[3] De Maistre, 317.

не сделается кармелиткой»[1]. Император ничего не имел против того, чтобы вместо этой бесполезной для него владычицы сердца Александра одна из его подданных имела на него некоторое, хотя бы минутное, влияние. Чтобы влиять на своего союзника, он не считал нужным пренебрегать никакими средствами.

В Петербурге mademoiselle Жорж была блестяще принята. Ее красота и игра произвели сенсацию. К несчастью, она вела себя как перебежчик, а не как лицо, которому можно было бы давать секретные поручения. Она не щадила в своих разговорах Францию и дурно отзывалась о правительстве[2]. Сверх того, хотя она и была замечена императором и приглашена в Петергоф для предназначавшейся ей интимной роли, ей пришлось удовлетвориться одним дебютом,— ее триумф не имел будущего. Александр отдал дань минутному увлечению, но вслед за тем вернулся к прежней привязанности. Нарышкина еще раз испытала достоинство своей системы, которая, по словам де-Местра, состояла в том, чтобы «не обращать внимания на увлечения»[3].

Хотя этот опыт не дал ожидаемых результатов, но так как очевидно было, что он не был неприятен царю, то Наполеон возымел намерение повторить его в Эрфурте в более широких размерах. Он выписал, как антураж для первых артистов Французского театра, самых красивых статисток, то, что Меттерних называл «цветником трагедии»[4]. По мнению крайне опытного в этом деле австрийского дипломата, подбор был сделан очень тщательно. Главное внимание было обращено на красоту актрис, талантом мало интересовались; подобная забота не миновала насмешек парижской публики. Александр ничего не имел против своего союзника за такую предупредительность и был склонен ею воспольз-

[1] De Maistre, 332.

[2] Она в разговоре с флигель-адъютантом императора, писал Коленкур, отзывалась о Париже в довольно неприличных выражениях; говорила, что там не платят денег; что таланты преследуются и подчинены военному режиму и т. д., так что начальник полиции получил приказание внушить ей быть более осторожной... Она много говорит об императоре Наполеоне; уверяет, что нравилась ему в продолжение двух лет, и все это время была ему верна. Затем она хвастается своей связью с великими герцогами Бергским и Вюрцбургским и т. д. Feuille de nouvelles du 17, juin 1808.

[3] De Maistre, 317.

[4] Metternich, II, 227.

зоваться. Однако, прежде чем окончательно установить свой выбор, он откровенно поговорил с Наполеоном и спросил у него совета. Император очень хвалил его вкус; но прибавил, что как истинный друг считает своей обязанностью предупредить его, что при теперешних обстоятельствах ему следует остерегаться нескромных поступков, и не скрыл от него, что его похождения будут известны всему Парижу. Боязнь такой гласности остановила Александра, очень осторожного в этих делах. Он не настаивал и удовольствовался тем, что наслаждался предназначенными для него театральными развлечениями только с художественной стороны[1].

Наполеон надеялся доставить ему удовольствие и выбором пьес; надеялся очаровать и удивить его образцовыми произведениями нашей сцены. К несчастью, при составлении репертуара он слишком положился на свой личный вкус. Сам он выше всего ставил нашу старую трагедию, ту мощную, благородную, подчиненную известным правилам форму искусства, где высокие страсти выражаются в строго определенных рамках. Он приписывал ей свойства внушать великие дела, высокие добродетели, «порождать героев»[2], и при том героев послушных. Итак, он думал, что разнообразия составленной в одном жанре программы будет достаточно для того, чтобы удовлетворить эрфуртскую публику. Он нашел достаточным для представлений только своих любимых актеров. Так как он более всего любил сочинения Расина, затем Корнеля и из Вольтера «то, что было оставлено»[3], то первый давался шесть раз, остальные два — по четыре раза каждый. Но гости императора не были такими классиками, как он сам. В Германии театр молодел под вдохновением Гёте и Шиллера, и соотечественники этих гениев-новаторов только из лести рукоплескали французской трагедии, «рамки которой,— говорили они, — слишком тесны»[4]. Что же касается русских, то многие из них не были на высоте подобного зрелища. Когда mademoiselle Жорж появилась в Петербурге, они льстили ей, как женщине, прославляли известную трагическую актрису, но самый жанр казался

[1] Mémorial, 16 juin 1816.
[2] Memorial, 16 juin 1816.
[3] Corresp., 14207.
[4] Récit les fêtes, p. 14.

им устарелым[1]. В Эрфурте, хотя царь и его спутники и делали вид, что высоко ценят талант актеров и совершенство их игры, однако, нужно думать, что смотреть трагедию пятнадцать дней подряд казалось для них слишком долгим испытанием.

После спектакля общество расходилось, и каждый располагал вечером по своему желанию. В это время в Эрфурте открывались увеселительные места и частные собрания. В известных кружках встречались единственно ради того, чтобы сообща развлечься, поужинать и поиграть в карты. Политики назначали себе свидания и собирались для долгих тайных совещаний у принца Вильгельма Прусского в главной квартире наших врагов. Наконец, были и настоящие салоны, наскоро устроенные стараниями некоторых умелых и энергичных дам. Они собирали вокруг себя все, что было в Эрфурте самого выдающегося по рождению, положению и заслугам. Быть принятым там считалось особой честью, далеко не всем доступной привилегией. Между салонами быстро установились степени и иерархии. Особенно ярким блеском отличались два: салон жены президента Реке и салон принцессы де-ла-Тур-и-Таксис, сестры прусской королевы. Первый держался нейтральной почвы, был открыт и для ученых, и для политиков: там Гёте среди группы маршалов разбирал сочинения наших трагиков. Второй носил более аристократический характер и антифранцузскую окраску. Там велась маленькая война против Наполеона; там злорадными слухами и язвительными намеками мстили повелителю за то, что каждый из них публично вынужден был преклоняться пред ним. Некоторые остроты пользовались успехом, как, например, следующая острота посланника Толстого: «Наш император приказывает строить много церквей. Посоветуйте ему выстроить и храм во имя Богоматери — *Заступницы* Испании, ибо, если она не станет на

[1] Коленкур в отделе новостей писал 1 авуста: «Много говорят о дебюте mademoiselle Жорж; она играла «Федру». Слушатели ее очень одобрили и во все горло смеялись над Тезеем, Ипполитом и несчастным Фермаменом... Великий князь ответил в оркестр Нарышкину, чрезвычайно хвалившему ее: «Вы бы лучше пополняли состав комической оперы, чем выписывать нам образец трагедии. Впрочем, что бы вы там ни говорили, ваша mademoiselle Жорж в трагедии не стоит моего выездного коня на параде».

его сторону, его империя погибла»[1]. Александр тоже бывал у принцессы де-ла-Тур-и-Таксис и обращал на себя внимание своими ухаживаниями за принцессой Стефанией Баденской, которая была притягательной силой и улыбкой этих собраний. Обыкновенно царь восторженно отзывался о Наполеоне, восхвалял его доброту и снисходительность и защищал его от упреков в честолюбии. Иногда он бывал озабочен, и даже поговаривали, что, когда он находился в обществе наших явных врагов, у него вырывались слова, которые нельзя сказать, чтобы очень разбивали их надежды. Он был из тех, которые, меняя среду, легко меняли и речь[2].

Впрочем, посещения враждебного лагеря продолжались недолго. Александр, если не по влечению сердца, то, по крайней мере, по внешности быстро вернулся к Наполеону. Часто оба императора возвращались со спектакля вместе, и вечер заканчивался у императора Александра. Между ними завязывался разговор и затягивался до глубокой ночи, столь располагающей к задушевным беседам. Нужно сказать, что по мере того, как продолжались их сношения, их дружба сказывалась в большой откровенности, и, если они и не высказывали всего, если в глубине души и таили задние мысли и подозрения, то, тем не менее, они отдавались дружеским беседам, от которых воздерживались в первые дни свидания. Оставляя в стороне злободневные вопросы, они с удовольствием рисовали перед собой картину полного согласия и союза, которые наступят в недалеком будущем после нынешнего, хотя и далеко неудовлетворительного соглашения; строили планы, мечтали и даже однажды затронули самый щекотливый вопрос, который уже задолго до этого занимал и беспокоил их ум и о котором все, кроме них самих, говорили при их дворах, — вопрос, который одновременно был и государственным, и семейным вопросом.

[1] De Maistre., p. 322.
[2] Thibaudeau, IV, 64, Souvenirs de Jean de Muller Documents inedits.

V

РАЗГОВОР ПО ПОВОДУ БРАКА

Уже целый год Европа ждала развода Наполеона и его брака с русской великой княжной.. Слухи о том и о другом шли со всех сторон. Передаваясь из уст в уста, они преувеличивались и искажались, но, тем не менее, заключали в себе долю истины. С того дня, когда Наполеон объявил свою власть наследственной и возложил на свою главу императорскую корону, он сознавал необходимость обеспечить продуктивным браком будущее своей династии и иногда останавливался на мысли о разводе; но раздираемый противоречивыми чувствами, не приступал к решению этого вопроса. Хотя политика «у которой нет сердца», и «жестокий закон», как он его называл, и повелевали ему заключить новый брачный союз, но он испытывал глубокую сердечную тоску и угрызения совести при мысли покинуть Жозефину, удалить от себя подругу жизни, заботливая и чарующая привязанность которой сделались для него потребностью, и которая прошла вместе с ним все стадии его величия. Действительно, искренняя нежность и еще более сильная связь — привычка, и даже нечто вроде суеверия привязывали его к Жозефине. Разлучаясь с ней, не оттолкнет ли он вместе с ней и свое прошлое, сотканное из счастья и славы, и не порвет ли связь со своей счастливой звездой? Итак, он колебался. По временам он, как будто близок был к тому, чтобы принять решение; но затем мужество покидало его. Он откладывал всякое решение, предпочитал неопределенное выжидательное положение, и думы о разводе проявлялись в нем приступами безвольного желания. Но, по мере того, как шли годы, мысли о разводе посещали его все чаще и все настойчивее предъявляли свои требования.

Один из таких душевных приступов сделался с ним тотчас же после тильзитского свидания. В это время все складывалось благоприятно для того, чтобы он принял решение. Окончание трудной кампании, освобождая его от неотложных забот, давало ему возмож-

Этот отдел был напечатан в Revue historique, septembre—octobre 1890.

ность предаваться долгим размышлениям и проектам о будущем. Смерть только что похитила у него племянника, молодого принца Шарля-Наполеона, ребенка, на которого временами он смотрел, как на своего наследника: и, наконец, он впервые заключил с великой державой настолько тесный союз, что мысль скрепить его браком не казалась ему неосуществимой. Жозефина, чувствуя, что опасность растет и приближается, с тревогой встретила императора. Она была нервно настроена и недоверчива. Ее тревоги, отразившиеся на ее здоровье и характере, не нравились Наполеону, который не любил вокруг себя печали и изгонял ее; мысль о разлуке делалась для него менее горькой. Нет сомнения, что осенью 1807 г., во время пребывания в Фонтенебло, он думал о разводе. Его заметная холодность с императрицей, дружеские признания и иные симптомы предвещали разрыв[1].

Этого было достаточно, чтобы привести в движение всех, кто, в силу личных выгод, склонностей или корыстных побуждений, желал перемены императрицы. Наполеон мог победить Европу, мог уничтожить три коалиции, но был бессилен изгнать интригу при своем дворе. Возле него Бонапарты и Богарне вели глухую войну. Представителями этих двух влиятельных партий были две женщины. Королева Гортензия, которую император слушал даже больше, чем Жозефину, считалась партией Богарне лучшей гарантией их положения. Добрая, грациозная, имеющая верных и многочисленных друзей, владеющая искусством принимать у себя и держать салон, она служила связью между партиями плохо связанного общества и пользовалась при дворе доверием, основанным на симпатии к ней. Но в 1807 г. потеря сына разбила ее сердце. Семейные горести и расстроенное здоровье заставили ее держаться в стороне. Для деятельности и влиянии принцессы Каролины Мюрат, великой герцогини Бергской, очистилось свободное поле. Приветливая, радушная, величественная, она любила развлечения и стремилась создать их около себя. Обладая, кроме поразительной красоты, властным умом Наполеонидов, она постепенно составила, сгруппировала вокруг себя и беспрерывно расширяла враждебную императрице партию, которая вскоре нашла поддержку в интригах Фуше.

[1] Mémoires de madam de Rèmusat, III, 249—250. Mémoires de Savary, duc de Rovigo, III, 226—229; id de Metternich, II, 140, 143. Депеши Толстого, 7—19 ноября 1807 г. Archives de Saint—Pètersbourg.

Министр полиции питал к Жозефине неприязненное чувство, имеющее свое основание. Он желал второго брака, ибо видел в нем залог спокойствия Европы, средство сдерживать императора и средство доставить Франции некоторые гарантии за будущее, одним словом, дать прочную основу тому порядку вещей, с которым была связана его собственная судьба. Этот человек рискнул на смелую интригу. Чтобы произвести давление на императора и заставить его принять решение, он придумал целый план. Располагая как начальник полиции общественным мнением, он вознамерился объявить о разводе, как о деле уже решенном; он хотел устроить так, чтобы известие об этом было принято сочувственно, с энтузиазмом; хотел создать в пользу развода движение умов, и, доведя до сведения Наполеона преждевременное выражение народной благодарности, убедить его заслужить эту благодарность, идя навстречу желаниям своих подданных. Со спокойной уверенностью он предрешил волю своего повелителя и, заранее оглашая ее, рассчитывал добиться ее проявления.

Итак, слух о разводе был пущен в ход в салонах министра полиции и благодаря его стараниям. Исходя из такого места, снабженный официальным штемпелем, он не мог не распространиться. Предварительно обойдя Париж, где он возбудил сильное волнение, он проник во все уголки империи и перешел границу. Посланники передали его своим дворам; иностранцы, которые были проездом во Франции, поспешили привезти на свою родину эту сенсационную новость. Агенты Фуше повсюду повторяли эти слухи, и в мгновение ока слова, сказанные в Париже, распространились в преувеличенном виде по всей Европе. Но нигде это семя не взошло так хорошо, как в России. Оно, действительно, нашло там подготовленную почву. Известие о предстоящем важном событии было такого свойства, что могло подстрекнуть не только любопытство русских, оно могло затронуть их непосредственно. Если Наполеон разведется: его новый выбор падет неизбежно на какую-нибудь принцессу из царствующего дома, и очевидно было, что русский императорский дом по своему высокому положению и в силу недавно уста-

новившихся дружеских отношений был единственным, к которому могли обратиться его взоры. Сватовство за великую княжну казалось почти неизбежным следствием развода. Вполне естественно было предполагать, что Наполеон и Александр, объявив себя сперва союзниками, затем друзьями, захотят породниться.

У Александра было две незамужних сестры. Младшая — великая княжна Анна — была четырнадцатилетним ребенком. Двор и свет едва знали ее. Иногда она появлялась, слабенькая и застенчивая, рядом с императрицей-матерью. Жозеф де-Местр обрисовывает ее одним словом: «Голубка»[1]. Говоря о ее старшей сестре, он впадает в галантный и витиеватый тон царедворцев прошлого века. «Если бы я был художником, — пишет он кавалеру де-Росси, — я послал бы вам только ее глаз; вы увидели бы сколько ума и доброты вложила в него природа»[2]. По-видимому, весь Петербург разделял его восторженное поклонение пред Екатериной Павловной. Трудно было избегнуть притягательной силы ее взгляда, очарования ее расцветшей молодости. Вместе с тем восхваляли и ее сердце, «достойное ее положения»[3], решительный, даже властный характер и душевную стойкость, которые вовсе не соответствовали ее возрасту. Она казалась рожденной нравиться и царствовать. Ее особа и ее имя наводили русских на дорогие им воспоминания о их великой Екатерине.

Общественное мнение Петербурга тотчас же указало на прелестную великую княжну как на будущую императрицу и королеву. На основании того, что дело считалось возможным, его объявили почти свершившимся фактом. Ничтожные признаки, самые пустые обстоятельства считались достоверным подтверждением. Среди наших врагов — одни довольно громко возмущались и говорили о скандале; другие считали себя польщенными, хотя и не признавались в этом. У всех потребность говорить об этом и желание казаться осведомленным брали верх над всеми остальными чувствами. Каждый рассказывал о том, что им были получе-

[1] Mémoires politiques et correspondance diplomatique, p. 346.
[2] Mémoires politiques et correspondance diplomatique, p. 318.
[3] Ibid.

ны достоверные известия из Парижа, и что ему вполне известны намерения Наполеона и Александра; в гостиных передавались самые точные и многочисленные подробности, и в течение нескольких недель не было другого предмета разговора.

Коленкур не мог не передать в своей корреспонденции этих слухов. Не смея, однако, прямо подойти к такому щекотливому предмету, он нашел способ косвенно уведомить императора. Он тщательно собирал разговоры и анекдоты, ходившие по Петербургу по поводу брака, внося их в листки новостей дня, прилагаемых к каждой депеше, и помещая их в главе под названием» «Что говорят». Мы их находим в этом отделе в каждом поселке, в игривой и наивной форме. — 31 декабря 1807 г.: «Здесь все более повторяется слух о разводе в Париже. Приводят даже слова императора Александра и великой княжны Екатерины. Рассказывают, что, когда ей было высказано сожаление по поводу того, что придется ее лишиться, она, будто бы, сказала, что когда дело идет о том, чтобы сделаться залогом вечного мира для своей родины и супругой величайшего человека, какой когда-либо существовал, не следует сожалеть об этом». — 28 февраля 1808 г.: «Великая княжна Екатерина выходит замуж за императора, ибо учится танцевать французскую кадриль».

Когда эти сделавшиеся всеобщим достоянием слухи дошли до императора Александра и графа Румянцева, они были крайне удивлены и взволнованы. Ни малейшего намека ими не было получено из Тюльери. В Тильзите Наполеон ни одним словом не обмолвился ни о разводе, ни о браке. Коленкур также не получил приказания сделать какое-либо сообщение по этому поводу. Но, думали они, не были ли эти слухи, столь упорно распространившиеся в Петербурге, исходящие, как было известно, из французского официального источника, средством позондировать общественное мнение и подготовить пути к предложению? Если бы такое предложение было сделано, оно поставило бы царя и его советника в весьма затруднительное положение. Отказать было крайне трудно, почти невозможно. Это значило бы нанести союзу смертельный удар. С другой стороны — соединиться кровными узами с коронованным солдатом, как бы блестяща ни была его судьба, казалось делом весьма серьезным, ставящим в крайне

неловкое положение, трудно совместимым с принципами старых династий. Русский двор не мог еще свыкнуться с мыслью о таком поразительно неравном браке.

К тому же, в самой императорской семье рисковали встретить трудно преодолимое препятствие. По завещанию, составленному в форме торжественного указа, хранящегося в надежном и священном месте, в Успенском соборе в Москве, императрица-мать получила от своего покойного супруга право располагать своими дочерьми, устраивать их будущее и их браки. Этот документ позволял ей на законном основании оспаривать любой проект о браке, и предоставлял ей действительное право вето, которым она, в данном случае, принимая во внимание всем известные чувства ее к императору французов, не преминула бы воспользоваться. Без сомнения, воля царствующего государя была непреложным законом; Александр мог сокрушить всякое сопротивление, но перспектива приказать своей матери была ему невыносима; если же он ограничится только силой убеждения и кротости, можно было опасаться, что его настояния потерпят неудачу при встрече с упрямством властной и неуступчивой женщины. Как бы то ни было, нужно было прежде всего проникнуть в намерения императора французов; разгадать эту тайну, чтобы иметь возможность обсудить, какое принять решение; составить план будущего поведения и, если потребуется, постепенно ослабить неприязнь императрицы-матери и длинными обходами подойти к делу. Румянцев написал Толстому весьма секретное, тревожное и спешное письмо, в котором он подстрекал и усердие, и любопытство посла. «Весьма убедительно прошу вас, — писал он, — быть столь любезным, сообщить мне лично ваше мнение об этом проекте. Действительно ли он существует? Есть ли вероятность, что предложение о брачном союзе будет сделано? Умоляю вас, не жалейте ни хлопот, ни трудов, чтобы удовлетворить меня по этому предмету»[1].

По тому, что Толстой видел и узнал в Фонтенебло и слышал в Париже, он верил в развод. Он верил да-

[1] Румянцев Толстому. Archives de Saint Pétersbourg. На письме не обозначено числа.

же в намерение жениться на великой княжне. Несомненно, что эта мысль заставляла его содрогаться от священного ужаса; но, писал он скорбным и пророческим тоном, разве мы не живем «в веке, когда невозможное бывает часто самым правдоподобным?»[1]. Тем не менее, когда до него дошло письмо Румянцева, он только что удостоверился, что в деле произошла временная заминка; что, по-видимому, все было отсрочено, и проделки Фуше, обратясь против их автора, задержали развязку, которую должны были ускорить.

Подготовив умы, возбудив всеобщее внимние, пустив слух в публику, Фуше предпринял решительный шаг. Он осмелился написать императрице письмо, в котором намекал ей, чтобы она взяла на себя почин в деле разрыва и принесла себя в жертву. Для нее, говорил он, это было средством навсегда приобрести право на благодарность императора и после развода получить блестящее вознаграждение. Жозефина, вся в слезах, пошла к императору, но не для того, чтобы поднести ему свою жертву, а чтобы потребовать объяснения. Наполеон, застигнутый врасплох, не решился воспользоваться этим случаем как поводом для разговора и разрыва. Он отступил; утешил и успокоил Жозефину, обещая заставить замолчать Фуше, и, в случае надобности, его уволить. Действительно, он жестоко распек министра, а затем уехал в Италию, оставив все в неопределенном положении[2].

Узнав во время путешествия, что центром, откуда выходили все неблаговидные разговоры, был салон министра полиции, он еще более разгневался; не потому, что он сам перестал думать о разводе (его разговор с братом Люсьеном в Мантуа доказывает обратное[3], но он не хотел, чтобы об этом говорили, и чтобы общественное мнение стало преждевременно волноваться по этому поводу. Он в резкой форме повторил Фуше свои упреки и приказания. 3 ноября он писал ему из

[1] Толстой Румянцеву, 7—19 ноября 1807 г. Archives de Saint-Pétersbourg.

[2] См. интересный рассказ об этих сценах в Mémoires de madame de Rémusat, III, 228—294.

[3] Mémoires de Lucien Bonaparte, III, 82 et suiv., cite par M. Welschinger, Le Divors de Napoléon, 21—23.

Венеции: «Я уже познакомил вас с моим мнением о безрассудстве сделанных вами в Фонтенебло поступков касательно моих семейных дел. Прочтя ваш бюллетень от 19-го и хорошо зная, что вы говорите в Париже, я должен повторить вам, что ваш долг исполнять мою волю, а не следовать вашим прихотям. Поступая иначе, вы вводите в заблуждение общественное мнение и сходите с пути, по которому должен идти каждый честный человек»[1].

Получив строгий нагоняй, Фуше на короткое время притих, и слухи о разводе прекратились[2]. Но затем, с едва вероятной дерзостью, неисправимый министр полиции начал снова выходить из повиновения. Он был убежден, что в конце концов останется безнаказанным, ибо чувствовал, что его повелитель, не переставая порицать его поступки, вовсе не порицал их цели, и что он не всегда будет обвинять подстрекателей к разводу. Действительно, когда Наполеон вернулся из Италии, его снова охватило желание покончить с этим делом. Его настроение скоро было замечено: оно вернуло храбрость врагам императрицы, и они снова сплотились воедино[3]. Принцесса Каролина продолжала оказывать им поддержку, пользуясь своим положением в свете; вечная соперница Гортензии, она подняла в Париже салон на салон. Князь Талейран, хотя и ненавидел Фуше, был готов поддержать его шаги в пользу развода и по этому особому вопросу соглашался вступить с ним в союз. Словом, императора оплели со всех сторон, и вскоре, видя, что он все более склоняется к жестокому решению, пришли к выводу, что дело выиграно.

Таким образом, подготовлялся новый кризис, но так же, как и предшествующему, ему не суждено было привести к какому-либо результату. В один из вечеров

[1] Corresp., 133373. Cf. les n-os 13329 13379. См. также Meneval Napoleon et Marie-Louise, I: 213—214. Несколько месяцев спустя, в письме к Камбасересу, Наполеон с иронией намекал на поведение Фуше. «Он уж очень много думает о будущем, доказательством чему служат его деяния по поводу развода!» (Неизданное письмо от 17 июля 1808 г.).

[2] Депеши Брокгаузена, прусского министра, от 31 января и 21 февраля 1810 г., опубликованные Hassel, 494 и 496.

[3] Brockhausen, 21 fevrier 1808 г.; Hassel 496, Tolstoï 6—18 mars 1808 г. Archives de Saint-Pétersbourg.

в марте 1808 г. должен был состояться спектакль в Тюльери. Весь двор, собравшись в театральной зале, ожидал Их Величества, как вдруг распространился слух, что они не прибудут, и что началось решительное объяснение. Наполеон, усталый, взволнованный, сознавая себя несчастным, лег. Он приказал позвать к себе императрицу. Она пришла совсем одетая, в парадном придворном туалете, готовая отправиться на спектакль. Он просит ее подсесть к нему, открывает ей свои проекты и свою душевную тревогу. Ему хотелось, чтобы Жозефина сама потребовала развода. Он прибегает то к приказаниям, то к мольбам, то к порывам нежности, и так проходит вся ночь, — то в слезах, то в упреках, то в бешеных ласках. Умное и хорошо осведомленное перо, по секретным признаниям императрицы, описало эту сцену и передало нам рассказ Жозефины. Донесение Толстого своему министру, написанное по слухам при дворе, не особенно заметно отличается от этого рассказа; только он прибавляет к нему заключение, которое императрица сочла нужным обойти молчанием. После ее рассказа о том, что «ее слезы, настойчивые просьбы, твердость (ибо она утверждает, что выказала ее в большей степени) тронули императора, который не мог ничего добиться от нее», Толстой прибавляет: «Через два дня он возобновил попытку и опять безрезультатно... Он до того вспылил, что будто бы сказал ей, что, в конце концов, она заставит его усыновить его незаконных детей. Она тотчас же ухватилась за эту мысль и заявила, что не прочь их признать. Удивленный такой неожиданной для него снисходительностью, он выразил ей свою благодарность, уверив, что, после такого прекрасного поступка, он никогда не решится расстаться с ней. По-видимому, дело на этом и остановилось. В фразе, сказанной по этому поводу Талейраном одному из своих сообщников, он обвиняет Наполеона в том, что, в настоящем случае, он не сумел покончить дело. «Я, со своей стороны боюсь, что теперь он слишком будет торопиться и, что, если императрица будет упорствовать по-прежнему, он прикажет начать развод от своего имени»[1].

Итак, по словам Толстого, опасность и на этот раз

[1] Толстой Румянцеву, 6—18 марта 1808 г. Archives de Saint-Pétersbourg.

была только отсрочена; но она оставалась по-прежнему и каждый день снова могла выступить на сцену. На основании этих сведений, возможность сватовства все более входила в предложения и расчеты России. Благодаря этому при русском дворе начинают обнаруживаться два противоположных течения. Императрица-мать, узнав об опасности, хочет спасти свою дочь, выдав ее, как можно скорее, замуж. Она повсюду ищет партии. Александр же боится, чтобы, ввиду распространенных слухов, такая поспешность не показалась его союзнику умышленной, нежеланием оказать ему услугу, и не была истолкована, как способ избегнуть предложения; но возможно и то, что он хотел сохранить за собой средство дать Наполеону неопровержимое доказательство своей симпатии и доверия, если бы желание императора французов выяснилось в непродолжительном времени. Поэтому он задерживает замужество своей сестры, и в результате официальная деятельность правительства идет вразрез с личными усилиями императрицы Марии.

Незадолго до этого был поднят вопрос о браке Екатерины Павловны с баварским наследным принцем. Летом 1808 г. русский посланник в Вене, князь Куракин, переписка которого с приближенными императрицы-матери и с ней самой ни для кого не была тайной, попросил своего баварского коллегу Рехберга приехать к нему. Он сказал ему, что пришло время снова взяться за это дело. «В Петербурге, — сказал он ему, — ждут шагов с вашей стороны». Мюнхенский двор, крайне заинтригованный, поручил своему представителю в Петербурге Брею повидать графа Румянцева и выяснить дело. При первых же словах баварского посла Румянцев сделал удивленное лицо. Наведя справки, он ответил, что поручение князю Куракину сказать, что «этот брак, казавшийся некогда подходящим, остается таковым же и теперь, было дано императрицею-матерью, а вовсе не кабинетом». Русский министр поспешил прибавить, что, так как во время первых переговоров делу не был дан надежный ход, «то он не видит основания для возобновления его в настоящее время, и что все это дело нужно рассматривать, как не

состоявшееся»[1]. Баварский двор принял это к сведению и тотчас же прекратил переговоры.

Ввиду того, что эта партия не состоялась, императрица-мать стала подумывать о приискании других. Говорили то о принце Кобургском, то о каком-либо эрцгерцоге. Наконец в Россию прибыл принц Георгий Гольштейн Ольденбургский, недавно перешедший на на службу к царю. Возник вопрос: нельзя ли, дав ему управлять большой губернией, сделать из него подходящую партию для Екатерины Павловны? Принц был малопривлекателен. «Принц невзрачен, худ, лицо его покрыто бутонами, но он с трудом выговаривает слова, — писал Коленкур»[2]. При сравнении его с предназначавшейся ему великой княжной, которая была полным совершенством, «петербургские барышни находили, что для нее он недостаточно хорош»[3]. Но императрица предпочитала его для своей дочери, равно как и жизнь в русской губернии первому трону на свете, разделенному с узурпатором. Однако, какой бы благосклонностью вдовствующей императрицы и дружбой императорской семьи ни пользовался принц, брак не был решен, и, когда император Александр прибыл в Эрфурт, рука его сестры была свободна.

Когда Наполеон приехал в Эрфурт, у него по вопросу о разводе и новом браке не было еще твердо установленного решения, а только более резко определившееся за последние годы желание, с которым он то боролся, то мечтал о его осуществлении. Случай заручиться согласием России показался ему благоприятным. Он вовсе не был намерен просить теперь же руки великой княжны Екатерины или вызвать Александра на официальное предложение ему ее руки, но он ничего не имел против того, чтобы Россия была к его услугам и обязалась хранить для него на случай его развода одну из великих княжен. Его желанием было связать Александра без всяких обязательств со своей стороны, заручиться несколькими словами, о которых он мог бы напомнить, и, в случае надобности

[1] Письмо кавалера де-Брей Коленкуру, 28 августа 1808 г. Письмо Коленкура Шампаньи, 4 сентября 1808 г. Archives des affaires étrangéres, Russie, 147.

[2] Коленкур императору, 23 ноября 1808 г.

[3] De Maistre, 318.

придать им значение положительного обещания.

Его гордость не позволяла ему забегать вперед; он желал, чтобы Александр заговорил первым. Он приказал Талейрану и Коленкуру вызвать его на это. Обращаясь то к тому, то к другому, он дошел до того, что подсказывал им, как ставить вопрос и какие приводить доводы, чтобы заставить царя заговорить. «Вопрос о разводе имеет значение для всей Европы; новый брак будет способствовать успокоению устрашающего всех воинственного пыла, заставит императора полюбить свой очаг». При всем том, в своей безграничной гордости, он даже в присутствии близких ему людей не хотел показать вида, что в ком-нибудь заискивает. Если он считает, говорил он, этот шаг полезным, то только потому, что видит в этом средство испытать Александра. «Это делается только для того,— говорил он,— чтобы посмотреть, действительно ли он принадлежит к числу моих друзей, действительно ли близко принимает к сердцу счастье Франции, ибо, что касается меня, я люблю Жозефину; никогда я не буду счастливее, чем теперь; это дело — тяжелая жертва для меня». Но, добавлял он, этого требуют от него его семья и его советники; об этом просят его со всех сторон; беспокоятся о будущем; «думают, что Франция благоденствует, пока я жив!.. («On croit la Franse en viage sur ma tête»). И, действительно, сын был очень желателен. В самом деле, что будет с империей, когда не станет императора? Его братья не годятся ему в наследники. Он знал, что некоторые лица думали о Евгении, о его усыновлении, «дурной способ основывать династию». И, мало-помалу, обнаруживая свои мысли, он дошел до того, что задал несколько вопросов о великих княжнах.

Коленкур заметил, что только старшая была в таком возрасте, что могла выйти замуж, и то он не ручался за согласие императорской семьи. Препятствием служит различие веры, ибо русские великие княжны не охотно меняют религию. Доказательство этому было несколько лет тому назад, когда по этой причине не состоялся брак шведского короля со старшей дочерью Павла I. Пожимание плечами было единственным ответом на это замечание, которое, по-видимому, в высшей степени не понравилось императору. Какое ему дело до традиций и обычаев? Можно ли сравнить брак с ним с браком с каким бы то ни было государем? Впрочем, поспешил он добавить, он не выделяет великую княжну из ряда других принцесс. Его решение пока еще не принято; ему желательно только знать, будет ли его развод одобрен при союзном дворе; не будет ли этот поступок шокировать русских; что думает по этому поводу сам Александр. Тем не менее, его собеседники понимали, что его мысль шла дальше его слов, и что уверенность в том, что его предложение будет принято в Петербурге, может обусловить его решение или дать делу ускоренный ход[1].

Александр, мнение которого Талейран и Коленкур осторожно выведали, не отказался от шага, которого от него желали. Это было средством выяснить трудное положение. Он заговорил первый и высказал императору, что его истинно верноподданным, его лучшим друзьям желательно, чтобы он упрочил новым браком свое дело и свою династию. Наполеон принял эти откровенные слова, как проявление чувства дружбы, был, видимо, тронут, и между императорами была рассмотрена возможность семейного союза. Однако, заботясь прежде всего о том, чтобы избегнуть всего, что мало-мальски походило бы на обязательство, Наполеон все время выражался туманно, ставя развод и вытекающие из него последствия в ряду возможных случайностей будущего. Раз разговор был поставлен на такую неопределенную почву, не могло быть и речи о великой княжне Екатерине, возраст которой не позволял откладывать ее брака на долгий срок; было произнесено, да и то только вскользь, имя ее младшей сестры. Александр, успокоившись за настоящее, в сущности очень довольный, что его не обязывали ни к какому решению, что ему давали время посмотреть, какой оборот примет политический союз, не очень настаивал, и разговор окончился, не дав никакого результата. Через восемь дней по возвращении царя в свою столицу брак Екатерины Павловны с принцем Ольденбургским был объявлен официально[2].

Если бы Наполеон просил руки великой княжны Екатерины, весьма вероятно, что Александр не решился бы отказать ему, поставив окончательное решение в за-

---

[1] Documents inedits. Cf. Thiers, IX. 334—339.
[2] Коленкур императору, 23 ноября 1808 г. De Maistre 318.

висимость от согласия своей матери (он вполне определенно указал на эту оговорку в своем разговоре с Коленкуром). Но так как Наполеон откладывал все на будущее, может быть, отдаленное, и так как вопрос шел только о младшей великой княжне, возраст которой не допускал брака в скором времени, то Александр воздержался от какого бы то ни было слова, которое могло бы быть предъявлено ему в качестве предварительного согласия на сомнительное сватовство. В общем эрфуртские разговоры, обставленные с обеих сторон недомолвками, представляли то неудобство, что дело о браке было начато без твердо установившегося желания, с одной стороны, и без искреннего желания ему успеха, с другой. Они создали между императорами еще один вопрос, притом крайне скользский, и не только не решили его в определенном смысле, но даже не облегчили его решения в будущем[1].

VI

ДОГОВОР

Параллельно с туманными разговорами и полунамеками снова начались формальные переговоры и медленно подвигались вперед. Возвратясь из Веймара, императоры нашли, что, хотя Шампаньи и Румянцев и столковались по поводу включения в договор некоторых статей, но что многие статьи тормозили их работу. Предоставив самим себе устранить эти препятствия, Наполеон и Александр пожелали, чтобы работа их министров продолжалась под их непосредственным наблюдением и чтобы каждый спорный вопрос представлялся на их усмотрение. Благодаря этому, между их дворцами и канцеляриями шло непрерывное хождение взад и вперед. Румянцеву и Шампаньи приходилось иногда до четырех раз в день покидать друг друга, чтобы отправиться к своим государям за приказаниями и по получении их снова приступать к обсуждению. Случалось, что в тот момент, когда Александр, спеша догнать императора, садился уже на коня, к нему подходил его министр и с озабоченным видом, обращая его внимание на некоторые вновь возникшие недоразумения, просил его указаний. «Меня ждет император Наполеон, — говорил царь, я все это улажу с ним»[1]. И во время прогулки или вечернего разговора они старались сообща найти подходящую для примирения формулу. По некоторым вопросам сходились, другие устраняли, и, благодаря такому способу действий, прикрывавшему слишком частые разногласия, договор во многих своих отделах принимал определенную форму.

Вступление и первые три статьи определяли цель, которой надлежало достигнуть, т. е. заключение всеобщего мира, и устанавливали меры, которые надлежало принять по отношению к Англии. Было установлено, что Англии будет предложено начать переговоры; что будут назначены уполномоченные, которым поручено будет явиться в указанное ею место; что при переговорах Франция и Россия будут действовать в полном согласии, будут сообщать друг другу все предложения противной стороны и никогда не разобщать своих интересов. В этих же статьях заключались все общепринятые в подобном случае параграфы, не подававшие повода ни к какому недоразумению.

На каких основах желателен мир с Англией? Надлежало, чтобы при заключении мира Франция и Россия взаимно обеспечили друг другу их приобретения, что составляло основной принцип их союза. Независимо от их прежних владений, они гарантировали друг другу все завоевания, которые они совершили или которые предприняли со времени Тильзита — Франция на юге Европы, Россия на Севере и Востоке.

Сначала статьей 4-й было постановлено вести переговоры, исходя из фактического владения, т. е. каждый должен был сохранить за собой то, что он занял.

[1] Documents inédits. Gf. les piéce 16210 et 16341 de la Correspondans de Napolèon, ainsi que lettre de Champagny á Caulaincourt en date du 22 novembre 1809, et celle Caulaincourt a Champagny en date du 3 janvier 1810. Archives des affaires étrangéres, Russie, supplèments, 17.

[1] Шампаньи Наполеону, 11 октября 1808 г. Письма, в которых министр иностранных дел отдает за каждый день отчет своему повелителю о переговорах, находятся в Archives nationales, AF, IV, 1697. Thiers опубликовал часть их, IX, 325—327.

Но этого отвлеченного обещания не было достаточно, чтобы успокоить два одинаково недоверчивых честолюбия, которые требовали положительных гарантий. Кроме того, охваченная восстанием Испания фактически не входила в наше *uti possidetis* а, между тем, Наполеон желал, чтобы именно присоединение Испании к его династии было совершенно точно гарантировано ему Россией. Итак, по статье 6-й, царь должен был принять на себя обязательство «считать непременным условием мира — признание Англией установленного Францией порядка вещей в Испании». Что же касается перемен, которые совершались или подготовлялись в течение целого года по ту сторону Альп, то Наполеон удовольствовался тем, чтобы Александр написал ему простое письмо и заранее прислал все, что он решит «относительно судьбы королевства Тосканского и других государств Италии»[1].

Параллельно с этим — исключительно в пользу Франции — статьями шли соответственные обязательства Наполеона. Статья 5-я, по которой Наполеон, повторяя употребленные для Испании выражения, принимал на себя обязательства «считать непременным условием мира с Англией признание ею Финляндии, Валахии и Молдавии составными частями Российской империи».

Нужно ли было более подробно говорить о шведской и двух турецких провинциях, которые Франция предоставляла своей союзнице? Сначала Александр требовал, чтобы присоединение Финляндии к его владениям было признано в точных выражениях; Наполеон был не прочь на это согласиться[2]. Затем это требование было оставлено. Царь видел в этом мало пользы, ибо Франция никогда не затруднялась пожертвовать Швецией; он усматривал даже в подобном требовании некоторую опасность, так как Наполеон мог потребовать назад другие уступки. О Финляндии было сказано только в вышеупомянутой статье. Об участии других частей Шведской монархии, по-видимому, не поднималось вопроса, хотя Александр получил полную свободу продолжать войну на Севере и придать ей

[1] Это письмо было опубликовано в Correspondance de Napoléon XVII. 648, в примечании.

[2] Шампаньи Наполеону. 11—12 октября 1808 г.

большие размеры; условились только на статье 13-й предоставить Дании расширить ее территорию пропорционально ее жертвам и ее услугам.

Что касается Молдавии и Валахии, вопрос стоял иначе. Хотя Наполеон и сознавал, что поведение Австрии, делая необходимым соглашение с Россией, обязывало его к большей уступчивости, тем не менее он все-таки ставил некоторые оговорки. Он давал слово не препятствовать присоединению княжеств к России, но просил своего союзника не пользоваться тотчас же этим правом и сохранить его в тайне в течение нескольких месяцев. Он хотел, чтобы Россия, прежде чем объявить туркам о своем желании оставить за собой обе провинции и этой ценой обусловить мир, подождала исхода переговоров с Лондоном. Он рассуждал следующим образом: Сен-Джемский кабинет упорно стремится помириться с Портой и привлечь ее в свой союз. Турки еще колеблются, так как они еще не вполне потеряли веру в Наполеона и воображают, что Франция поможет им отстоять неприкосновенность их территории. Но, если царь, по возвращении из Эрфурта властно потребует от них уступки обеих провинций, они поймут, что Франция их покинула, изменила им и предала их. В припадке отчаяния они снова кинутся в объятия Англии и отдадут в ее распоряжение все средства своей империи. Мы обольщали себя надеждой, что замкнули нашего врага в его морских владениях; благодаря же этому обстоятельству, он появится на суше не только в Испании, но и на Востоке. Овладев вновь, благодаря захвату двух его окраин, европейским континентом, он почувствует себя в лучших для ведения борьбы условиях и приобретет мужество упорно поддерживать ее. «Он снова найдет союзника, — говорилось в вышеупомянутой ноте, — приобретет открытые двери для своих произведений и проникнет в Черное море. Для России мир будет затруднен, война поставлена в менее выгодные условия»[1]. — «Если же мир между Россией и Портой», — говорил сам Наполеон, выдвигая другой довод, — будет заключен во время переговоров с Англией, это событие будет более чревато затруднениями, чем выгодами, так как Англия лучше уяснит себе вопросы, которые обсуждались в Эрфурте. Договор, заключенный с Портой, ясно покажет ей, что мысль

[1] С. 437—438.

о разделе отложена и что ей нет поводов особенно бояться»[1]. Итак, пусть Россия удовольствуется пока занятием двух провинций, пусть смотрит на них, как на свою собственность, управляет ими, устраивает их по своему желанию и организует там защиту против нападения, откуда бы таковое ни последовало; но в настоящее время пусть она откажется от требования в Константинополе их уступки. Дело идет вовсе не об отсрочке ее права на владение, а только об отсрочке официального его признания.

К несчастью, всякое, хотя бы незначительное, ограничение в деле пользования предоставленными выгодами имело дар портить настроение русских и приводить их в дурное расположение духа. Единственный пункт, по которому Александр и его министр привезли в Эрфурт уже готовое мнение, пункт, на котором они твердо стояли, решив отклонить всякий компромисс, была признанная ими обоими необходимость доставить своему государству немедленное расширение границ за счет Турции. В этом отношении их решение было установлено твердо и бесповоротно. Главный упрек, который они делали французской политике, состоял в том, что она до сих пор платила им только обещаниями, исполнение которых откладывалось Наполеоном в продолжение целого года. Беспокоясь по поводу этих повторных отсрочек, устав ждать, они спешили выйти из этого положения, и Румянцев выражался по этому поводу с почти грубой откровенностью; он говорил Шампаньи: «Мы не можем согласиться на продление существующего уже целый год положения вещей; оно слишком идет вразрез с нашими интересами; мы для того и приехали сюда, чтобы объявить вам, что намерены положить этому конец»[2]. Опираясь на слова, сказанные Наполеоном в Тильзите, как на нечто, дающее им известные права и на услуги, оказанные Россией общему делу, они прибыли в качестве нетерпеливых кредиторов, желавших использовать свои права, и требовали уплаты долга, который, по их мнению, следовало взыскать уже много месяцев тому назад. Предпочитая частичное, но данное тотчас же удовлетворение надежд на безграничные выгоды в будущем, предпочитая приобретение княжеств

[1] Corresp., 14364.
[2] Шампаньи Наполеону, 6 октября 1808 г.

сейчас же обещанию Константинополя в будущем, они сгорали от желания доставить России вполне определенное и бесспорное приобретение. Можно было подумать, что царь дал клятву своим подданным — не возвращаться из Эрфурта, не привезя им с собой клока Турции.

Кроме того в своих отношениях к Наполеону Александр и Румянцев дошли до такой степени недоверия, что каждое слово императора принимало в их глазах подозрительный смысл и заключало в себе западню. В настоящем случае им казалось, что требуемая отсрочка содержала в себе отрицание самой сущности их права. Они говорили себе: если Наполеон требует от них новой отсрочки, то только в надежде их обойти и обмануть. Пока они будут бездействовать и откладывать в долгий ящик предъявление туркам требований о формальном отречении от княжеств и завершении этого дела соответствующим трактатом, Наполеон покорит Испанию. Покончив с этой задачей, он устремит свое внимание на Восток. Если к тому времени мир с Англией не будет заключен, он вернется к своим первоначальным идеям. Так как война между русскими и Портой не будет окончена, он воспользуется этим, чтобы предложить им на обсуждение вопрос о разделе Турции. Это послужит для него средством вознаградить себя за эрфуртские уступки более значительными для Франции выгодами, даст ему повод вызвать нескончаемые затруднения и подвергнуть вопрос во всем его объеме новому рассмотрению[1]. С другой стороны, если мир с Англией будет заключен прежде, чем Россия успеет окончить свою распрю с Портой соглашением, что будет служить Александру гарантией, что наполеоновская политика будет идти прежним путем? Разве император, который не будет более нуждаться в союзе на Севере, не может вернуться к туркам, не может поддержать их и оказать содействие их сопротивлению запоздавшим требованиям и, обманув доверие России, взять обратно те уступки, к которым вынудила его только настоятельная необходимость? Итак, по их мнению, необходимо было, чтобы восточный вопрос, вместо того, чтобы оставаться полуоткрытым, как того желала ко-

[1] Румянцев Александру, 27 декабря 1808 г. — 8 января 1809 г. Archives de Saint-Pétersbourg.

варная политика, был окончен теперь же, в течение нескольких недель, пока Наполеон не может обходиться без России, и пока его собственная выгода служит гарантией его искренности. Сверх того, Александр и его министр хотели поскорее развязаться с делами на Дунае, чтобы приобрести свободу действий в Европе и не нуждаться в Наполеоне. Вот почему Румянцев и приступил с предвзятым намерением не быть уступчивым к обсуждению тех статей, с помощью которых в отстаиваемом Шампаньи французском проекте, составленном Талейраном по указанию императора, имелось в виду установить как настоящее положение княжеств, так и будущую их судьбу.

В первоначальной его редакции этот проект содержал статью, именно восьмую, составленную так: «Его Величество Император Российский, исходя из того, что революция и беспорядки, волнующие Оттоманскую империю, лишают ее всякой возможности дать, а, следовательно, и всякой надежды получить от нее достаточные гарантии личной и имущественной безопасности жителей Валахии и Молдавии, решил отнюдь не возвращать княжеств, тем более, что только обладание ими может дать естественную и необходимую границу его империи. Его Величество Император Наполеон не противится решениям Его Величества Императора Всероссийского»[1]. Александр и Румянцев нашли эти выражения слишком слабыми и предложили заменить их другими, а именно: «Его Величество Император Наполеон согласен, чтобы Император Российский получил в державное обладание Валахию и Молдавию, принимая за границу Дунай, и признает с настоящего времени присоединение их к Российской империи...» После некоторого сопротивления Наполеон согласился, чтобы его согласие на намерения Александра было выражено в столь точной форме, и русская редакция была принята. «Если найдется более точная, более сильная формула для выражения нашего согласия и признания, мы примем ее, — сказал Шампаньи, — но во имя высокого значения восстановления мира ограничьтесь этим в настоящую минуту»[2]. Перешли к следующей статье, и спор возобновился с новой силой.

[1] Archives nationales, AF, IV, 1697.
[2] Шампаньи императору, 6 октября 1808 г.

Эта статья давала России право вести переговоры о приобретении княжеств непосредственно с Портой, помимо нашего посредничества. Наполеон, который сначала стремился удержать за собой признанную за ним роль посредника, для того, чтобы, руководить переговорами, удовольствовался в конце концов следующей оговоркой: «Порте не будет сделано никакого сообщения о намерениях России до тех пор, пока не станет известным результат предложений, сделанных Англии обоими государствами». Эта фраза, решительно отвергнутая Румянцевым, сделалась новым камнем преткновения.

После неоднократных разговоров, особенно после последнего по этому вопросу двухчасового спора, Шампаньи признал в своем собеседнике систематическое предубеждение, которое делало его глухим ко всем доводам. «Такое упорство Румянцева, — писал он императору, — не есть продукт настоящего момента. Оно является результатом долгих размышлений, направленных постоянно к одной цели; следствием надеж, осуществление которых ожидалось с большим нетерпением, и, наконец, убеждения, что в настоящее время ничто не может воспрепятствовать исполнению намерений России. Я отчаиваюсь побороть его упорство»[1].

Ввиду того, что министр признался в своем бессилии и уклонился от борьбы, Наполеон заместил его. Он взял на себя это дело и попытался склонить Александра; но и его усилия сокрушились о невозмутимое упорство его союзника. Наконец, этот спор, угрожающий судьбе союза, окончился сделкой. Наполеон согласился, чтобы в статье вовсе не упоминалось о сроке и к русским не предъявлялось никаких требований об отсрочке; было только обусловлено, что наша дипломатия в Константинополе не будет поддерживать их требований, что она сохранит за собой право щадить самолюбие оттоманов и отрицать всякое соглашение между двумя императорскими дворами за счет Турции. Сверх того, Александр дал слово не предъявлять своих требований и не возобновлять кампании до 1 января 1809 г.[2].

[1] Thiers, X. 327.
[2] Об этом обязательстве упоминается и дается по поводу его объяснение в донесении Румянцева Александру от 27 декабря 1808 г. — 8 января 1809 г. Archives de Saint-Pétersbourg. См. также донесение Коленкура императору от 22 ноября 1808 г.

Наполеон надеялся, что к этому времени Англия уже выскажется по поводу предложений о мире, будет связана ответом, и, следовательно, поворот в Турции в пользу союза с нею, если бы это и случилось, будет запоздалым и не окажет влияния на ее решения. Эта оговорка, сделанная только на словах, не появилась в 9-й статье, которая в окончательной редакции была выражена так:

«Его Величество Император Российский обязуется хранить в глубочайшей тайне предыдущую статью (ту, по которой признается присоединение к России княжеств), и имеет приступить в Константинополе или в в каком-либо ином месте к переговорам для получения добровольной, если это окажется возможным, уступки обеих указанных провинций. Франция отказывается от посредничества. Уполномоченные или агенты обоих государств условятся о том, что и как следует говорить, дабы не компрометировать существующей между Францией и Портой дружбы, равно как и безопасности живущих в турецких приморских городах французов, и чтобы воспрепятствовать Порте броситься в объятия Англии».

В следующей статье подробно определялось предполагаемое содействие, которое оба государства должны будут оказать друг другу против Англии. И здесь, в договоре, проводился принцип обоюдных услуг между Францией и Россией на почве их взаимных интересов. Если Англия нападет на Россию на Востоке и вступит в союз с турками ради спасения княжеств, Наполеон выступит против нее; равным образом, если Австрия начнет войну с Францией, царь выступает за нас, и «должен смотреть на это дело, как на одно из условий союза, связывающих обе империи».

Некоторые из заключительных статей договора довершали общий характер всего дела. Согласно установленному Наполеоном принципу, эрфуртский акт не задавался целью определить на вечные времена отношения между Россией и Францией, ни даже составить окончательный план военных действий против Англии. Это было только первое соглашение о мерах, следствием которого, в случае надобности, была бы возможность сговориться относительно более энергичных способов воздействия. Эта мысль ясно вытекает из 12-й статьи; в ней было сказано: «Если шаги, сделанные обеими высокими договаривающимися сторонами для достижения мира, не дадут результатов... Их Императорские Величества встретятся снова в годичный срок, чтобы условиться о совместных военных операциях и о способах вести войну всеми силами и средствами обеих империй». Отсюда вытекало, что только во время нового свидания они должны будут приступить к задаче, оставленной пока нерешенной: рассмотреть, не является ли раздел Востока последней мерой воздействия на Англию.

В ожидании этого следовало, чтобы добыча оставалась нетронутой, чтобы ни одна часть из нее не была преждевременно отделена, исключая того, что было только что выделено в пользу России. 16-я статья гласила: «К тому же высокие договаривающиеся стороны обязуются охранять неприкосновенность других владений Оттоманской империи, не делая сами и не допуская какого-либо посягательства против какой бы то ни было части этой империи, не предуведомив об этом заблаговременно». Однако, не следует думать, что давая отсрочку Восточной монархии, Наполеон предполагал оставить ей жизнь. По мнению императора, статья истолковывалась в том смысле, что оба двора взаимно обязывали друг друга не посягать на Турцию без обоюдного согласия, обязывались защищать ее от посягательства третьего лица, ставили ее под свою ревнивую охрану и только одним себе предоставляли право назначить час и условия ее раздела. Для Оттоманской империи это было не столько действительной гарантией, сколько наложением запрещения на ее владения.

Таким образом, был установлен текст договора, который обещались держать в тайне в течение десяти лет. Наполеон оспаривал, а затем принимал одну за другой статьи этого акта, резко отличающегося от того, который он имел в виду подписать в Эрфурте. Но оставалось пока неизвестным, одобрит ли он трактат во всей его совокупности, удовольствуется ли он им и не предъявит ли внезапно новых требований. В этом отношении даже его министры не могли похвастаться, что вполне знали его мысли. Конечно, он желал бы, чтобы соглашение было более широким, более точным; чтобы в нем лучше были предусмотрены известные случайности. Он все еще настаивал, чтобы обязательствам против Австрии было придано возможно широкое значение. Замышляя

уже о том, чтобы изъять Голландию из слабых рук короля Людовика и путем ее присоединения к Франции крепче связать ее с континентальной системой, он выразил желание, чтобы была внесена статья, в которой был бы сделан намек на Голландию, и чтобы она была предоставлена в его распоряжение. Но его требования порождали требования со стороны Александра. Затруднения возрастали и портили отношения, не приведя ни к какому положительному результату. Под конец наступило утомление. Жизнь в Эрфуте, с вечным повторением одних и тех же дивертисментов, тех же прений, — потеряла в глазах обоих государей свою прелесть; они поторопились закончить дело и расстаться. В конце концов они решили придерживаться сформулированных постановлений и более не говорить о них, из опасения, чтобы при стремлении к слишком точным определениям не пришлось бы воочию установить глубокие и опасные разногласия. Удовольствовались тем, что обеспечили настоящее, и 12 октября, — по энергичному выражению одного свидетеля, «закрыв глаза, чтобы не заглядывать в будущее»[1] — подписали договор.

Задача императоров не была еще окончена. Им нужно было установить выражения их общего письма к английскому королю. Кроме того, им оставалось еще ответить на письмо австрийского императора, и так как разговоры о торжественном его содержании не привели к соглашению, каждый из них должен был составить ответ от себя лично.

Александр согласился, чтобы письмо к королю Георгу было составлено в выражениях, наиболее способных внушить Англии страх за последствия, которые повлечет за собой ее отказ от мирных предложений. В уста обоих монархов была вложена речь, полная умеренности, искусства и достоинства; о возможности крайне серьезных переворотов давалось понять только после того, как было высказано искреннее желание примирения.

«Государь, — говорилось в письме, — настоящее положение дел в Европе соединило нас в Эрфурте. Наше главное желание — внять мольбам и нужде всех народов и попытаться в немедленном примирении с Вашим Величеством обрести наиболее действительное средство от зол, которые тяготеют над всеми нациями. Настоящим письмом мы сообщаем Вашему Величеству о таком нашем искреннем желании.

Долгая и кровопролитная война, раздиравшая континент, окончена и более не может возобновиться. В Европе произошло много перемен. Многие государства потрясены до основания и изменили свой вид. Причина этому кроется в тревожном и бедственном положении, в какое поставило самые великие народы прекращение морской торговли. *В будущем могут произойти еще более крупные перемены, и все не в пользу политики английской нации.* Итак, мир в интересах континентальных народов, равно как и в интересах народов Великобритании.

В полном единении мы решили просить Ваше Величество внять голосу человеколюбия, заставить замолкнуть голос страстей, изыскать средства к согласованию всех интересов, с твердым намерением оного достигнуть, и тем *дать гарантию всем существующим государствам;* обеспечить благоденствие Европы и того поколения, во главе которого поставило нас Провидение»[1].

Было условлено, что это письмо будет перевезено из Булони в Лувр на французском парламентерском судне; что оно будет отправлено графом Румянцевым Каннингу, статсекретарю Его Британского Величества, и будет сопровождаться препроводительным письмом, в котором будет предложено вести переговоры на основе uti poissdetis и «на всяком другом принципе, основанном на справедливости, взаимности и равенстве, которые должны царствовать между всеми великими нациями»[2]. Вместе с тем, было решено, что Румянцев поселится на некоторое время в Париже, чтобы в качестве уполномоченного России следить за переговорами с Англией.

Относительно Австрии диаметральная противопо-

[1] Неизданные документы. Текст договора находится в Correspondance de Napol'éon, n° 14372, и Recueil de M. de Clercq, II, 284—286.

[1] Corresp., 14373.

[2] Письмо Румянцева находится в Correspondance de Napoléon, XVII, 638, в примечании.

ложность во взглядах между обоими государями выразилась с первых же дней свидания, в том, что слова, с которыми они обратились к барону Винценту, не имели ничего общего. После приезда курьера Андреосси, Наполеон принял австрийского посла «чрезвычайно резко», с гневом в глазах и угрозой на устах. «Неужели, — сказал он ему, — Австрия всегда будет становиться мне поперек дороги; всегда будет идти против моих планов? Я хотел жить с вами в добром согласии, хотел предоставить вам большие выгоды. Но, когда все, по-видимому, улажено, все покончено между нами, являются ваши военные приготовления и вызывают тревогу в Европе. На что претендуете вы? Пресбургский договор бесповоротно установил вашу судьбу. Не хотите ли вы начать сызнова дело, которое он решил? В таком случае, вы ищете войны; я должен к ней приготовиться и буду вести ее беспощадно. Я не желаю войны, но и не боюсь ее. Мои средства громадны. Император Александр — мой союзник, и им останется. Ваши внушения и ваши предложения не поколебали его; он добросовестно исполнит свои обязательства и направит против вас все силы своего государства; это я знаю доподлинно. При таких условиях, благоприятствует ли вам для нападения на меня настоящий момент? Это вам решать: будущее покажет, правы вы или нет. И, наконец, после четырех разгромов не пора ли вам успокоиться, посвятить себя улучшению ваших финансов, вашего внутреннего благосостояния? Разве ваша истинная польза не в том, чтобы распустить вашу милицию и сократить ваши линейные войска, которые и так еще чересчур многочисленны? Ведь вам не угрожает никакой опасности; вашими врагами могут быть только те, которых вы сами создадите себе вашим вызывающим поведением и необдуманными вооружениями».

Впрочем, прибавил император, он не позволит безнаказанно бросать ему вызовы. На первое воинственное воззвание он ответит войной и не сложит оружия, пока не сведет на сто тысяч военные силы Австрии. Однако минутами он смягчался, давал понять, что удалит свои войска из Пруссии, и выведет гарнизоны из крепостей на Одере, если в Вене вновь установится мирное настроение. «Пока же, — улыбаясь сказал он, — я возвращу Берлин прусской королеве». Но при этом он

беспрестанно возвращался к двум и главным своим требованиям: Австрия должна отказаться от всяких чрезвычайных вооружений и признать французских королей в Испании и Италии[1].

Тотчас же после этого, грозного, как буря, разговора, барон Винцент повидал наедине царя. Он ожидал услышать и от него упреки и властные требования ужас наводящего императора, правда, быть может, в более смягченной форме. Какова же была его радость, когда Александр, избегая даже намека на разоружение, на котором так настаивал Наполеон, напротив, даже с некоторым доброжелательством, признал чисто преобразовательный и, следовательно, безупречный характер принятых мер. «Никто не имеет права, — сказал он, — вмешиваться во внутренние дела другого государства». Он ограничился советом вести себя осторожно, обдуманно; сказал, что это в интересах самой Австрии, «у которой нет лучшего друга, чем он, и которую он считает долгом чести охранять от нападения с чьей бы то ни было стороны»[2]. Его очень корооткое письмо к императору Францу воспроизвело то же самое уверение. «Прошу вас, — говорил он, — быть вполне уверенным в участии, которое я принимаю в Вашем Величестве и в деле неприкосновенности вашей империи»[3]. Одним словом, он, очевидно, гораздо более заботился о том, чтобы доказать венскому двору неосновательность его опасений относительно нападения на него, чем о том, чтобы наложить вето на его приготовления к наступательной войне.

Из всех требуемых Наполеоном мер против Австрии Александр, как мы помним, согласился только на одну. Он был не прочь снова употребить свои старания, чтобы совместно с *нами* добиться признания новых королей. Да и то он постарался отнять у этого шага характер, который хотел придать ему Наполеон, характер истинного требования, ультиматума, отклонение кото-

---

[1] Депеша Шампаньи Андреосси, от 1 октября 1808 г., в которой сообщался разговор императора с австрийским послом. Archives des affaires étrangéres, Vienne, 381. Депеша Винцента Стадиону, цитированная Hassel 280—281, по архивам в Вене.

[2] Депеша Винцента от 1 октября 1808 г. Hassel, 280.

[3] Это письмо от 2—12 октября 1808 г. было опубликовано M. Beer Zehn Jahre oesterrichischer. Politik, p. 477.

рого повлекло бы за собой разрыв сношений. Князю Куракину поручено было дать Австрии только совет и высказать пожелания. Так как венский кабинет снова отклонил требование, то Александр не захотел более оказывать давления на решения своей прежней союзницы и прекратил свои настроения. Веря более, чем обыкновенно, в искренность Австрии и безвредность ее военных приготовлений, он считал, что обратясь к ней с платоническим предостережением, он сделал достаточно, чтобы сдержать ее. Он писал Румянцеву: «Главная цель — помешать Австрии напасть на Францию и тем вызвать всеобщую свалку,— достигнута, и, судя по тому, что сообщает Анштет (русский поверенный в делах в Вене, преемник князя Куракина), все ее военные меры носят только оборонительный характер. Правда, что эти меры значительно увеличили ее силы; но я ничего не вижу в этом дурного; да благодаря этому, и Франция не так уж будет спешить с разрывом с Австрией»[1].

В результате, вследствие инертности России, та часть в предложенной Наполеоном по отношению к Австрии системе мер, задачей которой было предупредить ее враждебные действия путем угрозы, потеряла всякое значение. Признавая, что только угрозой можно заставить Австрию разоружиться, Наполеон, тем не менее, решил объясниться с венским двором и вместе с тем сделать для успокоения его соответствующие шаги. Имея в своем распоряжении только меры успокоительного характера и силу убеждения, т. е. средства, ценность которых казалась ему сомнительной, он спрашивал себя, в какой форме их употребить, чтобы сделать их сколько-нибудь действительными; он некоторое время колебался и спрашивал совета[2]. Наконец он остановился на мысли написать Францу I обстоятельное, чрезвычайно откровенное, высокомерное и в то же время примирительного характера письмо, в котором он без обиняков указывал на серьезность положения, излагал свои требования, но утверждал и старался доказать, что он не посягает ни на существование, ни на целость Ав-

[1] Александр Румянцеву, 18 декабря 1808 г. Archives de Saint-Pétersbourg.

[2] «Скажите, — говорил он своим приближенным, — какие средства употребили бы вы, чтобы успокоить этих добрых людей? Неизданные документы.

стрии[1]. Вместе с тем, чтобы поощрить австрийский двор принять меры к разоружению, он сам подал пример и пригласил рейнских государей распустить их войска, но с тем, чтобы при малейшей опасности поставить их опять на боевую ногу. «Мы желаем,— пишет он им,— спокойствия и уверенности в безопасности»[2]; и, действительно, в этой фразе заключалась в настоящее время вся его политика по отношению к Австрии.

Когда переговоры уже подходили к концу, был снова поставлен вопрос о судьбе Пруссии. Король Фридрих-Вильгельм покорился необходимости утвердить договор по 8 сентября. Отдаваясь, таким образом, на волю победителя, он надеялся умилостивить его и получить облегчение возложенных на Пруссию тягостей. «Король,— говорилось в ноте, привезенный графом Гольцем в Эрфурт,— уполномочивая нижеподписавшегося представить и ввести в силу это безусловное утверждение обязательств, принятых в вышеупомянутом договоре, сознает, во-первых, что его отказ от утверждения был бы не совместим с разумной предусмотрительностью, которая требуется в его положении. Сверх того, он решился на утверждение договора под влиянием безграничного доверия, которое внушает ему великодушие Его Величества Императора и Короля, который, конечно, не будет желать гибели Пруссии,— и, если, в силу этого акта, Король и отказывается от права вести переговоры об изменениях, которые крайне необходимо ввести в способ уплаты контрибуции, а также в определение сроков платежа, он не отказывается от права ходатайствовать об этом пред великодушием Его Императорского и королевского Величества, так же, как не отказывается в силу прямоты своего характера и от права доказывать, что невозможно уплатить в предписанный конвенцией срок огромную сумму, в сто сорок миллионов франков, которая многим превышает все средства, остающиеся Пруссии»[3]. Затем следовала тяжелая картина финансовых затруднений королевства; указывалось на истощение ее доходов, на потерю кредита. С вышеозначенными полномочиями в руках явился граф Гольц в качестве просителя.

[1] Corresp., 14380.

[2] Corresp., 14382

[3] Archives nationales, AF, IV, 1697.

Когда к настойчивым просьбам прусского посла присоединил свои просьбы и Александр, Наполеон не был неумолим. Он уступил Фридриху-Вильгельму двадцать миллионов из ста сорока и согласился, чтобы условия и сроки платежа сделались предметом будущего соглашения между Францией и Пруссией. Об этой уступке подробно было сказано в письме Наполеона к Александру, написанному накануне их разлуки. Царь со своей стороны отказался пользоваться статьей тильзитского договора, которая позволяла Пруссии при наступлении всеобщего мира надеяться получить кое-что из своих владений на левом берегу Эльбы.

«Я покончил все дела с русским императором»[1], — писал Наполеон 13 октября своему брату Жозефу. Действительно, трудные эрфуртские переговоры, во время которых среди развлечений и интриг было рассмотрено так много и притом столь важных вопросов, пришли к концу. 14 октября Наполеон и Александр выехали вместе из города при церемониальной обстановке, такой же, какая была при их въезде. Верхом, в сопровождении их военной свиты, они направились по дороге в Веймар. Около места их бывшей встречи они сошли с коней и продолжали разговор еще в течение нескольких минут. Наконец, после продолжительного обмена дружескими уверениями, они расстались. Александр сел в экипаж и поехал ночевать в Веймар. Уверяют, что по приезде в этот город его первой заботой было написать своей матери, чтобы успокоить ее и пошутить по поводу ее страхов. Намекая на распространявшиеся слухи о его похищении и пленении, он набросал только следующие строки: «Мы покинули эрфуртскую крепость и с сожалением расстались с императором Наполеоном. Пишу вам из Веймара»[2].

Когда русские экипажи скрылись из виду, Наполеон вернулся в Эрфурт шагом, не говоря ни слова, отдавшись глубоким, нерадостным думам[3]. Куда неслась его пылкая, беспокойная и глубокая мысль? Не к Испании ли, которая и манила его, и отталкивала; куда, как он сознавал это, ему необходимо было поехать лично, но куда ему претило забираться, как будто предчувствие побуждало его остерегаться этой пропасти? Или же, восстанавливая в памяти некоторые эпизоды, имевшие место в Эрфурте, мысленно просматривая только что законченное дело, он отдался думам об этом деле, вполне выяснив себе его несовершенство и не заблуждаясь относительно его истинной ценности?

[1] Corresp., 14378.

[2] Листок новостей, приложенный к письму Коленкура от 5 ноября 1808 г.

[3] Mémoires du duc Rovigo, IV, 6.

Да. Эрфуртское свидание временно скрепило наши узы с Россией. Разрешив целым рядом сделок недоразумения, возникшие между обоими дворами, оно устранило из их отношений всякий повод к немедленному разладу; оно гарантировало императору, что Россия не соединится с нашими врагами, чтобы зайти нам в тыл в то время, когда великая армия пойдет по дороге в Мадрид; оно сделало менее опасным все возрастающую враждебность Австрии, непримиримую ненависть Пруссии и глухое недовольство Германии; оно на короткое время предупреждало опасность всемирной коалиции.

Выполнило ли оно более возвышенную цель, ту, которую ему торжественно предназначали императоры? Подготовил ли взятый ими на себя большой труд мир с Англией и покой мира? А именно такого-то завершения своего дела как результата решительного разговора с царем Наполеон ожидал в продолжение шести месяцев. Заставить Англию приступить к переговорам,— такова была его упорная, постоянная мысль, которую он принес с собой в Эрфурт. Она проявлялась во всех его интимных разговорах, бросалась в глаза его приближенным. «Судя по тому, что я мог тогда подметить, — говорил один из них,— император более всего желал заключить мир; чтобы его добиться, он, видимо, был готов на большие уступки»[1]. Уезжая из Эрфурта, он по-прежнему желал мира, но уже не верил в него; свидание обмануло его надежды, сведя все меры против Англии к безопасной манифестации, оставляя по-прежнему на континенте все благоприятные для войны условия, накопленные последними событиями.

Но, по крайней мере, имело ли свидание своим результатом установление в отношениях между Францией и Россией определенной и прочной базы, делало ли оно возможным взаимное доверие между Наполеоном и Александром и совершило ли оно в их взаимных чув-

[1] Неизданные документы.

ствах искреннее обновление? Если бы это было так, Наполеон, более уверенный в России, чувствовал бы себя более сильным, чтобы противостоять нападению своих врагов, разрушить частичные коалиции, развернуть свои военно-морские силы, и, может быть, продления союза, созданного в Тильзите и освещенного в Эрфурте, хотя и медленно, но все-таки привело бы его к цели, т. е. к миру, которого он мог ждать теперь только от утомления и истощения своей соперницы.

Александр, конечно, имел основание покинуть Эрфурт с чувством удовлетворения. Он выиграл две провинции, по пространству равные целому королевству, по своему положению и значению самые нужные, каких только могла желать Россия для выполнения своих традиционных планов. Окончательно упрочившись на Дунае, владея границей, до которой только коснулся Петр Великий, которую, уже завоевав, возвратила Екатерина II, Россия заранее устраняла всякие притязания своих соперников на Востоке и намечала важный, быть может, решительный этап на пути к Константинополю. Придя отныне в соприкосновение с жизненными и центральными частями Турции, она могла оказывать более сильное давление на разрушающие империи, приобретала полную возможность или господствовать над ней, или завоевать ее, подчинить своему влиянию или подобрать ее останки. Если бы позднее Александр не отказался добровольно от того, что доставило ему свидание, может быть, история XIX века была бы иная; может быть, восточный вопрос был бы уже решен, благодаря окончательному водворению русского преобладания; может быть, русские цари царствовали бы над теми странами, которые они могли только с трудом освободить по частям.

Александр своим живым умом ясно понимал эти выгоды, радовался им, но он мечтал о гораздо большем и чувствовал себя обманутым. В течение нескольких месяцев он жил надеждой теперь же доставить России завоевание, которое сделало бы ее владычицей Востока. Эта надежда зародилась в нем не по его вине: она была внушена и навеяна ему Наполеоном. Сперва он боролся с ней, затем отдался ей всей душой. Она одна поддерживала его в горькие минуты. Если он шел за Наполеоном по неведомому и опасному пути, то только потому, что на горизонте, освещая ему путь, указывая цель, сияя вдали таинственным блеском, стоял

Константинополь. Теперь, когда волшебная картина скрылась окончательно и Александр вернулся к действительности, он находил, что и действительность прекрасна, но далеко ниже его былых надежд. Он сожалел о разрушенной мечте, и его славянская душа страдала от невозможности более предаваться грезам.

К тому же, какое бы высокое значение ни придавал он подарку княжеств, размышление умеряло чувство его признательности. Не отказывалось ли ему упорно в течение целого года в провинциях, которые были дарованы ему теперь; ибо, ставить неприемлемые условия при их уступке, значило отказывать. Если Наполеон в конце концов и уступил, то только потому, что события стесняли его волю. Он уступил, думал Александр, потому, что его неудачи по ту сторону Пиринеев, вызвавшие волнение в Германии, вынуждали его во что бы то ни стало поддерживать добрые отношения с Россией. Признательность царя направлялась скорее к восставшей Испании, чем к Наполеону, и теперь он не придавал уже большой цены запоздалой и вынужденной предупредительности.

Довольный выгодами, которых он добился, Александр уезжал недовольный тем, кто ему их предоставил, и окончательно приобретя уверенность в законности своих сомнений относительно намерений и добросовестности своего союзника. Мы шаг за шагом проследили, как росли и развивались его сомнения. Мы уловили их в зародыше в Тильзите; мы видели, как они усилились под влиянием крайнего возмущения, когда Наполеон предложил вторично обкарнать Пруссию; мы видели, как они снова стали развиваться весной 1808 г., когда император, предложив раздел Турции, отсрочил его выполнение; когда грандиозные размеры и необычайная сложность его проектов, а главное — его посягательство на Испанию, исходная точка всех последующих событий, которые должны были привести его к гибели, заставили его уклоняться от требований и удовлетворения России. Именно Испания, все та же фатальная Испания, которая, обнаруживая в Наполеоне хищного врага законных династий и похитителя корон, заставила Александра пройти третий этап на пути к охлаждению. Наконец, она же была главной причиной страхов, возникших в Вене и вооружений Австрии, что поставило между императорами австрийский вопрос, по которому пришли только к далеко неудовлетворенному

соглашению, притом после споров, во время которых Александру показалось, что он и тут уловил у своего союзника намерение посягнуть на достоинство и независимость государств. Этот четвертый повод к опасению и подозрению довел до крайности беспокойство Александра, и Эрфурт, где все должно было выясниться и по всем вопросам состояться соглашение, был свидетелем явления, как раз обратного тому, которое совершилось в Тильзите. На берегах Немана в уме царя взяло верх доверие; оно оттеснило другие чувства, но не уничтожило их; в Эрфурте недоверие окончательно взяло верх, подавив остаток его привязанности к императору. Хотя в это время император Александр и не решил еще тотчас же по окончании войны с Турцией отделиться от нас, хотя в настоящее время он и не назначил еще момента разрыва, но для того, чтобы вызвать его отпадение и переход в лагерь наших врагов, достаточно было малейшей обиды, любой перемены в Европе, которая нарушила бы непрочное равновесие, любого события, благодаря которому Наполеон сделался бы в его глазах более опасным и грозным. Союз не пережил бы нового испытания.

А между тем, такой крайне серьезный кризис приближался; он уже виднелся вдали на горизонте — это была война с Австрией, которую эрфуртское свидание могло бы, быть может, отвратить, но оно, наоборот, ускорило ее. Конечно, сомнительно, чтобы даже твердо выраженная воля обоих императоров могла заставить Австрию сойти с намеченного ею пути. Возможно, что опасности потерять самостоятельность она предпочла бы войну, войну немедленную и беспощадную; ибо, в самом начале переговоров в Эрфурте, она предупредила лондонское правительство, что будет держаться стойко; отвергнет, как вероломные и криводушные, все предложения, которые будут ей сделаны из Эрфурта, и устранится от всякого совместного действия, направленного против Британского государства[1]. Тем не менее, достоверно, что поведение Александра в Эрфурте поддержало ее в ее воинственных намерениях, позволило ей рассчитывать, что Россия никогда не позволит увлечь себя в серьезное против нее дело.

[1] Депеша от 8 октября 1808 г. графа Гарденбергера, бывшего ганноверского посла в Вене, уполномоченного по тайным сношениям между дворами Австрии и Англии. Hassel 538.

В последующие за свиданием недели все, кто следил за венской политикой, французские и иностранные агенты, но только не русские, замечали в ней более решительные поступки. Вооружения продолжались с особой энергией, деятельность военных сфер усилилась. В октябре месяце Стадион, которому барон Винцент передал свои разговоры с Александром, обратился к Англии с просьбой о субсидии. Он обещал ей отвлечь силы Наполеона и приказал сказать, чтобы она никоим образом не шла на уступки и не начинала переговоров «в то время, когда Австрия рассчитывает на выгоды от продолжения войны»[1]. Правда, несколько дней спустя, сведения о состоявшемся на случай войны с Австрией соглашении, о чем барон Винцент узнал только в последние минуты пребывания в Эрфурте, испугали посла и произвели впечатление на его правительство; но тайное и зловредное вмешательство вскоре успокоило венский двор и дало толчок его решению.

В Эрфурте Талейран восторжествовал над Наполеоном. Его политика одержала верх над политикой императора. По возвращении в Париж он не нашел ничего более важного и спешного, как объявить об этой победе Меттерниху и приписать заслугу в этом деле себе лично. До сих пр он ограничивался только тем, что отговаривал нашего союзника вполне полагаться на нас, теперь же он вступает в самые интимные сношения с государством, которое вооружалось против нас и готовилось напасть на нас. Он доводит до конца свою измену и переходит на сторону врага. Он выдает Меттерниху секрет происшедшего между обоими императорами разногласия. Его впечатления о результате переговоров резюмируются в следующей решительной фразе: «Теперь Александра нельзя увлечь против вас»[2]. Он идет дальше: он выражает надежду на дружеское сближение между Австрией и Россией. «Со времени Аустерлицкой битвы,—сказал он,—отношения между Александром и Австрией не складывались более благоприятно. Только от вас самих и от вашего посланника в Петербурге будет зависеть снова завязать с Россией

[1] Депеша графа Гарденбергера, от 11 октября 1808 г. Hassel 539.

[2] Донесение Меттерниха от 4 декабря 1808 г., опубликованное Beer, Zehn Jahre oesterreichischer Politik, p. 527.

столь же близкие отношения, какие существовали до Аустерлица. Только один этот союз может спасти остатки независимости Европы»[1].

В то время, когда Талейран работает над тем, чтобы заложить фундамент новой континентальной коалиции, он совершенно не сознает, что потворствует будущему зачинщику. Во всяком случае он ошибается, думая, что в Вене вооружаются исключительно ради ограждения себя от нечаянного нападения, и что там и не помышляют о нападении на наши границы. Его цель — поставить Австрию и Россию на общую оборонительную линию и противопоставить эту двойную преграду наполеоновскому честолюбию. Но Австрия, ослепленная страстью, усмотрит в успокоительных словах князя довод в пользу своих злостных намерений напасть на нас; Талейран, ручаясь ей за доброжелательство или, по крайней мере, за нейтралитет России, как бы дает ей разрешение начать коалицию.

При сближении чисел и сравнении документов удается уловить между секретными сообщениями французского министра и окончательными решениями враждебного нам двора слишком очевидное соотношение. Разговоры между Меттернихом и Талейраном происходили в октябре и ноябре. В конце последнего месяца Меттерних, взяв временный отпуск, возвращается в Вену. В Вене, на основании данных, собранных в Париже, он составляет докладную записку о положении дел в Европе, которую заканчивает косвенными заключениями в пользу войны, основываясь на двух соображениях, развитых им подробно в особой записке. Первое соображение — недостаток наличных сил, которые Наполеон, занятый в Испании, будет в состоянии противопоставить вторжению австрийских войск; второе — перемена в направлении мыслей и симпатий Александра, перемена, которую и создал, и сделал очевидной, и за которую ручается Талейран[2]. Труд Меттерниха помечен 4 декабря. 10 Стадион излагает письменно выгоды, которые, по его мнению, представляет нападение. В следующие дни, уступая настояниям министра и доводам посланника, император Франц бесповоротно присоединяется к их партии. Составленные 23-го инструкции для возвращавшегося в Париж Меттерниха окончательно обнаруживают воинственные намерения Австрии. «Если война,— говорилось в них,— не входит в расчеты Наполеона, она безусловно должна входить в наши»[1]. Если Меттерниху и поручается повторять мирные уверения до тех пор, «пока ему не будет предписано из Вены переменить разговор или, вернее,— придать большую твердость его словам», то только с единственной целью ввести в заблуждение относительно истинных намерений его двора, выиграть время, чтобы Австрия могла закончить вооружения и собрать все свои средства. Временем для начала решенной в принципе войны назначается весна 1809 г.

Эта неизбежная война не только окончательно разрушит последние надежды Наполеона на общий мир; она, каков бы ни был ее результат, сыграет роковую роль в наших отношениях с Россией. Если бы Наполеон потерпел неудачу, Александр легко уступил бы непреодолимому движению общественного мнения, желанию отомстить за Аустерлиц и Фридланд и бросился бы в объятия европейской лиги, чтобы занять в ней первенствующее место. Если же фортуна останется нам верна, если Наполеон нанесет один из тех молниеносных ударов, к которым он приучил своих противников, Австрия будет повержена. Оставшись в Европе вдвоем с Наполеоном, Александр будет видеть в нем только соперника. Когда он увидит, что французское владычество, которое теперь удалялось с берегов Вислы, откуда оно его так долго тревожило, вновь подходит к нему через труп Австрии; что оно снова соприкасается с ним, если и не само, то при посредстве вассальных государств, которые будут следовать нашей политике, он почувствует, что его безопасность не обеспечена и что затронуты его жизненные интересы. Обе империи, сделавшись соседними, снова станут врагами. Точка соприкосновения и раздора была вполне ясна. Это было все то же герцогство Варшавское, где трепетала и волновалась готовая ожить Польша. Естественные союзники Франции против Австрии, поляки, приняв участие в борьбе, потре-

[1] Matternich, II, 248; Beer, 523—527.

[2] Весь труд Меттерниха в отдельно первая записка находятся в Mémoires, II, 240—257 и у Beer'a, 516—525. Документ относительно сношения с Россией был опубликован только Beer, 525—529.

[1] Beer, 538.

буют и получат право на часть военной добычи; их успехи, их вожделения возбудят едва заглохшие несогласия наши с Россией, которые еще более обострят предвзятое недоверие Александра. Наши победы над Пруссией заставили нас наполовину восстановить Польшу, наши успехи над Австрией подготовят более полное восстановление ее и вызовут неизбежные конфликты с третьим участником дележа. Хотя октябрьское соглашение 1808 г. и разрешило некоторые из вопросов, которые договор 1807 г. только возбудил, но не разрешил, оно все-таки не устранило между Францией и Россией причины скрытого и глубокого раздора. Оно продлило союз, но не упрочило его, и, несмотря на тревогу в лагере наших врагов, Эрфурт не увенчал неоконченного тильзитского дела.

ПРИЛОЖЕНИЯ

I

АКТЫ,

подписанные в Тильзите 17 июля 1807 года между Францией и Россией

1. Мирный договор[1]

Е. В. Император Французов, Король Итальянский, Покровитель Рейнской Конфедерации и Е. В. Император Всероссийский, одушевленные одинаковым желанием положить конец бедствиям войны, назначили на сей предмет своими уполномоченными:

Е. В. Император Французов, Король Итальянский, Покровитель Рейнской Конфедерации — Морица Талейрана, князя Беневентского, своего обер-камергера и министра иностранных дел, кавалера Почетного Легиона первой степени, кавалера прусских орденов Черного и Красного Орла первой степени и ордена Святого Губерта,

и Е. В. Император Всероссийский — князя Александра Куракина, своего действительного тайного советника, члена Государственного Совета, сенатора, канцлера всех орденов Империи, обер-камергера, чрезвычайного посланника и полномочного министра Е. В. Императора Всероссийского при Е. В. Императоре Австрийском и кавалера российских орденов: Св. Андрея Первозванного, Св. Александра Невского, Св. Анны первой степени, и Св. Владимира первой степени; прусских: Черного и Красного Орла, Святого Губерта Баварского, Данебро-

---

[1] По тексту, хранящемуся в Archives des affaires étrangeres и опубликованному de Clercq.

га и орденского знака Полного Объединения Дании, кавалера ордена Иоанна Иерусалимского,

— и князя Дмитрия Лобанова-Ростовского, генерал-лейтенанта Е. В. Императора Всероссийского, кавалера орденов: Св. Анны первой степени, Св. Георгия и Св. Владимира третьей степени;

— каковые по обмене полномочий пришли к соглашению по нижеследующим статьям:

Ст. 1. — Со дня обмена ратификаций настоящего договора между Е. В. Императором Французов, Королем Итальянским и Е. В. Императором Всероссийским устанавливаются совершенный мир и дружба.

Ст. 2. — С той и другой стороны немедленно прекращаются все враждебные действия как на суше, так и на море на всех пунктах, куда официально дойдет весть о подписании настоящего договора. Высокие договаривающиеся стороны без замедления с нарочными курьерами доведут об этом до сведения своих генералов и командиров.

Ст. 3. — Все военные или иные корабли, принадлежащие одной из договаривающихся сторон или ее подданным, взятые по подписании настоящего договора, будут возвращены или, в случае продажи, стоимость их будет возмещена.

Ст. 4. — Е. В. Император Наполеон во внимание к Е. В. Императору Всероссийскому и в доказательство своего искреннего желания соединить обе нации узами нерушимых доверия и дружбы, согласен возвратить Е. В Королю Прусскому, союзнику Е. В. Императора Всероссийского, все завоеванные нижеупомянутые области, города и территории, а именно:

Часть Магдуберкского герцогства, расположенного на правом берегу Эльбы;

Пограничную территорию Пригниц, Укер-Марк, средний и новый Бранденбург, за исключением Готбузеркрейца или округа Готбусь в нижнем Лузасе, каковой будет собственностью Е. В. Короля Саксонского; герцогство Померанию; верхнюю, нижнюю и новую Силезию с графством Грац; часть округа Нетца, расположенную на севере от шоссе, идущего от Дриссена до Шнейдемюль, и от линии, идущей от Шнейдемюль к Висле через Вальдау, следуя по границам округа Бромберга; плавание по реке Нетце и каналу Бромберг от Дриссена до Вислы и обратно, должно быть свободно и беспошлинно. Малую Померанию, остров Ногат, область направо от Ногат и Вислы, на западе от прежней Пруссии и на севере от округа Кульм; Эрмеланд и, наконец, Прусское королевство, как оно было к 1 января 1772 г., с крепостями: Шпандау, Штетин, Кюстрин, Глогау, Бреслау, Швейдниц, Нейс, Бриг, Козель и Глац и вообще все крепости, цитадели, крепостцы и форты вышепоименованных стран в том состоянии, в каком упомянуты крепости, цитадели, крепостцы и форты находятся в настоящее время, и, кроме того, город и цитадель Грауденц.

Ст. 5. — Провинции, которые к 1 января 1772 года составляли часть прежнего королевства Польского и которые с тех пор в разные времена перешли в прусское владение, за исключением областей, поименованных или обозначенных в предыдущей статье, и тех, о которых особо упоминается ниже, в статье 9-й, перейдут в полную собственность и державное обладание Е. В. Короля Саксонского под названием герцогства Варшавского и будут управляться учреждениями, которые, обеспечивая вольности и привилегии народов этого герцогства, согласуются со спокойствием соседних государств.

Ст. 6. — Город Данциг с территорией в два лье в окружности будет восстановлен в своей независимости под покровительством Е. В. Короля Прусского и Е. В. Короля Саксонского и будет управляться на основании законов, которые действовали в нем в то время, когда он перестал быть вольным городом.

Ст. 7. — Для сообщений между королевством Саксонским и герцогством Варшавским Е. В. Король Саксонский получит право свободного пользования военной дорогой по владениям Е. В. Короля Прусского. Вышеозначенная дорога, численность войск, могущих в один прием проходить по ней, и места этапов будут установлены особым договором, составленным между упомянутыми Величествами при посредничестве Франции.

Ст. 8. — Е. В. Король Прусский и Е. В. Король Саксонский, равно как и город Данциг, не вправе препятствовать навигации по Висле путем какого бы то ни было запрещения, затруднять ее установлением застав, налога или пошлины, какого бы свойства они ни были.

Ст. 9. — Для установления, поскольку это окажется возможным, естественных границ между Россией и герцогством Варшавским территории, отчасти входящей в пределы нынешних границ России и простирающаяся от Буга до устья реки Лососны и по линии, идущей от упомянутого устья, по руслу этой реки, по руслу р. Бобра до его устья, руслу р. Нарева от вышепоименованной точки до Сураца, от р. Лизы до ее истока около деревни Миен, от притока Нурзека, берущего свое начало вблизи той же деревни, от Нурзека до его устья выше Нурра и, наконец, по руслу Буга, поднимаясь по нем до нынешних русских границ, будет навсегда присоединена к Российской Империи.

Ст. 10. — Всякое взятое в отдельности лицо, какого бы класса и звания оно ни было, имеющее жительство или собственность на территории, означенной в предыдущей статье, равно как и лица, проживающие как в провинциях прежнего королевства Польского, которые должны быть возвращены Е. В. Королю Прусскому, так и в герцогстве Варшавском, но имеющие в России недвижимые имущества, государственные процентные бумаги, пенсии или доходы, какого бы рода они ни были, не должны пострадать ни лично, ни имуществом, ни пенсией, ни всякого рода доходами, ни своим званием, или чинами, ни преследоваться, ни подвергаться следствию в каком бы то ни было роде, за какое бы то ни было участие, политическое или военное, которое они принимали в событиях настоящей войны.

Ст. 11. — Все обязательства и все долги Е. В. Короля Прусского, будут ли то общественные налоги или церковные пожалования, военные или гражданские обязательства, как по отношению к прежним его держателям, так и по отношению кредиторов и пенсионеров прежнего польского правительства, остаются на обязанности Е. В. Императора Всероссийского и Е. В. Короля Саксонского, пропорционально тому, что каждое из поименованных Величеств приобретает по статьям 5-й и 9-й, и будут уплачены полностью, без всякого ограничения, изъятия и оговорки.

Ст. 12. — Их Св. герцоги Саксен-Кобурский, Ольденбургский и Мекленбург-Шверинский будут восстановлены в полном и мирном владении своими государствами; но гавани герцогств Ольденбургского и Мекленбургского останутся занятыми французскими гарнизонами до обмена тарификаций, имеющего быть окончательного мирного договора между Францией и Англией.

Ст. 13. — Е. В. Император Наполеон принимает посредничество Е. В. Императора Всероссийского на предмет ведения переговоров и заключения окончательного мирного договора между Францией и Англией в предположении, что таковое посредничество будет принято также и Англией месяц спустя после обмена ратификаций настоящего договора.

Ст. 14. — Со своей стороны, Е. В. Император Всероссийский, желая доказать, сколь он желает установить между обеими империями самые дружеские и самые прочные отношения, признает Е. В. Короля Неаполитанского, Жозефа-Наполеона и Е. В. Короля Голландского, Луи-Наполеона.

Ст. 15. — Равным образом Е. В. Император Всероссийский признает Рейнскую Конфедерацию, настоящее положение владений каждого из государей, входящих в ее состав, и титулы, данные некоторым из них, как по акту Конфедерации, так и по договорам о присоединении, имеющим быть впоследствии. Е. В. Император Всероссийский обещает на основании сообщений, которые будут сделаны ему Е. В. Императором Наполеоном, признавать государей, которые сделаются в будущем членами Конфедерации в том титуле, который им будет дан актами, предназначенными их туда ввести.

Ст. 16. — Е. В. Император Всероссийский уступает Е. В. Королю Голландскому в полное державное обладание ленное владение Исвер в Восточной Фрисландии.

Ст. 17. — Настоящий мирный и дружественный договор объявлен И. В. Королям Неаполитанскому и Голландскому и государям Рейнского союза, союзникам Е. В. Императора Наполеона.

Ст. 18. — Е. В. Император Всероссийский признает Е. И. В. принца Жерома-Наполеона Вестфальским королем.

Ст. 19. — Вестфальское королевство будет составлено из провинций, уступленных Е. В. Королем Прусским на левом берегу Эльбы и из других владений, принад-

лежащих в настоящее время Е. В. Императору Наполеону.

Ст. 20. — Е. В. Император Всероссийский обещает признать то положение, которое, как следствие вышепоименованной статьи 19-й и уступок Е. В. Короля Прусского, будет установлено Е. В. Императором Наполеоном (каковое положение должно быть сообщено Е. В. Императору Всероссийскому), равно и право на владение, вытекающее из оного для государей, в пользу коих оно будет установлено.

Ст. 21. Все враждебные действия между военными силами Е. В. Императора Всероссийского и военными силами Его Высочества[1] как на суше, так и на море на всех пунктах, куда официально дойдет сообщение о подписании настоящего договора, будут немедленно прекращены. Высокие договаривающиеся стороны без замедления отправят таковое извещение с нарочными курьерами для возможно скорейшего доставления его их генералам и командирам.

Ст. 22. — Русские войска удалятся из провинций Молдавии и Валахии, но войска Его Высочества не вправе будут занять их до обмена ратификаций будущего окончательного мирного договора между Россией и Оттоманской Портой.

Ст. 23. — Е. В. Император Всероссийский принимает посредничество Е. В. Императора Французов, Короля Итальянского на предмет ве́дения переговоров и заключения выгодного и почетного для обеих империй мира. Их уполномоченные отправятся в условленное между обеими заинтересованными сторонами место с тем, чтобы открыть там переговоры и следить за ними.

Ст. 24. — Сроки, в которые высокие договаривающиеся стороны должны будут удалить свои войска из мест, которые они, в силу вышеупомянутых постановлений, должны покинуть, равно как и способы выполнения других статей, входящих в настоящий договор, будут установлены особым договором.

Ст. 25. — Е. В. Император Французов, Король Итальянский и Е. В. Император Всероссийский взаимно гарантируют друг другу неприкосновенность их владений и владений государств, включенных в настоящий мирный договор, в том виде, как они суть теперь или как они будут в силу вышеупомянутых постановлений.

[1] Титул турецкого султана (*Прим. перев.*).

Ст. 26. — Военнопленные, взятые обеими договаривающимися сторонами или включенные в настоящий мирный договор, будут взаимно возвращены сразу, без обмена.

Ст. 27. — Торговые сношения между Французской империей, Итальянским королевством, Неаполитанским и Голландским королевствами и государствами Рейнского союза, с одной стороны, и Российской империей — с другой, будут восстановлены в том же виде, как и до войны.

Ст. 28. — Церемониал между обоими дворами, Тюльерийским и С.-Петербургским, как между ними, так и по отношению к посланникам, министрам и послам, которых они взаимно аккредитуют, будет установлен на принципе полной взаимности и полного равенства.

Ст. 29. — Настоящий договор будет ратификован Е. В. Императором Французов, Королем Итальянским и Е. В. Императором Всероссийским. Обмен ратификацией будет иметь место в этом городе в четырехдневный срок.

Составлен в Тильзите 7 июля (25 июня) 1807 г.

Ш. М. Талейран
Князь Беневентский

Князь Александр Куракин
Князь Дмитрий Лобанов-Ростовский

2. Отдельные и секретные статьи[1].

1. Русские войска передадут французским войскам область, известную под названием Каттаро.

[1] По тексту хранящемуся в Archives des affaires étrangères Эти статьи не были еще опубликованы полностью.

2. Ионические острова перейдут в полную собственность и державное обладание Е. В. Императора Наполеона.

3. Е. В. Император Французов, Король Итальянский, соглашается отнюдь не чинить никакого беспокойства никому из подданных Блистательной Порты, особенно черногорцам, и не чинить о них ни прямого, ни косвенного сыска за какое бы то ни было участие, которое они приняли или могли принять во враждебных действиях против французских войск лишь бы отныне они жили мирно.

4. Е. В. Император Всероссийский обязуется признать Е. В. Короля Неаполитанского Жозефа-Наполеона Королем Сицилии непосредственно после того, как Король Фердинанд IV получит в вознаграждение Балеарские острова или остров Кандию, или что-либо иное такого же значения.

5. В случае, если, по условиям будущего мира с Англией, Ганновер будет присоединен к королевству Вестфальскому, территория, составленная из областей, уступленных Е. В. Королем Прусским на левом берегу Эльбы с населением от трех до четырехсот тысяч душ, перестанет входить в состав этого королевства и будет переуступлена Пруссии.

6. Главы домов Гессе-Кассель, Брунсвик-Вольфенбюттель и Нассау-Оранж будут пользоваться ежегодным и пожизненным содержанием, равно и принцессы, их супруги, если они их переживут.

Содержание главы дома Гессе-Кассель будет в двести тысяч голландских флоринов. Содержание главы дома Брунсвик-Вольфенбюттель в сто тысяч голландских флоринов. Каковое содержание будет уплачиваться Е. В. Королем Вестфальским.

Содержание главы дома Нассау-Оранж будет в шестьдесят тысяч голландских флоринов и будет уплачиваться Е. И. В. Великим Герцогом Бергским.

7. Вышеупомянутые отдельные и секретные статьи будут иметь ту же силу и то же значение, как если

бы они были буквально включены в подлежащий обнародованию сегодняшний договор и будут ратифицированы одновременно.

Составлен и подписан в Тильзите
25 июня — 7 июля 1807 г.

Ш. М. Талейран	*Князь Александр Куракин*
Князь Беневентский	*Князь Дмитрий Лобанов-Ростовский*

3. Договор о союзе[1]

Е. В. Император Всероссийский и Е. В. Император Французов, Король Итальянский, покровитель Рейнской Конфедерации, близко принимая к сердцу восстановление всеобщего мира в Европе, на прочных и, если возможно, непоколебимых основах, решили заключить на сей предмет наступательный и оборонительный союз и назначили своими уполномоченными нижеследующих (следуют имена и титулы князей Куракина и Лобанова-Ростовского, со стороны России, и Шарля-Морица Талейрана, князя Беневентского — со стороны Франции), каковые, по взаимному представлению своих полномочий, пришли к соглашению о нижеследующих статьях:

Ст. 1. — Е. В. Император Всероссийский и Е. В. Император Французов, Король Итальянский, обязуются действовать заодно, будет ли то на суше, будет ли то на море, наконец, на суше и на море, в каждой войне, которую Россия или Франция вынуждены будут предпринять или вести против какого бы то ни было европейского государства.

Ст. 2. — При наступлении обстоятельств, при которых союз должен проявить свою деятельность, и всякий раз, когда таковые обстоятельства могут наступить, высокие договаривающиеся стороны определяют особым договором силы, которые каждая из них

[1] По черновому наброску министерства иностранных дел, опубликованному Фурнье, и по оригиналу, хранящемуся в архивах С.-Петербурга и опубликованному Татищевым.

должна будет выставить против общего врага, и места, где эти силы должны будут действовать; но отныне же они обязуются, если потребуют обстоятельства, употреблять всю полноту своих сил, как морских, так и сухопутных.

Ст. 3. — Все совместные военные операции будут вестись с общего согласия, ни та, ни другая из договаривающихся сторон ни в каком случае не вправе будет вести переговоры о мире без участия или согласия другой стороны.

Ст. 4. — В том случае, если Англия не примет посредничества России или, если, приняв его, она к 1 ноября текущего года не согласится заключить мир на основе, что флоты всех государств должны пользоваться равной и полной свободой на морях и что она обязуется возвратить все завоевания, сделанные ею за счет Франции и ее союзников, начиная[1] с 1805 г., когда Россия действовала с ней заодно, то в течение упомянутого ноября месяца посланником Е. В. Императора Всероссийского будет передана Сен-Джемскому кабинету нота. Эта нота, выражая участие, которое Е. В. Император Всероссийский принимает в спокойствии мира, и его намерение употребить все военные силы своей империи для доставления человечеству благодетельного мира будет содержать в себе положительную и точно выраженную декларацию, что, в случае отказа Англии заключить мир на вышепоименованных условиях, Е. В. Император Всероссийский будет действовать заодно с Францией, и, если Сен-Джемский кабинет к 1 декабря текущего года не даст категорического и удовлетворительного ответа, русский посланник получит, на всякий случай, приказание потребовать в упомянутый день свои верительные грамоты и тотчас же покинуть Англию.

---

[1] Здесь в черновом наброске и в оригинале написано вместо «1805 г.» слово «время»; «1805 г.» вынесено на поля. Был принят именно этот вариант, что установлено известным параграфом.

Ст. 5. — Если произойдет случай, предусмотренный в предыдущей статье, высокие договаривающиеся стороны будут действовать сообща и немедленно же потребуют от трех дворов — Копенгагенского, Стокгольмского и Лиссабонского — закрытия для англичан их гаваней, отозвания из Лондона их посланников и объявления войны Англии. С тем из трех дворов, который откажется от этого, высокие договаривающиеся стороны будут поступать, как с врагом, а в случае отказа Швеции Дания принуждена будет объявить ей войну.

Ст. 6. — Равным образом обе высокие договаривающиеся стороны будут действовать сообща и настойчиво при Венском дворе, чтобы он принял принципы, изложенные в вышеупомянутой 4-й статье, чтобы он закрыл для англичан свои гавани, отозвал из Лондона своего посланника и объявил войну Англии.

Ст. 7. — В случае же, если Англия в вышеозначенный срок заключит мир на вышепоименованных условиях (к достижению чего Е. В. Император Всероссийский употребит все свое влияние), Ганновер будет возвращен Английскому королю как компенсация за французские, испанские и голландские колонии.

Ст. 8. — Равным образом, если бы вследствие только что происшедших в Константинополе перемен, Порта не приняла посредничества Франции или, если бы в случае принятия такового переговоры в продолжение трех месяцев после их открытия не достигли удовлетворительного результата, Франция будет действовать заодно с Россией против Оттоманской Порты, и обе высокие договаривающиеся стороны придут к соглашению по поводу того, чтобы изъять все провинции Оттоманской империи в Европе, исключая города Константинополя и Румелийской провинции из-под ига и жестокого управления турок.

Ст. 9. — Настоящий договор останется секретным и не подлежит ни обнародованию, ни сообщению од-

ною из договаривающихся сторон без согласия другой, какому бы то ни было кабинету.

Он будет ратификован. Обмен ратификаций произойдет в Тильзите в четырехдневный срок.

Составлен в Тильзите 7 июля 1807 г.

Ш. М. Талейран
Князь Беневентский

Князь Александр Куракин
Князь Дмитрий Лобанов-Ростовский

II

ИНСТРУКЦИЯ КОЛЕНКУРУ[1]

12 ноября 1807 г.

По-видимому, Толстому не дано никакой особой инструкции, в которой бы значилось, как следует выполнять тильзитский договор; а казалось бы, что инструкция, могущая познакомить его со взглядами императора Александра, была необходима.

Для заключения мира с Турцией русский император принял посредничество императора Наполеона. Турция также приняла его посредничество, и ее посланник в Париже уполномочен заключить мир. У Толстого же нет никаких полномочий; следовательно, переговоры не могут состояться, что, в связи с существующим в настоящее время занятием Валахии и Молдавии и с предложениями, сделанными графом Румянцевым генералу Савари, а также и с движениями *русских войск* заставляет думать, что Россия имеет виды на эти две провинции. Император не особенно восстает против занятия Валахии и Молдавии русскими. В некотором отношении оно может служить его интересам, давая ему возможность вознаградить себя несколькими лишними прусскими провинциями, ослабляя еще более Пруссию, укрепляет союзную систему Императора. К этому соображению присоединяется еще следующее: при том состоянии упадка, в каком находится Порта, эти провинции все равно что потеряны для нее; нельзя надеяться, что она будет из-

---

[1] Archives des affaires étrangères, Russie, vol. 144.

влекать из них те средства, которые они могут дать. Страна будет опустошена, жителей же обе стороны будут грабить и подвергать насилиям; вопли и жалобы дойдут до слуха императора; к нему обратятся с призывом вмешаться в непрерывно возникающие ссоры, и дружба Франции и России подвергнется опасности быть нарушенной.

С другой стороны, личный интерес русского императора требует, чтобы у него в руках были земли и именья для раздачи своим офицерам; нужно, чтобы он мог возвеличить себя в глазах своих подданных, чтобы он, подобно своим предшественникам, увеличил свою империю.

Но, если он удержит за собой Валахию и Молдавию, тильзитский договор, очевидно, будет нарушен, а такое нарушение недопустимо в пользу только одной из договаривающихся сторон. Императору нужна компенсация, а он может найти ее только в некоторой части владений Пруссии, которая, по договору, должна быть ей возвращена, притом в части, равной обеим турецким провинциям по населению, богатству и всякого рода доходам. Таким образом, как союзник Франция, так и союзник России должны будут понести одинаковый убыток. И тот и другой в одинаковой степени выйдут из того положения, в какое поставил их тильзитский договор. Правда, население у Пруссии будет только в два миллиона жителей. Но разве этого не достаточно для счастья королевской семьи, и разве не в ее интересах занять теперь же и вполне покорно место среди второстепенных государств, тогда как все ее усилия для возврата утраченного положения послужат только к тому, чтобы причинять страдания ее подданным и питать бесплодную скорбь о понесенной утрате?

Вероятно, в Петербурге дадут понять, что император может взять себе вознаграждение в турецких провинциях, в ближайшем соседстве с его Итальянским королевством, напр., Боснию и Албанию. Вы должны отклонить всякую сделку подобного рода; она не подходит императору. Она влечет за собой последствия, которых еще не предвидят. Императору пришлось бы завоевывать эти провинции; в его руках они не будут тем, чем являются теперь Валахия и Молдавия в руках русских. Нужно будет сражаться, чтобы их завоевать, и опять сражаться, чтобы их сохранить; ибо условия, в которых находятся эти страны, и характер жителей, поставят много препятствий мирному обладанию. Эти провинции не будут для императора ценным приобретением; они бедны, в них нет ни торговли, ни промышленности, и, благодаря их положению, их крайне трудно связать с главным центром его империи. Под видом этой мнимой компенсации императору вручили бы лишь источник смут, прекращать которые пришлось бы оружием, без пользы и без славы.

Результатом такой сделки были бы еще более крупные последствия — разрушение Оттоманской империи. Поддерживать дальнейшее свое существование при потерях на севере и на западе было бы для нее делом невозможным. Утрата Молдавии и Валахии нисколько не ослабит ее силы; уже двадцать лет, как эти провинции в силу водворения там русского влияния, потеряны для нее; но, если вслед за этой утратой будут отделены и западные провинции, империи нанесен будет удар в самое сердце; остаток традиций, поддерживающий ее, будет разрушен. Угрожаемая русскими с одной стороны, атакованная французами — с другой, Оттоманская Порта прекратит свое существование. Может быть, петербургский кабинет желает падения Оттоманской империи. Конечно, оно неизбежно; но в политику обоих императорских дворов отнюдь не входит ускорять его. Они должны отдалить его до того момента, когда раздел ее громадных останков может состояться с наибольшей выгодой для того и другого двора, и когда не будет нужды опасаться того, чтобы государство, в настоящее время им враждебное, не присвоило себе, завладев Египтом и островами, богатейшей добычи. Вот самое сильное возражение императора против раздела Оттоманской империи.

ЗАМЕТКА, ПРОДИКТОВАННАЯ ИМПЕРАТОРОМ

«Итак, в настоящий момент истинное желание Императора состоит в том, чтобы Оттоманская империя сохранила свои фактические владения, чтобы она жила в мире с Россией и Францией, чтобы ее границей было русло Дуная, сверх того, чтобы крепости, которые принадлежат Турции на этой реке, — как, на-

пример, Измаил, — остались за нею. Все это, конечно, при условии, что Россия согласится на соответствующее расширение Франции за счет Пруссии.

Однако, возможно, что вопрос о разделе Оттоманской империи уже решен в Петербурге в положительном смысле; в таком случае, желание Императора — отнюдь не вызывать неудовольствия петербургского двора по поводу этого вопроса, ибо он предпочитает совершить раздел вдвоем с ней так, чтобы доставить Франции в деле раздела наивозможно большее влияние и не дать русским повода впутать в него Австрию. Итак, никоим образом не следует отказываться от раздела, но объявить, что по этому поводу необходимо лично сговориться».

Напомните, Милостливый Государь, императору Александру о разговорах, которые он имел по этому поводу с Его Величеством, и о том, каким образом оба императора пришли к соглашению предпринимать что-либо в этом направлении, только сговорившись предварительно или в Париже, во время предполагаемого императором Александром посещения, или в ином месте, где оба государя должны будут свидеться. Но, если такие виды на раздел существуют, постарайтесь, пользуясь этим, выговорить, по крайней мере, чтобы император французов не был обязан очистить от войск левый берег Вислы, дабы он мог быть готовым ко всякого рода событиям. Когда же вам будут говорить об Албании и Боснии как о предмете компенсации, дайте почувствовать неравенство подобной компенсации для императора, вернитесь к обладанию несколькими лишними прусскими провинциями, как к предмету сделки вполне равной, выгодной во всех отношениях, которую можно быстро и легко выполнить без всех тех поопедствий, которых даже наиболее прозорливая политика не в состоянии ни предвидеть, ни предупредить.

Император не может сложить оружия в то время, когда не установлены еще столь крупные интересы. Россия занимает крепости на Днестре, Валахию и Молдавию; усиливает там свои войска и далека от мысли об отозвании их обратно. Император, вполне доверяя императору Александру, хочет установить свои поступки сообразно с его поступками; но следует, чтобы обе империи шли равным шагом. Такой принцип будет лежать в основе поведения императора.

Разум, справедливость и осторожность не позволяют ему принять другого решения, и нет такого препятствия, которое бы могло заставить его уклониться с этого пути.

Император не сложит оружия. Он выведет войска из прусских владений только тогда, когда возобновятся переговоры о мире с Турцией, и когда император Александр объявит о своем намерении возвратить Валахию и Молдавию; или же — если оба государства придут к соглашению о сделках, о которых я вам говорил и которые относятся к новому положению вещей, — он будет выводить войска по частям. Император согласен как на первое, так и на второе решение. То и другое отвечает его желаниям. Рассматривая сделку, которая предоставила бы России Валахию и Молдавию как наиболее выгодную для нее, он предпочел бы ее единственно по этой причине; но следовало бы предварительно сговориться об условиях этой сделки и о том, в какую форму ее облечь. Следовало бы, чтобы на основах, которые я вам изложил, была составлена конвенция, поясняющая тильзитский договор, и чтобы вы были уполномочены подписать ее. Она гарантировала бы Порте неприкосновенность тех провинций, которые останутся за нею. Эта конвенция оставалась бы секретной. Каждый из обоих императоров под благовидными предлогами объявил бы о своем отказе эвакуировать ту или другую провинцию. В Париже, между Россией и Турцией при посредничестве Франции с одной стороны, и между Францией и Пруссией при посредничестве России — с другой стороны, был бы составлен договор, чтобы санкционировать сделки, которые были бы секретно заключены между двумя великими державами.

Итак, Милостливый Государь, таковы намерения императора по этому важному политическому вопросу. Более всего он предпочел бы, чтобы турки могли мирно владеть Валахией и Молдавией. Однако, исходя из желания расположить к себе петербургский кабинет и еще более привязать к себе императора Александра, он не прочь от того, чтобы предоставить ему провинции за справедливое вознаграждение, взятое в прусских провинциях; и, наконец, хотя он и очень далек от мысли о разделе Турецкой империи и смотрит на него, как на чреватую опасностями меру, он не хочет, чтобы, объясняясь по этому поводу с императором

Александром и его министром, вы без всяких оговорок его осудили; но предписывает вам энергично представить доводы, в силу которых время его выполнения должно быть отсрочено. Этот традиционный проект русского честолюбия составляет узы, которые могут привязать Россию к Франции, и поэтому следует остерегаться окончательно разрушать ее надежды.

Прежде всего, Милостивый Государь, я обратил ваше внимание на этот предмет миссии, которую вам предстоит выполнить, потому, что он наиболее важен по своим последствиям, а также и потому, что он затрагивает наибольшее количество интересов; но он не первый, которым вы должны будете заняться. Прежде чем дойдет очередь до него, нужно, чтобы Россия объявила войну Англии. Поведение Англии в Балтийском море уже само по себе представляет повод и самый благовидный предлог к войне. Россия умалит свое достоинство, если потерпит, не отомстив, подобное злодеяние в море, независимость которого она охраняет. Она подорвет уважение к себе вне страны, свою мощь внутри. Хотя бы немедленно после объявления войны последовал мир, все-таки следует, чтобы война была объявлена, чтобы русский посланник в Лондоне был отозван, а английский удален. Этот долг налагается на Россию не только общепринятыми политическими приличиями, но и в силу тильзитского договора, который делает из этого для нее точное обязательство. Невозможно сомневаться в том, чтобы к вашему прибытию в Петербург это обязательство не было выполнено. Россия должна будет понудить Швецию объявить о своей солидарности с ней и, в случае отказа, принудить ее к этому. Швеция, как и Россия, должна защищать независимость Балтийского моря. Дания, в силу договора, только что заключенного с Францией, приняла на себя обязательство присоединиться к мерам, целью которых будет принудить Швецию стать на сторону континента. Дайте понять, что если это будет найдено безусловно необходимым, армия из французов и датчан будет готова вступить в Сканию через Норвегию в то время, когда Россия вторгнется в Финляндию.

Австрия по собственному почину, после простых словесных намеков присоединилась к голосу Франции. Вы найдете приложенное при сем извлечение из последней депеши австрийского кабинета князю Штархембергу, которая должна повлечь за собой в скором времени отъезд этого посланника, и Австрия будет в войне с Англией. Вот великий и могущественный результат союза двух первых государств земного шара! По их слову поднимается целиком весь континент и, согласно их желанию, готов соединиться против врагов континента. Такого рода военное положение стольких государств против островитян, которое сведет к нулю их торговлю, парализует их промышленность, сделает для них бесплодным самое плодоносное из их владений — море, представляет собою прекрасное создание человеческого ума и крайне обширный и трудный для выполнения план; он выполнен. От него можно ожидать полезных результатов; но это не мешает присоединить к нему план активных военных операций, для выполнения которых послужат флоты, которыми можно еще располагать.

Можно будет подумать об экспедиции в Индию. Чем неосуществимее кажется эта экспедиция, тем более сделанная с этой целью попытка (а чего не могут сделать Франция и Россия?) приведет в ужас англичан. Ужас, посеянный в английской Индии, распространит смятение в Лондоне и, конечно, сорока тысяч французов, которых Порта согласится пропустить через Константинополь, и которые соединятся с сорока тысячами русских, пришедших с Кавказа, будет достаточно, чтобы навести ужас на Азию и завоевать ее. Именно в этих видах император приказал избранному им для Персии посланнику отправиться к месту его назначения.

Мне остается поговорить с вами о других предметах, которые имеют менее прямое отношение к политике, и мысль о которых могла быть навеяна императору только его чрезмерной заботой об интересах императора Александра. Благодаря долгам, которые Россия сделала во время последней войны, она находится в стесненном положении. Морская война еще более увеличит ее затруднения, лишая ее обычных рынков. Император предлагает занять место англичан; он приказал в течение зимы и весны закупить на несколько миллионов мачтового лесу и других предметов снаряжения для флота. За эти предметы имеется в виду заплатить тотчас по их предъявлении; предполагается оставить их на хранение в портах России до того времени, когда перевозка их будет возможна; но

было бы желательно, чтобы этот склад материалов был священен и чтобы была дана полная гарантия, что даже в случае войны между обеими империями ему не будет причинено никакого вреда и что французские агенты, которым будет поручено его охранять и присматривать за ним, будут пользоваться полной свободой и безопасностью.

В тех же видах император намеревается приказать выстроить в портах России три семидесятичетырехпушечных корабля, но он требует подобной же гарантии.

Эти мероприятия займут руки, создадут прилив денег и могут способствовать к предупреждению недовольства некоторых лиц. Они должны быть приятны императору Александру, и именно под таким углом зрения их и следует представить.

Император очень желает исполнения торгового договора 1787 года, который не представляет для Франции ни выгоды, ни невыгоды и о продолжительности которого ничего не сказано. Но, исходя из присущих ему умеренности и справедливости, император не требует для французов необычных в других странах привилегий. Он ничего не имеет против общей системы, которую, по-видимому, избрало русское министерство и которая имеет целью уничтожить корпорации иностранных купцов. Он желает только, чтобы французская нация была наиболее благоприятствуемой, но чтобы это не было в ущерб русским купцам и не противоречило видам правительства. Все распоряжения, которые послужат во вред англичанам, покажутся ему самыми подходящими. Желательно, чтобы французским купцам оказывалось покровительство; но еще более желательно, чтобы английской торговле были поставлены препятствия и чтобы она была приведена в полный упадок».

III

НОТА,[1]

по которой император Александр соглашается на свидание в Эрфурте, не ставя никаких условий

Император Александр согласен на свидание без предварительных условий.

Его положение относительно англичан и шведов заставляет его желать, чтобы свидание состоялось не ранее июля месяца.

По тем же самым причинам Император Александр, чтобы Император Наполеон счел возможным уполномочить своего посланника установить совместно с ним точно время свидания в зав[illegible]сти от обстоятельств и в такое время, когда дела Императора Наполеона позволят ему отправиться на свидание тотчас по получении известия об отъезде Императора Александра. Его отъезд будет назначен с таким расчетом, чтобы промежуток между временем отъезда курьера, отправленного из Петербурга, и временем, когда оба Императора должны прибыть в Эрфурт, был по меньшей мере в тридцать дней.

Чтобы не слишком заставлять ждать Императора Наполеона, Император Александр устроится так, чтобы первое свидание состоялось до 1 августа.

---

[1] Эта нота была составлена Коленкуром и принята царем с указанным изменением; она приложена к донесению посланника от 22 мая 1808 г.

ИЗМЕНЕНИЕ, ПРОДИКТОВАНННОЕ ИМПЕРАТОРОМ АЛЕКСАНДРОМ ДЛЯ ЗАМЕНЫ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПАРАГРАФА

Император Александр надеется, что первое свидание может состояться до 1 августа. Он не берет на себя более положительного обязательства, так как его отъезд зависит от предполагаемых попыток к нападению со стороны англичан и шведов. Только эти причины могут задержать свидание.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Альберт Вандаль

Наполеон и Александр I

том II

ОТ ТИЛЬЗИТА
ДО
ЭРФУРТА

Ответственный за выпуск
ТАРАСОВА М. Ф.

Художник
ЦАРЕВ С. А.